Максимиліанъ Волошинъ

Максимилиан

ВОЛОШИН

Собрание сочинений

Под общей редакцией
В.П. Купченко и А.В. Лаврова
при участии Р.П. Хрулевой

Москва
Эллис Лак
2013

Максимилиан

ВОЛОШИН

Собрание сочинений

Том одиннадцатый

Книга первая

Переписка с Маргаритой Сабашниковой

1903–1905

Москва
Эллис Лак
2013

ББК 84(2Рос=Рус)-4
УДК 821.161.1-95
В68

Издано при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
(2012–2018 годы)

Институт русской литературы
(Пушкинский Дом)
Российская академия наук

Составление
К.М. Азадовского, Р.П. Хрулевой

Подготовка текста
Р.П. Хрулевой

Комментарии
К.М. Азадовского

Общая редакция
А.В. Лаврова

Художник
В.Н. Сергутин

ISBN 978-5-902152-85-9 (т. 11, кн. 1)
ISBN 5-902152-05-4

От составителей

В 11-м томе Собрания сочинений Волошина публикуется (в двух книгах) его переписка с М.В. Сабашниковой, охватывающая 1903–1924 гг. В книгу включены все известные в настоящее время письма – как публиковавшиеся ранее (полностью или частично), так и не появлявшиеся в печати.

Маргарита Васильевна Сабашникова (31.01.1882, Москва – 02.11.1973, Штутгарт), племянница известных московских издателей М. и С. Сабашниковых, получила художественное образование и в течение всей жизни занималась живописью; она – автор многих портретов, а также полотен и композиций на религиозные сюжеты. Сабашникова была одаренной, творческой натурой. Она пробовала свои силы и на литературном поприще: писала стихи и рассказы, переводила на русский язык немецкую прозу (в частности, сочинения Мейстера Экхарта), а в 1913 г. опубликовала в Москве жизнеописание св. Серафима Саровского. Позднее она получила известность как одна из убежденных сторонниц Рудольфа Штейнера, главы и создателя Антропософского общества в Германии. Окончательно покинув Россию в 1922 г. и поселившись в Штутгарте, Сабашникова стала писать по-немецки; из мемуарных фрагментов, которые она время от времени помещала в немецких (прежде всего антропософских) изданиях, сложилась в конце концов ее автобиографическая книга «Зеленая Змея» (1-е нем. изд. – 1954), впоследствии неоднократно переиздававшаяся.

Весной 1906 г. Волошин и Сабашникова заключают официальный брак; этому предшествует интенсивная переписка – письма 1903–1905 гг., отражающие их общие устремления и вкусы той поры и проникнутые страстным, подчас безудержным лиризмом. Интеллектуальное воздействие друг на друга Волошина и Сабашниковой было в те годы огромным. «Вы знаете, что Вы имели на меня громадное влияние», – говорила Сабашникова Волошину в одну из парижских встреч 1904 г. (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 151; дневниковая запись от 31 мая / 13 июня 1904 г.). Творчество Волошина 1900-х гг. неотделимо от его увлечения Сабашниковой. «Все, что я написал за последние два года, – отметил в днев-

нике Волошин 16/29 июня 1905 г., – все было только обращением к М<аргарите> В<асильевне>, и часто только ее словами» (*Там же.* С. 221). «Когда я писал Вам все те стихи, что я послал Вам, – признается он Сабашниковой в письме от 21 июня / 4 июля 1905 г., – я ведь не знал, где кончалась моя мысль, где начиналась Ваша». В свои стихи того времени Волошин нередко вплетает слова, сказанные ему Сабашниковой, и даже отдельные строки ее стихов. К постоянному (устному и письменному) общению с Сабашниковой восходят отчасти тематика и тональность его эссеистики. Со своей стороны, Сабашникова, глубоко захваченная в те годы религиозными проблемами и поисками «истинного пути», естественно и неуклонно вовлекается в круг интересов и занятий Волошина.

Стечение обстоятельств во второй половине 1905 г. привело к решающему повороту в судьбе Сабашниковой. Уже вступив в духовный союз с Волошиным, она знакомится (в сентябре 1905 г.) с Рудольфом Штейнером, становится вскоре слушательницей его лекций, а со временем – его последовательной ученицей.

Брак Волошина и Сабашниковой оказался недолгим; он распался – в силу обстоятельств – уже в 1907 г. Расставшись и следуя в дальнейшем каждый своим путем, Волошин и Сабашникова сохраняют приятельские отношения и продолжают переписываться. Летом 1914 г. они встречаются в Дорнахе (Швейцария), где оба принимают участие в строительстве антропософского храма св. Иоанна (первый «Гетеанум»). Покинув Дорнах в январе 1915 г., Волошин навсегда расстается с Сабашниковой: в дальнейшем им не довелось встретиться.

Двусторонняя переписка Волошина и Сабашниковой представляет собой уникальный эпистолярный корпус, значение которого не ограничивается биографическими подробностями или эмоционально-поэтическими излияниями ее участников. Отображая историю знакомства Волошина и Сабашниковой, их сближение, путь друг к другу и драматическое расхождение, эти документы дают представление о философско-эстетических, общественных и религиозных исканиях целого поколения, выступившего на рубеже XIX и XX вв. и прошедшего позднее через такие потрясения, как Первая русская революция, Февраль и Октябрь 1917 г., Гражданская война... В переписке Волошина и Сабашниковой преломились различные и подчас ярчайшие эпизоды той ренессансной культурной эпохи, что ныне известна как «Серебряный век».

Первым, кто сумел по достоинству оценить выдающееся значение этой переписки (в особенности – писем 1905 г.), был сам Волошин. Перечитывая ее перед своим возвращением из Парижа в Россию, он писал Сабашниковой 11/24 марта 1906 г.: «Знаешь, я думал, что эти письма, и твои, и мои, надо после того как мы станем вместе, привести в порядок, переплести, и эта книга будет нам священной книгой наших обетов и... когда у нас будут дети, мы должны им оставить эту книгу, когда они вырастут. Подумай о том, что бы дало нам, если бы такую книгу мы получили от наших родителей. Как бы много она нам дала. Она была бы книгой оправдания нашей жизни, книгой Бытия – детей... Своей собственной книгой Бытия. И для нас в минуты сомнения в жизни эта книга обетов будет вечным залогом» (см.: Т. 11, кн. 2 наст. изд.).

Переписка Волошина и Сабашниковой сохранилась далеко не полностью. Так, погибли, видимо, почти все письма Волошина к Сабашниковой за 1908–1916 гг. Письма Волошина за 1917–1923 гг. сохранились в машинописных копиях (одна из них – в Доме-музее М.А. Волошина в Коктебеле). Утрачен и ряд писем 1907–1908 гг. Об одном из писем (видимо, самом первом, написанном в Москве весной 1903 г.), которое Волошин дал прочитать Е.А. Бальмонт и затем порвал, он сообщил Сабашниковой в августе 1905 г. в Цюрихе (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 247). Не сохранилось и другое письмо Волошина, отправленное Сабашниковой из Парижа в Цюрих в сентябре 1905 г. и содержавшее просьбу «сжечь» его (см. примеч. 1 к п. 151).

Переписка Волошина и Сабашниковой широко использовалась в последние годы, прежде всего – публикаторами, комментаторами и интерпретаторами произведений Волошина (см., например: *Волошин М.* Избранные стихотворения. Сост., вступит. статья и примеч. А.В. Лаврова. М.: Сов. Россия, 1988; *Волошин М.* Стихотворения и поэмы. Вступит. статья А.В. Лаврова. Сост. и подгот. текста В.П. Купченко и А.В. Лаврова. Примеч. В.П. Купченко. СПб.: Петербургский писатель, 1995 (Б-ка поэта. Большая серия); комментарии к стихам и статьям Волошина в т. 1–10 Собрания сочинений). Ссылки на эти и аналогичные использования текстов в комментариях опущены.

Приводим перечень основных ранее осуществленных публикаций писем Волошина к Сабашниковой и Сабашниковой к Волошину:

1. Максимилиан Волошин в Петербурге: Осень 1906. Письма к М.В. Сабашниковой / Публ. В.П. Купченко // Минувшее. Исто-

рический альманах. 21. М.; СПб.: Atheneum – Феникс, 1997. С. 297–350 (двадцать четыре письма Волошина).

2. У истоков русского штейнерианства. Публ. К.М. Азадовского и В.П. Купченко. Предисл. К.М. Азадовского. Примеч. К.М. Азадовского и В.П. Купченко // Звезда. 1998. № 6. С. 146–191 (десять писем Волошина и десять писем Сабашниковой 1905 г., с купюрами).

3. *Азадовский К.* «Из темницы времени...» (Максимилиан Волошин в 1905 году) // Всемирное слово (СПб.). 2000. № 13. С. 21–26 (письмо Волошина от 14/27 июля 1905 г.).

4. *Левичев И.В.* К истории создания цикла «Руанский собор» Максимилиана Волошина (Из неопубликованных писем М. Волошина к М. Сабашниковой) // Материалы Международных научно-практических конференций XII, XIII, XIV Волошинских Чтений. – Ч. I. XIV Волошинские Чтения. Международная научно-практическая конференция «Все видеть, все понять, все знать, все пережить...». Сост. Е.В. Комарова, Н.М. Мирошниченко. Симферополь: Антиква, 2007. С. 99–111 (семь писем, с купюрами, неточностями и искажениями текста).

То же (без исправлений и указания на публикацию 2007 г.) – в кн.: Творчество Максимилиана Волошина. Семантика. Поэтика. Контекст. Сборник статей. М.: Азбуковник, 2009. С. 147–160.

5. «За духовную сущность России у меня нет страха». Письма Максимилиана Волошина к Маргарите Сабашниковой 1917–1923 годов. Из фондов Дома-музея М.А. Волошина / Публ., предисл., подгот. текста и коммент. И.В. Левичева // Новый мир. 2009. № 8. С. 130–138 (шесть писем, опубликованных по машинописным копиям).

Автографы публикуемых в настоящем томе писем Волошина к Сабашниковой за 1903–1905 гг. хранятся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (ф. 562, оп. 3, ед. хр. 106–113); несколько писем, относящихся к марту–маю 1905 г. (№ 40, 42, 43, 45, 47), вклеено в первую тетрадь волошинского дневника 1904–1931 гг., озаглавленного «История моей души» (ф. 562, оп. 1, ед. хр. 441). Что касается писем Сабашниковой к Волошину за 1903–1905 гг., то их подлинники также находятся в Рукописном отделе Пушкинского Дома (ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1058–1065); три письма (№ 31, 38 и 39) обнаружены среди писем Сабашниковой «к неустановленным лицам» (ф. 562, оп. 5, ед. хр. 45); одно письмо (№ 44) вписано в дневниковую тетрадь Волошина (ф. 562, оп. 1, ед. хр. 441). Оригиналы нескольких писем Волошина

и Сабашниковой обнаружить не удалось; эти тексты публикуются либо по дневнику Волошина (№ 48), либо по дневнику Сабашниковой (№ 41, 46), либо по копиям, сделанным в свое время В.П. Купченко (№ 2, 49).*

В основу публикации положены принципы, принятые в уже вышедших томах писем Волошина (см.: Т. 8 наст. изд. С. 7). Все письма расположены в хронологическом порядке. Учитывая, что нередко (особенно летом и осенью 1905 г. – в разгар их «романа») Волошин и Сабашникова писали друг другу ежедневно (иногда – по несколько писем в сутки), последовательность писем, отправленных в течение одного и того же короткого промежутка времени, нам пришлось – в отдельных случаях – устанавливать приблизительно.

Основной корпус писем относится к дореволюционному периоду, когда и Волошин, и Сабашникова находились в основном за границей. В связи с этим дается (во всех случаях) двойная датировка – по старому и новому стилю. Авторская дата и место написания рассматриваются как часть текста и воспроизводятся в том виде, как они даны в оригинале. Редакторская дата и место написания (нередко уточненные) печатаются курсивом и ставятся после обозначений «Волошин – Сабашниковой» или «Сабашникова – Волошину».

На письмах Сабашниковой октября–ноября 1905 г. (начиная с п. 200 – первого ее письма из Берлина) в левом верхнем углу рукою Волошина проставлены номера (синим карандашом), причем нумеруются не самые письма, а только отдельные их листы. Учитывая, что нумерация, насколько можно судить, производилась не в момент получения писем, а позже, эти пометы – во избежание путаницы – не воспроизводятся.

В первый период знакомства Волошин и Сабашникова обращались друг к другу исключительно на «Вы»; в августе 1905 г. они переходят на «ты» (см. об этом в п. 124 и 129). Местоимение «Вы» оба писали, как правило, с заглавной буквы, тогда как местоимение «ты» Волошин писал со строчной, Сабашникова же преимущественно – с заглавной буквы. Эти авторские особенности в написании «Вы» и «Ты» (включая падежные формы и производные от этих местоимений) всюду сохранены; отклонения от общей тенденции выправлены без оговорок.

---

* Конкретные пояснения, касающиеся отдельных писем Волошина и Сабашниковой за 1906–1923 гг., приводятся во второй книге настоящего тома.

Все иноязычные слова и фрагменты (написанные нередко с ошибками) выправлены в соответствии с современными орфографическими нормами. Описки и неточности в русском тексте также устранены без оговорок. Знаки препинания (запятая, вопросительный знак, тире и др.), часто недостающие в оригинале (особенно в письмах и стихах Сабашниковой), исправлены или восстановлены в соответствии с ныне действующими синтаксическими правилами и эдиционными принципами.

Перевод иноязычных слов, словосочетаний и названий в основном тексте дается при первом упоминании (сноска, обозначенная звездочкой, на той же странице) и в дальнейшем не повторяется.

Имена собственные, написанные в соответствии с нормой XX века (Нитше, Нюренберг и др.), воспроизводятся без изменений; сохранены также двойные написания (Хайд – Хейд, Цюрих – Цурих).

Сокращения в тексте и недописанные слова восполняются при помощи угловых скобок < >. В те же скобки заключены уточнения в тексте примечаний (перевод иностранных слов, краткие пояснения), вопросительный знак (в местах, вызывающих сомнение) и т.д.

Прямоугольные скобки [ ] в текстах, использованных при комментировании писем, обозначают либо слова и фрагменты, зачеркнутые в оригинале (см. п. 102 и 141), либо принадлежат авторам предыдущих публикаций.

Отдельные, наиболее характерные написания или искажения (прежде всего – в названиях и именах собственных) отмечены указанием <*sic!*>.

Авторские подчеркивания в тексте выделены *курсивом*.

Все числительные воспроизводятся в соответствии с оригиналом.

Редакторские примечания текстологического характера даются подстрочно (на той же странице); реальный комментарий следует непосредственно за текстом письма.

Книга содержит два указателя:

1. Перечень лиц, упоминаемых в письмах преимущественно по именам или именам и отчествам;

2. Аннотированный именной указатель, в который введены все реальные имена, упомянутые в книге (как в основном тексте, так и в комментарии).

Переписка Волошина и Сабашниковой насыщена разного рода реалиями, деталями и смысловыми оттенками, прояснить

которые помогает обращение к другим печатным и архивным источникам. Важнейшими среди них (и подчас неотделимыми от содержания переписки) являются: стихи Волошина, обращенные к Сабашниковой и составившие цикл «Amori Amara Sacrum» в его первом сборнике («Стихотворения 1900—1910»); дневники Волошина, прежде всего, — «История моей души» (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд.); дневники Сабашниковой за разные годы, в большинстве своем не опубликованные.

При комментировании была использована также опись библиотеки в коктебельском Доме-музее М.А. Волошина, составленная в 1970-е гг. В.П. Купченко.

Составители выражают благодарность всем лицам, помощью которых они пользовались в своей работе, в частности, Р. фон Майдель (Гейдельберг), Р. Мейеру (Цюрих), К. Мейер-Руст (Цюрих), М. Никё (Кан, Франция), Г. Суперфину (Бремен), М. Ханину (Иерусалим), К. Эбнетеру (Сьер, Швейцария), С. Якерсону (СПб.).

Условные сокращения

ИРЛИ	Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).
РГБ	Научно-исследовательский Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
РНБ	Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
Воспоминания	Воспоминания о Максимилиане Волошине. Сост. и коммент. В.П. Купченко и З.Д. Давыдова. М.: Сов. писатель, 1990.
Записные книжки	*Волошин М.* Записные книжки. Сост., предисл. и примеч. В.П. Купченко. М.: Вагриус, 2000.
Зеленая Змея	*Волошина М. (Сабашникова М.В.)* Зеленая Змея. История одной жизни. Пер. с нем. М.Н. Жемчужниковой. Вступ. заметка («Вместо предисловия»). С.О. Прокофьева. М.: Энигма, 1993.
Из писем А.Р. Минцловой к Маргарите Сабашниковой	*Азадовский К.М.* «Я чувствую в Вас вечность...» Из писем А.Р. Минцловой к Маргарите Сабашниковой // От Кибирова до Пушкина. Сборник в честь 60-летия Н.А. Богомолова. М.: Новое литературное обозрение. 2011. С. 7–29.
Свет на Пути	Свет на Пути. Сост. Д.Н. Попов. <Перевод Е.Ф. Писаревой>. М.: Сфера, 2001.
Стихотворения. 1900–1910	*Волошин М.* Стихотворения. 1900–1910. Годы Странствий. Amori Amara Sacrum. Звезда Полынь. Алтари в Пустыне. Corona Astralis. М.: Гриф, 1910.
Труды и дни	*Купченко В.П.* Труды и дни Максимилиана Волошина. Летопись жизни и творчества 1877–1916. СПб.: Алетейя, 2002
У истоков русского штейнерианства	У истоков русского штейнерианства. Предисл. К. Азадовского. Публ. и примеч. К. Азадовского и В. Купченко // Звезда (СПб.). 1998. № 6. С. 146–191.

GA (с указанием тома)	Rudolf Steiner Gesamtausgabe. Herausgegeben von der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung. Dornach/ Schweiz. <Полное собрание трудов Рудольфа Штейнера, подготовленное Комиссией по наследию Рудольфа Штейнера>. Дорнах / Швейцария> (издается с 1956 г. по настоящее время).
Die Tempellegende und die Goldene Legende	*Steiner R.* Die Tempellegende und die Goldene Legende als symbolischer Ausdruck vergangener Entwickelungsgeheimnisse des Menschen. Aus den Inhalten der Esoterischen Schule. Zwanzig Vorträge gehalten in Berlin zwischen dem 23. Mai 1904 und dem 2. Januar 1906 <Храмовая легенда и Золотая легенда как символическое выражение минувших тайн человеческого развития. Из содержания бесед в Эзотерической школе. Двадцать докладов, прочитанных в Берлине между 23 мая 1904 и 2 января 1906 г.>. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1982 (1-е изд. – 1979). GA 93.
Grundelemente der Esoterik	*Steiner R.* Grundelemente der Esoterik. Notizen von einem esoterischen Lehrgang in Form von einunddreissig Vorträgen, gehalten in Berlin vom 26. September bis 5. November 1905. Die Herausgabe besorgte Hella Wiesberger <Основы эзотерики. Конспективные записи учебного эзотерического курса, прочитанного в виде тридцати одного доклада в Берлине с 26 сентября по 5 ноября 1905 года. Изд. подгот. Хелла Висбергер>. 3. Auflage. Dornach: Rudolph Steiner Verlag, 1987 (1-е изд. – 1972). GA 93a.
Mitteilungen... (с указанием года и номера)	Mitteilungen für die Mitglieder der Deutschen и Sektion der Theosophischen Gesellschaft (Hauptquartier Adyar) (November 1905 – Januar 1913) und für die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft (Theosophischen Gesellschaft) (März 1913 – Juni 1914). Herausgegeben von Mathilde Scholl. Unveränderter Nachdruck aller erschienenen Hefte. <Сообщения для членов Немецкой секции Теософского общества (основной центр – в Адьяре) (ноябрь 1905 – январь 1913) и для членов Антропософского (Теософского) общества (март 1913 – июнь 1914). Сост. Матильда Шолль. Точное воспроизведение всех прежних выпусков>. Dornach / Schweiz: Rudolf Steiner Verlag, 1999.

**Указатель лиц,
упоминаемых в письмах по именам
или по именам и отчествам**

Александра Алексеевна (тетя Саша) – А.А. Андреева
Александра Васильевна – А.В. Гольштейн
Александра Михайловна – А.М. Петрова
Алексей Васильевич (Алеша) – А.В. Сабашников
Анна Николаевна – А.Н. Иванова
Анна Рудольфовна – А.Р. Минцлова
Вайолет – Э.В. Харт
Василий Михайлович – В.М. Сабашников
Дэзи – М.М. Шевелева
Екатерина Алексеевна – Е.А. Бальмонт
Елена Константиновна (Елена) – Е.К. Цветковская
Елизавета Сергеевна – Е.С. Кругликова
Катя – Е.А. Бальмонт
Константин Дмитриевич (Константин) – К.Д. Бальмонт
Маргарита Алексеевна – М.А. Сабашникова
Маргарита Константиновна (Девочка, Веселая девочка) – М.К. Гринвальд
Frl. Maria – М.Я. фон Сиверс
Михаил Самойлович – М.С. Чуйко
Нина (Ниника) – Н.К. Бальмонт
Нина Васильевна – Н.В. Евреинова
Нюша – А.Н. Иванова
Сергей Васильевич (Сережа) – С.В. Сабашников
Татьяна Алексеевна (тетя Таня) – Т.А. Бергенгрин

ПИСЬМА

1903

1. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

Ноябрь <до 26 ноября / 9 декабря> 1903 г. Москва[1]

Пройдемте по миру как дети...[2]
Полюбимте шорох осок,[3]
И терпкость прошедших столетий,
И едкого знания сок.

Таинственный рой сновидений
Обвеял[4] расцвет наших дней...
Ребенок – непризнанный гений
Средь буднично взрослых[5] людей...

[1] Датируется предположительно. Текст, сохранившийся в нескольких редакциях, публикуется по записи в дневнике Сабашниковой от 27 ноября / 10 декабря 1903 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 70 об.). Первая публикация (по автографу ИРЛИ) – в кн.: Т. 1 наст. изд. С. 46, 449 (коммент. В.П. Купченко).

Это стихотворение, послужившее толчком к завязавшейся переписке, Волошин вручил Е.А. Бальмонт 26 ноября / 9 декабря 1903 г. (накануне своего отъезда в Париж) с просьбой передать М.В. Сабашниковой. Е.А. Бальмонт выполнила его просьбу, а Сабашникова переписала стихотворение в свой дневник (см.: Труды и дни. С. 113).

[2] Представление о «детстве» как подлинном, изначальном («божественном») состоянии человека, о непреодолимой черте, якобы разделяющей «детей» и «взрослых», лежит в основе дуалистического миропонимания Волошина, противопоставлявшего внешний, «поверхностный» мир («ткань бытия», «покров Майи») сокро-

венному, «истинному», открывающемуся в «младенчестве». «Между детьми и взрослыми существует непереходимая пропасть», – утверждал Волошин в статье «Откровения детских игр», написанной в 1907 г. (Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 189). Призыв вернуться в детство и быть «как дети», восходящий к словам Христа (Мф. XVIII, 3), – один из ведущих мотивов в переписке Волошина и Сабашниковой.

Из «детства» и связанной с ним «игры» произрастает, по мысли Волошина, и творчество. «Художники ведь это только дети, которые не разучились играть. <...> Все, что не игра, – то не искусство», – писал Волошин в 1908 г. в заметке, посвященной выставке детских рисунков (Т. 5 наст. изд. С. 93). «...Кто длит свой детский период игр, – тот становится художником, преобразителем жизни», – повторяет он в статье 1912 г. «Театр как сновидение» (*Там же*. С. 189). Ср. также строки других обращенных к Сабашниковой стихотворений Волошина, перекликающиеся с первой строкой данного стихотворения: «Мы / Один к другому, точно дети, / Прижались робко в безднах тьмы» («Мы заблудились в этом свете...»); «И мы, как боги, мы, как дети» («Второе письмо») и др. (Т. 1 наст. изд. С. 43, 61, 69). Развивая это понимание «детства», отягченное новыми смыслами в эпоху европейского романтизма, Волошин исследует и другие традиционные антиномии: «ночное» и «дневное» сознание, «сновидение» и «явь», «игра» и «серьезность» и т.п.

Эти взгляды Волошина полностью отвечали настроениям Сабашниковой того времени, осмыслявшей себя и окружающую действительность в духе символистского «двоемирия». О неприятии «мира взрослых» и тяготении ко всему «детскому» красноречиво свидетельствуют ее дневники 1900-х гг. Ностальгическая тоска по «детству», подкрепленная стихами и суждениями Волошина, многократно всплывает в ее записях той поры. См., например, недатированную дневниковую запись, сделанную Сабашниковой в Париже (судя по содержанию – около 25 мая / 7 июня 1904 г.): «Мы вместе много. Вдвоем <т.е. вдвоем с Волошиным>. Так весело. Такая радость. Мы счастливы как боги или как дети» (*Там же*, ед. хр. 22, л. 22 об.).

Получив от Волошина обращенное к ней стихотворение, Сабашникова записала в дневнике: «Пройдемте по миру как дети... Какая прелесть! Да, как дети. Как хорошо. И как грустно. Я была счастлива все дни» (*Там же*, ед. хр. 21, л. 69 об.).

Упоминания о «детстве», «сказке», обращения «дитя» или «ребенок», предложение «играть» (и попытка выстроить лич-

ные отношения как своего рода «игру») постоянно встречаются в эпистолярном диалоге Волошина и Сабашниковой, особенно часто – осенью 1905 г., когда лиризм их писем друг к другу достигает чрезвычайного накала. О теме «сна» и предрасположенности Сабашниковой к «видениям» см. также примеч. 2 к п. 4.

[3] В автографе ИРЛИ: «Полюбим шуршанье осок» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 46).

[4] В автографе ИРЛИ: «обвеял» (*Там же*).

[5] В автографе ИРЛИ: «буднично-серых» (*Там же*).

2. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

26 ноября / 9 декабря 1903 г. Москва[1]

26 ноября 1903 г.

Помните, Макс Александрович, в прошлый Ваш приезд[2] я Вам рассказывала один эпизод из своего детства, когда мне было больше всего стыдно? Мне было лет 7, у нас был бал, и мне позволили присутствовать, обращались как со взрослой; я, от восторга потеряв голову, пригласила, как взрослые дамы, кого-то на кадриль. Перед началом ее меня услали спать.

В этой смешной и мучительной роли я бывала часто с тех пор и всё ее забываю.[3]

Мне очень стыдно, но я не буду Вам писать. Это нелепо, но у меня всё пока довольно нелепо.

До свиданья, может быть.

Желаю Вам продолжать Ваш путь[4] с таким же радостным и чистым сердцем. За стихи ужасно Вам благодарна.[5]

Преданная Вам

М. Сабашникова

[1] Оригинал письма не обнаружен. Публикуется по копии, сделанной В.П. Купченко в начале 1970-х гг.

[2] Имеется в виду приезд Волошина в Москву в феврале–марте 1903 г.

[3] Этот эпизод (бал в доме Сабашниковых) подробно описан М.В. Сабашниковой в книге ее воспоминаний: семилетняя девочка приглашает на кадриль Отто Бергенгрина, мужа Т.А. Бергенгрин. «Он, казалось, был в восхищении, низко склонившись ко мне, провел меня под руку по залам и гордо представил всем как свою даму. Я была на седьмом небе». Однако вмешивается мать девочки, которая решительно отправляет ее спать. Для семилетней Маргариты это становится болезненным переживанием: долгожданный праздник, похожий на волшебную сказку, непоправимо испорчен; ее прекрасная иллюзия – разрушена. «Я лежала как в лихорадке <...> Нашел Отто другую даму? Что он обо мне подумает? Я никогда больше не смогу с ним встретиться!» и т.д. «И если я рассказываю эту маленькую историю, – подытоживает Сабашникова, – то только потому, что в ней я вижу что-то пророческое для всей моей дальнейшей судьбы. Как часто приходилось мне впоследствии в жизни повторять те же слова: “Как могла я знать это заранее, ведь думалось совсем не так!”» (Зеленая Змея. С. 36–37).

[4] 27 ноября / 10 декабря 1903 г. Волошин отправился из Москвы в Париж.

[5] Имеется в виду стихотворение «Пройдемте по миру как дети...» (см. п. 1).

3. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

6/19 декабря 1903 г. Париж[1]

3 Rue Bonaparte. Paris.[2]
Маргарите Васильевне – Макс Волошин:

Перемена города – как смена змеиной кожи. После долгих странствий я вернулся в свое старое, привычное и скучное парижское тело. И жизнь для меня продолжается с того момента, когда я год тому назад бросил Париж.[3] Мне он тогда так надоел своим туманом, холодом, слякотью, что я решил заснуть и теперь вдруг неизбежно проснулся на том же самом месте, в той же обстановке. И, просыпаясь, мне так хочется удержать эти быстрые убегающие струйки сна, но они сразу уходят и забываются.

И опять все то же, что было вчера – год назад. Тот же туман, те же лица, те же слова. Совсем как речь Жореса: его

прерывают криками и аплодисментами на полуслове, и он ожидает, когда все утихнет, и через десять минут договаривает конец слова и продолжает ту же фразу. Я с такими усилиями пытаюсь вспомнить Москву, но чувствую, что ничего никогда, кроме этих вечных серых дней и вечных скучных разговоров, и не было. Я заснул на точке отвращения к Парижу. И на той же точке проснулся. Я знаю, что с первым же солнечным днем я найду свою любовь к Парижу. Но все время лежит опаловый густой туман. Голые каштаны как силуэты тысяченогих пауков. Ночью сквозь рдяную пыль света тянутся черные лучи от стволов, и крыша Grand Palais*[4] над Сеной накаляется, как красный уголь.

Я в первый раз испытываю тоску по России. Неужели я ее впервые полюбил только в этом году?

Последнее, что я увез из Москвы в глазах, – был вечер в Кремле. Башни и соборы силуэтами висели в воздухе. По реке и по густо красному небу тянулись клубы морозного дыма и тишина. Вися в пространстве без линий, поблескивала красным и зеленым – жидким светло-зеленым – Москва-река. И в душе была такая темная апрельская певучесть. Во мраке вспыхивали попарно рифмы и созвучия, как влюбленные светящиеся жучки в Апеннинах. Потом начинали тянуться длинные волокна ползучего ритма.

Я никогда не испытывал с такой силой этой тайной пляски светящихся искр во мраке, как теперь в России.

И это вдруг оборвалось. Ни одного певучего волокна, ни одной рифмы...

Я сейчас ужасно несправедлив к Парижу. Я еще не начал работать. Я только пока кончаю со старым. Через неделю все переменится.

Выставки... Я был на выставке Стейнлена.[5] Вы знаете его? Это рисовальщик парижской улицы: Улицы предместий. Он очень социалист.[6] У него часто приходит в Париж Христос. У него Папа в виде паука, раскинувшего паутину. Это его сла-

* Большой дворец *(фр.)*.

бости. Но его фигуры – это весь Париж: уродливые грибы на каменной мостовой, слизь сточных труб.

Рабочие, faubouriennes*, кошки, публичные балы, стачки...

Он со страшной отчетливостью чувствует некоторые части фигуры: голову, выпяченные колени, спину, складки рабочих шаровар – остальное он наскоро соединяет как попало, только чтобы заполнить.

Он груб в красках.

Но что удивительно – это иллюстрации к песням Жана Риктюс.[7]

Это фигуры худощавого, длиннобородого человека в продранном пальто и цилиндре, идущего по улице. Картины Парижа проходят, но фигура все идет с созерцающе скорбными глазами. И, наконец, в ночном тумане и вихре перед этим лицом, как зеркальное отражение, выступает голова Христа, похожая на него.

И опять туман, зимний опаловый туман...

Теперь я пишу в Национальной библиотеке в ожидании книг. Я люблю эту громадную залу, стены которой – книги. Эту синеватую и красноватую кремнистость кожаных старых переплетов, поблескивающих золотом, эти тысячи стиснутых книг и белесоватая рябь лысин внизу. Точно круглые листья кувшинок на черно-сертучной трясине. Какие фигуры, вросшие в столы. Утомленно глубокомысленные лица – часть обстановки, потерявшие возможность самостоятельного существования. А иногда эти столы мне напоминают стойла, в которых медленно и методично пережевываются большие стопки красных переплетов.

Вот и моя порция... До свидания.

P.S. Я позабыл имя вашего дома и потому адресую письмо Екатер<ине> Алексеевне.[8]

* Жительницы предместий *(фр.)*

[1] Датируется по конверту, отправленному по адресу Е.А. Бальмонт (см. примеч. 8 к данному письму). Штемпеля на конверте: Paris 19.12.03; Москва. 19.XII.03. Местонахождение конверта, скопированного В.П. Купченко в начале 1970-х гг., в настоящее время не установлено.

[2] Адрес гостиницы, в которой остановился Волошин по приезде в Париж (см.: Труды и дни. С. 113).

[3] Волошин покинул Париж 26 декабря 1902 / 8 января 1903 г. (Труды и дни. С. 105).

[4] Здание на Елисейских Полях, построенное в 1896 г. для Парижской Всемирной выставки. Позднее использовалось как ипподром, выставочный и концертный зал и т.д.

[5] Выставка Стейнлена состоялась в декабре 1903 г. в галерее издателя Пеллетана на площади Сен-Жорж. В статье «Письмо из Парижа. Выставка художников» (Весы. 1904. № 2. С. 42–44), в основном посвященной Стейнлену, Волошин развивает отдельные мысли и наблюдения, высказанные в этом письме к Сабашниковой (см.: Т. 5 наст. изд. С. 381–384, 780–782).

[6] Волошин имеет в виду тяготение Стейнлена к социальным темам.

[7] В 1903 г. Стейнлен иллюстрировал сборник стихов Ж. Риктюса «Монологи бедняка» (1887). «...Из Soliloques du Pauvre <«Монологов бедняка»>, – писал Волошин в «Весах» («Письмо из Парижа»), – он <Стейнлен> создал громадную лирическую драму» (Т. 5 наст. изд. С. 382).

[8] Сабашникова жила на Смоленском бульваре, тогда как Бальмонт с женой снимали в 1903–1904 гг. квартиру на Арбате в Большом Толстовском переулке, 5 (дом А.Б. Нейдгарта).

4. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

17/30 декабря 1903 г. Москва[1]

На днях я получила Ваше письмо, Макс Александрович. Так это верно, что Вы и Париж, о кот<ором> Вы пишете, существуете в самом деле? Мы для Вас – сон, а Вы для нас...[2] «В полдневный жар в долине Дагестана...»[3] Впрочем, это, кажется, сюда не подходит. Ну, все равно.

Париж – обетованная мне земля, совсем не походит на тот Париж, о котором Вы пишете. Или Вы уже теперь почувствовали настоящий?

А я рада, что Вы немножечко поняли Москву. Ее красота так интимна; она так незаметно и не сразу входит в душу. Мимо Кремля я не могу никогда пройти равнодушно.[4] Я рада, что живу здесь.[5]

Знаете, года идут, я страшно меняюсь, а она со своими временами и празднествами входит в мою жизнь каким-то ритмом. Каждый год с детства то же самое, и каждый год я с удивлением вспоминаю, что это когда-то уже было. В этой повторности есть красота обряда. Вот теперь перед Рождеством у нас, Бог знает зачем, переворачивают весь дом, п<отому> ч<то> идет уборка. Приедет брат,[6] и мы пойдем втроем в сочельник в снежные сумерки на Арбат за цветами. Я куплю деревцо белой азалии, и мы будем удивляться, что все это когда-то было и говорить об этом.

На второй день праздника все обедают у бабушки.[7] Этот обычай установлен с незапамятных времен.[8] Знакомый запах старины в комнатах, знакомый гул Андреевских[9] голосов; длинный стол, ряд знакомых ваз с апельсинами и за ними ряд ужасно знакомых лиц. Все до такой степени похоже на прежние года, все слова, все шутки, что года сливаются в одно, и я забываю, сколько мне лет. Вы думаете, это скучно? Нет, совсем нет. Может быть, оттого, что я их ужасно всех люблю... Может быть, оттого, что это такой нетронутый кусочек детства. «Проходит жизнь однообразна – однообразием сильна».[10] Сила в этой десятилетиями настоявшейся атмосфере, в которой тонет все временное. «Тогда времени больше не будет».[11] Да, у меня такое чувство на наших семейных обедах. Впрочем, это хорошо, когда атмосфера закристаллизуется в торжествах или катастрофах... Ну, а подчас она тяжеловата.

Вам, вероятно, не приходилось испытывать ни тяжести ее, ни красоты в Вашем «быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий из глаз предмет».[12]

Макс Александрович, что же я до сих пор не сказала Вам про Ваше стихотворение «Пройдемте по миру, как дети»...

Оно все – прелесть. А первые строчки наполняют меня такой радостью.[13] Есть у Вас что-нибудь новое?

Напишите, где и как Вы работаете и что сказали посвященные о Ваших летних этюдах?

Стейнлена я не знаю. Зачем человек пишет красками, когда он не чувствует их, и зачем, когда он видит только голову и колено, он рисует все остальное. Это пережитки, я думаю.

Я написала, наконец, эскиз для «Убиение Царевича» для народного издания.[14] Движением и характером лиц я довольна; тона вышли красивые, но я хотела, чтобы убийство, злодейство чувствовалось в красках. А краски вышли веселые. Меня занимает теперь эта задача – выразить настроение одними красками. Вы не знаете: «едкого знания сок»[15] не коснулся вопроса, почему «красный в сером – это цвет надрывающей печали», красный в золотом – пирный и т.д.? Вы думали об этом? Недавно я ночевала у бабушки. Всю ночь горела синяя лампадка и производила какое-то странное болезненное впечатление.

Заканчиваю «Г<оспо>жу Кошку»,[16] которая после Вашего отъезда успела уже несколько раз уничтожаться и вновь возрождаться, как феникс. Теперь она, кажется, не умрет и лучше, чем была.[17]

То, что Вы не предлагаете вопросов, вовсе не так хорошо, как Вы думаете, п<отому> ч<то> я не знаю, что Вас интересует, о чем писать. Бальмонты в Петербурге. Навещаю Нинику, укладываю ее спать. Обольстительное существо! Сейчас иду к ней. Вчера там получилось Ваше письмо К<онстантину> Д<митриевичу>, я видела.

Ну, до свиданья.

Смоленский бульвар
угол Неопалимовского пер<еулка>.

Сладкозвучно имя моего замка?
Он носит имя дома Дубинкина.

17 декабря 1903 г.

[1] Ответ на п. 3. В одной из рабочих тетрадей В.П. Купченко сохранился черновой текст этого письма (оригинал обнаружить не удалось).

[2] Тема «сна» – одна из главенствующих в переписке Волошина и Сабашниковой 1904–1905 гг. – отражает как свойственное им обоим религиозно-романтическое восприятие жизни («жизнь есть сон»), так и болезненно-хрупкую психическую натуру Сабашниковой, склонной к «видениям», «образам» и погружениям в «потусторонний мир». «Сон, действительность... какая разница?» – этим вопросом она задавалась еще в 17-летнем возрасте (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 16, л. 17; дневниковая запись от 14/ 27 мая 1899 г.). «О мои сны, о редкие, о милые сны! – пишет она в дневнике 27 июня / 10 июля 1903 г. – Что было бы с моей жизнью без вас!» (*Там же*, ед. хр. 21, л. 28). «Я, как призрак, брожу в этом мире, как в Аиде, и вокруг меня бродят мои сны, – сокрушается Сабашникова в дневниковой записи от 12/25 декабря 1904 г. – <..> Сны мои летят впереди и сзади меня, и я не знаю ничего, кроме них; они закрывают от меня солнечный свет крыльями. Я не верю им, и у меня нет власти их рассеять» (*Там же*, л. 32 об. – 33). В письмах к Волошину Сабашникова вновь и вновь возвращается к своим «наваждениям», пересказывает свои «странные» и «страшные» сны, пытается их осмыслить (см. п. 54, 64, 107 и др.).

Та же тема, усугубленная влиянием Сабашниковой, нарастает и в поэзии Волошина 1900-х гг. Свою близость к Сабашниковой Волошин переживает (в стихах и письмах) как общность их сновидений. «Кто видел вместе те же сны / Становится невольно ближе...», – сказано в его стихотворении «Письмо» (см. п. 15). В стихотворении «In mezza di cammin» (1907) – оно завершает цикл, посвященный Сабашниковой, в книге «Стихотворения. 1900–1910» – лирическая героиня предстает в образе «безумной девушки», поверившей «правде снов» (Т.1 наст. изд. С. 74). Ср. также: «Я вижу грустные, торжественные сны» в седьмом стихотворении цикла «Киммерийские сумерки» (*Там же*. С. 91); «Явь наших снов земля не истребит...» в венке сонетов «Corona Astralis» (*Там же*. С. 120) и др.

[3] Первая строка стихотворения Лермонтова «Сон» (1841).

[4] В черновом варианте (см. примеч. 1 к наст. письму) сказано: «Как хорошо, что Вы видели Кремль перед отъездом. Я никогда не прохожу мимо равнодушно. И вообще Москва... Она стоит Вашего Парижа. Только об ней сказать что-нибудь трудно. Ее красота так интимна, она как-то незаметно входит в душу». Сабашникова намекает Волошину на его письмо к Е.А. Бальмонт, написанное им сразу же по приезде в Париж. Получив это письмо, Е.А. Бальмонт позна-

комила с ним Сабашникову, в дневнике которой читаем (запись от 10/23 декабря 1903 г.): «Она <Е.А. Бальмонт> вчера получила одно письмо и дала мне прочесть. Есть строчка: “Я пошел в Кремль от вас, был ведь почти вечер; я смотрел на старинные церкви, на зорю, на изморозь; так я простился... Здесь мне не с кем говорить и, главное, не с кем молчать, с Вами мы о многом молчали... Перестал быть прохожим, стал человеком”» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 75 об.).

5 Сабашникова любила Москву и в книге воспоминаний посвятила своему родному городу несколько эмоционально написанных страниц (Зеленая Змея. С. 58–63 и др.).

6 А.В. Сабашников.

7 Андреева (урожд. Королева) Наталья Михайловна (1832–1910), жена купца А.В. Андреева, бабушка М.В. Сабашниковой.

8 В черновике сказано: «На второй день Рождества мы все будем обедать у бабушки в Брюсовском пер<еулке>. Это однообразно как обряд, и в этом есть красота обряда».

9 Т.е. членов семьи Андреевых.

10 Неточная цитата из стихотворения З.Н. Гиппиус «Любовь – одна» (1896), вошедшего в «Собрание стихов» (книга вышла в октябре 1903 г.). Творчество Гиппиус интересовало Сабашникову уже в конце 1890-х гг. В ее дневниковой записи от 14/26 мая 1899 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 16, л. 17) приводятся (неточно) строки известного стихотворения Гиппиус «Посвящение» («Небеса унылы и низки...», 1894); в том же году Сабашникова читала повесть «Сумерки духа».

Знакомство с «Собранием стихов» подтолкнуло Сабашникову к размышлению о современном искусстве: «У меня сборник стихов Зинаиды Гиппиус; умно, близко и неприятно. Что такое? В чем дело? Что в современных поэтах почти во всех отталкивает? Раньше самые интимные струны были сокровенны. Сокровенны условными формами классицизма, романтизма, реализма... Это все равно. Они чувствовались; о них догадывался каждый и не говорил; сущность жила в них – нетронутая, в них было что-то девственное, стыдливое. Страдание, молитва – все это было в темноте, в тени росистой; об этом говорили шепотом. Теперь кричат. Зинаида молится на народ; кричит о страдании. Все это и умно, и верно, все там есть, “что в существе разумном мы зовем возвышенной стыдливостью страданья”. Условных форм нет, чувства обнажены, цепей нет; какая оргия либерализма. И в литературе, и в живописи критики стоят над душой; им именно душу твою нужно. Они все поняли; предел последний, и “да”, и “нет”, и потустороннее. Подавай им тайну. О Боже, сколь свободнее были наши предшественники, стеснен-

ные одним академизмом. Никто не смел касаться тончайших струн их творчества. Сокровенные струны перестали быть сокровенными. Все эти г<оспо>да Бенуа, Мережковские с их “тайнами”. Ужасно. Стыдно часто говорить такие слова, как Бог, тайна, вечность. Как они не чувствуют этого! Как им не стыдно!» (запись от 4/17 декабря 1903 г. // ИРЛИ. Ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 74 об. – 75; цитируются заключительные строки стихотворения Ф.И. Тютчева «Осенний вечер» (1830). Другой вариант последней строки (принятый ныне в большинстве изданий): «...Божественной стыдливостью страданья»). См. также п. 6 (место, отмеченное примеч. 14).

[11] Откровение св. Иоанна Богослова (X, 6).

[12] Неточная цитата из заключительного фрагмента 1-го тома «Мертвых душ» («И какой же русский не любит быстрый езды?» и т.д.). У Гоголя: «...И что-то страшное заключено в сем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет...» Эта фраза Гоголя не раз повторяется в дневниках Сабашниковой начала 1900-х гг. См. также п. 168.

[13] В черновом варианте этого письма Сабашникова высказывалась о стихотворении Волошина более подробно: «Что же я до сих пор не сказала про Ваше стихотворение “Пройдемте по миру как дети...” Как это хорошо, Макс А<лександрови>ч! Какая прелесть! Когда я произношу первые две строчки, мне делается так весело. Впрочем, мне оно все нравится, 2 последующих тоже очень. И потом Вы хорошо сказали, что ребенок – непризнанный гений... Очень хорошо. Когда будут новые стихи, Вы мне пришлете?»

[14] «Убиение царевича Дмитрия» – одна из ранних работ Сабашниковой (замысел восходит к 1902 г.), навеянная, возможно, картиной М.В. Нестерова «Димитрий, царевич убиенный» (1899). «Один наш знакомый, желавший послужить русской культуре, – вспоминала Сабашникова, – задумал заказать разным художникам серию исторических картин; их дешевые репродукции любой крестьянин мог бы купить на базаре и повесить у себя на стенке, как это издавна водилось в русском народе. Вдохновляющая задача! Я тоже получила такой заказ. Темой я выбрала “Убийство царевича Дмитрия в Угличе”. Сделав несколько рисуночных набросков, я решила, что картина должна полностью рождаться из движения красок: открытая лестница дворца в Угличе на фоне громоздившихся грозовых туч, на переднем плане – мать на коленях, вся в белом, опираясь на раскинутые руки, как орлица, защищающая свое мертвое дитя. Кругом толпа, очень пестрая, в ужасе; в отдалении – смятение и погоня, как красное пламя. <...> За картину “Убийство царевича Дмитрия” я получила двести рублей» (Зеленая Змея. С. 110, 117; «один наш

знакомый» – В.Д. Протопопов). Нынешнее местонахождение этой работы неизвестно.

[15] Из стихотворения Волошина «Пройдемте по миру как дети...» (п. 1).

[16] «Госпожа Кошка» – работа М.В. Сабашниковой (холст, масло). К работе над этой вещью Сабашникова в 1903–1904 гг. возвращалась неоднократно. В.П. Купченко сообщает, что 19 ноября / 4 декабря 1903 г. она показывала эту картину Волошину (Труды и дни. С. 112). «Что же будет с “кошкой”, с кошкой, которой я живу всю зиму, которую я предчувствую несколько лет...», – записала Сабашникова в дневнике 24 января / 6 февраля 1904 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 5 об.– 6). См. следующ. примеч., а также примеч. 4, 6 и 7 к п. 9 и Т. 9 наст. изд. С. 81–82.

Судьба этой работы и ее нынешнее местонахождение неизвестны. В составленном Сабашниковой ретроспективном списке ее работ (не датированная рукопись) значится картина под названием «Дама и кошка» и указана дата «около 1906» (Margarita Woloschin. Leben und Werk. Mit Beiträgen von Rosemarie Wermbter, Ruth Moering und Dorothea Rapp. Stuttgart: Freies Geistesleben, 1982. S. 172).

[17] Ср. в черновом варианте: «Представьте себе, что “Г<оспо>жу Кошку” я уничтожила на другой день после нашего посещения Щукина. Вероятно, Ренуар стоял передо мной. Та женщина его до сих пор преследует меня. 2 дня я опять пишу “Кошку”». Коллекцию С.И. Щукина Волошин и Сабашникова впервые осмотрели (вместе с К.Д. Бальмонтом и Е.А. Бальмонт) 11/24 февраля 1903 г., вторично (вместе с Бальмонтами и др.) – 25 ноября / 8 декабря 1903 г. (см.: Труды и дни. С. 108, 112–113).

5. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

24 декабря 1903 / 6 января 1904 г. Париж[1]

3 Rue du Bac[2]

Маргарите Васильевне –
Макс Волошин:

Город умственных похмелий,
Город призраков и снов.
Мир гудит на дне ущелий*

* *Было*: Гул встает со дна ущелий

Между глыбами домов...*
Там проходят миллиарды...
Смутный гул шагов людских
К ним доносится в мансарды,
Будит эхо в мастерских...
Смотрим в мир с вершины гор мы,
И, волнуясь и спеша,
Шевелясь, родятся формы
Под концом карандаша.**
Льется огненный поток
Со сверкающей палитры.
Солнца больше чтить не мог
Жрец Ормузда или Митры.***
Днем я нити солнца тку,
Стих певучий тку ночами...
Уж я тку, и тку, и тку...
Серый город я затку
Разноцветными лучами.
По ночам спускаюсь вниз
В человеческую муть я,
Вижу черных крыш карниз,
Неба мокрого лоскутья.
Камни жутко-глубоки
От дождливых бликов лака.
Как гиганты-пауки?
Ветви тянутся из мрака...
Темный Город все растет?
Стены тянутся все выше.****
Будет день, и в крепкий свод
Навсегда замкнутся крыши...[3]

Это только отрывочные строфы, и я еще не знаю, что я из них сделаю. Париж для меня снова воскрес и приобрел свое обаяние.

Тогда были только первые дни пробуждения.

---

* *Было*: От подножия домов...

** *Смотрим в мир* ∾ Под концом карандаша *вписано на полях*.

*** *Было:* Солнца больше чтить не мог / Жрец Ормузда или Митры. / Льется огненный поток / Со сверкающей палитры

**** *Было*: Стены серые все выше.

Вопросы в письме? Это обозначает всегда такие неважные ответы о неважных событиях: «Иван Иваныч потолстел и все играет на скрипке и т.д.»

Письмо – кусочек души, отрывок мысли, закрепленный именно в эту минуту.

Так неважно знать, что другие делают в твоем отсутствии, и так важно почувствовать прикосновение далекого лица.

«...Пойдем в снежные сумерки в сочельник на Арбат за цветами. Я куплю деревцо белой азалии, и мы будем удивляться, что все это когда-то было».

«...Сила десятилетиями настоявшейся атмосферы, в которой тонет все временное...»

«Всю ночь горела синяя лампадка»...

Вот, что для меня самое важное и радостное в Вашем письме. А разве об этом можно спрашивать? «Что Вам вспоминается, когда Вы пишете письмо?» – вот единственный вопрос, который я могу предлагать в каждом письме.

У меня в детстве никогда не было атмосферы большой семьи и многолетних традиций.

Может, поэтому у меня такое острое и неосуществимое чувство любви к ним.

«Кристаллизация жизни в торжествах и катастрофах» мне совсем неизвестна и поэтому страшно заманчива.

Это, может, было чуть-чуть в самом раннем детстве. И это все-таки возвращение для меня.

О, как странно, о, как звонко
Здесь шаги мои звучат!
Легкой поступью ребенка
Я вхожу в знакомый сад...
Слышишь: сказки шелестят?
После долгих лет скитанья
Нити темного познанья
Привели меня назад.
Время медленней и шире...

Всюду отсветы огней...
О, как странно в этом мире
Быстро шепчущих теней...[4]

Как в Париже хорошо рисовать и как трудно писать стихи. Роятся отдельные строфы, но они никогда не соединяются вместе.

Но линии выступают для глаза с такой удивительной четкостью, является такая *изобретательность* в рисунке и в красках.

Я пока работаю в нашем русском «Кружке» художников,[5] которого я был одним из организаторов. У нас есть ателье, где всегда позирует модель. А по вечерам мы рисуем друг с друга «croquis».*Причем каждый позирует по очереди по получасу. Это самое полезное и интересное.

Теперь ночь. Я пишу это письмо в кафе на Буль-Мише.[6]

Я был в театре. Потом ходил по пустынной Аллее Обсерватуар.[7] Лунное небо было как куски майолики, вкрапленные между ветвями.

Сквозили статуи. Сквозь золотую решетку Люксембургского сада была видна широкая аллея песку. Чувствовалась тишина земли. Щека прикоснулась к холодному и шероховатому железу.

Потом я вышел на Сен-Мишель.

Мимо прошли две молодых женщины в глубоком трауре и молодой человек с бликом на цилиндре. Они напевали что-то веселое и задорное, почти касаясь тремя наклоненными головами. И весело в такт стучали звонкими каблучками по ночному асфальту. Кнут Гамсун...

Сразу поднялось впечатление театра. Это было Revue-балет.[8] Красное, желтое... Юбки, как махровые маки. Трико. Розово-белые плечи и руки. Клочки волос под мышками.

«...Один из всех зверей он изобрел одежду,
Чтоб наслаждаться наготой».[9]

---

* Эскизы, наброски *(фр.)*.

У одной из шикарных певиц на плече из-под слоя белил сквозили следы татуировки:

Печать квартала Монпарнас...

В красоте Парижа легкий привкус тления, как в хорошо приготовленной дичи.

Немножко смерти, как немножко яда, — это основа наркоза.

В Париже всегда немножко смерти.

Странно... для меня существуют только два вида наркоза, которые опьяняют и дают забвение: книга и разговор.

Знаете, когда прочитываешь залпом, не отрываясь, целую книгу и встаешь с мутным взором, шатаясь, не понимая других слов — со всеми признаками отравления.

Вот уже два дня, как я в странном опьянении от одного разговора.

Помните, когда мы говорили о времени, я сказал, что наше зрение в будущее настолько же сильно, как и зрение в прошедшее и все другое.

И вот на днях мне рассказали одну историю, которая потрясла меня, как фактическое открытие Нептуна после теоретических выкладок Леверрье.[10]

Это странная история самоубийства одной молодой женщины, случившаяся 10 лет назад в глухом имении в центре России. Она послужила сюжетом одного французского романа, отчасти мне известного.

Но лицо, написавшее его, знало только внешние события. Мне рассказали содержание длинного письма самоубийцы, в котором описано все необычное состояние ее.

Это была молодая женщина. У ней было несколько детей. Она очень рано вышла замуж. У ней была вечная жизнерадостность и наружность куколки.

Потом это сменилось резкой меланхолией, многими попытками к самоубийству и, наконец, катастрофой.

В своем письме она пишет, что сразу почувствовала себя отделенной от обычного человеческого мира непереходимым кольцом. Она продолжала видеть все и понимать все, но потеряла всякое чувство и вкус к живому. «Я видела все те же обычные вещи, которые видят все, но никто не понимает их. Все видят настолько же ясно в будущем, как и в прошедшем,

но только не понимают этого. И я знаю за несколько шагов вперед все свои поступки и чужие. Я уже давно умерла, но почему-то тело еще остается живо.

Я понимаю все явления, которые вас должны радовать, но во мне исчезло все человеческое. Если бы Вы знали, как это мучительно, вы бы сами убили меня, а не удерживали бы. Только когда я чувствую в себе зарождение новой жизни, во мне просыпается человеческое.

Физическое страдание меня наполняет безграничной радостью. Я ясно вижу все то мое, что я оставляю моим детям. Они будут такие же странные, как я... Они также будут видеть дальше в будущем»...

Тут она подробно описывает характер своих детей (старшему тогда было четыре года). И все ее слова, безусловно, сбываются теперь через десять лет.

У мальчика вырываются такие слова: «Да, а вот через год, когда я опять приеду, папа опоздает на поезд, и я буду ждать на вокзале и будет так грустно». И это сбывается.

Какая жуткая жизнь духа в умершем, но еще существующем теле. Это более страшно, чем «Случай с господином Вальдемаром».[11]

О, если б мне когда-нибудь удалось прочесть самому это письмо. То, что я написал, это не скелет, а только одна черта из отрывка, пересказанного мне.

Я был в частной квартире парижского продавца картин — Дюран-Рюэля.

Это фирма, создавшая импрессионистов.

Лучшие вещи Дегаза, Клода Монэ, Ренуара — находятся у него. Это собрание шедевров школы.

И я не видал ничего более банального и пошлого, чем эта квартира, в которой все двери расписаны К. Монэ, Ренуаром и д'Эспания. Нужно зажмуриться от всего остального, чтобы рассмотреть отдельную вещь. Все вместе вопиет пошлостью. И, смотря, я думал, что это совсем не вина хозяина квартиры, а вина только художников. Полвека художники ведут борьбу с Академией и с буржуазной пошлостью.

Первое понятно. Но второе – это их вина. Действительность нельзя отрицать. Художник должен подойти к действительности и, прикоснувшись, освятить ее. Даже фабричные вещи. Это только некрещеные дети. Одним прикосновением кисти художник может их очистить от первородного греха.

Разве можно рисовать на таком мертвом, как полотно? Первым материалом для живописи была человеческая кожа – татуировка.

Всякую обыденную вещь, по которой скользит взгляд и проходит рука, позолотить грезой, сделать символом, сделать напоминающим о вечном.

Европейскому художнику жизнью дана маленькая: не светлая обычная комната обычного европейского дома, с обычной мебелью.

Стену можно вынуть всю, вдавить вглубь, как делает Пювис де Шаван фреской.

Ее можно заткать цветами, как делает Вильям Моррис обоями.

Но в ней нельзя прорубать случайных и неправильных окошек, одно рядом с другим, как сделали импрессионисты.

Вся работа импрессионистов – это только эскизы для будущих фресок.

Художники не торгуют своими произведениями. Какая ложь. Только благодаря этому слово рынок получило такое позорное значение.

На востоке базар – это университет, клуб, библиотека. Вещь и идея там неразделимы. Мысль об «Grand Art»,* которое должно выражать чистую мысль, целую исповедь личности – это тоже роковое наследие Возрождения. Как позорна эта публичная исповедь на стене музея! Как мало говорит это площадное ораторское Grand Art рядом с простой веточкой японского орнамента на тростинке-ручке для пера.

Сколько тут символов и «шуршанья осок».[12] Позолота будничного серого. Золото только на сером не банально.

---

* Великое искусство *(фр.)*.

Сквозь сеть алмазную зазеленел восток.
Вдаль по земле таинственной и строгой
Лучатся тысячи тропинок и дорог.
О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!
Всё видеть, всё прочесть, всё знать, всё пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Ощупать шар земной горящими ступнями,
Всё воспринять и снова воплотить![13]

6 января 1904.[14]
Paris.

[1] Ответ на п. 3.

[2] В конце декабря 1903 – начале января 1904 г. Волошин поселился в мансарде дома, «где родился Коро, с видом на Сену» (из письма к А.М. Петровой от 18 июня / 1 июля 1905 г.). См.: Т. 9 наст. изд. С. 199; Труды и дни. С. 114.

[3] Подробно об этом стихотворении, впервые опубликованном в журнале «Золотое Руно» (1906. № 11/12. С. 56), см.: Т. 2 наст. изд. С. 390–391, 697.

[4] Впервые (под заглавием «Детство») – в «Золотом Руне» (1906. № 11/12. С. 56). В сокращенном виде и без заглавия (первая строчка: «О, как чутко, о как звонко...») вошло в первый стихотворный сборник Волошина (см.: Т. 1 наст. изд. С. 43, 449).

[5] «Кружок русских художников “Монпарнас”» («Русский артистический кружок»), созданный в 1903 г. в Париже по инициативе Е.С. Кругликовой и при участии А.В. Гольштейн и О.Н. Мечниковой (жены ученого), занимался устройством выставок, литературно-музыкальных вечеров, проводил лекции и т.п. Волошин исполнял обязанности секретаря. В мае 1904 г. в помещении Кружка была открыта выставка русского кустарного искусства, которой Волошин посвятил отдельную статью (см. Т. 5 наст. изд. С. 436–439, 802–804). Кружок окончательно прекратил свое существование в январе 1908 г.

Краткие справки о Кружке см. в журнале «Искусство» (1905. № 1. С. 38; № 2. С. 60; № 8. С. 71; заметки без подписи) и в книге: *Северюхин Д.Я.*, *Лейкинд О.Л.* Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820–1932). Справочник. СПб.: Издательство Чернышева, 1992. С. 122. См. также: *Купченко В.П.* Хроника русского «Монпарнаса» // Русская мысль (Париж). 1999. № 4283. 9–15 сент. С. 14; *Купченко В.П.* М.А. Волошин – член кружка русских художников в Париже // М.А. Волошин – поэт и мыслитель: Десятая Международная научная конференция. Крым, Коктебель 17–21 мая 1999 г.

Материалы. Симферополь: Крымский Архив, 2000. С. 40–42. Ср.: Т. 9 наст. изд. С. 162–163.

[6] Сокращенное название парижского бульвара Сен-Мишель.

[7] Аллея Обсерватории (*фр.*) – улица в Париже.

[8] Балетное обозрение (*фр.*).

[9] Из стихотворения Сюлли-Прюдома «Оргия»; цит. в переводе И.И. Тхоржевского: «Он странный зверь <...> он выдумал одежды, / Чтоб насладиться наготой!» Волошин цитирует эти же строки в письме к А.М. Пешковскому из Парижа 2 / 15 декабря 1902 г. (см.: Т. 8 наст. изд. С. 770 и 773); их же он поставил эпиграфом к статье «Весенний праздник тела и пляски ("Bal des Quat'z-arts")» (1904; см.: Т. 5 наст. изд. С. 400).

[10] Главной научной заслугой Леверье считается предсказание о существовании планеты Нептун, сделанное с помощью математических вычислений. По расчетам, полученным Леверье, планету обнаружил в 1846 г. немецкий астроном Иоганн Готфрид Галле.

[11] Один из «Таинственных рассказов» Эдгара По («The Facts in the Case of M. Valdemar», 1845), переведенный в 1895 г. Бальмонтом под названием «Факты в деле мистера Вальдемара»; другие русские названия: «Говорящий мертвец», «Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром» и пр. В рассказе повествуется о загадочной истории главного героя после смерти: сохранявшийся под гипнозом, его труп распадается, как только гипноз прекращает свое действие. 15/28 мая 1905 г. Сабашникова, беседуя с Волошиным, вспоминает об этом рассказе Э. По: «Кто из нас умер, а кто жив? Или мы по очереди умирали? Мне кажется, что со мной повторяется "Случай с г<осподи>ном Вальде<ма>ром". Может быть, этой весной я была только загипнотизированный труп. Впрочем, я не знаю» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 202).

[12] Из стихотворения «Пройдемте по миру как дети...» (см. п. 1).

[13] Впервые: Золотое Руно. 1906. № 10. С. 32 (см.: Т. 1 наст. изд. С. 47, 449). Варианты печатного текста: ст. 5 – «Всё видеть, всё понять, всё пережить»; ст. 7 – «Пройти по всей земле горящими ступнями».

[14] В автографе описка: 1903.

1904

6. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

8/21 января 1904 г. Москва[1]

Ваше письмо... Сколько в нем! Если бы Вы знали, что за наслаждение получить здесь особенно такое письмо. Когда ненужные слова наполняют уши, и лень слушать, и лень отвечать, я вспоминаю, что у меня в ящике Ваше письмо, и мысленно отвечаю.

Если я не писала до сих пор, то это оттого, что трудно сосредоточиться. Была такая суета все эти дни. Эти дни... У Вас бывают в жизни лишние дни? У меня иногда. Это очень большой грех: переживать лишние дни. Мне хотелось бы, чтобы моя жизнь была кратка и цельна, как греческая драма; чтобы на каждую вещь я смотрела, как в первый и последний раз, чтобы любила каждую минуту со всем, что она приносит, как единственную. И вот иногда видишь, что драма эта растянута, теряешь нить... Лишние действующие лица, лишние слова. И нет мужества их выбросить. Впрочем, в воспоминании эти лишние дни исчезают или они освящаются. Но в общем их нет. Я не помню. Нужно так сделать, чтобы можно было умереть за каждую минуту. Правда? Изо всех сил чувствовать ее, чтобы постоять. Я не знаю, как все привыкают к жизни и не удивляются, т.е. не то что не удивляются, а не чувствуют, что минута не повторится, но и не пройдет. Что никогда не пройдет, а станет бесконечною. Я пишу нелепо, но, может быть, Вы поймете приблизительно, что я хочу сказать.

Ваш рассказ о той женщине, которая видела будущее, произвел и на меня сильное впечатление, но постепенно, не

сразу сдвинул какие-то столбы и своды в моем уме. «Грядущие годы таятся во мгле»...[2]

Значит, они только таятся, но все уже завершено, совершено, только лучи достигают до нас, отражение. В детстве я об этом думала без слов, а сейчас я не обхожусь без слов, а у меня их нет. Если Вы еще заняты этой мыслью, напишите еще.

Ваше последнее стихотворение[3] великолепно; и особенно «горящие ступни». Но слово «ощупать» мне почему-то не нравится; в нем есть обезьянье движение, и потом оно лишнее; мне кажется, что «горящими ступнями» все уже сказано.

Потом мне нравится: «Вдоль по земле таинственной и строгой». Это передает утро. Я люблю этот час, когда небо становится выше и холоднее, и у звезд горячечный блеск, и потом одна дрожит, как капелька. Этим летом я ночевала иногда на балконе высоко над лугом и вот просыпалась в этот час. Глаза, открываясь, не ослеплены пестротой дня. Мир в каком-то рассеянном подводном свете. «Все замерло, земля молчит, сараи слепы и угрюмы, деревья хмуры, важны думы...»[4] И такое чувство, точно в этот час мир не успел закрыть глаза и смотрит на меня заплаканными светлыми глазами, и кажется задумчивым и больным. Дремучие леса в туманах, дороги пустынны, и на заплаканных лугах лежат светлые холодные озера. Утренний ветерок шевелит на голове волосы.

Прохладный кто-то здесь прошел
Неслышно, перед утром.
И легкой рябью с перламутром
Он в воды тихие вошел...[5]

К сожалению, не могу писать стихов, но я напишу панно, где будут эти открытые заплаканные и спокойные глаза природы, застигнутой не спящей...

Отчего Вы называете Ваше парижское стихотворение «Отрывочными строфами»? Оно производит очень цельное впечатление. Я соприкоснулась с таким далеким и вместе близким миром. Мне оно очень нравится, только слово «уж» в четвертой строфе придает какой-то русский стиль, и это не подходит; третья строфа мне нравится меньше других.

А какая прелесть: «О, как странно, о, как звонко здесь шаги мои звучат» и особенно: «Слышишь, сказки шелестят?» Это все звучит у меня в ушах.

То, что Вы пишете о современной европейской форме живописи, как нельзя лучше выражает мои чувства. Какие-то заплаты, четырехугольные заплаты на жизни. Здесь была выставка «Союза русск<их> худ<ожников>».[6] Кое-что наскребли из старых вещей Врубеля.[7] И, кроме него, никто мне не нужен. Бабы Малявина великолепны, это жар-птицы, их платья синие с вкрапленными в ткань красными цветами, великолепны. Они горят, они кричат, они остаются в глазах. Но Врубель... он жжет душу. Как об нем говорить? Там был портрет его ребенка;[8] голова с белым хохолком торчит из колясочки; рассеченная заячья губа и глаза, как два вставленных больших сафира. Светлые и совсем безумные. Это не слабоумие, а именно безумие, и в лице полуторагодовалого ребенка это страшно, это самое страшное, что я когда-либо видала. Врубель писал его уже совсем больной, а ребенок умер этим летом от воспаления мозга.[9] Мать – Забела – не соглашалась выставить этот портрет, ее упросили. Мне казалось, что такую вещь можно видеть только раз, и тем не менее тянуло на выставку только ради нее. Когда я вернулась, ее не было. Нашлись тонкие критики, кот<орые> писали в газетах, что это дегенерат, в его глазах мы читаем проклятие нашего времени и т.д.[10] Публика стала ходить смотреть на него как на урода в банке со спиртом, Забела просила вернуть ей портрет.[11] Читали Вы статью Бенуа в последнем № «Мира Искусства», посвященную Врубелю.[12] Как он развязно, как красиво болтает о гении Врубеля, после того, как сам в истории русского искусства так же развязно говорил, что Врубель гениальничает. Легче слушать, когда Врубеля ругают и вполне не понимают, чем читать такую апологию. Врубель говорит сам за себя. Врубель жив и, когда бывает в уме, читает все, что о нем пишут.[13]

Бенуа все время говорит в прошедшем времени «он был гением», распространяется о его безумии. Значит, он даже не поинтересовался узнать, в каком состоянии Врубель. И даже

не в этом дело, если бы даже Врубель и умер, нельзя спешить, нельзя так кричать. Есть вещи, кот<орые> нельзя договаривать. Наши предшественники, стесненные академизмом и всем, чем хотите, были свободнее нас. Никто не смел касаться сокровенных струн их творчества. У нас критики, наконец, догадались, что главное – душа, и они стоят над душой. Они опаснее всякой рутины. Они не дают развиться цветку в росистой тени, а сейчас захватывают его руками, выносят на свет. Впрочем, это не одни критики. Это время. За это же я не люблю современных поэтов. Они так договаривают, так кричат. Слова «вечность», «красота», «тайна» пошли по рукам, как дешевые ассигнации. Как будто постигли предел, запанибрата с Богом, Антихриста знают коротко, потустороннее – как свои пять пальцев.

Молятся на площади и говорят о молчании; так договаривают, говоря о любви...

Я знаю, что все, как прежде, недоговорено, что сокровенное осталось сокровенным, но слов мне жаль. Старых великих слов, кот<орые> у старых поэтов жили сокрытые и только подразумевались. Условных покровов нет, душа обнажена. Какая оргия либерализма и вовсе нет того, «что в существе разумном мы зовем возвышенной стыдливостью страданья».[14] Читали Вы предисловие к «Саломее» Уайльда К<онстантина> Д<митриевича>?[15] Он в восторге сам от него. И это верно, и это красиво, и все, что хотите. Но мне неприятно, что это сказано, и еще неприятнее, что напечатано. «Взрывая, возмутишь ключи; питайся ими и молчи».[16]

Зинаида как представительница времени в этом отношении вовсе невыносима.[17] Есть у Вас то же чувство? Думаете ли Вы, как я? На это ответьте мне. Не следуйте моему примеру и отвечайте скорее:

Ладно за морем иль худо?
И какое в мире чудо?[18]

8 января 1904 г.

Москва.
Смоленский бульвар.

[1] Ответ на п. 5. В бумагах Сабашниковой сохранился набросок или черновик этого письма (без начала и конца). Приводим полный текст:

«продолжалась полтора года. Вставала утром с мыслью: ах, опять! Снова одеваться, есть, пить и проделывать всю эту ненужную церемонию; что-то делать, о чем-то говорить..... Когда кто-нибудь был весел или восторженно настроен, мне было мучительно на него смотреть, как на плохого актера; так я была уверена, что все скрывают свое отчаяние. Странно было на балу, когда мы танцевали и потолок отделял нас от черной пустоты, из которой никто не смотрел на нас; за веселым обедом я чувствовала себя тем покойником, которого развозят по членам рода перед погребением и сажают за пиры.... Но страшнее всего было, когда я оставалась лицом к лицу с природой, и она молчала. Я ее вижу, но она меня — нет. И мне было так, как будто я смотрела на мертвеца, очень близкого, очень дорогого. Хотелось громко закричать, чтобы она проснулась, п<отому> ч<то> все-таки я не совсем верила в ее бездушность. Нет, нужно это только испытать. Тогда только с детьми или с очень простыми людьми было легче. Я сидела в очень маленькой комнате с нашей бывшей няней и что-то шила, и боялась посмотреть в окно; там сквозь ветки тополя виднелось небо.

Когда в разговоре встречались слова (я не знаю, как определить их) "вечность", "красота", "тайна", я почему-то приходила в бешенство. Вот кстати вспомнила, я хотела писать о современном искусстве, а пишу о себе. Но это, кажется, было связано на самом деле, и средневековый собор со своими чудовищами меня возвратил к жизни, хотя я сидела в Москве.

Я хочу спросить Вас об одной вещи. Скажите, Вы не находите, что эти слова "тайна", "вечность" и т.д. стали слишком часто употребляться. Что-то сокровенное, что жило сокровенно в древних или даже просто старых произведениях, новые поэты так обнажили. Я знаю, что сущность это не меняет, но слов мне жаль. Раньше это жило в росистой тени, об этом догадывались, но не говорили. Теперь кричат. С Богом обращаются запанибрата, Антихриста коротко знают, потустороннее — как свои пять пальцев... Всенародная исповедь, молитва. Мне это кажется каким-то преждевременным дешевым синтезом. Стыдно и тоскливо. Зачем так договаривать.

Условных форм нет, цепей нет, чувства обнажены. Какая оргия либерализма. И критики стоят над душой. Им именно душу твою нужно! Они так тонко все поняли! Насколько свободнее были наши предшественники, стесненные одним академизмом. Никто не смел касаться тончайших струн их творчества. А теперь. Вот Вам при-

мер, Ваш Александр Бенуа о Врубеле. Прочтите последнюю книжку “Мира Искусства”. Он, который так» (ИРЛИ. Ф. 562, оп. 5, ед. хр. 45, л. 22–23 об.).

[2] Строка из стихотворения Пушкина «Песнь о вещем Олеге» (1822).

[3] Речь идет о стихотворении Волошина «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...» (см. п. 5).

[4] Строки из стихотворения Сабашниковой «Бледнеют к утру небеса...» (1903). Первоначальный вариант (апрель 1903 г.) в дневнике Сабашниковой начинается со строки «Высоки, холодны и строги...» и сопровождается пометой: «Они <стихи> не кончены. Читала их Б<альмонту>. Ему нек<оторые> места нравятся. Я очень волновалась, когда читала их ему» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 20 об.). Летом 1903 г. Сабашникова усовершенствовала свое стихотворение и послала Е.А. Бальмонт (надпись над текстом (видимо, посвящение) – «Екатерине Алексеевне»). «Милая Катя, – писала ей Сабашникова, отправляя текст стихотворения, – стишки сии плохи, но посылаю их как благородная дама к благородной даме, просто чтобы поделиться впечатлением; простым смертным прочти, но не поэтам. Недостатки их я знаю сама, то же в моей живописи, в шахматной игре и жизни» (РГБ, ф. 374, карт. 17, ед. хр. 45, л. 2 об.). Волошин был также знаком с этими стихами Сабашниковой; 8/21 июня 1904 г. он занес их (в иной редакции по сравнению с дневниковой записью и текстом, отправленном Е.А. Бальмонт) в свой дневник (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 156–158, 409).

[5] Из стихотворения М.В. Сабашниковой «Бледнеют к утру небеса...» (см. предыдущее примеч.).

[6] Первая выставка «Союза русских художников» открылась в Москве 22 декабря 1903 / 4 января 1904 г. в помещении Строгановского училища и продолжалась до 11/24 января 1904 г.; в ней приняло участие 36 художников.

[7] На первой выставке «Союза русских художников» демонстрировались следующие работы Врубеля: «Валькирия», «У лукоморья дуб зеленый» (эскиз), «Каменный гость» (рисунок), «Гензель – Гретель», «Сирень», «Демон», рисунки к изданиям сочинений Лермонтова и Пушкина, а также – портрет сына, снятый с выставки (см. примеч. 11 и 13 к данному письму).

[8] Имеется в виду портрет Саввы, сына художника (1902).

[9] Ср. в дневнике Сабашниковой: «Выставка “Союза русских художников”. <...> Малявина бабы кричат и горят: а Врубель жжет до сих пор мое сердце. Он совсем сошел с ума, он теперь безнадежен, его мальчик умер, Забела от горя потеряла голос... Там была одна его картина: в колясочке его мальчик; одна голова полуторагодова-

лого мальчика; белый хохолок, заячья рассеченная губа и глаза, как два светлые и большие сафира, глаза Забелы и совсем безумные: не слабоумные, нет, в них безумие. Они остались со мной...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 79).

[10] Появились, однако, и противоположные отзывы, авторы которых, подобно Сабашниковой, высоко оценили эту работу Врубеля. «Самым выдающимся в этом отделе, – писал, например, П.Д. Эттингер, – мы считаем потрет ребенка М.А. Врубеля – одна из последних работ художника. Как это своеобразно взято, сколько выражения в грустных глазах мальчика!» (*Любитель <П.Д. Эттингер>*. Первая выставка «Союза русских художников» // Русские Ведомости. 1903. № 353, 24 дек. С. 4).

[11] По просьбе Н.И. Забелы картина была снята с выставки (см. примеч. 13 к данному письму).

[12] *Бенуа А.* Врубель // Мир Искусства. 1903. Т. 10. С. 175–182.

[13] Ср. с записью в дневнике Сабашниковой от 29 декабря 1903 / 11 января 1904 г.: «Пришла на выставку. Где же “ребенок”? Его сняли. О нем писали в газетах, писали, что в глазах у него проклятие нашего времени, что это дегенерант <*sic!*>, алкоголик. Публика стала приходить, чтобы смотреть на него, как смотрят на уродца в банке со спиртом. Забела – мать – жива. Отец жив. Да, он безнадежен, но он жив. В минуты просветления он все читает касающееся его. Хороши критики! Правда, Боже мой! А Бенуа? В своей статье о Врубеле в последнем № Мира Искусства он, посмевший в “Истории русской живописи” сказать, что Врубель гениальничает, теперь пишет о том, что толпа не понимает, как Врубель был гениален, что от этого Врубель сошел с ума и т.д. И все время в прошедшем времени. Мерзавец! Врубель будет читать теперь это надгробное слово» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 80–80 об.).

[14] Эти суждения Сабашниковой о статье Бенуа, современном искусстве и др. дословно совпадают с записью в ее дневнике, посвященной З.Н. Гиппиус и современной поэзии (см. примеч. 10 к п. 4).

[15] Имеется в виду очерк Бальмонта «О любви. Этюд о страсти», опубликованный в качестве предисловия к кн.: *Уайльд О.* Саломея. Драма. Пер. В. и Л. Андрусон под ред. К.Д. Бальмонта. М.: Гриф, 1904. С. 3–4. Впоследствии Бальмонт и Е.А. Андреева перевели «Саломею» Уайльда «с французского оригинала» (перевод был издан в 1908 г. в петербургском издательстве «Пантеон»).

[16] Из стихотворения Тютчева «Silentium!» (предположительно: 1829 – начало 1830-х гг.).

[17] Речь идет о З.Н. Гиппиус.

[18] Неточная цитата из пушкинской «Сказки о царе Салтане...» (1831). У Пушкина: «Ладно ль за морем, иль худо? И какое в свете чудо?»

7. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

15/28 января 1904 г. Париж[1]

3 Rue du Bac. Paris. 28 janvier 1904.
Маргарите Васильевне – Макс Волошин:

Мне так много надо Вам ответить и рассказать, что и не знаю, с чего начать. Вы пишете и спрашиваете все о таких вещах, о которых я сам это время думал.

Самое важное: об искусстве...

«Молятся на площади и говорят об молчании»... «Так договаривают, так кричат»... «Жаль старых великих слов»... Я тысячу раз с Вами согласен. Это именно то, что меня преследует все время в Париже. И мне кажется, что... что я, Я держу разгадку, ключ к будущему в руках. Индивидуализм в своем высшем пределе создает единое всенародное искусство. Это совершается так же, как личность, достигшая предельной высоты, сливается с миром – входит в Нирвану. Индивидуальность художника в своей высшей точке сливается с душой народа. Индивидуализм нашего времени далеко еще не совершенный индивидуализм. Он слишком большое значение придает внешним страстям и имени.

Он недостаток личности хочет заменить цельностью имени. Имя и связанная с ним головокружительная «Gloire»* выставляются как значок фирмы на каждом художественном произведении. Это только признак того, что индивидуальность еще недостаточно развилась внутрь.

Поразительный факт: от XII века до нас дошло много имен художников и мастеров. XIII век – полный расцвет готики – не оставил *ни одного* имени.

Девизом будущего искусства будет: «Долой имена». Довольно этих игрушек самолюбия, теперь можно, наконец, стать истинными, великими и безымянными мастерами.

Имя стоит поперек всего. Оно сковывает личность в законченные рамки с определенными характерными чертами,

* Слава *(фр.)*.

оно мешает совместной работе, оно создает это бесстыдство слова и чувства, о котором Вы пишете.[2]

Разве выставки и музеи не бесстыдны? Раскрыть душу до самой глубины другому человеку, хотя бы совсем неизвестному – это не бесстыдство, но делаться натурщиком пред толпой...[3]

«Ah! si plusieurs peintres étaient d'accord pour collaborer à de grandes choses. L'art de l'avenir pourrait nous donner des exemples de cela»,* – это писал Ван Гог за несколько месяцев до своего помешательства.[4]

Ребенок Врубеля – как это похоже на портрет мертвого ребенка Клода в «L'Œuvre» Золя.[5] Помните?

Еще об имени: Я только что видел образчик мучений, причиняемых этим бесполезным придатком искусства. Я познакомился на днях с итальянским скульптором Россо.[6] Вы, верно, не знаете этого имени. Его европейская публика не знает, но в некоторых артистических кругах его называют с глубоким почтением как предшественника Родэна и учителя Трубецкого.[7] Это огромный человек с бычачьей шеей, большими пальцами, угрюмо-добрым лицом и итальянским акцентом. Он прячет свои вещи, выгоняет посетителей. Но ко мне он почувствовал симпатию и пустил меня в свою берлогу, где он живет с единственным помощником, старым испанцем, раньше бывшим клоуном. В углу сарая – плавильная печь, в которой он сам отливает свои вещи. Из разных углов и ящиков он стал вытаскивать отдельные вещи. Но какой тонкости, какого совершенства! Это были головки детей, женщин полусквозящих из воска, заволокнутых воздухом. Вещи, в которых чувствовалось и расстояние и краска.

Он лепит воздух, а не самые формы.

И вот вчера, возвращаясь вместе с ним из гостей, он предложил меня подвезти.

В разговоре я упомянул имя Трубецкого. Что с ним сталось! Он ощетинился. Вся обида многих лет неизвестности поползла наружу. Когда мы проезжали мимо како<го>-нибудь

* «Ах, если бы несколько художников объединились, чтобы совместно работать над большими вещами! Искусство будущего еще покажет нам такие примеры» *(фр.)*.

памятника, он кричал кучеру остановиться, высовывал в окно кареты огромную мохнатую лапу и громко произносил жестокие и большие итальянские слова посреди пустынного ночного Парижа. Затем он приказывал кучеру ехать к другому памятнику, и там повторялось то же. Несколько фантастических часов дождливой ночью и эти освещенные снизу цоколи и фигуры, теряющиеся во мраке.

И это истинный и необычайно тонкий артист.

Еще великие люди. Недавно я познакомился с Верхарном на банкете, который устраивал в честь его «La Plume».[8] В нем ничего внешне великого. Среди обычных французских лиц с лоском на нем поражала печать чего-то интимного, принесенного из дому. Какая-то стариковская внимательность, хотя он не стар. И из всех присутствовавших это повторялось только в лице Карьера. Там я видел в первый раз Мирбо и Родэна.

«К сожалению, не могу писать стихов...» И это вы пишете как раз после описания, написанного великолепными стихами! Вот в точности предыдущее место Вашего письма, разделенное на стихи. Я пропустил только несколько «и».

...Такое чувство, точно в этот час
Мир не успел закрыть глаза и смотрит
Заплаканными светлыми глазами,
И кажется задумчивым, больным.
Дремучие леса в туманах, и дороги
Пустынны... На заплаканных лугах
Лежат холодные и светлые озера.

И только последняя фраза выходит из размера:
«Утренний ветерок шевелит на голове волосы» —

(Elle) frissonne de sentir, lascives et subtiles,
Des mains qui dans le vent epuisent ses cheveux[9]

Вы бессознательно написали стихотворение великолепным, совершенно пушкинским стихом. Это только лиш-

нее доказательство того, что совершенная форма речи – есть стихи. Тут нет пропасти, а незаметный переход. Каждый подъем чувства дает ритм речи. И еще удивительно то, что те два стихотворных отрывка, между которыми заключено Ваше собственное стихотворение: «Все замерло, земля молчит»... и в конце «Прохладный кто-то здесь прошел», – служат совершенно нормальными переходами свободного стиха, удивительно согласующимися с Вашим стихотворением. Попробуйте прочесть все подряд – Вы увидите.

Мои стихи. Вот только одно: «Рождение стиха», которое я мысленно посвятил Бальмонту.[10]

В душе моей мрак грозовой и пахучий...
Там вьются зарницы, как синие птицы,
Горят освещенные окна,
И тянутся длинны, протяжно певучи
Во мраке волокна.
О, запах цветов, доходящий до крика!
Вот молния в белом излучьи.
И сразу все стало светло и велико...
Как ночь лучезарна!
Танцуют слова, чтобы вспыхнуть попарно
В влюбленном созвучье.
Из недра сознанья, со дна лабиринта
Толпятся виденья толпой оробелой...
И стих расцветает цветком гиацинта,
Холодный, блестящий и белый.

«Мне хотелось бы, чтобы моя жизнь была кратка и цельна, как греческая драма». Мне жизнь представляется скорей арабской сказкой, в которую, как в восточном орнаменте, вплетены тысячи разных узоров. Один рассказ в другом. Обрывается одно и тогда начинается снова старое – продолжается с того места, где оно оборвалось, вставкой. Как рифмы в терцинах, как деревянные яйца, вставленные одно в другом.

А «лишние дни» – когда они приходили, я всегда думал: так вот какие они, значит, это тоже так надо. И получалась

только новая петля орнамента. Я так чувствую новизну жизни, что, может, мало ценю отдельные минуты.

Если каждый много раз перевоплощается здесь на земле (а я уверен в этом), то я знаю наверно, что я здесь только в первый раз, до такой степени мне все ново и интересно. У каждого есть свой возраст воплощений, и для внимательного глаза он так ясен.

Я знал совсем молодых людей, совсем не знавших жизни, но которым ни одно явление, ни одно душевное состояние не давало впечатления новизны.

А у меня часто проскальзывает полубессознательно мысль: «Ну – теперь пока все осмотреть в общем, а там успею и после».

Такое богатство минут, что не хочется их и считать. Я видал, как можно дорожить минутами на одном человеке, с которым возвращался из Средней Азии. Он 12 лет провел на каторге (из них 4 года в Шлиссельбурге). Мы зимой ехали по Военно-Грузинской дороге, и он мне рассказывал свою жизнь. Это был человек ужасно моложавый на вид, глубоко религиозный, примиренный со всем. Раньше он был морским офицером. Он почти каждый час доставал книжечку и записывал. Он меня спрашивал: «Как, вы не ведете дневника? Ведь сколько жизни, сколько минут исчезает бесследно из памяти. Вот Вы ведь наверно не знаете, что вы делали в этот день год тому назад? Я вот уже 6 лет вышел с Сахалина, и я могу восстановить каждую минуту, прожитую мною с тех пор».[11]

«Все завершено, только лучи достигают до нас». Да, конечно, это так... Но только где наше «я»?

Можно ли считать им наше крошечное *сознательное* «я» в его замкнутом светлом кольце, думающее только словами, условно алгебраическими формулами, или это великое темное «бессознательное», которое не имеет слов, но в котором записана вся история человечества, вся история животных форм, вся история мира?..

Сознание – ведь это – слова и речь. Только. А потом – организм – тело! Наши окошки наружу – наши восприятия

так отрывочны. Цельное и единое для нас принимает раздробленный вид звука, света, теплоты, формы... В нашем видимом теле так же мало цельности, как и в видимом мире.

Это только часть одного целого великого организма, которое и есть наше истинное «я». Смерть тела для этого «я» – это то же, что выпадение молочного зуба. Замена их новыми – это перевоплощение (так говорят), но на самом деле это только продолжение старого. Когда у нас болит зуб, мы целиком сосредоточиваемся на этой боли и не замечаем существования других частей тела. Жизнь и сознание – это ощущение острой боли жизни, которое заставляет нас забывать о нашем истинном «я». Потому что жизнь – это боль.

«О, знаю, боль сильней всего
И ярче всех огней.
Без боли тупо и мертво
Мельканье жалких дней». [12]

Теперь «время»... Мы, кажется, говорили раз об этом. Я время считаю за наше восприятие четвертого измерения.[13] Точно так же третье измерение будет являться временем для существа второго измерения. В четвертом измерении время станет чисто пространственным отношением. И оттуда человеческая жизнь будет представляться одним цельным куском, идущим от рождения до смерти. Пространственно, конкретно, как длинная лента – представляете? Так что там это, конечно, все завершено, потому что это уже заключено в самый организм. И поэтому «минута не повторится, но и не пройдет. Никогда не пройдет и станет бесконечной». Я боюсь, что я все это говорил. Но для меня это основы, на которых движется все остальное.

Мы все уже давно умерли и еще не родились. По этой целой материальной ленте, тянущейся от рождения до смерти, пробегает волна. Волна движется, но частицы материи остаются на своих местах. И вот в этой волне, в этом моменте и движется и наше сознание, и наше представление о времени.

А там, в 4-м измерении, эта лента может иметь свое движение уже как целое в новой плоскости и т.д.

И все это в конце концов не имеет никакого значения, потому что вопрос не в том, как это есть, а в том, как это чувствуется. А на это могут ответить только жизнь, время и слово – все то, что я только что уничтожил.

Я ничего не читал русского со дня отъезда. Сюда ведь ничего не доходит. Мне ведь, кроме Вас, никто не пишет. Я сам виноват. Я до сих пор не написал Константину.[14] Но это так трудно. Я ведь с ним почти никогда не говорил словами.

Меня смущает, что я не имею никаких известий о «Весах». Что с ними? Вышел ли первый номер?[15]

Я пишу для них теперь статью об европейце и о его раковине. Я хочу там сказать и об народном искусстве – то, что я писал в начале письма.[16]

Я так долго и с таким нетерпением ждал Вашего письма. Это такое счастье говорить об этом. Я вижу тут только таких людей, *которых* интересно понимать, но здесь нет таких, *с которыми* можно понимать.

Ваши письма для меня такой праздник, что на этот день забрасываю все дела, не иду в академии, а запираюсь дома писать и отвечать. Каждая строчка будит такие стаи мыслей. Я отвечаю Вам на другой же день. Последуете ли Вы моему примеру?

До свиданья.

Есть ли у Вас надежда на Париж?[17]

[1] Ответ на п. 6.

[2] Эти размышления Волошина Сабашникова пересказывает (или дословно цитирует) в своем дневнике (запись от 24 января / 6 февраля 1905 г.): «Мне стыдно и как-то больно выставляться. Каждый раз на выставках я чувствую их бесстыдство. <...> Черт возьми! Ненавижу их жизнь, их искусство, их самолюбие, их имена. “Долой имена”. От XIII века, который был расцветом готики, высшего, что создало человечество, не осталось ни одного имени! Остались ли имена египетских художников? Нет! Нет! Тысячу раз нет! Эта позорная исповедь на стене, это обнажение сокровенного, эта

головокружительная “Gloire”. Как это мерзко!» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 5 об. – 6).

[3] Изложенные здесь мысли об «индивидуализме» и его преодолении, об освобождении искусства от «имени» и т.д. получат развитие в статье Волошина «Индивидуализм в искусстве» (впервые: Золотое Руно. 1906. № 10. С. 66–72; см.: Т. 5 наст. изд. С. 62–73, 671–676).

[4] Волошин цитирует письмо Ван Гога к его другу, художнику Эмилю Бернару (конец июня 1888 г.). См.: *Ван Гог В.* Письма. Перевод П. Мелковой. Статья С. Даниэля. СПб.: Азбука, 2001. С. 758.

[5] Имеется в виду роман Э. Золя «Творчество» (1886); главный герой романа – художник Клод Лантье.

[6] Волошин посвятит М. Россо бóльшую часть одного из своих очерков, посвященных Осеннему Салону 1904 г. (Русь. 1904. № 361. 11/24 дек. С. 1–2), и одно «Письмо из Парижа» (Весы. 1905. № 1. С. 47–49). См.: Т. 5 наст. изд. С. 460–462, 490–493.

[7] Имеется в виду скульптор П.П. Трубецкой.

[8] «La Plume» («Перо». – *фр.*) – парижский иллюстрированный литературно-художественный журнал (1889–1914), созданный Л. Дешаном. На его страницах появлялись как символисты, так и представители других новейших течений литературы и искусства (П. Верлен, С. Малларме, Ж. Лафорг, М. Дени, П. Гоген, К. Писарро, О. Редон и др.). Проводились разного рода вечера, собрания и встречи.

Банкет в честь Верхарна, на котором присутствовало более ста человек, был устроен редакцией журнала 10/23 января 1904 г. в Доме ученых обществ. Отчет об этом банкете см. в «Весах» (1904. № 2. С. 83; раздел «Хроника»).

[9] Из стихотворения французского поэта Альбера Самена (1858–1900) «Клеопатра» (1891).

[10] «Рождение стиха» впервые опубликовано – без посвящения Бальмонту – в альманахе «Северные цветы ассирийские» (М.: Скорпион, 1905. С. 54) в составе цикла «Минуты прозрений» (в оглавлении альманаха – «Минуты прозрения»»).

[11] В начале 1901 г., находясь в Средней Азии, Волошин познакомился с И.П. Ювачевым (1860–1940), приговоренным в 1884 г. на «Процессе 14-ти» к смертной казни, замененной на бессрочную каторгу. Ювачев провел четыре года в Шлиссельбургской крепости, затем – восемь лет на Сахалине, где встречался с Чеховым. Сменил несколько профессий. Автор мемуаров и книг религиозно-назидательного содержания (частично опубликованных под псевдонимом «Миролюбов»). Отец поэта Д. Хармса. См. о нем: *Кобринский А.* Даниил Хармс. М.: Молодая гвардия, 2009. С. 11–17 (серия «Жизнь замечательных людей»); *Шубинский В.* Пять жизней Ивана Павло-

вича // Вокруг света. 2010. № 11. С. 183–195; Бытие на фоне быта. Дневники И.П. Ювачева 1930–1932 гг., тетради № LII, LIV / Вступ. статья Н.М. Кавина, публ. А.Л. Дмитренко и Н.М. Кавина // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2009–2010 годы. СПб.: Дмитрий Буланин, 2011. С. 790–976. См. также: Т. 8 наст. изд. С. 476–477, 481.

[12] Из стихотворения Бальмонта «Заклятие», вошедшего в его книгу «Будем как Солнце. Книга символов» (М.: Скорпион, 1903 С. 174).

[13] Понятие «четвертое измерение» широко использовалось с конца XIX в. для обозначения невидимого (оккультного) мира, существующего за пределами Евклидова пространства, со своими особыми законами и условиями, которые можно постичь лишь путем эзотерического знания, сверхчувственного опыта, напряжением психических сил и т.п.; применяется в современной науке (математике, философии и пр.). В записях Волошина и Сабашниковой этот термин встречается достаточно часто. Убежденный в том, что «время – это четвертое измерение» (см.: Записные книжки. С. 49), Волошин пытался в своем творчестве создать образ времени, передать свои представления о соотношении времени и пространства, мгновения и вечности (см. цикл «Когда время останавливается...» – Т. 1 наст. изд. С. 38–41; статью «Аполлон и мышь» – Т. 3 наст. изд. С. 134–157; и др.).

«Четвертое измерение» постоянно привлекало к себе внимание Р. Штейнера, посвятившего этой теме курс лекций в марте–июне 1905 г., а также ряд отдельных докладов (1905, 1908) и бесед со слушателями (собраны в кн.: *Steiner R.* Die vierte Dimension. Mathematik und Wirklichkeit. Hörernotizen von Vorträgen über den mehrdimensionalen Raum und von Fragenbeantwortungen zu mathematischen Themen. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1995 (GA 324 a). Рус. пер.: *Штайнер Р.* Четвертое измерение. Математика и действительность. Записи слушателей докладов о многомерном пространстве и ответов на вопросы на математические темы. Пер. с нем. Л.Б. Памфиловой. М.: Титурель, 2007).

На русском языке «Четвертому измерению» посвящен труд Петра Демьяновича Успенского (1878–1947), философа и крупнейшего представителя теософской мысли в России, позднее порвавшего с теософией, но продолжавшего исследование оккультного мира (с 1915 г. – ученик Г.И. Гурджиева). Книга Успенского «Четвертое измерение», изданная в Петербурге в 1910 г., первоначально печаталась в журнале «Вестник теософии» (1909. № 7–8. С. 76–94. № 9. С. 82–92; № 11. С. 61–83; № 12. С. 54–74).

См. также п. 29, примеч. 11 к п. 200 и примеч. 3 к п. 221.

[14] Письма Волошина к К.Д. Бальмонту до настоящего времени не выявлены.

[15] Первый номер журнала «Весы» вышел во второй половине января 1904 г.

[16] Над статьей «Европеец и его раковина» Волошин работал в начале 1904 г., рассматривая ее как продолжение статьи «Скелет живописи» (Весы. 1904. № 1. С. 41–51). «Я в настоящее время как раз заканчиваю продолжение “Скелета” – “Европеец и его раковина”, – писал Волошин А.М. Петровой 25 февраля / 9 марта 1904 г., – где буду говорить о том, куда идет европейское искусство. Там я как раз подробно касаюсь вопроса об именах» (Т. 9 наст. изд. С. 91). Статья не была завершена; текст ее неизвестен.

[17] Имеется в виду поездка Сабашниковой в Париж.

8. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

Конец января / Начало февраля <до 27 января / 9 февраля> 1904 г. Париж[1]

3 Rue du Bac. Paris.

Маргарите Васильевне – Макс Волошин:

Когда я брожу по Парижу, я мысленно показываю Вам мои любимые места.

Сегодня мы с Вами были в Лувре, внизу, в тех залах, которые одним углом выходят к Сене, а другим к St. Germain l'Auxerroi.[2] В них редко кто заходит. Но там самые любимые мои вещи. Это три группы – три статуи, пришедшие туда из разных эпох и разных стран. Но в них вся история человека.

Это три египетских фигуры идущих людей,[3] готическая гробница, несомая шестью монахами,[4] и неаполитанская «Tête inconnue».*[5]

Египетские фигуры... Это два мужчины и одна женщина. Они идут быстро, но спокойно. Их глаза смотрят так далеко, как в этой жизни не смотрят глаза людей. Они идут в загробной жизни по неизмеримой покатой равнине и видят где-то

* Голова неизвестной *(фр.)*.

свет... Очень далеко... В них тихая ровная радость – наконец! Чувствуется свежесть ночного воздуха пустыни, касающегося их плеч.

Каким-то далеким отблеском чувствуется общее с «Богомольцами» С. Коровина.[6] Точно туда через сотни веков достиг тот же луч.

Тихая радость смерти...

«Чтобы отправиться из Парижа в Марсель, я беру поезд. Чтобы отправиться на другую звезду, я беру смерть. Это так просто...» – это из писем Ван-Гога.[7]

Средневековая гробница. Труп рыцаря – громадный, вытянутый. В узорных латах. Геральдический лев в ногах. Его несут шесть монахов[8] в черных низко спущенных капюшонах. Видны желтые руки и четки. Торжественно, как мотив «De profundis».*[9]

Христианская смерть во всем своем мрачном и трагическом ужасе. Здесь только рыдания и мрак готических сводов.

Если нагнуться очень низко и заглянуть под капюшоны монахов, видны зловещие желтые лица. Dies irae...**[10]

Оскорбленная жизнь мстит ужасом смерти.

«La Tête inconnue». Мучительная загадка жизни.

Тонкое девическое лицо с приподнятыми наискось глазами. Улыбка Джиоконды[11].

Нет, это загадочнее Джиоконды. Джиоконда – женщина. В ней весь блеск распустившегося цветка. Это смягчает ужас загадки. А здесь...

«...J'aime l'horreur d'être vierge et je veux Vivre parmi l'effroi que me font mes cheveux...»***[12]

Как странны эти оба лица средневековья: ужас ослепшей веры и загадочная улыбка познания.

У этой улыбки своя история. Она зажигается на архаических статуях древней Греции. Она во всей средневековой скульптуре. Приторно-любезная, она гаснет на устах XVIII века...

---

* Из глубины *(лат.)*.

** День гнева *(лат.)*.

*** «...Я люблю ужас девственности и хочу / Жить страхом, который внушают мне мои волосы...» *(фр.)*.

В зеркалах XVIII века мало тайны.

O miroir!
Eau froide par l'ennui dans ton cadregelée...*[13]

Я часто захожу вместе с Вами в St. Germain l'Auxerroi. Я люблю молчать в разноцветной мгле, когда свет падает. Там есть на окне фигура ангела такой трагической грусти.

А потом, когда зажигаются огни, — вы знаете, это впечатление широких церковных плит, освещенных немерцающим светом, глубокую тень от колонны. Тишину. Точно у времени тихо свертываются и опускаются крылья.

И потом вдруг острый осенний воздух, замерзший от электричества, и расплавленный свет на Сене.

Позднею ночью Сена затихает и холодеет. Когда я иду домой, она все мелькает сквозь кружево голых веток. Отражения укорачиваются, точно втягиваются в себя.

Дальше над Place de la Concorde** столб багряного света. Камень обелиска точно наполняет все кругом дыханьем ночи и прикосновением пустыни.[14]

И меня охватывает такое острое знакомое чувство Парижа, что я долго стою у каменных перил на Pont Royale*** и смотрю на силуэт Pavillon de Flore,****[15] прежде чем позвонить у своего дома.

Приедете ли Вы в Париж?

[1] Датируется по содержанию. Ср. также дату ответного письма Сабашниковой (п. 9).

[2] Церковь Сен Жермен л'Оксерруа (рядом с Лувром) была основана в VIII в.; начиная с XII в. неоднократно строилась и перестраивалась (опустошена в XVIII в. во время Французской революции; восстановлена в 1838–1855 г.). Служила приходской церковью французских королей династии Валуа. Памятник «пламенеющей» готики XV в., знаменитый своими витражами. Упоминается в 10-й строфе стихотворения «Письмо» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 52).

---

* О зеркало! Холодная вода в тоске твоей застывшей рамы... *(фр.)*.

** Площадь Согласия *(фр.)*.

*** Королевский мост *(фр.)*.

**** Павильон Флоры *(фр.)*.

[3] О трех египетских «странниках» см. примеч. 25 к п. 73 и примеч. 11 к п. 80.

[4] Волошин описывает далее надгробие бургундского сенешаля Филиппа По (1428–1493), выполненное в последней четверти XV в. неизвестным мастером.

[5] «Голова неизвестной» — бюст работы итальянского мастера Франческо Лаураны (ок. 1430–1502) в Лувре. По сообщению В.П. Купченко, Волошин приобрел гипсовой слепок с этой работы и впоследствии перевез его в Коктебель (см.: Т. 1 наст. изд. С. 451). Бюсту «Голова неизвестной» посвящено несколько строк в 11-й строфе стихотворения «Письмо» (Т. 1 наст. изд. С. 53). Сохранился также отрывок стихотворения, озаглавленного «Tête Inconnue», с приблизительной датировкой «январь 1904» (см.: Т. 2 наст. изд. С. 392, 697).

[6] Богомольцы» и «странники» — тема нескольких работ С.А. Коровина 1890-х – 1900-х гг. («У раки преподобного Сергия», «В дороге», «К Троице» и др.).

[7] Неточная цитата из письма Ван Гога к брату Тео (июль 1888 г.). В современном переводе: «Подобно тому как нас везет поезд, когда мы едем в Руан или Тараскон, смерть уносит нас к звездам» (*Ван Гог В.* Письма. С. 511).

[8] На самом деле — восемь монахов или «плакальщиков» (по четыре с каждой стороны).

[9] «Из глубины <воззвал к тебе, Господи!>» (*лат.*). Первые слава покаянного псалма (при отпевании по католическому обряду).

[10] «День гнева, этот день!» — начальные слова католического песнопения, обозначающие Судный день (Страшный Суд). Исполняется при обряде отпевания.

[11] Мона Лиза (Джоконда) — известная картина Леонардо да Винчи (1514–1515), хранящаяся в Лувре.

[12] Слова Иродиады из одноименной поэмы Стефана Малларме («Hérodiade», 1869). В переводе В. Брюсова: «Люблю проклятие быть девственной! Меж грез / Жить ужасом своих распущенных волос!» (Французские лирики XIX века. Переводы в стихах и био-библиографические примечания Валерия Брюсова. СПб.: Пантеон, 1909. С. 74). Волошин приводит эти строки в своей (оставшейся неопубликованной) статье 1907 г. «Венок из фиговых листьев» (см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 199).

Сабашникова переписала эти слова Иродиады (по-французски) в свой дневник (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 7 об.; запись от 1/14 февраля 1904 г., отражающая впечатления Сабашниковой от оперы Вагнера «Валькирия»).

[13] Из поэмы Малларме «Иродиада» (2-я сцена). Отрывок, начинающийся этими словами, был переведен Волошиным по просьбе А.В. Гольштейн для ее статьи о Малларме (*Баулер А.* <*Гольштейн А.В.*> Стефан Малларме // Вопросы жизни. 1905. № 2. С. 93). В переводе Волошина: «О зеркало! Холодная вода, / Кристалл уныния, застывший в льдистой раме». См. также п. 32 (примеч. 4) и Т. 4 наст. изд. С. 782.

[14] Ср. в стихотворении «Огненных линий аккорд...» (цикл «Париж»): «...Ночью Place la Concorde / Ночью дождливой люблю я / Зарево с небом слилось... <...> В вихре сверкающих брызг, / Пойманных четкостью лака, / Дышит гигант – Обелиск / Розово-бледный из мрака» (Т. 1 наст. изд. С. 25).

[15] Павильон Флоры – одна из частей Луврского дворца (строительство началось в 1595 г.).

9. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

29 января / 11 февраля 1904 г. Москва[1]

29 января[2] 1904 г. Москва.

Оба письма Ваши получила. Хотелось бы на всё ответить. Но это будет в другой раз. Я так безумно устала. Я так никогда не уставала. Нужно было в неделю, к выставке,[3] написать картину. Я хотела. Я написала «Г<оспо>жу Кошку».[4] Рядом с ней извивается настоящая кошка, черная с белой грудью и желтыми глазами, а сзади за занавеской, под кружевами, которые свешиваются с «ея» головы, копошатся, шепчутся, смеются эмбриончики людей, маленькие ручонки, как в кошмаре. Картина бесцветна или одноцветна. Она вся золотистая. Золотые глаза, золотые волосы, занавески из тисса и черные кружева.

Только губы у «нея» очень красные и кусочек кресла цвета павлиньего пера. Я писала все от себя. Сейчас отвезла. И знаете, как странно: я не могу вспомнить «ее». А всю неделю, кроме нее, я ничего не видала. Я просила Бальмонта придумать название. Мне самой так не хотелось назвать ее. Ему она нравится, но он не мог назвать. Когда нужно было печатать каталог, мне случайно вспомнилось:

«Что одни зовут звериным...
Что одни зовут людским...»[5]

И я написала. Это длинно и, пожалуй, слишком ясно. Но мне теперь как-то уже все безразлично.[6] Я только с ужасом думаю, что на нее будут все смотреть, и мне хочется спрятать голову, как аисты это делают.

Когда выставок больше не будет? И что их заменит?[7]

Мне ужасно интересно, что Вы напишете о европейце и его раковине[8] или, скорее, как, потому что я знаю Вашу мысль. Я все об этом думаю. Только в другой раз напишу.

Все дни сидела дома и ничего не замечала из-за «Кошки». А сегодня вышла и поняла, что «война».[9] Такой я Москву никогда не видала. Вся запушенная снегом, возбужденная и пьяная. Выкрикивают последние телеграммы. Извозчики покупают их. Они громко на всю улицу разговаривают с седоками. Одни рвутся на восток, одни боятся и плачут. Движение. Я ему рада. И страшно, и дико, и нелепо.

Мне кажется, что наше положение уже безвыходно.

Это не начало «панмонголизма»?[10]

Что Вы думаете о Ваших японцах и о их действиях, п<отому> ч<то>, очевидно, Вы обо всем думаете?

Поеду ли я в Париж? Это для меня вопрос. Наши не могут ехать раньше апреля ст<арого> ст<иля>. А тогда, кажется, мастерские пустеют, выставки прекращаются. Да? Напишите мне, пожалуйста, об этом. Мне это очень важно знать. Потом еще одна просьба: узнайте, пожалуйста, есть ли у Карриэра[11] мастерская для учеников, и принимает ли он женщин. Я, кажется, хотела бы у него поработать.

Слышала, что у него есть такая мастерская: где она? Когда сезон кончается? Жить летом в пустом Париже не очень заманчиво. Может быть, колонии художников куда-нибудь едут, чтобы на воздухе писать? Если бы я приехала раньше, я бы могла все это узнать. У меня есть слабая надежда приехать раньше. Мечтаю о Париже, как сумасшедшая.

Мы были с Вами в Лувре? «Будемте так играть».[12] Как будто бы я была в Париже. Где мы были еще?

Это так интересно. И все, что Вы пишете.

[1] Ответ на п. 7 и 8.

[2] В автографе описка: февраля. Исправлено по содержанию (начало Русско-японской войны, открытие выставки и др.).

[3] Имеется в виду XI выставка Московского товарищества художников в залах Исторического музея. Судя по дневнику Сабашниковой, она первоначально отправила на эту выставку другую свою работу – портрет татарской девушки, выполненный в январе 1904 г. «Я пригласила татарочку Калиссю позировать», – отмечено в дневниковой записи от 31 декабря 1903 / 13 января 1904 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 82 об.). «Сейчас отвезла на выставку "Татарочку" – записала Сабашникова 24 января / 6 февраля 1904 г. – Я писала ее все утро и красила раму. Как ее довезли только, всю сырую. <...> Как улыбнулась мне моя "Татарочка" издали, стоя среди других чужих картин. Как бы мне хотелось взять ее обратно домой» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 5 об.). Через несколько дней, написав новый вариант «Кошки», Сабашникова заменила этой работой «Татарочку». Нынешнее местонахождение «Татарочки» неизвестно.

[4] «Кошка – там, – записала в свой дневник Сабашникова 29 января / 11 февраля 1904 г. – <...> О, это было безумие эти дни. Я так устала. Написать такую вещь в неделю. Это был tour de force <большое напряжение, усилие, подвиг. – *фр.*>... По ночам не спала, а днем бредила ей. Сейчас отвезла. Она мне там не понравилась. А сейчас я не могу вспомнить, какая она» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 6).

См. также примеч. 16 и 17 к п. 4 и примеч. 6 и 7 к наст. письму.

[5] Из стихотворения Волошина «По ночам, когда в тумане...», вошедшего в цикл «Когда время останавливается» и посвященного В.Я. Брюсову (см.: Т. 1 наст. изд. С. 40, 448). Первоначально (под заглавием «Когда время останавливается») и без посвящения опубликовано в «Северных цветах ассирийских» (С. 52–54) в цикле, озаглавленном «Минуты прозрений».

[6] Ср. в дневнике Сабашниковой (цитированная выше запись от 29 января / 11 февраля 1904 г.): «Я все придумывала название, просила Бальмонта. Ему эта вещь ужасно нравилась, и он ничего не придумал. "Кошка". "Женщина и кошка". "Кошки"... Когда нужно было написать название для каталога, я вспомнила строчку из Макса:

Что одни зовут звериным...
Что одни зовут людским...

И написала. Немного длинно и для прессы лафа. Ну, все равно. Я так безумно устала... Устала» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 6–6 об.).

[7] О том, что произошло с работой «Госпожа Кошка» во время выставки в Историческом музее, можно узнать из дневниковой записи М.В. Сабашниковой от 3/16 февраля 1905 г.: «...У т<ети> Саши. <...> С выставки приезжают Катя и Нюша. “Твоя “Кошка” снята”. – “Вы шутите”. – “Околоточный приходил, цензор велел ее снять за неприличное содержание, мы ее не видали, с распорядителей взяли подписку, что они не будут ее никому показывать за занавеской”. Я смеюсь. “Нелепость; что же нашли?” Катя не решается мне повторить, что-то с кошкой и женщиной, извращение чувств, ну, я не знаю... Публика ее ищет, всем объясняют причину удаления. Приятно. Вл<адимир> Фед<орович> оправдывает поступок цензора. Катя в бешенстве и хочет хлопотать. Я равнодушна» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 9–9 об.; тетя Саша – А.А. Андреева; Владимир Федорович – В.Ф. Джунковский). О том же Е.А. Бальмонт сообщала Волошину 6/19 февраля 1904 г. «На днях должен решиться вопрос о том, поедет ли М<аргарита> В<асильевна> в Париж. Она решилась твердо стоять на своем желании, и ей это очень трудно. Не знаю. <...> Она так поглощена своими планами, что скандал с ее картиной “Кошкой” для нее прошел совсем незаметно. Вы знаете, она написала “Кошку” в 7 дней. За 2 дня до открытия ее выставили с подписью из Ваших стихов “что одни зовут звериным”... Цензор запретил эту подпись, “подчеркивавшую слишком явно для публики неприличный смысл картины”. Художники, к<ото>рым очень нравилась картина и подпись, спорили напрасно. Картину выставили, подпись уничтожили в каталоге. Она простояла день, привлекла к себе общее внимание. А на следующий день ее сняли по предписанию полицмейстера. Общее недоумение! И возмущение. М<аргарита> В<асильевна> не захотела вступиться за свою картину. Когда я нашла ходы и стала хлопотать, чтобы узнать причину ее удаления, – оказалось, что это недоразумение! Недурно? Картину можно выставить, но предписания нет, и вот 3-й день М<аргарита> В<асильевна> говорит, что равнодушна к участи своей “Кошки”, которая ей перестала нравиться. Хотя, правда, она написана торопливо, краски зажохли и она не столь изящна, как прошлогодние портреты, я считаю, что это ее первая крупная вещь. Талант так и лезет наружу для всякого, даже непосвященного зрителя. Мне жаль, что сама М<аргарита> В<асильевна> так недовольна ей, думаю, это оттого, что она уж очень близка ей, она любит эту голову, эти глаза. Это будет ее лицо на всю жизнь, вероятно. У каждого художника одно лицо, к<отор>ое он любит» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 230,

л. 4–4 об.). См. также коммент. к письму Волошина Е.А. Бальмонт от 12/25 февр. 1904 г. (: Т. 9 наст. изд. С. 81–82).

На самом деле, «Кошка» Сабашниковой, несмотря на разразившийся скандал, не имела особого успеха. «М.В. Сабашникова разочаровывает после прошлогоднего дебюта, – писал один из рецензентов, – жесткою живописью и подчеркнутою, грубоватою экспрессией» (*Любитель* <*П.Д. Эттингер*>. XI выставка картин Московского товарищества художников // Русские Ведомости. 1904. № 49. 19 февраля. С. 4). «Прошлогодний дебют» – участие М.В. Сабашниковой в X выставке Московского товарищества художников в январе–феврале 1903 г., на которой она была представлена двумя работами («Автопортрет» и «Портрет Нюши»). «По колориту оба портрета очень красивы и изящны», – отмечал тот же рецензент в феврале 1903 г. (*Любитель* <*П.Д. Эттингер*>. X выставка картин Московского товарищества художников // Русские Ведомости. 1903. № 45. 14 февр. С. 3). Ср. отзыв А.А. Койранского о «Госпоже Кошке»: «На картине Сабашниковой поразительная голова, воскрешающая средневековые процессы ведьм, остающаяся в памяти как кошмар. Впрочем, живопись – эскизна, жестка и хуже той, какую мы видели в прошлом году в “Портрете” той же художницы...» (Весы. 1904. № 3. С. 50; подпись: Александр-ский).

Нынешнее местонахождение «Автопортрета» Сабашниковой неизвестно; «Портрет Нюши» (А.Н. Ивановой) находится в настоящее время в Астраханской государственной картинной галерее им. П.М. Догадина; о судьбе картины «Госпожа Кошка» сведений не имеется.

[8] См. примеч. 16 к п. 7.

[9] Русско-японская война была официально объявлена 27 января / 9 февраля 1904 г.

[10] «Панмонголизм» – понятие, введенное в русский историко-культурологический лексикон В.С. Соловьевым, – с этого слова начинается его программное стихотворение «Панмонголизм! Хоть слово дико...» (1894; первая публикация – 1905), содержащее пророчество о нашествии «пробудившихся» азиатских племен – «возмездии», якобы ожидающем Россию. Подробно Соловьев писал о панмонголизме в последнем из «Трех разговоров о войне, прогрессе и конце всемирной истории» (1899–1900).

[11] Имеется в виду Э. Карьер.

[12] О свойственном Волошину и Сабашниковой желании ощущать себя ребенком, подменять игрой реальную жизнь и т.п. см. примеч. 2 к п. 1, п. 126, 138 и др.

10. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

3/16 февраля 1904 г. Париж[1]

3 Rue du Bac. Paris.
Mardi-gras.[2]

Я так и знал, что увижу Вас сегодня. Был момент, и я подумал: вот сейчас... И в эту минуту Вы пришли в виде маленького белого конверта. Сейчас же вы начали прямо говорить про «Г<оспо>жу Кошку». И я сказал:

«Мне ужасно жаль, что я не видел г<оспо>жи Кошки. Это, верно, очень хорошо. Кусочек золотисто-павлиньего на золотисто-тигровом... Я представляю себе.

А эмбриончики людей... Нет, необходимо показать Вам Рэдона. Вот Вы увидите его обложку для “Весов”.[3] Там есть тоже эмбриончики. Ну, они, конечно, не выйдут в воспроизведении... Но мне хочется показать Вам все его. А больше всего его самого.

Только это трудно... Может, в субботу на вернисаже у “Indépendents”*[4]... Но это во всяком случае не сегодня... Сегодня карнавал, и надо идти на большие бульвары.

Посмотрите, какой у меня вид из окна».

Когда я распахнул окно, ворвалась струя влажного грозового воздуха. Над высотами Монмартра текли и клубились серые грозовые тучи. Sacré Cœur**[5] была сизой, а потом вдруг потекла и исчезла. Среди опуст<е>лого кружева Тюильри[6] мраморные статуи, как белые завязи весенних цветов. Дальше желто-пустынные громады домов. И тут вдруг хлынули, закрутились и понеслись серые, ласковые, влажные феи дождя.

Я так люблю парижский дождь. Всегда такой внезапный. Такой неожиданный. У меня давно вертятся отдельные строфы, но я их никак не могу закончить:

В дождь Париж расцветает,
Точно серая роза...
Шелестит, опьяняет
Влажной лаской наркоза.

---

* «Независимые» *(фр.)*.
** Святое Сердце *(фр.)*.

И по окнам, танцуя
Все быстрей и быстрее,
И смеясь и ликуя,
Вьются серые феи.
Сотни маленьких пальцев
Тянут ниточки шелка,
И касается пальцев
Торопливо иголка.*
На синеющем лаке
Загораются блики.**
В проносящемся мраке
Замутились их лики.
Сколько глазок несхожих...
И несутся в смятеньи,
И целуют прохожих,
И ласкают растенья...
И на груды сокровищ,
Разлитых по камням,
Смотрят морды чудовищ
С высоты Notre-Dame.[7]

Я начал Вам говорить начало и неожиданно нашел конец. Похоже это на дождь?

Но сейчас идти на бульвары не интересно. Пока я Вам отвечу на ваши вопросы.

В академиях работают еще и в июне, и в июле. Это я знаю. А есть и такие, где можно работать все лето.

У Карьера есть академия. Это я знаю. Но сейчас, кажется, его самого нет в Париже. Я наведу справки. Это, во всяком случае, на Монмартре. Если Вы приедете в апреле (приедете «взаправду»), то Вы застанете как раз самый разгар художественного сезона. И большие и маленькие салоны. Только «Indépendents», верно, уже закроется. Они в этом году открывают свой салон слишком рано.

---

* *Далее зачеркнуто: а* Из летящего мрака / Мне смеются их лики... / По поверхности лака / Разбегаются блики *б* По поверхности лака / разбегаются блики. / Из летящего мрака / Мне смеются их лики...

** *Далее зачеркнуто*: *а* В проносящемся мраке *б* Замутились во мраке

«Tout Paris»* разъезжается только к 10 июня (после Grand Prix**[8]). Париж учащийся – к 15 июля.

Так что пред Вами 3–4 месяца самого лучшего парижского времени. Пустеет Париж только с конца июля до конца сентября. Тогда все пусто. Все закрыто. Даже Национальная библиотека закрывается.

С кем Вы приедете? Где будете жить?

Скоро ли приедет Татьяна Алексеевна?

«Г<оспо>жа Кошка»... Почему Вы ее не захотели назвать этим ее – настоящим именем? Оно говорит больше всего. «Что одни зовут звериным...»[9] – это не то. Но я рад, что мои слова будут видеть г<оспо>жу Кошку, которую не увижу я.[10]

Карнавал, дождь, война...

Сперва это лиловые сумерки в послегрозовом рубиновом вечере. Красное золото огней. В Тюильри зажигаются фонари. Черная муравьиная толпа... Кое-где пестрые маски, точно запачканные красные лоскутья. Обрывки чего-то, занесенные дождем и ветром.

На бульварах тесно. Толпа касается плеч, рук, ног. Густая толпа, от которой пахнет мокрым сукном. Она трется, катится, кричит, трубит в дудки, смеется, бросает конфетти. Волосы и плечи посыпаны этими яркими бумажками, точно разноцветным снегом.

Совсем близко к самому лицу приходят мокрые щеки, влажные губы, веселые глаза, щекотят пряди волос. Чувствуется движение этих сбившихся в кучу, движущихся, трепещущих от хохота человеческих тел.

И вдруг из толпы прорывается струя бегущих людей, размахивающих свежими газетами, липкими и пахнущими краской...

«La Patr-r-r-ie!![11] La Presse![12] La deuxième édition. La Pat-r-r-rie!!! La guerre! Désastre Russie!..»***

---

* Весь Париж *(фр.)*.

** Большой приз *(фр.)*.

*** «Ля Патри!! Ля Пресс! Второй выпуск. Ля Патри!!! Война! Катастрофа в России!..» *(фр.)*

«Les derniers télégrammes de la guerre! Trois croiseurs russes sautès! Mobilisation de l'Angleterre... Nouvelle attaque à Port-Artour... Mobilisation des troupes chinois. Transsibirien coupé... «La Pat-r-r-rie» deuxième édition!!!! Cablogramme officiel! Isolement de Porte Artour... La guerre dans les Balcans: situation critique des troupes turques... Autriche mobilise 300 000 hommes!! Les derniers télégrammes de la guerre... !!!»*

И люди в проволочных масках с рыбьими глазами, дико расставленными в разные стороны, вырывают газеты и, подбегая к освещенным окнам магазинов, лихорадочно читают телеграммы, стряхивая с листов сыплющиеся конфетти.

...А в душе необъятная тишина, звездное небо и далеко растущий раскат волны...

И высоко, за пределами неба, вырастает строгое, грустное и неподвижное лицо Будды — познавшего.

«Я был во всех школах, я слушал всех мудрецов и, наконец, я стал Буддой...»

Мокрые и раздавленные конфетти под ногами обращаются в густую липкую массу. Точно талый грязный снег. Нога вязнет и скользит.

Солнце на этот раз (против обыкновения) подымается с востока... Чему же удивляться?

Европа уже три столетия замкнулась в китайских стенах своей цивилизации. Пусть теперь мудрый и познавший Восток скажет свое властное слово.

Все важное и значительное в отношениях человека к людям свелось к таким скучным мелочам, как социализм, экономика... Если всеевропейская война сметет эту плесень и поставит Европу лицом к лицу снова с глубочайшими безднами существования — это ее только спасет от одуряющего кошмара социализма.

---

* «Последние телеграммы с театра военных действий! Подорвались три русских крейсера! Мобилизация в Англии! Новая атака на Порт-Артур... Мобилизация китайских войск. Прервано сообщение на транссибирской железной дороге... «Ля Патри», второй выпуск!!! Официальная каблограмма! Порт-Артур отрезан... Война на Балканах: турецкая армия в критической ситуации... Австрия мобилизует 300 000 человек!! Последние телеграммы с театра военных действий...!!!» *(фр.)*

Какие трагические годы встают над Европой!

Как должны быть счастливы мы, которым предстоит их пережить и их сделать. Мы будем стоять на гребне волны в момент, когда она рассыплется пеной.

«Весело жить!» (Ульрих фон Гуттен)...[13]

Зайдемте в Café de la Paix*.[14] Там удобнее говорить. И вот уж 2 часа ночи... Я сижу за мраморным столиком, и «чернила продолжают капать с моего языка». Гарсоны составляют стулья, отодвигают столы. Запоздалые прозябшие маски глотают горячий грог.

На почтовую бумагу и здесь падают мокрые конфетти. «Garçon, l'addition!..»**

Avenue de l'Opéra*** пустынна и громадна. На стеклах пенсне от дождя пятигранные лучистые звезды.

С двух концов темной улицы нараспев перекликаются два звонких женских голоса.

На мокром отблеске электрического фонаря силуэт двух тонких ног, красные башмачки и желтый шелковый край высоко подобранной юбки.

У Тюильри совсем тихо. Статуи во мгле влажные и холодные. Gare d'Orléans****[15] накален изнутри докрасна.

Сена, вздутая от дождей. Мутная и темная.

Дома...

[1] Ответ на п. 9.

[2] Mardi gras (букв.: Жирный вторник. – *фр.*) – вторник перед Великим постом (у католиков), последний день карнавала. В 1904 г. этот день приходился на 16 февраля.

[3] Редон оформил 4-ю книжку «Весов» за 1904 г., посвященную его творчеству (обложка журнала и все художественные украшения), а также – 5-ю книжку за 1904 г. Выполненная Редоном обложка украшала также 6-й номер «Весов» за 1904 г., а в № 12 того же года был воспроизведен один из офортов художника («Сатана»).

[4] «Независимые» (*фр.*). Имеется в виду ежегодный (с 1884 г.) Салон Независимых (т.е. Салон Общества независимых худож-

---

* Кафе мира *(фр.)*.

** «Гарсон, счет!..» *(фр.)*

*** Проспект Оперы <Оперного театра> *(фр.)*.

**** Орлеанский вокзал *(фр.)*.

ников), открывшийся 7/20 февраля 1904 г. и продлившийся до 11/24 марта 1904 г. Волошин посвятил этому Салону отдельную статью, напечатанную в «Весах» (1904. № 3. С. 44–46). См. также: Т. 5 наст. изд. С. 385–388; 782–784.

[5] Католический собор на Монмартрском холме, возведенный между 1875 и 1919 гг. в память о снятии немецкими войсками осады Парижа.

[6] Тюильри – парк в Париже на месте не существующего ныне дворца, служившего резиденцией французских королей (сожжен в 1871 г. – в дни Парижской Коммуны).

[7] Впервые опубликовано как первое стихотворение цикла «Париж» в альманахе «Северные цветы ассирийские» (С. 51–52; общее заглавие публикации – «Минуты прозрений»). Впоследствии – второе стихотворение цикла «Париж» (заглавие – «Дождь»). См.: Т. 1 наст. изд. С. 23, 441.

[8] Премия «Большой приз» вручается во Франции победителям в разных областях.

[9] См. примеч. 5 к п. 9.

[10] «Об истории с “Г<спож>ой Кошкой” я ничего не знал,– писал Волошин Е.А. Бальмонт в феврале 1904 г. – Как это нелепо и глупо. Больше, чем глупо... Я очень тронут тем, что мои стихи были ее именем. Но “Г<оспо>жа Кошка” мне нравится больше» (Т. 9 наст. изд. С. 80). Об истории с картиной «Госпожа Кошка» см. также примеч. 7 к п. 9.

[11] «La Patrie» («Родина») – парижская ежедневная политическая и литературная газета, основанная в 1841 г. (Здесь и далее Волошин воспроизводит выкрики продавцов газет.)

[12] «La Presse» («Печать») – парижская ежедневная газета (1836–1952).

[13] Восклицание У. фон Гуттена: «О столетие, о науки! Как радостно жить» (из письма к знатному нюрнбергскому бюргеру В. Пиркхаймеру от 25 декабря 1518 г.). В 1898 г. Волошин, отвечая на вопрос «тургеневской анкеты» («Какой Ваш любимый девиз?»), написал: «“Весело жить!!!” (Ульрих фон Гуттен)». В той же «анкете» Волошин упоминает У. фон Гуттена в перечне своих любимых исторических персонажей (см.: Т. 7 кн. 2 наст. изд. С. 281–282, 585). См. также п. 71.

[14] Известное кафе рядом с парижской Оперой, посетителями которого были многие знаменитости (писатели, художники, общественные и политические деятели). Открыто в 1862 г.; существует по настоящее время.

[15] Вокзал на левом берегу Сены напротив Тюильри, ныне перестроенный в Музей д'Орсе.

11. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

10/23 февраля 1904 г. Ростов[1]

Привет из далека посылаю.[2] Пребываю в Ростове на ярмарке.[3] Любопытное ближ нам указуя. Жилище смрадно имею. Умерети опасаюся. Винегрусом[4] кроплю.

Благодарность изъявляю картины получив. Бес молчания во мне пребывает.

В старых церквах, где полет тишины
Скован сухим ароматом сосны.[5]

10 февраля 1904 г.

[1] Открытка с видом церкви Иоанна Богослова на Ишме XVII в.

[2] Отдельные слова и написания букв стилизованы Сабашниковой в манере старославянского письма (посылаiу, iарморке и т.д.).

[3] Ярмарка в Ростове Великом, главная в России после Нижегородской, проходила ежегодно в феврале. Сабашникова ездила в Ростов вместе с А.Н. Ивановой и Н.Н. Авенариус. Ср. ретроспективную запись в ее дневнике (20 марта / 13 апреля 1904 г.): «Несколько дней, проведенных с Нюшей и Надей в Ростове» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 11 об.).

[4] Винегрус – уксус.

[5] Из стихотворения Волошина «Портрет», написанного в ноябре 1903 г. в Москве и навеянного, по всей видимости, автопортретом Сабашниковой (1903). На одном из сохранившихся автографов – помета: «К портрету Марг<ариты> Вас<ильевны>» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 45 и 449).

12. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

25 февраля / 9 марта 1904 г. Париж[1]

Я люблю осенний шелест
Старых писем, дальних слов...
В них есть запах, в них есть прелесть
Увядающих листов.
Я люблю узорный почерк –

В нем есть шорох трав сухих*.
Быстрых букв знакомый очерк
Тихо шепчет грустный стих.
Мне так близко обаянье
Их усталой красоты –
Это дерева Познанья
Облетевшие цветы...[2]

Только что из письма Екатер<ины> Алексеевны я узнал, что Вы едете в Париж и будете скоро.[3] Я рад бесконечно.

Только напишите мне, когда Вы приедете. Где Вы остановитесь? Нужно ли Вам комнату? Мастерскую? Гостиницу?

Может, Вы мне позволите Вас встретить и точно обозначите день и час приезда?

Надолго ли Вы приедете?

Я сейчас способен все эти страницы заполнить вопросительными знаками.

У нас начинается весна. Льются серые шелковые дожди. По ночам пахнет теплом и влагой.

Скоро можно будет начать этюды за городом.

Пока я весь в красках, выжигании на дереве, лаках, полировках – физически и духовно.

Если Вы приедете очень скоро, то Вы еще застанете «Indépendents».[4]

Скоро открываются большие Салоны.

Словом, напишите, когда Вы приедете.

Макс Волошин

3 Rue du Bac.

[1] Датируется по: Труды и дни. С. 116.

[2] Впервые – в журнале «Русская мысль» (1907. № 12. С. 130; с посвящением А.В. Г–н). В книге «Годы странствий» – под заголовком «Старые письма» (с посвящением А.В. Гольштейн; первая строчка – «Я люблю усталый шелест...»). См.: Т. 1 наст. изд. С. 57 и 452–453.

[3] «Отъезд Марг<ариты> Вас<ильевны> в Париж решен, – писала Е.А. Бальмонт Волошину 21 февраля / 5 марта 1904 г. – Она едет с сестрой моей Татьяной Ал<ексеевной>. Туда же приедет Зван-

* *Было:* В нем есть шелест трав сухих

цева. К счастью, все это устроилось. Выезжают в первых числах марта (р<усского> ст<иля>)» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 230, л. 1–2; Елизавета Николаевна Званцева (1864–1921), художница, учредитель и директор частной школы рисования и живописи в Москве (1899–1906), затем – в Петербурге).

[4] Имеется в виду «Салон Независимых» (см. примеч. 4 к п. 10).

13. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

12/25 июня 1904 г. Москва

Поварская, д<ом> Милорадович.[1]
12 июня. Москва. 1904 г.

Вот я закрываю глаза и стараюсь представить себе Montparnasse, Сену... шляпу и розовое пятно на сизой ленте... но извозчики на Поварской так громыхают по камням, и я все бегаю вокруг по анфиладе светлых дворянских комнат; мебель в чехлах; суета и нечего делать. Прыгаю по диванам и столам, отражаюсь во всех зеркалах, танцую, как Дункан,[2] и мне немножко грустно. Пробую рассказывать, и это как-то неуместно и ненужно. Спрашиваю, и тоже неуместно и не нужно. Я приехала вчера. В дороге сначала сидела с Вашими крестниками.[3] Старший похож на Вас шевелюрой и веселым лицом. Они трубили в трубы, потом их от качки тошнило, потом они опять трубили... В Берлине я встретила Джунковского.[4] Большую часть времени я просидела с ним в вагоне-ресторане. Мне нужно было непременно говорить о Париже, об искусстве, и я все говорила ему, хотя видела, что он ничего не слышит и не понимает. Тогда я в первый раз почувствовала, как мне придется менять свой язык; насколько близок был мне язык, на кот<ором> я говорила в Париже. Я проезжала Вязьму, Смоленск, наши места,[5] и мне становилось жутко, как Овидию в изгнании. Что-то уж очень печально и пустынно у нас.

Боже, вот Вы сейчас переведете глаза в окно и увидите Тюльери <*sic!*>, Сену... Да? Париж. Макс Александрович! Правда ли, что я была в Париже? Вы в этом уверены? Это был сон. Но сны одиноки; когда их переживают несколько чело-

век, это уже реальность. Ведь мы вместе видели огни в Сене, каштаны, церкви? Да?

Париж на дне моей души, как город Китеж в озере; когда тихо, я прислушиваюсь, я берегу его, как сокровище. Не могу писать. Когда говоришь голосом и даже не говоришь, а вместе смотришь, только... переходить на письма ужасно трудно.

Здесь все дождь идет и холод. Ландыши появились. Сегодня я ездила на кладбище на поминки дедушки; он умер 24 года тому назад.[6] Видела окраины Москвы, нищих священников и всех родных. (Я вываливаю все, как Курбатов, без разбору). Мой приезд все-таки имеет большой смысл. В Париже без меня хорошо, а здесь не очень. В деревню мы не едем, и вообще планов никаких нет. Родители будут жить в Москве, а Анна Николаевна еще не бросает мысль ехать на восток и ходит в больницу. 16-го мы едем с ней и с Алекс<андрой> Алекс<еевной> на Волгу от Твери, заедем в Углич. Я еще не знаю маршрута; но ужасно этому путешествию рада. Я Вам буду писать с дороги. Знаете, очень скучно Вас не видеть, а думать о Вас очень весело. Я буду в воображении повторять наши прогулки. Вы теперь сидите дома и работаете? Что Вы пишете? А в Chantilly[7] были с Пищалкой?[8] А кристаллы видели? Я рада, что Вы еще в Париже, Вы олицетворяете его. Смотрите на него моими глазами. Пускай Париж помнит меня. Целую его серые камни. Ах, Макс Александрович, это все не то. Письма никуда не годятся. Я больше не буду. Это же вовсе не то. Я только пишу, п<отому> ч<то> мне хочется получить ответ. Дома я рассказываю: а вот в St. Cloud очень хорошо...[9], в Vincennes[10] тоже. Так глупо.

В путешествии, вероятно, пробуду неделю. А потом ничего не знаю. По-моему, жить очень хорошо. А Вы это не находите?

[1] В мае 1904 г. родители Сабашниковой переехали на новую квартиру в один из доходных домов на Поварской улице, принадлежавших графине А.А. Милорадович. Ср. в дневнике Сабашниковой (запись от 13 июня 1904 г.): «Новая квартира. Поварская. Дворянский светлый дом, чехлы, зеркала и анфилады. У меня отличный вид. Это мое торжество» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 25).

[2] 13/26 апреля Волошин и Сабашникова были на «бетховенском концерте» Айседоры Дункан, выступавшей в зале «Трокадеро» (см.: Труды и дни. С. 118). «Я был у Дёнкан и очень разочаровался от ближайшего созерцания», – писал Волошин А.М. Петровой 24 июня / 7 июля 1904 г. (Т. 9 наст. изд. С. 131). Айседоре Дункан и ее искусству Волошин посвятил отдельную статью, опубликованную в мае 1904 г. и известную в двух вариантах (см.: Т. 5 наст. изд. С. 244–249, 748–751).

[3] Одновременно с Сабашниковой, 8/21 июня 1904 г., в Москву из Парижа отправилась Н.В. Семенова (урожд. Гольштейн; 1880–1953) с тремя детьми (см.: Труды и дни. С. 121); «крестниками» Волошина были ее сыновья А.Ю. Семенов (Лоло; 1901 – не ранее 1948) и младший сын, умерший полуторагодовалым ребенком (см. п. 61).

[4] Имеется в виду Н.Ф. Джунковский. Из его сохранившейся переписки с М.В. Сабашниковой и ее дневников явствует, что в течение нескольких лет он был влюблен в Маргариту Васильевну, которая, однако, была к нему равнодушна и даже тяготилась вниманием к ней со стороны женатого человека. «Я много думала о Вашем письме и пришла к заключению, что писать Вам не стану, – отвечала Сабашникова на одно из признаний Джунковского. – Я считаю себя не вправе поддерживать отношения, которые не могут быть равными, естественными. <...> Лучше сразу сделать это, хотя это и больно, тяжело» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 28, л. 10 об.). Однако их отношения не были разорваны; в 1906 г., будучи в Петербурге, Джунковский выражал желание познакомиться с Волошиным.

[5] В Вяземском уезде Смоленской губернии (близ станции Издешково Московско-Брестской железной дороги) находилось имение родителей М.В. Сабашниковой («Богдановщина»), где Маргарита неоднократно бывала в детстве и юности (ныне – Сафоновский район Смоленской области).

[6] Алексей Васильевич Андреев (1830–1880). Однако Е.А. Андреева-Бальмонт указывает другую дату его смерти – 1876 г. (см.: *Андреева-Бальмонт Е.А.* Воспоминания. Под общей редакцией А.Л. Паниной. Изд-во имени Сабашниковых. М., 1996. С. 74).

[7] Шантийи – пригород Парижа, знаменитый своим парком, старинным замком и др.

[8] Прозвище В.Я. Курбатова.

[9] Сен-Клу – пригород Парижа. 31 мая / 13 июня 1904 г. Волошин и Сабашникова совершили пароходную прогулку в Сен-Клу, оказавшуюся для Волошина памятным событием, своего рода «вехой» в истории его отношений с Сабашниковой и высшей их точкой. «Этот день я унесу в груди как большой драгоценный камень, –

записал Волошин в тот же день вечером. – День “грустного счастья”. Надрывающего счастья» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 147). О том же свидетельствует и ретроспективная (не датированная) запись Волошина, сделанная много лет спустя:

«Желание отойти, расстаться в самый высший момент подъема счастья, самому оборвать, добровольным отречением от возможного будущего запечатлеть навсегда настоящее мгновение было у меня единст<венн>ый раз в жизни – весною 1904 г., весенним вечером, когда мы возвращались с М<аргаритой> В<асильевной> на пароходе из St. Cloud. Это была потребность настоятельная и властная. Я тогда стыдился самых чувств, не умел их скрывать и не умел высказывать. Все, что будет потом, – только ослабление того дня. Нужно понять умирание и растворение» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 447, л. 2 об.).

Сабашникова, со своей стороны, описала эту поездку в Сен-Клу следующим образом (дневниковая запись от 1/14 июня 1904 г.):

«Днем St. Cloud. И это сон. Но у меня сжималось сердце. Старая песня. От меня ждут слов, а я молчу. Мы возвращались по Сене. Праздник вод; огни пляшут. Он <Волошин> говорил фразы 16-тилетнего мальчика, и его первого мне жаль. Для него начался такой новый, такой громадный сон. Нужно оборвать его, и жаль. У него ошеломленный вид. Он сам не знает, что с ним делается, а ему 27 лет! <...> И я смотрю на это молодое, на это чистое и одаренное существо и знаю, чтó с ним, и мне страшно, что опять в моих бессильных и неумелых руках сокровище и я не знаю, как бережно, не измяв, отложить его. Какая я иногда старая, как давно я живу. А он похож на большого санбернарского щенка» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 24–24 об.).

Спустя несколько дней, 6/19 июня, Волошин и Сабашникова (в обществе Е.С. Кругликовой, О.Н. Мечниковой и др.) вновь посетили Сен-Клу и устроили «пикник в лесу» (см.: Труды и дни. С. 120).

Воспоминания Волошина о его первой поездке с Сабашниковой в Сен-Клу легли в основу стихотворения «Второе письмо» (см. п. 52) и неоднократно «реминисцируют» в других его стихах и письмах (см.: примеч. 13 к п. 52, примеч. 2 к п. 90 и п. 122 ,159 и 237).

[10] Венсен – пригород Парижа, приблизительно в 7 км от центра города, знаменитый своим парком (ныне – в черте Парижа) и старинным замком (ранее – резиденция французских королей, позднее – тюрьма для государственных преступников). 3/16 июня Волошин и Сабашникова провели вечер в Венсенском лесу (см.: Труды и дни. С. 120).

14. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

16/29–17/30 июня 1904 г. Углич

16–17 июня.

Луна и заря. Пустынная река. Пустынная палуба. За мной три человека, все трое смотрят вдаль.

На пристань приехали ночью в высоких тарантасах по лужам. Все неуклюже в России. Все рваные, распущенные и дикие. Утром приехали в Углич. Розовые и белые церковки с синими куполами, старые дома с колоннами, ряды, избы, трава на площади вокруг колодца, лужи и нищие. Осматриваем церкви.

Я не вижу русского искусства. Все так бедно, грубо. Мне что-то это все – чуждо. Нужно было много доброй воли, чтобы в прошлом году находить в нем прелесть. Вообще, чувствую себя dépaysée.*

В Париже что-то было светлее, что-то ежеминутное, ежечасное и живое, так что я никогда не спрашивала себя «зачем». А здесь я опять ничего не понимаю и нуждаюсь в «идее», чтобы чем-нибудь закрыть пустоту. Опять требуется оправдание.

Стараюсь припомнить, что такое было такого значительного. Vitreaux,** японцы, огни. Но здесь это не имеет никакого смысла. Вы в вашем раю, вероятно, воскликните: «О, род малодушный и неверный!»[1]

Но если бы Вы видели Россию во всей ее красе! Какая грусть! Одни московские мостовые! Эти лужи, эти убитые лики.

Вы думаете: это неважно.

Нет, очень важно.

Напишите что-нибудь веселое и утешительное.

[1] Неточное воспроизведение слов Христа. В Евангелии: «О, род неверный и развращенный!» (Мф. XVII, 17; Лк. IX, 41) или «...род лукавый и прелюбодейный....» (Мф. XII, 39). Ср. также п. 75.

* Потерянной, выбитой из колеи, не в своей тарелке *(фр.)*.

** Витражи *(фр.)*.

15. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

22 июня / 5 июля 1904 г. Париж

I

Я соблюдаю обещанье
И замыкаю в четкий стих
Мое далекое посланье.
Путь будет он, как вечер, тих,
Как стих «Онегина» прозрачен,[1]
Порою слаб, порой удачен,
Пусть звук речей журчит ярчей,
Чем быстро шепчущий ручей.

Вот я опять один в Париже
В кругу привычной старины...
Кто видел вместе те же сны,
Становится невольно ближе...
В туманах памяти отсель
Поет знакомый ритурнель.[2]

I

Всю цепь умчавшихся мгновений
Я мог бы снова воссоздать...
Несмелость медленных движений...
И жест, чтоб ножик иль тетрадь
Сдержать неловкими руками.
И Вашу шляпку с васильками,
Покатость Ваших слабых плеч,
И Вашу медленную речь,
И платье цвета эвкалипта,
И ту же линию в губах,
Как на статуе Таиах[3] –
Царицы древнего Египта,
И так характерный для Вас
Безбровый взгляд печальных глаз.

III

Рассвет... Я только что вернулся.
На веках — ночь. В ушах — слова...*
И сон в душе, как кот, свернулся...
Письмо... От Вас? Едва-едва
В неясном свете вижу почерк —
Кривых каракуль смелый очерк.
Зажег огонь. При свете свеч
Глазами слышу Вашу речь...
Вы снова здесь? О, говорите ж...
Мне нужен самый звук речей...
В озерах памяти моей
Опять звонит далекий Китеж,
И легкий шелест дальних слов
Певуч, как гул колоколов.

IV

Смотрю в окно сквозь воздух мглистый.
Зеркальна Сена... Тюильри...
Монмартр и синий, и лучистый...
Как желтый жемчуг фонари...
Кристальный хаос серых зданий...
И аромат воспоминаний,
Как запах тлеющих цветов,
Меня пьянит. Чу! Шум шагов...
Под тяжкой грудью парохода
Разбилось тонкое стекло,
Заволновалось, потекло...
Донесся дальний гам народа.**
На дне провалов мгла и тишь,
Но день идет... Гудит Париж...

* *Далее две строки вымараны.*
** *Было:* Донесся дальний плеск народа.

V

Для нас Париж был ряд преддверий
В просторы всех эпох и стран,
Легенд, историй и поверий...
Как мутно-серый Океан,
Париж властительно и строго
Шумел у нашего порога.
Мы отдавались, как во сне,
Его ласкающей волне.

Мгновенья полные, как годы...
К<ак> жезл сухой, расцвел музей...
Прохладный мрак больших церквей,
Vitreaux, готические своды...
Толпа: потоки глаз и лиц...
Припасть к земле... Склониться ниц...

VI

Любить без слез, без сожаленья...
Любить, не веруя в возврат.
Чтоб было каждое мгновенье
Последним в жизни. Чтоб назад
Нас не влекло неудержимо...
Чтоб жизнь скользнула в кольцах дыма,
Прошла, развеялась... О, пусть
Вечерне-радостная грусть
Обнимет нас своим запястьем!
Следить, как тают без следа
Остатки грез, и никогда
Не расставаться с грустным счастьем,
И, подойдя к концу пути,
Вздохнуть... и радостно уйти...

VII

Здесь всё теперь воспоминанье,
Здесь всё мы видели вдвоем,
Здесь наши мысли, как журчанье

Двух струй, бегущих в водоем.
Я вижу Вашими глазами,
Я слышу Вашими ушами,
Ритм Вашей речи на устах,
Ваш робкий жест в моих руках.
Я б изнутри все впечатленья
Хотел по Вашему понять,
Певучей рифмой их связать
И в стих вковать их отраженье.
Но только нет... «Продленный миг –
Есть ложь»[4]. И беден мой язык...

VIII

Я буду помнить жизнь вне рамок.
Поездки в лес на целый день.
Фонтенебло.[5] И парк, и замок.
Скамью. Фонтан. Каштанов тень.
Потом в лесу три старых пушки.
Ущелья. Вечер у опушки
На диком склоне у сосны.
Леса, как море... Диск луны.
Дорога в белом лунном свете.
Внизу сквозь кружево ветвей
Миганье радужных огней.
Я помню их, прогулки эти –
Я четко помню каждый день:
St. Cloud, Мэдон, Венсенн, Сюреннь...[6]

IX

Я буду помнить день в Версале.[7]
Тропинку в парке между туй.
Холодноватость синей дали,
Безмолвность мраморных статуй,
Фонтан и кони Аполлона,
Затишье парка Трианона,
Шероховатость старых плит...
(Там мрамор сер и мхом покрыт).

Закат, как отблеск пышной славы
Давно отшедшей красоты,
Окаменелые цветы...
И глыбой стройно-величавой –
Дворец. Пустынных окон ряд.
И в стеклах пурпурный закат.

X

Я буду помнить утро в Hall'е[8],
Когда у Лувра на мосту
В рассветной дымке мы стояли.
Я помню рынка суету,
Собора слизистые стены,
Капуста, точно сгустки пены,
«Как солнца – тыквы» и морковь,
Сырая, красная, как кровь.
Корзины пурпурной клубники,
И океан живых цветов –
Гортензий, лилий, васильков,
И незабудок, и гвоздики,
И серебристо-сизый тон,
Обнявший нас со всех сторон.

XI

Я буду помнить Лувра залы:
Картины, золото, паркет,
Статуи, тусклые зеркалы,
Сквозь стекла крыши резкий свет.
Нам Рубенс был смешон и гадок,
Но нам так нравился зато
Скрипучий шелк чеканных складок
Темно-зеленого Ватто.
Буше – пустой, изящный, лживый,
Шарден – интимный и простой,
Коро – жемчужный и седой,[9]
Миллэ – закат над желтой нивой,
Веселый лев – Делакруа,
И в Saint-Germain l'Auxerroy –

XII

Vitreaux – камней прозрачный слиток:
И аметисты, и агат.
Там Ангел держит длинный свиток,
К земле склоняя грустный взгляд.
Vitreaux мерцают, точно крылья
Вечерней бабочки во мгле.
Склонивши голову в бессильи,
Святая клонится к земле
В безумьи счастья и экстаза...[10]
«Tête Inconnue»...[11] Когда и кто
Нашел и выразил в ней то
В движеньи плеч, в разрезе глаза,
Что так меня волнует в ней,
Как и в Джоконде... но сильней.

XIII (век)

Леса готической скульптуры...
Как жутко всё и близко в ней.
Колонны, строгие фигуры
Сибилл, пророков, королей.
Мир фантастических видений,
Окаменелых привидений,
Драконов, магов и химер...
Здесь всё есть символ, знак, пример.
Какую повесть зла и мук вы
Здесь разберете на стенах?
Как в этих сложных письменах
Понять значенье каждой буквы?
Их взгляд, как взгляд змеи, тягуч.
Закрыта дверь. Потерян ключ.

XIV

Мир шел искать себе обитель,
Но на распутьях всех дорог
Стоял лукавый Соблазнитель.

На нем хитон. На нем венок,
В нем правда мудрости звериной:
С свиной улыбкой взгляд змеиный.
Призывно пальцем щелкнул он,
И мир, как Ева, соблазнен,
И мир – Христовая Невеста –
Она решилась и идет...
В ней всё дрожит, в ней всё поет,
В ней робость и бесстыжесть жеста,
Желанье, скрытое стыдом,
И наслаждение грехом.

XV

Есть беспощадность в примитивах.
У них для правды нет границ:
Ряды позорно некрасивых,
Разоблаченных кистью лиц.
В них дышит жизнью каждый атом:
Фуке – безжалостный анатом –
Их душу взял и расчленил,
Спокойно взвесил, осудил
И распял их в своих портретах.
В его портретах казнь и месть,
И что-то дьявольское есть
В их окружающих предметах
И в хрящеватости ушей,
В глазах и в линии ноздрей.

XVI

Им мир Рэдона так созвучен,
В нем скорбь камней, в нем крик земли,
Но саван мысли сер и скучен.
Он змей, свернувшийся в пыли.
Рисунок грубый, неискусный...
Вот Дьявол, кроткий, странный, грустный.
Антоний видит бег планет.
«Но где же цель?» – «Здесь цели нет».[12]

Струится мрак и шепчет что-то...
Легло молчанье, как кольцо.
Мерцает грустное лицо
Средь ядовитого болота...
И Солнце, черное как Ночь,
Вбирая свет, уходит прочь.

XVII

Как горек вкус земного лавра!
Родэн навеки заковал
В полубезумный жест Кентавра
Несовместимость двух начал.[13]
В бессильи заломивши руки,
Он бьется в безысходной муке...
Земля и стонет и гудит
Под тяжкой судоргой копыт.
Но мне понятна беспредельность,
Я в мире знаю только цельность,
Во мне зеркальность тихих вод,
Моя душа, как небо, звездна,
Кругом поет родная бездна, –
Я весь и ржанье, и полет...

XVIII

Я поклоняюсь вам, кристаллы,
Морские звезды и цветы,
Растенья, раковины, скалы –
Окаменелые мечты
Беззвучно грезящей природы,
Стихии мира: Воздух, Воды,
И Мать-Земля и Царь-Огонь!
Я духом – Бог. Я телом – Конь.
Я чую дрожь предчувствий вещих,
Я слышу гул идущих дней,
Я полон ужаса вещей,
Враждебных, мертвых и зловещих.
И вызывают мой испуг
Скелет, машина и паук.

XIX

Есть злая власть в глазах предметов,
Рожденных судоргой машин.
В них грех нарушенных запретов.
В них месть рабов. В них бред стремнин.
Для всех людей – одни вериги:
Асфальты, рельсы, платья, книги...
И не спасется ни один
От власти липких паутин.
Но мы – Свободные Кентавры,
Мы мудрый и бессмертный род.
В былые дни у брега вод
Ласкались к нам ихтиозавры...
И мир мельчал. Но мы росли.
В нас бег планет. В нас мысль Земли.[14]

5 июля 1904 г. Париж.

Макс Волошин.

Спасибо за Пушкина.[15] Получил открытку[16] и два письма: из Москвы и из Углича.[17] Жду писем. Буду продолжать. Бальмонты уехали вчера.[18] Сегодня Елена. Пишите. Отвечайте.

[1] Беседы Волошина и Сабашниковой в начале июня 1904 г. неоднократно касались и Пушкина (любимого поэта Сабашниковой), и «Евгения Онегина». Так, согласно записи в дневнике Волошина от 23 мая / 5 июня 1904 г., Сабашникова вечером этого дня просила его написать ей «что-нибудь» на экземпляре «Евгения Онегина», и Волошин (судя по дальнейшим дневниковым записям) написал три строчки из своего стихотворения «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...»: «Вдаль по земле таинственной и строгой / Лучатся тысячи тропинок и дорог. / О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!» (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 144, 146). Ср. в дневнике Сабашниковой: «Накануне м<адам> Юнге, он <Волошин> и я читали “Евгения Онегина” с восторгом» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 23. «Накануне» – т.е. 24 мая / 6 июня 1904 г. Упоминается Е.Ф. Юнге). Видимо, в те же дни или при расставании с Сабашниковой Волошин пообещал ей прислать стихотворение, посвященное их совместным дням в Париже и написанное «онегинской строфой». См. также: *Федотов О.И*. Онегинская строфа в письмах М. Волошина

и М. Сабашниковой // VIII и IX Волошинские Чтения. Материалы и исследования. Симферополь: Крымский Архив, 1997. С. 22–24.

[2] Ритурнель – часть аккомпанемента, повторяющаяся в начале и конце каждой строфы, романса, оперной арии и т.д.

[3] Таиах – придуманное Волошиным имя для египетской царицы (возможно, Тайи или Тии, жены фараона Аменхотепа III), чью скульптурную голову он увидел в парижском музее Гиме 6 июня 1904 г. и усмотрел в ней сходство с М.В. Сабашниковой. Позднее он приобрел в Берлине гипсовый слепок с этой скульптуры (находится в Доме-музее М.А. Волошина в Коктебеле). В стихотворении «Она» (1909) Волошин называет Таиах «Царевной Солнца» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 117). См.: *Купченко В.* Муза меняет имя? // Советский музей. 1985. № 3. С. 42–44.

[4] Парафраз известной строки Тютчева «Мысль изреченная есть ложь» (стихотворение «Silentium!»).

[5] Поездка Волошина и Сабашниковой в Фонтенебло (совместно с Бальмонтами, Е.К. Цветковской и В.Я. Курбатовым) состоялась 16/29 мая 1904 г. (Труды и дни. С. 119).

[6] Волошин перечисляет другие пригороды Парижа, которые он посетил вместе с Сабашниковой. О поездке в Сен-Клу см. подробно в примеч. 9 к п. 13; в Венсенском лесу они провели вечер 3/16 июня (см.: Труды и дни. С. 120); о поездке в Сюрен 7/20 июня см. примеч. 4 к п. 19.

[7] Волошин и Сабашникова посетили Версаль 28 марта / 10 апреля 1904 г. в сопровождении Алексея Сабашникова и Л.Н. Вебера (Труды и дни. С. 117). «Мы ездили в Версаль вчетвером, – записано в дневнике Сабашниковой. – <...> Это был день из “акварелей” Волошина. “Небо целый день моргает”. Солнце то освещало старые и зеленые от плесени деревья, блестящий плющ и искры зеленых листиков на молодых деревьях, то пряталось, и тогда Версаль со своими грустными статуями и водами составлял одну симфонию. Темнело, когда мы сходили с грандиозной лестницы. “Эта лестница страшная, такие бывают только в снах”. Потом по сторонам я увидала 2 вазы с серыми окаменевшими розами. – “Это нужно сделать”. Одна выделялась на пруде, а другая на фоне очень старой, очень темной аллеи; там небо беспокойное с желтыми полосами заката в сизых облаках. Эти окаменевшие цветы на этом фоне; что-то сдавило мне горло; это, это трагично» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 15–15 об. Запись датирована: 28 <марта?> –17 апреля). «Небо целый день моргает» – строка волошинского стихотворения «Как мне близок и понятен...» (1902), впервые опубликованного под названием «Париж» в восьмой книжке журнала «Новый Путь» за

1903 г. (С. 39–40); вошло в «Стихотворения 1900–1910» как третье стихотворение цикла «Париж».

[8] Halles Centrales – крытый рынок в центре Парижа (ныне снесен). Ср. запись в дневнике Волошина от 16 июня 1904 г.: «На рассвете в Halle. Река утром. Корзины с ягодами. Цветы» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 153).

[9] О Коро и впечатлении, произведенном его живописью на Сабашникову, см. примеч. 1 к п. 28.

[10] Ср. описание церкви Сен-Жермен Л'Оксерруа в дневнике Сабашниковой (запись от 16/29 мая 1904 г.): «Под сводами слышится жужжание детских голосов, однообразное и чистое. Священник учит их молитвам. Цветные окна сияют в полумгле. На одном Иоанн Креститель оперся и слушает детей. Мы опять долго смотрим на лилового трагического ангела и на радостный экстаз Магдалины. Потом на то окно, кот<орое> похоже на крылья ночной бабочки. Потом мы вдвоем идем по витой каменной лестнице в маленькую комнату XV века с цветными окошечками. Катя ждет в церкви. Потом Лувр. "Не правда ли мы в сказке? Мы в книжке для детей?"» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 23–23 об.).

[11] См. примеч. 5 к п. 8.

[12] Волошин описывает одну из литографий третьей серии «Искушение св. Антония» (1896) – иллюстрацию к одноименной драме Флобера; под литографией – слова: «Антоний: Где же цель? – Дьявол: Нет цели». Эту же запомнившуюся ему работу Редона Волошин подробно пересказал в письме к А.М. Петровой от 9/22 августа 1901 г. (см.: Т. 8 наст. изд. С. 603–604) и в статье «Одилон Рэдон», опубликованной в «Весах» (1904. № 4. С. 1–4); см. также: Т. 5 наст. изд. С. 398. Об этой работе много лет спустя вспоминала и Сабашникова: «Особо памятен мне один его <Редона> рисунок углем: голова Сатаны, взгляд, полный сверхчеловеческой печали, устремлен в бесконечную пустоту» (Зеленая Змея. С. 121).

[13] «Кентавр» – скульптура О. Родена (1899), изображающая женщину-кентавра. Репродукция этой вещи висела в парижской мастерской Волошина.

[14] Текст этого стихотворного послания, в котором Волошин вспоминает о пребывании Сабашниковой в Париже и их совместных поездках, был впервые опубликован (без строфы VIII) в журнале «Перевал» (1907. № 12. С. 16–19; заголовок – «Письмо»). Вошел (в том же виде и под тем же названием) в первый стихотворный сборник Волошина (см.: Т. 1 наст. изд. С. 48–56, 449–452).

[15] Исходя из контекста, можно заключить, что Волошин благодарит Сабашникову либо за издание «Евгения Онегина», которым

она пользовались в Париже, либо за ее любовное отношение к поэту, восторженные слова о нем и т.д. (см. примеч. 1 к данному письму).

[16] Упомянутая Волошиным открытка Сабашниковой (скорее всего написанная с дороги) неизвестна.

[17] Т.е. п. 13 и 14.

[18] Вечером 21 июня / 4 июля К.Д. и Е.А. Бальмонты уехали из Парижа в Женеву.

16. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

23 июня / 6 июля 1904 г. На Волге

Пароход. Волга. 23 июня.
Казань – Ярославль.
1904.

Мы всё едем. Зори вечерние и утренние, пустынная река, пустынные берега. В России порядок мыслей и чувств другой. Вокруг так грустно и пустынно, что требуется создать что-то, заселить невидимыми городами пустые пространства. Иногда мы берем извозчика, когда пароход долго стоит у какого-нибудь города, и катаемся. Финтифлюшки на домах, пустыри в центре, помосты для ледяных гор и т.д. В Ярославле я мельком снаружи видела те церкви, кот<орыми> так восхищалась в прошлом году. Они действительно восхитительны. Это единственное отрадное впечатление в продолжение трех дней пути. В Ярославле на пароходе встретили К. Коровина и провели с ним вечер и ночь на палубе. На рассвете пароход наш остановился у монастыря. Стены и церкви белели и имели утренний лик; окошечки горели зарей. Мы пошли к нему. Монастырские ворота были заперты; через окна слышен был говор монахов, а за монастырем в роще было тихо и пустынно, только птицы начинали петь. Мы сошли по росистому лугу к маленькой речке. От нее шел пар; над угрюмой баркой вспорхнула чайка, и солнце вставало ясное, чистое. К пристани подъехала тройка с бубенчиками – почта. Мы вернулись. В Костроме Кор<овин> вышел. Вы знаете его? Это громадный талант. Это художник чистой воды. Его раз-

говор всегда бессвязен и гениален. Жаль, что теперь он уже позирует этим. Вообще, он произвел на меня неприятное впечатление.[1] Он не прям и денигрирует[2] своих собратьев исподтишка. Вероятно, он чувствует себя талантливее всех и знает, что, несмотря на это, так мало проявляется. Денигрировал Поленову, Якунчикову и др. Мне это очень грустно всегда. В Москве Дурнов произвел на меня еще грустнее впечатление. Мне кажется, только русские могут так глубоко презирать своих собратьев, <не> считаясь и с их умом, и с их талантом, и даже с их подвигами.

Очень боятся поверить человеку и остаться в дураках.

Самое интересное во всем путешествии – это IV класс.

[1] Сабашникова была ранее знакома с К.А. Коровиным, посещавшим в конце 1900 г. мастерскую Е.Н. Званцевой (Москва), где она тогда работала. Ср. записи в дневнике Сабашниковой: 21 октября / 3 ноября 1900 г.: «Сегодня в мастерской был Коровин»; 7/20 ноября: «Вчера я говорила с Коровиным»; 25 ноября / 8 декабря: «Сегодня Коровин сказал про мой этюд: “Вот это настоящая живопись!”»; 8/21 декабря: «После Коровина был Серов и остался доволен моим рисунком» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 18, л. 121, 125 об., 128 об., 130). О том же вспоминает Сабашникова и в «Зеленой Змее»: «Константин Коровин нередко приходил поправлять наши работы. Его поправки заключались в том, что, остановившись около меня, он шептал на ухо что-то о красоте цвета, открывающейся на модели или на фоне картины. Он шептал: “Видя Вашу манеру живописи, я представляю себе, что Вы могли бы написать картину...” <...> Его нашептывания действительно вдохновляли. Я сделала тогда большие успехи» (С. 101).

[2] От французского глагола dénigrer – поносить, хулить.

17. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

Между 24 июня / 7 июля и 5/18 июля 1904 г. Париж[1]

3 Rue du Bac. Paris.

Знойно. В Париже все камни накалены и светятся. Я жду не дождусь времени, когда смогу убежать в Швейцарию, в Англию.[2]

Я в непрерывном ожидании ответа на мое письмо.[3] Меня беспокоит – а вдруг оно не дошло, вдруг Вы его не получили. Мне хочется продолжать эту поэму, но сейчас рифмы иссякли, и ключи потеряны.[4] Мне необходим звук голоса, чтобы я мог продолжать.

С отъездом Бальмонтов[5] я заперся у себя. Никого не вижу, целыми днями пишу. Точно не вы, а я уехал в какой-то другой город.

Вышло как-то так, что с момента Вашего отъезда я перестал *видеть* Париж, а стал только *вспоминать* его.

Я тогда вечером, после отхода поезда, сейчас же потихоньку убежал ото всех на Эйфелеву башню. Но нашел ее запертой и сидел долго около пруда и тогда уже почувствовал, что вижу теперь все сквозь время.

Мне сейчас не хочется писать Вам, потому что, вкусив сладость писать письма стихами, скучно писать их прозой. Выходит далеко и холодно. Но я боюсь, получили ли Вы то мое письмо?

Где Вы будете проводить лето? Неужели все время в Москве?

Куда писать Вам?

Пожалуйста, ответьте скорее на мое письмо. У меня столько новых стихов шевелятся и ждут только одного звука голоса, чтобы выйти наружу.

Жду.

Макс Волошин.

P.S. Мой адрес остается неизменным, где бы я ни был. Мне будут сейчас же пересылать письма.

[1] Датируется по содержанию (упоминание об отъезде Бальмонтов) и смысловой связи с п. 15 и п. 21 (в последнем упоминается о визите к А.С. Голубкиной, состоявшемся 6/19 июля 1904 г.), а также по соотнесенности с письмом к А.М. Петровой от 24 июня / 7 июня 1904 г. (см.: Т. 9 наст. изд. С. 130–131).

[2] Поездка в Англию не состоялась.

[3] Имеется в виду п. 15.

[4] Обыгрывается заключительная фраза («Потерян ключ») строфы XIII стихотворения «Письмо» (см. п. 15).

[5] См. примеч. 18 к п. 15.

18. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

7/20 июля 1904 г. Щербинка[1]

7 июля 1904.

Поэму[2] читаю и перечитываю. Отвечаю. Это Бог знает как хорошо!

Адрес: Моск<овско>-Курская ж<елезная> д<орога<. Полуст<анок> Щербинка, д<ача> Саарбекова.[3] Андреевой.[4] Мне.

[1] Открытка.

[2] Имеется в виду «Письмо» (см. примеч. 1 и 14 к п. 15).

[3] Дача, где отдыхала летом 1904 г. Н.М. Андреева, находилась под Москвой в имении «Щербинка» (ныне – в черте города), принадлежавшем М.С. Саарбекову.

[4] Н.М. Андреева.

19. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

8/21 июля 1904 г. Щербинка[1]

8 июля 1904.
Полуст<анок> Щербинка.
Имение Саарбекова.
Дача Андреевой.

Мне вспоминаются игрушки
Японские: (люблю Восток!).[2]
В стакан с водой бросают стружки,
И вот из них растет цветок.
Так строки Вашего посланья
Горят огнем воспоминанья,
Коснувшися души моей,
И тайно расцветают в ней.
В нем наши дни живут сохранно,
Как бы в ковчеге золотом,
Но здесь мне кажутся лишь сном.
Необычайны, дики, странны,
Они похожи на сирен,
Из вод глубоких взятых в плен.

Нам было радостно в Париже
О дальней родине мечтать.
Она милей, она там ближе...
Но как ужасно вспоминать,
Трясясь в пролетке однобокой
На мостовой, как жизнь жестокой,
С ее безжалостным толчком
И неожиданным скачком,
Глядя по сторонам на лица,
В которых виден тяжкий гнет,
И еле двигаясь вперед,
Ворча на сонного возницу...
Тебя, Париж, в<о>споминать!
Как слез не лить! Как не вздыхать!

Глаза невольно закрываю
И вижу милый Montparnasse.
В музеях мысленно гуляя,
Встречаю очень часто Вас,
И вижу средь эстамп японских
Младенческий и ясный взор...
Наш вечный слышу разговор,
Как меж подружек пансионских,
Серьезный, важный и живой.
И для других людей смешной...
Шептали там века нам сказки.
Как дети, им внимали мы.
Нас волновали мира сны,
Светяся в линиях и красках,
И жизни спутанный узор
Во мгле угадывал наш взор.[3]
. . . .
. . . .
И помню день перед отъездом.
В Сюрене ужин. За столом
Нас было восемь.[4] В небе звезды
Горели трепетным огнем.
Шарманка жалобно играла,
И сердце каждый взор встречало
Как в первый, как в последний раз.
И вот была одна средь нас[5] . . . .

«Любить без слез, без сожаленья»,[6]
Как нас один поэт учил,
(Он с нами вместе там же был)
Хоронит с грустию душа.
По той теперь тоскую я.

Глаза ее полны печали...
Ее печальной не зови.
Глаза те грели и сияли,
Как солнца черные любви.
В них что-то чудное таится,
Живая жизнь из них струится,
На их огонь душа летит,
И их огонь в душе горит.
Она, как скорбная царица,
Свою печаль умеет скрыть?
Иль горе в радость претворить?
Порой, как раненая птица,
Она в бессильи припадет,
Но вновь летит и вновь поет.[7]

И рядом с ней был дух мятежный,
Неверный, как болотный свет,
С душой безжалостной и нежной
Дитя, преступник и поэт.[8]
Чело морщинами изрыто,
Его глаза полузакрыты,
Зрачки сквозь веки без ресниц,
Как у ночных и хищных птиц,
Незрячих днем, как дыры черны.
Презрительный, порочный рот
И странной речи оборот,
Отрывистый и изощренный.
И был он как дитя в тот день...
Другую вижу рядом тень.[9]

Как будто солнце не касалось
Ни разу этих детских щек.
На них печать луны осталась,
И детский лик <ее?> был строг.
Вещей нездешнее познанье,
Как темно-синее сиянье,
Невольно всех смущая нас,

Струилося из темных глаз,
Нездешней силой облеченных.
Волна печальная лилась
Из влажно ласковых тех глаз
И по-индусски удлиненных.
Как рыбка, из глубоких вод
Она всплыла к нам. Детский рот
Ее был сжат от скрытой* боли.
От скорби запеклись уста.
Покорна чьей-то тайной воле
Она,** как тень, одна прошла.***
Над ней ничто не знало власти.
Верна своей судьбе и страсти
От повседневности оков
Она ушла без слез, без слов.
В ней странно сочеталась нежность
С презреньем хладным, и порой
Меня смущал ее покой.
И в самом счастье безнадежность.
Огнем небесным сожжена
Так в поле ель стоит одна.[10]

. . . .

Чей слышу разговор научный?[11]
Какой пискливый голосок!
И льется речь ровна, докучна,
Как будто сыплется песок
Без остановок, без пощады.
Бывало, спросим и не рады,
Такой польется слов поток.
По всем предметам он знаток.
Он мог свободно Хирошиги
От Куниоши отличить.[12]
И каждый день цветы дарить,
А все ж как будто жил лишь в книге.
Коллекционер вещей, маньяк
Весь бледный, длинный, как червяк.

Он был похож на примитивы:
Рот до ушей, безбров и худ,

* *Было:* тайной
** *Зачеркнуто:* Была всегда
*** *Зачеркнуто*· одна

Глаза, как щелки. Некрасиво
И жидко волосы растут.
Ходило с ним его проклятье
(Не в силах этого понять я):
Он всем услуживал, чем мог,
Но тяготел над ним злой рок.
За ним, как тень, ходила скука,
Восторги дивным Chantilly[13]
Лились, как тонкие ручьи...
Но Боже! Что мне в том порука,
Что не подобна я ему.
Я умолкаю потому...[14]

Ну, вот! Теперь могу разговеться прозой. Прочтите и уничтожьте. А то мне будет очень стыдно. Это очень плохо. Но ведь я «только год поэт».

От вашей поэмы я в восторге, особенно хороша готика и примитивы. Я так рада, что она написана, что она есть у меня.

Живу у бабушки. Много писать не буду, нечего. Березки, луга, ромашка и клевер. В саду пичуги и пионы.[15] Ничего общего с Парижем. Бабушка; потом тетка, выжившая из ума, кот<орая> трясет головой, ловит меня с просьбой пожать руку, сказать, который час и сколько градусов; потом ее приживалка – подобострастная и жадная; когда ест за столом, то взглядывает, точно боится, чтобы у нее не отняли. (Il est bon de manger, il est mieux d'avoir mangé*), еще экономка, и потом Ал<ександра> Алексеевна. Вот наша компания. Время есть думать и работать. Пишу бабушкин портрет, скромно и просто.[16] Я думаю только добросовестно изучать натуру и не изобретать ничего. Скучно без Кати. Не знаю, где она.

Пишите. Мне очень хочется знать, что и как. Какая прелесть Ваша поэма!

Не говорите никому, что я Вам написала.

А то Пищалка[17] обидится.

---

* Хорошо, когда ешь, но лучше, когда поел *(фр.)*.

[1] Ответ на п. 15.

[2] 23 мая / 5 июня Волошин и Сабашникова посетили японский отдел в Лувре (см.: Труды и дни. С. 120).

[3] Далее выпущен раздел, сохранившийся в черновике:

IV.

Бессмертно каждое мгновенье.
Не будет вновь и не пройдет.
Мгновенно наше воплощенье.
Я слышу времени полет.
Оно крылом меня коснулось,
И что-то темное проснулось
В моей душе. Поет. Зовет.
Душа безбрежная растет,
Границы нет меж мной и бездной.
Во мне движение миров.
Мой дух свободен от оков,
Он полон музыкою звездной.
Но вновь мелькает мир вещей.
Я в теле, как в тюрьме своей.
Страх времени, пространства с силой
Меня пронзает. Страшен плен.
(Все это я Вам говорила
Уж раз на конке в жаркий день).
И это вновь я повторяю
Затем, что жизнь я сном считаю,
Что в вечном я томлюсь бреду,
Не пробуждаюсь и не сплю

(ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 3, л. 36–36 об.).

[4] Волошин и Сабашникова посетили Сюрен вечером 7/20 июня (накануне ее отъезда из Парижа). Кроме них, в прогулке приняли участие Е.А. Бальмонт, К.Д. Бальмонт, Е.С. Кругликова, В.Я. Курбатов, Е.К. Цветковская и художница Е.Д. Чичагова (всего восемь человек). Упоминание об этом содержится в дневнике Сабашниковой (запись от 13/26 июня 1904 г.): «В понедельник решаю ехать на другой день. Что тянуть? Хорошенького понемножку. Мы делаем покупки, берем билеты. Я прохожу в последний раз мимо Лувра... вечером на пароходе едем в Surennes. Это последний пароход, пустой, и мы танцуем на площадке на корме. <...> Возвращаемся через Bois de Boulogne <Булонский лес> пешком» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 27 об.).

[5] Далее Сабашникова описывает Е.А. Бальмонт.

[6] Из стихотворения Волошина «Письмо» (первая строка шестой строфы).

[7] Фрагмент, посвященный Е.А. Бальмонт, хранился (в другой редакции) в ее архиве (в настоящее время – РГБ, ф. 374, карт. 15, ед. хр. 28).

[8] Здесь и далее – словесный портрет К.Д. Бальмонта. В сохранившемся черновике поэт обрисован подробней и резче:

Непостижимый и мятежный,
Неверный, как болотный свет,
С душой безжалостной и нежной,
Дитя, преступник и поэт.

Твои глаза, как сталь, упорны,
Порою веки без ресниц
Прекрасны, как у хищных птиц,
Порой глаза, как дыры, черны,
Влекут, как топи злых болот.
Презрителен порочный рот,
Презрительные ноздри гневны,
Слова то нежно перепевны,
То искры точат из кремня,
На подбородке клок огня,
На лбу изрытом шрам печатью,
Как страшный знак, клеймо, заклятье.

Дух алчный, алчно пьешь ты кровь,
Дух темный, пьешь ты свет
И алчно пьешь и пьешь любовь,
И упоенья нет.

Неодолима крепость тела,
Не рвется шелковая нить,
Как кубок, сердца не разбить,
И ты не ведаешь предела,
Бесстрашен, слаб, неуловим,
Как золотистый лист гоним,
Неверным ветром окрылен,
С высот в пучины устремлен.

(ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 3, л. 16).

[9] Далее – портрет Е.К. Цветковской, с которой Сабашникова близко познакомилась во время своего пребывания в Париже. Дневник Сабашниковой сохранил ее весьма разноречивые впечатления от Цветковской, менявшиеся в процессе общения: 19 апреля / 2 мая: «В Crémerie <молочное кафе> видела Елену; змееныш мил, бледный змееныш умен и, кажется, добр. Больше я не испытываю холода от ее прикосновения»; 28 мая / 10 июня: «Пришла Елена как бледная, холодная тень, и ей не нравился Пушкин»; 13/26 июня: «Я люблю Елену. Она так незаметно вошла в мою душу» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 17 об., 23, 28).

[10] Далее в черновом варианте следует:

Вот три портрета уж готовы.
Изнемогаю от борьбы.
Ведь я пишу за словом слово,
Как ищут в засуху грибы.
Вам не знаком сей труд упорный
И бескорыстный, и все же позорный.
Я это целый час пишу
(ИРЛИ, ф. 563, оп. 5, ед. хр. 3, л. 42 об.).

Сохранился, кроме того, другой вариант фрагмента, посвященного Е.К. Цветковской. Приводим этот текст полностью:

Как будто солнце не касалось
Ни разу этих детских щек.
На ней печать луны осталась,
И детский лик был строг.
Вещей нездешнее познанье,
Как темно-синее сиянье,
Струилося из длинных глаз
И втайне волновало нас.
Никто не знал куда, откуда,
Скользя, как призрак, без дорог,
Она прошла, и одинок
Был путь ее в сияньи* Чуда.
Как рыбка из глубоких вод,
Она всплыла к нам. Детский рот
Ее был сжат от тайной боли.
От скорби губы запеклись

* *Было:* при свете

В ней тайна Фатума и Воли...
Сойди в Аид иль вновь родись.
Страшна мне эта тень во власти,
Как бы огонь застывший страсти,
И этот <*зачеркнуто*: страшен> мертвенный покой...
И вместе с ним страшна порой
Ее пленительная нежность,
Как издали дошедший свет,
Сквозь тысячи бессонных лет.
И в самом счастье безнадежность!

Застывший синий огонек.
Сафирный мертвый василек
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1058, л. 26–26 об.).

[11] Дальнейший фрагмент относится к В.Я. Курбатову.

[12] Ироническая ассоциация с Евгением Онегиным. У Пушкина: «Не мог он ямба от хорея, // Как мы ни бились, отличить» (глава 1, VII).

[13] См. примеч. 7 к п. 13.

[14] О В.Я. Курбатове Сабашникова сочинила еще несколько строф, оставшихся в черновом варианте:

Он говорил всегда так скучно,
Как будто сыпался песок.
Имел он тонкий голосок,
Вид червяка и ум научный.
И, как немазаная дверь,
Скрипел тот голос, верь не верь. <...>

Не знаю, в чем его проклятье,
Чего так не хватало в нем.
Загадки этой разгадать я
Была не в силах. Но потом
Я прими<ри>лась пред разлукой
С его таинственною скукой
(ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 3, л. 43–43 об.).

Две посвященные Курбатову строчки записаны также на другом листе:

И тут же был еще Курбатов
С своим пискливым голоском
(*Там же*, л. 39).

[15] «Бабушка каждое лето нанимала себе дом в деревне, в каком-либо дворянском имении близ Москвы, куда можно было добраться только на лошадях, – вспоминала Сабашникова. – В этих великолепных усадьбах, со старинными липовыми парками, со множеством цветов, украшавших террасы, лестницы и цветники, сохранялись старые традиции. <...> Бабушка была большой любительницей цветов. Каждый день рано утром, до завтрака, она шла в своем белом утреннем пеньюаре из китайского шелка в сад и срезала розы, еще мокрые от росы, и складывала в корзинку, которую я носила за ней. Каждый год я часть лета проводила у нее» (Зеленая Змея. С. 28).

[16] О судьбе этого портрета см. примеч. 2 к п. 26.

[17] См. примеч. 8 к п. 13.

20. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

10/23 июля 1904 г. Макон[1]

Станция «Mâcon».[2] 3 часа ночи.

Я совершенно неожиданно сорвался из Парижа, никому не сказав, никого не предупредив, и еду в Швейцарию на несколько дней, спасаться от жары, от раскаленных мостовых, от опустевшего Парижа, от писания фельетонов, которые я писал последние дни по штуке в день.

Я начал собираться за час до отхода поезда, попал ровно в последнюю минуту, полночи провел в битком набитом вагоне и вот сижу в ожидании поезда в тускло освещенном сарае – буфете. Ровно два года назад я сидел в это же время и в этом же буфете, на том же самом месте и писал письма, извещая знакомых о своем неожиданном побеге на Корсику.[3]

У меня не было внешних впечатлений за последнее время. Я истекал чернилами.

Единственно, чем я могу похвастаться, это тем, что я завоевал симпатии Голубкиной. Еще при Екатерине Алексеевне мы с ней раз вечером много говорили. Потом долго не виделись и вот на днях снова проговорили два вечера.[4]

Она мне сказала: «И почему вот я об этом самом все время думаю, и еще никто никогда мне этого не говорил.

И откуда вы это знаете – прочли что ли где-нибудь?»

Потом я ей читал стихи свои. И стихи ей тоже понравились.[5]

«Стихи у вас очень хорошие. Впрочем, вы и сами это знаете».

Словом, я ужасно горжусь. Вчера был у нее и видел то, что она делала из мрамора. Какая удивительная тонкость и нервность в ее мраморных работах. По манере даже трудно предположить, чтобы это она делала, так это не похоже. Но лица... Там была одна ма<с>ка женщины, с таким удивительным ртом...[6] Я смотрел со свечкой... Мастерская была пустая, темная. Ни мебели, ни стульев. Стены голые. Полное запустение. Какое-то отчаяние пустоты...

И эти мраморные чистые лица с удивительными ртами, точно жемчужины, выделившиеся из этого хаоса...

Был я, наконец, вместе с Курбатовым у Лалика. Его самого не было.

Какая удивительная радость жизни в драгоценных камнях. Точно все жгучее, страстное и пирное слилось в них. Надо быть глубоким философом – эпикурейцем, чтобы уметь соединить эти чистейшие кристаллы человеческих страстей в такую вечную радость. Там есть матовые белые васильки из горного хрусталя... Удивительно красивый дом у него. Везде – в дверях, на лестнице в перилах – всюду стебли трав и растений. Светло и радостно...

Что я буду делать в Швейцарии, долго ли буду там, я еще не знаю и не представляю. Я еду для людей и гор еще не предчувствую.

Там мой двоюродный брат[7] – мой вечный спутник в горах – я вам говорил об нем, и еще один мой очень старый друг еще по гимназии,[8] с которым мы были страшно близки, но теперь все расходимся дальше и дальше. Мы встречаемся раз в год и говорим по несколько дней напролет. Он все старается меня понять. Я стараюсь ему объяснить все с наивозможной для меня последовательностью и ясностью, но, очевидно,

понимание совсем не в этом, и мы чувствуем, что после каждого разговора остается все меньше и меньше прошлого.

Потом, конечно, буду у Вебера.[9]

До свидания, пишите мне по прежнему адресу (3 Rue du Bac). Мне будут присылать письма. Я пробуду очень недолго. А потом все-таки в Англию.[10] Я жду не дождусь вашего ответа на мое послание в стихах. Конец его (о готике) я читал всем. Начало только Бальмонтам.

Поклон Алексею Васильевичу и Анне Николаевне.

Макс Волошин

[1] Датируется по: Труды и дни. С. 122.

[2] Макон (Mâcon) – город на юге Бургундии, в 65 километрах от Лиона.

[3] На Корсике Волошин побывал в июне–июле 1902 г. На железнодорожной станции г. Макона, откуда он писал письма матери и знакомым, Волошин провел несколько часов 5/18 июня 1902 г. (см.: Труды и дни. С. 100–101).

[4] Волошин, согласно записям в его дневнике, был у Голубкиной 6/19 и 8/21 июля (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 159–160). Впоследствии Волошин посвятит ее творчеству статью «А.С. Голубкина» (1911) и небольшой «этюд» (1911; первая публикация – 1983). См.: Т. 5 наст. изд. С. 139–148 и 710–714 (примеч. Ю.М. Гельперина); Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 631 и 955–957 (примеч. В.П. Купченко).

[5] Отзыв Голубкиной Волошин занес в свой дневник (запись от 19 июля): «Стихи мне нравятся. Стихи хорошие, положим, вы сами об этом знаете» (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 160).

[6] Весь отрывок этого письма, посвященный А.С. Голубкиной, воспроизведен в кн.: А.С. Голубкина. Письма. Несколько слов о ремесле скульптора. Воспоминания современников. Вступл. Е.Б. Муриной. Сост., предисл. «От составителя», поясн. к разделам и коммент. Н.А. Корович. М., 1983. С. 62. К последней фразе дается следующий комментарий: «Вероятно, “Маска” (женская голова), 1904, мрамор, находится в ГММ А.С. Голубкиной» (упомянут Государственный музей-мастерская А.С. Голубкиной, Москва).

[7] Глотов Яков Александрович (1878–1938, расстрелян), переводчик; член партии эсеров, комиссар Временного правительства (на Кавказе); двоюродный брат Волошина (по материнской линии). Ему посвящен цикл «Годы странствий» в сб. «Стихотворения. 1900–1910».

[8] Пешковский Александр Матвеевич (1878–1933), друг Волошина по феодосийской гимназии; впоследствии – лингвист.

[9] Л.Н. Вебер.

[10] См. примеч. 2 к п. 17.

21. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

17/30 июля 1904 г. Ордынцы

Ордынцы.[1] 17 июля 1904.

Не пишу Вам так долго, потому что, знаете, бывают дни и даже недели, когда

Вдруг все замрет. Слезам и умиленью
Нет доступа, все пусто и мертво.
Минувшее не веет легкой тенью,
А под землей, как труп, лежит оно.
Ах, а над ним в действительности ясной,
Но без любви, без солнечных лучей,
Такой же мир бездушный и бесстрастный,
И я один с своей тупой тоской.
Хочу сознать себя и не могу,
Как челн, заброшенный волною,
На безымянном диком берегу...[2]

Впрочем, я и забыла, что Вам эти чувства не знакомы. Ну, вот; говорить о них прозой неприлично и позорно. Я не знаю, что это в России или у меня в душе так пустынно, так страшно. Мне казалось, что я привезу сюда с собой мою парижскую радость, мою «мудрость», что здесь в тишине на досуге из всего этого вырастут chef d'œuvr'ы;* и что же, несмотря на тишину и досуг, на полную свободу, я делаю гадости, работаю позорно, а малодушие такое, как если бы я не уезжала никуда со Смоленского рынка. Я пишу портрет моей бабушки. Это была моя мечта с детства. После некоторого сопротивления она согласилась позировать и каждое утро позирует великолепно два часа. Вы, кажется, видели ее раз. У нее гармоничное и какое-то мягко строгое лицо, хотя

* Шедевры *(фр.)*.

неправильное. Какая-то grandezza.* Ее все боятся. С дочерями и сыновьями она сурова и не терпит возражений; и мне кажется, что со мной она совсем другая. Летом, когда я живу у них, целыми часами я слушаю ее. Она говорит, и всё, и не скрывает напряженной мысли своей, своих сомнений; как будто все проверяет себя, свои поступки, отношения и слова за всю свою долгую жизнь. Я не знаю, отчего это; но только со мной она так нежна; и со мной она сочувствует тому, что жестоко преследовала и преследует у своих дочерей. Я думаю, что тут дело в поколении. Что она не желает меня воспитывать, а я не требую полного согласия, является терпимость, и от этого так хорошо. Она ведь только грамотна, а с ней можно обо всем говорить, и ее речь так своеобразна, безыскусственна, в ней есть свежесть первобытной культуры. И мне любопытно видеть в ней все черты, кот<орые> в той или другой степени унаследовал каждый из ее десяти человек детей. То же самое меня занимает в ее лице. Мне бы хотелось, чтобы Вы видели обряд нашего сеанса. В ее комнате, где всегда перед крестом горит лампадка, где все покрыто какими-то салфеточками и ковриками, она торжественно (и всегда волнуясь) садится на кресло. А горничные (2) несут портрет, коврик, мольберт (кот<орый> мы вместе покупали) и т.д. Ее ли волнение действует на меня, мое ли – на нее, не знаю. Вечная напряженность под видом величественного спокойствия – наша с ней общая черта. Вероятно, больше недели я пишу, и все уничтожаю, и все ужасно. Поймите мое горе! Пишу и выжигаю пейзажи, и тоже гадко. Злые духи мешают мне.

Я не научилась спокойно относиться к неудачам. Не могу жить «просто так». Мне всегда нужно какое-то право или оправдание; иначе чувствую себя виноватой. Это абсурд, я знаю. Помните Иванова: «Виноват, виноват».[3] Как я ненавижу эту русскую черту. И вообще Россию. Умер Чехов.[4] Как Вы к нему относились? Я перечла его вещи. Бог с ним. А ведь он первый среднерусский поэт, он питался только Россией, он продукт ее новой культуры. Мне кажется, единственное преимущество русских, что они понимают разные культуры;

* Знатность, достоинство *(ит.)*.

вероятно, п<отому>, ч<то> не имеют русской. Все другие писатели наши, даже когда они восставали против Запада, питались западной культурой. Чехов не получил наследия ее, он не имел к Западу никакого отношения; ни восток, ни запад не влияли на него; и он скучен мне, беден и бледен. Вероятно, поэтому он так близок среднему интеллигентному классу. Да?

Я очень рада, что Вы сблизились с Голубкиной,[5] и за Вас, и за нее. Вы раз спрашивали, что я называю чистым сердцем? Это не смешенное, цельное – вот, как у нее, только у нее силы не хватило вынести его. Ее ничто не согнет, но она уже сломана. Я думаю, что она очень больна, у нее изранено сердце.

Я получила после поэмы от Вас 2 письма. Вы получили ответ на поэму? Здесь пропадают письма ужасно и где-то застревают. Пишите всё же, если заказным, то в Подольск: Андреев<ой>, дача Саарбекова, мне, если просто, то на платформу Щербинка Курск<ой> ж<елезной> д<ороги>. Ордынцы. Когда буду умной, напишу Вам получше.

Спасибо за человека Перу.[6] Очень хорош и похож на голубкинскую «Старость».[7] Что Ваш английский язык?

Долго ли Голубкина пробудет в Париже? Ее адрес? Где Кругликова и Курбатов?

Пишите про горы. Как я люблю их!

[1] Ордынцы – деревня под Москвой (ныне – в Подольском районе Московской области).

[2] Сабашникова цитирует (неточно и с пропусками) строки из стихотворения Тютчева «Есть и в моем страдальческом застое...» (1865).

[3] Часто повторяющаяся реплика Иванова в пьесе Чехова «Иванов» (1887).

[4] А.П. Чехов умер 2/15 июля 1904 г. в Баденвейлере (Германия).

[5] М.В. Сабашникова, как свидетельствуют ее дневниковые записи, познакомилась с Голубкиной в Звенигороде (под Москвой) 20 мая / 2 июня 1900 г.; на другой день она посетила ее мастерскую. «Была сегодня с Глаголевой в мастерской у Голубкиной, – записано в ее дневнике. – Вот она, настоящая скульптура! Новая, одухотворен-

ная, граничащая с живописью. Условности нет, полная свобода. Особенность ее – сила, утрировка каждой характерной черты, глубокие тени, которые достигнуты неестественно глубокими впадинами и производят потрясающее впечатление. Я видела ее “Старость” и ряд бюстов. Что это гений, слышите, гений, я теперь убеждена. Я смело выговариваю это слово. Она причастна к жизни вечной. <...> Вот бы с ней поехать в Париж. Если я слаба, она раздавит меня, если нет – ее общество очистит, подымет, усилит» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 18, л. 50–51). В дальнейшем Сабашникова неоднократно встречалась с Голубкиной, занималась лепкой под ее руководством. Так, в записи от 1/14 марта 1902 г. отмечено: «Занимаемся скульптурой. Лепим лежащего натурщика. Голубкина в добром настроении» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 19, л. 92). См. также: А.С. Голубкина. Несколько слов о ремесле скульптора. Воспоминания современников. С. 82.

[6] Вероятно, открытка с изображением перуанца.

[7] Скульптурная работа Голубкиной, над которой она работала в 1898–1899 гг. Известны два варианта: в гипсе и бронзе.

22. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

21 июля / 3 августа – 25 июля / 7 августа 1904 г.
Интерлакен – Цвейзиммен

3 августа 1904. Интерлакен.

Я уже несколько дней живу в этом месте, оскверненном людьми, среди расфуфыренной и расфранченной природы. Даже забавно, как это умудрились построить такую страну, созданную специально по раскрашенным фотографиям и карт-посталям.[1] Юнгфрау[2] нарочно вставлена между двух симметричных гор (специально для иностранцев) с самыми наивными представлениями о композиции. Она выкрашена в blanc d’argent,* которая совершенно не напоминает цвета снега.

Я бы ни за что не попал в это отвратительное место и не застрял бы здесь, если бы не несколько друзей, которых я специально приехал повидать.

* Свинцовые белила *(фр.)*.

Получили ли Вы мое письмо из Макона?[3] Приехав в Женеву, я в то же утро вместе со своим кузеном отправился к Веберу в Chênes Bougeries.[4]

Его я не застал, но видел его дом. Там хорошо. Густая зеленая поляна. Никаких заборов. Никаких загородок. Простой деревянный дом. Два громадных развесистых дуба посреди поляны. Леса кругом. Горы синие и далекие, как грозовые тучи. Огромные клубистые облака. Ширь и мощь предгорий. Что-то грозовое, сильное и великолепное. Широкая и торжественная увертюра. Я ему оставил записку и в тот же день получил телеграмму из Шамони: «Приезжайте завтра с таким-то поездом».

Я выехал в указанное время, совершенно не зная его адреса и надеясь его встретить на станции. Было уже темно, и до Шамони оставалось несколько станций. Вдруг посреди хода поезда Вебер вошел в вагон без шапки:

«Я увидел Ваш профиль в окне... Сейчас поезд пройдет мимо моего дома. Вы можете спрыгнуть на ходу?»

– Да, вероятно...

– Ну, так идемте. Давайте Ваш сак. Я его возьму. Только осторожнее – тут через несколько шагов обрыв и там Арва[5] на 100 метрах. Вот так становитесь на подножку. Да прыгайте дальше от рельс, а то там проходит электрический ток.

Мы благополучно соскочили. Поезд ушел. Шуршали черные густые сосны. Шумела Арва. Снега сквозь тучи. Мокрая высокая трава. Мы обогнули несколько холмов и поднялись к одинокому деревянному домику.

Он весь деревянный, маленький, внутри его какой-то суровый, крепкий горный воздух.

– Завтра мы пойдем в горы.

– Хорошо.

– Я хочу подняться на Aiguille du Dru.[6] Это очень трудное восхождение. Вы подождете меня тогда внизу в отеле. Там 10 часов подъема по каменным коридорам на веревках. Все время на весу.

Утром рано мы вышли. По Шамони Вебер ходил, как по своему поместью. Все перед ним почтительно раскланивались.

К нам присоединилось два альпиниста с кирками, голыми коленками и броненосными подошвами.

Один из них был внуком Герцена — Моно — совсем француз.[7] Они тоже собирались на тот же пик и звали Вебера с собой. Он долго колебался. Они его шокировали. Они неуважительно и шутливо заговаривали с горами. Они делали ручкой Aiguille du Dru, тонким черным шпицем встававшей из ледяных полей, и говорили: «A demain, ma petite».*

Вебер ворчал, хмурился и, наконец, решил не идти с ними.

Он повел меня на Mer de Glace,[8] водил меня по трещинам, показывал разные альпийские приемы. Поздно ночью мы вернулись. Я уехал на другой же день обратно в Женеву с тем, чтобы через несколько дней встретиться там.

В Женеву меня влекло желание познакомиться с Вячеславом Ивановым, который преспокойно оказался в Женеве, а не в Манчжурии.

Я провел с ним почти целые сутки без перерыва. Его голос так похож на голос Андрея Белого, что я не мог все время отрешиться от иллюзии, что это Белый, надевший маску.

Сейчас я где-то глубоко в горах в местечке Цвейзиммен.[9] Я только что приехал с поездом и завтра рано утром буду продолжать путь на почтовых.

Я за это время сделал несколько больших переходов через горы и провел несколько невыносимых дней в Интерлакене.

Какая отвратительная страна! Какие отвратительные горы!

Я привык к наготе бронзовых гор Юга. Гор сухих, строгих, сдержанных.

Здесь какое-то неистовство зелени, которое оскорбляет меня. Это какое-то рококо, шелковые складки XVII века. Дурной вкус роскоши. Изобилие и однообразие одновременно. Тело земли сплошь закрыто зелеными коврами, зелеными кружевами и оборками. Мне хочется скромной наготы юга.

* До завтра, малышка *(фр.)*.

Есть только одна область на границе между снегами и альпийскими лугами: область каменистая, пустынная и грустная. Она мне по сердцу. Она иногда даже напоминает Крым. И снега вблизи хороши: они серые, талые, точно тучи — снизу они слишком белы и нарядны.

Что мне тоже понравилось — это горные сенокосы по ра<в>нинам под угл<ом> 45°.

Точно зеленые побритые щеки земли. Там есть сырые тропинки в ладонь ширины и ступеньки вниз: впадины ровно для ноги. Когда делаешь шаг, то в этом шаге чувствуешь шаг многих сотен спускавшихся здесь людей.

Но туристы... туристы! Эти отели под снегами! Эти долговязые фигуры с голыми икрами, длинными палками...

И потом эта отвратительная приспособленность страны к удобствам... Мне хочется смыть с ретины своих глаз что-то позорное!

На краю Mer de Glace Вебер показывал мне осьмиугольное каменное строение — первую хижину, построенную в XVIII веке во льдах для путешественников. На ней сохранилась еще полустертая надпись Temple au Nature.*[10] Это трогательно.

Бедные ледяные гиганты, у которых вырвали их тайны, оплевали их, забросали пустыми коробками от сардинок и яичной скорлупой. На это понадобилось только одно столетие...

Завтра вечером я буду в Женеве. Там я надеюсь найти Ваши письма.

Мне нужен непременно Ваш ответ на поэму. Тогда я буду продолжать ее. У меня все готово. Только что-то захлопнулось в душе. Я боюсь сейчас здесь открывать эту далекую шкатулку. Это я сделаю, когда буду снова совсем один и дома, т.е. в Париже. Там ничто не пропадет. А здесь я боюсь рассыпать. Но я должен написать о St. Cloud.[11]

До свидания.

В Женеве снова буду писать.

Макс Волошин.
7 августа. 1904.
Zweisimmen.
Bern. Oberland.

---

* Храм Природы *(фр.)*.

[1] Т.е. почтовым открыткам («cartes postales»).

[2] Гора близ Интерлакена.

[3] Имеется в виду п. 20.

[4] Шен-Бужери – город и муниципальный центр на берегу Женевского озера (в кантоне Женева), где жил Л.Н. Вебер.

[5] Арва – левый приток Роны, берущий берет начало на склонах Монблана во французской Савойе.

[6] Эгюий дю Дрю – одна из вершин во Французских Альпах (высота 3754 м).

[7] Впоследствии Волошин навещал Э. Моно в Париже; сохранилось два письма Моно к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1414).

[8] Мер-де-Глас (букв. Ледяное море. – *фр.*) – самый большой (долинный) ледник во Французских Альпах (в массиве Монблан).

[9] Цвайзиммен – коммуна в Швейцарии (в кантоне Берн).

[10] Хижина в долине Монтавер, сохранившаяся до настоящего времени.

[11] Замысел был осуществлен частично (см. примеч. 16 к п. 23).

23. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

Около 29 июля / 11 августа 1904 г. Женева[1]

37 Rue de la Servette.
Genève.

Я живу в тихой и скучной Женеве. У меня в распоряжении пустая квартира. По вечерам я вижу интересных людей. Спокойно и радостно. Рона такая холодная, веселая и пляшущая в водоворотах. И потом нет перед глазами этих смешных бутафорских гор.

Ровная Юра,[2] унылая и грустная.

Часто вижусь с Вячеславом Ивановым[3] и подолгу говорю.[4] Читаю в «Новом Пути» его «Эллинскую религию страдающего Бога».[5] Это страшно важная вещь. От нее разверзаются под ногами новые провалы. А это может быть самое важное – открыть новую бездну.

Как-то он говорил: «Да! Я признаю и обезьяну. Обезьяна, а потом неожиданный подъем – утренняя заря, рай, божественность человека. Совершается единственное в истории:

животное, охваченное безумием. Обезьяна сошла с ума. Возникает высшее – трагедия. А впереди опять золотой век – заря вечерняя. Мы должны жить между двумя зорями – вечерней и утренней. Иначе жить нельзя. И когда-нибудь человек сделает такой же скачок, как сделала обезьяна, и создаст сверхчеловека».[6]

Сегодня утром получил записку от Вебера. Он приехал из Шамони.

У него простой, изящный, просторный дом, который он страшно любит, постоянно переделывает, перестраивает с большим вкусом. Я был там несколько минут. Он спешил к больным. Вещи Якунчиковой, которые я видел мельком и не хотел останавливаться на них всего несколько минут, ослепительны и глубоки.

Я решил издать книгу своих стихов. Она будет называться «Годы странствий».[7] Она будет очень субъективна. Я теперь осенью буду работать над теми отделами, которых не хватает. Я чувствую, что один период моей жизни приходит к концу и надо его закристаллизовать, иначе начнется уже что-то другое и будет поздно. Я его иллюстрирую. В иллюстрациях я соберу все мои самые любимые вещи в искусстве, но освещу в них то, что я люблю. На первой странице не будет никаких букв, только рисунок.

Имени на книге не будет. Только в конце книги, внизу на предпоследней странице надпись, как на плите готического собора: «Эта книга сложена тем-то, издана тем-то, окончена печатаньем тогда-то». И больше ничего.

Мне бы хотелось, чтобы на первой странице была бы «Tête inconnue»,[8] а на последней – голова рэдоновского Дьявола.[9]

Эта рама заменяла бы все предисловия и определяла бы лиризм книги.

Перед стихотворениями посвященными ни одного написанного имени. Только маски тех, кому посвящено.

Я хочу непременно дождаться здесь Сер<гея> Ал<ександровича> Полякова, чтобы переговорить с ним об этом[10]. Он должен приехать 18 авг<уста>.[11]

Ваши стихи местами прекрасны. Я их *ни* за что не уничтожу. «Портреты» великолепны[12].

> Она, как скорбная царица,
> Свою печаль умеет скрыть...

Это так верно.

А портрет Бальмонта:

> Неверный, как болотный свет,
> С душой безжалостной и нежной –
> Дитя, преступник и поэт.

и дальше

> ...Презрительный порочный рот...

Это ужасно ярко.

> ...На них печать луны осталась...
> ...Вещей нездешнее познанье
> Как темно-синее сиянье...
> ...Как рыбка из глубоких вод
> Она всплыла к нам. Детский рот
> Ее был сжат от скрытой боли,
> От скорби запеклись уста...
> ...И в самом счастье безнадежность...

Это удивительно хорошо!!

А Пищалка[13] совсем великолепен.

Я все ждал своего портрета и ужасно жалею, что его не оказалось. Если только немножко сгустить и дать больше четкости стиху и рифме – это будут великолепные стихи.

Я получил одновременно целый ряд Ваших писем. И открытку, и стихотворное послание, и то письмо, в котором Вы пишете портрет вашей бабушки. Мне очень хочется услышать более детально то впечатление, которое на Вас про-

извела моя поэма.[14] Напишите, пожалуйста. Мне это очень нужно. Это, может, откроет источник стихов, который вдруг иссяк, хотя вся вторая часть поэмы шевелится в душе. Заключительная строфа вот:

Закат сиял улыбкой алой.
Париж тонул в лиловой мгле.
В порыве грусти день усталый
Прижал свой лоб к сырой земле.
И вечер медленно расправил
Над миром сизое крыло.
И кто-то горсть камней расплавил
И кинул в жидкое стекло.
Река линялыми шелками
Качала белый пароход.
И праздник был на лоне вод,
Огни плясали меж волнами.
Ряды огромных тополей
К реке сходились, как гиганты,
И загорались бриллианты
В зубчатом кружеве ветвей.[15]

В эту же часть поэмы войдет и Ваш «Триптих» – «Рождение Венеры», «Вечером в ателье» и «Женщина на горе».[16] Тут у меня тоже уже многое сложилось.[17]

Я очень ярко представляю себе Ваши сеансы портрета Вашей бабушки.

После Вашего отъезда мне Екатерина Алексеевна очень много подробно рассказывала об ней; об ее отношении к детям, о всей семье, о ее отношении к Вам.

Она мне рассказывала тоже о своей юности, об Урусове,[18] о Бальмонте. Мы с ней говорили целые ночи, если Бальмонт не приходил. Однажды, вернувшись на рассвете, я нашел Ваше письмо и тогда-то написал первые строфы своего послания.

Я оглядываюсь с изумлением на прошлую весну. Она так быстро успела отбежать назад. Она так много дала. Столько новых родников забило в душе. И, главное, я почувствовал

страшную необходимость все это запомнить, уловить, закрепить, потому что это больше никогда не повторится.

Как мне нравятся Ваши рисунки баб, эти угнетенные согнутые спины. Нарисуйте мне самое себя. Я себе простить не могу, что ни разу толком не нарисовал Вас во время вашего пребывания. Мне ужасно хочется иметь Ваше лицо. То, что на пароходе,[19] — очень много дает Вас.

Чехова я не считаю настолько уже оторванным о<т> европейской жизни. Он очень много взял в своей форме от французских писателей. Может, даже он первый был в России таким талантливым писателем европейского типа, который «делает» свои вещи. Только его смерть не произвела на меня никакого впечатления. Ведь он и жил-то так, как будто он уже давно умер. И вещи его выходили так, будто это посмертные произведения, и еще будут так же выходить некоторое время.

Я в его смерти не вижу никакого события, что-нибудь изменяющего в русской жизни.

До свиданья.

Напишите мне подробнее о поэме.

Макс Волошин.

[1] Ответ на п. 18, 19 и 21.

[2] Юрá — название горного массива в Швейцарии, Франции и Германии (Французская Юра, Франконская Юра, Швейцарская Юра и др.).

[3] В 1903—1904 гг. В.И. Иванов жил вместе с семьей в женевском пригороде Шатлен на вилле «Ява».

[4] «Макс Волошин много рассказывал и много читал стихов; — сообщал Иванов Брюсову 22 июля / 4 августа 1904 г., — вокруг него широко развертывался, играя на солнце, павлиний хвост» (Переписка <Брюсова> с Вячеславом Ивановым 1903—1923 / Предисл. и публ. С.С. Гречишкина, Н.В. Котрелева и А.В. Лаврова // Валерий Брюсов. (Лит. наследство. Т. 85). М.: Наука, 1976. С. 452.

[5] Исследование В.И. Иванова «Эллинская религия страдающего бога», сложившееся на основании его парижских лекций 1903 г. в Русской высшей школе общественных наук, печаталось в течение 1904 г. в петербургском ежемесячном журнале «Новый Путь» (№ 1. С. 110–134 (введение и гл. I); № 2. С. 48–78 (гл. II); № 3. С. 38–61 (гл. III); № 5. С. 28–40 (гл. IV); № 8. С. 17–26 (гл. IV); № 9. С. 47–70 (гл. V)). Заключительная часть публиковалась в журнале «Вопросы Жизни», сменившем «Новый Путь»: «Религия Диониса. Ее происхождение и влияния. I–III» (1905. № 6. С. 185–220); «Религия Диониса. IV–V» (1905. № 7. С. 122–148). Впоследствии Иванов – в течение ряда лет – дорабатывал свое исследование и готовил его к печати (в различных издательствах); итоговым трудом Иванова на данную тему следует считать книгу «Дионис и прадионисийство» (Баку, 1923). См. подробнее: *Котрелев Н.В.* Вячеслав Иванов. Эллинская религия страдающего бога // Эсхил. Трагедии в переводе Вячеслава Иванова. Изд. Подгот. Н.И. Балашов, Дим. Вяч. Иванов, М.Л. Гаспаров, Г.Ч. Гусейнов, Н.В. Котрелев, В.Н. Ярхо. М.: Наука, 1989. С. 556–557, 560–561. В этом же издании – фрагменты верстки книги 1917 г. «Эллинская религия страдающего бога» (отпечатанный тираж погиб при пожаре в доме Сабашниковых в Москве) и фрагменты книги «Дионис и прадионисийство».

[6] Эти слова В.И. Иванова Волошин занес в дневник (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 160–161) и пересказал более подробно в письме к А.М. Петровой, написанном в Женеве в июле/августе 1904 г. (см. Т. 9 наст. изд. С. 139–143). Мысль Иванова о «скачке» от обезьяны к человеку, восходящая к книге Ницше «Так говорил Заратустра» (Предисловие Заратустры «О сверхчеловеке и последнем человеке», гл. 3), высказана им в «Религии Диониса» (см. предыдущ. примеч.): «...когда животное сошло с ума – оно стало человеком» (Вопросы Жизни. 1905. № 7. С. 137). Волошин приводит запомнившуюся ему фразу Иванова в своих статьях «Разговор» (1906; позднейшее название – «Террор и танец»), «Организм театра» (1910), «О смысле танца» (1911) и «Театр как сновидение» (1912).

[7] Издать книгу под таким названием Волошину не удалось. Тем не менее, вплоть до конца своей жизни Волошин называл собрание своих стихотворений 1900-х гг. «Годы странствий». Авторский замысел восстановлен в следующих изданиях: *Волошин М.* Стихотворения и поэмы / Вступ. статья А.В. Лаврова. Сост. и подгот. текста В.П. Купченко и А.В. Лаврова. Примеч. В.П. Купченко. СПб.: Петербургский писатель, 1995 (Б-ка поэта. Большая серия); Т. 1 наст. изд.

[8] См. примеч. 5 к п. 8.

[9] См. примеч. 12 к п. 15.

[10] В издательстве «Скорпион» Волошин предполагал, как видно, напечатать свой первый стихотворный сборник. Ср. вопрос Сабашниковой (п. 26): «Очень интересно, что Вы решили с Поляковым относительно Вашей книги?».

[11] С.А. Поляков провел в Париже четыре дня (приблизительно с 18 по 22 августа, по новому стилю). «В Париже я довольно много видел, Макс был ко мне безжалостен и буквально меня “ухаживал”...», – писал Поляков Брюсову 6/19 сентября 1904 г. (см.: Переписка <Брюсова> с С.А. Поляковым (1899–1921) / Вступит. статья и коммент. Н.В. Котрелева. Публ. Н.В. Котрелева, Л.К. Кувановой и И.П. Якир // Валерий Брюсов и его корреспонденты. (Лит. наследство. Т. 98. Кн. 2). М.: Наука, 1994. С. 96).

[12] Далее Волошин цитирует строки из стихотворного послания Сабашниковой, содержащего «портреты» К.Д. Бальмонта, Е.А. Бальмонт, Е.К. Цветковской и др. (см. п. 19).

[13] В.Я. Курбатов. См. также п. 13 и 19.

[14] Имеется в виду «Письмо» (см. п. 15).

[15] Это стихотворение Волошина впервые опубликовано в «Северных цветах ассирийских» (С. 52) в составе цикла из трех стихотворений под названием «Париж». Впоследствии вошло в цикл из 11 стихотворений под общим заголовком «Париж» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 25–26, 442).

[16] Волошин намеревался (во второй части поэмы) осуществить несколько замыслов, предложенных ему Сабашниковой во время их поездки в Сен-Клу 31 мая / 13 июня 1904 г. В его дневнике (в записи, сделанной в тот же день) воспроизведена их беседа: «Вы мне должны написать стихотворение. “Рождение Венеры”. Рассвет тихий, перламутровый. И волна вдруг поднялась и сверкнула. Небо отразилось. Неизменное в вечно текущем. И родилась красота. Белая как пена. И взвилась стая голубей. <...> Потом другое. Сумерки в мастерской. Кто-то смотрит в зеркало. Часы тикают. Капля капает из крана. <...> В зеркале видны только большие грустные безнадежные глаза и черные губы. За окном город. Вечерний. Громады домов. И так, как будто он вдруг лопнет от напряжения. И сделайте это просто. <...> Третья тема. Женщина всползла на верх горы. Она была в тяжелом платье с драгоценными камнями. Оно рвалось. <...> На верху нищий. Таким большим орлом. Самая вершина. Кругом горы, белеют снега. И она припала к его ногам и замерла. Это последняя минута полного успокоения. Может, она сейчас умрет» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 149–151). Замысел Волошина осуществился только отчасти (см. следующ. примеч.).

Сюжеты и образы «Триптиха», предложенные Сабашниковой, восходят к ее собственным художественным замыслам того времени. Так, тема «Женщина на горе» возникает в ее дневнике еще в 1900 г.: «*Эскиз*: на скалах сидит пророк, женщина лежит у его ног, за ней тянутся ее одежды, тяжелые, богатые, зацепившиеся за тернии и за скалы. Все лишнее остается позади» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 18, л. 52; запись от 23 мая / 5 июня 1900 г.). Неоднократно возвращалась Сабашникова и к теме «Рождение Венеры» (см., например, в п. 71 и 172), отчасти воплощенной уже к середине 1903 г. (см. примеч. 2 к п. 129). Над большой картиной под таким названием она работала в 1921–1922 гг. «Теперь, наконец, я могла приняться за картину, которую мне еще с юности хотелось написать, – вспоминала Сабашникова. – Некогда я увидела ее внутри перламутровой раковины: человеческая фигура, возникающая из вихря; сама же фигура – полуколенопреклоненная – в торжественном покое. Для себя я называла эту картину "Рождение Венеры". <...> Она еще не была закончена, когда благоприятные для работы условия внезапно кончились» (Зеленая Змея. С. 286). Картина была завершена лишь к середине 1922 г. (*Там же*. С. 301; см. также письмо Сабашниковой к Волошину от 16 февраля 1922 г. // Т. 11, кн. 2 наст. изд.). Одна из работ Сабашниковой под названием «Рождение Венеры» хранится ныне в Арлесгейме (Швейцария) в частном собрании (см.: Margarita Woloschin. Leben und Werk. S. 175).

Ср. также упоминание о «трех картинах» в п. 32 и п. 172.

[17] Сюжет «Сумерки в мастерской. Кто-то смотрит в зеркало...» нашел свое отражение в стихотворениях Волошина «Зеркало» (см. п. 53) и «В мастерской» (см. п. 186). Тема «Женщина на горе» преломилась в его стихотворении «Она ползла по ребрам гор...», написанном и отправленном Сабашниковой в сентябре 1904 г. (см. примеч. 15 к п. 32). Стихотворения «Рождение Венеры» у Волошина нет.

[18] Е.А. Андреева, в юности влюбленная в Урусова, посвятила ему мемуарный очерк (см.: *Андреева-Бальмонт Е.А.* Воспоминания. С. 248–287), а Волошин – статью «Князь А.И. Урусов» (отклик на издание: Князь А.И. Урусов. Статьи его. Письма его. Воспоминания о нем. 3 т. (в 2-х кн.). М., 1907), опубликованную в газете «Русь» (1907. № 115. 26 апр. С. 2). См. также: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 71–76, 639–641).

[19] Имеется в виду набросок Сабашниковой (автопортрет), сделанный во время прогулки на пароходе по Сене (видимо, 7/20 июня).

24. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

30 июля / 12 августа 1904 г. Ордынцы[1]

30 июля 1904 г. Ордынцы.

Осуждена здесь тосковать я,
Молчать и жить в самой себе.
Да втайне посылать проклятья
Бездушной почте, как судьбе.

Она, шутя иль в наказанье,
Разорвала меж нами нить,
Перехватив мое посланье.
Его могла бы повторить,

Но от досады я немею,
Писать не в силах больше. Ах,
То был на Вашу эпопею[2]
Ответ предлинный и в стихах![3]

Вчера получила Ваше письмо из Zweisimmen'а,[4] из коего вижу, что Вы не получили моих писем. Второе[5] Вас могло уже не застать в Женеве, но ответ на поэму, посланный в начале июля числа 8-го, вероятно, пропал. Конечно, я могу вспомнить его и вновь написать, но это уже не то. Из Парижа и из Макона письма получила.[6] Здесь ужасно они теряются. Проклятие! Пишу по-прежнему портрет.[7] Устаю от напряжения и однообразия. Ничего не читаю из-за глаз. Впрочем, Некрасова. Что прочесть у него?

Пишите. Присылайте мне стихи. Когда поедете в Лондон и как же без языка?[8] Отчего Вы не сделали настоящего восхождения?

[1] Открытка.
[2] Имеется в виду поэма «Письмо» (см. п. 15).
[3] См. п. 19.
[4] Т.е. п. 22.
[5] Т.е. п. 21.
[6] Имеются в виду п. 17 и 20.
[7] Имеется в виду портрет Н.М. Андреевой.
[8] См. примеч. 2 к п. 17.

25. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

Около 11/24 августа 1904 г. Париж[1]

3 Rue du Bac. Paris.

Наконец я вернулся в Париж, и он мне показался снова таким старым, знакомым, новым.

Нашел я здесь вашу открытку с ритмическими жалобами на почту.[2] Почта оказалась права: я получил все Ваши письма. Получили ли Вы мои – т.е. только одно, посланное из Женевы?[3]

Мои последние дни в Женеве: два дня с Вебером – вещи и рисунки Марьи Васильевны.[4] Бесконечные разговоры с В<ячеславом> Ивановым: весь трепет разговора. Религия Диониса, танцы, ритм, оргиазм, маски...

Затем появление Сергея Ал<ександровича> Полякова со всей московской атмосферой Славянского базара,[5] редакции «Весов» и т.д.[6]

В промежутке между этим прогулка по Юре. Великолепная пустыня. Какие линии гор! Какие скалы! Это куда же грандиознее Альп. Тут истинная грандиозность линий – а не величины. Мне это напомнило Крым и Яйлу[7], с ночлегами у пастухов, с волнистыми равнинами по вершинам, с черными сосенками у светло-серых скал, кристаллическими щелями и колодцами в почве.

Но мне хочется рассказать о вещах Марьи Васильевны.[8] Воспроизведения в «Мире Искусства»[9] дают так мало понятия о действительной красоте ее вещей, особенно о вещах, выжженных на дереве.

В них такая прелесть и радость красок. Они так брызжут жизнью. Ее ранние вещи очень слабы по рисунку, но необычайно смелы по замыслам. В них, может, даже больше сказывается настоящая она.

Она, например, пытается, положим, неудачно, сделать такую вещь: Вечернее окно. Из комнаты на улицу. На подоконнике буль де нежи.[10] За окном ночной город – крыши Парижа. Еще не совсем ночной, поздно вечером. Дождливый, холодный и пустынный. А на поверхности окна отражается внутрен-

ность комнаты – горящая лампа с колпаком и голова девушки, склонившейся около нее – она похожа <на> нее самое.

Как это тонко по замыслу и как близко это касается двух высших европейских символов: окна и зеркала.[11]

Зеркало: помните – в королевском семейном портрете Веласкеса – отражение Филиппа IV в зеркале в глубине комнаты?[12] Отражение на стекле – отражение внутренности комнаты, просвечивающее сырыми глыбами каменного города – это идет еще дальше. Это удивительно тонко.

Такой же мировой символ она поймала в своем «Ужасе».[13] Помните? Бегущая фигура девушки (ее собственное лицо в зеркале) и в глубине леса непомерна огромная звезда, точно испуганный глаз, вылезший из орбиты.

Все в этом офорте глубоко синее (синий – цвет ужаса).[14]

А потом звезда, как символ Ужаса: «Звездный ужас». – Звезда Полынь в Апокалипсисе.[15] Эта странная звезда с двумя лучами на «Меланхолии» Дюрера.[16] Язык пламени в глубине черного свода у Дудлэя.[17] Наконец, Манфред видит звезду в глубине галереи.[18]

Вебер мне рассказывал, что это было непосредственное впечатление зимней звездной ночью в Мэдонском лесу[19], когда Мар<ия> Вас<ильевна> и его заразила своим ужасом.

Потом все это кончается, и начинается развитие рисунка. Как будто все предыдущее слабое и неопытное сразу отпадает.

Рисунок – это анализ, логика. Для рисунка нужен математический ум.

«У Мар<ии> Вас<ильевны> были громадные математические способности», – говорит Вебер. И вот здесь из непогрешимой логики рисунка начинает развиваться любовь к другим символам – символам истинно живописным, пластическим. Она с азбуки начинает изучать народность, как тот язык, которым ей надо говорить. Но во всем такая уверенность и знание. Рука не дрогнет ни в одной линии.

Вебер говорит, что она была совсем не религиозна. К формам религии относилась с отвращением и только любила внешнюю красоту церквей. Мне что-то не верится. Если она наружно и носила на себе слова отрицания, то внут-

ренне она должна была верить. Нельзя любить без веры в то, что любишь.

Она так часто рисовала кладбища и эти деревянные кресты с крышей треугольником и фонариками, которые имеют такой уютный и мистический смысл. (Могила – домик). Они похожи на избу с огоньком в оконце.

А потом эти коринфские капители и верхи штукатурных колонн Введенского дома – греческий храм среди русской грусти. Это тоже глубокий символ.[20] И, наконец, она пришла к цветам и растениям – вечному и высшему символу жизни и радости. Чаща еловых ветвей сквозь окно (что воспроизведено в «М<ире> Искус<ства>» так плохо[21]) – это верх радости жизни.

Тут у нее развивается удивительная сила символизма, вытекающего непосредственно из форм.

Но странно: человек ей был всегда чужд. Она совершенно не понимала человеческого лица – его выражения, его построения. Фигуры у нее очень слабы. Она их мало и делала. Только в руках есть что-то – какое-то девственное бессилие слабых травинок, березовых ветвей, качающихся по небу.

Разговоры с Ивановым – это целый океан новых мыслей, столкновения и подтверждения старых. Мы так во многом сошлись и сошлись так неожиданно, идя такими разными путями.

Во-первых, танец – как высшее из искусств. Танец – извечный родник ритма. Я всегда замечал, что ритм моих стихов согласен с темпом шага. Если я теряю ритм, мне надо непременно несколько раз ритмически пройти по комнате, чтобы найти его и заставить слова ложиться плавно и легко. От Вяч<еслава> Ив<анова> я узнал, что греки все свое стихосложение основывали на ритме танца. В стихах трагедии запечатлены все па греческих танцев.

Недаром греческие поэты были танцорами (Софокл – юноша, танцующий после Марафонской битвы[22]).

Падение стиха – это следствие падения танца.

Французская поэзия – развившаяся вне танца. Академически созданный, надуманный стих. У Лафорга – в стихе ритм банальных танцев польки, вальса. Поль Фор – создавший свой стих сильный и оригинальный – великолепный танцор. Он танцевал как-то раз на субботе «La Plume».[23]

О неразделимости танца и наготы Вяч<еслав> Ив<анов> со мной вполне согласился. – «Только я позволю себе внести одну часть одежды, необходимую для танца будущего – это маска. При наготе необходима маска».

Это глубоко верно. Но я не представляю себе, что тут возможна старая маска греческой трагедии, как он думает. Каждая эпоха создает свои маски. Трагические и комические маски греков были обобщением известных чувств. Европа создала только черную полумаску. Это имеет глубокий смысл. Надо просто закрыть лицо. Не заменить его другим – лицом чьим-то – героя, бога, а надо просто его уничтожить. Заставить забыть о лице. В лице сосредоточилось все, что есть горького – все страдание – весь перегной жизни.

Где обнажается вечное радостное тело, там лицо должно быть закрыто.

В. Ив<анов> говорит в своих лекциях («Эллин<ская> религия страдающ<его> бога»[24]), что греки отказывались от своей личности для того, чтобы во вдохновении оргии найти новое освобождение. Женщины были без масок. И мужчины могли принимать участие в оргиях, но только в масках. Отсюда трагедия, в которой участвовали только мужчины в масках.

Теперь маской нужно уничтожить лицо: потому что в глазах слишком много боли и стыда.

Мы говорили о золотом веке, когда вся земля опояшется хороводами пляшущих людей, как млечными путями.

Все сольется в одной звездной пляске.

У меня целые ряды новых мыслей о слове и будущем.

Слово – это чистая эссенция воли – наиболее полное и совершенно непосредственное ее выражение. Слово – это выражение желания. Поэтому описательная сторона – это не истинный элемент слова – это только героическое завоевание. В этом завоевание французской литературы.

Но отсюда удивительные следствия: Желание — это предчувствие. Помните, мы с Вами об этом говорили и согласились.

Слово — чистое выражение желания — будущего. Слово — это уже самое будущее, сама действительность. Другая действительность.

В будущем есть много потенциальных — возможных действительностей. Слово их выявляет — переводит в другую область, и этим делает их уже невозможными в жизни.

Поэтому так часто, когда боишься, чтобы что-нибудь не случилось, стараешься себе представить это событие со всеми ужасными подробностями — именно для того, чтобы это уже не перешло в действительность жизни. Совершается заклятие словом.

Поэтому невозможно писать о действительно пережитом — это будет только воспоминание о действительности. Но если вы будете писать о том, что живет в Вас только в качестве намека и желаемого, то получится не описание, а сама действительность: сказки, фантастика, все те вещи, читая которые вы вполне отрываетесь от действительности и, отрываясь от книги, с удивлением возвращаетесь к жизни.

Тут совсем другое чувство и отношение. Флобер никогда так не захватит, как Эдгар По. Но у Флобера чувствуется в каждой строке героическая победа воли над материалом. У По стихийное движение невыявленной действительности.

Стихия живописи диаметрально противоположна стихии слова. Живопись — вся анализ. Она — расчленение видимой действительности на составные части. Слово — все синтез, создание новой действительности.

И живопись иногда может создавать новую действительность — но в этом тоже победа над материей — Микель Анжело, Леонардо: обратное Флоберу, Толстому.

Париж я нашел пустым. Кругликова уехала в Россию. Только Пищалка еще здесь. Показывал мне целый вечер новые покупки, японцев и «дивного Иеши» — это уже совсем новость. Но и он, кажется, уже уехал.

Гольштейнов еще не видел – они в Фонтенебло.

Как Ваш портрет? Пришлите мне рисунок с него.

Макс Волошин.

[1] Ответ на п. 21 и 24. Датируется по: Труды и дни. С. 124.

[2] Имеется в виду п. 24.

[3] Речь идет о п. 23.

[4] М.В. Якунчикова.

[5] Известный ресторан в Москве на Никольской улице (там же находилась одноименная гостиница).

[6] «Вечером собираемся в кафе Ландольта, куда часто приходят Ивановы и другие женевские обитатели, бывал там постоянно и Волошин, – рассказывал С.А. Поляков Брюсову в письме от 6/19 сентября 1904 г. – Много рассуждали о ведении и распространении "Весов"...» (Переписка <Брюсова> с С.А. Поляковым (1899–1921) // Валерий Брюсов и его корреспонденты. С. 96).

[7] Яйла – верхнее плато главной гряды Крымских гор, а также любая горная местность, используемая в Крыму как пастбище для овец.

[8] Дальнейшая часть письма, посвященная Якунчиковой, получит развитие в статье Волошина «Творчество М. Якунчиковой», напечатанной в первой книжке «Весов» за 1905 г. (С. 30–38).

[9] М.В. Якунчикова участвовала в Выставке русских и финляндских художников, устроенной С.П. Дягилевым в Петербурге в 1898 г., а также в выставках «Мира Искусства» в 1899–1901 гг. По просьбе С.П. Дягилева, она выполнила обложку (изображение лебедя в зарослях тростника), украшавшую № 13–24 «Мира Искусства» за 1899 г. Несколько работ Якунчиковой были воспроизведены в № 19–20 «Мира Искусства» за 1900 г. Кроме того, ей был посвящен отдельный выпуск журнала «Мир Искусства» (1904. № 3).

[10] Подснежники (по-французски: boule de neige).

[11] О символике зеркала см. примеч. 2 к п. 32, а также п. 8, 58, 203 и др. Об «окне» Волошин писал в статье «Творчество М. Якунчиковой» (в связи с картиной «Reflet intime»): «Окно – первоисточник европейской картины. Самая картина – это символ окна, окно комнаты или окно души, сквозь которое видно неведомое, внешнее...» (Т. 5 наст. изд. С. 483).

[12] Имеется в виду знаменитая картина Веласкеса, изображающая семью испанского короля Филиппа IV, – «Менины» (1656; музей Прадо, Мадрид). Королевская чета изображена на этом полотне как отражение в тусклом зеркале. «...В глубине комнаты из пепельной

поверхности стекла выступают лица Филиппа IV и его супруги», — писал Волошин об этой картине в статье «Творчество М. Якунчиковой» (см.: Т. 5 наст. изд. С. 484).

[13] Имеется в виду цветной офорт «Страх» (1893—1895).

[14] Глубокое впечатление, произведенное на Волошина этой работой Якунчиковой, отразилось в его дневнике (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 169) и статье «Творчество М. Якунчиковой» (см.: Т. 5 наст. изд. С. 482—489, 818—821).

[15] См.: Откр. VIII, 10—11. «Звезда Полынь» — название третьего раздела в стихотворном сборнике Волошина 1910 г., посвященного А.М. Петровой. В 1907 г. Волошин подготовил книгу стихотворений под названием «Звезда Полынь» для петербургского издательства «Оры» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 458; Т. 9 наст. изд. С. 268—269 (примеч. к письму Волошина Брюсову от конца декабря 1906 г.; примеч. 3 к п. 132). Издание не состоялось.

[16] Знаменитая гравюра А. Дюрера (1517), описанная Волошиным в статье «Одилон Рэдон» (см. Т. 5 наст. изд. С. 397).

[17] Волошин наверняка знал иллюстрации Ш. Дудле к стихам Метерлинка по кн.: *Метерлинк М*. Двенадцать песен в переводе Георгия Чулкова. С рисунками Шарля Дудлэ. СПб.: В.М. Саблин, 1905; рецензия Вяч. И. Иванова на это издание была напечатана в журнале «Весы» (1905. № 7. С. 56—57).

[18] Имеется в виду начальная сцена (акт I, сцена 1) драматической поэмы Байрона «Манфред» (1817): в галерее родового замка перед Манфредом вспыхивает звезда и появляются духи четырех стихий.

[19] Имеется в виду Медон — пригород Парижа.

[20] Речь идет о работе Якунчиковой «Из окна старого дома. Введенское» (1897). Ср. в статье «Творчество М. Якунчиковой»: «Барские дома с белыми колоннами и коринфскими капителями, вылепленными из штукатурки, — колоннады греческих храмов на фоне вечерней русской грусти. В них символ русской души...» (Т. 5 наст. изд. С. 487).

Введенское — старинная усадьба близ Звенигорода, возведенная в конце XVIII в. Н.А. Львовым, одно из наиболее поэтических мест Подмосковья (ныне — в Одинцовском районе Московской области). Усадьбу посещали В.Э. Борисов-Мусатов, И.И. Левитан, П.И. Чайковский и др.

[21] Имеется в виду работа под названием «Окно» (темпера, 1899), воспроизведенная в № 3 «Мира Искусства» за 1904 г. (С. 84).

[22] В одном из свидетельств о жизни Софокла сказано: «После морской битвы при Саламине нагой, умащенный маслом, он в честь

победы танцевал под аккомпанемент лиры» (см.: *Софокл.* Драмы. В переводе Ф.Ф. Зелинского. Изд. подгот. М.Л. Гаспаров и В.Н. Ярхо. М.: Наука, 1990. С. 442). То же – в «Жизнеописании Софокла», восходящем ко II–I в. н.э. (*Там же.* С. 440).

[23] См. примеч. 8 к п. 7.

[24] См. примеч. 5 к п. 23.

26. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

15/28 августа 1904 г. Лукино

Лукино.[1] 15 августа 1904 г.

Я так долго не писала Вам, п<отому> ч<то> скиталась с места на место, а главное, п<отому> ч<то> мне стыдно было своей тупой тоски. Из Ордынцево я с позором бежала в Москву, уничтожив бабушкин портрет в исступлении и переутомив глаза.[2] Ни читать, ни рисовать! Ну, конечно, не в этом дело. Сейчас я живу у Ел<изаветы> Ник<олаевны>[3] на 17-ой версте по Брянской ж<елезной> д<ороге>; на дачке вроде голубятни. Тоска сразу скатилась так же беспричинно, как и накатила, и мне все ужасно нравится, и осеннее солнце, и огромные сосновые аллеи, и эта дачка с сосновыми стенами; племянничек[4] (он родился, когда мы были в Версале),[5] кот<орый> лежит в корзинке, держит в руке ногу и, таинственно улыбаясь, смотрит на потолок. (Кажется, именно такие маленькие дети мне милее всего. В них все так важно, каждое движение, все таинственно; как он начинает слышать, узнавать, направлять ручку, чтобы взять что-нибудь). Я выжигаю васильки на табуретках. Приезжает Любимов (Вы знаете его? это студент, кот<орый> играет на рояле). Он читает вслух «Религию страдающего Бога», а потом на бесконечных прогулках мы говорим о кристаллах и творчестве, о возрождениях Греции и о Богдановщине.[6] От этого ли, или от того, что осень, у меня вдруг снова открылись глаза, уши... Захотелось работать, и в первый раз из тумана возникает Париж, и я повторяю мысленно Вашу поэму.[7] Вы ждете, чтобы я подробно об ней написала. Ну вот: когда я в первый раз читала

ее, мне она уже казалась знакомой, только созвучия поражали новизной, и потом вся часть «Кентавра»[8] неожиданна. Мне нравится все. Так что я должна была написать почти всю поэму, если бы хотела перечислить любимые места. Конечно, там, где перечисление имен, слабее. Как хорошо: «Париж властительно и строго» и т.д. Потом «скрипучий шелк чеканных складок темно-зеленого Ватто»... Но лучше всего готика, Фукэ и Кентавр. И теперь кентавр мне нравится больше всего. Единственно, чем я недовольна, это безбровым взглядом, представляется что-то очень противное и больное (но уж это по-женски). Брови у меня густые, длинные, и они темнее волос, а Вы, вероятно, хотели передать впечатление ресниц, кот<орые> светлее глаз. Потом мне кажется слабее строчка: «Что и в Джоконде, но сильней». Не знаю почему, но лучше это иначе сказать. Но это все пустяки. А в общем, по-моему, это chef d'œuvre.* Я читала большую часть «послания» многим, и всем ужасно нравится. А Бальмонт что сказал? О Кентавре Вы, вероятно, уже знали, когда мы шли через Люксембургский сад и Вы говорили о том, что творчество это сила, кот<орой> факиры выращивают из семя дерево в минуту, и тогда же Вы говорили о кентавре. Ну что же еще Вам сказать о поэме. Это так трудно. «Первая часть очень поэтическая, а вторая торжественная. На всем лежит печать оригинальности, что и требуется». С нетерпением жду продолжения. К сожалению, со мной нет сейчас Вашего последнего письма, и я конца «St. Cloud» не помню;[9] мне нравится тоже, но есть какое-то нагромождение, кот<орое> не могу Вам привести.

Очень интересно, что Вы решили с Поляковым относительно Вашей книги? Вместо предисловия поместите рисунки? Но я не представляю себе репродукции Tête inconnue и др<угих> скульптурн<ных> вещей. Ведь это же не будут фотографии? И следует ли мешать свои рисунки с старыми мастерами?

Вообще, вопрос об обложках, иллюстрациях для меня не выяснен; мне до сих пор не нравилась ни одна современная книга (кроме одного издания немецких сказок). Я понимаю

* Шедевр *(фр.)*.

больше текст к рисунку, но не рисунок к тексту, они никогда не сливаются, не служат друг другу рамкой, а существуют рядом, вредя друг другу. Прибегать к разнородным приемам для усиления впечатления сознательно мне кажется неисполнимым. Это выходило хорошо в греческой драме и в средневековой церкви, а сейчас такие попытки – декадентство. (Ради Бога, простите мне это ужасное слово!) Мне бы хотелось видеть в книге чистый орнамент; чтобы строчки и буквы были орнаментом. Чтобы сочетания красок и линий говорили, но чтобы отнюдь не было литературы в книге, кроме литературы.

Может быть, я не права. Это просто мой вкус. Мне хотелось бы, чтобы Tête inconnue и дьявол существовали в Мире отдельно, не соединенные *внешним* образом с Вашей книгой. Пускай эта связь сама открывается. В «приложении» мне чудится насилие. Потом представляется Кузнецкий мост... Вольф...[10] Это малодушие? Не нужно быть слишком откровенным. Эпиграфом, вероятно, будет:

На поприще сей жизни склизком
Все люди бегатели суть.
Державин.[11]

Вы пишете, что завершился период, и называете книгу «Годы странствий». Неужели закончился? Не может быть! Напишите об этом подробнее.

Недавно я прочла «Сон смешного человека» из «Дневника писателя».[12] Перечтите, если не помните. Несколько страниц всего. Там на планете живут люди совсем такие же, как Вы. Вот удивительно.

«Религия страдающего Бога» действительно ужасно захватывающая вещь. Теперь начинается возрождение мистической Греции. Как интересно было бы проследить и сравнить ее периодическое воскресение. Как современное возрождение отразится в архитектуре и вообще в искусстве?

Первое возрождение было в Александрии? Вы представляете себе его? Я не представляю себе, и мне тоже неясно в XIV и XV веке, что именно отнести к Элладе, а что является прямым развитием готического искусства. Реализм, конечно, вытекает из средневековых портретов. Почему эпоху Возрождения назвали эпохой Возрождения. Мне бы очень хоте-

лось, чтобы Вы написали, как Вам это все представляется. И потом вот еще что: что такое романтизм? Конечно, я не прошу определения, кот<орое> можно прочесть в теории словесности. Но мне хочется знать Ваше отношение к нему и что Вы видите в нем вечного и ему одному присущего?

Ну, до свиданья. За вершинами берез сейчас тянется товарный поезд; внизу пищит младенец, и меня зовут пить чай.

Ответьте скорее сюда; а если не скоро, то в Москву. Но лучше скорее. Брянская ж<елезная> д<орога>. 17 верст<а>. Платфор<ма> Суково,[13] дача Мансфельд № 10. Елизавет<е> Никол<аевне> Гофман,[14] для меня.

Ниточки для пенсне мне не нужно, п<отому> ч<то> мне присудили носить очки, не снимая.

Напишите мне подробнее еще про В. Иванова.

[1] Ныне – в составе Ново-Переделкинского муниципального округа Западного административного округа г. Москвы по Киевской (ранее – Брянской) железной дороге. В бывшей усадьбе «Лукино» (близ железнодорожной платформы «Переделкино») находится в настоящее время летняя резиденция московского патриарха.

[2] «Неужели Вы бросили Бабушку? – спрашивал Сабашникову М.С. Чуйко (письмо от 7/20 августа 1904 г.). – В письме так хороша голова, так красиво сидит она на туловище, в этом эскизе много жизни и поэзии» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 109, л. 29 об.). «2 позорных месяца, – отметила в тот же день Сабашникова в дневнике (запись, сделанная еще в Ордынцеве). – Бабушкин портрет не удался; болят глаза, так что ни читать, ни рисовать» (*Там же*, ед. хр. 22, л. 28). См. также п. 19.

[3] Е.Н. Гофман.

[4] Н.Б. Гофман.

[5] Волошин и Сабашникова посетили Версаль 28 марта / 10 апреля 1904 г. (см. примеч. 7 к п. 15).

[6] А.Л. Любимов гостил в Богдановщине в августе 1904 г., где играл для Сабашниковой и ее кузин Вагнера и Римского-Корсакова. «Он мил, – отметила Сабашникова в своем дневнике 27 августа / 9 сентября 1903 г., – целомудренный, чистый мальчик, талантливый, и потому с ним хорошо жить. <...> Он здесь веселился, мы его смешили, и он хохотал до изнеможения целые дни. А смеяться он, верно, не привык, и лицо у него от этого страдальческое во время

смеха. Мне кажется, что он еврей, у него еврейские печальные глаза. Я с ним говорю об искусстве часто, переводя на музыку общие чувства и мысли, и поэтому ему кажется, что я ему товарищ» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 49 об.).

[7] Имеется в виду «Письмо» (см. п. 15).

[8] Подразумеваются строфы XVII–XVIII «Письма».

[9] Имеется в виду стихотворный фрагмент «Закат сиял улыбкой алой...» в п. 23.

[10] С 1890-х гг. на Кузнецком мосту находился книжный магазин «Товарищества М.О. Вольфа».

[11] Первые строки стихотворения Г.Р. Державина «Горелки» (1793).

[12] «Фантастический рассказ» Достоевского «Сон смешного человека» был впервые напечатан в 1877 г. (в составе «Дневника писателя»).

[13] В 1938 г. деревня Суково получила статус дачного поселка и была переименована в Солнцево. С 1965 г. – платформа Солнечная (ныне – в Солнцевском муниципальном округе Западного административного округа Москвы); следующая платформа – Переделкино.

[14] Об особой близости Сабашниковой к Елизавете Гофман, ее кузине, в начале 1900-х гг. рассказано в «Зеленой Змее»: «...Глубокая дружба связала меня с Елизаветой, – вспоминает Сабашникова. – Она явилась мне воплощением России. <...> Какая душевная зрелость отличала эту женщину, что это был за характер – открылось по-настоящему много позднее, в жестокие годы революции, когда она была опорой не только своей семьи, но и многих людей, которым она помогала с поистине безграничной самоотверженностью» (С. 108).

27. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

22 августа / 4 сентября 1904 г. Лукино

22 августа 1904 г.
Брянская ж<елезная> д<орога>, 17 верста.

Мне переслали сюда Ваше письмо из Парижа. Вы пишете все о самых интересных сейчас для меня вещах, и мне так хочется обо всем этом говорить с Вами.

Самое важное о слове. Это очень остроумно, то, что Вы говорите о слове как о выявлении действительности. Но не

в слове, мне кажется, здесь дело. Вы же сами дальше говорите: «Стараешься *представить* себе это событие, чтобы оно не перешло в действительность жизни». Достаточно мечты, одной мечты. Вот это страшно. Будущее или, вернее, то, что суждено, судьба даже не воплощается в слове, а живет одиноким и бездомным призраком, как некрещеный младенец, похищенный у матери чертом. В сказках всех народностей есть или ящик, или дверь, которую нельзя открыть, от этого нарушения запрета происходит несчастье. Мечтатель преступает какой-то закон. Он берет наслаждение, и его наслаждение бесплодно; он лишается судьбы. Творец — другое. Он сам, как бог, воплощает свою судьбу — волю. Видите, я считаю всякое искусство — слова или живописи — победой над матерьялом. Я думаю, и в слове, равно как в др<угих> искусствах, есть два начала, или элементы, о кот<орых> Вы говорите, синтетическ<ий> и аналитический, но я не вижу причины делить их между словом и живописью. Тогда придется считать лучшие произведения и там, и тут аномалией. В вещах гениальных эти два начала таинственным образом сливаются. Начало всякого искусства — воля, непосредственный крик, переходящий в ритм, в победу над матерьялом. Отношение, борьба и победа и потом примирение личности и бездны, мгновенья и вечности — вот искусство. Начало Диониса и начало Аполлона — необходимые элементы всякого искусства. Слово — не есть чистая эссенция воли, как Вы говорите. Слово — средство, плоть. Не было бы искусства, если бы не было борьбы и победы над ним. Чистая эссенция воли! Не было бы ни слова, ни материи, ни времени, если бы была чистая воля. Чистая воля! Я знаю, но не скажу, как я ее называю.

Интересно знать, поняли ли Вы что-нибудь из того, что я написала. Я думаю между строк и записываю отрывки.

То, что Вы пишете о танцах, о маске, тоже очень любопытно. Но маски, мало одной маски! Точно в лице одна горечь. А! Вы делаете ошибку всей христианской культуры, забывая о том, что все тело столько же говорит, сколько лицо. Если Вы говорите о Золотом веке, то откуда горечь и стыд? А если нет, то откуда «вечно радостное тело»? Чтобы найти освобождение,

нужно отрешиться от личности, но чтобы отрешиться от личности, нужны и маски, и одежды, скрывающие всю фигуру, и перчатки, главное, перчатки. Руки больше всего говорят.

Вчера кто-то пожаловался няньке моего шестимесячного племянника,[1] что я хочу видеть его голеньким, но в маске. Она ответила, что ему и без маски не стыдно, но что мне нужна будет маска для того, чтобы с ним гулять. После этого мы все пошли в старый парк. Там есть луг, среди него окруженный водой холм с маленькими сосенками, вероятно, какие-нибудь барские затеи, может быть, на нем был храм. Любимов сорвал палку, обвитую виноградом, и, подавая мне ее, что-то сказал по-гречески об осенних анфистериях.[2] Тогда мои калоши полетели в небо, шляпа на землю, и я унеслась в священных танцах. Мы не встречали профанов. Когда мы возвращались домой с тирсом, нам встретилась группа девочек (из приютской колонии) с венками на голове; они быстро и важно прошли мимо нас. «Они идут в горы», — подумала я.

Приехал Алеша. В это время мы все и Любимов обыкновенно собираемся в Богдановщине и здесь празднуем осенние анфистерии. Каждый год у нас то же настроение осенью, мы о том говорим и, кажется, под конец это перейдет в обряд. О темах я Вам писала в прошлом письме. Теперь в августе по вечерам мы обыкновенно отправлялись к реке на солому. Солома эта выше крыши. С нее видно черное звездное небо с падающими звездами и поля. Мы просиживали на ней полночи; под нами пищали и возились мыши, а мы были полны звездным ужасом. Ах, насчет звездного ужаса.[3] Мне не нравится, как Вы пишете об Якунчиковой. Т.е. то, что Вы пишете, само по себе очень интересно, но это такой неверный, такой опасный и ненавистный мне прием в живописи! Навязывать такие великолепные символы. Знаете, мне она очень мила. Ее женственная душа, любящая все мгновенное и преходящее, ее грусть и ее не женское мастерство. (Пожалуй, этого мастерства у нее слишком иногда много, этого выверта.) Но я нахожу ее однообразной и вообще совсем иначе вижу ее, чем Вы. Вебер, любя, преувеличивает ее,[4] а Вы под его влиянием тоже. Я видела ее вещи каждый раз на выставке «Мир Иск<усства>».[5] Правда, они ужасно милы?

Ну, вот видите, в каком я противоречивом настроении. Решительно обо всем спорю.

Пишите мне в Москву. Придется там жить.

Я ничего не делаю. Ах, если бы Вы знали, как для меня это сознание мучительно. Не умею еще жить, не умею создать подходящие условия.

Сегодня я увижу верно в Москве Ек<атерину> Ал<ексеевну>.

Напишите мне, пожалуйста, в точности, сколько я должна американско<му> магазину за вещи, кот<орые> мы вместе выбирали.

[1] Имеется в виду Н.Б. Гофман.

[2] Анфистерии (также: анфестерии, амфистерии, анфестерий и др.; у Вяч. Иванова – анфестерии) – трехдневный праздник в честь Диониса, совпадающий с наступлением весны (антестерион – 8-й месяц аттического календаря, соответствующий приблизительно второй половине февраля – первой половине марта). Ср. в стихотворении Сабашниковой «Посвящение» (первое стихотворение цикла «Лесная свирель»): «Таинственный залог весенних Анфестерий» (Цветник Ор. Кошница первая. СПб.: Оры, 1907. С. 295).

[3] Намек на работу Якунчиковой (см. примеч. 13 к п. 25).

[4] В марте–апреле 1904 г. Сабашникова неоднократно встречалась в Париже с Л.Н. Вебером и вела с ним продолжительные беседы. Насколько можно судить, Сабашникова и Л.Н. Вебер испытывали в те месяцы взаимный интерес друг к другу. См. записи в ее дневнике, сделанные между 28 марта / 10 апреля и 7/20 апреля 1904 г.: «Накануне вечером <т.е. 27 марта / 9 апреля 1904 г.> в Русском кружке я опять весь вечер проговорила с Вебером. Мы говорили опять об его покойной жене М.В. Якунчиковой, об его детях, об России, о природе России <...> Я думаю о Вебере. <...> Я видела его 7 раз. Первый раз в "Обществе" <"Обществе русских художников">. Макс привел его наверх на балкончик, и мы там просидели, я не смела заговорить о его жене, а потом так много о ней расспрашивала, о ее поэтах и композиторах. Второй раз у его матери M-me Гольштейн он рассказывал о спиритических сеансах, и мы вместе смотрели альбом Рэдона, в третий раз у Кругликовой втроем с Максом читали Вячеслава Иванова и еще в Обществе, и потом три незабвенных дня. В последний день между двумя музеями мы завтракали у Duval'я, было мало места, и я завтракала с ним вдвоем» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 14 об. – 16 об.; Дюваль – название сети парижских ресторанов –

по имени мясника П.-Л. Дюваля, создателя ресторанной системы, основанной на недорогих завтраках и обедах). «А знаете, — сказал Волошин Сабашниковой 21 марта / 4 апреля, — между прочим, Вебер находит в Вас громадное сходство с его покойной женой» (*Там же*, л. 19 об.; запись в дневнике Сабашниковой, сделанная в тот же день).

Осенью 1904 г. Вебер приезжает в Москву, где вновь встречается с Сабашниковой (см. примеч. 7 к п. 36).

[5] См. примеч. 9 к п. 25.

28. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

24 августа / 6 сентября 1904 г. Москва.

Москва. 24 августа.

Отрывки из письма Коро.[1]

«Нужно встать рано, в 3 часа утра, до восхода солнца, пойти сесть около какого-нибудь дерева, смотреть и ждать. Сначала ничего особенного не видно. Природа похожа на беловатое полотно, на котором едва намечены очертания нескольких масс. Все благоухает, все трепещет в свежем дыхании утренней зари. Бинг! солнце восходит; оно еще не разорвало дымки, за которой прячутся луга, долины и холмы на горизонте... Ночные туманы еще ползут серебристыми хлопьями по захолодевшей зелени трав... Бинг!.. Бинг!.. первый луч солнца... второй луч солнца... маленькие цветки пробуждаются радостные... на каждом дрожит капля росы... зябкие листья дрожат от дыхания утра... в листьях поют *невидимые птицы... Кажется, что это молятся цветы.* Амуры с крылышками бабочек летают по лугам и колеблют высокие травы... *ничего не видно, но всё уже есть.* Пейзаж еще скрыт за прозрачным покровом тумана, который с каждой минутой поднимается... *Солнце вдыхает его в себя...* Когда он весь поднялся, показывается река, окаймленная серебром, луга, деревья, убегающая даль. Наконец, видно все, о чем прежде можно было только догадываться...»

... — «Природа склоняется к дремоте, свежий вечерний воздух вздыхает в листьях, *роса окаймляет жемчугом бархат*

газонов, нимфы убегают... прячутся... *и хотят, чтобы их увидали...* Бинг! звезда показалась на небе и упала в пруд... прелестная звезда, дрожание воды увеличивает твой блеск, ты смотришь на меня, ты улыбаешься мне, мигая глазом... Бинг! вторая звезда показывается в воде, *раскрывается второй глаз.* Приветствую вас, прелестные звезды. Бинг! бинг! бинг!.. три, шесть, двадцать звезд... *все звезды неба погрузились в этот счастливый пруд...* Становится еще темнее... *Один только пруд сверкает...* звезд не счесть... солнце зашло, *восходит внутреннее солнце души*, солнце искусства... ну, вот, моя картина и готова!»[2]

Ну, не правда ли — это великолепно? Я об этом Вам говорила. Еще о Виктории.[3] Если Вы еще ее не прочли, напишите мне, я вышлю ее Вам по-русски, она уже издана «Скорпионом».[4]

Ек<атерину> Ал<ексеевну> вчера я не могла поймать весь день, хотя только из-за нее приехала сюда. От нетерпения чуть не лишилась разума. Сегодня провела с ней весь день. Б<альмонта> я не видала. Говорили, конечно, и о Вас. Я снова начинаю мечтать о Париже. Вы знаете, что Бальмонты приехали на репетицию Метерлинка.[5] Сегодня я целый день с тетушками Христа славила и очумела от разговоров. Еду опять на несколько дней к Гофманам. С нетерпением жду ответа на прошлое письмо и буду писать о дальнейших мыслях по тому же поводу.

[1] Произведения Коро, которые Сабашникова видела в Лувре (20 апреля / 3 мая), побудили ее к размышлениям о его творчестве. «Иду в Лувр, — записывает она в дневнике 21 апреля, — и мы смотрим, смотрим. Вчера — Коро». И далее: «Искусство — воспоминание. Вещи Коро — не грубый импрессионизм, не ненавистный мне импрессионизм, а просветленное радостью воспоминание. Его обобщение не внешнее, как у современных божков импрессионизма, его обобщение — серебро глубокого и тихого озера — глубокого» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 18 об.).

[2] Письмо К. Коро к художнику Ж. Дюпре Сабашникова цитирует по книге немецкого искусствоведа Рихарда Мутера «История живописи в XIX веке» (Вып. 5. СПб.: товарищество «Знание»,

1900. С. 255), переведенной на русский язык З.А. Венгеровой. «Кто ничего не читал о Коро, кроме этих строк, – комментировал Мутер это письмо, – уже достаточно с ним знаком. Одно словечко “бинг” содержит в своем серебристом звуке объяснение его творчества» (*Там же*).

[3] Роман К. Гамсуна «Виктория. История одной любви» (1898).

[4] Ошибка Сабашниковой. Роман Гамсуна «Виктория» был издан в 1904 г. не «Скорпионом», а «Товариществом М.О. Вольфа» (см.: *Гамсун К.* История одной любви. (Виктория). Перевод с датского <*sic!*> М.П. Благовещенской. М.; СПб.: Т<оварищест>во М.О. Вольф, 1904).

Благовещенская Мария Павловна (урожд. Аршаулова; 1863 –?) – литератор, переводчица со скандинавских языков. Переписывалась с Гамсуном; автор (совместно с А.А. Измайловым) первой на русском языке книге о норвежском писателе (СПб., 1910). См. о ней: *Файнштейн М.Ш.* Из истории русско-скандинавских литературных связей: М.П. Благовещенская. В кн.: Российские женщины и европейская культура: Материалы V конференции, посвященной истории и теории женского движения / Сост. и отв. ред. Г.А. Тишин. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 137–143.

[5] Имеется в виду постановка нескольких пьес Метерлинка («Слепые», «Непрошенная», «Там, внутри») в переводе Бальмонта, осуществленная Московским Художественным театром (см.: *Ю. А<йхенвальд>*. Драмы Мориса Метерлинка в Художественном театре // Русская Мысль. 1904. № 10. Отд. II. С. 276–282; <Б.п.> Метерлинк на сцене Художественного театра // Весы. 1904. № 10. С. 81–82; и др.).

29. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

Около 28 августа / 10 сентября 1904 г. Париж[1]

3 Rue du Bac. Paris.

Дни безмыслия. Хожу по улицам – смотрю на человеческие лица, восхищаюсь их безобразием и рисую. Не выпускаю из рук книжки и карандаша.

Мысль просыпается с трудом, когда начинаю говорить. Потом всё снова уходит в глаза. Я почти полгода не рисовал. (Кроки[2], что я при Вас делал, не в счет), и теперь чувствую, что вижу гораздо больше и гораздо больше могу.

Получив Ваше письмо «о слове» и «о масках», я с большим усилием вспомнил, что это мои мысли. И что я их снова буду думать. Мне тяжело писать. Мне скучен вид пера.

Я почти со всем согласен. Только вот: я ищу соединения — примирения субъективной свободы воли с объективной несвободой воли.

Для этого я становлюсь в четвертое измерение и рассматриваю время пространственно.[3] Причинность теряется — остается одна линейная последовательность. Желание становится предчувствием, воля — чувствительным органом для ориентировки в будущем.

Слово — чистая эссенция воли — это, конечно, фигурально.

«Запретная дверь»[4] — это очень верно.

Победа над материалом, конечно, есть и это самое почетное в искусстве. В слове это описание — флоберовский стиль: дрессированные слова, которые он заставлял идти по новым дорогам окриками и щелканьем бича. Помните у Мопассана описание его работы?[5] Слова предательски уносят всадника на торные дороги — общих желаний. Слово, как филологический остов, всегда остается, содержание его течет непрерывно. На нем всегда следы общей упряжки.

В живописи победа над материалом сводится к нахождению простейших корней ви́дения.

«Чистая воля! Я знаю, но не скажу, как я ее называю».

То имя, которое евреи писали гласными буквами, но никогда не произносили?[6]

Об Якунчиковой. Я не навязываю ей эти символы. Я уверен, что они никогда ей не приходили в голову. Вон Вебер говорит, что она не любила православия и относилась с презрением к народной вере. Но я эти символы в ее искусстве вижу и читаю. То, что хотел художник дать, это так мало имеет значения. Творческий план, это только приоткрытая дверь, сквозь которую врывается то, что ждет воплощения и формы. Каждый художник вписывает свое воление в общую человеческую книгу. Он сам — маленькое подстрочное примечание. Его сознательное — житейское, какое это значение имеет для

меня, когда я вижу его настоящее — мировое, чего он сам в себе не видел, но, не видав, выразил. Это гораздо более несомненно и реально, чем он сам, его желания и его жизнь.

Истощить свое будущее мечтами. Это величайшая трагедия. Мне бы хотелось на это написать сказку. Тут именно запретный ларец. Но художники это всегда делают — и делают сознательно. Это основа искусства.

Это два пути для исчерпания будущего. Совсем разные.

Маски для рук — перчатки. Конечно, это необходимо. Хотя в руках больше будущего, чем прошлого. Руки — это воля. В лице только прошлое. Паутинка за паутинкой — вся жизнь. В форме рук — все возможности. Я очень много смотрю теперь на руки и на уши. И предо мной раскрываются целые человеческие миры. В лице человек такой, каким он хотел бы быть, и такой, каким его делают внешние обстоятельства. Уши — беспощадные обличители. Это было, кажется, сейчас же после Вашего отъезда. Я ехал по Metro и вдруг подумал, почему я не смотрю никогда на уши. Вспомнил слова Екатер<ины> Алексе<евны>. И когда я взглянул на моего соседа, то прямо вздрогнул от неожиданности. У него лицо было как лицо — со всем парижским лаком. Но вместо ушей были какие-то чудовища. Короткие толстые, без извилин. Точно две жабы. Настоящие уши убийцы. Я тогда начал смотреть на уши...

Тело столько же говорит, что и лицо. Но мы разучились читать по этой книге. Поэтому оно стало неведомым и радостным. Я уверен, что греки видели в теле меньше радости, чем мы. Величайшая трагедия — Ватиканский торс.[7]

Мы неграмотны — в этом наша радость. Мы завоевали себе незнанье веками одежды. Вся горечь, что зрела в европейцах, вылилась в руках и лице.

Как я завидую Вашим осенним амфистериям.

Я в этом году не прикоснулся к природе всем телом, светло и безмысленно. Поэтому во мне живет какое-то смут-

ное беспокойство и неуспокоенные гулы города. Продолжается какая-то старая лихорадка.

Мне недостает соленого запаха дикой осенней волны, песчаной отмели и порыва ветра в волосах.

Швейцария – это была оргия разговоров. Только несколько минут на Юре и около Иох-Пасса[8] я чувствовал присутствие тишины.

Письмо Коро – великолепно. Я его прочел за несколько дней до Вашего письма.

В нем есть какое-то дрожание струны.

В душе бывают такие белые рассветы.

«Виктория» я еще не читал. Пожалуйста, пришлите мне. И вот еще просьба: пришлите мне Платона в переводе Владимира Соловьева. Это, кажется, 3 или 4 тома. В издании Солдатенкова, если не ошибаюсь.[9] Впрочем, не знаю.

Вы должны американскому магазину 81 франк. Тогда вычтите из этих денег стоимость книг.

Я Вам буду ужасно благодарен. Мне очень нужен Платон, но я не хочу его покупать по-французски, когда он переведен Вл<адимиром> Соловьевым. До свиданья.

Макс Волошин.

[1] Ответ на п. 27 и 28. Датируется по кн.: Труды и дни. С. 124.

[2] От фр. croquis – наброски, эскизы.

[3] См. примеч. 13 к п. 7, примеч. 11 к п. 200 и примеч. 3 к п. 221.

[4] См. об этом в п. 27.

[5] Мопассан посвятил Флоберу, которого считал своим учителем, три очерка (1876, 1884 и 1890). О литературном стиле и мастерстве Флобера он писал во втором из них (см.: *Мопассан Г. де.* Полн. собр. соч.: В 12 т. М.: Правда, 1958. Т. 11. С. 199–247).

[6] Ошибка или оговорка Волошина: имеются в виду согласные буквы (в еврейском алфавите нет букв для обозначения гласных).

Имя бога (Ягве, Иегова) передавалось четырьмя буквами (тетраграмматон); в латинской транскрипции: YHWH.

[7] Ватиканский (или Бельведерский) торс (I в. до н.э.) в Ватиканском музее – обломок статуи сидящего мужчины, поражающей своим совершенством; этим торсом восхищались Микеланджело, Винкельман, Гете и др.

[8] Перевал в Южном Тироле (Австрия), где Волошин путешествовал в июне 1900 г. (см. Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 30–32).

[9] Творения Платона. Т. 1. Перевод с греческого Владимира Соловьева. Издание К.П. Солдатенкова. М., 1899; Т. 2. Перевод с греческого Владимира Соловьева, М.С. Соловьева и кн. С.Н. Трубецкого. Издание К.П. Солдатенкова. М., 1903. Первому тому был предпослан «предварительный очерк» В.С. Соловьева под названием «Жизнь и произведения Платона», второму тому – вступление С.Н. Трубецкого (с датой «31 июля 1902 г.»), в котором содержалось упоминание (С. VI) о готовящемся третьем томе (не состоялся).

30. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

5/18 сентября 1904 г. Париж

18 *сентября*. Ночь.

О детях:

M-me Ghil[1] рассказывает о своей маленькой шестилетней племяннице:

«Я как-то при ней рассказываю об одном мальчике в Люксембургском саду, которого я спросила, сколько тебе лет, а он ответил «Ne t'occuppes pas de moi»,* а она говорит: «Ну да, он прав, parce que les grandes personnes qui sont dans la troisième vie, ne peuvent pas comprendre les petits enfants qui sont dans la première vie. Ils n'ont pas les mêmes paroles».** И она всегда это выражение употребляет: вторая, третья жизнь. А совсем маленьких детей однолетних, двухлетних она назы-

* «Отстань от меня» *(фр.)*.

** «...потому что взрослые, которые живут свою третью жизнь, не могут понять маленьких детишек, живущих свою первую жизнь. У них разные слова» *(фр.)*.

вает les petits bouts de monde.* И это так между прочим, в разговоре, по-видимому, не придавая этому никакого значения.[2]

Она себе тоже выдумала сестру. Никакой сестры у нее на самом деле нет. Эта сестра старше ее на несколько лет, и в ней она воплощает всю свою свободу и желания. Когда она начинает протестовать, она говорит «Ma sœur, ma sœur»...** Она еще «S» произносит как «Ch» – Ma Chœur, она всегда вырезает картинки до 12 часов ночи. «А вот моей сестре купили пять пирожных, а ты мне только одно». И т.д.

И при этом она никогда не встречается со своей сестрой. Та всегда в другой комнате или в другом доме. Раз ей сказали: «Вот сейчас твоя сестра придет. Вон она уже идет через двор...» Она пришла в такой ужас... Начала плакать, кричать, забилась головой в подушки. «Скажите, чтоб она не приходила...»

Поразителен этот смертельный ужас перед воплощением грезы. Это тот же ужас, что и ужас смерти. Опять вечный Пютуа![3]

Елена Дм<итриевна>[4] опять начала видеть во сне волка. Она мне как-то рассказывала, как в детстве она со своим братом видела одни и те же сны. И они изобретали средства от страшных снов. Как проснуться, когда видишь страшный сон? Для этого только нужно отыскать воду – реку или озеро (во сне же) – и опуститься туда. И тогда сейчас же проснешься.

«Но вот ужас, когда бросишься в реку и вместо того, чтобы проснуться, попадешь в подводное царство».

Поздно. Я погружаюсь в подводное царство. Я давно не видел снов.

Ужасно одиноко теперь в Париже. Я так чувствую Ваше отсутствие.

Хочу населить улицы воспоминанием. Но там дверь еще крепко заперта. Слышно только, как за дверью кто-то шепчется. В музеях все холодно.

---

* Маленькие кончики *(фр)*

** Моя сестра, моя сестра *(фр)*.

Какое-то слово забылось... Ни одна дверь не растворяется. Статуи все мертвые, под каменной кожей не трепещут жилы.

Какое-то маленькое зернышко равнодушия лежит в душе. Маленький кусочек пустоты. И он ужасно всему мешает.

Я часто перебираю Ваши письма...

Это дерева познанья
Облетевшие цветы...[5]

Что-то выцвело и запылилось... Все, что было весной. Зато все вспоминается Москва.

Вечер накануне моего отъезда. И потом день отъезда, когда я Вас не видел.[6]

Но все время, непрестанно – я вспоминаю прошлую осень. Позднюю осень на берегу моря.

Гул Парижа я хочу себе представить, как раскат волн, но то было гораздо сильнее. Вся душа трепетала от звука.

Потом острые лунные ночи, холодные и прозрачные, как лед. Я долгие часы ходил по пустынным плоскогорьям, совсем тихим, совсем голым. Точно по луне. Воздух какой-то другой, когда на десятки верст нет ни одного человека. Здесь в Париже воздух густой, насыщенный, рдяный, пропитанный человеческим ядом. Я часто чувствую, как этот яд города вступает мне в голову и бьется в висках.

Мне так хочется видеть Вас и говорить с Вами.

Война медленно захватывает душу, как колесо машины, в которую попал конец одежды. Я уже не могу удержаться, чтобы утром не прочесть газеты.

Толстовские описания войны...

Все самые ужасные эпохи в жизни человечества – террор, инквизиция, коммуна, все это можно представить по-толстовски – в известном круге зрения, очень просто, несколько мелких, почти обыденных деталей... Но тут происходит что-то гораздо ужаснее. «Этого» уже так по-толстовски никак нельзя представить.

Целая долина, взорванная вместе с войском... Эти руки, которые подымаются из груды трупов в течение недели, и, наконец, замирают.

Мне приходят странные мысли. Этого бы не было, если бы люди раньше «мечтали» об этом. Может, долгому периоду реализма в литературе мы обязаны тем, что все эти ужасы, которым место в фантастическом рассказе, пробили свое русло в реальную жизнь? Символисты пришли слишком поздно и не смогли мечтой исчерпать страшного будущего.

Эпохи ужасов и зверств всегда следуют за эпохами упадка фантазии, бессилия мечты.

Французская революция после XVIII века.

Коммуна — после Флобера и Гонкуров. Наоборот — возможные ужасы 48 года[7] были предотвращены романтизмом и политическими утопиями.

Теперь Россия расплачивается за целый век реализма.

Действительность мстит за себя, если ее считают слишком простой. Она принимает самые чудовищные и невероятные формы, чтобы заставить к себе относиться с мистическим трепетом.

Сколько ужасов, предстоявших России, искупил Достоевский! Он ведь был единственным противовесом террору, расходившемуся с 78 года.[8]

А если есть виновные в настоящей войне, — то это Толстой, заморозивший много поколений в узких рамках рациональной морали,[9] марксизм, оскопивший фантазию всех русских детей. За насилие над мечтой дорого приходится расплачиваться.

Эта связь только в первый момент кажется странной. Потом это становится так логично, так неизбежно...[10]

Я Вам не ответил на много вопросов: о возрождениях Греции, о романтизме... Я сейчас не могу. У меня нет мыслей по этому поводу. Я их положил в дальние ящики: когда вырастут, пришлю.

Да! о повторениях. Я ловлю себя на том, что я повторяюсь не только в разговоре, но и в письмах. И я понял, в чем дело. Есть слова, обращенные к человеку, к одному человеку, слова выражающие одно чувство – эти слова никогда не повторяются. И повторение их – позор.

Повторяются другие слова – когда думаешь вслух. Мысль тысячи раз возвращается, тысячи раз ложится на губы прежде, чем выявиться. Здесь повторение неизбежно.

Это спазмы рождения. Это нужно, чтобы так было. Здесь стыд повторения – ложный стыд. Повторениями мысль рождается и отделяется от человека. Начинает свою собственную жизнь.

До свиданья.

Неужели Вы не приедете в Париж!!!

Макс Волошин.

Пришлёте мне «Викторию» и Платона?

Теперь мой адрес: 9 Rue Campagne Première.

Я туда уже через неделю переселяюсь.

Ваш адрес спрашивала Елиз<авета> Серг<еевна>. Она теперь в Москве. Там же Матвеев и Якимченко.

[1] Имеется в виду Алиса Гиль.

[2] Видимо, к этому же рассказу Алисы Гиль восходит и дневниковая запись Волошина от 21 октября 1904 г. (см. Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 179).

[3] Персонаж одноименного рассказа А. Франса (1900), фантом, созданный человеческой фантазией. Рецензируя в мае 1904 г. новый сборник рассказов Франса «Кренкебиль, Пютуа, Рике и несколько других полезных рассказов» (*France A.* Crainquebille, Putois, Riquet et plusieurs autres récits profitables. Paris: Calmann-Lévy, 1904), Волошин подробно пересказал содержание рассказа «Пютуа». Рецензия Волошина появилась в газете «Русь» (1904. № 161. 25 мая / 7 июня. С. 3). См.: Т. 5 наст. изд. С. 425–435, 800–802).

[4] Е.Д. Чичагова.

[5] Заключительные строки стихотворения Волошина «Старые письма» («Я люблю усталый шелест...»), посвященного А.В. Гольштейн (Т. 1 наст. изд. С. 57, 452–453); см. также примеч. 2 к п. 12.

[6] Видимо, Волошин вспоминает (не совсем точно) о своем пребывании в Москве весной 1903 г. 20 марта / 2 апреля он просидел у Сабашниковой 6 часов, а в день отъезда, 21 марта / 3 апреля, заходил к ней «на 20 минут», чтобы проститься (Труды и дни. С. 109).

[7] Волошин имеет в виду европейские революции 1848 г.

[8] 24 января 1878 г. Вера Засулич совершила покушение на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова.

[9] Имеется в виду учение Л.Н. Толстого о непротивлении злу насилием.

[10] Некоторые из этих мыслей получат развитие в статье Волошина «Макбет зарезал сон» (редакционное заглавие – «Магия творчества. О реализме русской литературы»). См.: Т. 5 наст. изд. С. 465–469, 813–815, а также примеч. 3 к п. 36.

31. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ[1]

7/20 сентября 1904 г. Москва

7 сент<ября > 1904. Москва.

Посылаю Вам чек на 70 fr. Платона и «Викторию» Гамсуна я послала вчера. Раньше не могла этого сделать, п<отому> ч<то> письмо Ваше получила только в субботу.[2] Относительно «Виктории» я ошиблась, думая, что она издана «Скорпионом» в переводе Полякова. Перевод Благовещенского[3] я не знаю; знакомые говорят, что он неплох.

Платона я тоже как раз читаю.

Ваш рисунок очень искусен.[4] Глядя на него, завидую Вашим глазам, но в нем есть сухость и предвзятость.

Wer nicht wagen darf, sich gehen zu lassen, wird nicht weit kommen.*[5]

Ваше письмо уже написано фантому. И мне больше не хочется испаряться словами. С живыми людьми переписка невозможна. Правда? До свиданья.

М. Сабашникова

* Кто не решается начать путь, далеко не продвинется *(нем.)*.

[1] Ответ на п. 29.

[2] Т.е. 4/17 сентября.

[3] Перевод «Виктории» на русский язык был выполнен М.П. Благовещенской (см. примеч. 4 к п. 28).

[4] Какой именно рисунок Волошин послал Сабашниковой, неизвестно.

[5] Две заключительные строки из четверостишия немецкого поэта и прозаика Пауля Гейзе (1830–1914) «Vergebne Mühe» («Напрасный труд»).

32. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

Между 10/23 и 13/26 сентября 1904 г Париж.[1]

9 Rue Campagne Première. Paris.

Я перевел вчера «Зеркало» Малларме (фронтиспис к «Иродиаде»).[2] Это одна из трех картин, которые Вы мне рассказали в St. Cloud.[3] Я не вижу возможности тоньше передать ее. Этот перевод принадлежит Вам по праву.

О, зеркало! Холодная вода,
Кристалл уныния, застывший в льдистой раме.
О, сколько раз в отчаяньи, часами,
Усталая от снов и чая грез былых,
Опавших как листы в провалы вод твоих,
Сквозила из тебя я тенью одинокой...
Но, горе! В сумерки, в воде твоей глубокой
Постигла я тщету своей нагой мечты...[4]

Вот еще перевод «Лебедя» Малларме,[5] который я сделал для статьи Алекс<андры> Василь<евны>. Это Малларме последнего периода – ледяной и темный. Перевод его почти tour de force* трудности.

Могучий, девственный, в красе извивных линий,
Безумием крыла ужель не разорвет
Он озеро Мечты, где скрыл узорный иней
Порывов скованных прозрачно-синий лед?
И Лебедь прежних дней, в величьи гордой муки –

* Ловкость, умение что-либо преодолеть *(фр.)*.

Он знает, что ему не взвиться, не запеть:
Не создал в песне он страны, чтоб улететь,
Когда придет зима в сияньи белой скуки.
И шеей он стряхнет смертельное бессилье,
Которым вольного теперь неволит даль,
Но не кошмар земли, что приморозил крылья.
Он скован белизной и блеском одеянья
И стынет в льдистых снах ненужного изгнанья,
Окутанный в надменную печаль.*[6]

Сегодня утром рано мне просунули в двери «Викторию» и Платона. Как мне Вас благодарить? Я, лежа в постели, стал читать «Викторию», не разрезая страниц, заглядывая боком одним глазом внутрь книги. И вдруг на меня полился такой свет... Что-то хлынуло, порвалось, вспомнилось сразу...

«Люль, люли... звенят колокольчики»...[7] Зашелестело платье... Запахло цветами... Кто-то пришел и сел у изголовья.

Я слышу чье-то молодое дыхание...

«Когда придет принцесса Виктория, то приведи ее сюда!»[8]

Войдите, принцесса Виктория...

«Что такое любовь? Это ветерок, проносящийся над розами? Нет, это искра в крови... Любовь – это летняя ночь со звездным небом и благоухающей землей...»[9]

«И он видит голову, которая катится по дороге, как бы указывая ему путь. Это человеческая голова, которая время от времени улыбается тихой, таинственной улыбкой»...[10] Орган играет, и из органа течет кровь...

И были дни, как муть опала...
И был один, как аметист...
Река несла свои зеркала...
Шумел в лазури бледный лист.
Хрустальный день пылал так ярко,
И мы ушли в затишье парка,
Где было сыро на земле,
Где пел фонтан в зеленой мгле,
Где трепетали поминутно

* *Было:* Окованный в надменную печаль.

Струи и полосы лучей,
И было в глубине аллей
И грандиозно и уютно.
Синела даль. Текла река.
В лазури плыли облака...
И наших ног касалась влажно
Густая, гибкая трава...*
В душе таинственно и важно
Вставали редкие слова...
И полдня вещее молчанье
Таило странную печаль
Необъяснимого страданья...
И, смутным взором глядя вдаль,
Вы говорили:
«Смерть сурово
Приблизит грустные глаза
И тихо спросит: “Ты готова?..”»[11]

Нет, это не то... Я совсем опьянел от этой книги... Что в ней есть такого, что заражает и заставляет путаться мысли. Почему она сразу становится так близка, точно сам написал ее, – эта книга «о Дитрихе, которого Бог поразил любовью»?[12] Отчего кажется, что кто-то тихо и ласково кладет руку на голову и от этого хочется плакать?..

«Я легла бы на землю и постаралась бы найти Ваши следы, я целовала бы каждую былинку на том месте...[13]

Сердце мое остановилось, и мне почудилось, что я слышу издалека шум приближающейся вечности...

...Виктория пишет, что и Бог читает эти слова через мое плечо...

...Когда я буду отлетать с земли, то я до последней минуты буду благодарить Вас и мысленно называть Ваше имя во время всего пути...»[14]

Почему у меня вдруг прозвучало в голове:

Она ползла по ребрам гор,
Где тропы свиты в перепутья,
И терн нагорный рвет в лоскутья
Парчой серебряный убор.

---

* *Было:* Густая, цепкая трава...

А где был путь скалами сужен,
Там оставались вслед за ней
Струи мерцающих камней
И нити сорванных жемчужин...
Белел по скатам талый снег,
Ледник синел в изломах стекол...
И на вершине человек
Стоял один, как царь, как сокол...
...И подползла и ниц лицом
Она к ногам его припала...
Застыли льды немым кольцом,*
Овиты дымками опала...
И время медлит... Мир притих...
Сбегает жизнь... Еще мгновенье –
И смерть...[15]

Утро.

Только что мне принесли Ваше заказное письмо.[16]

Неужели я писал письма фантому? Я беседовал с призраками?..[17]

[1] В.П. Купченко датирует это письмо: «Около 10 (23) сентября» (Труды и дни. С. 124).

[2] «Зеркальность» сознания, раздвоенность своего Я, соприкосновение с окружающим миром и другими людьми через их отражение в самом себе, ощущение себя «зеркалом» и т.п. – одна из ключевых тем, увлекавших Волошина в 1900-е гг. «Я зеркало, – записывает Волошин в дневнике 8/21 июня 1905 г. – Я отражаю в себе каждого, кто становится передо мной. И я не только отражаю его лицо – его мысли – я начинаю считать это лицо и эти мысли своими» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 207). «Зеркала – бездонные мистические колодцы духа – это скрытые трапы нашей комнаты», – утверждает Волошин в статье «Творчество М. Якунчиковой» (Т. 5 наст. изд. С. 484; «трапы» <от *фр.* trappe> – люки, ловушки). «Зеркальная тема» заметно окрашивает и его эпистолярный диалог с Сабашниковой в 1903–1905 гг., чью близость к его внутреннему миру поэт переживал как своего рода «отражение»; см., например, стихотворение «Зеркало» (п. 53).

Мотив зеркала у Волошина заметно нарастает по мере его общения с Сабашниковой, с юности устремленной в пространство

---

* *Было:* Застынут льды немым кольцом

«зазеркалья», охотно писавшей в зеркале свое лицо, любившей танцевать перед зеркалом и наделявшей его сверхъестественными свойствами (см., например, в п. 64 слова о волшебном зеркальце (из пушкинской сказки), отмеченные также в ее дневнике). См. также п. 8, 5, 32, 45, 51, 52, 58, 62, 161 и 203.

[3] Имеется в виду вторая картина (см. примеч. 16 к п. 23).

[4] Эти восемь строк, которые Волошин называет «Зеркалом», представляют собой монолог Иродиады из второй части поэмы («Сцена», 1869), переведенный по просьбе А.В. Гольштейн и опубликованный в ее статье о Малларме (см. примеч. 13 к п. 8); впоследствии Волошин включил свой перевод в книгу «Стихотворения. 1900–1910» (см.: *Сухорукова Н.В.* Отрывок «О, зеркало – холодная вода» в контексте лирического цикла М. Волошина «Amori amara sacrum» // Материалы Международной конференции «Гуманитарные аспекты евроинтеграции» (Духовные и творческие связи славянской и европейской культур) 27–31 мая 2007 г. Симферополь: Антиква, 2007. С. 96–100).

В.Я. Брюсов, также переводивший этот отрывок, предлагал озаглавить его «Иродиада зеркалу» (см.: *Малларме С.* Сочинения в стихах и прозе. Сборник. Сост. Р. Дубровкин. М.: Радуга, 1995. С. 496; там же на с. 448–449 публикуется (впервые) перевод Брюсова).

[5] Один из самых известных и загадочных сонетов Малларме, впервые опубликованный в 1885 г. Заглавие «Лебедь» во французском оригинале отсутствует, однако в русской переводческой традиции стихотворение бытует именно под этим названием (переводы Брюсова, Волошина, И. Тхоржевского).

[6] Сонет, как и монолог Иродиады, был переведен Волошиным по просьбе А.В. Гольштейн и опубликован в ее статье (*Баулер А.* Стефан Малларме // Вопросы жизни. 1905. № 2. С. 98–99).

[7] Неточная цитата пушкинского стихотворного наброска «Колокольчики звенят...» (1833), положенного на музыку М.Ю. Виельгорским и получившего распространение как «цыганский романс». У Пушкина: «Колокольчики звенят, / Барабанчики гремят, / А люди-то, люди – / Ой люшенки-люли! / А люди-то, люди / На цыганочку глядят».

[8] *Гамсун К.* История одной любви. (Виктория). С. 9.

[9] *Там же.* С. 33–34 (цитируется неточно).

[10] *Там же.* С. 75.

[11] Начало стихотворения «Второе письмо», навеянное поездкой с М.В. Сабашниковой в Сен-Клу 31 мая / 13 июня 1904 г. (см.: Т. 1 наст. изд. С. 67–69, 455–456). Завершено в июне 1905 г. (см. п. 52).

Последние строки – парафраз слов Сабашниковой (из разговора с Волошиным): «Она <смерть> подойдет и взглянет большими строгими глазами прямо в глаза и спросит: “Ты готова?”» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 149; запись от 31 мая / 13 июня 1905 г.).

[12] Имеется в виду рассказ о Дитрихе и Изелинде, написанный Иоганнесом: «Он написан в те хорошие годы, когда все переносится легко, в дни неглубокого горя, – он написан с самым искренним сочувствием к Дитриху, которого Бог поразил любовью...» (*Гамсун К.* История одной любви. (Виктория). С. 77).

[13] *Там же.* С. 164.

[14] *Там же.* С. 170 (предсмертное письмо Виктории к Иоганнесу). Цитата неточна.

[15] Неоконченное стихотворение Волошина. Впервые: *Волошин М.* Стихотворения и поэмы / Вступ. статья А.В. Лаврова. Сост. и подгот. текста В.П. Купченко и А.В. Лаврова. Примеч. В.В. Купченко. СПб.: Петербургский писатель, 1995. С. 433 (Б-ка поэта. Большая серия). См. также: Т. 2 наст. изд. С. 538, 720–721; примеч. 16 к п. 23; п. 82.

[16] Имеется в виду п. 31 (с вложенным чеком).

[17] Волошин откликается на заключительные слова п. 31.

33. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

15/28 сентября 1904 г. Москва[1]

Москва. 15 сентября 1904 г.

Ваше предпоследнее письмо[2] было совсем мертвое, так что я собралась Вас хоронить, но вот Вы ожили, и я так рада, что могу говорить с живым человеком. Опять вижу Вас, а за Вами Париж. Вы в шуме Парижа хотите слышать море, а я мечтаю страстно о лесе, о лесном шуме. Я видела его недавно, но не надолго, а все лето я жила только «в двух шагах от природы». Сейчас все наши поехали в Богдановщину, а я осталась, не знаю, почему. Я боюсь ехать туда только на несколько дней. В моей любви к ее лесам есть что<-то> до такой степени острое и страшное, что я боюсь этого. Какая-то непосильная тяжесть ложится на душу, сердце, горит. Запах гнилой осины – это вино, и эти преображенные лучистые деревья... Хочется лечь на согретую осенним солнцем землю... да, ну

вот, я закрываю глаза и, как сумасшедшая, мечтаю... Ах, это верно Вы сказали: старая лихорадка. Нужно иногда припадать к земле, пить из светлого источника. Мне представляется отшельник, кот<орый> молится на рассвете вместе с цветами; или самая дикая охота в чаще леса и тишина лесная, и шум лесной. В лесу сосновом недавно я видела или слышала, как вверху по веткам из глубины по сводам катилось что-то с зелеными крыльями. Кто-то царственный лежал на ветвях, венец был из самоцветных розовых и фиолетовых камней, а лицо было бледное, озаренное солнцем, звериное и ангельское. В шуме лесном протяжно звучал голос. Моя душа звучала, но я слушала и молчала, с закрытыми глазами, а те глаза были широко открыты, и все же это были мои глаза. Я не знаю, как это случилось.

Я устала от постоянного ужаса. Если бы у меня действительно был талант, этот ужас был бы смягчен. Знаете, я пересмотрела в «Мир<е> Ис<кусства>» вещи Врубеля.[3] Это такой гений, кот<орого> трудно обнять. В нем всё, все века. Египет, Ассирия, Греция – мистическая Греция, Средние века, Византия, какие-то темные верования русского народа; деревья, цветы, кристаллы – все это образует самый фантастичный и красивый орнамент. Есть у него одно блюдо. Садко играет на струнах, а из моря плывут одна за другой, как волны звуков, царевны в венцах. Его изразцы и панно полны дриадами и другими существами, и какое богатство форм и образов! Вы знаете, он здоров теперь и работает. Какое это счастье! Да, относительно живописи. Вы не поняли меня, я не думала, что Вы навязываете символы художнику, в том смысле, что якобы он хотел это выразить. Это, конечно, неважно. Но Вы говорите – она писала окно – символ того-то, цветы – символ того. Вот это-то и возмущает меня. Ведь в живописи не в том дело, какие предметы изображаются. И это отношение к живописи у всех литераторов. Пишу для вас звезды, тень, маску, зеркало, хоть я не знаю, какая бездарность, и Вы отнесетесь с благоговением, п<отому> ч<то> это вечные символы.

Теперь мне хочется с Вами говорить о нашей излюбленной теме «выявления действительности». Есть примета,

что то, что видишь во сне, нужно понимать обратно, т.е. что то, что случилось во сне, больше не случится; еще матери и няньки не позволяют говорить про ребенка: какой он у Вас здоровенький! Можно сглазить. Если всякая мыслимая и воплощенная в образе или слове вещь есть такая же действительность, как то, что мы называем фактом, то понятно, почему люди так стараются об украшении своего образа в воображении других и так боятся всякого дурного мнения. У каждого человека есть о другом мнение, которое становится художественным, цельным образом, и как только он получает именно эту цельность, он становится художественной правдой и получает реальность. Конечно, от того могут быть совершенно разные образы того же самого человека, которые все будут очень похожи на него и не похожи между собой. Мы с Вами как-то говорили, что чувствуем этот наш образ в каждом, с кот<орым> в данный момент находимся. По нашей теории выходило бы, что если человека считает кто-нибудь злодеем, то эта возможность уже воплощена и выявлена в его образе, а человеку уже не остается на долю зла, и он делается святым. Ведь так? А на деле-то совсем оказывается наоборот. И Вы и я, мы сейчас же подчиняемся тому нашему образу, кот<орый> имеет находящийся с нами человек. И делаем то, чтó от нас ожидают; и тут совершенно ясно, чтó не ожидают от нас, п<отому> ч<то> предчувствуют, что мы это сделаем, и мы делаем, потому что от нас ожидают. Тут есть внушение. Это очень сложно и темно, а так как Вам все это просто и ясно, то потрудитесь мне сие разъяснить. Мысль о связи реализма с войной очень интересна. Отвлеченно — понятна, но конкретно, принимая во внимание разных дипломатов, Иванов и Петров, совершенно непонятна. Не имеете ли чем дополнить? — психологией, примерчиком? Мне почему-то кажется, что Вы так радуетесь, когда пасьянс начинает сходиться, что на радостях не доводите его до конца. Один старичок говорил: in der Chemie muss man *penibel* sein.* Хорошо бы, если бы у Вас был друг вроде того человека, кот<орый> играет роль в диалоге «Иппий Ст<арший>»[4], кот<орый> придирается к Сократу, требуя от него настоящих ответов.[5] Вы помните? Вы —

* В химии нужно быть *аккуратным (нем.)*.

литератор, живописец и метафизик! В литературе Вы только живописец и метафизик, в живописи – только литератор и метафизик, в метафизике слишком живописец и литератор. Это Вам очень вредит.

Да, Вы мне еще на многие вопросы не ответили: о том, почему «годы скитаний» завершились и согласны ли Вы с моим мнением об издании книг. Я думаю, что Вам не стоило выписывать Платона в переводе Соловьева. Это же только диалоги, кот<орые> мало выражают Платона. Я ужасно хочу прочесть «Пиршество» и «Эрос», потом «Менона».[6] Не знаю, есть ли это в русском переводе. Отчего Вы не читаете по-гречески? Нет ли этих вещей в отдельных томах по-французски?

Что Вы скажете о «Виктории»? Я прочла опять несколько страниц из «Пана».[7] Эта лучшая книга в мире!

Какой вид имеет теперь Париж? Приеду ли я в Париж? Если желания – предчувствия, – да. Вопрос стоит, как в прошлом году. Только работать я много не могу, у меня постоянно болят глаза. Теперь я пишу дома при очень неудобных условиях. Пишу себя в зеркале. В сумерках становится страшно. Каменное лицо с золотыми диаконскими волосами и очень черные глаза, в одном вспыхивает светлая точка и мерцает. Губы широки и сжаты, нос какой-то странный, прямой и неправильный, тон перламутровой раковины в ее тенях. Были дни, когда портрет был хорош и достаточно страшен. Писала, как будто чеканила его из драгоценных камней. Теперь пошла старая мазня, и я прихожу в отчаяние.[8] Страшно устаю. По вечерам мы рисуем у Ульянова с Глаголевой и другими наброски. Я все время делаю не то, что хочу. Мне иногда кажется, что если бы существовали идеальные монастыри, я ушла бы в монастырь (вроде того, как Киселев от пожара[9]). Теперь как будто я переживаю какую-то болезнь. Обыкновенная тоска от противоречивых мнений людей друг о друге, от осуждений обострилась необыкновенно. Кроме того, художественный образ мой, созданный давно отошедшими людьми, мучает меня своим бытием, как призрак, и подчиняет, и властвует. Вот я желала бы знать заклинание, чтобы уничтожить его и освободиться от его власти. Потом мое собственное отношение к людям до того меняется и всякий раз так художест-

венно правдиво, что я не могу действовать. Вы это понимаете? Все люди для меня то делаются героями, то карикатурами. Я никогда не верю себе и все же не могу встать выше симпатий, антипатий, суждений и осуждений. Это одинаково мучительно для меня и для других. Иногда мне кажется, что я не имею права быть с людьми, п<отому> ч<то> я всех и каждого непременно предам. Стремясь к справедливости, делаюсь коварной. Видите, как со мной опасно иметь дело. Ну, до свиданья. Отвечайте мне на все по пунктам.

Ел<изавета> Сер<геевна> провела у нас третьего дня вечер.

[1] Ответ на п. 30.

[2] Имеется в виду п. 29.

[3] Номера «Мира Искусства», посвященные Врубелю (1904. № 2, 3).

[4] Известны два диалога Платона, связанных с именем Гиппия (в переводе В.С. Соловьева – Иппий) – знаменитого софиста из Элиды (область на западе Пелопоннеса, родина Гиппия): «Больший Гиппий» и «Меньший Гиппий».

[5] По-видимому, Сабашникова ошибается: «придирки» к Сократу содержатся в начале диалога «Меньший Иппий»: «*Евдик*: А ты что же это молчишь, Сократ, когда Иппий излагает такие вещи, и не хвалишь ничего со своей стороны, не обличаешь, если что-нибудь кажется неладно сказанным?» (Творения Платона. Т. 2. С. 147).

[6] Сабашникова упоминает известные диалоги Платона «Пир» (в переводе В.С. Соловьева – «Пиршество») и «Менон». Диалога под названием «Эрос» у Платона нет; речь об Эросе идет в диалогах «Пир» и «Федр», которые В.С. Соловьев предполагал объединить в пятом отделе «Творений...» как обозначающие «внутренний перелом в духовной жизни Платона» и представляющие собой «полный расцвет Платонова творчества» (Творения Платона. Т. 1. С. IX).

[7] «Пан. Из записок лейтенанта Глана» – роман К. Гамсуна (1894).

[8] Видимо, Сабашникова уничтожила эту работу, попытавшись воплотить свой замысел в другом автопортрете, написанном летом 1905 г. в Цюрихе (см. примеч. 9 к п. 134).

[9] Вероятно, имеется в виду А.А. Киселев.

34. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

10/23 (?) октября 1904 г. Москва.[1]

Хоть Вы и едете в Египет,[2] но на письма отвечать не мешало бы. Правда? Можно подумать, что Вы умерли.

[1] Открытка с видом девушки, грустно сидящей возле лесной часовенки. Датируется по почтовому штемпелю: Москва. <10?>.10.04. Парижский штемпель отсутствует или стерся.

[2] Осенью 1904 г., узнав, что один богатый старик, «либерал и шестидесятник», собирается на полгода в Египет и ищет себе компаньона, Волошин обдумывал возможность совместной поездки (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 177; Труды и дни. С. 125).

35. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

25 октября / 7 ноября 1904 г. Париж[1]

9 Rue Campagne Première.[2] Paris.

Во мне два беса: и молчания, и рисования. Я никому не писал за последний месяц. Но неужели Вы не получили моего последнего письма, полного стихами, которые написал, получив «Викторию».[3] Я так на него ждал ответа. Если оно пропало, то это очень грустно. Я его уже не вспомню. А теперь мне кажется, что это было, может, лучшее из моих писем.

В Египет я, конечно, не еду. Даже и не собирался. Я только Е.Д. Чичагову этим один вечер поражал. Я теперь рисую до упаду – после ведь почти годичного промежутка! Делаю все пастели.

Не считайте это за письмо. Я скоро снова начну писать письма. Теперь прямо нет физической возможности сидеть за столом – так тянет к рисованию. Даже об Осеннем Салоне (который великолепен) не могу писать.[4] До свиданья. Скажите Екат<ерине> Алексеев<не>, что мне так стыдно, что рука не подымается ей писать.

До свиданья.

Что Вы делаете? Отчего Вы ничего не пишете?

Макс Волошин.

[1] Ответ на п. 34. Датируется по: Труды и дни. С. 126.

[2] В ателье по этому адресу (бывшее ателье Н.В. Досекина), где он жил уже осенью 1902 г., Волошин переехал 22 сентября / 5 октября 1904 г. (см.: Труды и дни. С. 103, 125; *Купченко В.* Парижские адреса Максимилиана Волошина // Русская Мысль. 1997. № 4191. 2–8 окт. С. 11).

[3] Имеется в виду п. 31.

[4] Статья Волошина об Осеннем Салоне 1904 г. появилась в журнале «Весы» (1904. № 12. С. 39–45) под названием «Письмо из Парижа. Осенний Салон. Слевинский. Морис Дени».

36. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

5/18 декабря 1904 г. Бровкино

Рязано-Уральская ж<елезная> д<орога>,
ст. Богатищево,
Бровкино,[1]
5 декабря.

Как я давно Вам не писала! И Вы мне тоже. Вы не ответили мне на очень длинное письмо, первое письмо, посланное по последнему адресу.[2] А оно требовало ответа. Я рассчитывала найти эти ответы в Вашей статье в «Весах» – «Магия Творчества».[3] Но ответа в ней не нашла, и темные места остались темными. Впрочем, в этом письме было много и другого, и я все ждала на него ответ, а потому медлила отвечать на Ваше письмо в стихах.

Стихи Ваши меня тронули очень, как воспоминание,[4] но объективно я не могу о них судить, и мне кажется, они мне бы не понравились, если бы я прочла их где-нибудь случайно. «Зеркало» и «Лебедя»[5] я не понимаю.

Не писала я Вам долго еще потому, что жизнь была сплошная суета. Всё были люди, я им была рада, но новых мыслей не было. Кроме того, я абсолютно ничего не делала; не могла рисовать, и это очень мучило меня. Я бы стала стонать в письмах; ну, а это занятие, да особливо перед Вашими светлыми очами, – считаю за преступление. Ну вот я и молчала. Вы оттого, что рисовали, я оттого, что не рисовала. По

слабости глаз моих не читала. Не знаю что бы со мною было, если бы не серия приезжих, кот<орые> один за другим занимали мой ум и время (может быть, и сердце). Во-первых, приехал Чуйко,[6] освобожденный от воинской повинности. (Он на днях едет в Париж, и мне ужасно хотелось бы, чтобы Вы ему показали Париж, чтобы вы друг другу понравились и чтобы я знала, что вы видите, чтобы смотрели моими глазами за мое здоровье. Увы!) Во-вторых, был Вебер,[7] в-третьих, из Томска проездом в Германию едет немецкий скульптор и поэт Гейер, который поразительно некоторыми чертами напоминает Вас. Ему 26 лет, и за это время он успел быть штукатурщиком, скульптором, потом бродягой, нищим прошел Италию и Африку, сидел в тюрьме с арабами по подозрению в шпионстве; прославился, сделав бюст в Германии, но ушел в одной тоге без шляпы в леса и жил среди природы. На дороге его встретил профессор Рейснер, кот<орый> ехал в Томск, и позвал его с собой. Там он прожил 2 года, был на Алтае, а теперь едет домой. Он говорит, что страдание — наслаждение, улыбается и смотрится в зеркало, как Вы; говорит, что ни к кому не привязывается и относится к людям, как к природе; говорит, что нужно быть художником в жизни; ничем не хочет «стать». Еще он похож на князя Мышкина[8] и так же сразу и просто ко всем подходит.

Иногда он что-нибудь говорит, а я привожу строчку из Ваших стихов, и он изумляется, говорит, что, может быть, нарочно поедет в Париж, чтобы Вас видеть; я ему дала Ваш адрес. Только я думаю, он сумасшедший, в нем что-то есть такое.[9]

Этим троим по очереди я показывала Иванова в музее[10] и др<угие> вещи. С Вебером мы были у Остроухова и видели chef d'œuvr'ы.[11]

Вы никогда не видали рисунки детей Поленова?[12] Мы с Вебером были у них.[13] О! я Вам когда-нибудь об этом расскажу или напишу. Сейчас мне трудно, болят глаза. Я еще не объяснила Вам, где живу. Это деревня в 7 ч. езды от Москвы, около Зарайска; уехала я из Москвы оттого, что больше не могла вынести наплыва впечатлений от людей и последних собы-

тий. С Парижа я не была одна и не знала, что со мной. Уезжая, я не знала еще, о чем буду думать, так странно. Живу одна у управляющего имением и его жены,[14] Пульхерии Ивановны и Афанасия Ив<ановича>.[15] Умилительно. Вокруг бело и буро. Избы, тулупы, телеги и лошади – цвета аржаного хлеба. Очень хорошо, просторно. Если Вы мне напишете сейчас же, Вы застанете меня еще здесь; но дней через 15 я буду в Москве. Тогда подождите, чтобы я письмо получила сама.

Бальмонт едет в Мексику, но это тайна![16]

[1] Деревня Бровкино на р. Незнанка (13 км к западу от Зарайска) входит в настоящее время в состав Струпненского сельского поселения Зарайского района Московской области. Ранее здесь находилась родовая усадьба Хотяинцевых (М.В. Сабашникова дружила в то время с художницей А.А. Хотяинцевой, знакомой А.П. и М.П. Чеховых). Маргарита Васильевна приезжала в Бровкино также в 1903 г., о чем свидетельствуют ее дневниковые записи (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 18–26).

[2] Имеется в виду п. 33, отправленное в Париж по адресу: 9 rue Campagne Première.

[3] Статья Волошина «Магия творчества. О реализме русской литературы», напечатанная в ноябрьской книжке «Весов» за 1904 г. (С. 1–5), первоначально называлась «Макбет зарезал сон!». Основные мысли и положенния этой статьи см. в п. 30. Название было изменено по настоянию Брюсова (см.: Т. 5 наст. изд. С. 813–814).

[4] Имеются в виду стихи «И были дни как муть опала...» (начало стихотворения «Второе письмо»). См. примеч. 11 к п. 32.

[5] См. примеч. 13 к п. 8 и примеч. 2, 4 и 5 к п. 32.

[6] М.С. Чуйко был в то время одним из близких друзей и поклонников Сабашниковой. Их знакомство состоялось в конце 1901 г., о чем свидетельствует запись в дневнике Сабашниковой от 20 декабря 1901 / 2 января 1902 г.: «Сегодня была на выставке в Училище живописи. С Чуйко возвращалась домой. Талантливый, умный юноша и лицо необычайно оригинальное. Если хотите, он урод маленький, и все в нем сплющено, широко. Мордочка похожа на дикую козу; глаза стоят очень широко один от другого; ноздри раздуваются, губы египетские, широкие и талантливые, шея очень длинная, волосы торчат вперед. Он смел как художник, неопытен и интересен» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 19, л. 70). В конце 1904 г., незадолго до своего отъезда в Париж (где он оставался приблизительно до 1913 г.), Чуйко

встречался с Сабашниковой в Москве. «Я благословляю Чуйко в Париже, – писала Сабашникова после этой встречи. – Мы три года с ним переписывались и теперь увидались как родные. О, он талантлив, маленький Чуйко. Это моя радость и гордость. Он капризен как дитя» (*Там же*, ед. хр. 22, л. 39). Чуйко был влюблен в Сабашникову, тогда как ее чувство к нему отличалось двойственностью. «Чуйко здесь, – записывает Сабашникова 21 февраля / 6 марта 1905 г. – Я вижу его каждый день, пишу его портрет. Мне больше чем когда-либо нравится сатирообразное лицо его и его юмор. Но именно здесь в Париже я вижу бездну, кот<орая> нас разделяет. Он не интересуется Парижем, он живет только привычкой. Ходит в мастерскую в Кружок, приходит к нам пить чай. Он очень талантлив, но есть в нем какая-то лень думать, какая-то боязнь нового, любовь к комфорту и привычке и враждебность ко всему дорогому мне. Он постоянно словами обижает меня, пренебрежительным тоном о тех людях, художниках и идеях, кот<орые> я люблю. И он говорит, что любит меня. Этот наивный эгоизм талантливых людей не знает границ. Сколько раз после его ухода я думала: "Нет, я не буду с ним больше "водиться" и вновь ждала его» (*Там же*, л. 48 об. – 49; портрет Чуйко, выполненный Сабашниковой весной 1905 г., экспонировался на выставке «Мира Искусства» в Петербурге в феврале-марте 1906 г.; снимок помещен в «Золотом Руне» (1906. № 5. С. 16); ныне – в Третьяковской галерее; Кружок – Русский артистический кружок «Монпарнас»).

Чуйко, со своей стороны, написал в 1905 г. портрет М.В. Сабашниковой и работал над портретом А.Р. Минцловой (см. примеч. 1 к п. 74 и примеч. 1 к п. 80). Местонахождение этих работ не выявлено.

В 1930-е гг. Чуйко подвергался репрессиям. Арестован в 1938 г., в мае 1939 г. приговорен ОСО при НКВД СССР к пяти годам ссылки (Казахстан). Реабилитирован посмертно в 1998 г. Ряд дополнительных сведений о М.С. Чуйко, восходящих к личному архиву М.Н. Жемчужниковой, см. в кн.: Зеленая Змея. С. 337–338.

[7] О знакомстве Сабашниковой с Л.Н. Вебером в Париже весной 1904 г. см. примеч. 4 к п. 27. Их встречи продолжались в Москве в ноябре того же года. «...Приехал Вебер, – писала Сабашникова в своем дневнике (ретроспективная запись, сделанная в декабре 1904 г. в Бровкино). – Мы с ним беспрепятственно всюду ходили вдвоем. Он говорил мне, что любит Россию, говорил о жене, по-русски, с французскими восклицаниями. Он любит меня. Да, наверное. Как он заботлив, как печален. Он любит жизнь, искусство и вещи. Как он любит вещи. Он очень много знает и так спокоен. Мне нравится в нем это спокойствие, но в нем нет русского, удалого, задорного... Но когда он летит с Монблана на лыжах... Не знаю. Он уехал в Женеву

и скоро вернется, чтобы делать выставку Якунчиковой. Но я еще раньше уеду в Париж. Да или нет?» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 40 об. – 41).

[8] Главный герой романа Достоевского «Идиот» (1868).

[9] Х. Гейер, по словам его невестки (известной переводчицы Достоевского) Светланы Гейер (1923–2010), был «художник, скульптор и искатель приключений». С. Гейер, в частности, вспоминала, что ее свекор увлекся теософией благодаря знакомству с Алексеем Сабашниковым и Татьяной Бергенгрин. «Он отправился в Россию, не имея иного имущества и багажа, кроме вороха рекламных проспектов. Он искал духовных ценностей. Должно быть, он выглядел замечательно. И там – вероятно, по причине его привлекательной внешности – ему улыбнулась удача. Его весьма благосклонно приняли в одной большой семье <имеется в виду семья Сабашниковых>» (*Geier S.* Ein Leben zwischen den Sprachen. Russisch-deutsche Erinnerungsbilder. Aufgezeichnet von Taja Gut. Dornach: Pfoerte, 2008. S. 101). Впоследствии – антропософ (встречался со Штейнером). В волошинском архиве хранится недатированное письмо Х. Гейера к М.В. Сабашниковой со стихотворением на немецком языке «An eine vorübergehende bleiche Dame gerichtet» («К бледной даме, проходящей мимо») (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 64), написанным, вероятно, в декабре 1904 г. «Писал сюда <т.е в Бровкино> мне и Гейер, – отметила Сабашникова в своем дневнике (запись от 21 декабря 1904 г. / 3 января 1905 г.). – Мы виделись раза 4; говорили наполовину по-немецки, наполовину по-русски. И ему, как Чуйко, а потом Веберу, я показывала эскизы Иванова в Румянцевском музее. Мы говорили как безумные. У него светлые блаженные глаза и белокурые длинные волосы, он похож на Парсифаля и на Христа. Или он сумасшедший, или гениальный. <...> И вот он мне написал. Прислал стихи. Но я не чувствую немецких стихов. Это как будто бы мне целуют руку сквозь перчатку» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 39 об.–40).

[10] Имеется в виду Московский Публичный Румянцевский музей, где в то время хранилась значительная часть живописного наследия А.А. Иванова, в том числе его самая известная картина «Явление Христа народу» и эскизы к ней.

[11] Речь идет о богатом собрании живописи И.С. Остроухова, в котором находились, в частности, превосходные образцы древнерусских икон.

[12] Детская тема занимает видное место в творческом наследии В.Д. Поленова, окружавшего себя детьми, любовно к ним относившегося, рисовавшего и писавшего их портреты (в том числе портреты крестьянских детей). Его сестра, художница Е.Д. Поленова

(1850–1898) получила известность своими иллюстрациями для детских изданий.

[13] В.Д. Поленов и его жена Н.В. Поленова.

[14] О старосте деревни Бровкино и его жене Сабашникова подробно пишет в своем дневнике (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 34–38).

[15] Персонажи повести Гоголя «Старосветские помещики» (1835).

[16] Путешествие Бальмонта (совместно с Е.К. Цветковской) по странам Центральной Америки началось в январе и завершилось в июле 1905 г.

37. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

16/29 декабря 1904 г. Петербург[1]

16 декабря.
СПб., 13. Преображенская, кв. 15.

Ваше письмо нагнало меня уже в Петербурге.[2] Через несколько дней я буду в Москве (21 или 22 утром).[3]

Я не писал потому, что был в суете, а говорить об этом можно только в уединении.

Я буду только неделю в Москве и потом обратно в Париж.[4] Мне так хочется видеть Вас и говорить.

Мой дух словами изнемог
Уйти назад к своей святыне
И целовать ступнями ног
Лицо пылающей пустыни![5]

Читали ли Вы «Сказки» Сологуба?[6] Я раскрыл только раз книгу и прочел сказку о Царевне Маргарите и принце Максимилиане[7], которая меня глубоко поразила. Точно он знал наши разговоры.

Пишу Вам в Москву, т<ак> к<ак> из письма Ек<атерины> Ал<ексеевны> узнал, что Вы возвращаетесь 19-го.[8]

Макс Волошин

[1] Ответ на п. 36.

[2] Волошин покинул Париж около 7/20 декабря 1904 г. (точная дата не установлена). Письмо Сабашниковой было переслано ему из Парижа в Петербург, видимо, по адресу А.И. Косоротова, чей адрес указан и в данном письме (см.: Труды и дни. С. 127).

[3] Волошин прибыл в Москву 21 декабря / 3 января 1904 г.

[4] В Москве Волошин провел две недели, вечером 8/21 января 1905 г. он вернулся в Санкт-Петербург, где задержался до середины января (по русскому стилю); вернулся в Париж около 20 января / 2 февраля 1905 г. (см.: Труды и дни. С. 129–130).

[5] Из стихотворения Волошина «Дрожало море вечной дрожью...» (впервые: *Волошин М*. Стихотворения / Вступ. статья С.С. Наровчатова. Сост. и коммент. Л.А. Евстигнеевой. Л.: Сов. писатель, 1977. С. 84 (Б-ка поэта. Малая серия); См.: Т. 2 наст. изд. С. 539.

[6] «Книга сказок» Ф. Сологуба была выпущена московским издательством «Гриф» в декабре 1904 г. (на титульном листе – 1905).

[7] Имеется в виду сказка «Благоуханное имя» (о царевне Маргарите, вышедшей замуж за принца Максимилиана), в которой и Волошину, и другим людям, знавшим о его чувстве к Сабашниковой, нетрудно было увидеть некую «символику» и «провиденциальный» смысл. «Одна из моих любимых сказочек Сологуба – “Благоуханное имя”, – писала Волошину А.М. Петрова 23 февраля / 8 марта 1906 г. – Всегда, когда я читала ее, мне представлялся принц Максимилиан – Вы, и <я> все искала, где же Маргарита. Она должна быть такой. Найдете ли Вы ее?» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 950, л. 3). «Сказка Сологуба, – отвечал ей Волошин 1/14 марта 1906 г. – О! Она играла большую роль в моей жизни и во всем этом. Я ее услыхал впервые в прошлом январе в Петербурге из уст одного господина, не любившего Сологуба и ставшего мне читать эту сказку как образец бессмысленности. Она на меня произвела страшное впечатление соединением этих имен, а читал он ее, издеваясь» (Т. 9 наст. изд. С. 231).

[8] Сабашникова, судя по ее дневнику, вернулась из Бровкино в Москву 22 декабря 1904 г. / 4 января 1905 г. (см.: ИРЛИ. Ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 41).

1905

38. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

Февраль–март 1905 г. Париж.[1]

Ек<атерина> Ал<ексеевна> просила меня передать Вам портрет К<онстантина> Д<митриевича>[2]. Я долго не исполняла ее поручения, п<отому> ч<то> все думала, что Вы придете.[3] Но надеяться на это, кажется, нечего, и я посыпала главу свою пеплом.

М. Сабашникова

[1] Датируется по соотнесенности с п. 39 и 40. Написано до 7/20 марта.

[2] Речь идет, видимо, о фотографии Бальмонта, которую Сабашникова, не дождавшись ответа от Волошина, отправила ему почтой (см. п. 40).

[3] Сабашникова приехала в Париж приблизительно 20 января / 2 февраля 1905 г.

39. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

14/27 марта 1905 г. Париж[1]

Заходите, если можете, сегодня утром или после завтрака. Мне так ужасно тоскливо и страшно, и я думаю, что когда я Вас увижу, это пройдет. Я ждала Вас всю неделю, отчего Вас не видать? Пойдемте куда-нибудь вместе, на выставку, я нигде не была. Я не буду придираться к Вашим словам; пускай зеленый

натурщик улетает на крыльях колорита в быстрой французской Майе,[2] я буду со всем соглашаться и от всего в восторге.

До свиданья.

Преданная Вам

М. Сабашникова

[1] Датируется по: Труды и дни. С. 132.

[2] Майя (*санскр.*) – образ, заимствованный из древнеиндийской (ведийской) философии для обозначения иллюзорности и призрачности бытия и получивший (в этом значении) широкое распространение в теософии и философии XIX в. «Мир – это греза Божества – Майя, – писал Волошин в статье “Пути Эроса”. – Понятия Майя и материя тождественны. То, что греза для бога, для человека – материя» (Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 212). В статье «Творчество М. Якунчиковой» Волошин упоминает о «медленной Майе русской жизни» (Т. 5 наст. изд. С. 487). Ср. в стихотворении «Напутствие Бальмонту» (1912): «Лемурия... Атлантида... Майя...», а также в стихотворении «Над головою подымая...» (1913): «Тебя такой я принимаю – Земли полуденный мираж, Иллюзию, обманность... – Майю» (Т. 1 наст. изд. С. 198, 188; реальный адресат второго стихотворения – М.П. Кювилье). См. также примеч. 6 к п. 205.

40. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

Март 1905 г. Париж[1]

Маргарита Васильевна!

Я Вам очень благодарен за карточку Бальмонта. Я все собирался написать Вам большое письмо – последнее, и не мог. Я его не буду писать. Вот кратко и сухо причины моего странного отношения к Вам: с нашей первой встречи, эти 2 года я любил Вас. Вы об этом, вероятно, не могли не догадываться. Только два месяца назад в Москве я почувствовал возможность освободиться, стать таким, каким я был всегда. Не знаю, как и каким Вы меня видели, но это был не я. Теперь я нахожу снова себя. Но в вашем присутствии, если я только говорю с Вами и чувствую Вас, для меня снова наступает ста-

рая смута. Если Вам надо будет меня и именно меня, а никого другого, то позовите, и я приду, но теперь – нет. Я давно это хотел Вам сказать, но я ненавижу то позорное состояние, когда голос дрожит и слова путаются. Я совершил громадное преступление против заповеди: «Будь искренен только одно мгновение. Всякая искренность, которая длится, есть ложь».[2]

Я Вам очень за многое благодарен. Вы оплодотворили мой мозг, и были мгновения, которые меня всколыхнули до дна в первый раз в жизни. Через несколько лет, я уверен, наши души смогут встретиться спокойно. А теперь мы будем встречаться, как всегда, и будем говорить, не замечая и не чувствуя друг друга. Не говорите мне ничего об этом письме и не отвечайте на него. Когда мы встретимся, скажите мне только, что Вы его получили.

Я его пишу только для того, чтобы объяснить мои странности.

Простите меня.

Макс Волошин.

Я письмо это ношу несколько дней и все не решался отправить. Теперь пользуюсь случаем и передаю его Алекс<ею> Васильевичу.[3] Я приду к Вам сегодня в 2 часа.[4] И не будем только говорить об этом. Прочтите это, примите к сведению и забудьте.[5]

[1] Начатое до 14/27 марта 1905 г., это письмо было вручено А.В. Сабашникову сразуже после получения записки от М.В. Сабашниковой (п. 39), которая прочитала его, видимо, в тот же день.

[2] «Заповеди», которые приводит Волошин, заимствованы из повести М. Швоба «Книга Монэль» («Livre de Monelle», 1894; другой перевод: «Книга Монеллы»), вошедшей в его книгу «Лампа Психеи («La lampe de Psyché», 1903), которой и пользовался Волошин. «Книга Монель» была переведена на русский язык К. Бальмонтом и Е. Цветковской (СПб.: Товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1909). Цитируя в своей статье «Золотой век» (1908) несколько «заповедей» из первой главы этой книги («Слова Монель»), Волошин называет их «вдохновенными» (см.: Т. 5 наст. изд. С. 92). См., кроме того, статьи Волошина (из серии «Блики») «Выставка детских рисунков. В.Э. Борисов-Мусатов. Врубель» (1908; Т. 5 наст. изд. С. 93, 686) и

«Аполлон и мышь» (1911; Т. 3 наст. изд. С. 137–138), а также письмо Волошина к Сабашниковой от 12 февраля 1908 г. (см.: Т. 11, кн. 2 наст. изд.).

[3] Получив записку Сабашниковой (п. 39), Волошин передал это письмо А.В. Сабашникову (см.: Труды и дни. С. 132).

[4] В два часа Волошин действительно зашел к Сабашниковой, и оба отправились в Салон Независимых (см.: Труды и дни. С. 132).

[5] Письмо Волошина вызвало у Сабашниковой противоречивые чувства, отразившиеся в ее дневнике. «Алеша пришел один, с письмом, – записывает Сабашникова 15/28 марта. – Вот письмо. Так пишет свободный и сильный человек, кот<орому> противно рабство. Я должна уйти с его дороги, он слишком меня любит. "Если Вам надо будет меня и никого другого, то позовите, я приду, но теперь – нет". Мы будем встречаться просто, говорить, не видя друг друга. Это письмо он носил и не решался послать, а только приписал: "Я приду в 2 ч., но не будем только говорить об этом, простите, примите к сведению и забудьте". А я целую это письмо. Он пришел, у меня на коленях сидел младенец, он смотрел на него, мы говорили о нем, я поспешно надевала шляпу, чтобы идти вместе в Indépendants <Салон Независимых>. И эта поездка была грустна. Я все думала, что это в последний раз» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 53 об. – 54). Через несколько дней (20 марта / 2 апреля 1905 г.) Сабашникова возвращается к этому письму и видит его в совершенно ином ракурсе: «Перечла письмо. В нем противоречие. "Я совершил огромное преступление против заповеди: Будь искренен только одно мгновение, всякая исповедь, кот<орая> длится, есть ложь. Я Вам за очень многое благодарен" и т.д. Так может писать только человек, у кот<орого> чувства не осталось; чтобы мягче сказать, что ты ему больше не нужна. О да, в этом нет сомнения, все остальные слова только загораживают сущность. Ну что же, прощай. Я буду благословлять нашу встречу всю жизнь. Ты уходишь от меня таким же радостным и свободным, как ты подошел ко мне в первый раз. Теряя Тебя, я снова нахожу Тебя и Твой новый завет. Я не плачу, я не буду плакать, видишь, я буду улыбаться, как Ты» (*Там же*, л. 55–55 об.).

41. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

21 марта / 3 апреля 1905 г. Париж.[1]

Возвращаю Вам книги; Remy de Gourmont[2] великолепен. Хочу Вам на прощанье хотя бы, чтобы не отставать от других, прочесть мораль. Видите, когда человек благодарит и извиняется – это значит, он уходит совсем. Зачем же такие фразы:

«Если Вам нужно будет меня и т.д.»[3] Если не теперь — значит никогда. Это фраза, чтобы смягчить сущность. Но когда душа так напряженно слушает, нельзя говорить фраз и нельзя смягчать ту боль, которая приходит другому через Вас, как бы сильна она ни была. Не знаю, зачем я это пишу; может быть, затем же, зачем неаполитанские приказчики просили у Вас объяснить им спектральный анализ.* Тому, кто умер, трудно помнить, что его дело молчать и быть смирным. Вот для чего могильные плиты тяжелы. Я вспоминаю, как Вы простились, уезжая в Крым, и мне весело от этого воспоминания.[4] Ну а теперь прощайте.[5]

[1] Оригинал письма неизвестен. Печатается и датируется по записи в дневнике Сабашниковой (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 56–56 об.). Письму предшествует помета: «21 марта я написала такое письмо: Посылаю Вам обр<атно>». Первая строчка (после даты «21 марта») зачеркнута.

[2] Видимо, «Promenades littéraires» («Литературные прогулки»), вышедшие в Париже в 1904 г. в издательстве «Mercure de France» (одна из настольных книг Волошина того времени). Рецензия Волошина на эту книгу была напечатана в «Весах» (1904. № 11. С. 55–58). О личном знакомстве с Реми де Гурмоном, состоявшемся летом 1905 г., Волошин рассказал в своей рецензии на его роман «Une nuit au Luxembourg» («Ночь в Люксембургском саду», 1907), опубликованной в газете «Русь» (1907. № 168. 30 июня. С. 2).

[3] Неточная цитата из п. 40.

[4] Волошин уехал из Москвы в Крым 21 марта / 3 апреля 1903 г. (Труды и дни. С. 109). Сабашникова остро переживала предстоящее расставание: ее душевные волнения накануне и в день отъезда Волошина отразились в ее дневниковой записи (от 21 марта / 3 апреля 1903 г.). «Вчера Макс не уехал и сидел опять 6 часов, — писала Сабашникова. — Он все время говорил. Вечером, когда наши уехали, мы разбирали мои детские произведения. В 10 ч. я попросила его уйти. Мне нужно было брать ванну. Я чувствовала, что сестры и девушка Поля косятся на наши длинные беседы. Но я иногда закусываю удила. Это бывает редко. Ведь он уезжает на 5 лет. Все равно, что навсегда. Вечером, когда сестры вернулись, было объяснение. Я с ними соглашаюсь. Это неприлично. Мама этого бы не позволила. — “Зачем позвала проститься завтра?” Ночь не спала.

* *Далее зачеркнуто:* чтобы еще немножечко поговорить с Вами.

Хотела писать ему, что больна, чтобы не приходил. Не сделала этого; это глупо. Весь день смотрела на улицу. До отхода его поезда осталось 1½ часа. Он пришел на 20 минут. Я молчала. Нюша тоже, Ляйзы не было. Потом мы очень сухо простились, без пожеланий. У него были очень радостные глаза. Я рада. Как рада!

А теперь все равно.

Вечер.

Смотрю на бульвар, на котором не могу ничего увидеть. Он сказал, что он будет мне писать. "Если Вы о чем-нибудь спросите, я отвечу". – "Нет, я спрашивать не буду, п<отому> ч<то> я никогда не спрашиваю!" – "Тогда это трудно". Ах, Боже мой, как пусто, как скучно. Я не знаю, что мне делать; читаю его стихи» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 7–7 об.; «девушка Поля» – горничная; «сестры» (Нюша и Ляйза) – А.Н. и Е.Н. Ивановы).

[5] Далее в дневнике Сабашниковой следует: «Это письмо написала одна девушка, склонная к литературе. Ей было очень грустно, но литературность ее доставляет ей утешение. И у нее дрожали колени, когда она отдавала книги и письмо консьержке, спеша на лекцию» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 56 об.).

42. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

26 марта / 8 апреля 1905 г. Париж[1]

Я не могу говорить...

Я писал то письмо[2] не для того, чтобы сказать, что Вы перестали для меня существовать, но я ухожу потому, что люблю Вас, потому, что я не могу.

Вы стали страшно далеки. То есть не более далеки, чем были раньше, но я больше не могу выносить это<й> относительной близости.

[1] В этот день Волошин и Сабашникова, случайно встретившись в гостях, вместе посетили выставку Ван Гога. Вечером, получив «прощальное» письмо от Сабашниковой (№ 41), Волошин написал эту записку. Сабашникова порвала ее, не читая (Труды и дни. С. 133). Сохранился, однако, написанный карандашом текст записки (возможно, черновой вариант) – среди писем Сабашниковой, вклеен-

ных в первую тетрадь волошинского дневника «История моей души» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 441, л. 99).

В дневнике Сабашниковой (она пишет о себе в третьем лице) события того дня отразились следующим образом:

«На другое утро ей было радостно. Ее утешала ее литературность. Она шла вдоль сверкающей реки, и ей хотелось петь. В гостях она встретила поэта, они говорили о Remy de Gourmont. “Вы получили обратно Ваши книги?” – “Нет. Я переехал”. Тогда она почувствовала себя разбитой и усталой. Они все вместе пошли на лекцию перед картинами Ван Гога в Serre de Reine. Перед ней висел портрет самого сумасшедшего художника с повязанной головой и забинтованным ухом, кот<орое> она сам себе отрезал. Ей было холодно и неуютно. Поэт сказал после лекции, я еду на велосипеде за книгами на старую квартиру и за письмом. – “Это неважно, не спешите”. И девушка печально поплелась домой.

Вечером кто-то постучался. “Вот я принес Вам книгу, кот<орую> Вы просили”; и девушка не знала, останется он или уйдет. Он сел в кресло: “Я получил письмо, Вы не поняли меня”, он хотел еще что-то сказать, но челюсть его прыгала и дрожала, и голос не слушался. “Я не могу говорить”. Тогда она сделалась вдруг совсем спокойной. Ей стало радостно, и она сказала весело: “О чем же говорить? Не нужно говорить”. – “Нет, я должен, я напишу”, и он стал тут же писать. Но она отняла у него бумагу и разорвала. “На Вас проклятие литературы, – сказала она, – не говорите и не пишите романов, я не хочу слов. Разве так не хорошо?” Они радостно смеялись. После нескольких бессонных ночей ей захотелось спать. В этот вечер пел в русском кружке Шаляпин, но она не пошла его слушать. Он скоро ушел. А она легла спать, но от радости смеялась. Она была молода» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 56 об. – 57 об.; упоминаются Les serres du cours la Reine (букв.: Оранжереи для прогулок королевы. – *фр.*) – здания на берегу Сены, используемые главным образом для выставок). Выступление Шаляпина (экспромтом) в кружке «Монпарнас» состоялось 26 марта / 8 апреля 1905 г. (см.: Летопись жизни и творчества Ф.И. Шаляпина: В 2 кн. Кн. 1. Сост. Ю. Котляров, В. Гармаш. 2-е изд., доп. Л.: Музыка, 1989. С. 283).

[2] Имеется в виду п. 40.

43. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

27–28 марта / 9–10 апреля 1905 г. Париж[1]

Ночью.

Вот я только что приехал от Вас домой, никуда не заезжая.[2] Мне хотелось Вам сказать всего несколько простых и ясных фраз, но я все время чувствовал вокруг себя начерченный магический круг, который я не в состоянии был перешагнуть. Язык прилипал к гортани.

«Если Вам надо будет» и т.д. – это не фраза.[3] «Теперь – нет» – это неверно, потому что одно было неверно в том письме: я писал, что я любил Вас, но я теперь люблю и больше, и острее. Только исчезла та романтическая нежность, которую я чувствовал раньше, и то бесконечное грустное счастье прошлой весны сменилось невыразимой душевной смутой, которая наступает в Вашем присутствии. Мне кажется, что я понимаю фразу Гамсуна о человеке, «которого Бог поразил любовью».[4] И в то же время я перестал Вас чувствовать.

Я не могу совсем, совсем забыть о Вашем существовании, когда Вас нет, я больше никогда не смотрю на Вас, когда говорю с Вами. Это началось недавно, с Москвы. Я приезжал туда ведь, конечно, для Вас, и там вдруг что-то оборвалось. Раньше я благословлял Вас, теперь мне хочется забыть.

Принцесса Маргарита, надо ли Вам найти благоуханное имя?[5] Мой отъезд в Крым...[6] Вы знаете, что ведь тогда, все те десять месяцев пустыни,[7] я только об Вас думал. Мне теперь кажется, что поэтому я и не уехал в Индию.[8]

Нет, Вы для меня не труп. В вашем письме есть несколько интонаций, которые меня глубоко потрясли. Если бы Вы это сказали, а не написали! Если бы я это мог Вам сказать это все сегодня вместо того, чтобы писать это теперь! У слов есть фантастическая власть управлять поступками. Но на мне лежит проклятие литературы, которое я сам принял. Или жизнь сама заклинает свои круги, чтобы они не были нарушены до времени.

Я чувствую физическую немоту, приближаясь к этой области. Но письмо я пишу, как заклятие.

Утро.

Маргарита Васильевна,

Смута ночи прошла. Я знаю точно и ясно те слова, которые я должен Вам сказать, и те пентаграммы, которые я должен переступить.

Я стою в чистом поле на перекрестке двух дорог. Все радостно, потому что с обеих сторон Жизнь...

Хотите идти дальше вместе – быть спутниками на всю жизнь, быть одним духом, одной волей, одним глазом и одним телом? Быть мужем и женой пред людьми и перед Тайной?

Или... Я уеду на велосипеде по соседней широкой шоссейной и удобной дороге.

Вдоль по земле таинственной и строгой
Лучатся тысячи тропинок и дорог.[9]

«В руки твои предаю дух мой».[10]

М.

[1] Датируется на основании дневника Сабашниковой и по связи с предыдущим и последующим письмами. Ср. также: Труды и дни. С. 133.

[2] Весь день 27 марта / 9 апреля Волошин провел вместе с Сабашниковой (водил ее и А.Н. Иванову по старому Парижу). Ср. запись в дневнике Сабашниковой: «На другой день он пришел и сказал: “Я написал длинный роман” и хотел ей дать письмо; “Нет, – сказала она, – я романов не читаю” и не взяла. Он водил двух сестер по старому Парижу и был как сумасшедший. Вечером стал беспокоен и грустен и морщил непривычный к морщинам детский лоб. Крутил и рвал веревочку. Уходя, значительно и драматично простился и сказал: “Вы получите роман, он отправлен”» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 57 об.–58).

[3] Фраза из п. 40.

[4] См. примеч. 12 к п. 32.

[5] См. примеч. 7 к п. 37.

[6] См. примеч. 4 к п. 41.

[7] Вероятно, Волошин имеет в виду период с конца марта по ноябрь 1903 г., проведенный в Крыму, – «пять месяцев полного молчания и одиночества», как писал он А.В. Гольштейн в конце сентября 1903 г. (см.: Т. 9 наст. изд. С. 31).

[8] В начале 1903 г. Волошин намеревался покинуть Европу и отправиться в долгое путешествие по материкам и странам. Рекомендуя Волошина в своем письме к Брюсову, А.С. Ященко писал 28 декабря 1902 г. / 10 января 1903 г.: «В феврале месяце приедет к Вам некто Макс Волошин, очень оригинальный и интересный человек, мой приятель. Он прожил здесь несколько лет, изучал искусство, странствовал по свету, а теперь направляется на четыре года в Японию, Индию и Южную Америку изучать искусство и восточные религии» (РГБ, ф. 386, карт. 110, ед. хр. 37, л. 4). О своих планах Волошин говорил и с Сабашниковой весной 1904 г. Ср. запись в волошинском дневнике от 16/29 мая 1904 г.: «Прогулка в Фонтенбло. <...> Клятва ехать в Индию» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 143). Летом 1904 г. Волошин приглашал в это путешествие и Бальмонта. «Когда предпримем нашу Одиссею?» – спрашивал его Бальмонт 4/17 августа 1904 г. А в письме к Волошину от 20 октября / 2 ноября 1904 г. Бальмонт упрекает своего друга в том, что тот, «заговорив об Индии», «беззаботно» разрушил его планы, касающиеся поездки в Оксфорд и др. (*Давыдов З.Д., Купченко В.П.* Письма К.Д. Бальмонта к М.А. Волошину // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1989. М.: Наука, 1990. С. 44–45).

[9] Из стихотворения Волошина «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...» (см. примеч. 13 к п. 5).

[10] Предсмертное восклицание Христа: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой» (Лк. XXIII, 46).

44. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

28 марта / 10 апреля 1905 г. Париж[1]

Вы ждете, а я не могу писать. Это я, а не Вы прокляты. Есть чувства и слова, кот<орые> мне чужды и страшны.

Я проклятая тень. Тень Аида, которой нужно напиться жертвенной крови, чтобы понимать человеческие слова, иначе я нема и бесчувственна.[2] Мимо нужно проходить, мимо меня. Терять Вас для меня ужасно, но у кого мало, у того все отнимется. Я знаю только то, что с Вами мне было очень хорошо, без Вас очень плохо. Больше я ничего не знала. Во мне чего-то нет. Чего-то я не могу понять, может быть, еще не могу понять. Я была так счастлива эти два дня, и потом все это потерять.

Вы первый сильный, которого я вижу. Я никого так радостно не любила. Вы уйдете таким же свободным, как и пришли. Это я в заколдованном кругу. Есть черта, которую я не могу перейти. Вы на словах, я на деле. Почему я не могу понять то, что все кругом понимают. Я как снегурочка. Неужели я должна терять Вас и не видать. Достаточно мне было Вас видеть, чтобы не быть грустной. Виде<ть> Вас каждый день... Но другое... Нет, нет, я не могу. Я не могу быть с Вами и быть без Вас. Ах, бросьте меня, п<отому> ч<то> я бесплодная пустыня, пропасть. На мне проклятие, проклятие. Прощайте. Милый М<акс> А<лександрович>, милый. Неужели я Вас совсем теряю?[3]

[1] Ответ на п. 43. Оригинал не известен. Публикуется по записи, сделанной Волошиным в его дневнике (ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 441, л. 96). Датируется по дневнику Сабашниковой и связи с предыдущим письмом. Ср.: Труды и дни. С. 133.

[2] Ср. с записью в дневнике Сабашниковой от 12/24 декабря 1904 г. «У Гомера души умерших пьют жертвенную кровь, и тогда к ним возвращается частица их жизни, тогда с ними можно говорить. Я такая мертвая душа, я, как призрак, брожу в этом мире, как в Аиде, и вокруг меня бродят мои сны. Жертвенная кровь притягивает меня, во мне есть жадность; о, я чую, где есть жертвенная кровь и пью ее. Тогда я слышу человеческие слова и могу отвечать... Но мне не быть в жизни. Кто проклял меня и поселил в область призраков?» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 32 об. – 33). Эта же тема – в дневниковой записи от 15/28 марта 1905 г. (после получения п. 40): «Такие, как я, должны устраняться, тени, похожие на живых, кот<орые> не могут любить, алчные пропасти, кот<орые> жаждут любви, тени, пьющие жертвенную кровь для того, чтобы говорить на человеческом языке. И я думала: "Я не буду говорить ни о чем захватывающем, чтобы он ушел легко, свободный и веселый, а я одна останусь"» (*Там же*, л. 54).

[3] События этого дня (28 марта / 10 апреля) и сомнения Сабашниковой после «категорического вопроса», поставленного Волошиным в предыдущем письме («Хотите идти дальше вместе» и т.д.), запечатлены в ее дневнике следующим образом:

«На другое утро она прочла роман. Это был категорический вопрос. На кот<орый> она должна была ответить отрицательно, п<отому> ч<то> есть слова и чувства, кот<орые> она не понимает, и, как все непонятное, они ей смешны, отвратительны или страшны. И вот в отчаянии она написала письмо, но уже не литературное.

Он пришел вечером. Она спросила: “Вы получили мое письмо?” – “Нет”. – “А”. Они пошли гулять. Она ему сказала и спросила: “Теперь Вы уйдете?” Он сказал: “Нет, я не могу”. “Забудьте и простите”, – сказал он. Была весна, и на небе, конечно, были звезды, и поэтому им, конечно, было очень весело» (*Там же*, л. 58).

45. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

28 марта / 10 апреля 1905 г. Париж[1]

Дорогая Маргарита Васильевна!

Я только что прочел Ваше письмо и должен говорить. Я опять пишу! Это не смешно... Что же делать, если звук голоса компрометирует то, что хочешь сказать. Я Вам так благодарен и за Ваши слова, и за Ваше письмо. То черное мучительное беспокойство, которое, как дьявольский соблазн, тяготело надо мной последние месяцы и искало выхода, сразу упало и разошлось. Я недаром увидел сегодня луну в первой четверти, отразившуюся в озере, и кусок драгоценного весеннего неба.

Во мне сейчас такое радостное великое спокойствие, и точно звезды подступают к глазам. Мне кажется, что прошлая весна снова может наступить и та же, и новая.

Было что-то тягучее, долгое, медленное, а теперь весь мир стал трепещущим, как березовый лист.

Мне жутко и стыдно, что я мог Вам писать: «Быть одним духом, одним телом».[2] Это ложь, это фраза, потому что даже в самом тайном помысле я не представлял себе, что я могу, напр<имер>, Вас поцеловать. Даже мысленно я не мог прикоснуться <к> Вам. Я это хотел сказать, когда не мог выговорить.

Была тяжелая смута, и письмо было потому, что, должно быть, это так всегда делается в человечестве.

Как Вы могли думать, что я могу уйти? Ведь Вы для меня, как раннее туманное утро невыявленной природы, запотевшее холодное зеркало; каждый раз, как я прикасаюсь

к Вашему духу, я чувствую в себе упругую весеннюю крепость цветочной завязи.

Я был все время в мелочах и в пестроте жизни. Поэтому во мне был «бунт» против раннего туманного утра, поэтому я так часто не соглашался с Вами, хотя и был согласен.

Ах, если б Вы знали, какое счастье и какую благодарность я испытываю...

... и снова на небе
Сплетались гирлянды планет...[3]

Простите и забудьте! Простите и забудьте.

Макс.

12½ ночи. Кафе около Сены.[4]

[1] Ответ на п. 44. Датируется по дневнику Сабашниковой и по связи с предыдущими письмами. Ср.: Труды и дни. С. 133.

[2] См. п. 43.

[3] Парафраз стихов Бальмонта (из шестого стихотворения цикла «Вода»): «И снова, как в детстве, светили / Созвездья с немой высоты <...> Я видел так ясно узоры, / Сплетенья, гирлянды планет» (*Бальмонт К.* Литургия Красоты. Стихийные гимны. М.: Гриф, 1905. С. 198).

[4] Ср. в дневнике Сабашниковой: «Утром она опять получила письмо. Это был гимн новой весне. Вечером он спросил: “Вы, конечно, получили письмо. Я так и думал”. Она засмеялась. “Я была права, когда говорила Вам не писать романов”. — “Да”. И была гроза и St. Cloud, и все проч<ее>».

Но что было потом? Чтение фельетонов. — “Это небезынтересная болтовня; что же Вы сделали за этот год. Это всё старые или чужие мысли, все голословно. О живописи Вы говорите как дилетант, теоретично, у Вас нет непосредственного вкуса. <...> Помните, как Чертопханов сомневался долго, прежняя ли у него лошадь или это другая, и дьякон сказал ему то, что он сам давно знал. Конь не поседел за год...” С тех пор 10 дней она его не видала» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 58—58 об.). Имеется в виду эпизод из рассказа «Конец Чертопханова» (1872), входящего в «Записки охотника» (см.: *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1979. Т. 3. С. 301—303).

46. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

21 апреля / 4 мая 1905 г. Париж[1]

Возвращаю Вам эти письма, кот<орые> только случайно адресованы мне, но мне не принадлежат. Читайте их на здоровье Вашим знакомым. По примеру письма из Парижа, они должны стать достоянием литературным.[2] Верните мне мои; в них литературы не было. Избави меня Боже упрекать Вас в Вашей болтливости. Это было бы все равно что осуждать рыб в том, что они живут в воде. Я очень знаю, как человеку с холодным сердцем и горячим воображением, п<р>о кот<орого> француз сказал бы, это не человек, а арфа,[3] а русский: ради красного словца не пожалеет матери-отца, как такому человеку трудно не лгать. Многое хотелось бы мне сказать Вам, но Вы этого не поймете. Ваше счастье – счастье rentier,* кот<орый> режет купоны и не видал золота. Вы не знаете, как Вы бедны и т.д.[4]

Но когда-нибудь, М<акс> А<лександрович>,[5] когда-нибудь, когда в Вашей жизни произойдет нечто, от чего сбежит вся эта пена и вскроется дно, когда чье-нибудь прикосновение сокрушит все эти декорации, всю эту мишуру и чей-нибудь голос заставит Вас забыть все жалкие слова, когда Вы перестанете *говорить* об искренности, мгновении,[6] тогда Вы сами все поймете. Вот этого счастья я желаю Вам от всей души, д<орогой> М<акс> А<лександрович>. А теперь не отвечайте мне ничего. Не грешите больше; нужно иметь уважение к тому, чего иногда не можешь понять и не оскорблять словами. Произошел несчастный случай. На подмостках комедьянт ранил по-настоящему бутафорским оружием принцессу Таиах,[7] и вот она уходит со сцены, роняя декорации, и стонет за кулисами. Инцидент с этой сумасшедшей девушкой можно считать исчерпанным, сказал бы мой друг Чуйко.

Прощайте.

---

* Рантье *(фр.)*.

P.S. Не сравнивайте свою литературу с Гамсуном.[8] Иоханнес пишет, п<отому> ч<то> сердце его раскалено, п<отому> ч<то> оно разорвалось бы, если бы он не писал. Вы болтаете от того, что у Вас не хватает таланта только писать.

[1] Оригинал не известен. Публикуется по дневнику Сабашниковой (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 62 об. – 63; запись от 24 апреля / 7 мая 1905 г.). Датируется на основании слов в записи Сабашниковой: «Письмо было написано три дня тому назад. Он его прочтет завтра». Отправленное, по-видимому, 21 апреля / 4 мая, это письмо не сразу достигло Волошина (в связи с его переездом).

[2] Под заголовком «Письмо из Парижа» Волошин публиковал в 1904–1905 гг. свои корреспонденции в журнале «Весы». Первое из его «парижских писем» появилось во второй книжке «Весов» («Письмо из Парижа. Выставки художников»). Кроме того, цикл статей Волошина с подзаголовком «Письмо из Парижа» был помещен в 1911 г. в «Московской газете»

[3] Об этом выражении см. примеч. 4 к п. 50.

[4] Ср. с записью в дневнике Сабашниковой от 18 апреля / 1 мая 1905 г.: «М<акс> не появляется. Я, когда с ним видаюсь, это точно глухая стена, он ничего не чувствует. Умственный rentier. Читает “Письмо” всем. О, не послать ли ему назад все его письма, чтобы он мог их читать, это чистая литература, красивые слова. Я его ненавижу за его ложь» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 59 об.).

[5] Перед обращением («М<акс> А<лександрович>») зачеркнуто «д<орогой>».

[6] См. п. 40.

[7] См. примеч. 3 к п. 15.

[8] См. п. 43.

47. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

26 апреля / 9 мая 1905 г. Париж.[1]

Эпилог

Тихо, грустно и безгневно
Ты взглянула... Надо ль слов?
Час настал... Прощай, Царевна...[2]
Я устал от лунных снов.

Ты живешь в подводной сини
Предрассветной тишины,
Вкруг тебя в твоей пустыне
Расцветают вечно сны.
Много дней с тобою рядом
Я глядел в твое стекло.
Много грез под нашим взглядом
Расцвело и отцвело.
Всё, во что мы в жизни верим,
Претворялось в твой кристалл.
Душен стал мне узкий терем,
Сны увяли. Я устал.
Я устал от лунной сказки,*
Я устал не видеть дня.
Мне нужны земные ласки,
Пламя красного огня.
Я иду к разгулам будней,
К шумам буйных площадей,
К ярким полымям полудней,
К пестроте живых людей.
Не Царевич я! Похожий
На него, я был иной.
Ты ведь знала — *я прохожий,*
Близкий всем, всему чужой.
Тот, кто раз сошел с вершины,
С ледяной невесты гор,
Тот из облачной долины
Не вернется на простор.
Мы друг друга не забудем...
И, целуя дольний прах,
Отнесу я сказку людям
О Царевне Таиах.[3]

Это последние слова к Вам. Но у меня так много слов о Вас.

Я возвращаю Вам все Ваши письма. Я их перечитывал этот день все. Мне страшно тяжело с ними расстаться. Верните же и Вы *все* мои письма. Я не хотел лгать. Я слишком долго приостанавливал слова и рассматривал их. Поэтому получилась ложь. Я не мог отличить правды.

* *Было:* Я устал от дивной сказки

Простите меня, если можете.

Не обижайтесь за Гамсуна. Вы не так поняли мои слова о «плагиате». Я употребил их в прямом смысле, издеваясь над самим собой, над литературностью чувств, в которых я запутался. Разве Вы не видели, что я сам же смеялся над сравнением своего чувства с чувством Иоганнеса,[4] которое я сделал давно в одном письме.[5]

Прощайте, Царевна Таиах!

[1] Датируется по записи в дневнике Сабашниковой от 26 апреля / 9 мая: «Вот он передал кухарке все письма. *Эпилог* в стихах. “Час настал, прощай царевна, я устал от лунных снов”... Еще ложь и еще слова. Когда я увидала все мои письма, записочки, стихи, рисунки, что-то еще раз, совсем порвалось. “Верните все мои письма”... но я не рассчитала своих сил. Я не могу расстаться» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 64).

[2] Здесь и далее Волошин обыгрывает мотив «принца Максимилиана» и «царевны Маргариты» (см. п. 37).

[3] Стихотворение впервые опубликовано в газете «Русь» (1908. № 1. 1/14 янв. С. 3) под заглавием «Эпилог». Вошло в «Стихотворения 1900–1910» под названием «Таиах» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 58–59, 453).

[4] Герой романа Гамсуна «Виктория».

[5] См. п. 32.

48. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

29 апреля / 12 мая 1905 г. Париж[1]

...Остальные (письма) в Москве... Если это необходимо – погодите – верну. Это нужно. Когда я увидала свои все – это было неожиданно – видите, я не рассчитала своих сил. И Ваши гадкие, гадкие стихи...[2]

В первую минуту я хотела бежать, бросить Вам в лицо эти гнусные стихи, закричать, что нужно иначе проститься, и обнять Вашу голову, и целовать ее. К счастью для Вас, Вас не было дома.

«Мы друг друга не забудем»[3] – это трогательно...

[1] Оригинал и полный текст письма неизвестны. Приводится отрывок, написанный «на клочке бумаги, карандашом» и перенесенный Волошиным в его дневник (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 201). Датируется по дневниковой записи Сабашниковой от 29 апреля / 12 мая: «Это был такой ужас. Все во мне умерло. Отчего в комнате все осталось на местах, в окно видно было, как шли люди по Mont Parnass'y <*sic!*>. Сердце билось сильно, сильно. Я пересматривала письма, рисуночки. 2 года умерло... Потом я пошла куда-то. Да, я хотела обнять эту голову и закричать: так нельзя, нужно иначе, иначе проститься. Его не было» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 64–64 об.). В действительности Волошин не откликнулся на стук и не открыл Сабашниковой дверь, поскольку у него в это время была художница Вайолет Харт (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 201). Полагая, что Волошина нет дома, Сабашникова набросала карандашом свое «прощальное» письмо. См. также п. 63.

[2] Имеется в виду стихотворение «Эпилог» (см. п. 47).

[3] Строчка из «Эпилога».

49. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

2/15 июня 1905 г. Париж[1]

Четверг.

Очень жаль, что Вы меня не застаете. На той неделе я уезжаю. На в<о>ск<ресенье> вечер у меня есть для Вас входная карточка на лекцию Any Besant.[2] Приехала Анна Рудольфовна Минцлова[3], и мы просим Вас показать нам разные cafés-chantants, где танцуют.

[1] Открытка. Оригинал неизвестен. Публикуется по копии, сделанной В.П. Купченко. Датируется по: Труды и дни. С. 137.

[2] А. Безант находилась в Париже с 28 мая / 10 июня по 8/21 июня 1905 г. Вечером 5/18 июня 1905 г. в зале парижского Географического общества она читала лекцию «Проблема судьбы».

[3] А.Р. Минцлова приехала в Париж 1/14 июня 1905 г.

50. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

11–12/24–25 июня 1905 г. Париж[1]

Милая, дорогая Маргарита Васильевна!

Я чувствую, что я в первый раз могу и смею поставить в письме эти ласкательные слова. Мое сердце преисполнено такой нежностью, такими бл<аг>ословениями.

Мне так хотелось взять Вашу руку и прижать к ней свой лоб, когда поезд уходил.[2] Но я почему-то не решился.

Я только что вернулся к себе в Passy[3]. Теперь 12 часов. Вы сейчас едете в вагоне, и я чувствую духом прикосновение Вашей мысли. Точно лебединые крылья трепещут.

Сегодня Анна Рудольфовна без Вас сказала мне: «Чувствую, что мне надо Вам сказать все. Я чувствую, что мои слова в этот момент имеют силу направляющую и создающую. Я могу предотвратить и создать».

Я сейчас чувствую такой восторг, такое чувство к Вам: чистое, радостное и безвыходное.

Мне хочется поклясться Вам хранить всегда чистоту своего зеркала, что я буду нежен к людям, что я буду осторожен к ним и не буду никогда забывать о своем уродстве, что я буду уметь молчать.

Мне кажется, что та сила, которую Анна Рудольфовна чувствовала у слов своих, и была именно той силой, которая все происшедшее сняла с моей души и дала мне снова невинность и чистоту чувства.

Я знаю, что это не любовь, но восторг, которому нет названия. Может, и он исчезнет через несколько часов, но мне хочется послать его Вам так, как он есть в это мгновение.

Я знаю, что Вы сейчас не спите, и странно прислушиваюсь к ритму колес... – у меня тикают часы. Я слышу их несколько в разных этажах.

Только что пробило двенадцать наверху. Ужасно медленно...

«Не человек, а лира»...[4]

В то время, когда Анна Рудольфовна мне говорила про меня, мне все хотелось сказать Вам:

«Вы видите какой я... Простите меня... не любите меня...»
Какие у Вас были бедные глаза и дрожащие горячие руки.

«Припасть к земле, склониться ниц».[5]

Я теперь понимаю смирение. У меня есть один путь, один выход – забыть о себе. Тогда все будет спасено.

Милая Маргарита Васильевна, в эти дни моя душа сгорела и воскресла. От этого момента уходят десятки возможных и новых дорог. В том рукопожатии, которое Вы покрыли розами, я почувствовал Ваше благословение.[6]

И я чувствую, что та мистическая тайна, которая была совершена над моей душой через посредство Анны Рудольфовны, исполнилась не ради меня, а ради Вас.

До свиданья, до свиданья!

Я раскрыл конверт снова, чтобы написать Вам стихи, написанные сегодня утром. Я не перечитываю того, что было написано вчера, и боюсь перечесть.

Résignation*

В зеленых сумерках, дрожа и вырастая,
Восторг таинственный припал к родной земле.
И прежние слова уносятся во мгле,
Как черных ласточек испуганная стая.
И арки темные, и бледные огни
Уходят по реке в лучистую безбрежность –
В моей душе растет такая нежность...
Как медленно текут расплавленные дни!
И в первый раз к земле я припадаю,
И сердце мертвое, мне данное судьбой,
Из рук твоих смиренно принимаю,
Как птичку серую, согретую тобой.[7]

Макс.

---

* Смирение, покорность, безропотность *(фр.)*.

[1] Датируется по записи в дневнике Волошина от 24 июня (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 210–212); см. также: Труды и дни. С. 138. Это письмо Волошина (вместе со стихотворением «Résignation») Сабашникова 28 июня / 9 июля почти целиком переписала в свой дневник (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 69–70 об.).

[2] Вечером 11/24 июня Волошин и М.С. Чуйко проводили на вокзал Сабашникову, уезжавшую поездом в Цюрих.

[3] Пасси – район в западной части Парижа на правом берегу Сены, прилегающий к Булонскому лесу. В конце XIX – начале XX века – место проживания многих известных поэтов, художников, общественных деятелей и др.

[4] Слова Малларме о Теодоре де Банвиле из «Литературной симфонии» (1864): «...человек ли это? – О нет, это голос, это звон самой лиры!» (*Малларме С.* Сочинения в стихах и прозе. С. 305; перевод И. Волевич). Это изречение повторяется в разговорах (и соответственно дневниковых записях) Волошина и Сабашниковой весной–летом 1905 г. Так, 28 апреля / 11 мая 1905 г., отказавшись от предложения Волошина прочитать его дневник, Сабашникова отвечает: «Нет, – сказала я, – таких вещей делать нельзя. Да о чем Вы хлопочете? Все ясно. Не думайте об этом вовсе. Вы слишком впечатлительны. Не человек, а лира» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 67; запись от 29 апреля / 12 мая). Те же слова – в дневниковой записи Сабашниковой от 26 июня / 9 июля 1905 г. (*Там же*, л. 70).

См. также примеч. 3 к п. 69, п. 215 и 226.

[5] Из поэмы «Письмо» (последняя строчка пятого стихотворения).

[6] 11/24 июня, по пути на вокзал, Сабашникова накрыла розами руки Волошина, который упомянул этот эпизод в дневниковой записи, сделанной в тот же вечер: «Она <М.В. Сабашникова> что-то говорит о своей руке – я беру ее, и она остается в моей. Она кладет букет роз на них, чтобы их скрыть, и мы крепко жмем <их> друг другу до вокзала. Молчаливое прощание» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 212). Этому эпизоду Волошин, как видно из дальнейшей переписки, придавал символическое значение. Крест как символ страдания и алая роза как эмблема любви соединились в западноевропейской культуре еще в эпоху Средневековья. Их «мистическое» единство дало название ордену розенкрейцеров, возникшему в XVII в. Во второй половине XIX в. эта тема становится одним из сквозных мотивов французского (Сар Пеладан) и русского (Блок, Вяч. Иванов) символизма. См. также п. 52 (место, отмеченное примеч. 8), примеч. 3 к п. 132, п. 142, 211 и др.

[7] Впервые (без заглавия) – в книге «Стихотворения 1900–1910» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 66, 455). Стихотворение было создано в ответ на просьбу Сабашниковой написать стихи под названием «Résignation» – «смирение молодой души» (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 208; запись от 10/23 июня 1905 г.). 13/26 июня, уже отправив в Цюрих письмо со стихотворением, Волошин переносит в свой дневник четыре его последние строки и далее пишет: «Я теперь знаю, что это не любовь, а что-то более чистое, более драгоценное <...> Эту радость, эту грусть я теперь боюсь "расплескать", как я делал это много раз зимой. Больше всего я теперь боюсь тумана забвения, который снова может охватить меня. Я запираюсь дома, читаю теософские и масонские книги, пишу стихи. <...> Я чувствую полное обновление и радостное возрождение» (*Там же*. С. 214).

51. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

14/27 июня 1905 г. Цюрих[1]

В те последние мгновенья мне казалось, мое сердце разорвется от боли, и это были самые счастливые мгновенья моей жизни. Да, я не спала и сидела всю ночь с открытыми глазами, ничего не видя, и в моей душе все росло это странное счастье.

Милый, милый Макс Александрович, что это было? Мы мало понимаем, мы совсем не понимаем, но разве мы забудем? Разве можно забыть?[2]

«Вы видите, какой я... Простите меня... не любите меня...»

Я вижу, я благословляю, я люблю в тысячу раз больше... Если бы я могла Вам что-нибудь дать, если бы своими слабыми руками я могла согреть эту мертвую птичку, прижать ее к сердцу.[3] Но мне этого не дано и нужно ждать Зари. Нужно сохранять ее бережно, не помять ей крылышки до Зари. Молча ждать Зари. Да?

Что отражается сейчас в моем чистом, в моем ясном зеркале? Я не могу никогда этого знать; смыли ли другие волны след на нежном песке... Прошло три дня... и как прозвучат в тишине мои слова... кто их подымет и сохранит...[4] Говоря их, к кому я обращаюсь? Странная вера у меня, доверие, как у ребенка, что жертвенный дым, исчезая в воздухе, не исчезает, что в зеркалах не исчезает раз отразившийся предмет, что и

у зеркала возникает и растет душа. Помните — я говорила: ничего не повторится и не пройдет, не пройдет. Вы забудете, Ваша душа запомнит.

Я совсем не могу писать. Мы употребляли много слов, и вот теперь, когда они нужны, их нет.

Я еще чувствую пожатие Вашей руки. В этом было у Вас в первый раз что-то человеческое. А знаете ли Вы, что человек больше первоначального бога? Я не могу объяснить свою мысль.

Почему-то у меня в ушах все звучат непонятные и страшные слова литургии. Помните: «Станем добре, станем со страхом, *вонмем, святое возношение в мире приносити*»[5]. И помните «горé имеем сердца».[6] И еще «твоя от твоих Тебе приносяще от всех и за вся».[7] «И сподоби мя со дерзновением, неосужденно причаститься святых и страшных Тайн Твоих».[8]

Чувствуете ли Вы, как я, эти слова? В Вашем стихотворении в первый раз чувствуется человеческий голос.[9] Мое сердце задрожало, я целую письмо и не расстаюсь с ним. Что такое любовь? Это тайна творчества. Дух, стремящийся воплотиться и размножиться, она проявляется в разных областях. Разве нет таинства в том, что две мысли становятся, как одна, и воплощаются в форме?

Вот, пока я пишу Вам, я забываю, где я. Подымаю глаза и вижу желтые стены, блестящие, точно выступил на них пот от тоски, комната длинная и узкая, как коридор; электричество на потолке. Кровать, умывальник и на стене мутное, искажающее лицо, зеркальце в новой золотой раме. Я ожидала, что будет плохо, но оказалось гораздо хуже. Деревьев нет, нет ничего; небо низко, в воздухе дух тяжести, запах линолеума, и все оскорбляет глаза. Это на 3½ месяца![10] Но и Прозерпина сходила в Аид, кажется, тоже на три месяца.[11] Пишите больше о всем, что думаете, и пишите, и побольше, о Париже. Видели ли Чуйко? Прислушайтесь к нему. Будьте с ним бережнее, он как мимоза.

Пришлите мне стихотворение о предзнаменованиях.

Милый, дорогой Макс Александрович, Вы знаете...

Ах нет, Вы ничего не знаете. До свиданья.

[1] Ответ на п. 50. Датируется по содержанию («Прошло три дня...» – т.е. три дня со дня отъезда Сабашниковой из Парижа в Цюрих).

[2] В своих письмах к Волошину 1905 года Сабашникова будет постоянно возвращаться к теме «непонимания» (см. примеч. 3 к п. 65).

[3] Образ из стихотворения «Résignation» (см. п. 50).

[4] Этот фрагмент письма (начиная со слов «Вы видите, какой я...») Волошин переписал в дневник (см.: Т. 7, кн. 1. С. 220).

[5] Слова евхаристической молитвы («Святое Возношение»), оглашаемые на литургии верных после пения Символа веры. В современном переводе: «Станем правильно, станем с трепетом и будем внимать, чтобы с миром (в душе) принести святую жертву». Ср. п. 75 и 79 и примеч. 16 к п. 85.

[6] Призыв священнослужителя на литургии верных при освящении Святых Даров. В современном переводе: «Ввысь (к небу) устремим сердца».

[7] Возглас священника при возношении Святых Даров. Правильно: Твоя от Твоих Тебе приносяща о всех и за вся (то есть: Твои дары от Твоих (верных) мы приносим ради всех и за всё).

[8] Завершительные слова просительной ектиньи на литургии верных (приготовление верующих к причастию).

[9] Имеется в виду стихотворение «Résignation».

[10] Сабашникова отправилась в Цюрих по просьбе своей матери, поручившей ей «опекать» А.В. Сабашникова. «В Цюрихе я буду жить все лето, – отмечено в дневнике Сабашниковой (запись от 26 июня / 9 июля 1905 г.), – чтобы Алеше не быть одному и чтобы мне быть одной» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 69).

[11] Прозерпина (в греч. мифологии – Персефона) – жена Аида, похитившего ее с разрешения Зевса; богиня царства мертвых. Дочь Цереры (в греч. мифологии – Деметры), богини плодородия и земледелия. По воле и коварству Аида, вынуждена была проводить треть года среди мертвых, а на остальное время возвращалась к матери, что связывалось у древних с расцветом и ликованием природы.

52. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

16/29 июня 1905 г. Париж[1]

24 Rue Octave Feuillet. Passy.[2]

Мы заблудились в этом свете*.
Мы в подземельях мрачных... Мы**
Один к другому, точно дети,
Прижались робко в безднах тьмы***.

По мертвым рекам всплески весел...
Орфей родную тень зовет...
И кто-то нас друг к другу бросил,
И кто-то снова оторвет...

Бессильна скорбь, беззвучны крики,****
Рука горит еще в руке...
И влажный камень вдалеке
Лепечет имя Эвридики...[3]

Это надпись к «барельефу» Орфея...[4]

С тех пор, как Вы уехали, я ушел к себе. Я никого не вижу. Я боюсь пролить, расплескать те драгоценные капли, которые горят на дне моего сердца. Я просыпаюсь ночью и с беспокойством ищу в глубине: здесь ли? не ушло ли? Меня охватывает ужас, когда я вспоминаю о своей «благодетельной силе забвения», которой я всегда так радовался.

Я понимаю теперь, что есть сердца, которые проносят по миру как полные драгоценные чаши и из них кропят и благословляют весь мир.[5] Но я так чувствую, что у меня только несколько капель и что эти капли не мои, а даны мне, и что они могут вдруг исчезнуть.

---

* *Было:* Мы потерялись в этом свете.
** *Было:* Как в подземельях страшных... Мы
*** *Было: а как в тексте*
б Прижались робко в царстве тьмы.
**** *Было:* Бессильна скорбь, напрасны крики

Я только что в сумерках летал и носился по темным аллеям около Багатели.[6] Потом я лежал в глубокой траве около озера и перечитывал десятый раз Ваше письмо. Милая, дорогая Маргарита Васильевна, мне так радостно слышать и повторять эти детские, ласкательные слова. Я их никогда не слышал и никогда не говорил, но душа моя всегда тосковала по ним.

«Что отражается сейчас в моем чистом, моем ясном зеркале? Смыли ли другие волны след на песке?»

О, как стыдно, стыдно быть зеркалом.

Если бы я мог на минуту закрыться, подернуться синею таинственной мутью старинных зеркал, которая появляется на них, когда они уже насыщены жизнью и готовы закрыть свой утомленный глаз. Я так боюсь себя. Для того, чтобы пестрота жизни не смыла драгоценного образа, я должен жить в темной комнате и выходить из дому только по вечерам.

Какой стыд быть фотографической пластинкой, которая не может быть зафиксирована.

Я смотрю на мой Кодак[7] с завистью и сочувствием. Когда я прочел Ваше письмо, моим первым инстинктивным движением было подойти к зеркалу; но я не подошел, а лег ничком на пол, закрыл глаза и целовал розу, которую Вы мне дали в тот вечер. Я так ясно чувствовал прикосновение того букета, которым Вы закрыли наши руки.[8]

И теперь мне вдруг вспомнилось, как я год тому назад поцеловал голову царевны Таиах...

Ах, Маргарита Васильевна, недавно вечером я поехал по течению Сены в сторону St. Denis[9]. И на одном из островов наткнулся на поразительное место — немножко смешное и очень трогательное. Это «Собачье кладбище». Nécropole canine*[10]. Настоящее кладбище, обнесенное монументальной стеной, наполненное памятниками и больши<ми> и маленькими, и безымянными могилками, и длинными эпитафиями, и всё засаженное цветами. Цветы свежие, об них очень заботятся. На многих могилах венки.

---

* Собачий некрополь *(фр.)*.

Почти на каждой фотографии или бюсты похороненных, а есть и скульптуры во весь рост.

Над одной стоит каменная будка, железная цепь и старый ошейник.

А вот такое четверостишие, обращенное к умершей собачке Сафо:

«Si ton âme, Sapho, n'accompagne la mienne,
O chère et noble amie, aux ignorés séjours,
Je ne veut pas du Ciel! Je veux quoi qu'il advienne,
M'endormir comme toi sans réveil pour toujours»*[11].

В стороне было похоронено несколько кошек, попугаев и один соловей.

Правда, в этом есть ужасно трогательное, неожиданное и немного... египетское?

На кладбище было несколько посетительниц, приехавших с цветами, – великолепных «бон жюров».[12] Я непременно свожу туда Чуйко. Я не видел его со дня Вашего отъезда. Мы возвращались с вокзала вместе, очень много говорили, и я предупредил его, что уединюсь на несколько дней.

«Неосужденно причаститися святых и страшных тайн твоих» – об этом буду Вам писать в другой раз. Я теперь заканчиваю те строфы о St. Cloud (о смерти), которые начаты в прошлом году. Заканчиваю по-иному, чем думал. Я их закончил и прилагаю.[13]

А в Цурих я непременно приеду. Только позже. Мне надо дождаться приезда Анны Рудольфовны и о многом еще говорить с ней.

До свиданья...

И влажный камень вдалеке
Лепечет имя Эвридики...

---

* «Если твоя душа, Сафо, не последует, о дорогой и благородный друг, за моей душой к неведомым пределам / То к чему мне Небо! Я хочу, чтобы ни случилось, уснуть, подобно тебе, беспробудным сном» *(фр.)*.

В журнале «Искусство» помещена оригинальная статья Екат<ерины> Алексеевны об Оскаре Уайльде — очень хорошая и интересная.[14]

I

И были дни, как муть опала,
И был один, как аметист.
Река несла свои зеркала,
Шумел в лазури бледный лист.
Хрустальный день пылал так ярко,
И мы ушли в затишье парка,
Где было сыро на земле,
Где пел фонтан в зеленой мгле,
Где трепетали поминутно
Струи и полосы лучей,
И было в глубине аллей
И грандиозно и уютно...
В просветах плыли облака...
Душа, как воды, глубока...

II

И наших ног касалась влажно
Густая, гибкая трава...
В душе и медленно, и важно
Вставали редкие слова.
И полдня вещее молчанье
Таило жгучую печаль
Необъяснимого страданья...
И, смутным оком глядя вдаль,
Вы говорили:
«Смерть сурово
Придет, как синяя гроза.
Приблизит грустные глаза
И тихо спросит: “Ты готова?..”
Что я отвечу в этот день?
Среди живых я только тень...

III

Какая темная обида
Меня из бездны извлекла?
Я здесь брожу, как тень Аида...
Я не страдала, не жила...
Мне надо снова воплотиться
И крови жертвенной напиться,
Чтобы понять язык людей...
Туманен сон души моей...
Она безрадостна, как Лета...
Кто мне поставил здесь межи?
Я родилась из чьей-то лжи,
Как Калибан из лжи поэта...[15]
Мне не мила земная твердь –
Кто не жил, тех не примет смерть...»

IV

Как этот день теперь далёко
С его крылатою тоской...
Он был как белый свет востока
Пред наступающей зарей,
Он был как вещий сон незрящей,
Себя не знающей, скорбящей,
Непробудившейся души.
И Тайна в утренней тиши
Свершалась: «Кто-то встал с востока
В хитоне бледно-золотом,
И чашу с пурпурным вином
Он поднял в небо одиноко»...
...«Он в мире чью-то кровь пролил»...[16]
И нас той кровью окропил...

V

И, трепеща, необычайны
Мы к небу подняли сердца
И причастились страшной Тайны
В лучах пылавшего Лица.
...И в шумный мир вела дорога –

Исчезнуть, слиться и сгореть...
Земная смерть есть радость Бога –
Он сходит в мир, чтоб умереть.
И мы, как боги, мы, как дети,
Должны пройти по всей земле,[17]
Должны запутаться во мгле,
Должны ослепнуть в ярком свете,
Друг друга потерять в пути,*
Страдать, гореть... и вновь найти...[18]

Анна Рудольфовна говорила мне, что, думая обо мне, она вспоминала стихи:

Не создал в песне он страны, чтоб улететь, –
Когда придет зима в сияньи белой скуки.[19]

Когда я теперь повторяю про себя слова Вашего письма «Что отражается сейчас в моем чистом, моем ясном зеркале?», у меня все время звучит:

О, сколько раз в отчаяньи, часами,
Усталая от снов и чая грез былых,
Опавших, как листы в провалы вод твоих,
Сквозила из тебя я тенью одинокой...[20]

Дорогая, милая Маргарита Васильевна, не смотритесь в это зеркало. Когда Ваше лицо не смотрится в него, в нем шевелятся страшные и жуткие образы. Его, может быть, разбить нужно или завесить темной тканью. Зеркала высасывают душу...

Это пустота затягивает...

---

[1] Ответ на п. 51. Датируется согласно записи в дневнике Волошина от 16/29 июня: «Целый день я писал стихи – написал и послал» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 221). Ср.: Труды и дни. С. 138.

[2] Волошин указывает адрес квартиры в Пасси (район Парижа близ Булонского леса), которую с октября 1904 г. снимал М.Н. Семенов. Волошин жил в этой квартире с апреля по октябрь 1905 г. (см.: Труды и дни. С. 133, 147).

* *Было:* Терять друг друга на пути

[3] Впервые: Стихотворения. 1900–1910. См.: Т. 1 наст. изд. С. 61, 453–454. Получив от Волошина это стихотворение, Минцлова писала ему 17/30 июня 1905 г. (из Лондона): «Ваше стихотворение очень хорошо, оно передает это мучительное тяжелое настроение Эвридики, потерявшейся в этом мире и еще не знающей выхода, еще не познавшей, что она – есть божество... Но она узнает это, она придет к свету и знанию, и счастью» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 1 об.).

[4] Имеется в виду барельеф в Версальском парке, изображающий нисхождение Орфея в царство мертвых.

[5] Образность и стилистика этого пассажа найдут воплощение в написанном через несколько дней стихотворении «Если сердце горит и трепещет...» (см. примеч. 5 к п. 73 и примеч. 3 к п. 149).

[6] Багатель (от французского «bagatelle» – мелочь, безделушка) – небольшой дворец в Булонском лесу, построенный в 1777 г. на пари между графом д'Артуа, братом короля, и Марией-Антуанеттой за два с небольшим месяца. В начале XX в. был приобретен городским муниципалитетом и стал использоваться для художественных выставок. Так, 9/22 июня Волошин, Сабашникова и А.Р. Минцлова посетили во дворце Багатель выставку английских портретов (см.: Труды и дни. С. 137). Волошин посвятил этому дворцу очерк «Багатель», впервые напечатанный в столичной газете «Двадцатый Век» (1906. № 76. 14 июня. С. 4); см.: Т. 5 наст. изд С. 604–605, 861. Ср. также примеч. 19 к п. 58.

[7] В первой половине апреля 1905 г. Волошин приобрел фотоаппарат «Кодак» (Труды и дни. С. 134).

[8] См. примеч. 6 к п. 50, п. 142 и др.

[9] Имеется в виду пригород Сен-Дени, расположенный к северу от Парижа (в 9 км от центра) и знаменитый своим древним, в готическом стиле, аббатством, служившим усыпальницей французских королей.

[10] Волошин описывает далее собачье кладбище (где хоронили и других домашних животных), открытое в 1899 г. и расположенное на островке Равагёр близ парижского пригорода Аньер. Этому кладбищу Волошин посвятил очерк, озаглавленный «В Париже» и впервые опубликованный в газете «Русь» (1905. № 215, 10 сент. С. 3); см.: Т. 5 наст. изд. С. 589–595, 857–858. Позднее (приблизительно в 1917 г.), составляя план несостоявшейся книги «Лики Парижа (до и после войны)», Волошин озаглавил этот очерк «Собачье кладбище», и именно под таким названием он был помещен в книге: *Волошин М.* Автобиографическая проза. Дневники / Сост., статья, примеч. З.Д. Давыдова, В.П. Купченко. М.: Книга, 1991. С. 112–114.

[11] Это четверостишие Волошин полностью воспроизвел в статье «Париж» (см.: Т. 5 наст. изд. С. 591).

[12] Слово «бонжюр» («бонжюра») постоянно встречается в письмах Чуйко к Сабашниковой (от фр. bonjour – общепринятое во Франции приветствие) – этим словом художник обозначал эскизные наброски, зарисовки, этюды и т.п. См., например, в его письме к Сабашниковой от 2/15 июля 1905 г.: «Бонжюров я почти кончаю, был с Максом на Монт Мартре <*sic!*>, я сразу нашел подходящий мотив» <...> и бонжюрами я страшно доволен; как была написана шляпка, т<а>к теперь написана вся бонжюра: стеклярус, ридикюль и т.д. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 110, л. 12 об. – 13). В недатированном и, видимо, неотправленном ответном письме Сабашникова писала: «Алеша сказывал мне, что Ваши "бонжюры" прелестны <...> Очень бы мне хотелось видеть бонжюров и юношу. Если бы Вы попросили Макса снять, только чтобы я могла составить себе понятие» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 43, л. 9 – 9 об.; «юноша» – сюжет одной из картин Чуйко, над которой он работал в 1905 г.).

[13] Приложенное к письму стихотворение (см. ниже примеч. 18) построено как воспоминание о незабываемой для обоих поездке в Сен-Клу 31 мая / 13 июня 1904 г. (см. примеч. 9 к п. 13 и др.).

[14] *Андреева Е.* Об Оскаре Уайльде // Искусство. 1905. № 4. С. 24–31 (журнал вышел в конце мая 1905 г.). В редакционном примечании (С. 24) сказано: «Эта заметка является дополнением к данным по биографии Уайльда, которые впервые на русском языке появились в "De Profundis" Уайльда. Изд<ано> к<нигоиздательст>вом "Гриф". Москва. 1905 г.» (имеется в виду: *Уайльд О.* De Profundis. Записки из Рэдингской тюрьмы. Пер. Е. Андреевой. М.: Гриф, 1905). Тот же перевод печатался в журнале «Весы» (1905. № 3. С. 1–42).

[15] Ср. в рецензии Волошина на сборник рассказов А. Франса «Crainquebille, Putois, Riquet et autres récits profitables» (1904): «...в сущности Пютуа родился из лжи нашей матери, точно таким же образом, как Калибан родился из лжи поэта...» (Т. 5 наст. изд. С. 433).

[16] Строки из стихотворения Сабашниковой «Бледнеют к утру небеса...» (см. примеч. 4 к п. 6).

[17] Парафраз литургических возгласов, приведенных в письме Сабашниковой.

[18] Впервые: Золотое Руно. 1906. № 7/8/9. С. 107–108; под заголовком «Amori Sacrum» («Святилище любви»). Вошло в «Стихотворения 1900–1910» под названием «Второе письмо» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 67–69, 455–456). См. также п. 32, 80 и 126.

[19] Из сонета Малларме («Лебедь») в переводе Волошина (см. примеч. 5 и 6 к п. 32).

[20] Из «Иродиады» Малларме в переводе Волошина (см. примеч. 13 к п. 8 и примеч. 4 к п. 32).

53. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

18 июня / 1 июля 1905 г. Париж[1]

24. Rue Octave Feuillet. Passy.

ЗЕРКАЛО

Как глаз, лишенный век, я брошено на землю,
Чтоб этот мир дробить и отражать.
И образы скользят... Я чувствую, я внемлю,
Но не могу в себе их задержать...

Как часто в сумерках, когда дымятся трубы
Над страшным городом, и в воздухе – гроза,
В меня глядят бессонные глаза
И черною тоской запекшиеся губы...

И комната во мне... и капает вода...
Предметы движутся, отходят, вырастая...
И тикают часы... и капает вода...
Тик-так... да-да... да-да...
Один вопрос другим всегда перебивая...

И чувство смутное шевелится на дне –
В нем радостная грусть, в нем острый страх разлуки.
И я молю его: «Останься, будь во мне,
Не прерывай рождающейся муки»...

...И вновь приходит день с обычной пестротой,
И образы скользят... Но верю я глубоко,
Что время, наконец, застынет надо мной,
И тусклою плевой мое затянет око...[2]

Как странно приходят и возвращаются прежние слова. Для меня так неожиданно, что эти слова, сказанные Вами в

St. Cloud,[3] теперь вдруг раскрылись и вплелись в это стихотворение, точно они долго ждали этого момента.

«Разве нет таинства в том, что две мысли становятся как одна и воплощаются в форме?»

«Ничто не повторится и не пройдет, не пройдет»...[4]

Я сижу дома и каждый день перечитываю Ваше письмо[5] по нескольку раз.

Пишите мне скорее. Я так жду Вашего письма и Ваших слов о тех стихах, которые я Вам послал раньше и теперь.

Сегодня целый день был проливной дождь. Лес весь в тумане. Зеркала дымятся...

До свиданья.

[1] Датируется по: Труды и дни. С. 138.

[2] Впервые: Русская Мысль. 1907. № 12. Отд. I. С. 129. См.: Т. 1 наст. изд. С. 62, 454 (коммент. В.П. Купченко). О теме «зеркала» в переписке Волошина и Сабашниковой см. примеч. 2 к п. 32.

[3] См. примеч. 16 и 17 к п. 23.

[4] Цитаты из письма Сабашниковой (см. п. 51).

[5] Имеется в виду п. 51.

54. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

Между 17/30 июня и 19 июня / 2 июля 1905 г. Цюрих[1]

Я начиталась сказок Гофмана, и мне страшно ночью в моей желтой комнате. Я одна во флигеле, мама в другом здании. Вы знаете Гофмана M-elle de Scuderie[2] и Маёрат[3] <*sic!*>. Как хорошо! Чтобы рассеять страх, я начинаю говорить с Вами. В сущности, я весь день с Вами, но не знаю, как с Вами говорить. Ваши письма лежат у меня в красной сумочке, кот<орая> висит у пояса и, когда я сижу, а она лежит у меня

на коленях во время длинного обеда за table d'hôt'om,* например, мне кажется, что это что-то живое и милое лежит у меня на коленях. Какой Вы ласковый, Вы ласковый ребенок. Что я вспомнила... в прошлом году у Кати в комнате Вы переписывали стихи, а она подошла и погладила Вас по голове. Вы не заметили? Откуда у Вас эта нежность? Что это? Эхо? Это Ваши слова? Их источник в Вашей душе? Как хотелось бы верить этому. Вам радостно слышать ласковые слова? Если бы Вы знали, как много... Ах, что я вспомнила еще... чьи это слова: я устал не видеть дня, мне нужны...[4] Это Ваши слова? Ах, это было больно слышать. Но зачем я это вспомнила. Это совсем прошло. Но я вспомнила всё, и как всё далёко, кроме последних двух недель. Знаете, тут так тихо; я сижу в полутемном салоне гостиницы и читаю целый день, иногда начинаю думать, как о чужой жизни. Как тихо. А в Париже, что бы я ни делала, я слышала позвякивание цепочек; это у извозчиков, кот<орые> стояли за решеткой перед моим окном, а мне все казалось, что это цепочка звенит о водосточную трубу на дворе; из всех парижских звуков я слышала только это и днем и ночью, и этот звук всегда обманывал и волновал. Как глупо. Теперь это тоже так далёко. Волновали пустяки: напр<имер>, что в день рождения[5] нужно было после чтения стихов Соловьевой[6] сидеть в компании в Closerie de<s> Lilas**...[7] Я не могла этого понять. Теперь понимаю очень хорошо и улыбаюсь. Это далёко. Это был дурной сон. Страшный сон, страшнее страшной действительности. Сном совсем не владеешь.

Но теперь сон прошел. Какой-то светлый дух прогнал призраки. Мы точно при свете дня смотрим удивленно друг на друга. И почему я так свободно могу говорить с Вами, странно. Зачем я напомнила Вам о сне? Потому, может быть, что не люблю я Вашей благодетельной способности все забывать. Но когда опасность миновала, разве не приятно смеяться над ней. Вы видите, я смеюсь... Знаете, что я думаю... та опасность, кот<орая> у Вас на руке, была в прошлом. Во времени А<нна> Р<удольфовна> очень ошибается, п<отому>

* Табльдот, общий обеденный стол в гостиницах, пансионах и т.п. *(фр.)*.

** Сиреневый хутор *(фр.)*.

ч<то> плохо видит, и тот переворот, кот<орый> должен быть в 35 лет, не случился ли он теперь.[8]

Как я завидую Вам, что Вы с ней будете видаться. Мы — слепые.[9] Может быть, мы делаем и говорим ужасные вещи и не знаем этого; может быть, мы грубо топчем что-нибудь очень нежное и драгоценное. По-моему, не молиться нельзя. Как мало таких минут в жизни, за кот<орые> можешь постоять. У меня так.

Ах, Макс Александрович, милый Макс Александрович, мне так много хочется Вам сказать, и я так боюсь теперь слов своих и Ваших. Мои вызывают Ваши; а мне нужно вызвать только те, которым я могла бы верить. Мне, это мне нужно уметь молчать. Подходить только с одной стороны к зеркалу. Что Вы пугаете меня, дитя мое, что будто в нем отражается что-то жуткое. Что-то этому я не верю. Все жуткое, что есть на свете, думается мне, происходит из чувств, Вам вовсе неведомых. А Вы как малое дитя, что Вы знаете? Вам, должно быть, непонятна, половина того, что все понимают, и на чем вертится вся человеческая и не только человеческая жизнь. Помните, я сказала Вам раз, прочтя Ваши фельетоны, что Вы употребляете слова, кот<орых> Вы не понимаете, и тогда не могла Вам объяснить, в чем дело. А в Париже это особенно заметно. Этим объясняется подчас Ваша неразборчивость, и люди, кот<орые> Вас плохо знают, должны иногда плохо о Вас думать, п<отому> ч<то> кому же придет в голову, что Вы исключение. Я вспомнила отношение к вашим фельетонам сотрудников «Руси».[10]

Ну вот, поздно, пора спать.

В Цурих Вы, наверное, не приедете, а вот что, как-нибудь в конце июля я поеду в Гейдельберг, Нюренберг и др<угие> маленькие старые города Германии. Напишите мне адрес Трапезникова, его зовут Трифон Георгиевич?[11] Я напишу ему. К этой поездке я хочу подготовиться. Если бы и Вы из Вашей Далмации или куда, бишь, Вы собирались,[12] приехали. Это путешествие у меня займет неделю или 10 дней. Если бы и А<нна> Р<удольфовна>! Только не Е.С.[13]

Ну, до свиданья.

О главном не сказала. Стихи, стихи Ваши прекрасны; в них часть моей души. Как это странно. Жду Ваших писем и стихов. Только не смейте писать мне мертвых писем. Не умирайте, милый, дорогой Макс Александр<ович>!

[1] Ответ на п. 52. Датируется по связи с предыдущими письмами и п. 52.

[2] «Мадемуазель Скюдери» («Девица Скюдери») – рассказ Э.Т.А. Гофмана (1819) из цикла «Серапионовы братья».

[3] Имеется в виду «Майорат» – фантастическая новелла Гофмана (1822) из цикла «Ночные истории».

[4] Из стихотворения Волошина «Таиах» (см. примеч. 3 к п. 47).

[5] Видимо, в день рождения Волошина – 16/29 мая 1905 г. В «Трудах и днях» отмечено, что Волошин в этот день отмечал свое 28-летие «с Кругликовой и ее компанией» (С. 136).

[6] П.С. Соловьева.

[7] Парижское кафе на бульваре Монпарнас, которое посещали многие знаменитости: писатели, художники, артисты и др.; его завсегдатаем был и Волошин.

[8] Речь идет о предсказаниях А.Р. Минцловой, увлекавшейся хиромантией. 10/23 июня 1905 г. в Париже, гадая Волошину по руке, Минцлова предсказала ему «тяжелую болезнь» в возрасте около 35 лет: «В ней будет нервное потрясение или она будет следствием нервного потрясения – и у Вас наступит полное перерождение. Вы станете гораздо осторожнее относиться к людям» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 209). См. также п. 73.

[9] Намек на пьесу Метерлинка «Слепые» (1890). Подробнее см. примеч. 9 к п. 92.

[10] Осенью 1904 г. Волошин принял предложение А.А. Суворина быть парижским «представителем» и «политическим корреспондентом» петербургской ежедневной газеты «Русь» (см. письмо Волошина к Брюсову от 4/17 ноября 1904 г. // Т. 9 наст. изд. С. 164). Активное сотрудничество Волошина в «Руси», а также в изданиях, заменявших газету в периоды ее закрытия («Двадцатый век», «Око», «Новая Русь»), продолжалось в течение 1905–1908 гг.

[11] Т.Г. Трапезников учился тогда в Гейдельбергском университете. «...Талантливый историк искусств, нервный, тонкий, всегда изысканно одетый человек, с подлинно аристократической, несмотря на купеческое происхождение, внешностью», – вспоминал о нем Ф. Степун, изучавший в Гейдельберге философию (*Степун Ф.* Бывшее и несбывшееся. London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1990. Т. I. С. 119).

Сабашникова познакомилась с Трапезниковым через Волошина. Впоследствии, примкнув к антропософскому движению, Трапезников стал одним из близких друзей Сабашниковой, посвятившей ему статью (не опубликована).

[12] В июне 1905 г. Волошин, действительно, собирался предпринять путешествие в Далмацию (на велосипеде). «...Мечтаю в конце июля о большом путешествии в Далмацию...», — писал он матери 28 мая / 10 июня 1905 г. (Т. 9 наст. изд. С. 195); см. также письмо Волошина к А.М. Петровой от 27 мая / 9 июня 1905 г. *Там же*. С. 189). Утром 13/26 июня во время завтрака с Е.С. Кругликовой, Волошин заявил, что хочет ехать в Далмацию один (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 217; Труды и дни. С. 138). Путешествие не состоялось.

[13] Е.С. Кругликова.

55. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

20 июня / 3 июля 1905 г. Париж[1]

День раскрывает свое око и сейчас же закрывает его... Я почти не вижу света... Только на закате расплавленная волна плеснет в глаза и померкнет.

И снова все видимое сосредоточивает в черных и ровных строчках и в узорах письма...

Я вспомнил молчание и полюбил его...

Стихи снова зазвучали во мне. Они ведь уже целый год молчали: после «Письма»[2] ведь я не написал ни одного стихотворения.

Но это не та тяжелая болезнь и не то возрождение, про которые говорила А<нна> Р<удольфовна>.

Я только остановился на бегу и вернулся на несколько шагов назад. Я снова нашел конец той нити, которая разорвалась было... Но концы ее еще не успели уйти друг от друга, и я смог крепко их соединить.

Я целую цветы, на которые я наступил ногой... Но я остановился и вскрикнул от чужой боли, а не от своей, а та, которую Ан<на> Руд<ольфовна> мне обещала, будет моя собственная, и я жду ее.

Я не возродился, а только, как рассеянный человек, поднял голову и сознательно оглянулся вокруг себя. Я не чувствую сейчас беззаботной и ликующей радости — это скорее умиленная грусть и спокойная унылость.

Мир закутан плотно
В сизый саван свой,
В тонкие полотна
Влаги дождевой.
В тайниках сознанья
Травки проросли...
Сладко пить дыханье
Дождевой земли.
С грустью принимаю
Тягу древних змей —
Медленную Майю
Торопливых дней.[3]
Затерявшись где-то,
Робко верим мы
В непрозрачность света
И в прозрачность тьмы.[4]

Милая, дорогая Маргарита Васильевна, когда Вы пишете: «Вы как малое дитя, что Вы знаете», мне становится и сладко и страшно. Вы ведь не знаете всего, что есть во мне. Вы, может быть, знаете только одну половину, а другую не видите или не хотите ее знать. Во мне, как и во всех, а может и больше, живет мистер Хайд.[5] Помните, что А<нна> Р<удольфовна> говорила про мою двойную жизнь, про мою ускользаемость, про то, что часть моей жизни для других остается неизвестна. И не случайно разговор упал после на повесть Стефенсона[6]. Я понимаю «все слова», я знаю «нас связующую нить». Во мне всегда есть два человека, и, когда один живет, он совершенно забывает про другого. Я не рисуюсь и тем более не хочу пугать Вас. Я еще не совершал ни убийств, ни других преступлений, но ведь факты не имеют никакого значения, а в мысли, а в чувстве я у себя знаю зародыши всего. Во время «страшного сна» Вы меня часто встречали мистером Хайдом — не вполне, потому что я сейчас же сжимался и становился собой и то, что Вы видели, были быстрые гримасы превращения.

Не думайте, что я это теперь только выдумал и создал эту новую теорию. В моем дневнике, который я хотел принести Вам и не решился, я всегда с возможной искренностью отмечал появление М<исте>ра Хайда, и там есть два моих лица.

Мне все вспоминаются строфы одного стихотворения Фрейлиграта, переведенного мною еще в отрочестве и переведенного плохо:

И если кто свою любовь
Тебе отдаст... О, все отдай!
Наполни счастьем каждый миг
И ни один не отравляй...
И строго взвешивай слова —
Ведь сделать больно так легко.
Сказал шутя, а он уйдет
Тобою ранен глубоко...[7]

И еще вспоминается фраза одного из героев Горького: «Только ты ему почаще напоминай, что он хороший, а то он забудет».[8]

При Вас я не могу быть иным как «ласковым ребенком», иначе меня охватывает тоска, и я умираю, как это и было. Я Вам хотел дать дневник, потому что думал, что Вы должны знать меня всего, а потом я думал:

Наполни счастьем каждый миг
И ни один не отравляй.

А теперь я думаю: «А чем я стану бороться с М<исте>ром Хайдом, если Вы перестанете видеть во мне “ласковое дитя”».

Когда Вы говорите:

«В светлом безветрии звездных пространств»...[9] Мне и сладко, и больно, что это не я.

Когда Вы говорите со мной, я чувствую всегда немного то ощущение, когда человеку смотрят не прямо в глаза, а немного выше, на лоб.[10] Взор скользит тут же, а это не я. Мне бы так хотелось стать таким, как Вы меня видите и, когда я говорю, я становлюсь на мгновение этим призраком...

Каждое утро, когда я просыпаюсь, я перечитываю Ваши письма — это моя утренняя молитва. Потом я начинаю писать стихи — еще лежа в постели.

Да, конечно, я помню, остро помню, как Ек<атерина> Ал<ексеевна> погладила меня тогда по волосам.

Как я понимаю и чувствую тайну прикосновений. Тайную силу предметов, к которым касалась рука. (У меня остались две пары Ваших старых перчаток!!) Я пишу это и улыбаюсь невольно, а сердце тесно сжимается, потому что я вспоминаю, как в *тот* день моего отъезда из Москвы, когда я не видал Вас, Екат<ерина> Алекс<еевна> в последний момент достала из стола Вашу маленькую фотографическую карточку (любительскую), где Вам лет пятнадцать, и молча дала мне. Дала тем заботливым материнским жестом, которым старые няньки суют красный узелок с гостинцами «на дорогу».

Я тогда не в первый момент понял ее заботливость, только после я оценил ее опытность и предусмотрительность. Вы мало похожи на этой карточке, но я ее страшно люблю, гораздо больше, чем ту carte postale*, которую Вы прислали.

Как мне жаль теперь, что я Вас не снял тогда как следует.

Все те снимки вышли плохо, кроме одного. Я их посылаю Вам. И посылаю свою карточку, которую снял с себя сам в зеркало. А ту, что у Вас — безобразную — выбросьте.

Я теперь все читаю, читаю. Когда я оглянул взглядом все то количество книг, которые я себе купил и которые непременно хочу прочесть, то почувствовал, что если я буду честен, то совершенно не уеду из Парижа этим летом.

Я читаю теперь «Bouddhisme Ésotérique»** Синнета[11]. Читаю, штудируя, медленно. И меня странно поражает то, что все мои метафизические положения, которые я не прочитал, а те, которые сами откуда-то пришли, все они чисто теософские. Автор этой книги очень не талантлив, но сквозь его слово проходят громадные мысли.

Сейчас ночь и гроза... Немного жутко от этих раскатов в пустой одинокой квартире... Сейчас затихло, и только вода журчит...

Вы помните, я говорил Вам про того странного господина, изобретателя беззвучного динамита, которы<й> при-

* Почтовая открытка *(фр.)*.
** «Эзотерический буддизм» *(фр.)*.

шел ко мне в 2 часа ночи и ночевал у меня. Он через три дня внезапно умер, идя по улице.

Сейчас я сижу в той комнате, где он ночевал, и как-то странно представляется это ночное посещение человека, которого я видел единственный раз в жизни.

У него была очень дорогая и большая квартира в том же доме, где я. Квартира совсем пустая – только один диван, да повар, привезенный из России, который пьяный приходил ко мне плакать и жаловаться. После он обокрал его, уехал и ключи увез, почему тот и ночевал у меня. Кроме того, он должен был еще жениться через месяц.

Читаю я еще масонские книги, «Леонардо» Волынского.[12] Там есть прекрасные места и страницы.

Но я хочу Вам поскорее прочесть мои стихи, написанные за это время. Вот Вам немножко Парижа:

Булонский лес

В ясно-сиреневом вечере
Радостны сны мои нынче –
В сердце сияние «Вечери»
Леонардо да Винчи.[13]
Между мхом и травою мохнатою
Ключ лепечет невнятно...
Сквозь деревья ложатся на статую
Золотистые пятна...
Тихий ветер вьется украдками
Меж ветвей наклоненных,
Шевеля тяжелыми складками
Шелков зеленых,
Разбирает бледные волосы
Плакучей ивы...
По озерам тянутся полосы
И стальные отливы...
И, одеты парчою и чернию,
Многострунные сосны
Навевают думу вечернюю
Про минувшие весны.
Облака над лесными гигантами

Перепутаны алою пряжей,
И плывут из аллей бриллиантами
Фонари экипажей...[14]

Напишите мне, какие моменты Парижа Вы хотите видеть нарисованными в стихе, и я Вам пришлю. Хотите?

Только пишите мне больше, что Вы думаете о присланных стихах. Я не вижу Вашего лица, когда Вы их читаете. А мне так хочется знать, что Вам нравится, что не нравится. Ведь это Ваши стихи – больше, чем мои.

И мне так важно знать, что Вы приняли в них своим.

Я перевел еще два стихотворения Верхарна и думал об России и об Революции, переводя их. Это должно было сказаться.

Человечество

О, вечера, распятые по сводам небосклона
Над алым зеркалом дымящихся болот.
Их язв страстная кровь среди стоячих вод
Сочится каплями во тьму земного лона.
О, вечера, распятые над зеркалом болот!
О, Пастыри равнин! зачем во мгле вечерней
Вы кличете стада на светлый водопой?
Уж в небо Смерть взошла тяжелою стопой...
Вот... в свитках пламени, в венце багряных терний
Голгофы черные над черною землей!
Вот вечера, распятые над черными крестами!
Туда несите скорбь, отчаянье и гнет!
Прошла пора надежд... Источник чистых вод
Уже кровавится червонными струями...
Уж вечера распятые закрыли небосвод...[15]

Казнь

Ты сложишь голову на каменном помосте
Под гулкий плеск толпы, средь буйных площадей,
И ярко вспыхнет кровь, и слабо вскрикнут кости...
И будет оргия и благовест церквей!
И солнца мутные, как красные виденья,

Сквозь дымы серные передвечерних действ
Увидят торжество и Тайну искупленья
Тобою созданных эпических злодейств...*
Толпа вокруг тебя, как древний образ змея,
На миг свой океан заставит замолчать
И будет точно мать, ярясь и пламенея,
Тебя в твоем гробу баюкать и качать.
И память о тебе распустится, как травы,
Вопьется острая, как яд осиных жал,
Заблещет красками настоенной отравы,
Останется в мозгу прямая, как кинжал...
Ты сложишь голову на каменном помосте
Под гулкий плеск толпы, средь буйных площадей.
И ярко вспыхнет кровь, и слабо вскрикнут кости,
И будет оргия и благовест церквей!**[16]

Мне было жутко переводить это, такой пророческой жестокостью веет от него. Мне вспоминалась легенда иоаннитов,[17] и я думал о том, к кому оно может быть адресовано. Я выхожу из дому только для того, чтобы купить газеты. Мятеж черноморского флота меня захватил[18]. До этого я все говорил себе – это только предвестие того, что будет. Теперь что-то упало в сердце и сказало: началось.

Я думаю, что пролог кончен, и это начало первого акта.

До свидания. Я запечатываю это письмо, чтобы послать его завтра утром.

Поклон Маргарите Алексеевне и Алекс<ею> Васил<ьевичу>.

Фраза Роберта де Монтескью:

«Есть книги, которые мы пишем, и есть книги, которые нас пишут».

Адрес Трапезникова (Трифон Георгиевич): Heidelberg, 42. Gaisbergstrasse. Он пробудет в Гейдельберге до 20 июля.

---

* *Было:* Тобою созданных мифических злодейств...

** *Было:* И будет торжество и благовест церквей!

[1] Ответ на п. 54. Датируется по: Труды и дни. С. 138.

[2] См. п. 15 и примеч. 14 к нему.

[3] См. примеч. 2 к п. 39.

[4] Впервые опубликовано: Русская Мысль. 1907. № 12. Отд. I. С. 131. См.: Т. 1 наст. изд. С. 63, 454–455.

[5] Персонаж известной повести Р.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886), представляющей собой классический литературный сюжет на тему раздвоения человеческой личности: доктор Джекил олицетворяет светлое и доброе начало, мистер Хайд – темное и злое.

О знакомстве Волошина с повестью Стивенсона и его осмыслением этого произведения (в контексте его переписки с М.В. Сабашниковой) см.: *Лавров А.В.* Стивенсон по-русски: доктор Джекил и мистер Хайд на рубеже двух столетий // *Лавров А.В.* Русские символисты. Этюды и разыскания. М.: Прогресс-Плеяда, 2007. С. 227–232.

[6] Имеется в виду Роберт Луис Стивенсон.

[7] Волошин приводит восемь строк из переведенного им в 1887 г. стихотворения Ф. Фрейлиграта «Люби, пока любить ты можешь...» Впервые опубликован в кн.: *Адамантова В.* Поэтика перевода М.А. Волошина. New York; Ottawa; Toronto; Legas, 1993. С. 302–303. См. также: Т. 4 наст. изд. С. 910–911, 976. Между опубликованными текстами и текстом, приведенным в письме Волошина к Сабашниковой (строки 2–4), имеются разночтения.

[8] Неточно цитируемые Волошиным слова Луки из пьесы М. Горького «На дне» (1902). У Горького: «Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это!» (*Горький М.* Полн. собр. соч. Художественные произведения: В 25 т. Т. 7. Пьесы, драматические наброски 1897–1906. М.: Наука, 1970. С. 159).

[9] Неточная цитата из ранней редакции поэмы («мистерии») К.К. Случевского «Элоа» (1883). У Случевского: «В тихом безветрии / Светлых пространств». Эти две строчки Случевского – один из эпиграфов к разделу «Безветрие» в книге стихов Бальмонта «Горящие здания. (Лирика современной души)» (М.: Типография Н.И. Кушнерева и К°, 1900).

[10] К этой фразе Волошина Сабашникова возвращается в п. 60 (см. примеч. 3 к этому письму).

[11] Книга А.П. Синнета «Эзотерический буддизм» была впервые издана в 1883 г. (см.: *Sinnett A.P.* Esoteric Buddhism. London: Trübner, 1883). Волошин читал ее по-французски, должно быть, в издании 1901 г., сохранившемся в его библиотеке (*Sinnett A.P.* Le Bouddhisme ésotériqie ou Positivisme hindou. Traduit de l'anglais par M-me Camille Lemaître. Paris: Publications théosophique, 1901); его отзыв об этой

книге см. в п. 58. (Русские изд. – М.: Изд-во Ассоциации духовного единения «Золотой век», 1995; 2-е изд. – 1997).

Название книги (на это указывала еще Е.П. Блаватская) – «Эзотерический будхизм» или «бодхизм» (а не «буддизм»!), поскольку Синнет пишет не о религиозной философии Гаутамы Будды, а излагает «учение мудрости» (от *санскр.* budhi – ведать, обладать духовным знанием). См.: *Блаватская Е.П.* Ключ к теософии. Пер. с англ. 2-е изд. М.: Сфера, 1996. С. 22).

[12] *Волынский А.Л.* Леонардо да Винчи. СПб.: А.Ф. Маркс, 1899. В библиотеке Волошина сохранилось более позднее издание этой книги (Киев: С.В. Кульженко, 1904). См. также примеч. 11 к п. 71.

[13] «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи – знаменитая фреска, выполненная им на стене трапезной монастыря Санта Мария делла Кроче в Милане.

[14] Впервые опубликовано в журнале «Весы» (1907. № 1. С. 9–10) в составе цикла «Картины Парижа». Без заголовка и с посвящением А.Н. Ивановой вошло в сборник «Годы странствий» (седьмое стихотворение в составе цикла «Париж»). Первая строка (во всех публикациях): «В серо-сиреневом вечере...». См.: Т. 1 наст. изд. С 26–27, 442.

[15] Опубликовано в газете «Русь» (1905. № 188, 14/27 авг. С. 4). Вошло в кн.: *Волошин М.* Верхарн. Судьба. Творчество. Переводы. М.: Творчество. 1919. Расценивая свой перевод как вольный, Волошин относил его к «воспоминаниям» о Верхарне (см.: Т. 9 наст. изд. С. 197; письмо Волошина к А.М. Петровой от 18 июня / 1 июля 1905 г. с текстом перевода).

[16] Впервые опубликовано в газете «Русь» (1905. № 188, 14/27 авг. С. 4) под заголовком «Казнь (Воспоминание из Верхарна)» (у Верхарна стихотворение называется «La Tête» – «Голова»). В книгу «Верхарн» (см. предыдущ. примеч.) не вошло. Подзаголовок указывает на вольный характер перевода. Сохранившийся в ИРЛИ автограф имеет помету: «Мысленно посвящаю этот перевод русскому самодержавию» (см.: Т. 4 наст. изд. С. 932; коммент. П.Р. Заборова).

[17] Иоанниты (госпитальеры) – члены рыцарского ордена, основанного крестоносцами в Палестине в начале XII в. После многолетнего пребывания на Кипре и Родосе иоанниты получили в 1530 г. остров Мальту и стали называться мальтийскими рыцарями. Во второй половине XVIII в. мальтийский орден сблизился с Россией (Павел I был наделен титулом Великого магистра). С 1830-х гг. судьба ордена тесно связана с Ватиканом.

[18] Мятеж Черноморского флота начался с восстания на эскадренном броненосце «Князь Потемкин Таврический» (события 14–25 июня 1905 г.). Матросы объединенной эскадры Черноморского флота, направленной на подавление мятежного корабля, отказались стрелять по нему, а броненосец «Георгий Победоносец» перешел на сторону «Потемкина».

56. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

Около 20 июня / 3 июля 1905 г. Цюрих[1]

Я прочла «Le passé vivant» Henri de Regnier*.[2] Замысел чрезвычайно интересен, но современный романист, отравленный, связанный реализмом Золя, не мог с ним справиться. Он недостаточно смел и боится поверить реальному существованию этого возврата, он слишком закрывает эту реальность неврастенией своего героя; можно было меньше подчеркивать фатальное и фантастическое совпадение вещей, но самую страсть изобразить фатальнее и фантастичнее. Это вечное просвечивание форм 18-го века сквозь вещи он передал хорошо; но впечатление, кот<орое> производит встреча этих предназначенных друг для друга людей, передано плохо. Их чувство передано тупо и вяло. У нее даже не находишь в чувстве ничего фатального и странного. Она отдалась ему как своему мужу. Вероятно, современный француз не может понять любовь по-другому, даже и тогда, когда он предполагает возможность ее существования. Обратная драма его друга Lovreau[3] ему понятнее, и она ему удается гораздо лучше. Как слаба сцена сумасшествия; точно он испугался нарушения добродетели. Зачем этот ненужный реализм. Как мог он заставить героя застрелиться на могиле предка, а ее вернуться к мужу. Они должны были оба умереть, исчезнуть; он – в монастыре в Италии, она – в портрете Latour'a[4] или в старой беседке. И почему она ничего не чувствовала; времена должны были совсем слиться, она должна была все вспомнить. А она была слепа и moderne**, как сам Henri de Regnier. Эта книга не удовлетворяет, но я очень рада, что прочла ее. Местами она великолепна. А потом меня просто волновало то, что она происходит в Париже. Я читала эту книгу, сидя у наших трех юношей,[5] они были тут же. «Вот, – закричала я, – вот здесь один подъезжает к Gare Mont Parnasse***», и они все бросились читать это место. У них к Парижу такие же чувства, как и у

* «Живое прошлое» Анри де Ренье *(фр.)*.

** Современна *(фр.)*.

*** Вокзал Монпарнас *(фр.)*.

меня. И главный момент в нашей жизни – почта из Парижа. У Алеши там живет знакомая,[6] и вообще эта традиция установлена до моего приезда из Парижа, я только ей следую.

Спасибо за краски!

Давайте напишемте роман вроде «Passé vivant», только в России. Хотите?

[1] Датируется по связи с п. 54 и 57.

[2] «Живое прошлое» – роман Анри де Ренье (1905). Русский перевод: *Ренье А. де.* Собрание сочинений: В 17 т. Пер. с фр. под общей ред. М.А. Кузмина, А.А. Смирнова и Федора Сологуба. Т. 8. Живое прошлое. Пер. и предисл. М.А. Кузмина. Л.: Academia, 1925. Волошин посвятил этому роману отдельную статью («“Le passé vivant”. Новый роман Анри де Ренье»), опубликованную в газете «Русь» (1905. № 102. 20 апр. С. 2; см.: Т. 5 наст. изд. С. 540–542, 840–841). Нет сомнений, что Сабашникова прочитала эту книгу по рекомендации Волошина.

[3] Шарль Ловро – один из основных персонажей романа «Живое прошлое».

[4] Имеется в виду Морис Кантен де Латур, автор многочисленных портретов. В 1750 г. получил титул «королевского живописца». В романе «Живое прошлое» немаловажную роль играет портрет одной из героинь, «прекрасной Антуанетты де Сафри», выполненный Латуром в 1746 г.

[5] А.Л. Любимов, П.В. Пашин и А.В. Сабашников.

[6] Речь идет о М.К. Гринвальд.

57. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

21 июня / 4 июля 1905 г. Цюрих

4 июля 1905.

Любимов принес мне в Политехникум[1] Ваше письмо[2]; я не успела распечатать его, как вошел лектор-чех[3] и начал говорить. Меня поразила фраза, п<отому> ч<то> я только что написала ее сама: «Человек больше первоначального бога. Воля и интеллект могут только создать закон, бог не свободен; победить закон может одна любовь. Поэтому Вотан, воплотив все, что в нем было человеческого и творческого в

Брунгильде, послал ее на землю, а сам стал только созерцать. Затем он заговорил о человеке-герое – Зигфриде. Он был свободен, но не знал этого, в нем была непосредственная радость деятельности, но не было любви и страдания. Это был герой наивности и чистоты; он мог пройти через огненное кольцо и приблизиться к Брунгильде, но не мог остаться с ней. Она полюбила человека, отдала ему свое божественное сознание. Он клялся ей в верности, но ему нужно было уйти, чтобы совершить подвиги, и ему довольно было выпить из чаши забвения, чтобы совсем забыть ее. Как будто бы Брунгильды не существовало; он не мог помнить, он все забыл. Он был с другими. Для других нужно было ему добыть кольцо Нибелунгов, в образе другого он вновь приходил к ней. И Брунгильда в ужасе не понимает, как этот смертный не герой приблизился к ней, пройдя через огонь. Она отдала Зигфриду свое божественное сознание и не понимает. Он взял кольцо, он уже хочет отдать его другим. Он ничего не помнит. Но его ранят; ранят в спину, как героя. Когда пришла смерть, он вспомнил все... и Брунгильду. Он сжимает палец с кольцом так, что после его смерти его не могут снять, и вместе с ним оно возвращается в Рейн.

Герой, как всякий герой, погибает. Другие могут забывать и продолжают жить. Зигфрид не мог. Он погиб, п<отому> ч<то> у него не было любви и страдания, и он возрождается в Парсифаля – прошедшего сквозь страдание и знающего сострадание и любовь.

Вам не скучно слушать немецкую лекцию?

Этот герой, чистота которого не убоялась огненного кольца Брунгильды, его приближения к ней, его странная забывчивость, ее тоска при виде приближения к ней другого, в кот<ором> она не узнает Зигфрида, – всё это мне было очень понятно. И мне так понравилось, что в момент смерти он все вспомнил и не отдал кольца. Правда, это хорошо?

Лекция кончилась. Выходили из залы студенты и студентки; претенциозные немки в empyr'ax *<sic!>*[4], белобрысые инженеры. Я прочла Ваше письмо.[5] «Зеркало» – очень хорошо. Первые две строчки прекрасны. Во второй строфе –

мне не нравятся трубы. Мне всегда представляет<ся> чистое и грустное весеннее небо вечером. Мне не нравятся «черною тоской запекшиеся губы». Они запекшиеся и черные, сами губы должны быть черные, но не тоска. Как хорошо: и комната во мне... и капает вода... Но мне не нравится: предметы движутся, отходят вырастая. Предметы застывают и тают отходя; почему вырастают? А Вы забыли бледное лицо неподвижное и ожидание, и вопрос в глазах. Ритм часов и капель хорош очень, но недостаточно ясны их слова и их утверждение. Четвертая строфа хороша; последняя могла бы быть гораздо лучше. Это такая чудная мысль; нужно сказать о глубине, в кот<орой> все остается, но не нужно говорить, «верю я глубоко». Это банально. Простите, что я так бесцеремонно обращаюсь с Вашим стихотворением; но оно мне кажется столько же моим, как Вашим, и я имею на него какие-то права. Мне бы хотелось больше глубины в комнате, страшных теней; и окно, и огни в городе. Трубы напоминают фабрики; хотелось бы побольше точности и ясности в формах. Вы не любите поправлять Ваши стихи?

Ваши письма меня трогают; есть что-то дрожащее и мучительное в этом страхе забыть. Лучшие воспоминания моего детства: волнение и радость, когда падала звезда и нужно было успеть сказать желание. Мыльные пузыри, дрожащие на конце соломинки и переливающиеся всеми цветами радуги; когда он отделялся и летел, с какой страстью я молилась, чтобы совершилось чудо, и он не лопнул. А колеблющееся пламя свечи, которую нужно донести от всенощной домой, чтобы зажечь свою лампаду. Ваши слова – такие живые, пылающие и мерцающие, как эта свечка на ветру. Иногда какой-то голос шепчет мне: лучше скорей дунь сама. Но я боюсь темноты. Пускай она сама гаснет; я ничего не скажу тогда.

А если он спросит о том, как свет угасал.
Скажи, что я улыбалась, боясь, чтоб он не рыдал.[6]

Этот барельеф Орфея...[7] В нем так много нашего. Как странно все формы, все слова, кот<орые> встречаешь, отвечают душе. Правда? Какая цепь охватывает мир. И стоит тронуть один конец, как зазвенит другой.

Я Вам ничего не написала о стихотв<орении> «St. Cloud».[8] Оно слишком близко, чтобы о нем говорить. Оно очень хорошо. 2 слова мне не нравятся «какая темная *обида*» и *необычайны.* Они не у места. Пишите, я жду.

Я даже люблю Цюрих за эти письма.

Получила письмо от А<нны> Р<удольфовны> из Лондона.[9] Она в восторге.[10] Но ее письма вовсе не то, что ее присутствие.

Получили ли мое письмо, кот<орое> я опустила вчера?[11] Я не уверена, что опустила его в почтовый ящик.

[1] Цюрихский политехникум (основан в 1855 г.; с 1911 г. и до настоящего времени – Швейцарский технический университет) – одно из передовых учебных заведений Западной Европы в конце XIX – начале XX в.

[2] См. п. 53.

[3] Имеется в виду Роберт Зайчик (1867–1965), писатель, историк литературы, культуролог и критик, родился в Литве; с 1885 г. – в Западной Европе. Учился в Вене и Берне. В 1895–1914 гг. – профессор цюрихского Политехникума (преподавал современную литературу, в частности, русскую); в 1914–1925 гг. – профессор в Кельне. Автор многих (написанных по-немецки) работ, посвященных западноевропейской и русской культуре («Мировоззрение Достоевского и Толстого», 1893). Книга Р. Зайчика «Люди и искусство итальянского Возрождения» была издана в русском переводе (СПб., 1906).

«В Цюрихе мы много занимались Рихардом Вагнером, – вспоминала позднее Сабашникова. – В аудитории Высшего технического училища я слушала профессора Зайчика о “Кольце Нибелунгов”. Хотя сам лектор оттолкнул меня полным отсутствием благоговения перед глубиной того, о чем он говорил, – он, казалось, просто играл этими мыслями, – но его идеи о мифах меня заинтересовали» (Зеленая Змея. С. 127).

[4] Т.е. «в ампирах» (одежде стиля «ампир»).

[5] См. п. 53.

[6] Неточная цитата одной из песен Метерлинка («А если он возвратится...») в сб. «Serres chaudes» («Теплицы», 1889). Сабашникова цитирует неоднократно публиковавшийся к тому времени перевод Брюсова (впервые: Книга Раздумий. К.Д. Бальмонт. – Валерий

Брюсов. – Модест Дурнов. – Ив. Коневской. СПб.: типография В.С. Балашев и К°, 1899. С. 52). Точный текст (в переводе Брюсова): «А если он спрашивать будет / О том, как свет угасал? / – Скажи, что я улыбалась, / Чтоб только он не рыдал».

[7] См. примеч. 3 и 4 к п. 52.

[8] Имеется в виду стихотворение «Второе письмо» («И были дни как муть опала...»). См. примеч. 18 к п. 52.

[9] 11/24 июня 1905 г. А.Р. Минцлова уехала из Парижа в Лондон на Теософский конгресс (IV Ежегодный конгресс Федерации европейского отдела Теософского общества).

[10] В письме к Сабашниковой от 17/30 июня 1905 г. Минцлова сообщала: «Милая, мне так странно и хорошо на душе, все время. Я сама не знаю, что это, – какой-то духовный расцвет, страшный подъем души на головокружительные высоты» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 87, л. 3).

[11] См. п. 56.

58. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

21 июня / 4 июля 1905 г. Париж[1]

4 июля. 1905.

Пришла июньская книжка «Вопросов Жизни» и в ней продолжение «Религии Диониса».[2] Там говорится об тризнах, о похоронных маскарадах, как начале всех масок. Но есть еще более важное. Об этом сказано несколько фраз, и теперь во мне это растет и обобщается и применяется к происходящему в России.

Это обычай человеческих жертвоприношений. Избранный для жертвы становился царем – богом в течение года, а затем его торжественно убивали.

«Кто царь, тот обречен; кто обречен – тот царь. И царь – бог».[3]

В Персии осужденного на смертную казнь сажали на царский престол и облекали в царские одежды.

То же происходило в Мэзии[4] во время сатурналий. Выбирали юношу и одевали в царские одежды, а потом он убивал себя мечом пред алтарем.

Обряд сатурналий совершался и над Христом перед распятием во всех своих деталях.

Статья заключается фразой:

«Трагедия эпохи исторической в своих последних корнях восходит до глубокой реальности религиозного цареубийства — богоубийства».[5]

Тут уж совсем ясно...

В эпохи, когда буря сотрясает душу народную до самой глубины, должна снова возникать старая вера в священство Царя, и Царь приносится в жертву. Публичная казнь Царя — это апофеоз царской власти. Он действительно, к<ак> агнец, принимает на себя грехи своего народа. И это должна быть не гибель от руки случайного человека, а торжественное народное жертвоприношение.[6]

В слабости, безволии, чувствительности и слепоте Николая II есть что-то, что ясно указывает на его обреченность. У Людов<ика> XVI это было, но в несравненно меньшей степени. Но и громадность, и полнота искупления далеко не были так значительны, как это предстоит теперь.

Я прочел статью Вяч<еслава> Иванова, уже переведя «Казнь» Верхарна, и только тогда понял значение этого стихотворения. На самом деле Верхарн говорит о другом. Я изменил несколько строчек.

Сознание священной неизбежности казни Царя во мне теперь растет не переставая.

Это мне чувствовало<сь> еще в январе в Петербурге, но неясно и смутно.[7]

И это не месть, а искупление. Возвращение к первоисточникам народным. Именно он должен быть лично совсем невинен — безвольно виновен.

Мятеж на Черном море меня очень волнует. Я не думаю, чтобы волна могла захватить и заплеснуть в Коктебель. Но и это оставляет какое-то беспокойство.

Только что в вечерних телеграммах известие о том, что «Потемкин» пришел в Феодосию.[8]

Может быть, это и неправда.

Я кончил «Bouddhisme Ésotérique».[9] Она запутанна и тяжело написана, эта книга не талантлива, но раскрывает громадную мировую концепцию. Я ничему не удивился в ней. Я все уже предчувствовал и знал в принципе. Но развитие, чертежи мирового хода поразительно интересны. Сознательное бесконечно увеличивается, но вечность чуточку уменьшается. И потом все это имеет свое течение во времени, а мое познание остановилось на пороге той двери, за которой «времени больше не будет».[10] Там все основано на причинности, а для меня уже становится ясно, что причинность — это только перспективный обман глаза, глядящего сквозь время.

Прислать Вам эту книгу? Она очень много, необыкновенно много дает, но оставляет жаждущим. Она кажется очень законченной, а на самом деле только чуть-чуть приоткрывает занавес.

Я не помню той вещи Гофмана, о которой Вы пишете.

Странно совпадение. Я все думаю о значении цареубийства и вот сегодня получаю письмо от В. Бурцева (знаете того знаменитого террориста, который два года сидел в английской тюрьме),[11] где он пишет о том, что он хочет со мной познакомиться и придет завтра утром. И прислал свои три книжки с призывами к цареубийству.[12] Я его раньше никогда не встречал и только недавно, по просьбе Амфитеатрова,[13] послал ему «De profundis» Уайльда.[14]

Точно удав из того рассказа...[15]

Очевидно, с ним нужно поговорить о «жертвоприношении». Меня это очень интересует.

Только что у меня был Мих<аил> Самойл<ович>. Я ему читал отрывки из масонских книг, и мы рассматривали магические таро и каббалистические знаки. Есть ужасно жуткие и по самой форме значительные. Их словами не опишешь.

Но об этом мы говорили мало, т.е. он не говорил, а слушал и рассматривал.

Наши разговоры пока сводятся больше всего к миру Ольги Михайловны (той дамы, у которой он жил). Эта реальная связь мира в прошлом очень сближает.

Мне чувствуется, что наша стремительность уже обращена друг другу, но как-то мы все не можем столкнуться, прорвать плеву.

Эти цепочки, которые звенели у извозчиков... Мне стало так больно и стыдно... и невозвратно. Я так ясно вспомнил Ваш голос, которым Вы мне сказали как-то, когда я пришел:

«Как странно, что я никогда раньше не слыхала этого позвякиванья среди парижских звуков, а теперь вдруг стала слышать».

И я тогда ничего не понял, ничего не заметил... Мне страшно: значит, если это так, если это настолько было, то это всегда бывает, тысячи раз бывает.

«Мы – слепые. Может быть, мы делаем и говорим ужасные вещи и не знаем этого».

Вы говорите еще:

«Я так теперь боюсь слов своих и Ваших. Мои вызывают Ваши, а мне нужно вызвать только те, которым я могла бы верить. Мне, это мне нужно уметь молчать».

Нет, нет, только не молчите.

«Soit sincère envers le moment. Chaque sincérité qui dure est mensonge»*.[16]

Я вчера Вам писал другое. А теперь я радостно верю, что пока Вы видите меня таким, как Вы видите меня, до тех пор я таким и буду. Мы не только создаем себе людей, но и сами становимся их созданиями, и так должно быть, и так есть. Пока

---

* «Будь искренним перед мгновением. Искренность, которая длится, – ложь» *(фр.)*.

Вы так обо мне думаете, я к Вам, с Вами, при Вас – я всегда буду такой, цельный и нераздельный, и сам себя таким ощущающий вне всяких раздвоений. И где же кончается я, и где начинается отражение во мне? Почему «Бессонные глаза и черною тоской запекшиеся губы» не мои? – они ведь только во мне живут и во мне умирают. Я ведь не вижу физического различия между собой и отраженным во мне. Я не знаю, где кончаюсь я, где начинается отраженное во мне чувство. Когда я отражаю, то я сам, весь, целиком, без всякой остаточной мысли, становлюсь этим отражением. Я не думаю тогда и не знаю, что я отражаю. Когда я писал все те стихи, что я послал Вам, я ведь не знал, где кончалась моя мысль, где начиналась Ваша. Так пророки говорят, исполнившись Св<ятого> Духа. Разве они знают, где кончается их слово и начинается слово божественное. И я теперь пишу, исполнившись Вами. Может быть, я только мертвые дети оракула. Может быть, в этом наибольшая полнота слияния, доступная мгновениями. А вне этого –

И между всех ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он...[17]

Когда мне случалось написать хорошую строфу – бывало, что они приходили в голову сразу, целиком, то это всегда бывало так похоже на воспоминание, что я долго иногда сомневался: мои ли это стихи, может быть, просто вспомнились. И то же со всеми мыслями, которые приходят совсем как воспоминания.

Теперь, читая «Эзотерический буддизм», меня это страшно поражало.

Все, что касается области познания, мне всегда казалось воспоминанием.

И когда Ваше лицо, царевна Таиах, отражается во мне, когда Ваш дух наполняет меня – уста мои раскрываются.

Вы помните... нет, Вы не знаете ее...

Одну из историй об M-r Амеркере у Анри де Ренье.[18] Г-н Амеркер – кавалер XVIII века, выиграл в карты *тень* одной дамы, которую он любил. И он в течение месяца выстроил великолепный дворец (совсем как Багатель была выстроена

графом д'Артуа на пари с Марией Антуанетой[19]) с обстановкой, массой зеркал, столовой, спальней. И когда все было готово, то дворец был освещен десятками люстр, и дама, обожаемая им, должна была войти в него, совершенно одна, пройти по всем залам, отразиться во всех зеркалах, совершенно одна провести ночь, и после он, не входя туда, запер дворец, закрыл все ставни, и никто туда ни до нее, ни после нее не входил никогда.[20]

Я думаю, что в моей душе есть такой же дворец... В нем все зеркала отражают Вашу тень,[21] его ставни заперты, и туда никто никогда не входит.

Милая Маргарита Васильевна.

Я согласен со всем, что Вы пишете об «Passé vivant», и все-таки я очень его люблю.[22] Это очень ловко сделанная акварель. Краски так ловко положены, так прозрачны и воздушны, что прощаешь поверхностность и неправильность рисунка.

Написать роман? Как же можно написать его? Если бы мы вместе были? Эти два слова так напомнили эпизод «страшного сна»...[23]

А какая именно у Вас мысль?

[1] Ответ на п. 54 и 56.

[2] См. примеч. 5 к п. 23.

[3] *Иванов В.* Религия Диониса. Ее происхождение и влияние // Вопросы Жизни. 1905. № 6. С. 218.

[4] Мэзия (Мезия) – область в античном мире между Нижним Дунаем и Балканами; ныне – территория Болгарии, частично Сербии и Румынии (у Вяч. Иванова сказано: «современная Болгария».)

[5] Вопросы Жизни. 1905. № 6. С. 220. Волошин приводит последнюю фразу ивановской статьи в сокращении. Полный текст: «Так, трагедия эпохи исторической, представшая нам в своих ранних и уже незапамятных начатках в образе человеческого жертвоприношения, совершаемого в фиктивной обстановке похоронного маскарада, восходит, быть может, в своих последних корнях до глубоко забытой реальности каннибальского религиозного цареубийства – богоубийства».

[6] В письме к А.М. Петровой, написанном в тот же день (21 июня / 4 июля 1905 г.), Волошин излагает свою точку зрения на русский царизм и цареубийство такими словами:

«Русский царизм – это одно из разветвлений религии страдающего бога... Царизм вытекает из человеческих жертвоприношений. Убийство Царя имеет священный и ритуальный характер... Но не убийство личное, а народная казнь. Это жертва и апофеоз. Тогда Царь – Агнец, принимающий на себя грехи мира... Так заканчивалась царская власть во всех странах... Это мистическое жертвоприношение» (Т. 9 наст. изд. С. 208).

[7] Волошин имеет в виду расстрел мирной демонстрации в Петербурге 9 января 1905 г. Это событие, очевидцем которого он оказался, Волошин описал в статье «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге. Рассказ очевидца» (см.: Т. 5 наст. изд. С. 494–498, 823–824).

[8] «Князь Потемкин Таврический» пришел в Феодосию ранним утром 22 июня / 5 июля 1905 г. и, став на рейде, потребовал снабдить корабль углем, продуктами и водой. Отказав мятежному броненосцу в угле, феодосийские власти предоставили матросам продукты. Из Феодосии «Потемкин» направился в Румынию и в порту г. Констанцы сдался румынским властям.

[9] Книга А.П. Синнета (см. примеч. 11 к п. 55).

[10] Аналогичный отзыв о книге Синнета содержится в дневнике Волошина (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 221).

[11] В.Л. Бурцев был арестован в Лондоне в декабре 1897 г. и осужден в феврале 1898 г. за серию статей, призывающих к революционному террору; отбывал наказание в Пентенвильской каторжной тюрьме, откуда был освобожден летом 1899 г.

[12] Вероятно, Волошин получил от Бурцева следующие издания: «Белый террор при Александре III» (Женева, 1890), «За сто лет (1800–1896), «Сборник по истории общественных и политических движений в России» (ч. 1–2. Лондон, 1897) и «Долой царя!» (Лондон, 1901). Возможно также, что Бурцев прислал ему отдельные книжки «Былого» (Лондон, 1900–1904).

[13] Имеется в виду писатель А.В. Амфитеатров, многолетний корреспондент В.Л. Бурцева. Знакомство Амфитеатрова с Волошиным состоялось в Париже в 1905 г. См.: *Грякалова Н.Ю.* «Священное жертвоприношение» (Александр Амфитеатров и Максимилиан Волошин в 1905–1906 годах), в кн.: *Грякалова Н.Ю.* Человек модерна. Биография – рефлексия – письмо. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008. С. 76–93.

[14] Волошин послал Бурцеву третью книжку «Весов» за 1905 г., где были напечатаны отрывки из тюремных записей Уайльда («De profundis») в переводе Е.А. Андреевой (см. примеч. 14 к п. 52). В сохранившейся открытке Бурцева к Волошину от 20 июня / 3 июля

1905 г., где речь идет о их предстоящей встрече, сказано: «Посылаю Вам 3 свои книжки. “Весы” возвращу сам» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 303).

[15] Какой именно рассказ имеется в виду, неясно. В дневнике Волошина записаны слова Сабашниковой, имеющие, возможно, отношение к этому «рассказу»: «Вы положили мертвого удава, и он приманил живого. Так всегда бывает» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 220).

[16] Неточно приведенные слова одной из «заповедей» Монели (см. примеч. 2 к п. 40). Правильно: «Soit sincère avec le moment. Toute sincérité est mensonge» (*Schwob M*. Le livre de Monelle. Paris: Librairie Stock, 1923. P. 25).

[17] Неточная цитата из пушкинского стихотворения «Поэт» (1827). У Пушкина: «И меж детей ничтожных мира, / Быть может, всех ничтожней он».

[18] Волошин имеет в виду «Рассказы о маркизе д’Амеркёре», переведенные им впоследствии на русский язык; см.: Т. 4 наст. изд. С. 646–702 (впервые – Аполлон. 1910. № 6; раздел «Литературный альманах». С. 1–49; отд. изд.: *Ренье А*. де. Маркиз д’Амеркёр / Пер. М. Волошина. М.: Альциона, 1914).

[19] См. примеч. 6 к п. 52.

[20] Речь идет о рассказе «Великолепный дом» (см.: Т. 4 наст. изд. С. 697–702). Этот же рассказ Волошин пересказывает в статье «Багатель» (Т. 5 наст. изд. С. 604–605).

[21] Ср. с темой «зеркала» в п. 8, 25, 32 (примеч. 2) и 203.

[22] См. примеч. 2 к п. 56. О многолетнем увлечении Волошина творчеством Анри де Ренье см. коммент. А.М. Березкина к статье «Анри де Ренье» (впервые – Аполлон. 1910. № 4. С. 18–34) в кн.: Т. 3 наст. изд. С. 483–484. См. также: Максимилиан Волошин и Анри де Ренье (Неизданные материалы) / Публ. П.Р. Заборова // Максимилиан Волошин. Из литературного наследия I. СПб.: Наука, 1991. С. 302–324.

[23] Мотив «страшного сна» постоянно возникает в переписке и общении Волошина и Сабашниковой весной и летом 1905 г. «Земные ласки! – записывает она, например, в своем дневнике 26 апреля / 9 мая 1905 г. (получив от Волошина свои письма к нему). – О всё, всё во мне таилось к Тебе. Скажите, что это страшный сон, скажите, что это неправда, неправда, неправда» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 64). Ср. также упоминания о «страшном сне» в п. 54, 55, п. 59 и 61.

59. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

22 июня / 5 июля 1905 г. Цюрих[1]

Забудь мятежное признанье!
Умрите, страстные слова!
Я вновь недвижна и мертва,
Как восковое изваянье.

На твой алтарь средь белых свеч,
Смирившись, встану, и блистая,
Застынет риза золотая,
Спадая с полудетских плеч.

Сандалий тяжких украшенье
Не сдвину маленькой ногой.
И белых рук благословенье
Окаменеет над тобой...

Потоки слез окаменеют,
Как грозди дорогих камней.
В венце они, как семь огней,
Семь ярких звезд запламенеют.

Мне не поднять тяжелых век
Над взором, грустью затемненным,*
И лишь коленопреклоненным
Тебя мне зреть дано навек.

Верна мечте своей жестокой,
Я не пойду вслед за тобой
На праздник. Тенью одинокой**
Я здесь дождусь тебя, герой!***[2]

Я слишком спешу сейчас и не могу кончить стихотворения. Простите мое вчерашнее безумие. «Это ветер с цепи сорвался». Упоминание Ек<атерины> Ал<ексеевны> и ее (увы) слишком поспешного жеста[3] и многое другое разбудило страшный сон.[4] Теперь все прошло. Вагнер прогнал его. А сей-

* *Было:* И взором скорбным затемненным
** *Было·* Туда – Святой и одинокой
*** *Было:* Тебя здесь жду, о рыцарь мой!

час пришло Ваше письмо.[5] Сегодня вечером буду писать Вам об очень многом. Получили ли Вы письмо о Зигфриде?[6] Пока отсылаю это. До свиданья, до свиданья.

Ужасно много интересного; но сейчас я должна бежать в город. Отчего Вы не счастливы? Как я хочу, чтобы Вы были счастливы.

[1] Датируется по связи с п. 57 («мое вчерашнее безумие» и др.).

[2] Это неоконченное стихотворение Сабашниковой упоминается в письмах Волошина от 13/26 и 17/30 декабря 1906 г. с заглавием «На твой алтарь» (см.: Т. 11, кн. 2 наст. изд.).

[3] Имеется в виду упоминание об Е.А. Бальмонт в п. 54.

[4] См. примеч. 23 к п. 58.

[5] Т.е. п. 55.

[6] См. п. 57.

60. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

22 июня / 5 июля 1905 г. Цюрих[1]

В какое необъяснимое волнение привело меня Ваше письмо. Если бы я сама знала, почему. Если бы я что-нибудь знала о себе, если бы знала, чего ждать, с чем бороться! Как назвать то, что вдруг встает в душе и чего-то требует так властно, потом прячется, ложится на самое дно, закрыв глаза, так что я забываю о его присутствии. Вот оно встало опять и то, что я называла сном, снова во мне и со мной. Эти прикосновения холодного стекла, это удар о холодное стекло. Ах! мне хочется иногда разбить его! Я не знаю, отвечать ли Вам. Я не знаю, могу ли я говорить с Вами, должна ли говорить. «Мы живем и дышим жизнью не одною».[2] Видите ли, Вы не понимаете, что только сантиментальность, сочиненное чувство, боится встречи с мистером Хейдом. Бог с ним, с этим выспренним чувством, которое смотрит поверху и боится спуститься с облаков на землю. Я бы ненавидела человека, который смотрел бы мне на лоб и никогда не смотрел в глаза.[3] Да, такому человеку можно крикнуть: я устал от лунных снов.[4]

Разве такие люди могут помочь даже в борьбе с мистером Хейдом? Если это так действительно, его нужно скорее убить, этого человека.

Вы спросите, чего я хочу. Я хочу все знать, я хочу знать мистера Хейда. Я люблю мистера Хейда в мистере Джикиле, я хочу любить Джикиля в Хейде. Слова, слова... А у меня нет слов. У меня один порыв, одна тоска. Да, пускай он покажется. Я не боюсь его. Я должна, Вы поймите, я должна его знать, или эту игру в жмурки нужно прекратить...

Разве Вы не знаете, что нельзя здороваться на пороге?

Войдите совсем, в эту минуту я протягиваю Вам руки, я жму Вашу руку, милый Макс Александрович. Для Вас это один символ или Вы чувствуете прикосновение. Ах, как я мало знаю Вас![5]

О стихах и о другом я напишу в другой раз. Какая черная тоска[6] слепит глаза и сжимает сердце.

[1] Ответ на п. 55. Датируется по связи с предыдущим письмом.

[2] Из стихотворения П.С. Соловьевой (Allegro) «Море любит землю, вечно негодуя...», вошедшего в ее сб. «Иней. Рисунки и стихи» (СПб.: Р. Голике и А. Вильборг, 1905. С. 107).

[3] Сабашникова цитирует фразу из письма Волошина (см. п. 55).

[4] Из стихотворения Волошина «Эпилог» (впоследствии — «Таиах»); см. п. 47.

[5] Через несколько дней, 4/17 июля, осмысливая в дневнике откровения Волошина в его июльских письмах по поводу «второго лица» («мистера Хайда») и его «исповедь» — признание в близости с В. Харт (см. п. 63), Сабашникова писала в своем дневнике:

«Теперь, когда в этом чистом и ясном ребенке мне открылся холодный зверь, я вспомнила, что такие двойственные люди притягивали мое внимание; признаки борьбы, жертвенная кровь... Это было всегда так. Его полное равнодушие ко мне, т.е. не равнодушие, а отвлеченный восторг, в кот<ором> не участвует чувство, вызывает во мне непонятную ревность; мне хочется ему помочь в его борьбе, в моей душе вырастает что-то горячее и материнское. Иногда оно встает со дна так громко и властно говорит, что я пугаюсь его присутствия. И это было тогда, когда на его письмо, где он говорит о Мистере Хейде, кот<орый> живет в нем, я потребовала появления Хейда. “Я бы ненавидела человека, кот<орый> видел бы меня все время лучше, чем я есть, смотрел бы выше на лоб и никогда не смотрел бы прямо в глаза, да такому человеку можно крикнуть: я устал

от лунных снов, — писала я ему. — Если это верно и я Вас вижу другим, лучше прекратить эту игру в жмурки. Разве Вы не знаете, что на пороге нельзя здороваться: войдите, вот Вам моя рука, я не боюсь”.

И тогда в ответ я получила эту ужасную исповедь. Строчки прыгали у меня в глазах, когда я читала письмо; я должна была сесть.

Это все произошло в Париже тогда в промежуток этих писем. Вот оттуда его трагические глаза, кот<орые> избегали мой взгляд; его исчезновения...» (ИРЛИ, ф. 562. оп. 5, ед. хр. 22, л. 78—78 об.).

[6] Намек на «черную тоску» в стихотворении Волошина «Зеркало» (см. примеч. 2 к п. 53 и п. 57).

61. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

23 июня / 6 июля 1905 г. Париж

12 час<ов> утр<а>. 6 июля 1905.

Только что был у меня Бурцев. Это маленький худой человек, с очень нервным лицом, с бледными, светлыми, очень добрыми и лас<с>ковыми глазами, с козлиной бородкой, в очках.

Робкий, болезненный, застенчивый.

Я его почти так и представлял по тому, что слышал о нем. Он должен был быть таким, этот страшный террорист, который был осужден английским судом за то, что он печатно приглашал к убийству царя и печатал в своем журнале рецепты динамитных бомб.[1]

Я, конечно, сейчас же стал ему читать Верхарна[2] и цитировать Вячеслава Иванова, и говорить о торжественном всенародном жертвоприношении — цареубийстве.[3] Он совсем испугался и ласково сказал:

«Нет, я только попугать хочу. Я совсем не за убийство. Я только за Террор. Нужно, чтобы всегда Террор был. А убивать и казнить не нужно. Я думаю, что все скоро кончится. Мирно поладят».

Потом мы говорили о многом другом, и, уходя, он спросил: «А нет ли у Вас писем Пушкина, изданных Брюсовым.[4] Я, знаете, больше всего библиографию люблю».

Вечером.

У Гольштейнов умер внук — мой крестник.[5] Самый младший из тех трех, с которыми Вы в прошлом году уезжали из Парижа.[6]

Он умер здесь в Париже. Он заболел по дороге, и его привезли умирающим.

Алекс<андра> Васил<ьевна> провела меня в свою комнату.

«Вот так... приехала и положила мне его умирающего на руки. Через сорок восемь часов он умер... Вот здесь — на моей постели... Видите два углубления... Так и не трогали».

И она вдруг обняла меня за шею и заплакала. Ее лицо сразу сделалось совсем старым, и в то же время можно было угадать, какое оно было в самой молодости.

«Я ничего... Я просто горюю, по-человечески. А вот Влад<имир> Августов<ич>[7] и Наташа...[8] Они скрывают, замалчивают... Я ночью сегодня заснула. А Влад<имир> Августович всю ночь сидел... там. Я думала, он с ума сошел. Он был совсем потерянный. Говорил «его нужно сжечь. Он не должен в *чужой* земле лежать». Я от него никогда таких слов не слыхала. Он ненавидит Россию. Теперь целый день говорит о политике — опьяняется. Потом вдруг рыдать начинает...»

Меня просили его нарисовать.

Я просидел несколько часов около него один в комнате с опущенными жалюзи. Ему 1½ года. Он весь обложен цветами — большими стеблями лилий. Я в первый раз видел смерть так близко, так интимно. Он был удивительно хорош. Эта тонкая отточенность матового детского лица и глубокие темные линии смерти вокруг глаз. И сквозь запах цветов этот странный запах тления: сладкий, жуткий, заманивающий. Эта легкая желтизна слоновой кости под белой вуалью, которая проходила струйками.

Чувствовалась какая-то ласковая, ласковая рука Смерти. Точно она тихо погладила по голове, приголубила и закачала.

Вспоминалась Лепестинья (Соллогуба <*sic!*>).[9]

Ночь.

Перед самой ночью я ходил по парку. Из-за сосен за озером поднялся тонкий серп — как нить алмазна<я>. Поднялся с правой стороны.

Помните, когда мы подходили к Бастилии и оба заметили месяц с левой стороны и говорили об этом? Ведь это было как раз накануне «страшного сна». На другой день все началось.

Теперь идет дождь... Я слышу за окном, как он стелется мягко непрерывно, ровно, не нарушаясь никаким звуком города.

Я хожу по комнате, прислушиваюсь, и в душе у меня складываются и плывут строфы, которые еще в парке пели и пели, и никак не могли найти себя.

Небо в тонких узорах
Хочет день превозмочь,
А в душе и в озерах
Опрокинулась ночь.
Что-то хочется крикнуть
В эту звездную пасть,
Робким сердцем приникнуть,
Чутким ухом припасть...
И идешь... и не дышишь...
Холодеют поля.
Ты послушай... Ты слышишь —
Это дышит земля.
Я к траве припадаю...
Быть твоим... навсегда...
«Знаю... знаю... всё знаю», —
Шепчет вода.
Ночь темна и беззвездна...
Кто-то плачет во сне...
Опрокинута бездна
На водах и во мне...[10]

[1] См. примеч. 11 к п. 58.

[2] Имеется в виду стихотворение «Казнь (Воспоминание из Верхарна)» (см. примеч. 16 к п. 55).

[3] См. об этом примеч. 5 и 6 к п. 58.

[4] Речь идет об издании: Письма Пушкина и к Пушкину. Новые материалы, собранные издательством «Скорпион». Ред. и примеч. Валерия Брюсова. М.: Скорпион, 1903.

[5] Сын Ю.Ф. и Н.В. Семеновых.

[6] См. примеч. 3 к п. 13.

[7] В.А. Гольштейн.

[8] Наталья Юльевна Семенова – дочь Ю.Ф. и Н.В. Семеновых.

[9] Старая нянька в «лирическом рассказе» Ф. Сологуба «Земле – земное» (1898), впервые напечатанном в петербургском журнале «Север» (1898. № 21. 24 мая. С. 645–650; № 22. 31 мая. С. 677–680; № 23. 7 июня. С. 707–712; № 24. 14 июня. С. 739–742); вошел в книгу рассказов Ф. Сологуба «Жало смерти» (М.: Скорпион, 1904).

[10] Впервые – Русская Мысль. 1907. № 12. Отд. I. С. 130; см. также: Т. 1 наст. изд. С. 64, 455.

62. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

23 июня / 6 июля 1905 г. Париж[1]

Я получил Ваше письмо.[2] Брунгильда и Зигфрид?

«Все формы, все слова, которые встречаешь, – от души. Стоит тронуть один конец, как зазвенит другой»... Весь мир полон прообразов... или зеркал, в которых видишь всегда свои глаза, хотя лицо может быть и иное. Мне радостно, так близко прижав свою голову к Вашей, заглянуть в одно зеркало и увидать их, эти два лица – такие близкие просветленные и иные.

Мои стихи... «Зеркало».

Я с Вами согласен относительно последней строфы и изменю ее.[3] Другие... нет, их я не могу, не в силах изменить. Ваша мечта иначе отразилась и вспомнилась мне. Я видел грозовой вечер и дымы на<д> городом – большим, страшным, верхарновским.

«Отходят вырастая». – Сумерки отодвигают предметы, но величина их остается неизменной. Потому кажется, что они вырастают. У меня всегда такое ощущение. «Бледное лицо... вопрос... страшные тени...» Мне кажется, что это все должно придти и дополниться само по себе из слов сказанных. Нельзя договаривать все. Досказать все признаки. А равновесие стихотворения не позволяет прибавить лишней строфы.

«Бессонные глаза» – разве из этого уже не вырастает все остальное? Это стихотв<орная> реплика на «Зеркало» Малармэ.[4]

«Какая темная Обида...» Ее нужно писать с большой буквы. Я думал о Деве-Обиде[5] и стою за это.

«Необычайны» — это моя вина всецело, и она меня мучает, но не мог найти другой рифмы к «Страшной Тайны», а это должно здесь стоять непременно.

Поздно. Час ночи. Завтра в 9 час. я должен быть на похоронах.

Обрываю письмо, чтобы отправить его завтра утром.

[1] Датируется по связи со следующим письмом (упоминание о похоронах ребенка). См. также: Труды и дни. С. 139.

[2] Имеется в виду п. 57.

[3] Готовя это стихотворение к публикации (см. примеч. 2 к п. 53), Волошин действительно внес в последнюю строфу ряд изменений. Окончательная редакция: «И вновь приходит день с обычной суетой, / И бледное лицо лежит на дне — глубоко.../ Но время, наконец, застынет надо мной, / И тусклою плевой мое затянет око!» (Т. 1 наст. изд. С. 62).

[4] См. примеч. 2 к п. 32.

[5] Образ Девы Обиды восходит к «Слову о полку Игореве». Ср. стихотворение Волошина «Гроза» (из цикла «Киммерийские сумерки», 1907): «То, Землю древнюю тревожа долгим зовом, / Обида вещая раскинула крыло» (Т. 1 наст. изд. С. 93; стихотворению предпослан эпиграф из «Слова»). О различных толкованиях этого образа см. статью Л.В. Соколовой в кн.: Энциклопедия «Слова о полку Игореве». СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. Т. 3. С. 331–335.

63. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

24 июня / 7 июля 1905 г. Париж

7 июля.

Утром были похороны ребенка.[1] Его сжигали в крематории. Это были гражданские врата смерти. Мы ждали в пустой комнате с голыми стенами, с черными скамьями, с солдатами у дверей.

Единственный символ — черная мантия с серебряными звездами. В этой нагой опустошенности она вырастала и казалась ужасно значительной.

Нас с Вебером позвали двоих, как свидетелей при самом сожигании. Маленький деревянный ящик был поставлен на рельсы. Распахнулись широко железные двери, и сверкнул кристаллически белый Царь — Огонь. Две ярких струи — и ворота медленно и беззвучно закрылись.

Когда мы спустились, я увидал три пары совсем бледных глаз, совсем прозрачных от слез.

Вебер положительно и деловито стал говорить: «Да, это очень практично и чисто... Машина прекрасно устроена... Очень опрятно...»

Сидели долго, и совсем не на чем было остановить глаза. Не было ни одного символа смерти. Прислушивались к звукам. Казалось, что слышно пламя машины.

Потом нас с Вебером опять позвали. Сериозные рабочие в форменных фуражках опять распахнули двери смерти. Опять сверкнуло чистое истребительное пламя — огненная Смерть.

На белой асбестовой ткани лежал белый огненный снег. Несколько косточек и немного чистого праху.

Их положили в глиняный белый ящик, и его замуровали в стену очень высоко. Все шли и говорили о том, как это чисто и опрятно, для того, чтобы не говорить о другом.

Ночь

Я получил Ваше письмо. (То, где Вы требуете, чтобы м<исте>р Хайд появился).[2]

Я перечитал его много раз... Да, нужно сказать. У меня есть то, что меня глубоко мучает перед Вами.

Я знал женщин... несколько раз в моей жизни. В последний раз это было этой весной через несколько дней после моих первых писем к Вам.[3] Это началось быстро, продолжалось десять дней... В это время я написал Вам то позорное, оскорбительное стихотворение.[4] Эта любовь кончилась быстро, — отъездом из Парижа. И именно в тот же день я получил то Ваше последнее письмо, где Вы писали о том, что Вы приходили ко мне. Да. И я слыхал Ваш стук, когда Вы приходили, я был дома и не отпер. Я тогда не знал, кто это был.[5]

Тогда вечером я пришел к Вам. И вот почему после я не приходил. Разделение линий ума и сердца – это полное безусловное разделение чувства и чувственности.

Когда я бываю с Вами, и Вы видите д<окто>ра Джикля, во мне не бывает ни капли чувственности. Поэтому Вы обманчиво принимаете меня за ребенка... Но в моей жизни бывают часы и дни, когда приходит чувственность и отравляет всю душу, все зрение. Я не осуждаю чувственность, когда она приходит, облеченная чувством и всеми цветами страсти. Но когда она приходит совсем одна, нагая холодная, то чувствуешь себя опоганенным, зараженным, и не смеешь смотреть в глаза людям.

Каждый борется наедине со своим полом. Я думал, что это случайность, что они, наконец, соединятся во мне в одном цветке, но теперь я знаю, что я исключение, урод и что они никогда в жизни не сольются и не станут святыми...

Вот мой Мистер Хайд и моя вина перед Вами...

Иногда в моей душе живет глубокая смута и отчаяние. Когда их нет – я их никогда не вспоминаю.

Милая, дорогая Маргарита Васильевна, я думал, что я не должен говорить об этом, что я не должен никогда причинять Вам боли, что Вы никогда не должны знать, что у меня было в промежутке между нашими письмами, но теперь я вижу, что я должен принести Вам эту боль...

Вот...

Я не буду писать Вам до тех пор, пока не получу от Вас ответа на это письмо...

А, может, Вы и совсем не ответите...

[1] См. п. 61.

[2] Речь идет о п. 60.

[3] Волошин имеет в виду близость с художницей Вайолет Харт в апреле–мае 1905 г. См. также примеч. 5 к п. 60.

[4] Имеется в виду «Эпилог» (см. п. 47).

[5] Об этом эпизоде см. примеч. 1 к п. 48.

64. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

26 июня / 9 июля 1905 г. Цюрих[1]

9 июля.

Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело...[2]

К сожалению, последующие строки «с ним одним она была добродушна, весела»[3] не всегда применимы. В прошлых двух письмах своих[4] я раскаиваюсь, впрочем, не в письмах, а в чувствах и в плохих стихах. Первая и последняя строфы невозможны. Я изменила их, но Вам об этом знать, пожалуй, и незачем.

Сейчас проводили маму в Россию, и я сижу у семи богатырей.[5] Чувствую себя в Цюрихе dépaysée*. Дорогой мой брат удирает в Париж, конечно, в строгом инкогнито. Какие средства он изобрел для сего путешествия, это тайна изобретателя, и в среду я его провожаю, а, может быть, и во вторник.[6] Не можете ли Вы дать ему у себя приют.[7] Он зайдет к Вам с вокзала же в среду утром или в седьмом часу вечера; если Вам неудобно его принять, ему легко устроиться иначе, и Вы, конечно, ему об этом скажете. Целый день его не будет дома. Теперь Вы убедились, что мое пребывание в Цюрихе действительно необходимо ему?

Знаете, что меня немножко мирит с Цюрихом? Это то, что здесь жил Вагнер. И знаете, что он здесь написал? «Зигфрида» и «Тристана и Изольду»![8] И жил он на том же холме, где теперь поселилась я (мой новый адрес Zürich – Enge Schulhausstrasse 49 bei Frau Liebetanz**). Личность Вагнера меня приковывает. Цикл его драм – его личная драма – драма всего человечества. Его миропонимание совершенно теософское – т.е. индийское, как он говорит. (Отчего это слово «теософия» вызывает у меня отвращение? Нельзя ли называть это самое иначе?) Здесь был у меня один хороший вечер; мы сидели в Ton-Halle*** в саду

* Непривычно, не в своей тарелке *(фр.)*.
** Цюрих – Энге. Шульхаусштрассе 49, у госпожи Либетанц *(нем.)*.
*** Концертный зал *(нем.)*.

и слушали Вагнера весь вечер. Крик Валькирии, я тайно слышала в душе моей, это мой крик.[9] Вся музыка растет изнутри. Макс Алек<сандрович>, Вы должны подойти к музыке. И через Вагнера это сделать лучше всего, п<отому> ч<то> он дает сам ключ, его можно сначала понять литературно, а потом он захватит музыкой. Сделайте это. Ничто так не спасает от «литературы», как музыка; она смеется над всеми словами, она побеждает. Читали Вы письма Вагнера? Они поразительны. Он больше Ницше. Впрочем, я сама только что к ним приступила. То, что Вы пишете относительно апофеоза царской власти, – очень значительно. Но, ради Бога, Вы так спешите. Вы катитесь и подпрыгиваете, как мячик под гору. Знаете, что отличает рождение новой, настоящей оригинальной мысли? – страх. Пустая голова, пустое сердце – ужасно легко и быстро принимают мысль и толкают ее вперед, она растет скоро и смело; очень смело. Когда же дух истинный приходит к новой грани и должен отдалиться еще – на дне его страх. Этот страх отличает истинное завоевание и истинную смелость. Может быть, это парадоксально. Есть ли у Вас этот страх, когда Вы рассуждаете о больших вещах? И когда Вы говорите слова, чувствуете ли Вы их до конца очень реально? Есть две свободы, одна очень дорога, другая ничего не стоит. Кто знает, может быть, Вы только «проводник идей», и они рождаются не в Вас. Впрочем, все сводится опять к заколдованному зеркалу. Зеркало... Наша символика... Анатоль Франс недалеко видел, когда писал Putoi<s>.[10] Объяснять вещи просто, и смеяться любят люди, только что избавившиеся от мнимого страха. Миф не был создан, как Putoi<s>. Миф создал людей, а не они его, он был прежде них.

Вы пишете о смерти Вашего крестника. У нас в деревне почти за каждой обедней стоит покойничек. В корыте в белой рубашечке с красным кумачом между трех очень тонких и очень желтых свечек лежит младенец восковой с синим вокруг глаз. Смерть всегда имела для меня тайное очарование. Меня притягивал вид смерти. Предсмертные слова, как слова любви, меня приковывали в книгах и в рассказах... В деревне это все проще и красивее. Вы это не знаете... А относительно

крестин... Вы крестили, Вы поняли это таинство. Я раз только случайно присутствовала на крестинах чужих детей, близнецов дворника. Я была потрясена. Их крестили в день их рождения. Это были красные сморщенные лягушата, белая перевязка ярко выделялась на их темных прозрачных тельцах, и они кричали, точно квакали, их лица были ужасны. И это существо называли великими человеческими именами и делали его членом великой Церкви, и от бессмертной души его отгоняли темные силы. Точно душа впервые нисходила в это живое тело. Этот животный акт рождения – некрасив, он требует освящения; человек должен иначе рождаться.

Когда я вижу отношение ко всему этому интеллигентов, я прихожу в ужас. Какое кощунство, какая самодовлеющая слепота!

В теософии очень интересует меня вопрос наследственности. Он должен разрешаться совсем иначе. Ведь на крестинах родители не присутствуют. Для матери, так я чувствую, этот момент будет торжественным и великим, но она здесь не при чем. Она рождает тело. Пришлите мне, пожалуйста, «Le bouddisme ésotérique»[11] с Алешей. Он Вам вернет другие Ваши книги. Спросите у А<нны> Р<удольфовны> о наследственности. Интересно отношение связи физической и духовной.

О Ваших стихах. Как их много и как они хороши. Переводы Верхарна в особенности. Первое очень красиво, но для меня несколько темно, а «Казнь» очень понятна. «Булонский лес» мне нравится местами очень и отдельными местами весь, а в общем не производит сильного впечатления; на что-то похож известное. Нехорошо: «украдками». Последнее стихотворение одно из лучших Ваших, по-моему. Все в нем хорошо, кроме

Быть твоим навсегда.
«Знаю, знаю, все знаю», –
Шепчет вода.[12]

Этого я не понимаю. Не слышу ритма. Может быть, нужно было, чтобы Вы сами это прочли.

Я тоже на днях увидала серп луны с правой стороны. Вот 6 месяцев, как я постоянно его видела слева. Эта мелочь меня радует. Ах, как я хочу приняться за что-нибудь цельное и мое собственное! Но тут так трудно заниматься живописью, ничего нет. Я просила Чуйко прислать мне холст. Жду его целую неделю или даже 2 и не получаю.

У меня три идеи и целый день полного одиночества и свободы. Неужели этого мало?

Ну, до свиданья. Я бы болтала с Вами без конца, но нужно опустить скорее это письмо. Может быть, через 10 дней я поеду в Нюренберг. Хотите на прощанье я расскажу сон, кот<орый> я видела по приезде в Цюрих. (Моя бабушка считает рассказы о снах последним делом и всегда нас останавливает.) Вы знаете мои знаменитые политические сны, кот<орые> всегда происходят в Богдановщине. Я вижу, что ночью мы собираемся в столовой, как бы на охоту. Государь ночует у нас; в доме лесника на краю деревни. Старый лесник наш, его прежний дядька, кот<орый> его очень любит и которому Государь единственно верит, и этот лесник ведет нас, чтобы его убить. Мы идем на рассвете, «унылый дух спокоен».[13] Входим в сени избы. Собачонка хочет залаять, Пашин придушил ее. «Сударь, батюшка, – ласково говорит лесник, – батюшка, пора, пора проснуться». Государь с измученным лицом, бледным, просыпается. Тогда старик ударяет его кинжалом в сердце. Все тихо, мы выходим. Заря, птицы летят на восток, холодно. Мы идем спокойно и строго; по дорогам ездят телеги с жандармами. Они, как вифлеемские пастухи, знают, что это совершится,[14] и ищут злоумышленников. Страшно то, что они смотрят на нас и как будто не хотят замечать... Продолжение очень странно.

Но пора опустить письмо.

Как жаль, что я не знаю Вашей квартиры. Мне кажется, что тень моя за Вашим плечом, когда Вы пишете.

Вы спрашиваете, какие моменты описать из Парижа. Закат в Люксембургском саду.

[1] Ответ на п. 61.

[2] Из пушкинской «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» (1833).

[3] Две дальнейших строки из «Сказки о мертвой царевне...».

[4] Имеются в виду п. 59 и 60.

[5] Т.е. дома, в четырех стенах, взаперти. Ср. в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях»: «День за днем идет, мелькая, / А царевна молодая / Все в лесу; не скучно ей / У семи богатырей» и т.д.

[6] А.В. Сабашников уехал из Цюриха 28 июня / 11 июля (во вторник) и прибыл в Париж на другой день утром. См. также п. 66 и 67.

[7] Тем не менее, перед отъездом брата в Париж Сабашникова взяла с него «клятву» не останавливаться у Волошина (см. об этом примеч. 3 к п. 67, а также п. 69 и 70).

[8] Вагнер бежал в Цюрих после Дрезденского восстания в мае 1849 г. и прожил в этом городе до осени 1858 г. Здесь он начал работу над оперными произведениями, посвященными Зигфриду и составившими впоследствии тетралогию «Кольцо Нибелунгов»; музыка к опере «Зигфрид» была частично написана в 1856 г. (закончена в 1869 г.). Там же, в Цюрихе, создавалась и опера «Тристан и Изольда» (завершена в 1859 г.).

[9] «Крик Валькирии» (также «клекот Валькирии» или «полет Валькирии») – сцена из музыкальной драмы Р. Вагнера «Валькирия», второй части тетралогии «Кольцо Нибелунгов» (первая часть – «Золото Рейна», третья – «Зигфрид», четвертая – «Гибель богов»). Работа над текстом и музыкой «Валькирии» приходится на первую половину 1850-х годов (Вагнер жил тогда в Цюрихе); первое исполнение состоялось в Мюнхене в 1870 г.

Сабашникова была (вместе с С.В. Сабашниковым) на представлении «Валькирии» 27 января / 9 февраля 1904 г. в Императорском Большом театре. Спустя несколько дней, 1/14 февраля она записывает в своем дневнике: «Музыка производит на меня совсем новое по силе действие. Я не пропускаю ни одного места. <...> Такого вдохновения я не помню еще. И этот призывный мотив, когда Зигмунд извлекает свой меч, и клич Валькирии, и влюбленная мелодия, и лунный свет, и потом огонь, Feuerzauber» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 7 об.; Feuerzauber – заклинание огня (*нем.*); см. также примеч. 3 к п. 157).

[10] См. примеч. 3 к п. 30.

[11] Книга А.П. Синнетта (см. примеч. 11 к п. 55).

[12] Строки из стихотворения «Небо в тонких узорах...» (см. п. 61).

[13] Из стихотворения В.И. Иванова «Покорность» («Иду в вечерней мгле под сводами древес...»), вошедшего в сб. «Кормчие звезды» (1903).

[14] Согласно преданию, ангел возвестил пастухам о рождении Христа, и, оставив свои стада, они отправились в Вифлеем и нашли там Марию, Иосифа и младенца в яслях (Лк. II, 8–20).

65. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

27 июня / 10 июля 1905 г. Цюрих[1]

10 июля. 9 веч<ера>

Милый, милый Макс Александрович,

Я видела м<исте>ра Хайда. Мне никогда никого не было так жаль. За что? За что Вы так ужасно наказаны? Мне так больно... за Вас.

Может быть, Вы сами не знаете, как Вы несчастны. За что Вы отвержены? Потому что Вы отверженный. Что это за проклятие тяготеет над Вами и не дает Вам причаститься великому таинству любви. Потому что это таинство – это цельное чувство. Это апофеоз человека, это солнце. Что одно без другого? Каждое отдельно мертво. У меня текут слезы. Как мне Вас жаль. О, как мне Вас жаль. Я плачу над Вашим мертвым сердцем.[2] Вы не знаете, как мне его жаль.

Вот почему Вы делали трагичные глаза, когда я на Вас смотрела. Простите, что я так смотрела. Мы редко понимаем... мы никогда не понимаем[3]. И я Вас мучила.

Вы боялись сделать мне больно, но это за Вас, за Вас мне так ужасно больно, потому что все пройдет мимо Вас, п<отому> ч<то> Вам предстоит непосильная борьба... У Вас нет ангела-хранителя за плечами.

И чем Вы виноваты передо мной, я тем же виновата перед Вами, п<отому> ч<то> мы редко понимаем, мы никогда не понимаем.

Простите, простите меня, если я слишком грубо коснулась больного места; что Вы должны были вспомнить то, о чем Вам страшно вспоминать, о чем Вам незачем вспоминать.

Теперь будьте радостны и спокойны. Вспомните слова соловьевского священника: «Греши, но не кайся, главное не кайся» и его рассказ о двух схимниках.[4]

А я не жалею, что видела мистера Хайда; мистер Джикиль был слишком нечеловечен, и мне трудно было его понять. В человеке любишь его борьбу. Я Вас люблю теперь гораздо, гораздо больше, мой милый, мой бедный Макс Алекс<андрович>.

Знаете что? Слушайте музыку, постарайтесь подойти к ней, если Вы почувствуете ее, в этом будет Ваше спасение.

До свидания, и пишите скорее. Я получаю письма в 8 ч. утра и в 11 ч. утра, а Вы когда?

[1] Ответ на п. 63.

[2] Ср. в стихотворение «Résignation» (п. 50): «И сердце мертвое, мне данное судьбой».

[3] «Мы не способны понять (окружающей нас жизни)» – лейтмотив одноактной пьесы Метерлинка «Там, внутри» («Intérieur»; 1894), как и других произведений бельгийского писателя. Сабашникова вспоминает эти слова при встрече с Минцловой в Париже 2/15 июня 1905 г. (во время их совместной поездки в Сюрень, предпринятой в тот же день). «Мы поехали в Сюрень. <...> Мы говорили об Novalis'е, которого она перевела, о “Пире” Платона, кот<орый> она перевела для меня, о греческом языке. Я перечисляю все темы, чтобы осталась жива та атмосфера, в кот<орой> я жила год. – Мне жаль, что Вам нравится так проза Метерлинка, он слащав. – Нет – сказ<ала> она, – у него есть поразительные вещи. Он один из моих любимцев. – Он многословен и туманен в статьях. – Нет, его язык красив и затемнен нарочно. – Зачем же затемнять. Истинная поэзия темна по существу, ясность и точность формы еще лучше покажет таинственность; зачем он нагромождает такие слова, как бессмертие, вечность, тайна, душа, красота и т.д. С этими словами нужно осторожнее обращаться. – Дело не в словах, а в их сочетаниях, но он сказал такую фразу: “Мы редко понимаем, мы никогда не понимаем”. – Да, это в Intérieur'е, который chef d'œuvre <шедевр. – *фр.*>...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 23, л. 1 об. – 2; фрагмент приведенной записи см. в кн.: *Богомолов Н.А.* Русская литература начала XX века и оккультизм. М.: Новое литературное обозрение, 1999. С. 468). В письме к Волошину из Берлина от 6/19 ноября 1905 г. Минцлова вновь приводит эту фразу Метерлинка: «Я часто вспоминаю слова Метерлинка, когда поднимаются разные житейские вопросы: “On ne comprend pas

toujours... On ne comprend jamais...” <Мы редко понимаем... Никогда не понимаем. – *фр.*>» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 56).

Ср. также в дневнике Сабашниковой (запись от 30 июня / 11 июля 1905 г. в связи с полученным письмом от Волошина): «Мы редко понимаем... мы никогда не понимаем... Боль и боль не за себя, а за него. Сегодняшнее письмо... Явление мистера Хейда. Как грубо по своей очевидной простоте; как страшно. Но у меня в сердце вместо упрека одна жалость, жалость... » (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 71). См., кроме того, примеч. 2 к п. 51.

[4] Сабашникова имеет в виду рассказ г[-на] Z. из «Трех разговоров» Вл. С. Соловьева (полное заглавие: «Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе и с приложениями»; 1899–1900; отд. изд. – 1900). Во втором разговоре г[-н] Z. упоминает об «одном афонском страннике, полуюродивом, но очень замечательном» по имени Варсонофий. «Когда мой друг начинал сообщать ему свои нравственные сомнения – прав ли он был в этом, не погрешил ли в том, Варсонофий сейчас прерывал его: Э-е, насчет грехов своих сокрушаешься – брось, пустое! Вот как я тебе скажу: в день 539 раз греши, да, главное, не кайся, потому согрешить и покаяться – это всякий может, а ты греши постоянно и не кайся никогда; потому ежели грех – зло, то ведь зло помнить – значит быть злопамятным, и этого никто не похвалит». Далее г[-н] Z. приводит рассказ Варсонофия из жизни двух «древних отшельников», спасавшихся в пещерах Нитрийской пустыни и однажды отправившихся в Александрию, где они совершили грехопадение: «кутили с пьяницами и блудницами». Вернувшись в свои пещеры, один из отшельников начинает каяться, другой же, не желая вспоминать о грехах, «спокойно и радостно» распевает псалмы. Притча призвана утвердить мысль Варсонофия о том, что «все грехи не беда, кроме одного только – уныния: прочие-то все беззакония они совершали оба вместе, а погиб-то один, который унывал» (*Соловьев В.С.* Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 672, 674–676).

Сабашникова познакомилась с «Тремя разговорами» Вл. С. Соловьева в марте 1903 г., о чем свидетельствует, в частности, ее дневниковая запись от 22 марта / 4 апреля: «Бор<ис> Ник<олаевич> принес 3 разговора Соловьева и стал читать. <...> А потом рассказ о 2 старцах, тяжко согрешивших; один каялся, унывал, отчаялся и погиб, а другой не хотел поверить своему падению и спасся» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 8; Борис Николаевич – Б.Н. Гофман). Запись в дневнике Сабашниковой, сделанная на другой день: «Я читаю 3 разговора и чувствую, как освобождается к радости моя душа» (*Там же*, л. 9 об.).

66. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

26–28 июня / 9–11 июля 1905 г. Париж

9 июля. Воскресенье. *Ночь.*

Я отправил то признание, которое мне было так трудно, трудно выговорить...,[1] и мой дух умер. Я весь замер в ожидании приговора.

Вчера пришло Ваше письмо со стихотворением.[2] Я прочел его, и сердце застыло еще больше.

Я словами совершил грубую сознательную жестокость. Может, сегодня я не решился бы написать об этом. Но сказать нужно было, нужно. Лучше пусть будет все ясно. Но когда я думаю о том, что Вы, может, не подадите м<исте>ру Хайду руки...

Завтра должно прийти Ваше ответное письмо.[3] Придет ли оно? Сегодня не было письма, первый день не было...

Может быть, такие вещи узнаются от других. А говорить их самому двойная жестокость, особенно тогда, смотря прямо в глаза, не можешь сказать, что все, что было вырвано с корнем... Это то, что надо нести в себе всю жизнь...

Глаза не видят строк, мозг не схватывает мыслей.

Вечером на закате я лежал над Сеной, и беспокойство мое росло так неутолимо, что чувствовал, что это Ваша мысль жжет меня сквозь пространство, и я не мог отделить себя...[4]

Завтра...

10 июля.

Еще письмо...[5] Я его раскрываю со страхом. Нет, это не то. Это еще не ответ.

Есть какая-то тайная и страшная судьба в наших письмах.

Вот ответы продолжают приходить с прежней неумолимой хронологией,[6] а те слова, которые я крикнул четыре дня назад, еще не дошли до Вас.[7]

Это ведь все время, все время так... Весной в то время, когда почта или квартира задерживали решительное письмо, мы продолжали встречаться и говорить оба, зная, что какие-то страшные слова идут и никакая сила их больше не может оста-

новить... И всегда они задерживались судьбой, эти слова... Это повторяется так неумолимо и последовательно, что душа ищет в этом тайного смысла и указания. Предостережение ли это? Или судьба, так растягивая эти вопросы и ответы, звучащие вне обыденного и возможного обмена слов, хочет им придать трагическую значительность и подчеркнуть их смысл?..

Я знаю только, что в сумерках меня охватывает теперь бездонная грусть, и я ясно чувствую, что в меня «глядят бессонные глаза

И черною тоской запекшиеся губы».[8]

Примете ли Вы меня таким? Но я не мог больше этого вынести... Каждое Ваше слово ко мне казалось мне нечестно украденным. Точно я притворился другим.

Я в глубоких сумерках лежал сегодня у того озера, которое недалеко от Багатели.[9] Помните?

Там тополи по краям и статуи на том берегу. Вечерние воды успокаивают и качают душу. Но как мне хотелось вечернего холо<д>еющего песка под ногой, раската волны и белой полыни, сожженной солнцем...

11 июля.

Милая Маргарита Васильевна...

Ваше письмо пришло...[10] У меня нет слов...

Моя душа слишком переполнена. Если б Вы знали, какое великое благословение сияет в моем сердце.

Я не могу писать... До свидания. До вечера... Завтра жду приезда Алекс<ея> Васильевича. Конечно, ему всего удобнее будет остановиться у меня.

До свидания...

Я могу теперь прямо смотреть Вам в глаза...

[1] Имеется в виду п. 63.

[2] См. п. 59.

[3] Т.е. ответ на п. 63.

[4] Ср. в дневнике Волошина (запись от 26 июня / 9 июля 1905 г.): «Томление беспредельное. Днем огненная греза об В<айоле>т, потом вечером около Сены грусть светлая и бесконечная» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 222).

[5] Речь идет о п. 64.
[6] Волошин имеет в виду полученные им п. 59 и 60.
[7] См. п. 63.
[8] Из стихотворения Волошина «Зеркало» (см. п. 53).
[9] См. примеч. 6 к п. 52 и п. 58.
[10] Т.е. п. 65.

67. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

29 июня / 12 июля 1905 г. Париж[1]

Милая Маргарита Васильевна!

Вчера целый день меня отвлекали люди в то время, как мне больше всего хотелось быть с Вами. Сошлось так, что я должен был в этот день ездить по всему Парижу, до глубокой ночи быть в Ложе...[2] Я мог написать Вам только несколько строчек... но я совсем не могу, не могу сказать, найти слов, чтобы сказать... Все слова кажутся такими условными и театральными.

Существование М<исте>ра Хайда меня мучит давно – с детства. Сперва я не знал, что это уродство. Я думал, что так у всех. Потом я начал замечать эту необычно резкую двойственность. Я недавно нашел случайно листки своего старого дневника, где я, разбирая известные поступки и чувства свои, вдруг начинаю говорить о себе в третьем лице – до такой степени тогда мне уже было ясно это бесповоротное разделение. Анна Руд<ольфовна> только сказала мне мой окончательный приговор. Поэтому я так слушал ее, так не отходил от нее. Тут решалась моя судьба.

Джикль – он не знает М<исте>ра Хайда. Он забывает об его существовании совершенно. Он во многом действительно истинный ребенок, но только потому, что ему никогда не приходилось быть человеком. Его это не касается.

М<исте>р Хайд никогда не забывает о существовании Джикля, и это его страшно мучит. Особенно тогда, когда он остается Хайдом, но ему надо делать лицо Джикля. Сколько раз при Вас Хайду надо было брать лицо Джикля и притво-

ряться им. Это было страшно стыдно и мучительно. М<исте>р Хайд ведь совсем равнодушен, может быть, даже враждебен иногда к Вам. Да и может ли быть иначе. Но человеческого в нем гораздо больше, чем в Джикле. И... может быть, М<исте>р Джикль для Хайда, для его развития, может быть, он такое же зло, как и Хайд для Джикля. В рассказе Стефенсона положение очень усложняется, но и облегчается тем, что они имеют разное тело, но когда они живут одновременно в одном и том же футляре...

И не только теперь, но и раньше и в прошлом году Хайд приходил к Вам с лицом Джикля... Это Вы, верно, не замечали. Он тогда лучше умел скрываться и меньше сознавал свои права на существование...

Помните еще одну странную фразу Анны Рудольф<овны>? Она сказала: «Я это сама не вполне понимаю: в Вас есть тип Дон Жуана и в то же время полная холодность. Я не знаю, как это, но это написано на руке».

Ах, если бы мы могли понять себя, понять и разобраться вполне, то понять других было бы совершенно легко...

Я не смею теперь осудить Хайда вполне. Он больше человек. У него есть связь с землей. Но он повторяет слова Джикля и польз<у>ется правами, принадлежащими только Джиклю. Во все время существования Хайда Джикль поминутно вспыхивает в нем, и только эти смешанные переходные моменты — есть страдание. Вне это<го>, когда они отдельно и тот, и другой бывают абсолютно счастливы и не чувствуют ни своего раздвоения, ни противоречия.

Когда я бываю с людьми — это очень просто: у каждого свой круг знакомств, и они быстро обходятся. Но когда я бываю один, то это почти непрерывная смена, и тогда это очень тяжело.

Покойной ночи. Я очень устал. Сегодня утром у меня был Алек<сей> Василь<евич>. Я его очень уговаривал остановиться у меня. Но он был тверд, как скала, и в конце концов признался мне, что дал Вам клятву, что не остановится у меня. В доказательство показал мне два пальца, которыми он

клялся. Мы их долго рассматривали вдвоем и решили, что, значит, это действительно невозможно.[3]

После пред вечером пришел Чуйко, и мы пошли вместе на Монмартр. Он был в восторге. Мы ходили после по балаганам.[4] Видели сиамские танцы — совсем как на скульптурах в Трокадеро,[5] и вот только ночью я вернулся домой.

Холст Вам отправлен, но без подрамников. Отправлен по старому адресу Вашему.

Я посылаю Вам две фотографии, снятые мною с мертвого мальчика:[6] в них так много смерти. Особенно там, где свеча.

Вы знаете — в ночь его смерти в соседней комнате сразу увяли, пожелтели два листа на большой пальме. Садовник, призванный через несколько дней, сказал, что дерево совершенно здорово, и он не может понять, почему это случилось.

И маленький попугай умер в ту же ночь. Как хорошо то, что Вы пишете о Крещении...[7] Ведь Вы знаете, вся эта сторона меня не коснулась в детстве, а после была, как всегда, или враждебна, или безразлична. Только теперь я чуть-чуть с другой стороны начинаю приближаться к ней.

Ан<на> Руд<ольфовна> написала мне большое письмо с описанием всех чудес: лекций, египетской пьесы, египетской музыки...[8] Она, верно, писала Вам. Я жду ее приезда с страшным нетерпением, как будто он должен решить что-то очень важное.

Я даже об отъезде из Парижа не думаю. В Германию я теперь не попаду — в настоящую минуту у меня совершенно нет денег. До начала августа мне никуда нельзя будет двинуться.

Ан<на> Руд<ольфовна> в письмах — это ее внешняя неловкая манера: рассеянная, деликатная и неуверенная. Ее слова не слушаются.

[1] Датируется по содержанию (упоминание о визите А.В. Сабашникова, прогулке с Чуйко и др.). Ср.: Труды и дни (С. 139), а также соответствующую запись в дневнике Волошина от 29 июня / 12 июля 1905 г. (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 222–223).

[2] Ср. запись в дневнике Волошина: «Вчера в Мас<онской> Ложе я читал свой доклад об России – священное жертвоприношение» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 222). Волошин был посвящен в масоны Великой Ложи Франции 10/23 мая 1905 г. (см.: Труды и дни. С. 135, 137, 139 и др.).

[3] «Сижу у Макса Александровича и пишу, – сообщал сестре в тот же день (29 июня / 12 июля 1905 г.) А.В. Сабашников. – Согласно с клятвой, данной тебе, остановился не у него, а в Hôtel Kleber. Он очень удивлен, почему ты взяла с меня эту клятву. <...> Видел Маргариту Константиновну. <...> Я совсем забыл, что 14 июля здесь празднуют республику. Не особенно приятно. <...> Макс очень зовет переехать к нему, но я не соглашаюсь. Какая чудная у него квартира» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 98, л. 4–4 об.).

[4] «С Максом подружился, – рассказывал Чуйко Сабашниковой в письме из Парижа от 30 июня / 13 июля 1905 г. – Он меня, кажется, уже не считает за круглого дурака, а то, думаю, немного жалеет за глупость и слабость образования. Были вместе на Monmartr'е и на foir'е <ярмарка, базар. – *фр.*> Стояли у каруселей и бросали serpentine в женщин довольно долго и с увлечением, что обоих чрезвычайно увеселило» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 110, л. 14).

[5] Имеется в виду (не сохранившийся до наших дней) дворец Трокадеро, построенный в 1878 г. в западной части Парижа (на правом берегу Сены) и представлявший собой обширное здание в мавританском стиле, предназначенное для выставок, съездов, концертов и т.п. Значительную часть здания занимал Музей французского монументального искусства (Musée des monuments français). Фасад здания был украшен 22-мя аллегорическими скульптурами – «статуями власти», символизировавшими наиболее влиятельные в то время страны. В 1937 г. (к открытию Всемирной выставки) на этом месте был построен дворец Шайо, в котором располагается ныне несколько музеев (Музей монументального искусства Франции, Морской музей и Музей человека).

[6] См. п. 61–63 .

[7] См. п. 64.

[8] В сохранившихся письмах А.Р. Минцловой к Волошину от 17/30 июня 1905 г. и 1/14 июля 1905 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп.3, ед. хр. 843, л. 1–4) никаких описаний «всех чудес» не содержится. Не упоминается об этом и в дневниковых записях Волошина между 11/ 24 июня 1905 г. (отъезд Минцловой в Англию) и 5/18 июля 1905 г. (ее возвращение в Париж).

68. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

30 июня / 13 июля 1905 г. Париж

13 июля. *Ночь.*

Это дни Национального праздника...[1] Толпа беспокоит и уносит мысль. Меня совершенно опьяняет, до самозабвения, это быстрое мелькание глаз и лиц.

Я сейчас сижу в кафе на St. Michel.[2] По бульвару тысячи фонариков и красных бумажных фонарей. Около меня лица и спины залиты ярким желтым светом. Дома темные наверху, точно приподняты на своих огненных пьедесталах. А вверху между листьев я только что увидал небо синее прозрачное. День уже сбежал с него, но дневной свет сквозит из-за него. В нем есть что-то Ваше.

У Вас было такое лицо, когда мы были в «Ambassadeurs»*[3] и Вы делали себе парижскую прическу. У Вас тогда становилось очень человеческое лицо, но *Вы* глядели сквозь него, как сквозь маску.

Я никак не могу сосредоточиться. Какая-то струя разбила мое одиночество. Эти два дня, где бы я ни был, с кем бы я ни говорил, Ваше письмо звенит во мне полубессознательно и радостно. Мне было страшно трудно выговорить первые слова, теперь мне все хочется говорить об этом, и я должен себя сдерживать. Я никому об этом не говорил. Я только теперь понял, как это было тяжело.

(На улицах уже начинают танцевать. Я вижу из-за спин толпы, как мерно кружатся парные головы, и головокружение танца с далеким мотивом вертится волчком в каком-то из дальних уголков мозга.)

Нет, об этом нельзя говорить. Как я целовал Ваше письмо за то, что оно признавало м<исте>ра Хайда.[4] Он становился оправданным в моих глазах. Он становился вполне отделенным от Джикля, и Джикль переставал быть ответственным за его поступки... Это нельзя. На это никто не имеет права. Человеческий закон требует, чтоб в одном теле жил один человек. И я должен их примирить. Если Джикль убьет Хайда,

* Посланники *(фр.).*

то он разорвет единственную связь, которая соединяет его со все<й> человеческой жизнью.

«Свойство зеркальце имело –
Говорить оно умело»...[5]

Это все время иронически звучит во мне эти дни. Вы отравили меня этими словами...

Красные и белые платья. В свете этих фонарей красные платья становятся удивительного тона. И эти неестественно бледные матовые лица с нарисованными глазами. Разрисованные лица мумий... Ковчеги, в которых сохранялась душа человека... до воскресения...

Я сегодня написал еще стихотворение. Только в нем есть что-то, что меня не удовлетворяет.[6] Но я себе не могу дать отчета.

Быть заключенным в темнице мгновенья...
В вечном потоке струящихся дней...
В прошлом разомкнуты древние звенья,
В будущем смутные лики теней...*

Гаснуть словами в обманных догадках,
Дымом стелиться в туманной дали...
Мозг мой запутался в траурных складках,
Мантия мрака на безднах земли.

Устья пещер притягательно жадны,
В скалах змеятся и радость и страх.
Память – неверная нить Ариадны –
Рвется в дрожащих руках.

Время свергается в вечном падении,
С временем падаю в пропасти я.
Сорваны цепи, оборваны звенья...
Смерть и рожденье – вся нить бытия![7]

Кажется, это очень плохо. Или я сейчас слышу в этом только ничего не передающие слова?[8]

---

* *Было:* В будущем жуткие лики теней...

Этот непрерывающийся мотив танца, который замолкает на одном перекрестке и сейчас же начинается на другом, страшно волнует и путает мысли.

Мне то хочется целовать Ваши руки и благодарить Вас за то, что признали Хайда, то просить прощения за то, что я это смел Вам сказать...

И потом все слова, которые я сейчас пишу, мне кажутся такими придуманными, искусственными, что я не смею их перечесть.

Простите меня, Маргарита Васильевна. Пройдите мимо и не смотрите. А когда я одержу победу, то я приду.

Нет, я сам не знаю, что я пишу. Эти вальсы и польки своим однообразием совершенно мутят мои мысли.

Всю ночь я был в толпе — одними безвольными глазами, как жаждущий, который приник к ручью.

Сейчас я промчался по потухшим улицам. Двойные тени, шепоты, шорохи шагов, кое-где обрывок вальса в воздухе, как пестрый лоскут, и багровая луна на исходе за каштанами.

... Париж!!. ...

Мне трудно писать Вам, потому что я хочу не письмо посылать Вам, а струю, текущую струю души, живой кусок мгновения...

[1] 14 июля — день взятия Бастилии.

[2] Бульвар Сен-Мишель, одна из центральных парижских улиц.

[3] Кафе-шантан («кафе-концерт») на Елисейских полях («Café-concert des Ambassadeurs»).

[4] Имеется в виду п. 65.

[5] См. примеч. 2 к п. 64.

[6] В доработанном и окончательном виде это стихотворение будет отправлено Сабашниковой 3/16 июля (см. п. 71).

[7] См. примеч. 3 к п. 71.

[8] Стихотворение передает душевное состояние Волошина, мучительно пытавшегося в тот период разрешить вопрос о времени, о соотношении времени и пространства (см. примеч. 13 к п. 7) и др. Поворотным пунктом в его духовных исканиях окажется посещение Руанского и Шартрского соборов (см. п. 82—84 и примеч. 9 к п. 88).

69. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

1/14 июля 1905 г. Цюрих[1]

Нельзя так молчать, мистер Джикиль. Говорите, говорите же. Это молчание после того[2] невыносимо. Отвечайте, иначе я подумаю, что Вас уже нет. Мне слишком страшно.

Я не хотела, чтобы брат остановился у Вас, чтобы ни Вы, ни я не были причастны его преступлению,[3] когда оно откроется.

[1] Датируется по содержанию: Сабашникова в течение нескольких дней лихорадочно ждала ответа на свое письмо от 27 июня / 10 июля 1905 г. (п. 65). См. ее признание в п. 72: «...получила два Ваших письма сразу, после недели молчания. Эту неделю <...> у меня делалась в буквальном смысле лихорадка» и т.д.

[2] Вероятно, Сабашникова имеет в виду обмен письмами, содержавшими важные для обоих признания (см. п. 63 и 65).

[3] Под «преступлением» подразумевается поездка А.В. Сабашникова в Париж (видимо, для свидания со своей приятельницей М.К. Гринвальд). Ср. запись в дневнике Сабашниковой от 29 июня / 12 июля: «Алеша сорвался в Париж, занял денег и уехал. Мы провожали его. Тоже “не человек, а Лира”. Эльза плакала – хозяйская дочь и подарила ему 2 розы. Он сам чуть не плакал» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 71; о выражении «не человек, а лира» – см. примеч. 4 к п. 50 и др.). В конце июля М.К. Гринвальд приезжает в Цюрих, где проводит полтора месяца (см. примеч. 4 к п. 103).

70. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

2/15 июля 1905 г. Париж

24. Rue Octave Feuillet.
15 июля.

Милая Маргарита Васильевна!

Только что я получил Вашу записку из нескольких слов.[1] Я Вам написал два письма после перерыва.[2] Получили ли Вы их?

Письмо, которое я отправил вчера,[3] было очень безумно. Я написал его в состоянии необъяснимого нервного волнения и отправил, не перечитывая. Теперь я боюсь за то, что я написал там. Мне кажется, что я написал Вам, что м<исте>р Хайд враждебен Вам. Это неверно. Он только боится Вас и ему стыдно смотреть Вам в глаза. Он как собачка, которая подползает к хозяину, конфузясь хвостом.

Простите мне это письмо. Это было одно из тех покаянных состояний, которых я стыжусь больше всего и тщательно скрываю, прячу ото всех. Это в первый раз у меня прорвалось, и этого никогда не следует допускать, потому что это еще хуже самого существования м<исте>ра Хайда.

Пожалуйста, не придавайте значения этому письму.

Если бы Вы знали, как хорошо было вчера ночью во время праздника.

Были развешаны на набережных тысячи бумажных, круглых фонарей, оранжевых, как апельсины. Развешаны в беспорядке, как виноградные гроздья. Был момент вечером, когда эти фонари были еще чуть-чуть темнее неба, но светились, какие-то слепые, матовые, а на улицах был мрак.

Обычных фонарей не зажигали. Place de la Concorde была совсем синяя, темная, и на ней били синие фонтаны. Их пена была только чуть-чуть светлее мрака.

А с другой сто<ро>ны висел массивный огненный фонтан Бурбонского дворца,[4] очерченный прямыми линиями тесных газовых рожков.

Лувр весь был обведен такой же линией по всему пространству крыши и был страшно мрачен, циклопично громаден, точно давил все этим неосвещавшим огнем, окруженным коричневым мраком.

Алек<сей> Вас<ильевич> был у меня только раз в день своего приезда и теперь исчез бесследно.

Я пришлю Вам с ним еще две книги «Revue de la Haute Science».*[5] Это большая редкость. Там переводы разных эзотерических документов разных эпох. Я их еще не читал и теперь все равно прочесть не успею. Не торопитесь мне их вернуть. Раньше осени мне они не понадобятся. Там есть вещи страшно важные и интересные. А в сентябре пришлите мне их заказной бандеролью.

---

[1] Имеется в виду п. 69.

[2] См. п. 66 и 67.

[3] Т.е. п. 68.

[4] Бурбонский дворец (Palais Bourbon) – место заседаний Национальной ассамблеи Франции. Расположен на левом берегу Сены (набережная Орсе), напротив площади Согласия. Построен в 1722–1728 гг.

[5] Имеется в виду ежемесячное издание: La Haute Science. Revue documentaire de la tradition ésotérique et du symbolisme religieux. Paris: Librairie de l'art indépendent, 1893–1894. В библиотеке Волошина сохранились все выпуски этого журнала (два тома в переплете) с его пометами.

71. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

3/16 июля 1905 г. Париж

24 Rue Octave-Feuillet.

16 июля.

Только что, блуждая по окрестностям, я попал на вершину Mont Valérien.**[1] В первый раз. Было уже совсем сумеречно, после грозового и дождливого дня. Шумели мокрые одинокие деревья, и была пустынна сине-зеленоватая даль, изборожденная холмами, облаками, красными полосами неба. И мне пахнуло вдруг такою свежестью, такой тишиной убегающих далей, что в первый раз ярко почувствовал,

---

* «Журнал Высокого Знания» *(фр.)*.

** Холм Валерьен *(фр.)*.

до какой степени Париж меня утомил и растрепал. Я как-то сразу вспомнил себя настоящего, спокойного, радостного и цельного, каким я был всегда. И я вспомнил все то, что я Вам писал в последних письмах, и пришел в ужас. Раздвоение Джикля и Хайда – все это верно, но не всегда. Это только в городе – только в Париже. Я пил эту синюю даль и вечернюю тишину, как ключ живой воды, оглядывался и дивился на себя. Таким, каким я был это время, я никогда себя не знал. Отчасти это у меня всегда бывало в Париже, но не до такой степени.

В этом сила и яд Парижа. Я ее только что реально почувствовал и еще больше полюбил его. Но теперь я знаю, что есть еще другой «я»: счастливый и вполне цельный, и стоит мне только сделать маленький глоток пустыни, и я снова найду себя таким же.

Этой маленькой иллюзии тишины и дали, на которую я наткнулся случайно сегодня вечером, было достаточно, чтобы снова воскреснуть.

Мое покаяние было очень искренно, но верно для одного только момента.

Но я благословляю Париж за все. Я счастливый и цельный – совершенно спокоен и уравновешен. Париж заставил высоко вздымать и падать чашки весов.

Тишина вошла в меня, и я могу радостно и прямо смотреть Вам в глаза без стыда и без экстаза.

Может, это всего на несколько минут, потому что я остаюсь еще в Париже, но я знаю, что это все вернется, как я только дохну морского воздуха, и я знаю, что меня не подменили.

Радостно жить![2]

Чтобы покончить с тем, что было – вот окончательный вариант того стихотворения, которое я послал Вам в письме 13 июля. Так оно мне кажется законченным и передающим мое чувство – то чувство, которого больше уже нет во мне.

Быть заключенным в темнице мгновенья,
Мчаться в потоке струящихся дней...
В прошлом разорваны древние звенья,
В будущем смутные лики теней...

Гаснуть словами в обманных догадках,
Дымом кадильным стелиться вдали...
Разум запутался в траурных складках,
Мантия мрака на бездна<х> земли...
Тени Невидимых жутко громадны,
Неосязаемо близки впотьмах,
Память — неверная нить Ариадны —
Рвется в дрожащих руках...
Время свергается в вечном паденьи,
С временем падаю в пропасти я...
Сорваны цепи, разорваны звенья...
Смерть и рожденье — вся нить бытия...[3]

Что касается «Зеркала», то я в нем сделал такие изменения: выбросил совсем строку «Тик-так... да.. да.. да-да...» Ее не надо. А последняя строфа будет так:

И вновь приходит день с обычной суетой...
И бледное лицо лежит на дне — глубоко...
Но время, наконец, застынет надо мной
И тусклою плевой мое затянет око.[4]

Пришлите мне Ваше стихотворение с исправленными строфами.[5] А то это очень обидно — почему мне не следует их знать?

А также напишите конец сна о Государе: этот сон у меня все не выходит из головы.[6]

Я вчера наткнулся на поразительный отрывок из Кабалы <*sic*!> о сотворении мира, который мне чуть-чуть своим началом напомнил «Рождение Венеры»[7].

«Чело Господнее, венчанное пламенем, поднялось над равнинами моря и отразилось в нижних водах...

Два глаза, лучащих свет, появились, и мечи пламени скрестились с лучами отражения...

Чело божье и очи его составили небесный треугольник, и отражение его составило треугольник в водной глубине.

Так создалось число шесть, положенное в основу мироздания».[8]

Дальше идет история мироздания: когда показались глаза – был создан свет; когда показался рот – родились духи, и раздалось слово; голова показалась вся – первый день Творения.

И по мере того, как божественный образ вырастает из вод, создается мир. И когда он вышел весь и взглянул в воды на свое отражение, то он дунул на него, и отражение в водах стало человеком.[9]

Поэтому Адам в представлении кабаллистов <*sic!*> является гигантом, а по Сведенборгу вся вселенная имеет вид человека.[10] Эту же мысль высказывал и Леонардо.[11]

Радостно жить!

[1] Холм Валерьен, расположенный в нескольких километрах к западу от Парижа, был некогда местом религиозного паломничества (на вершине холма возвышался крест). В середине XIX в. на холме были возведены оборонительные сооружения и построена крепость, где в 1941–1944 гг. содержались заложники и бойцы Сопротивления (многие из них были расстреляны); в 1960 г. на холме Валерьен открыт Мемориал мучеников Сопротивления.

[2] Восклицание У. фон Гуттена (см. примеч. 13 к п. 10).

[3] Завершенная редакция этого стихотворения (ср. п. 68) появилась в московской газете «Час» (1907. № 62. 5 дек. С. 2). Опубликовано в кн. «Стихотворения 1900–1910» как второе стихотворение цикла «Когда время останавливается» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 38–39, 447–448).

Заключительная строка этого стихотворения – парафраз слов Духа Земли в первой части «Фауста» Гете» (сцена «Ночь»). Ср. примеч. 4 к п. 209.

[4] Исправления в стихотворении «Зеркало» были сделаны Волошиным в связи с замечаниями Сабашниковой (см. п. 57).

[5] Речь идет о стихотворении Сабашниковой «Забудь мятежное признанье!..» (см. п. 59).

[6] См. п. 64.

[7] Имеется в виду картина Сабашниковой (см. примеч. 16 к п. 23).

[8] Эта космогоническая картина найдет позднее художественное воплощение в стихотворении Волошина «Космос» (1923):

Созвездьями мерцавшее чело,
Над хаосом поднявшись, отразилось
Обратной тенью в безднах нижних вод.
Разверзлись два смежённых ночью глаза,
И брызнул свет. Два огненных луча,
Скрестясь в воде, сложились в гексаграмму
(Т. 2 наст. изд. С. 44).

[9] Ср. в стихотворении «Космос»:

Господь дохнул на преисподний лик,
И нижний оборотень стал Адамом.
Адам был миром, мир же был Адам
(*Там же*).

[10] В книге Сведенборга «О небесах, о мире духов и об аде» (1757–1758), одном из наиболее значительных его произведений, есть разделы: «Все небеса в совокупности изображают как бы одного человека», «Внешний образ каждого ангела есть совершенно человеческий», «Небеса вообще и в частности изображают человека вследствие Божественной человечности Господа»; «Все, что есть на небесах, соответствует всему, что есть в человеке» (*Зигстедт О.* Эммануэль Сведенборг. // *Сведенборг Э.* Избранное. М.: Астрель, 2003. С. 336–339, 341–345, 345–349, 349–356).

[11] Леонардо да Винчи действительно находил сходство между человеком и миром: «...Тело уподобляется земле, кости – черным хребтам, кровеносные сосуды – рекам, расширения и сокращения легких – движениям океана с его приливами и отливами» (*Волынский А.Л.* Леонардо-да-Винчи. СПб.: А.Ф. Маркс, <1900.> С. 420). См. также примеч. 12 к п. 55.

72. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

4/17 июля 1905 г. Цюрих

17 июля 1905 г.

Вот я получила два Ваших письма сразу,[1] после недели молчания. Эту неделю от 8 ч. утра до 11 ч. утра – часы, когда приходит почта из Парижа, у меня делалась в буквальном смысле лихорадка, и даже воскресенье, когда почты вовсе не

бывает, в урочные часы у меня сделался озноб. Потом в сердце что-то болезненно обрывается, оно падает, сжимается, и я, стараясь заглушить его голос, принимаюсь за занятия. Весь день я живу одна в угольной комнате на 4-ом этаже, как в башне. О, как я счастлива, что я не в России и не дома, что я уверена, что никто не взойдет ко мне, что никто меня обо мне не спросит...

Весь день — это борьба с невыносимой болью, и иногда мне кажется: она сильней моих сил. Но вот вечером, когда темнеет и за мной заходит Любимов, чтобы идти в горы, я чувствую победу. Чем выше мы идем, тем она становится вернее. Внизу сквозь грушевые деревья видны дрожащие огни города; как он далек.

Мы садимся где-нибудь в траве. Она, освещенная луной, вся стрекочет кузнечиками; точно это лунный свет вибрирует в стеблях, и деревья стоят в луне точно завороженные. И тогда душа, такая слабая днем, подымается, как прибитая бурей трава подымается на солнце, она вырастает сильная, окрыленная, и тогда она не боится страданий, и я смотрю с доверием на землю и на звезды, точно знаю, что судьба даст мне оружие против себя, и я благодарю ее за каждый миг боли, я благословляю того, кто нечаянным ударом по камню выявил живой источник. О, как тогда, я не боюсь никакого испытания. Точно жар-птица трепещет у меня в сердце, готовая залить светом всякую ночь. О чем мы говорим тогда... О кольце Нибелунгов. Мы говорим о стихе, образах, п<отому> ч<то> каждый из нас чувствует себя одним из звеньев, п<отому> ч<то> каждый говорит о своей душе и потому в тишине наши голоса так странно взволнованно звенят, и я вижу странный яркий блеск глаз. Вчера он рассказал мне «Пергюнта» Ибсена; как это хорошо; я никогда не читала слова Сольвейг: «Ты ничего не сделал плохого, ты только обратил мою жизнь в песню».[2] Я непременно прочту...

Как живут люди, у кот<орых> нет искусства, чем они борются <с> жизнью, как они мстят за боль и за радость, как они переносят жизнь. Я не могу понять. О, я отвечаю всегда на каждый удар ударом. Я мщу, я мщу и отвечаю жизни своим и

чужим словом. Я заставляю говорить за себя других, я нахожу в каждой легенде свой ответ, иначе у меня разорвалось бы сердце. Эти вечера, слова, таинственная жизнь в траве и темные громады гор, воздух горный, блестящий лунный туман и это странное просветление, похожее даже на счастье... Отчего организация наша так груба, что нужен вечер, что нужно нервное возбуждение, чтобы душа освобождалась, она должна была быть всегда такой – крепкой.

Зато утро... бедная душа! Сегодня эти письма... Нет, я не нашла в них ответа. Они были холодны, как поверхность стекла, и я почувствовала, что сердце мое, как изнеможенная, уставшая биться бабочка, упало и замерло. Нет, я слышу в них только шум улицы, напряжение что-то вспомнить, что-то сказать. Вы говорите, у Вас нет слов, так всегда говорят, когда нечего сказать, тогда делают трагические глаза... То, что Вы могли ожидать от меня другого отношения к Хейду, еще раз доказывает мне, что Вы никогда, никогда обо мне не думали. Вы не спрашивали не п<отому>, ч<то> Вы знали, а п<отому>, ч<то> Вы не хотели знать. Да, это странно, я люблю и всегда любила особенной любовью людей, в кот<орых> живет м<истер> Хейд. Я его инстинктивно угадываю, даже когда мое сознание совсем далеко, даже, когда оно в него не верит. Это было всегда так, мне это непонятно, но это объясняет мне, почему я не прошла мимо Вас и что меня заставило остановиться. Я бы рассказала Вам странные истории... Но я знаю, что это Вам безразлично, что я для Вас существую только как слух, готовый всегда Вас слушать; и что если бы я спросила Вас: скажите, ведь Вы никогда обо мне не думали как о живой, ведь Вы ничего обо мне не знаете и не хотите знать, Вам нет дела до того, что в моей душе, Вам нет никакого дела до того, как я переношу жизнь, как проходит день и ночь и снова день, – я уверена, что Вы, глядя на меня Вашими милыми правдивыми глазами, наклонив голову, радостно сказали «никакого нет дела».

И поэтому будем говорить только о Вас. Вы пишете, что с тех пор, как Вы заговорили, Вам хочется говорить только об этом. Почему же нет? О чем же можно говорить другом? Пом-

ните, я вспомнила Соловьевских пустынников?[3] Но для меня вопрос, спасительно ли это забвение и не лучше ли помнить, усиленно помнить, связывать, стараться связывать. Вы говорите, проблески сознания Джикиля у Хейда — единственные мучительные минуты; но чем же мы живы, как не страданием, и, может быть, эти минуты — единственные минуты Вашей жизни. Что бы был мистер Джикиль без Хейда. О, он был бы очень скучен, в нем не было бы жизни, и так же скучен был бы м<истер> Хейд торжествующий. Я думаю, нужно помнить, стараться помнить. Я думаю, что память — это божественное начало; что когда душа вспомнит все, все до конца, она станет богом. Помните, другой английский рассказ, кот<орый> тогда же рассказала нам А<нна> Р<удольфовна>, о банкире и его племяннице. Эта племянница была его память; связь мгновений. Неужели это разделение безнадежно? Спросите еще: неужели ничто нельзя делать волей, молитвой, посредством невидимых помощников? Неужели Вы, как прокаженный, будете идти один Вашей дорогой, и, если встретите кого-нибудь, то это будет или привидение, или зверь. «Вдоль по земле таинственной и строгой лучатся тысячи тропинок и дорог; нам не пройти сквозь мир одной дорогой...»[4] Рассказывайте мне больше, что хотите. Вы теперь знаете, как я слушаю Ваши слова. Вы можете мне все говорить, милый, дорогой Макс Александрович; но только не забывайте, что я живая женщина, а не восковое изваяние... или... даже и это можете забыть.

Сейчас приехал Алеша. Страшно счастливый. Мы тоже встретили его весело. Благодарю Вас за книжки очень, очень. Я примусь за них. Эти дни я испытываю какой-то прилив мыслей и вдохновения. Я буду Вам писать обо всем, если буду получать от Вас письма. А то теперь я не знаю, о чем Вы думаете, что у Вас в душе, и интересно ли Вам то, что я пишу Вам.

Если бы не существовало этих часов утром, если бы я была спокойна и владела бы собой, я могла работать лучше, я была бы почти счастлива.

Как я хотела бы видеть Минслову. Когда она приедет?

А мы с Вами, значит, не увидимся... Я пришлю Вам книги...

Это должно было так быть. И я вспоминаю мгновенье, музыку, барабанный бой; это испанский король едет по улицам города. Я теперь все жду это мгновенье с ужасом... Опять эту тревогу и крики на улицах, и Вы, быстро простившись, уйдете в толпу, и мне скажут: испанский король едет по улицам Парижа...[5]

Простите мне мое малодушие. Это еще день... Вечером я иначе заговорила бы с Вами, милый, дорогой Макс Александрович.

[1] Имеются в виду п. 67 и 68.

[2] Цитата из пятого действия драматической поэмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» (1867). 6/19 июля, получив письмо Сабашниковой, Волошин переписал эти слова в свой дневник (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 226).

[3] См. примеч. 4 к п. 65.

[4] Неточная (возможно, намеренно искаженная Сабашниковой) цитата из стихотворения Волошина «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток...» (см. примеч. 13 к п. 5). У Волошина: «О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!»

[5] 16/29 мая 1905 г. Волошин расстался с Сабашниковой на одной из парижских улиц, чтобы видеть проезд испанского короля Альфонсо XIII (Труды и дни. С. 136).

73. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

6/19 – 7/20 июля 1905 г. Париж[1]

Милая, дорогая Маргарита Васильевна, Ваше письмо резало меня острой болью стыда. Это не было раскаянье, а ненависть к себе. Как я смел так запылиться, так расплескаться за эти несколько протекших дней! Я стал на колени, прижался лбом к паркету и... нет, это была не молитва, а порыв из себя. Я клялся себе Вашим Именем разбить, разорвать эту плеву, которая меня отделяет от людей, замыкает в себе.[2] Я хочу искуса, работы, хотя бы поста и самобичевания. Я не

хочу этих бессознательных жестокостей — они хуже сознательных. Я помню, как Вы смотрели на глаза Екат<ерины> Алексеевны и говорили про Бальмонта: «Ему доставляет удовольствие видеть такие глаза. Он делает их нарочно такими». И я тогда чувствовал злобу против Бальмонта. Как я теперь смею взглянуть на Ваши глаза! Я должен переродиться, или я не имею права на жизнь.

Никто не должен сказать Вам: «Испанский король едет по улицам Парижа». И мое сердце замирает оттого, что это так возможно, так неожиданно возможно. Этой неожиданной возможности не должно быть.

И я знаю, чувствую, что перерождение должно быть или теперь, или это будет продолжение безразличного девашанического состояния.[3] Во мне родилось только тело, а дух позабыл родиться, он еще во внежизненном спокойствии.

«Ведь Вы никогда не думали обо мне, как о живой»... Эти слова жгут меня своей правдой.

«Вам нет никакого дела до того, как я переношу жизнь, как проходит день и ночь и снова день». Только я не радостно скажу «никакого нет дела». Это правда, правда, но я не хочу, чтобы так было. Я всей своей волей заклинаю себя в эту минуту. И да будет горе мне, если я <не> сумею *теперь* родиться! Я пишу это заклятие с раскрытым сердцем и с полным сознанием его значения.

Я хочу Вас знать, я хочу знать Вашу жизнь. Я хочу знать, что Вас привлекало к тем людям, в которых живет М<исте>р Хайд. Моя деликатность в вопросах — это деликатность ленивого равнодушия. Такая деликатность вредна и преступна.

Я Вам должен написать одно стихотворение. Оно относится к маю,[4] но было написано недавно, тогда, когда я Вам написал о М<исте>ре Хайде... Оно будет Вам оскорбительно и больно, но я чувствую, что если я его не напишу, то оно будет еще оскорбительнее. Раз оно есть, Вы должны его знать. Вот оно:

Если сердце горит и трепещет,
Если древняя чаша полна...
Горе, горе тому, кто расплещет
Эту чашу, не выпив до дна.

В нас весенняя ночь трепетала,
Нам таинственный месяц сверкал...
Не меня ты во мне обнимала,
Не тебя я во тьме целовал.
Нас палящая жажда сдружила...
В нас различное чувство слилось:
Ты кого-то другого любила,
И к другой мое сердце рвалось.
Запрокинулись головы наши,
Опьянились мы огненным сном,
Расплескали мы древние чаши,
Налитые священным вином...
Необъятною звездною сказкой
Прижимались к земле небеса,
И рука с безнадежною лаской
Разбирала мои волоса...[5]

Маргарита Васильевна! Милая, любимая, я эту боль причиняю Вам сознательно, и я знаю, что я делаю то, что нужно.

И *не будем больше говорить обо мне.*

«Ты мне не сделал ничего дурного. Ты только превратил мою жизнь в песню».[6] Я страшно люблю «Пер Гинта». Прочли ли Вы уже его? Помните, как он возвращается на пароходе на родину? А его монолог с луковицей? А «Пуговичник»?[7] Смерть его матери?

А слова Сольвейг, когда он возвращается: «А я тебя все ждала»...[8] А любите ли Вы сюиту Грига «Пэр Гинт»?[9] Я раз видел в Nouveau Théâtre*[10] «Пэр Гинта», поставленного вместе с музыкой...[11]

Вы мне должны прислать измененные начало и конец Вашего стихотворения – я имею право их знать.[12]

Вчера утром приехала Ан<на> Руд<ольфовна>, вся волнующаяся и трепещущая, как язык золотого пламени. Я встретил ее на вокзале. Она держала в руках книгу о тамплиерах,[13] купленную в Саутгомптоне в момент отъезда, и сейчас

* Новый театр *(фр.)*.

же мы начали говорить: тут же на извозчике под треск мостовой, и велосипед стоял перевернутый вверх колесами,[14] как в день Вашего отъезда. Мне хочется Вам рассказать все, что мы говорили, но это так много, так много.[15]

Тамплиэры... Они существуют и теперь... В церквах, им принадлежавших, они оставили тайные знаки. Их можно видеть. И в тех местах, где есть их знаки, всегда во время Великой Революции начиналось кровавое безумие.[16] В Notre Dame есть их знаки: она принадлежала им одно время.[17] Есть и в St. Denis.[18] Знали ли Вы, что раньше на месте Notre Dame был храм Изиды?[19]

При посвящениях тамплиэры придавали большое значение и пользовались много ароматами.[20] Отсюда наш разговор переходит на обоняние и его значение. У человека обоняние не связано с направлением, запах всегда является неизвестно откуда. Рождается как из пустоты. У животных же обоняние именно есть чувство направления. Помните, я Вам развивал свою теорию о той особенной связи обоняния с памятью, т<ак> к<ак> обоняние более древнее чувство, чем зрение? Я думаю, что у собак с обонянием соединено представление формы, как у нас со зрением. Для них обоняние есть продолжение осязания, а не зрение.

А<нна> Руд<ольфовна> с этим не вполне согласна, так как она думает, что обоняние наоборот чувство высшего порядка, вызывающее высшие стороны души. Но это не расходится, в сущности, с моей теорией: для человека обоняние перестало играть служебную роль, оно потеряло точность рабочего инструмента, но приобрело значение ключа, отворяющего двери памяти, как часто и музыка.

Мне кажется, что именно это значение и имели ароматы при посвящениях у тамплиэров — они освобождали память. Характерно тоже то, что тамплиэры в первой степени испытаний старались вызывать у ученика всякого рода сомнения, опустошить и расчистить душу сомнениями, не оставить камня на камне от старых верований.

Это все мы говорили утром на извозчике, у меня в мастерской, в Люксембургском саду...

Она говорила о конгрессе, о Анни Безант (она опять спрашивала ее об нас[21]), об египетской пьесе «Золотой Ибис».[22] Она Вам, кажется, писала об этом.[23] Если нет, то я напишу Вам после.

Вечером мы сидели у нее в комнате и говорили о Вас. Она опять держала мою руку в своей, и я чувствовал физически в своей руке толчки нервного тока, доходившие выше локтя, и боль в тех местах руки, где она касалась концами пальцев.

Ан<ни> Безант сказала ей, что у нее громадная целительная сила. «Идите и целите», — но советовала страшно много работать над своей впечатлительностью.

И, держа меня за руку, она говорила: «Вот я опять чувствую в себе ту власть что-то изменить, что-то создать, как и тогда, когда держала Вашу руку раньше. Все время у меня этого не было, а вот теперь снова».

И я этому глубоко верю, верю!

Сегодня мы были в Лувре в «Mastaba».[24] Ах, Маргарита Васильевна, неужели Вы не видали этого. Там собрано все, что есть лучшего из Египта. Это гениальная зала. Я давно уже не испытывал такого экстаза. Ан<на> Руд<ольфовна> совсем побледнела и обессилела от восторга.

Это гробница — внутренность гробницы — покрытая барельефами. Желтый пористый камень, от которого лучится пустыня, и на нем точно вытканные плоские барельефы, чуть-чуть подкрашенные в более желтые и красноватые тона. Какие фигуры! Какие рисунки! Я возьму разрешение рисовать и пришлю Вам.

Там же стоят теперь те три фигуры.[25]

Утро.

Вчера ночью меня наполнял какой-то странный восторг. Я ясно слышал, как меня кто-то спрашивает, хочу ли я приобщиться жизни, и я громко отвечал: да, да! Ночью я проснулся от неожиданного трепета. Точно что-то вошло внутрь меня и сотрясло. Это было мгновение радостного ужаса. Я раскрыл глаза и ждал, что будет. Но все прошло.

А<нна> Р<удольфовна> еще в первый день сказала мне, что тот полный переворот, который может произойти во мне, произойдет не к 35 годам, а раньше, может теперь.[26] Год идущий и год наступающий – единственные годы по своему значению в истории человечества. В эти годы произойдет страшный перелом в духовном мире.[27]

Она тоже мне говорила, что она всегда видит сияние около людей... Вы ведь, верно, это знаете... И что раньше в Москве она около моей головы видела только красный свет и поэтому чувствовала меня совершенно чуждым. И тогда, когда мы были вечером в «Ambassadeurs»[28] и заговорили о революции и старом Париже, то она увидела ярко-фиолетовый свет и всегда его видела около меня в Вашем присутствии.

Маргарита Васильевна, помогите мне, молитесь за меня, я знаю, я чувствую, что теперь происходит, приближается тот момент, где есть возможность окончательного и свободного выбора на дороге вечности. Мне надо сделать высшее усилие, чтобы родиться, и Ваша воля, Ваша любовь может одна освободить меня.

Я проснулся утром от мысли об Вас и совершенно бессознательно, безвольно для себя стал на колени и положил руки ладонями кверху, как египетские фигуры, призывая Вас.

И я зову не богиню, не восковое изваяние, не ухо, слушающие мои слова, а живого человека, Ваше страданье, Вашу любовь.

Разве мы можем не увидаться с Вами. Я чувствую, что во мне что-то должно произойти прежде, чем я подойду к Вам, но я знаю, что в августе я буду у Вас в Цюрихе.[29]

Маргарита Васильевна, милая, милая, молитесь за меня.

[1] Ответ на п. 72. Датируется по содержанию (упоминание о возвращении А.Р. Минцловой). См. также: Труды и дни. С. 140.

[2] Ср. с записью в дневнике Волошина от 6/19 июля 1905 г.: «Я вернулся домой и был в каком-то странном экстазе. Я перечитывал последнее письмо М<аргариты> В<асильевны>. Становился на колени, прижимался лбом к полу. Я писал ей письмо и клялся, что я перерождусь, что я стану иным. Ее слова: “Ведь я для Вас была только ухом. Вы никогда не интересовались, как я переношу жизнь, как проходит день и ночь”, – меня жгли и болели во мне. Я клялся,

подняв руку кверху, не причинить ей ни капли страдания» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 226–227).

[3] Девашан, девачан или девахан (*санскр.*) – одно из центральных понятий в теософии и других оккультных науках, обозначающее удаленную от земли область, куда попадают души умерших перед своим перевоплощением (приблизительно соответствует «царству небесному» в христианской терминологии). Е.П. Блаватская в «Теософском словаре» (1892) объясняла «Дэвакхан» как «Обитель богов» и некое промежуточное состояние, «в котором Высшее Эго остается до тех пор, пока не придет час нового воплощения» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. М.: Сфера, 1994. С. 213). Этот теософский термин широко используется в трудах Р. Штейнера (см. примеч. 3 и 4 к п. 226).

[4] В апреле–мае 1905 г. произошло сближение Волошина с Вайолет Харт.

[5] Впервые: Золотое Руно. 1906. № 10. С. 31. Вошло (без заключительных четырех строк) в «Стихотворения. 1900–1910» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 60). Стихотворение обращено к Вайолет Харт. Ср. запись в дневнике Волошина от 26 июня / 9 июля 1905 г.: «Вчера я написал, мысленно обращаясь к W. H<art>:

...Расплескали мы древние чаши,
Налитые священным вином...

И они обе живут во мне, и я могу примирить, допустить М<аргариту> при W<iolet>, но при М<аргарите> В<асильевне> не допускаю Wiolet» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 222). См. также примеч. 5 к п. 52 и примеч. 3 к п. 149.

[6] Слова Сольвейг из драматической поэмы Ибсена «Пер Гюнт» (см. примеч. 2 к п. 72).

[7] Персонаж драматической поэмы Ибсена «Пер Гюнт».

[8] «Пер Гюнт». 5-й акт, заключительная сцена (См.: *Ибсен Г.* Собр. соч.: В 4 т. М.: Искусство, 1956. Т. 2. С. 634–636).

[9] Григ написал к поэме «Пер Гюнт» две оркестровые сюиты, из которых особенной известностью пользуется вторая; в нее вошли пьесы: «Жалоба Ингрид», «Арабский танец», «Возвращение Пера Гюнта на родину» и «Песня Сольвейг». См. также примеч. 3 к п. 146 и п. 146, 173 и 215.

[10] Имеется в виду «Новый театр» (1891–1906), на сцене которого О.М. Люнье-По, создавший в 1893 г. (вместе с К. Моклером) труппу «L'Œuvre»(«Творчество»), пытался утвердить символистскую эстетику. Ведущее место в репертуаре театра «L'Œuvre» занимали в 1890-е гг. скандинавские авторы, прежде всего – Ибсен («Пер Гюнт»

был поставлен в ноябре 1896 г.). Театру «L'Œuvre» Волошин посвятил отдельный очерк, впервые опубликованный в газете «Русь» (1905. № 31, 7/20 февр. С. 3). См.: Т. 5 наст. изд. С. 513–515, 831–832.

[11] «Недавно я был на представлении "Пер Гинта" вместе с полной григовской музыкой, исполнявшейся оркестром Ламурё в театре "L'Œuvre", – писал Волошин А.М. Петровой в конце декабря 1901 – начале января 1902 г. <...> Нельзя сказать, чтобы исполнение драматической части пьесы вполне удалось актерам. Французский актер по своей натуре уже не может передать ни ибсеновской простоты символа, ни северного духа. <...> Пер Гинт на сцене слишком много декламировал, Сольвейг была чересчур сентиментальна по-французски, но все-таки местами игра прохватывала до костей. А Люнье-По в роли "Формовщика" был великолепен. Но можете себе представить, до чего хороша была музыка, исполняемая лучшим оркестром Парижа, и местами с немыми одновременными иллюстрациями на сцене» (Т. 8 наст. изд. С. 690; «Формовщиком» Волошин называет Пуговичника).

Представление в «Новом театре», которое описывает Волошин, состоялось 3/16 декабря 1901 г. (Труды и дни. С. 95).

[12] См. примеч. 5 к п. 71.

[13] Тамплиеры или храмовники – католический духовно-рыцарский орден, основанный в XII в. в Иерусалиме и быстро достигший военного и финансового могущества. Упразднен в 1312 г. буллой папы Климента V. Обосновавшиеся во Франции тамплиеры были арестованы по обвинению в ереси и приговорены к смертной казни; великий магистр ордена Жак-Бернар де Моле был сожжен на костре в Париже (1314). Возрождение ордена началось во второй половине XVII в. (главным образом в форме франк-масонства), когда различные объединения и «ордена» стали объявлять себя наследниками тамплиеров.

[14] Живя в Париже, Волошин охотно пользовался велосипедом, часто совершая продолжительные велосипедные прогулки по городу и окрестностям. По убеждению Волошина, велосипед отличается от других изобретений современной цивилизации своей «человечностью». В записной книжке 1908 г. он сделал запись о том, что «велосипед – одна из немногих машин, к которым душа приникает. <...> В нем живет и трепещет живая человеческая сила, удесятеренная и напряженная» (Записные книжки. С. 163).

[15] Приведенный далее рассказ Минцловой о тамплиерах Волошин в тот же день записал в свой дневник (см. Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 224).

[16] Под влиянием Минцловой Волошин проникся мыслью о том, что между тамплиерами и Французской революцией существует преемственная («генеалогическая») связь (по легенде, часть тамплиеров поклялась на могиле Жака де Моле сокрушить государственный строй старой Европы). В своей статье «Пророки и мстители. Предвестия Великой Революции» (1906) Волошин писал, что «один из принцев королевской крови <...> клялся в мести наследникам Филиппа Красивого на могиле Якова Молэ. <...> Тамплиэрам нужна была казнь короля» (Т. 3 наст. изд. С. 301–302).

[17] Сеньория Шатнэ, на территории которой началось строительство Собора Парижской Богоматери, действительно принадлежала в XII в. тамплиерам и лишь позднее перешла во владение местного капитула.

[18] См. примеч. 9 к п. 52.

[19] Одна из легенд, овевающих Собор Парижской Богоматери, действительно связывает его с именем Изиды, якобы почитавшейся в древности жителями города.

[20] Ср. в дневниковой записи от 5/18 июля 1905 г. (Волошин цитирует слова Минцловой): «Тамплиэры при посвящениях прибегали к ароматам. Это была целая система...» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 224).

[21] Т.е. о Волошине, Сабашниковой и Чуйко, присутствовавших на парижской лекции А. Безант 5/18 июля 1905 г. Ср. в п. 80: «Анни Безант спрашивала о нас трех».

[22] Ибис считался в Древнем Египте священной птицей и служил символом Тота, бога мудрости и правосудия. О какой «пьесе», связанной с «золотым ибисом», рассказывала Минцлова, определить не удалось.

[23] Ни в одном из сохранившихся писем Минцловой к М.В. Сабашниковой упоминаний о «Золотом ибисе» нет.

[24] Мастаба́ (арабское слово, означающее «каменная скамья») – древнеегипетская гробница (периода первых династий фараонов), состоящая из подземной погребальной камеры и наземных помещений, стены которых украшались росписями и рельефами. В 1903 г. в Лувре была установлена знаменитая мастаба фараона Ахетхотепа (V-я династия, ок. 2400 г. до н.э.).

[25] Имеются в виду три египетские статуэтки, изображающие идущих людей (см. п. 8). В письме к Волошину от 3/16 августа 1905 г. Минцлова сравнивает трех «странников» с трупами двух мужчин и женщины, которые она и Чуйко видели накануне в парижском морге (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 11 об.).

[26] См. примеч. 8 к п. 54.

[27] Ср. предсказания Минцловой, записанные Волошиным (запись от 6/19 июня 1905 г.): «С 1905 по 1908 г. – это самые страшные годы в европейской истории. Они ужаснее по созвездьям, чем эпоха наполеоновских войн. Решительную роль предстоит сыграть России – славянам. Им принадлежит обновление Европы. <...> Начнется войной между Францией и Россией» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 206).

[28] См. примеч. 3 к п. 68.

[29] Поездка Волошина к Сабашниковой состоялась между 19 июля / 1 августа и 5/18 августа 1905 г.

74. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

7/20 июля 1905 г. Париж

20 июля. Ночь. Поздно.

Смутна душа моя... Я только что вернулся от Анны Руд<ольфовны>. Мы досидели до 2-х часов – Сомов[1] и я. Мих<аил> Самойл<ович> ушел рано...

В сумерках, когда я пришел, А<нна> Р<удольфовна> взяла мои руки и долго вглядывалась в меня своим прикосновением. Но моя душа была закрыта, и во мне все молчало. Я знал, что она меня спрашивает молча, но вопроса не слышал. Так было долго и грустно. Она испытующе проводила рукой по моему лицу и, наконец, грустно сказала:

«Нет, сердце Ваше не родится... в этой жизни. Вам остается один разум...»

Неужели это окончательный приговор... Если б он касался меня одного, я бы принял его беспрекословно... но я не могу его принять...

Потом постучали в дверь, и пришел Чуйко.

Милая Маргарита Васильевна... бедная... Что бы я не дал для того, чтобы принести Вам мое сердце и положить его пламенеющее, трепещущее в Вашу руку... Что я могу сделать... Чем я могу заменить его?

Я знаю, что когда были Вы, при Вас душа моя растворялась и была во власти А<нны> Р<удольфовны>. Она могла

ее оживить. Вчера я беспомощными и торопливыми пальцами искал замочной скважины, но стена была гладкая, полированная, как дверь, об которую бьется Тетанжиль <sic!>...[2] Я становился на колени и молился. Я чувствовал один порыв. Но душа билась, как птица об стекло, и не могла прорваться. Я вставал, и стоило мне прикоснуться к книге или к какому-нибудь предмету, и все забывалось, и наступало обычное мне равнодушное счастье – небытие духа... Если та связь, которой кто-то связал нас, еще не стала нитью жизни, – разорвите ее и отойдите от меня. Я прокаженный. Мне нельзя прикасаться к сердцу человеческому. Отойдите, потому что Вы погибнете, и я буду видеть это, и у меня не будет голоса, чтобы крикнуть Вам.

Я вчера в Трокадеро[3] рассматривал гробницу герцога Бретонского Нантского собора.[4] Помните, там женская фигура «Магии» – Знания?[5] У нее зеркало в руке. Она смотрит в него отраженным взглядом. Ее глаза приподняты. Веки узкие – и детские, и старческие, очерченные тонкими линиями. Губы горькие и знающие. И поцелуй, как ледяной меч. Это Дева – Полынь.

А сзади у нее другая голова – грустная, старческая. Старец с большой бородой, унылым лицом.[6]

Я говорил себе, что это моя дорога. Люди не должны встречаться со мной, и я должен избегать людей. И душа моя будет равнодушно радостна, если я не буду видеть человеческого пламенеющего сердца.

Маргарита Васильевна – отойдите, если можете, отойдите, пока есть время... Я прошу Вас со слезами... Я боюсь за Вас... потому что никто не был мне так дорог, как Вы, и я измучу... я убью Вас...

Танцующий манекен не выходит у меня из головы, и я теперь пишу это и с ужасом думаю, что, может быть, говоря эти слова, я делаю поворот вальса и ударяю Ваше сердце об острые углы залы... Если б я знал, если б я мог видеть...

Но я ведь слепорожденный...

Спасайтесь...

[1] Летом 1905 г. К.А. Сомов находился в Париже, откуда совершил путешествие в Лондон и Бретань. Волошин познакомился с Сомовым в редакции «Мира Искусства» 23 января / 5 февраля 1903 г. (Труды и дни. С. 107); Сабашникова – в Москве в конце 1902 г.; Чуйко и Минцлова – в Париже летом 1905 г.

В письме к Сабашниковой от 12/25 июля 1905 г. М.С. Чуйко рассказывал: «Сомов, возвращаясь из Бретани, пробыл дней 5 в Париже, очень с нами троими подружился и был нами окружен. Был у меня и весьма адмирировал Ваш портрет. “Вещь, бесспорно, очень талантливая”. Долго его разглядывал, потом и говорит: “Надо его полакировать, есть у Вас лак?” – Я говорю: “А можно ли без согласия автора делать такие штуки?” – “Господи, да ведь это же все равно что стереть с вещи пыль или завернуть в бумагу для сбережения”. И самолично положил тонкий слой лаку и опять адмирировал» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 110, л. 15 об. – 16; адмирировать (от *фр.* admirer) – восхищаться).

Нынешнее местонахождение портрета Сабашниковой, выполненного Чуйко, неизвестно.

[2] Главный персонаж пьесы Метерлинка «Смерть Тентажиля» (1894), погибающий за непроницаемой дверью.

[3] См. примеч. 5 к п. 67.

[4] В Нантском готическом кафедральном соборе св. Петра и Павла, крупнейшем в исторической Бретани и одном из самых крупных во Франции (строительство начато в 1434 г., полностью завершено в 1890-х гг.), находится гробница последнего бретонского герцога Франциска II и его жены Маргариты де Фуа, выполненная скульпторами М. Коломбом и Ж. Перреалем. В Трокадеро (Музее французского монументального искусства) находился слепок знаменитой гробницы, который и видел Волошин во время своего посещения Трокадеро 6/19 июля.

[5] Далее Волошин описывает статую в Нантском соборе, изображающую одну из христианских добродетелей – Благоразумие (la Prudence) с двойным (мужским и женским) лицом (скульптор – М. Коломб).

[6] Ср. описание этой статуи в дневнике Волошина:

«“Магия”. Зеркало. Глаза с детскими и старческими веками. Веки натянутые, обведенные резкой линией, разрезаны наискось. Губы горькие и знающие. Их поцелуй прожжет сердце холодным и острым пламенем. Глаза, которые смотрят в зеркало и получают ответный луч. Женское лицо, притягательное и горькое. Дева-полынь. А с обратной стороны ее покрывало приподнято и видна голова старика – грустное познание.

Змей у ее ног, извившийся и покорно приподнявший шею, закинув голову» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 228).

75. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

7/20 – 8/21 июля 1905 г. Цюрих[1]

20 июля.

– Скажи мои грехи.

– Ты обратил мою жизнь в песню.

– Я погиб.

– Другой взвешивает дела.

– Погиб! – Ты бы могла разгадать загадку! Знаешь ли Ты, где я был, когда мы виделись в последний раз?

– (улыбается) Загадка легка.

– Где я был – с самим собой – нераздробленным, цельным, как когда-то.

– У меня, в вере, в надежде, любви.[2]

21 июля.

Вот письмо.[3] Оно лежало у меня нераспечатанным на коленях за завтраком. Я не знала, что оно мне приносит; как странно так держать в своей руке будущее и не знать. Никакого предчувствия, одно сильное волнение. Эта невозможность видеть, эта ограниченность меня удивляет, как что-то ненормальное.

Как будто раньше это у меня было, это зрение. Вот я читаю; меня прерывают... потом я закрываю дверь, сажусь за стол и читаю, читаю.

Вот Вы снова в сиянии. Что мне сказать. Вот Вам моя рука, я с Вами, Вы знаете. Мне о многом хотелось с Вами говорить, но сейчас в душе наступила такая торжественная тишина. Тише, милый мой. Хочется сказать только несколько слов и шепотом. «Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мир приносити».[4]

По Вашему письму чувствуется присутствие А<нны> Р<удольфовны> – «п<отому> ч<то> там в пруду золотая рыбка».[5] Пишите мне о ней; все ее слова, обо всем, что Вы будете с ней говорить и видеть; я буду с Вами. Что Вы говорили обо мне?

Египетские новые залы я видела; наши три странника теперь там ведь. Помните, как Вы писали мне о них в первый раз; это было давно. Да, в этих новых залах я была; там есть еще черная птица. И памятник я видела, я там была одна в мае. Напишите мне, что видела А<нна> Р<удольфовна> в Лондоне египетское. Боже, как мне близок Египет. Это было единственное в жизни – непреложное, что я всегда, с детства чувствовала.

О том, что А<нна> Р<удольфовна> видит ореолы, я не знала. Пишите мне больше, это так важно. Что и почему Any Besant о нас спрашивала. Ведь о Чуйко только? Вы мне будете писать все, каждый день, да? Да, Макс Александрович?

Ваши книги ужасно интересны, особенно «La haute science»;*[6] это то, чего мне больше всего хотелось. Откуда эта книга у Вас? К сожалению, у меня болят глаза и я читаю по несколько страниц, и каждый раз это стоит мне головной боли. Иначе я бы набросилась на эту книгу. Как хочется жить, и знать, и чувствовать. Знаете, какая странная вещь: помните, я говорила Вам об этом моем ужасе бытия, воплощения, о том, как будто жизнь сон, и я знаю, что это сон, но не могу ни заснуть крепче, ни проснуться. После многих лет это прошло теперь. Я в жизни с головой, теперь я и умереть могу.

Вы такой смешной, Вы пишете: «Я хочу Вас знать, я хочу знать Вашу жизнь». Это ужасно мило и смешно. Точно Вы ждете, что я начну докладывать... что Вы можете прочесть меня, как книгу; что значит знать?.. Вы наивны, как новорожденный младенец; мне и грустно, и смешно. Что я знаю сама о себе? Ничего. Почему я любила людей, в кот<орых> сильнее м<истер> Хейд... не знаю, это жажда что-то совершить, это жажда поединка, страшная ревность... А<нна> Р<удольфовна> нашла в моей руке страшную ревность и сказала: это прекрасное чувство. В первый раз я слышала, что такое чувство может быть прекрасно, но потом я поняла, что это желание цельного... что распятая ревность становится богом, когда она сама себя побеждает, это творческая сила, но она отвратительна торжествующей, бессильной, низкой. Да,

* «Высокое знание» *(фр.)*.

это все очень странно, очень странно. Люди, в кот<орых> жил мистер Хейд, останавливали мое внимание; мне казалось, что они будут когда-нибудь очень страдать; что путь их далек, мне хотелось быть мостом. Это одна ревность... Хочется взять на свою душу что-то. Нет, нет, я не могу этого объяснить. Это все совершенно непосредственно, таинственно.

В моей жизни, с детства, были страшные подъемы и упадки. Я помню просветления и вдохновения почти необычайные. Я помню один момент в детстве, когда я открыла вдруг окно, встала на колени и кому-то громко сказала: вот возьми мое сердце к себе, вот мое сердце, вот я отдаю Тебе мое сердце, чтобы оно было чисто, чтобы оно стало крепко... Когда-нибудь я напишу свою жизнь. Если ваше счастье в том, что Вы все забываете, мое несчастье, а иногда счастье, то, что я все страшно помню; но только иногда организм так груб и слеп...

Знаете, сейчас я открыла наугад Евангелие и прочла: а посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен; когда наступит скорбь...[7]

Вот это подходит к тому, что я о себе думаю. Я сильно сразу чувствую, но боюсь страдания. Какая-то слабая душа. Но это нужно завоевать, и вот работой можно кое-что достигнуть. У меня теперь больше воли, чем раньше, но еще очень мало.

Помните, как Христос просил учеников не спать, а они всё засыпали... Это страшно.[8]

А помните, как Петр: вышел и горько плакал.[9]

Ах, я не знаю, отчего все это мне вспоминается. Я ужасно счастлива, я не знала, что я когда-нибудь буду так счастлива. Вот «род маловерный и лукавый»[10] мы всё не знаем, всё забываем про то, что мы можем быть счастливыми.

Я так благодарна жизни. Неужели я буду недостойна этого момента.

О, нет, нет. Вот, ну вот Вам моя рука, а красные розы у нас в душе, да?

Будьте Вы благословенны.

До свиданья.

Я не знаю, что я пишу. Я не сказала еще, как я Вас люблю, как я в Вас уверена.

[1] Ответ на п. 73.

[2] Вольный пересказ (близко к тексту оригинала) диалога Пер Гюнта и Сольвейг в финальной сцене поэмы (см.: *Ибсен Г.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. С. 633–636).

[3] Имеется в виду п. 73.

[4] См. примеч. 5 к п. 51.

[5] Из стихотворения Бальмонта «Золотая рыбка» (см.: *Бальмонт К.* Только Любовь. Семицветник. М.: Гриф, 1904. С. 63–64).

[6] См. примеч. 5 к п. 70.

[7] Мк. IV, 16–17. Приводим полный текст: «Подобным образом и посеянное на каменистом *месте* означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны; потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются».

[8] См.: Мф. XXVI, 40–41, 45–46; Лк. XXII, 46 и др.

[9] «И вспомнил Петр слова, сказанные ему Иисусом: “прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня”. И выйдя вон, плакал горько» (Мф. XXVI, 75).

[10] См. примеч. 1 к п. 14.

76. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

9/22 июля 1905 г. Париж[1]

Милая, милая, дорогая Маргарита Васильевна.

Вчера я Вам отправил страшное письмо.[2] Я так боялся за Вас. Но не верьте ему. Если я с Вами, я не слепорожденный – у меня Ваши глаза, у меня ясновидение Вашего чувства, и я знаю, что я ничего не могу сделать Вам ужасного. Я знаю теперь, что я в Вашей жизни боль – но боль певучая и радостная.

Я пишу торопясь – потому что Ан<на> Р<удольфовна> ждет меня. Я вчера оставил ее очень нервную и больную.

Она долго, долго держала мою голову, прикасалась к глазам и сняла всю пыль жизни.[3] И я теперь знаю, что я слепой, буду слепым, но никогда слепота моя не обратится на Вас.

Тогда – позавчера она подходила ко мне, но Ваших писем не было со мной, и моя душа была закрыта. Вчера на моем сердце лежали эти тонкие вязи, сухие травки письма, и оно было раскрыто. Вы были во мне, и она могла говорить со мной и иметь власть надо мной.

И она вздрагивала от изумления, потому что я говорил Ваши слова, делал Ваши движения, которые Вы говорили и делали в ночь с пятницы на субботу. Поэтому я знаю, что Вы были во мне.[4]

Я слепорожденный, и я никогда не прозрею, но когда Вы кладете мне руку на сердце, я вижу. Я вчера поздно отправил мое письмо, и я уверен, что это письмо придет одновременно с ним. Иначе это было бы слишком жестоко. Это последний жест манекена.

Я себя чувствую сильным, спокойным и радостным. До свиданья.

До вечера.

И сердце мертвое, мне данное судьбой,
Из рук твоих смиренно принимаю,
Как птичку серую, согретую тобой.[5]

Только что я получил Ваше письмо.[6] Я не могу теперь отвечать. До вечера.

В душе моей растет такая нежность... Не отнимайте Вашей руки от моего сердца...[7]

[1] Датируется по содержанию и связи с записью в дневнике Волошина от 8/21 июля 1905 г. Отправлено, по-видимому, ранним утром – до того, как было написано п. 77.

[2] Имеется в виду п. 74. Ср. запись в дневнике Волошина (о встрече с Минцловой 8/21 июля): «Это страшный вечер» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 229).

[3] Эти речи и манипуляции Минцловой Волошин пытался воспроизвести в своем дневнике (запись того же дня): «Она <Минц-

лова> берет мои руки, всматривается в меня пальцами. Проводит по лицу. <...> Потом слова замокли... Она долго проводила пальцами по лицу, целовала мои глаза и тихо шептала: “Снимаю с Вас всякую пыль жизни”. Потом она начала становиться беспокойнее. <...> Ее беспокойство росло бесконечно, она слабела и впадала в беспамятство» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 229–230).

[4] «Прозрения» Минцловой, якобы угадавшей в движениях Волошина невидимые ей жесты Сабашниковой, также запечатлены в его дневниковой записи от 8/21 июля: «Потом она всё повторяла: четверг, пятница и суббота. Четверг, пятница и суббота... <...> Как странно... Вы повторяете ее <М.В. Сабашниковой> жесты. Она именно так держала мои руки всю ночь с пятницы на субботу... Я была в этом же платье» (*Там же*).

[5] Заключительные строки стихотворения «Résignation» (см. п. 50).

[6] Имеется в виду п. 75.

[7] Видимо, отклик на фразу Сабашниковой: «...вот Вам моя рука...»

77. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

9/22 июля 1905 г. Париж

22 июля. День.

Милая, милая Маргарита Васильевна...

мне хочется написать Вам о каждом разговоре, о каждом слове А<нны> Р<удольфовны>. Но слов так много, и они текут, как драгоценные реки, бриллианты скользят между пальцами, и я боюсь, что я их потеряю.

Вот сейчас я сижу в Closerie de<s> Lilas[1] и пишу. А через 30 минут я снова должен быть у А<нны> Р<удольфовны>. Я никогда не забуду вчерашнего вечера. Она была в том же черном платье, в котором она сидела с Вами.[2] Был вечер. Не было огня. Она долго смотрела в меня концами пальцев, пристально и властно. Проводила рукой по моему лицу.

«Ваши глаза... Они глубокие... я люблю их... да... Рот – нет... он чужой... эти губы могут лгать... Вы не можете любить... Но в этом Ваша сила... И это Вас делает близким и дорогим мне...»[3]

И она спросила у меня то, что Вы пишете.

«Испытывали Вы ревность?» – спросила раздумчиво, как об очень важном. И я обыскал сознанием свою душу и увидел, что в ней никогда не было ревности. Я мучительно вспоминал и, наконец, вспомнил, что я раз видел ревность во сне. Она грустно улыбнулась и сказала: «Да, это очень характерно для Вас. Если бы отсутствие ревности было бы соединено с любовью – то это была бы высшая степень. Но у Вас не было любви, и любовь не явится, пока не родится ревность».[4]

И я вспомнил, как так же раздумчиво спрашивала меня в прошлом году Ек<атерина> Алек<сеевна> об ревности. И я ничего не понял.

Значит, надо начать в себе культивировать порок, чтобы создать из него добродетель. Значит, человеческая добродетель – это только прививка, которая делается диким росткам и побегам!!

Я не могу писать по порядку. О том, что мы говорили раньше, я напишу Вам сегодня ночью. Мы пойдем сейчас в какой-нибудь кафешантан, потому что Чуйко внезапно потребовал от Анны Рудольф<овны>, чтобы она его свела к каким-нибудь амбассадерам.[5]

Мы только что долго сидели в Люксембургском саду и говорили о цветах, о травах, о камнях...

«Ваше растение – полынь», – сказала она мне неожиданно. Помните то, что я Вам писал об статуе «Знания»?[6] Полынь, ведь это символ знания.

И я всегда страшно любил полынь, ее запах, ее цвет. Весь Коктебель зарос полынью. Это запах пустыни, горечь познания. Он меня волновал с раннего детства, я, может быть, за него так люблю юг...

«Вообще цветы враждебны Вам. Вам близок ландыш. Камень Ваш не изумруд, а гранат. Маргариты Васильевны цветок – ландыш... Очень враждебен и опасен ей гелиотроп. Ее камень – сапфир. Вам тоже близки репейник...»

Потом мы говорили о том, что горы имели раньше крылья, что мимоза стала так чутка потому, что индусская богиня любви (не помню ее имени[7]) в период весенних дождей, трепеща от любви и страсти, подошла к ней и обняла ее.

Сегодня утром к ней подошел Сомов (мы третьего дня провели вместе весь вечер[8]) и сказал:

«Я не знаю, почему, но Ваши слова страшно волнуют меня. Вы не умеете говорить, но все то, что Вы говорите, так необыкновенно и значительно. Я вчера в Версале нашел Ваш портрет. Совершенно такие же глаза, как у Вас, и зовут ее Вашим именем – Анной. Я записал номер и залу».[9]

Потом к ней пришла русская дама, только что приехавшая в Париж, чтобы обучаться модному ремеслу, остановившаяся у M-me Jehanne[10] и умолявшая А<нну> Р<удольфовну>, чтобы она была ей переводчицей в модных магазинах. А<нна> Р<удольфовна> страдает от своего отказа и боится, что дама «не увидела сразу по ее виду ее ненормальность». Это А<нна> Р<удольфовна> просит сообщить Вам. Ах, я не могу больше писать. Я посылаю Вам это письмо и буду ночью писать снова.

Милая, милая Маргарита Васильевна! Если б Вы знали, как я счастлив. А<нна> Р<удольфовна> сказала мне твердо и решительно, что она уверена в том, что я, я ничего не могу сделать Вам злого и ужасного.

Милая, милая Маргарита Васильевна, забудьте то письмо, в котором я просил Вас бежать и спасаться от меня.[11]

Как я люблю Ваше письмо. Я целую его. Я полон счастьем, тем, которое можно расплескать по миру, которым можно заражать людей...

Милая, милая, любимая...

Только счастьем можно отрешиться от своего «я», только счастьем можно слиться с миром.

Зачем мне сердце и любовь, если я без них могу быть так счастлив и так радостен Вами, и так любить Вас?

Милая, милая...

[1] См. примеч. 7 к п. 54.

[2] Ср. примеч. 4 к п. 76.

[3] Ср. то же «откровение» Минцловой по дневниковой записи от 8/21 июля 1905г.: «Я люблю Ваши глаза. Они впалые, глубокие. Рот... Нет, он очень чужой. Эти губы много говорили слов. Они могут лгать...» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 229).

[4] Весь пассаж о «ревности» почти дословно совпадает с дневниковой записью (*Там же*).

[5] См. примеч. 3 к п. 68.

[6] См. примеч. 5 и 6 к п. 74.

[7] Богом любви в древнеиндийской мифологии был Кама. В данном случае речь идет, видимо, о Лакшми – богине счастья, богатства и красоты; другое ее имя – Шри («процветание», «счастье», «слава»). Со временем эти два образа начинают сливаться (см.: Мифы народов мира. Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1992. Т. 2. С. 35–36; статья С.Д. Серебряного).

[8] См. примеч. 1 к п. 74.

[9] Имеется в виду портрет Анны де Ту (Thou), графини де Шеверни (?–1584), приписываемый художнику Франсуа Кенелю Старшему. 11/24 августа 1905 г. Минцлова писала Сабашниковой: «...Завтра, т.е. сегодня мы едем в Версаль. Сомов так упорно и настойчиво просит и пишет о том, чтобы я съездила с Чуйко в Версаль и взглянула бы там на свой портрет, удивительно похожий, говорит он. – Он говорит, что я, живая, стою там, в Версале, до ужаса похожая... Я была тогда тоже Анна – Anne comptesse de Thou <Анна графиня Ту> – и я умерла в 1547 году.. Странно, что я не успела еще отдохнуть с тех пор – а времени было достаточно! Сомов прислал мне точный адрес, где мне найти себя, № и залу (это из новых, оказывается, недавно открытых зал Версаля). Завтра я еду туда с Чуйко...» (цит. по: Из писем А.Р. Минцловой к Маргарите Сабашниковой. С. 23).

[10] Мадам Жеан (Жанна) – хозяйка парижского пансиона на бульваре Монпарнас.

[11] Имеется в виду п. 74.

78. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

10/23 июля 1905 г. Цюрих[1]

Воскресенье.[2]

Милый Макс Александрович, это вздор!

Это все вздор, что Вы пишете и что Вам говорят. Тайна рождения больше всех, и она никому недоступна. «Дух веет, где хочет»...[3] Это никому не дано знать, и Вам нужно только усилие, только желание. Вам нужно бодрствовать; Вам нужно стучаться, стучаться...

Ведь что-нибудь я люблю в Вас. Я знаю. Не мне нужно Ваше живое сердце; Вам оно нужно. И оно зажжется, хотя

не для меня. А я? Уйти? Спасаться? О, нет! Ведь мне нечего терять. Ведь не для себя сторожу я Вашу душу. Мое страдание – лучшее, что было у меня в жизни. Я ничего не жду, но я не верю в бесплодность любви. Вы слышите, я не верю. Я буду с Вами, хотя бы далеко, хотя бы забытой, и если Вы назовете мое имя, я скажу: я здесь. Не приходите в отчаяние. Вот как Вы скоро теряете надежду на первых же порах. Так нельзя. Если это правда, что я немножко дорога Вам, то Вы должны мне немножко верить. Вы должны с доверием относиться к своей судьбе. Я вовсе не верю словам А<нны> Р<удольфовны>. Я никому не поверю. Она хотела испытать Вас. Может быть, нужно было Ваше страдание, Ваше сомнение.

Помните, как русалочка в сказке хотела бессмертной души,[4] помните моряка скитальца?[5] Наши страдания, может быть, нужны. Боги требуют жертв.

Не думайте слишком много о себе; это самовнушение; только не забывайте никогда. Делайте все, что от Вас зависит, изо всех сил; изо всех. Остальное не от Вас. Обо мне не тревожьтесь. Повторяю, что я ничего не жду для себя. Я только вижу дальше Вас, и мне хочется быть с Вами.

Вчера я видела сон.

Было росистое утро, и луг сверкал, травы просвечивали. Я остановила Вас за руку и сказала: «Вот здесь». Вы хотели что-то спросить, но я закрыла Вам рот своей рукой и прошептала: «Тише, милый мой». И в эту минуту мимо нас медленно проходил ангел, оставляя по травам след, как по воде; он как-то проплыл, еле касаясь верхушек трав, и Вы сжали мою руку. Мне казалось, что Вы ребенок.

Ну, до свиданья. Будьте умником. Пишите мне каждый день все, о чем Вы будете говорить с А<нной> Р<удольфовной>. Будьте сильнее судьбы. Не уходите. Ваша воля должна быть сильнее всего. Неужели мне Вы не поверите?

Вы не помните, какой это апостол бежал за своим учеником? Он был старик и очень любил молодого ученика; тот что-то сделал плохое, пришел в отчаяние и избегал учителя. И вот старик увидал его и пошел к нему; тот побежал, и старик

бежал за ним по горам, не останавливаясь, пока не настиг. Эта скачка в горах очень трогательна. Правда?[6]

До свиданья. Ну, не унывайте.

«Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия ни даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми».[7]

Я давно не писала Вам о Ваших стихах. Я теперь иначе читаю стихи, очень внимательно, но никогда не могу ничего о них сказать: хороши ли они или нет. Я их принимаю. Ваши последние стихи, отн<осящиеся> к маю,[8] очень хороши, очень трагичны. Вы хорошо сделали, что прислали мне их.

Ну, еще раз; не пишите и не думайте глупостей и помните, что я ничего не жду для себя; я только уверена в Вас.

На днях я напишу А<нне> Р<удольфовне>.

Про зол<отого> ибиса я не знаю. Она мне вообще написала всего раз.[9]

Долго ли Сомов будет в Париже?

[1] Ответ на п. 74.

[2] Рукой Волошина вписана дата: «23 июля».

[3] Слова Христа (Ин. III, 8). В синодальном переводе: «Дух дышит, где хочет».

[4] Речь идет о сказке Х.К. Андерсена «Русалочка» (1837).

[5] Имеется в виду романтическая опера Вагнера «Летучий голландец (Моряк-скиталец)» (1843).

[6] Сабашникова пересказывает одно из преданий, связанное с последними годами жизни апостола и евангелиста Иоанна Богослова. В одной из малоазийских церквей, – сообщается в его житии (с указанием на повествование Климента Александрийского как источник), – Иоанн заметил среди своих слушателей юношу, отличавшегося необыкновенными дарованиями, и поручил его попечению епископа. Через некоторое время апостол узнал, что юноша подпал под дурное влияние и удалился в горы, где возглавил шайку разбойников. Престарелый апостол отправился в горы, где намеренно отдал себя в руки разбойников. Увидев, кто стоит перед ним, предводитель разбойников, охваченный стыдом, бросился бежать, но апостол поспешил за ним с криком: «Остановись и послушай

меня; верь, я послан к тебе Самим Христом!» Слова его возымели действие, разбойник остановился и бросил на землю оружие. «Иоанн подошел к нему, взял его за руку и привел в город. Там Иоанн призывал его к покаянию, указывал на милосердие Божие и расположил его к доброй жизни» (Жития святых, празднуемых православною русской церковию, кратко изложенные по руководству четьих миней св. Димитрия Ростовского и др. источников, с привосокуплением описания двунадесятых праздников, чудотворных икон и указаний мест, где почивают мощи святых угодников Божиих. Под ред. Д.И. Протопопова. 2-е изд. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. М.: Типография Т-ва И.Д. Сытина, 1905. С. 340–341).

[7] Из покаянной молитвы Ефрема Сирина.

[8] См. примеч. 4 и 5 к п. 73.

[9] Имеется в виду письмо Минцловой к Сабашниковой от 17/30 июня 1905 г. из Лондона (см. примеч. 10 к п. 57).

79. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

10/23 июля 1905 г. Париж

23 июл<я>. Утро.

– «Где я был самим собой нераздробленным, цельным, как когда-то»...[1]

Всюду, куда ни взглянешь, видишь свое лицо. Как мир стал тесен, близок и связан... Поворачиваешь глаза на все четыре стороны света и говоришь себе «и это – я... и это – я...» Человеческая любовь говорит – это *«мое»*. Я никогда не знал этого слова...

У меня ничего не было и нет в мире, чему бы я мог сказать *«мое»*. Все, что я видел, – это было или «я», или я ничего не видел. Раньше у меня это было только к природе – к горам, к морю, к аромату сухих трав... Я никогда не отделялся от них, я никогда не знал другого отношения и потому не сознавал и не подозревал, что они могут быть «не я»... Люди скользили мимо, и я не замечал их: мое «я» были краски, линии, формы... в них я жил мировой бездумной жизнью, не разложившейся на молнии мысли.

И теперь, когда человеческий мир, когда Вы вошли в мою душу, я говорю – это Я. У меня нет слова «мое», и поэтому нет ревности. В следующих странствиях мне еще суждено пройти сквозь пламя «моего» и «чужого», но в этих предрассветных минутах есть слабый отблеск высших воплощений, когда будет только любовь, но не будет ревности.

Вы рассекли мою душу и вошли в нее. И теперь я вижу и знаю свое *Я* во всем многогранном зеркале мира и искусства и везде, и вижу свое – наше лицо, точно мы создали этот мир и только нас повторяет он, и только об нас были написаны книги и иссечены египетские гробницы...

Но *любви* нет во мне, потому что я ничему не могу сказать «мое». Но как же я могу сказать это? То, что не «я», я не вижу, не чувствую...

Когда я был Хайдом и приходил к Вам осыпанный серой пылью, Вы не были «я». И я со смутным беспокойством чувствовал, подозревал, что кто-то стучится в далекую дверь, но не мог подойти к ней и отворить ее, потому что это было в другом измерении.

Это не выше человека, но и не ниже – это рядом с человеком, а с тех пор, как мы стали «я», весь мир стал как внутренность священной чаши, замкнувшей нас... Так же, как если б я почувствовал, что солнце – это мой глаз и я смотрю им и могу закрыть его и двигать им...

Поэтому когда я с Вами, я не могу отличить, где кончается мое чувство, где кончается моя мысль. Вы чувствуете, и мне кажется, что это во мне, и Ваша боль во мне и моя, но без жала, как заря на небе... Благословляя Вас, я кладу руки на свою собственную голову. Я становлюсь на колени и благодарю мир за то, что он вошел в меня и стал мной.

За то, что он заключил *нашу* душу в палатку, расписанную снами, и мы не знаем, где сон, где мы – потому что все одно и то же. Нет разницы, и нет «твое» и «мое».

«Станем добре... станем со страхом...»[2]

Вот моя душа, вот я отдаю тебе мою душу, чтобы она стала чиста, чтобы она стала крепка...[3]

Я радостен и спокоен, я знаю, что не могу причинить Вам зла, если только не подыму руки против самого себя... И душа моя разрывается, потому что я не могу произнести моего слова к Вам... Моего «люблю», потому что это слово не произносимо человеческим голосом, как вечное Имя Каббалы, обозначенное знаками[4]

אהיה אשר אהיה

[1] Слова Сабашниковой из п. 75.

[2] См. примеч. 5 к п. 51.

[3] Ниже в этом месте наклеен засохший лепесток цветка.

[4] Далее следуют неточно скопированные Волошиным (из неизвестного источника) слова Бога, обращенные к Моисею: «Я есмь Сущий» (Исх. III, 14).

80. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

10/23 июля 1905 г. Париж

23 июля. Вечер.

Вот я опять в кафе – пользуюсь временем обеда, чтобы писать Вам. Мы только что были все у Чуйко. Он начал писать портрет Ан<ны> Руд<ольфовны>.[1] Я воспользовался этим случаем и снял ее несколько раз. Я думаю, что портреты будут удачны. Нравятся ли Вам портреты Чуйко?

Завтра мы едем с Ан<ной> Руд<ольфовной> в Руан на два дня. Как-то все сериозные и важные вопросы мы откладываем на это время. Сейчас, вечером, у ней будет Сомов. Потом мы пойдем по старому Парижу (наконец!). Сомов стал необычайно нежен и внимателен с Ан<ной> Руд<ольфовной> и вдруг ощутил привязанность к Чуйко.

Чуйко не едет с нами в Руан, но после поедет с Ан<ной> Руд<ольфовной> на Mont St. Michel.*[2] У него неожиданно

* Гора Сен-Мишель *(фр.)*.

явилось желание путешествовать. Я в то время, верно, не буду уже в Париже. Я не могу точно назначить дня своего отъезда из Парижа. Мне надо написать ряд статей и дождаться денег. Но в начале августа до 10-го я буду у Вас в Цюрихе.[3] Если бы нам пойти в снега – в горы?.. В это время Вы уже вернетесь из Нюренберга? Я не хочу городов. Мы *должны* увидеться среди вечных льдов. Только там душа может смело взглянуть до дна бездны. Только там можно проверить себя перед лицом мировой души... В городе снова будут обманы рдяного человеческого дыхания, обманы воспаленных слов. Нам надо, надо посмотреть друг другу в глаза среди вечной тишины, среди вечных кристаллов... Я чувствую – это необходимо, только там можно победить Майю...[4]

Я в первый раз понял, сознал, что мы с Вами виделись только среди людей, только среди городов, только в терпком воздухе музеев, насыщенном священным дыханием мертвецов...

Мы все время ходили среди могил и поэтому так робко не могли коснуться друг друга, и лица наши вдруг становились чужды друг другу...

«Станем добре, станем со страхом, святое возношение в мире приносится»...[5]

Это будет высшее испытание, страшное испытание...

Мы причастимся страшной тайны
В лучах пылавшего лица...[6]

В первый вечер, проведенный с Сомовым, Ан<на> Руд<ольфовна> рассказывала сперва о своем дяде – заведующем Национальными Архивами,[7] потом о луне...

Она видела луну в московской Обсерватории в большой телескоп. Я не могу теперь вспомнить ее точных слов и передать всего ужаса той картины, которую она описала.

Мир, застывший в порыве исполинской безнадежной борьбы... Окаменевшие руки, окаменевшие деревья... Какие у нее странные слова: она видит всегда то, что не видят другие.

То, что она видела на луне, нельзя видеть ни в какой телескоп, но под ее близорукими глазами раздвигаются бездны, ходят огненные ореолы...[8]

Я никогда не знаю, что видят ее глаза, когда они смотрят на меня. Она только наполовину видит в нашем измерении. Она видит где-то рядом соприкасающееся тесно, еще понятное, но уже не наше...

Она видит больше в области фиолетового, чем мы. Не символически, а реально.

Она узнает людей только по ореолам вокруг головы, но не видит ни лиц, ни фигур.

И ореолы меняют свой цвет, и она по цветам читает душу. Самое ослепительное сияние – золотистое – она видела около головы Бальмонта в редкие минуты... Но ни у кого из людей она не видала более чистого сияния...

Меня поразило вчера, когда мы выходили с ней вместе, чтобы идти в Crédit Lyonnais*[9] – как она испугалась, что она позабыла перчатки...

«Я могу выйти на улицу без платья и не заметить, но не могу без перчаток с голыми руками».

Я только тут понял всю остроту зрения ее пальцев и ту боль, которую ей причиняет улица, если она выходит с голыми руками...

Анни Безант спрашивала о нас трех.[10] В первый раз в Париже она подробно расспросила о каждом и сказала: они будут из наших. И первый же вопрос, который она предложила Ан<не> Р<удольфовне> в Англии, был:

– Где же Ваши парижские друзья...

В тот вечер мы говорили о Крыме. Коктебель для Ан<ны> Руд<ольфовны> представляет какое-то странное мистическое значение.

Сомов так был увлечен ее рассказом, что решил будущим летом ехать в Крым и встретиться там с ней.

В этот вечер мое отношение к Сомову переменилось. Я почувствовал, что он мне ближе и понятнее...

Но не я ему...

Милая, милая Маргарита Васильевна, – Вы до такой степени здесь близко, с нами, каждую минуту, что мне странно

---

* «Лионский кредит» *(фр.)*.

писать Вам: как будто Вы всего не слышите, не видите, не чувствуете?

Ан<на> Руд<ольфовна>, может быть, будет в Швейцарии – ее вызывает один ее тяжело больной друг – она получила сегодня письмо. За несколько дней до этого она говорила мне, что она чувствует, что она скоро снова увидит Вас – теперь же, в течение этих ближайших месяцев.

Я уже запечатывал письмо, чтобы лететь к А<нне> Р<удольфовне>, но хлынул ливень, сумерки позеленели, и я заперт в кафе...

Помните Вы египтянку, которая держит длинный стебель репейника в руке и нюхает его?[11]

Я не знаю, почему мне она вспомнилась...

Милая, милая, Маргарита Васильевна...

[1] Над портретом Минцловой Чуйко работал в июле–августе 1905 г. «Сейчас я иду к Чуйко, – писала Минцлова М.В. Сабашниковой 21 июля / 3 августа 1905 г., – он вчера начал готовый этюд с меня, где еще ярче и яснее руки. Бальмонт и Елена пришли в восторг от него вчера» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 87, л. 8). Портрет не сохранился, однако о том, как он выглядел, можно судить по письму Чуйко к М.В. Сабашниковой от 12/25 июля 1905 г.: «Сделал эскиз для портрета Минцловой с натуры приблизительно как нарисовано внизу: лиловые цветы, черная юпка, лиловый клетчатый платок, зеленая моя подушка, серая кофта, а сзади гобелен, сине-зеленое, коричневато-серое и светло-матовое освещение сверху» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 110, л. 16 об.; внизу листа – набросок портрета).

[2] Мон Сен-Мишель (Гора святого Михаила) – небольшой скалистый остров у северо-западного побережья в Нормандии (в 400 км от Парижа), привлекающий многочисленных посетителей своим архитектурным ансамблем (средневековым аббатством, фортификационными сооружениями и др.).

[3] См. примеч. 29 к п. 73.

[4] См. примеч. 2 к п. 39.

[5] Волошин неточно цитирует начало Евхаристического канона (см. примеч. 5 к п. 51 и п. 79).

[6] Две неточно воспроизведенные строки из стихотворения «И были дни как муть опала...» («Второе письмо»). См. п. 52 и примеч. 18 к нему.

[7] Ср. в дневниковой записи Волошина от 7/20 июля 1905 г.: «А<нна> Р<удольфовна> говорит о своем дяде (Compardon). О старых книгах, библиотеках» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 229). Упоминается французский архивист и историк Эмиль Кампардон (1837–1915), автор воспоминаний и работ, посвященных Французской революции XVIII в., хранитель и заведующий отделом в Национальном архиве Франции (1857–1908), почетный корреспондент Императорской Публичной библиотеки. Можно предположить, что Кампардон был знаком и переписывался с дедом Минцловой, известным библиографом и книговедом Р.И. Минцловым (1811–1883), служившим с 1847 г. в Публичной библиотеке.

В письме к Волошину от 25 августа / 7 сентября 1905 г. Минцлова вновь упоминает о «дяде»: «...Я должна быть у дяди в “Archives Nationales” <”Национальном архиве”>... <...> быть может, мы с Вами дойдем до Archives, я ровно в 2 часа вхожу к дяде, ни минутой раньше, ни позже...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843 , л. 22–23).

Почему, однако, Минцлова именует Э. Кампардона «дядей», не вполне ясно.

[8] Минцлова, судя по ее письмам и свидетельствам современников, неоднократно демонстрировала свою оккультно-мистическую связь с «Луной-Гекатой», богиней мрака, чар и колдовства, якобы стимулирующей внутреннюю энергию, что объясняется прежде всего ее увлеченностью оккультизмом и теософскими теориями (символике луны посвящен самостоятельный отдел в «Тайной доктрине» Блаватской). Во всяком случае, в беседах с Волошиным в июле 1905 г. Минцлова постоянно упоминает о Луне (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 225, 229).

К этим же источникам (теософия, влияние Минцловой) восходит и культ Луны в творчестве Бальмонта начала XX в.; см. его стихотворения «Лунное безмолвие», «Влияние Луны», «Восхваление Луны» и др. в стихотворном сб. «Будем как Солнце. Книга символов» (М.: Скорпион, 1903. С. 14–21).

«...Сегодня (в ночь с 6–7 августа), – писала Минцлова Волошину 25 июля / 7 августа 1905 г., – я провела совсем лихорадочную, странную, совсем бессонную ночь – впервые в этой комнате я услышала стуки, шорохи – и шелест переворачиваемых листов бумаги, оставленной мною на столе...

Быть может, это связано с новолунием, всегда действующим на меня?

“Сегодня в мире новолуние,
Сегодня Царствие Луны”
(К<онстантин> Б<альмонт>)».

(ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 5–5 об.; цитируются две строки из 4-го стихотворения цикла «С морского дна»; см.: *Бальмонт К.* Будем как Солнце. Книга символов. С. 33).

«Лунный мотив» заметно окрашивает и поэтическое творчество Волошина 1900-х и первой половины 1910-х гг. См., например, в стихотворении «Таиах» (1905): «Я устал от лунных снов» (Т. 1 наст. изд. С. 58); в седьмом стихотворении венка сонетов «Lunaria» (1913): «К Диане бледной, к яростной Гекате Я простираю руки и мольбы» (*Там же*. С. 211); венок сонетов «Corona Astralis (1909) и др.).

О восприятии Минцловой «ущербной Луны-Гекаты» см. также в п. 81, 107, 116 и 118.

[9] Название одного из крупнейших французских банков, основанного в 1863 г. в Лионе. Существует по настоящее время; имеет свои представительства за границей, в том числе и в России.

[10] См. примеч. 21 к п. 73.

[11] Волошин имеет в виду одну из статуэток в Египетском отделе Лувра. Ср. дневниковую запись от 19 июля / 1 июля 1905 г.: «Мы были в “Мастаба”. Два глаза, поразившие при входе. Три фигуры идущие. Женщина, нюхающая цветок. Гробница» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 226). См. также п. 8 и примеч. 25 к п. 73.

81. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

11/24 июля 1905 г. Париж

24 июля. Утро.

Через полчаса я должен лететь к Ан<не> Руд<ольфовне>, чтобы ехать на вокзал и в Руан.

Милая, милая Маргарита Васильевна. Вчера мы до трех часов ночи ходили по Парижу: Сомов, Чуйко, А<нна> Р<удольфовна>, я.

Я держал руку Ан<ны> Р<удольфовны>. Сомов вел ее за руку. И я чувствовал точно пламя, раздуваемое ветром. Только мы начинали приближаться к какому-нибудь из страшных мест Старого Парижа, пламя выгибалось и трепетало, как от сильного ветра.

Точно от каждого старого камня на нее дули невидимые токи. Временами они превращались в вихри... На месте казни тамплиеров ее руки помертвели и похолодели...

Мне никогда так не было страшно за нее. Как все люди переменяются перед ней...

Я не узнавал Сомова. Ему, очевидно, страшно хотелось поговорить с ней наедине, но она этого боялась и избегала...[1]

Он несколько раз начинал говорить с ней об смерти. Но стеснялся нашим присутствием. Он боится ее. Он хочет верить в бессмертие, но требует доказательств. Он начинал говорить о своем умершем брате...[2]

Мы были на Place des Vosges.*[3] Говорили о казни Марии Антуанетты – она была казнена там при ущербной луне...[4] Ущербная луна была на небе среди облаков, Луна-Геката и ее присутствие волновало Ан<ну> Р<удольфовну> до безумия.[5]

Я шел с Чуйко и в первый раз почувствовал, как сердце мое раскрывается перед ним.[6]

Мы только держали друг друга за руки и говорили о толпе, о лицах, о нашей любви к человеческому лицу.

Какой у него есть удивительно милый лукавый взгляд молодого сатиренка, когда он смотрит немного вбок наклонивши голову.

Потом его консьерж[7] запротестовал, и он оставил нас.

Какое странное влечение Ан<ны> Р<удольфовны> к тем местам, где была пролита человеческая кровь. Мне кажется, что именно испарения старой крови она чувствует больше всего...

Я сейчас радостен и взволнован от поездки. Тут должно быть очень многое. Я жду бессознательно и уверенно каких-то слов, которые определят направление целой жизни... Я никогда не говорил с певучим пламенем, а теперь говорю. Ни с кем из людей у меня не было таких странных, таких необычайных отношений.

Она с какой-то особой сериозностью, с особым чувством говорит о значении нашего теперешнего знакомства, и я смущен, я теряюсь потому, что не знаю, что же я-то могу для нее значить?..

Милая, милая, Маргарита Васильевна. Да, увидеться с Вами среди вечных снегов перед лицом зеленого неба на страшной высоте, вне людского дыхания и жара земли... Ведь, да? мы увидимся так. Только там слова теряют свою силу, только там можно все сказать молчанием...

Милая, милая, любимая...

---

* Площадь Вогезов *(фр.)*.

[1] 12/25 июля 1905 г. Минцлова писала Сабашниковой: «...Еще хочу рассказать Вам немного о Сомове. Он только что уехал в Россию – я должна сказать, что эти дни после моего возвращения из Англии он на меня и на всех нас производил самое лучшее впечатление. В нем вспыхнул вдруг неожиданно тот священный огонь, загорелась какая-то нежность души, какая-то страшная нежность и отзывчивость. Последний вечер (*воскресенье* 23<–го>) накануне его отъезда и нашего с М<аксимилианом> А<лександровичем> в Руан мы провели вчетвером, я, Чуйко, Сомов и Волошин, мы бродили по старому Парижу. Я взяла руку Сомова – и он не выпускал ее все время, всю ночь почти, пока мы бродили, – и он так слушал, так звучал в ответ всему тому, что я рассказывала ему, – у меня осталось самое лучшее, самое светлое воспоминание о нем, и я обещала ему написать скоро в Петерб<ург> ему – конечно, я это сделаю, и на днях же» (Из писем А.Р. Минцловой к Маргарите Сабашниковой. С. 15).

[2] Александр Андреевич Сомов, старший брат художника, умер в мае 1903 г. «Его все решительно любили, а я в нем потерял самого дорого человека на свете», – писал Сомов А.П. Остроумовой 23 мая / 5 июня 1903 г. (Константин Андреевич Сомов. Вступ. статья, сост., примеч. и летопись жизни и творчества К.А. Сомова Ю.Н. Подкопаевой и А.Н. Свешниковой. М.: Искусство, 1979. С. 81).

[3] Площадь Вогезов – старинная площадь Парижа (разбита и застроена в 1605–1612 гг.); до 1799 г. называлась Королевской; получила нынешнее название в честь жителей департамента Вогезы, согласившихся платить налог на содержание французской армии.

[4] Мария-Антуанетта была казнена утром 16 октября 1793 г. на Площади Революции (ныне Площадь Согласия).

[5] См. примеч. 8 к п. 80 и п. 107, 116 и 118.

[6] Ср. с описанием этой прогулки в письме Чуйко к Сабашниковой от 12/25 июля 1905 г.: «...Мы <...> решили перед отъездом Сомова пройтись по старому Парижу: выехали на Bastille <площадь Бастилии> часов в 11 ночи, прошли на Place des Vosges <площадь Вогезов>, посидели в кафе в ожидании Луны и отправились. Я не мастер описывать, но скажу только. Жутко, хорошо и неожиданно, ходили до часу ночи. Я в восторге» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 110, л. 16). Далее Чуйко пишет о своем отношении к Волошину: «Макс мне все больше и больше напоминает князя Мышкина. Неужели он кому-н<и>б<удь> когда-нибудь сделал больно? У него только нет “идиотского сердца”, но он также чист и незлобив. Я его очень полюбил» (*Там же*).

[7] Слово «консьерж» употреблено здесь в значении «внутренний страж», наблюдатель, другое «я» (ср. п. 143, 148 и 167).

82. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

11/24 июля 1905 г. Руан

24 июля. Руан. Пред вечером.

Комната в гостинице. Первый этаж. Под ногами река и готический городок, залитый вечерним сиянием.

В моей душе растут и высятся лестницы, пилястры, порталы. Она вся одно готическое кружево. Мы говорим об Вас... и в моей руке все время горит и трепещет рука А<нны> Р<удольфовны>, горячая и летучая, как пламя.

Вы все время, не переставая, с нами.

Церкви, церкви, соборы — весь город как один резной и просвечивающий вечерним светом храм.

Мы были в одном соборе,[1] где каменные колонны были пронизаны фиолетовым светом. Фиолетовым, переходившим в розовый — золотисто-розовый. Я не знаю, что это было. Я слышал, как А<нна> Р<удольфовна> шептала: «Если долго смотреть в этот фиолетовый свет, то увидишь все, все».

И там, где фиолетовый переходил в розово-золотистый, я видел, я знал, я чувствовал Вашу душу. И я помню, что я целовал фиолетовый сияющий камень, и когда я наклонялся, то видел тень своей головы золотисто-зеленую, влажную, утопающую в лиловых лучах.

И потом я смотрел наверх, где сияла фиолетовая роза среди мрака храма, и фиолетовые лучи лились мне прямо в глаза, они одевали всю внутренность кружевного собора фиолетовой сияющей пылью, и я молился фиолетовому лучу. Я молился за Вас, и моя молитва была благословением, и мне казалось, что моя душа, как маленький золотисто-прозрачный паучок, поднимается по этой нити под гулкие, громадные, благословляющие суровым благословением жизни своды храма...

И потом я видел, как Ан<на> Р<удольфовна> стояла на коленях на каменных плитах и целовала то место, куда падал фиолетовый луч.

Когда я взял ее за руку, она была облачная, почти холодная...

Потом я помню лицо священника, совсем бледного, седого, с молодым лицом и темными глазами, который молился в одном из уголков собора. Я видел, как он бросился на колени и опустил голову на руки. Ан<на> Руд<ольфовна> сильно вздрогнула и тихо сказала:

«Около его головы очень чистый лиловый цвет и оранжевое земное сияние».

А снаружи весь собор, светлый и пышный, был похож на тринадцатилетнюю первопричастницу, которая, осторожно подобрав кисеи, кружева и ленты своего белого облака, ступает кончиками ног по черным плитам запыленного временем города.[2]

Милая, милая Маргарита Васильевна, разве это бывает когда-нибудь?

Мне кажется, точно я не своими глазами смотрю на мир. Когда А<нна> Р<удольфовна> кладет свою руку на мою, какие-то иные глаза вырастают и видят то, чего я никогда не видел и не подозревал.

Неужели это пройдет... Неужели зеркало ослепнет снова?

И я спрашивал А<нну> Р<удольфовну>, неужели это только зеркало. И она говорила: «Нет, это не может быть только зеркалом, я чувствую это».[3]

И она говорила, что ей ни с кем не было так спокойно и уверенно, как со мной... Если это действительно так... Ведь я не могу не верить ей...

Ах, Маргарита Васильевна, как я счастлив. Я верю, что не будет забвения, и я чувствую, как Вы здесь с нами, не отходя ни на минуту. И когда я думаю об Вас, я каждый раз чувствую, как рука Ан<ны> Р<удольфовны> вздрагивает...

Милая, милая Маргарита Васильевна, я становлюсь на колени, целую Вашу фиолетовую тень, которая ложится у Ваших ног по горному снегу...

Вы помните, помните? –

И где был путь камнями сужен,
Там оставались вслед за ней:
Струи мерцающих камней
И нити сорванных жемчужин?..[4]

Милая, дорогая... любимая...

[1] Имеется в виду готический собор Нотр-Дам в Руане (заложен в XIII в., возведен в XIII–XVI вв.; сильно пострадал при бомбардировках в 1944 г.). На территории собора захоронено сердце Ричарда Львиное Сердце.

[2] Этот образ войдет в последнее (седьмое) стихотворение цикла «Руанский собор» (1907): «И стоит собор — первопричастница / В кружевах и белой кисее» (Т. 1 наст. изд. С. 85, 462).

[3] Ср. примеч. 2 к п. 32 и тему «зеркала» в п. 50–53.

[4] Из неоконченного стихотворения Волошина «Она ползла по ребрам гор...» (см. примеч. 15 к п. 32).

83. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

12/25 июля 1905 г. Руан

Руан. 25 июля. *Утро.*

Милая, дорогая, избранная...

Я кланяюсь миру и городу из моего окна, висящего над рекой, и смотрю в Вашу сторону.

Что-то совершилось... Я никогда не испытывал такой радости, силы и уверенности... Теперь я могу прийти к Вам и прямо взглянуть в Ваши глаза...

Ночью... Не было земли — были только уступы, арки, пилястры, тонкие дуги, кружевные стрелки, которые, как музыка, плавным и властным порывом, не переставая, уносились в темное звездное небо. Они были все осыпаны, все сияли звездной пылью. Неподвижно расширяясь, подымались без движения. Точно у этих каменных глыб были птичьи крылья...

А в темных улицах сдвигались и сжимались старые камни, полные прерывистым, рдяным дыханием людей, тысячей тысяч людей... И рука А<нны> Р<удольфовны> так трепетала и замирала, что я видел и знал, что происходило здесь.

А потом была вода — шепчущая, зеркальная знающая вода, которая несла в себе земные огни, но отдавала их иными...

Во всем мире совершались мистерии о нашей судьбе...

Теперь я приду к Вам, и мы возьмемся за руки и пойдем...

И отсюда наша дорога *может* быть одна.

Дайте мне Вашу руку. Теперь я сильный. И раньше всего, раньше всего мы пойдем на вершины гор, в вечные снега...

Вот что выросло из тех алых роз, которые вы опустили на наши руки...[1]

Милая, дорогая, избранная...

[1] См. примеч. 6 к п. 50.

84. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

12/25 июля 1905 г. Руан

Руан. 25 июля. Перед вечером.

Я в последний глаз смотрю с высоты моего окна на эту реку и этот город, такой близкий, такой дорогой мне.

Через полчаса мы уезжаем.

Я пишу Вам этими бледными, почти невидимыми чернилами, и мне кажется, что слова мои только добегут до Ваших глаз и исчезнут – останется один белый лист бумаги. Но он скажет гораздо больше... Все то, что я ждал, – все было. И было гораздо больше.

Я расскажу Вам, когда мы будем в горах... Бездна времени и бездна памяти распались в новых местах.

Я становлюсь пред Вами на одно колено и склоняю голову... Благословите меня – я теперь достоин Вашего благословения...

Я иду, иду к Вам... Я не боюсь теперь – я знаю свое чувство: ни лжи, ни ошибки ни вольной, ни невольной быть не может...

Через немного, через немного дней мы посмотрим друг другу в глаза...

Сюда доносится горький запах океанской волны и манит меня вдаль.

Давно я не слыхал это<го> знакомого призыва. Сегодня ночью и сегодня в полдень был поворот...

Здравствуйте, Маргарита Васильевна!

Здравствуйте, любимая, милая, единая... Я тороплюсь Вам написать эти несколько слов. Они должны прозвучать Вам от этих камней – с ними все связано...

Иду, иду, иду...

85. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

12/25–13/26 июля 1905 г. Цюрих[1]

25, вторн<ик>.

Вы не можете себе представить, как я счастлива, получая все письма... Я их читаю, перечитываю, и мне кажется, что я с Вами. Иногда мне кажется, что Вы мне рассказываете сказки; так все необыкновенно... Что это А<нна> Р<удольфовна> колдует... Есть феи... Послушайте, как странно, как все детские представления связываются с новыми, точно находишь самое себя, точно мост брошен через пропасть... Впрочем, у Вас, кажется, не было этой ломки, когда расстаешься с сказкой.

Помните слова Туберозова у Лескова: «Счастлив, кто живет в мире с старой сказкой».[2] Ах, как ужасно мне было порывать с старой сказкой; я чуть с ума не сошла, если бы не Ек<атерина> Ал<ексеевна> и не Достоевский, я бы не могла дольше жить... Тогда же я прочла Чатерджи;[3] это меня спасло. А теперь вот она вполне со мной, моя живая сказка. Я точно из далеких чуждых стран вернулась на родину. Как я была далеко! И теперь я точно возродилась; предметы такие знакомые и новые...... И я ничего не понимаю. Каждый день я думаю: завтра будет еще день... Что совершается? Вы что-то там в Париже колдуете......

Что такое? Мне близок ландыш, Вам полынь?.. Что это значит? Я вовсе ландышей не люблю, а гелиотроп меня всегда поражает и останавливает, что значит враждебен, опасен?

Не мучайте меня и объясните, в чем дело. Кто гелиотроп и что это все значит? Если бы это не она сказала, я бы рассердилась.

Вы знаете, ну, правда же, я ничего не понимаю... Иногда мне кажется, что мною играют. Кто Вы? Кто я?

Какая странная вещь; почему мне как будто до Вас какое-то дело..... Иногда я думаю, я ошибаюсь, какое мне дело, а потом это оказывается такой реальностью. Кто меня заставил звать Вас, бежать за Вами, хотя если бы Вы пошли мне навстречу, я бы Вас возненавидела..... Мне никогда не приходило в голову ждать от Вас чего-нибудь, т.е. пойти рядом с Вами, но я должна была позвать Вас. Ну, скажите мне, Вы-то что-нибудь во всем этом понимаете?

Я – ничего. Почему Вы говорили с ней обо мне? Как? Что? Она что-нибудь знает? Понимает?

Послушайте, это, кажется, в последний раз я говорю о нас с Вами, но мне хочется что-нибудь знать обо всем этом. Я не понимаю, что я для Вас. Вы никого не любите и так нежны. Знаете, у меня к Вам такое чувство, что я должна молиться, молиться, чтобы что-то не погасло, и каждый раз, как это угасает, мне невыносимо больно; но это ко мне не относится никак. Но я Вас люблю, как маленького ребенка или как что-то спасенное; ах, как радостно, как нежно люблю. Знаете, поедемте вместе в Le plan paturage de Nau.*[4] Я там один день была в детстве, а потом очень часто видела это место во сне. Мы встретимся тогда в Лозанне. Но, верно, все мои дети поедут за мной... В пятницу я еду в Германию. Сначала в замок Людвига Баварского,[5] потом в Нюренберг; верно в Байрет. Мне бы хотелось видеть вагнеровскую мистерию Парсифаля.[6] Потом в Ротенбург, в Гейдельберг, Карльсруэ, Кольмар, Фрейбург, Страсбург. Алеша не едет. Жаль, что Вы не едете. К 10-му вернусь. Ну, мы еще увидимся дальше. Ах, мне так хочется Вас видеть поскорее, и я немножко жалею, что затеяла эту поездку в Германию теперь именно.

Я получила от Ек<атерины> А<лексеевны> письмо. Она страшно устала. К<онстантин> Д<митриевич> на днях будет в Меррекюле,[7] и вот она собирается скорее туда. Это Сольвег.[8] Правда?

---

* *Букв.:* Ровное пастбище Но *(фр)*

Ах, Макс Александрович, милый Макс Александрович, за что мы так счастливы? Моя чистая звездочка, отвоеванная у тьмы! Вы будете всегда чистым и горящим. Что-то совершилось. Теперь я счастлива, теперь я спокойна. Спокойной ночи, я иду спать. Завтра будет еще день.....

---

26. Среда.

Утро. Получила Ваше письмо из Руана.[9] О, мой милый друг. Да, страшное счастье! О, пишите больше, больше еще. Все слова. Почему А<нна> Р<удольфовна> говорит обо мне? Ну, что во мне? Мне прямо страшно.

Кто меня нездешней властью
Из ничтожества воззвал...[10]

Вы давно не имели писем от меня. Но это виновато воскресенье, здесь не ходит почта, и Ваши письма задержались, так что я ответила только на отчаянное,[11] и этот ответ уже был лишним. Сейчас я спешу; мальчики[12] зовут меня в лес, где Вагнер писал «Waldweben»;*[13] это далеко; 1 ч<ас> езды по ж<елезной> д<ороге>.[14]

Да, потом мы встретимся на горах.

А теперь пишите Нюренберг Poste Restante,** я там до воскресенья, а потом Heidelberg Dr. Salmanoff Steigerweg 51. Villa Waldfrieden.***[15] Оттуда думаю уехать в среду.

Ну, до свиданья, мой милый, мой дорогой. Я бы все повторяла эти слова... ...

Мой милый.[16]

[1] Ответ на п. 80–82.

[2] Священник Савелий Туберозов, один из главных героев романа Лескова «Соборяне» (1872), говорит: «Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своею старою сказкой. Чудная вещь, старая

---

* Лесное кружево *(нем.)*.

** До востребования *(фр.)*.

*** Гейдельберг, д<окто>ру Залманову, Штайгервег 51, вилла Вальдфриден *(нем.)*.

сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость!» (*Лесков Н.С.* Собр. соч.: В 11 т. М.: Гослитиздат, 1957. Т. 4. С. 152).

[3] Имеется в виду браман (точнее, брахмачарин – ученик, изучающий Веды) Джагадиш Чандра Чаттерджи, читавший в 1898 г. в Брюсселе курс лекций, посвященный древней индийской философии. Под общим названием «Сокровенная религиозная философия Индии» лекции Чаттерджи неоднократно издавались на французском (см.: *Chatterji.* La philosophie ésotérique de l'Inde. 4-e édition. Paris: Publications théosophiques, 1903; 1-е изд. – Bruxelles, 1898); позднее – на других языках. Русский перевод (Е.Ф. Писаревой) с 3-го французского издания появился в 1906 г. в Калуге; переиздавался в 1908, 1910 и 1914 гг. (рецензия на первое издание помещена в журнале «Весы» (1906. № 7. С. 68–72; автор – Гармодий (В.Я. Брюсов)). В статье «О теософии» (1907) Волошин определил эту книгу как «очень сжатое, полное и блестящее изложение теософской доктрины» (Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 241).

Книга переиздана также в 2001 г. московским издательством «Сфера» под названием «Сокровенная мудрость Индии», причем в качестве автора ошибочно указан известный индийский филолог-востоковед Сунити Кумар Чаттерджи (1890–1977).

[4] Но – современное название Верлано (Verlanau) – местность в Швейцарских Альпах по течению Роны при общине Колонж (Collonges), округ Сен-Морис (St. Maurice), кантон Валлис (Валэ).

[5] Вероятно, имеется в виду Нойшванштайн, наиболее известный из замков Людвига II Баварского.

[6] «Парсифаль» – музыкальная драма Вагнера, над которой он работал в последние годы своей жизни (премьера состоялась в июле 1882 г.). Согласно завещанию Вагнера, «Парсифаль» можно было исполнять только в Байрёйтском театре (в 1913 г., в связи с окончанием срока авторских прав, ограничение было отменено).

[7] Меррекюль (Мерекюль) – дачный поселок в Эстляндской губернии на берегу Финского залива (ныне не существует; уничтожен в ходе боевых действий во время Второй мировой войны). Летом 1903 г. Бальмонт написал в Меррекюле большинство стихотворений, составивших сборник «Только Любовь» (М., 1903); одно из стихотворений этого сборника называется «Меррекюль» («Ветры тихие безмолвны...»). Однако, вернувшись в Россию в августе 1905 г., Бальмонт провел конец лета и сентябрь 1905 г. не в Меррекюле, а в соседнем дачном поселке – Силламяги.

[8] Сольвейг, героиня драмы Ибсена «Пер Гюнт», символизирует женское долготерпение и верность.

[9] См. п. 82.

[10] Из стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (1828). Цитируется неточно. У Пушкина: «Кто меня враждебной властью...»

[11] Имеется в виду п. 78 – ответ на п. 74.

[12] Т.е. Алексей Сабашников и А.Л. Любимов.

[13] Музыкальная сцена, сопровождающая лирические раздумья Зигфрида во втором акте оперы «Зигфрид» (третья часть тетралогии «Кольцо Нибелунгов»).

[14] Вагнер сочинял «Лесное кружево» весной–летом 1857 г. во время своих прогулок по Зильталю (Sihltal) – живописной долине под Цюрихом.

[15] Сабашникова указывает адрес своей приятельницы О.Э. Сиверс и ее гражданского мужа А.С. Залманова. В 1900-е гг. они были тесно связаны с русскими революционерами-эмигрантами, в частности, с – Г.В. и Р.М. Плехановыми (см. письма О.Э. Сиверс к Р.М. Плехановой // РНБ, ф. 1094, оп. 1, ед. хр. 241 и 321). О.Э. Сиверс быладочерью графа Э.Э. Сиверса и княгини О.И. Урусовой (?–1891). «Она выросла в доме своего дяди по матери, известного в Москве кн. Александра Ивановича Урусова, знатока и покровителя искусства, прекрасно знала языки и впитала дух тонкой умственной культуры, царившей в урусовском особняке у Арбата. Здесь же возникла ее тесная дружба с семьей К.Д. Бальмонта и самим поэтом...» (см.: *Григорович Е.Ю.* Г.А. Лопатин. Воспоминания 1910–1916 гг. // Воля России (Прага). 1928. № 1. С. 51). См. также примеч. 2 к п. 100 и п. 200.

[16] Основные мотивы и отдельные фразы этого письма повторяются в дневниковой записи, сделанной Сабашниковой на другой день (14/27 июля):

«Само счастье пришло в нашу жизнь. Я нашла старую сказку, с которой так мучительно расставалась. Мост перекинулся через пропасть. Священный мост, созданный молитвой. Воскресли и соединились в одно все минуты жизни; детство, как ты близко, как правдив твой голос. Воскресли минуты, все слова свои и чужие. В мире происходят мистерии о нашей судьбе. Где совершается наше мистическое венчание? Эти письма... Этот растущий, как прибой, гимн – это не отражение, это проснулась от тяжкого сна Бессмертная душа. Кто через меня звал ее? Кто заставил меня сторожить эту душу; так ждать ее, так молиться о ней. Кто заставил меня звать ее, гнаться за ней. Часто я думала: мне нет дела, это ошибка, сон, сон. Но острая боль заставляла чувствовать реальность этой связи...

И вот это, наконец, ее голос. Здравствуй, желанная! О мой милый, милый, мой спасенный; о чистая моя звездочка, отвоеванная у тьмы. “Тебе, Господи!”

Письма из Rouan по два, по три раза в день. Я, разве я не с ними в этом соборе с лиловыми стеклами. Они молились фиолетовому лучу. И все письма полны властью ее рук. “Что она там колдует?” – думаю я с радостным ужасом. И знает ли она, куда ведет нас. Мы как дети.

Вокруг меня совершаются мистерии, я не понимаю, я только молюсь, чтобы быть достойной. “Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити”» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 79 об. – 80; о литургической молитве, цитируемой Сабашниковой, см. примеч. 5 к п. 51, а также п. 79 и 80).

86. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

13/26 июля 1905 г. Париж

Париж. 26 июля. *День.*

Вот опять в Париже... Целая вечность – много жизней прошло за эти два дня.

И вот Ваш ответ на мой крик отчаянья прозвучал теперь...[1] Милая, любимая...

Я прижимаю Ваши слова к сердцу, но они уже в прошлом... Теперь иное... Эти испытания кончились для нас. Будут иные и по-иному, но это кончено... В эти дни произошло такое важное и такое решительное, что слова свои я не могу доверить бумаге. Я могу только сказать их Вам, держа Вас за руку, и только высоко над долинами и людьми.

Мы скоро увидимся... День этот, может, отодвинется случайностями жизни, но не усумнитесь и не бойтесь. Может быть, сейчас, сию минуту нам даже и нельзя было бы видеться. Я еще слишком трепещу чужим трепетом, а пред Вами я должен быть только собой.

И всем, всем, что было, я обязан Вам, Вашей любви, потому что она указала на мою душу...

Мое сердце ширится от радости. Я теперь силен и смело приму всякое испытание, всякую борьбу, и когда руки наши сожмутся опять, моя рука будет сильнее Вашей, и я склонюсь до земли пред Вами.

Я Вам расскажу тогда, как мы всходили на башню Руанского собора. Мы висели в воздухе – совсем над бездной.

Бездна была со всех сторон, ничем не закрытая, и в ступенях были звездчатые пролеты, и сквозь них под ногами на неизмеримой глубине внизу был виден готический городок.

Это было во вторник 25 июля около полудня. Вспомните, что Вы делали и что Вы думали ночью с понедельника на вторник в полночь и немного раньше... Это был самый важный и решительный для Вас момент, и тогда решилась Ваша судьба...

Я стоял на высоте в полдень. Там было видно и прошлое и будущее. У меня кружится голова. Я не должен этого писать — мы будем говорить об этом.

Вчера ночью мы вернулись. И Ан<на> Руд<ольфовна> нашла Ваше письмо[2] и письмо Ек<атерины> Алекс<еевны>.

Бальмонт в Лондоне и будет через несколько дней в Париже.[3] Я чувствую, что я не имею права уехать, пока он будет здесь... Его приезд очень пугает меня — ему нельзя быть в Париже. У меня пред ним какой-то странный долг. Как странно, мне сейчас вспомнилась его фраза, из которой я впервые узнал о Вашем существовании на земле...[4]

Ан<на> Руд<ольфовна> тоже странно взволнована его приездом и предчувствиями...

Завтра мы (Ан<на> Руд<ольфовна>, Чуйко и я) едем на день в Шартр.

Сомов уехал. Тот вечер с прогулкой по старому Парижу был последним вечером, когда мы его видели.

До свиданья.

Мое сердце чисто и ясно перед Вами. Вы уже были мостом... И будущее я держу в руке. Благословите меня...

[1] Имеется в виду п. 78.

[2] Т.е. п. 78.

[3] Бальмонт возвратился (из мексиканского путешествия) в Париж (через Лондон) 14/27 или 15/28 июля 1905 г.

[4] Какая именно фраза Бальмонта имеется в виду, неизвестно. Волошин познакомился с Бальмонтом в начале сентября 1902 г. в Париже (Труды и дни. С. 102).

87. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

14/27 июля 1905 г. Цюрих

Ночь. 27.

Нам надо скорее увидаться. Где? 4-ого или 5-ого я вернусь, и тогда приезжайте за мной, мы вдвоем куда-нибудь поедем. Не далеко, но высоко; куда хотите. Да, мой милый, да?

Об этом напишите. Боюсь, что завтра придет мне письмо, а меня уже не будет. Мне перешлют. Пишите в Гейдельберг. В Нюренберге в воскресенье тоже почты нет. В субботу может быть.

До свиданья, моя радость. Будьте тихи. Взрывая, возмутишь ключи...[1]

Ах, я не могу, не могу писать.

[1] Из стихотворения Тютчева «Silentium!».

88. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

14/27 июля 1905 г. Париж

27. Четверг. Июль. *Ночь.*[1]

Сказка? да, сказка...

И она все растет, ширится... Но это не сказка. Это только глаза шире раскрылись и стали видеть...

Моя душа проходит через ряд мистерий готических соборов. После руанских мистерий – мистерии шартрского собора...[2] Огненная рука ведет меня... Да, на земле еще есть колдуньи, которые обладают великими силами и великими знаниями. И я тоже со смущением восклицаю, как Вы:

«Кто меня нездешней властью
Из ничтожества воззвал?..»[3]

Я искал дороги к Вам... Мне было дано еще больше, указаны пути, которые ведут еще дальше...

Хотите идти одной дорогой?

В моей руке теперь есть сила... Я не могу многих слов доверить бумаге... Они покажутся слишком сумасшедшими... Мне надо Вас видеть, видеть как можно скорее... Напишите дни Вашего маршрута... Я получу возможность ехать в первых числах августа...[4] Может, в Страсбурге?

Мы должны увидеться вдвоем, одни – иначе это будет мука, смутные слова... Нет, все должно быть ясно...

Но, если мы не пойдем через мир как дети, взявшись за руки,[5] – нужно ли нам видеться? Моя душа трепещет восторгом... Зовете ли Вы меня?

Сегодня Шартр...

Мы были на башне... высоко...

Город острокрыший, серый, маленький – эти кровли, эти улицы были странно знакомы и близки моим глазам... А кругом равнина – желтые хлебные поля, запах пшеницы и сена, прозрачные медленные облака... День жаркий, знойный... Собор светло-серый, не запыленный в течение семи веков крыльями времени... среди этих золотых полей...

И вдруг ударили в колокол – совсем близко – немного выше... Эти звуки, потрясавшие весь собор до самого корня башен, неслись клубками пламени, как набат, торопясь, ускоряясь, перебивая друг друга... и наполняя душу небывалой тревогой. Властный трепещущий призыв, точно в самой груди что-то рвалось и металось... И это над тишиной хлебных полей... Удар за ударом, с неравномерной, все растущей бесконечно быстротой. Тревожный властный призыв, который говорил: «Сейчас, теперь... сию минуту... не медля... не думая...»

И все в груди рвалось и пело: «Иду, иду...» Я прижимался грудью к каменной колонне и смотрел вниз на острые крыши, и колонна вся дрожала и пела тем же призывным колокольным гулом...

И тогда А<нна> Р<удольфовна> подошла и приложила свое аметистовое кольцо к моему лбу, к глазам, к губам и к сердцу...

Этот гул, этот призыв, не переставая, звучит в моей груди...

Иду! Иду!!

Дайте Вашу руку... Мы должны идти вместе... Это Ваша любовь призвала меня к жизни...

Милая, любимая, предназначенная...

Нет чуда, нет случая... Все сны детства сбываются... Жизнь – сказка, если глаза широко открыты и видят...

Мы пойдем вместе сквозь боль, сквозь страдание, сквозь искусство, сквозь жизнь к вечному познанию, к вечной силе...

Вот что выросло из тех роз, которыми Вы благословили наши руки...[6]

Только не оглядывайтесь назад... Тот, кто оглянется, превратится <в> соляной столб пролитых слез... Гермес уведет Эвридику...[7]

Все сны, все сны детства сбудутся...

Приложите ухо к моей груди – слышите, как она гудит колокольным призывом?

Милая, любимая, вечная...

Напишите мне сейчас же точно где, когда, в каких городах Вы будете – как только я получу возможность (с 1 августа или около этого), я еду к Вам. Где Вас найти? Как списаться? Пишите мне каждый день... Одна ли Вы путешествуете?

Бальмонт, может быть, и не приедет...[8] Но если он приедет... Я не могу уехать из Парижа. Не за него, а за Ан<ну> Руд<ольфовну> я боюсь. Его приезд в Париж волнует ее безумно... Я не должен ее оставить. Она отдала мне слишком много своей силы... Ах, Вы ничего не знаете, Вы ничего не знаете...

Пишите мне каждый день... Я не расстаюсь с Вашими письмами... И когда мне хочется оглянуться, то я кладу руку на них, я целую их, и розы вспыхивают снова... Донести мой восторг золотистым и пламенеющим, как пламенеет он теперь.

О, как гудят колокола в моей душе...

Милая, любимая... Распадаются цепи мгновения... Есть выходы из темницы времени...[9]

[1] Видимо, написано в ночь с четверга с пятницу (после возвращения из Шартра).

[2] Имеется в виду готический кафедральный собор г. Шартра XII–XIII вв., знаменитый своим богатейшим скульптурным убранством.

[3] См примеч. 10 к п. 85.

[4] См. примеч. 29 к п. 73.

[5] Парафраз первых строк стихотворения «Пройдемте по миру как дети...» (см. п. 1).

[6] См. примеч. 6 к п. 50.

[7] Волошин соединяет два близких по содержанию мифа (древнегреческий и библейский) – об Эвридике и жене Лота. Согласно первому мифу, Орфей оглянулся на следовавшую за ним Эвридику, и ей пришлось вернуться в преисподнюю (Гермес считался у древних проводником душ в царство мертвых); второй миф рассказывает о жене Лота, которая, покидая Содом, оглянулась на гибнущий город и превратилась в соляной столп (Быт. XIX, 26).

[8] См. примеч. 3 к п. 86.

[9] Письма Волошина к Сабашниковой и его творчество 1900-х гг. свидетельствуют, сколь напряженно он размышлял в ту пору о природе времени, соотнесенности вечности и мгновения, преодолении бренности бытия, воплощенной в ускользающем миге, и т.д. «Горькое сознание своей мгновенности» (из статьи «Аполлон и мышь», см.: Т. 3 наст. изд. С. 142), порождавшее в нем ощущение зависимости от времени («темницы»), обостряло в Волошине желание «воссоздать, обессмертить в себе самом и вне себя убегающие мгновения» (из статьи «Анри де Ренье»; *Там же*. С. 74). Переживание средневековой готики, усугубленное мистическими «прозрениями» Минцловой, было воспринято им как своего рода «высвобождение» из плена сиюминутности. Поэту казалось, что время «остановилось»: осуществился выход за пределы ограниченного земного круга в безграничное пространство Вечности, где «нет времени». Ср. в стихотворении цикла «Руанский собор»: «Чьей рукой плита моя отвалена? / Кто запор гробницы отомкнул?» (Т. 1 наст. изд. С. 85). См. также примеч. 8 к п. 68.

В последующие годы (1908–1910), продолжая размышлять о двойственности Времени, Волошин конструирует теорию, в центре которой оказывается бог Аполлон, выступающий в эссе «Horomedon» (см.: Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 297–305) как вождь Времени. В другой статье («Аполлон и мышь») дается развернутое сопоставление Аполлона как носителя «идеи времени», с серой мышью, олицетворяю-

щей, по Волошину, ускользающее мгновение. Их единство и вечная борьба, составляющая якобы «основу жизни», снимает несоответствие между вечным и мгновенным, между «внутренним ощущением времени и механическим счетом часов» и образует «теснейший из союзов», в котором оживает «великий аполлинический сон земли» (Т. 3 наст. изд. С. 138, 157, 145),

89. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

15/28 июля 1905 г. Париж[1]

Одновременно я отправляю Вам письмо в Нюренберг (Poste restante). И буду писать Вам туда до воскрес<енья>. Напишите мне точный Ваш маршрут, чтобы я мог догонять Вас письмами...

Как жаль, что именно теперь Вы уехали...

[1] Открытка с видом надгробия Франциска II в Нантском соборе, пересланная из Цюриха в Гейдельберг на имя О. Залмановой (Труды и дни. С. 141).

90. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

15/28 июля 1905 г. Париж

Пятница. 6 часов дня.

Колокола гудят, и огонь рвется в груди... Меня жгут те слова, которые я скажу Вам. Они рвутся к Вам. Но я не могу их написать так же, как когда-то (как это было давно, давно...) я не мог *сказать* Вам других слов. Это будут не те слова и не из тех уст.

Неизъяснимое беспокойство, радостное и крылатое, охватывает меня...

Я ждал Вашего письма сегодня в 2 часа. Письма не было. Ах, как редко Вы пишете...

Ах, как запаздывают письма... Я читаю письмо, и мне кажется, что некоторые фразы были сказаны уже много лет назад и только теперь почему-то дошли до слуха...

И мне становится страшно, что Вы думаете не то, что теперь думаю я... Мне страшно, что Вы оглянетесь назад...

Милая, любимая...

Кто идет по этой дороге, не должен оглядываться. Минута сомнения может сорвать с места и разметать всю громаду готического собора... Сказка только для тех, у кого нет сомнений... у кого не кружится голова на сквозных лестницах...

Я чувствую прикосновение Ваших рук... Как рвется мое сердце... и я не знаю, куда лететь. Где Вы сейчас?

Знает ли Ан<на> Руд<ольфовна>? — Она знает об нас гораздо больше, чем мы сами о себе знаем...

И я знаю и вижу теперь больше, чем видел раньше...

Нет, нет... Будем теперь в письмах говорить о простых вещах...

Да. Вчера мы были с Ан<ной> Р<удольфовной> и Чуйко в Шартре. Вы не можете себе представить красоты этого собора... Он светлый — лиловато-серый камень, в котором живет молитва...

Внутри совсем темно и громадно... Целы все стекла XIII века... Они потемнели, они изъедены дождем и ветром, они мерцают успокоенным, почти черным, светом...

Точно драгоценные, расшитые покровы из темного света, которым Тайна одевает душу...

Были некоторые, которые одевали душу в царские одежды власти, другие были золотисто-алый танец радости, были мятущиеся крики сомнения, были таинственные слова, открывающие преддверья Святая Святых... Все мгновенья души горели во мраке застывшей музыкой.

Все искания человечества распластанные жили на этих стеклах...

И я снова молился фиолетовому лучу и обрекал ему и мою, и Вашу душу...

И мы говорили обо всем с Ан<ной> Р<удольфовной> без слов, без прикосновения, не глядя друг на друга, и каждое слово звучало ясно...

Как тесен тот мир, в котором мы живем всегда, и как бесконечно велик и свободен тот, который открывается, когда закрываешь глаза...[1] О, как я понимаю теперь, как все данное возвращается сторицей... Крупица усилья — отразившись, превращается в вихрь...

Отражение всегда ярче и реальнее самого предмета... Зеркала увеличивают и претворяют силу... Может быть, они проводят ее через горнило другого измерения...

У меня был раньше жуткий и непреодолимый страх не пред близким неизвестным, страх темной комнаты, страх того, что кто-то стоит за плечами... А теперь у меня такая радость, такое чувство этой невидимой близости. Я ясно слышу, как ночью, когда я сижу за письменным столом, кто-то касается моей головы, и я оборачиваюсь радостно, чтобы увидеть Вас, но на моих глазах еще слишком много образов дня, они еще не привыкли к ночи. Но они привыкнут. Я это знаю...

Ваше письмо...[2] Оно написано сначала Вашим обычным колышущимся медленным почерком... А потом в конце он переходит в стремительный, стрельчатый, решившийся почерк, так напоминающий почерк Ек<атерины> Алекс<еевны>. О, как много мне говорят эти страницы!

В этой форме букв я читаю больше, чем в словах...

За что нам такое счастье?..

Я с недоумением оглядываюсь назад... Как я мог сомневаться, как я мог не видеть света, не чувствовать сердца...

Мы прошли через многие испытания... Чья любовь сняла покровы с моей души? Кто играл нами, завязав нам глаза?

...Ослепительная молния и удар грома одновременно над головой, тяжелый как молот... Это вдруг среди полной тишины, точно отвечая на те слова, которые я только что написал, подтверждая их... Только небесные знаменья могут отвечать так... Молния может сплавить две души в одну душу...

И еще будут сомнения и испытания, но мы пройдем, мы пройдем через них...

Какою силой потряс меня этот удар грома, точно он был в моей душе, а не над городом.

И мы пройдем, мы всё пройдем...

Только не оглядывайтесь назад... Вспомните, как Петр шел по водам...[3]

Дождь хлынул.

Какая радость и сила!

[1] Ср. стихотворение «Тесен мой мир. Он замкнулся в кольцо...» (впервые: Северные цветы ассирийские. С. 54–55; в составе цикла «Минуты прозрений»; вошло в «Стихотворения 1900–1910» как первое стихотворение цикла «Когда время останавливается...»), а также фрагмент п. 7, в котором Волошин пытается передать свое восприятие времени. Ср., кроме того, п. 161 и статью Волошина «Аполлон и мышь» (Т. 3 наст. изд. С. 134–157).

[2] Сохранившийся автограф этого стихотворения имеет пометы: «Посв<ящается> Мар<гарите> Вас<ильевне>» и «St. Cloud, 15 июня 1904». Работа над стихотворением, указывает комментатор (В.П. Купченко), относится к лету 1903 г. (см.: Т. 1 наст. изд. С. 447). Дата «15 июня 1904» – скорее всего, ошибка памяти Волошина: он и Сабашникова были в Сен-Клу 31 мая / 13 июня 1904 г. (см. примеч. 9 к п. 13).

[3] Имеется в виду п. 85.

[4] «И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! Зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер утих» (Мф. XIV, 29–32).

91. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

15/28 июля 1905 г. Париж

Пятница. *Ночь* после полуночи.[1]

Милая Маргарита Васильевна!

Это третье письмо я пишу Вам сегодня. Уже поздно. Я только что ушел от Ан<ны> Руд<ольфовны>.

Вы это письмо получите в Нюренберге. Телеграфируйте мне немедленно, хотите ли, чтобы я приехал в Гейдельберг. Я выбираю Гейдельберг потому, что он ближе к Франции и потому, что Вы даете там определенный адрес д<окто>ра

Салманова. Иначе как я найду Вас в других городах? Я могу приехать в среду[2] — в этот день Вы как раз будете там.

Только сможем ли мы быть одни? Иначе мне не стоит приезжать...

Если бы в горах... Если бы не среди людей... Но ждать до 10-го, ехать в Лозанну, где Вы будете не одна, а со своими «мальчиками»,[3] невыносимо. Нам надо, надо видеться как можно скорее... Если можно, если хотите — в Гейдельберге — телеграфируйте и пишите одновременно.

До свиданья.

Смертельная усталость...

Может, можно прямо в Лозанну? Раньше?

[1] Письмо написано в ночь с пятницы на субботу.

[2] Т.е. 20 июля / 2 августа 1905 г.

[3] См. примеч. 12 к п. 85.

92. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

15/28 июля 1905 г. Нюрнберг

28 июля 1905 г. *Нюренберг. Ночь.*

Утром сегодня я проснулась от солнца, у меня большая угловая комната с двумя тройными окнами, и я не спустила жалюзи, чтобы раньше проснуться. Все было золотое от солнца. И комната большая, как зала, была вся в свету. Точно праздник. Ваше письмо.[1] Потом путь до Штутгарта. Я читала «Boudd<h>isme ésotérique»[2] и иногда смотрела в окно. Как хорошо. Германский романтизм..... Сказка, сказка.

Я стала вспоминать ночь с понедельника на вторник.[3] Вы хотите знать, что было. Ну, вот: мы пошли с Алешей вниз в город к Любимову на Dufourstrasse.* Алеша с знакомой пошел кататься на лодке, а я отказалась, п<отому> ч<то> была страшно отчего-то уставши. Легла на постель в темной комнате, а Любимов рядом стал играть на рояле Вагнера. Сквозь

* Улица Дюфура *(нем.)*.

открытую дверь была видна лампа, и я почему-то вспоминала детство.

Потом они вернулись, и мы вчетвером пили чай. Из педантизма, несмотря на усталость, я потребовала окончания английского урока и читала о каких-то часах, стрелках и грифельной доске. Потом прочла несколько Ваших стихов. Алеша решил ночевать у Любимова, но должен был меня проводить домой. На полдороге стал торговаться, что я теперь могу идти одна, но я боялась; он довел меня до начала нашей улицы и не хотел идти дальше в гору: «Я тут постою, а если с тобой что случится, то ты под горку сбеги ко мне». Но мне было страшно, и он довел меня до калитки. Я подымалась одна по ступеням сада, этот подъем всегда какой-то страшный в небо. Взойдя на высокое каменное крыльцо, посмотрела на небо; оно было черно. Отперла тяжелую дверь, и, когда захлопывала ее, блеснула молния, и мне показалось, что я вошла не одна. Поднималась ощупью 4 этажа, молния слабо освещала иногда лестницу. Вошла к себе и осветила газом комнату «аджорно»[4], и все-таки было страшно. Чтобы отвлечься, стала писать глаза на своем портрете, сидя на полу. Надвигалась гроза; совсем лиловая молния освещала мои два громадные окна; шторы шевелились. Я оставила портрет и стояла неподвижно посредине комнаты, ожидая чего-то. «Что-то совершается, – думала я. – Такой грозы зря не может быть. Она здесь». В это время гром гремел все сильнее. Вот, вот... я стояла, прижавши руки к сердцу. Сверкнула лиловая молния, и одновременно ударил такой гром, что меня потрясло; все задрожало, на соседней колокольне зазвучал колок<ол> сам, а в квартире зазвенели звонки. Я невольно перекрестилась и потом засмеялась чему-то. Я подумала: «Может быть, “*обезьяна сошла с ума*”»[5], – и встала на колени... Гром удалялся, и мне опять становилось жутко; я спустила все жалюзи, легла и потушила газ; сквозь щели лиловая молния все освещала комнату; одно окно само вдруг открылось; я это почувствовала, не открывая глаз, и боялась их открыть. Мне казалось, что опять кто-то вошел...

Молнии прекратились; когда начала засыпать, я, вдруг вздрогнув, открыла глаза; что-то вспыхнуло на подоконнике.

Потом что-то ударилось о слабо светящийся газовый колпак. Ах, это ночная бабочка. Я их боюсь; я их ужасно почему-то боюсь; когда они бьются о мою подушку, я вскакиваю в ужасе, боясь прикосновения злого духа. Я зажгла газ, закрыла окно и постаралась заснуть. Ну, вот. Больше ничего не было. Детальный и правдивый рассказ. А что должно было быть? Моя судьба решилась? Я не понимаю, куда нас ведут. Моя судьба быть мостом. Там, где твердая земля под ногой, он прекращается. Я так чувствую. Может быть, теперь именно я и должна уйти.

Я очень счастлива... как никогда.... и мне грустно. Видите, я сама ничего не знаю и не понимаю; я жду, что будет, и что Вы мне скажете, только потом, я думаю, я уйду.

Все, что я говорю Вам и говорила, вне моего обыкновенного сознания; я ничего не могу объяснить; всё помимо меня. Я не думаю, я жду; я слушаюсь.

Макс Александрович, отчего в моем счастье такая грусть... Макс Александрович, мне хочется Вам что-то сказать, чтó я сама неясно чувствую... Макс Александрович, Вы не будете меня никогда проклинать за то, что я была мостом?..

Я не знаю, что я говорю.

Сейчас я видела соборы, уходящие в звездное небо. Черные стены слабо освещены снизу фонарями, и я видела только чудовища под ногами святых, а святые были во мгле.

Да, Вы правы, мы должны увидеться, когда Вы будете самим собой.

Вы прошли через мост, сожгите его теперь за собой, чтобы не было возврата на старый берег. Перед Вами новый путь; не оглядывайтесь.

Что-то совершилось и что-то завершилось.[6] Я чувствую; и я останусь в старом завете у дверей рая, как Вергилий.[7]

Любите ли Вы судьбу свою. Я люблю теперь судьбу. Верите ли тому, кто нас ведет. Ведь мы как дети.

Я благословляю Вас, и все во мне радуется о Вас. Любить — это радоваться о человеке.

И Вы — моя радость.

Здравствуйте и прощайте.

О нет, не слушайте меня. До свидания, мой милый, дорогой.

Что Бальмонт?

Я получила от Минсловой письмо.[8] Почему она меня так любит?

Почему-то мне всё вспоминаются «слепые».[9]

[1] Имеется в виду п. 86, полученное Сабашниковой ранним утром 15/28 июля. Переживания Сабашниковой, вызванные этим письмом Волошина, отразились в ее дневнике (запись от 5/18 августа 1905 г.): «3 недели тому назад я собралась с Любимовым в Германию. <...> Было 6 ч. утра. Любимов ждал меня на вокзале. Алеша провожал нас. Перед отъездом я успела еще получить письмо... Оно было все о том же; какие-то таинственные и радостные слова. “Вспомните, что было с пятницы на субботу около 12 ч., что Вы думали в это время и чувствовали, – писал он, – в эти минуты решалась Ваша судьба; я был с А<нной> Р<удольфовной> на колокольне...” Эти слова начинали смущать меня. При чем же я, моя судьба; разве наши судьбы так связаны; какой-то тайный протест закрался в душу. Что они там колдуют? Это не сон? И не безумие. Я стала вспоминать в вагоне ту ночь, о кот<орой> он писал. И я вспомнила все» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 80 об. – 81).

[2] Книга А.П. Синнета. См. примеч. 11 к п. 55.

[3] Т.е. ночь с 11/24 на 12/25 июля, когда Волошин и Минцлова были в Руане.

[4] «Аджорно» или «а джорно» (*ит.* a giorno) – яркое искусственное освещение, равное по силе дневному свету.

[5] Слова В.И. Иванова, цитированные Волошиным в п. 23.

[6] Эту часть своего письма, написанного в Нюрнберге вечером 15/28 июля, Сабашникова восстанавливает по памяти в дневниковой записи от 5/18 августа:

«Я была мостом, – писала я; – Вы прошли через него; сожгите его теперь. Я не знаю, что произошло, но теперь, когда что-то совершило<сь>, что-то завершилось, и теперь, когда то, чего я так желала, совершило<сь>, мне кажется, что мне нужно уйти» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 82 об.).

[7] Вергилий в поэме Данте оставляет своего спутника у дверей рая (Чистилище, песнь XXVII, 124–142).

[8] Имеется в виду письмо от 12/25 июля 1905 г. См.: Из писем А.Р. Минцловой к Маргарите Сабашниковой. С. 14–17.

[9] Подразумевается одноактная пьеса Метерлинка «Слепые» (1890) – о слепых, ожидающих поводыря (их судьба символически передает трагедию всего человечества, блуждающего в потемках). Вспоминая об этом произведении Метерлинка, Сабашникова как бы причисляет себя к «слепым», тогда как Минцлова видится ей «наставником», знающим путь к Истине. Ср. примеч. 9 к п. 54.

93. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

16/29 июля 1905 г. Париж

29 июл<я>. Суббота. Утро.

Милая, дорогая Маргарита Васильевна!

Вчера я отправил Вам три письма в Нюренберг...[1] Напишите, чтобы их Вам переслали в Гейдельберг. Я сейчас тоже напишу туда Ваш гейдельбергский адрес.

В последнем из них я предлагаю Вам приехать в Гейдельберг...[2] Но Вы пишете, что четвертого Вы уже вернетесь в Цюрих.

Тогда нам лучше всего встретиться там... Я четвертого буду там и буду ждать Вас... Я бы не хотел видеть Вас теперь в Гейдельберге... Я туда должен был ведь ехать в этом году и совсем иначе и за иным.

Место значит слишком много...

И потом мы не будем одни...

Но я не могу, не могу больше не видеть Вас и только писать Вам. Мое сердце полно слов к Вам... Но эти слова можно говорить только держа за руку, только шепотом, только смотря в глаза...

Но если, по-вашему, мы можем увидеться в Гейдельберге – телеграфируйте – я приеду немедленно – это ведь одна ночь пути...

Только я не смогу раньше вторника. Впрочем, может, и в понедельник вечером...

Все сказки детства сбудутся... Мы только просыпаемся от долгого сна к новому детству...

Все сказки сбудутся...

Помните, давно как-то неожиданно очнувшись, мы сидели у порога наших могил в сумеречной комнате... Были смутные минуты прови́дения...

И Вы говорили о Вашей мечте – кто-то придет большой и унесет Вас на руках, как ребенка... И это будет... все будет...

Распались стены мгновения... Теперь можно произносить слова: вечно... навсегда...

Теперь можно давать клятвы, потому что их можно исполнить...

Милая, любимая... вечная...

Какая радость... какое сияние...

Почему, за что мы, мы избраны для этого счастья?

Кто меня нездешней властью
Из ничтожества воззвал...[3]

[1] См. п. 89–91.
[2] См. п. 91.
[3] См. примеч. 10 к п. 85.

94. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

17/30 июля 1905 г. Париж

Воскресенье 30 ию<ля>.

Нет писем от Вас...

Как медленно текут расплавленные дни... Почему жизнь нам дает эти мучительные антракты ожидания... Может, для того, чтобы ее слова звучали раздельнее и торжественнее среди обыденности...

Я весь ожидание – тягучее, томительное...

Теперь я знаю, что значит ждать письма. Весь мир преобразился со времени руанских дней... А от Вас было только несколько слов...

И когда мне смутно, я опять вызываю в себе колокольный порыв Шартрского собора... И он опять гудит в моей душе, этот властный, беспокойный, торопящий призыв,

такой родной, такой знакомый, призыв из-за многих веков... Призыв, который помнит, который вспомнила моя душа...

Вчера вечером я сидел у Ан<ны> Р<удольфовны>, мы говорили, и вдруг вошел Бальмонт с Еленой... Они вошли так неожиданно, настолько не было ни капли предчувствия, что я видел только движение, и через несколько секунд оно вдруг приняло форму Бальмонта...

Они оба похудевшие, возбужденные... Но я теперь не боюсь, что его приезд может вдруг задержать меня. Он безопасен... и Ан<на> Руд<ольфовна> не очень взволнована...

Через неделю он выезжает в Меррекюль.[1]

Значит, мы увидимся в Цюрихе, а не в Гейдельберге.

Да. Так должно быть. В Гейдельберге нам невозможно увидаться. Напишите мне точно день Вашего возвращения...

Мне бы хотелось поехать к снегам – от Цюриха ближе всего Тёди <*sic!*>[2] и Линталь[3]... хотите туда? Или немного дальше до Via Mala?[4]

Какое радостное волнение охватывает меня...

Неужели сегодня не будет письма... Нет, я больше не могу писать...

[1] См. примеч. 7 к п. 85.

[2] Тёди (Tödi) – высочайшая гора в Гларских Альпах (восточная Швейцария), по которой проходит граница между кантонами Гларус и Граубюнден.

[3] Линталь (Linthal) – коммуна в кантоне Гларус.

[4] Виа Мала – ущелье в Швейцарии, которое Волошин обозревал во время своего путешествия в сентябре – начале октября 1899 г. Под впечатлением этого места Волошин написал стихотворение «Там с вершин отвесных...» (впервые: Новый Путь. 1903. № 8. С. 41–42, под заголовком «Via mala»). Вошло (в сокращенной редакции) в «Стихотворения 1900–1910» (см. Т. 1 наст. изд. С. 17, 438).

95. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

17/30 июля 1905 г. Нюрнберг

30-ого. Нюренберг.

Дорогой, милый, я только сегодня утром, уезжая в Ротенбург, получила Ваши три письма.[1] Мы должны увидеться. Ведь, конечно, я же ничего не знаю. Я чувствую, что мне нельзя, опасно думать. Когда я не думаю, я страшно счастлива. Эти сказочные города, леса... Когда я начинаю думать, я теряюсь; я не вижу дальше дороги.

Я сказала Любимову, с кот<орым> путешествую, что мне нужно Вас видеть. Тогда он сказал, что из Гейдельберга поедет прямо в Россию, а Вам уступает свой Rundreisebillett*. (Молите Бога за этого благородного человека.) Я не хочу, чтобы Вы приезжали в Гейдельберг, п<отому> ч<то> мы там не можем быть одни. О нашем свидании, кроме Любимова и Алеши, никому не нужно знать. Телеграфируйте мне в Гейдельберг, можете ли Вы приехать в Карлсруэ. Оттуда наш путь: Страсбург, Кольмар и т.д. Конечно, мы можем не быть в городах. Есть там такие еще сказочные леса, как здесь... Но это, правда же, не важно.

Писать Вам мне совершенно невозможно; я жду.

Ваши слова растут, как прибой, как гимн. Вас, должно быть, ужаснуло мое письмо. В ваших уже чувствуется тревога; Вы как будто предчувствовали его.

Точно тот, кто до сих пор вел меня, перешел к Вам. Будущее совершенно темно. Но настоящее, настоящее – это такое счастье. Ну, до свиданья, до свиданья.

Ротенбург – это нетронутый захолустный городок XV века.[2] Церкви XIII века. Один алтарь – это херувимская песня.[3] Я вижу и не верю, слышу и верю.

---

* Билет, позволяющий обратную поездку по определенному маршруту *(нем.)*.

Вот что: по зрелому размышлению мы постановили, что в Карлсруэ не очень удобно увидаться, п<отому> ч<то> это ½ часа от Гейд<ельберга>, и Трапезников захочет показать мне его; он об этом писал.[4] Тогда лучше ждите меня в Страсбурге. Я приеду около 6-ти часов вечера в четверг. Любимов до Страсбурга доедет со мной, переночует, а затем вернется в Гейдельберг.

Ну вот: значит: четверг 6 ч. вечера на вокзале в Страсбурге. Если что изменится, я телеграфирую. Буду ждать от Вас ответа в Гейд<ельберге>, куда попаду завтра вечером, т.е. в понедельник. Завтра же буду в Вюрцбурге. С первого вечера не начинайте ни о чем говорить. Будем втроем, и это еще лучше. Боже мой, я не дождусь этого дня. Почему же на Вашей руке было все другое?

Ах, почему я ничего не знаю. Если А<нне> Р<удольфовне> нужно Ваше присутствие, будьте, ради Бога, с ней.

Жму Вашу руку, как тогда.

[1] См. п. 89–91.

[2] Ср. в дневнике Сабашниковой (запись от 5/18 августа 1905 г.): «Ротенбург – это нетронутая немецкая сказка» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 83 об.).

[3] Имеется в виду знаменитый алтарь в ротенбургском соборе св. Якоба («Оплакивание Христа») – работа Т. Рименшнайдера. Ср. в дневнике Сабашниковой: «Триптих Riemenschneider<'a>. Мих<аил> Арх<ангел>. Я, кажется, никогда не была счастливее...» (*Там же*).

[4] В письме от 3/16 июля 1905 г. (из Гейдельберга) Т.Г. Трапезников рекомендовал Сабашниковой следующий маршрут: Цюрих – Базель – Фрейбург – Страсбург: «Меня очень обрадовало Ваше намерение посетить Германию, и я с величайшим удовольствием готов Вам служить моими знаниями и практическими указаниями. Я набросал приблизительный план для Вашей поездки и думаю, что он Вас удовлетворит. Мне кажется, самый интересный маршрут следующий. Из Цюриха на Базель, где довольно интересный музей, в особенности вещи Бёклина, и где Вы сможете пробыть полдня, что совершенно достаточно. <...> Фрейбург, в котором следует осмотреть собор с знаменитыми скульптурами. Тоже не более ½ дня. Оттуда ехать на Страсбург, где стоит пробыть день, чтобы иметь возможность съездить в *Colmar*, где находятся удивительнейшие вещи

Маттиаса Грюневальда – поездка, которая Вам доставит непременно большое удовольствие. Из Страсбурга затем на Карлсруэ, где тоже хороший музей немецких примитивов и, безусловно, стоит для этого остановиться. Мне будет очень приятно, если Вы мне разрешите встретить Вас там и мы сможем тогда вместе ехать в Гейдельберг. Из Гейдельберга очень удобно предпринять целый ряд поездок в Франкфурт, Дармштадт, Speyer (знаменитый романский собор), Вюрцбург и в особенности в Rothenburg ob d<er> Tauber <Ротенбург на Таубере. – *нем.*>, после Нюрнберга – самый интересный старый городок. <...> На случай, если Вы поедете одна, я могу узнать некоторые адреса, где Вам можно остановиться. Думаю, что Ваша поездка до Karlsruhe возьмет не более 3 дней» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 105, л. 1 об. – 2–3 об.).

96. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

18/31 июля 1905 г. Париж[1]

Понедельник 31 июля. Утро.

Моя милая, бедная девочка... Что же Вы говорите? Сжечь мост, по которому я прошел...

Разве Вы не знаете, что нельзя безнаказанно воскрешать умерших? В одной из китайских провинций есть закон: спасший погибающего принимает на себя ответственность за всю его жизнь, он становится его ребенком...

Вы бежали за мной, чтобы вернуть меня...[2]

Как же я могу оставить Вас... Что же я могу делать без Вас? Куда я пойду без Вас?

Что же Вы будете делать без меня?

Нет, теперь я пойду за Вами, куда бы Вы ни скрылись от меня, я никуда не пойду, пока не возьму Вас за руку, и мы пойдем вместе.

Какая судьба приказывает бежать одному, когда другой идет к нему?

Разве Вы не видите, что я вочеловечился, что божественное равнодушие разодралось от удара молнии, что я могу понимать и любовь, и страдание, что они живут во мне...

Милая моя, бедная... Ведь я же знаю всю ту душевную смуту, в которой Вы живете, которую Вы носите в себе... И как

же я, сильный Вашей любовью, пройду мимо Вас, оставлю Вас беззащитной, слабой, тоскующей...

Передо мной раскрыты все дороги, но я не пойду ни по одной, если Вы не будете со мной...

Колокол меня звал, и сердце мое разрывалось от его призыва, но я не послушаюсь колокола...

Если Вы останетесь у дверей, то и я останусь... Двери распахнулись широко, но войти в них я могу только с Вами...

Вы мне отдали свою силу... Она во мне теперь и она поведет Вас... Видите, как она выросла... Всякая милостыня возвращается сторицей...

Милая, бедная, любимая.

Я вижу перед собой Ваши глаза, и мое сердце сжимается надрывающей любовью...

Как я хочу поцеловать их... но они убегают от меня...

Мы заперты внутри одной сказки... Выхода нет отсюда... Неужели Вы хотите разбить ее... Сказки так редко расцветают на земле...

Вам не жутко?.. Детям всегда бывает жутко, когда они заперты вдвоем в одной комнате... Мы не сами себя, а кто-то другой, Знающий, запер нас вместе... Только через смерть можно выйти из этой сказки...

Ваши бедные, Ваши милые глаза смотрят на меня так ласково, что слезы свертываются на моих ресницах...

Милая, бедная девочка... Как я люблю, люблю, люблю Вас...

Целый мир вспыхнул от прикосновения пунцовых роз...

Взять Вас на руки и унести высоко, высоко в горы, где только льды и звезды, льды и звезды...

Телеграмма от Вас...[3]

В четверг в Карлсруэ?.. Да?.. Буду ждать письма и точного адреса... Будем ли мы там одни? Получили ли Вы все три моих письма, посланные в Нюренберг?[4] Это третье, идущее в Гейдельберг...

Если Вы думаете, что в Карлсруэ лучше, чем в Цюрихе...

Милая, любимая...

[1] Ответ на п. 92.

[2] Ответ на слова Сабашниковой (п. 85): «Кто меня заставил звать Вас, бежать за Вами...».

[3] Телеграмма (речь в ней шла, видимо, о возможной встрече в Карлсруэ) не сохранилась.

[4] См. п. 89–91.

97. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

18/31 июля 1905 г. Гейдельберг

Гейдельберг. 31 июля 1905.

Милый Макс Александрович,

Я умираю от усталости. Вчера Нюренберг, Ротенбург, ночью опять Нюренберг, ночь не спала от радостного волнения; потом рано мы выехали в Вюрцбург. Там ничего интересного, тащились сюда в буммельцуге[1] среди пьяных мужиков, жара... Но я ничего не видала. Я была полна вчерашней сказкой и ожиданием. Здесь нашла Ваши письма. Неужели в Страсбург Вы не приедете? Я жду, жду и жду.

Вот все, что я могу сказать. Дайте посмотреть на Вас. «Мы никогда друг друга не видали».[2] Я устала страшно. Получила много писем из Москвы. Какое там уныние, какой старый завет. Как я боюсь его.

Ночь – почти утро.

Вот и эту ночь я не могу спать. Помните, когда в тот вечер Вы пришли, в тот вечер, когда пел Шаляпин и мы не пошли его слушать,[3] я была уставши от ряда бессонных ночей. И тогда вдруг радостное спокойствие сошло в душу, и мне вдруг страшно захотелось спать. Поскорее бы мне Вас опять увидеть. Да... мечта о большом и сильном человеке, который бережно возьмет и унесет меня..... Ах, Вы не знаете меня. Вы все отвлеченно обо мне думали. Знаете, иногда в моей душе такой избыток любви, такая сила, которая может все взять на себя, что-то материнское, что хочет защитить, взять и поднять. А иногда я боязливая девочка, которая боится заблу-

диться, боится обидеть и боится обиды. И такая я бываю чаще, и такая я сейчас.

Я боюсь жизни, людей, их гнева, их проклятия, я боюсь своей неверности; я, хуже этого, боюсь смешного... Знаете ли Вы меня такой? И вот тогда я мечтаю о том человеке. Он должен приехать за мною на лебеде.[4] Но он должен иметь внешние признаки царя. Вы не знаете, какая я малодушная. Мне нужно работать над собой.

Поскорее бы мне Вас увидеть. Пока одно могу сказать, что я жажду Вас видеть, что я не спокойна, очень неуверенна и все же счастлива, как никогда.

(Не заключайте ничего из моего почерка: я пишу лежа.)

[1] От нем. Bummelzug – пассажирский поезд малой скорости.

[2] По-видимому, Сабашникова цитирует строчку из сонета Бальмонта «Избирательное сродство»: «Мы шли во тьме, друг друга не видали. / Любовь была как сказка дальних лет, / Любовь была печальнее печали» и т.д. (*Бальмонт К.* Будем как Солнце. Книга символов. С. 182).

[3] Имеется в виду вечер 26 марта / 8 апреля 1905 г., когда Шаляпин выступал в кружке «Монпарнас» (см. примеч. 1 к п. 42). Сабашникова в юности увлекалась искусством Шаляпина, посещала оперные спектакли с его участием. В письме к А.Н. Ивановой от 21 марта 1939 г. она называет Шаляпина своей «первой любовью» (РГБ, ф. 374, карт. 9, ед. хр. 37, л. 8), а в мемуарной книге пишет о том, что Шаляпин был для нее «мерой подлинности и величия в искусстве» (Зеленая Змея. С. 102). «Суриков и Шаляпин, – записала Сабашникова в свой дневник 3/16 октября 1903 г. – светят как две путеводные звезды. Я думаю о них всегда» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 20, л. 63). Сохранился, кроме того, черновик письма Сабашниковой к Шаляпину, написанного 21 января / 3 февраля 1904 г. (после посещения Большого театра, где 16/29 января 1904 г. Шаляпин впервые выступил в роли Демона в одноименной опере А.Г. Рубинштейна) и, видимо, не отправленного (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 3–5).

[4] Легенда о рыцаре Лоэнгрине, сыне Парцифаля, приплывшем к своей невесте в ладье, влекомой лебедем, восходит – в западноевропейской традиции – к роману «Парцифаль» немецкого миннезингера Вольфрама фон Эшенбаха (ок. 1170–1220) и циклу легенд о короле Артуре. Однако Сабашникова, увлеченная в то время музыкальным творчеством Рихарда Вагнера, вдохновлялась, конечно, героем его оперы «Лоэнгрин» (1848).

98. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

19 июля / 1 августа 1905 г. Париж

Вторник. 1 августа.

Вот я сижу в комнате Ан<ны> Руд<ольфовны>. С опущенными жалюзи. Она пишет Вам письмо, которое я отвезу Вам.[1] Я решил: я поеду прямо в Цюрих – буду там в пятницу и буду Вас ждать там. Сейчас буду Вам телеграфировать об этом. В Страсбурге мы можем не найти друг друга. И что-то говорит мне, что мы должны встретиться в Цюрихе, непременно в Цюрихе.

Я живу во сне... Только как сквозь сон доходят до меня другие лица и шум города...

Ан<на> Руд<ольфовна> держит мои руки и говорит:

«Как я рада, что я встретила, что я узнала Вас. Ведь я могла пройти мимо и не узнать Вас»....

И я прежний слушаю эти слова со смирением и ужасом и думаю: кто же избрал меня? Кто влил в меня силу?.. И я знаю, я чувствую в себе растущую власть... и думаю: это не от меня...

Но это уже и не от Ан<ны> Руд<ольфовны>. Силой Вашей любви она заметила меня, сдунула с глаз моих пыль жизни, и я сам не узнаю себя и окружающего мира... Сколько радостных бездн разверзается под ногами, и в каждую я могу кинуться, замирая от счастья... Кто-то заключенный выходит из меня...

Немного тоже, но в тысячи раз меньше было, когда я вдруг заметил, что я, никогда не державший карандаша в руках, умею рисовать...

Ничто не изменилось на руке моей, все линии значат то же, но все это имеет другой великий смысл... Мы будем говорить об этом.

[1] В письме к Сабашниковой от 19 июля / 1 августа 1905 г. Минцлова делилась своими воспоминаниями о Нюрнберге и, кроме того, писала о Волошине: «Я радуюсь, я счастлива, что я узнала его. В нем проснулись громадные силы, глубоко спавшие в нем до сих пор, очевидно, но это *его* силы, это он, настоящий, – это не отражение, о нет!» (см.: Из писем А.Р. Минцловой к Маргарите Сабашниковой. С. 19).

99. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

19 июля / 1 августа 1905 г. Париж

Вторник. 1 августа.

Ваше письмо из Нюренберга...[1]

Встретиться в Страсбурге?.. В Гейдельберге Вы нашли теперь уже мои другие письма... Я боюсь, что снова все переменится... Я приеду в Страсбург, если получу подтверждение... Но встреча на вокзале, в 6 часов... Одна минута разницы — пропущенный поезд, и вот мы потеряны без возможности найтись... Нет, я предпочитаю Цюрих, если Вы туда возвращаетесь прямо из Страсбурга... А оттуда мы поедем на Via Mala...[2] Но в том случае, если лучше в Страсбурге, то условимся немедленно отнести адрес на poste-restante на всякий случай. Я могу выехать хоть сегодня же вечером... Вы получите это письмо завтра — в среду — телеграфируйте мне тогда одним словом: Страсбург или Цюрих? Я выеду вечером.[3]

Как я боюсь, что все перепутается... Я написал уже столько писем, еще Вами не полученных...

Я не хочу и боюсь теперь видеться с Трапезниковым... А он, я боюсь, захочет Вам показать и Страсбург, где он жил так долго...

Любимов... за что люди так относятся к нам?

Я предпочитаю Цюрих... Если я даже приеду туда и буду Вас ждать там... Только бы не потеряться и не искать друг друга по разным городам. Нет, лучше в Цюрихе... в Цюрихе.

Моя милая, дорогая... любимая.

Какую радостную и растущую силу я чувствую в себе... Я могу теперь взять Вас на руки и унести...

Кто дал мне власть? Почему *мне* дана она?

Кто-то родился в моей душе радостный и великий, и он стал моим «я»...

Вчера два раза точно молния синим пламенем пронизала меня. Это было мгновение и ужаса, и радости... Точно вселенная разверзалась... И ужас и радость вместе... Кто-то вошел, потряс меня, и я стал сильным...

Положите мне на голову Ваши руки...
Вам, Вам я несу эту силу...
Милая... ясная... радостная...

[1] См. п. 92.

[2] См. примеч. 4 к п. 94.

[3] Успела ли Сабашникова отправить телеграмму, неясно. На другое утро, 20 июля / 2 августа Волошин выехал из Парижа в Страсбург, о чем уведомил Сабашникову телеграммой (Труды и дни. С. 141). См. также п. 100.

100. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

19 июля / 1 августа 1905 г. Гейдельберг

Утро 1 авг<уста>.

Сейчас я получила Ваше письмо,[1] милый, какое оно нежное, какой новый нежный голос...

Я в какой-то чуждой вилле, населенной русскими; я приехала сюда к Оле Сиверс. Помните маленькую графиню? Она очень больна.[2] Лежит совсем зеленая, и от нее не отходит ее муж Залманов. Это так страшно; с тех пор, как они любят друг друга, он все время отвоевывает ее у смерти... Иногда он устает, ему нужно другого; он ее обманывает... она знает, а потом вот он, как раб, не отходит... Голос, которым он спрашивает, легче ли ей; взгляд, кот<орым> она смотрит на него, насмешливый и нежный. Это так трагично. Он все ночи напролет с ней не спит.

Утром я получила Ваше письмо.[3] Я побежала по аллее навстречу солнцу... Когда я смотрю на себя в зеркало, у меня совсем другое лицо.

Ну, значит, до четверга в Страсбурге в 6 ч. вечера.[4]

До свидания. За мной пришел Трапезников.

[1] Имеется в виду п. 96.

[2] О.Э. Сиверс страдала тяжелой болезнью сердца. О ее болезни и утонченной, хрупкой натуре постоянно упоминается в письмах князя А.И. Урусова. «Знаешь ли, что О. в В<ене?> с сестрой, братьями и отцом, – писал А.И. Урусов 29 июля / 10 августа 1899 г. своей сестре Е.И. Урусовой. – Она была больна – опять сердце. <...> Я очень жалею об отсутствии О. У нее редкие качества ума и сердца. Это избранная натура. Все ее любят. Ее подруги приносят ей цветы, конфекты и дежурят у ее постели, когда она больна...» О том же – в письме от 5/17 октября 1899 г.: «О. очаровывает меня своей кроткой и деликатной природой. Один из моих друзей, поэт Бальмонт, посвятил ей стихи. Каждое мгновенье боишься за существованье милой девушки. Она, право, избранная натура, не по тому, что она делает (болезнь осуждает ее на неделание), но по тому, что она думает» (Князь А.И. Урусов. Статьи его о театре, о литературе и об искусстве. Письма его. Воспоминания... М.: Типография И.Н. Холчев и К°, 1907. Т. II и III. С. 140, 145–146).

Летом 1903 г., когда Ольга Сиверс отдыхала в Богдановщине, Сабашникова записала в своем дневнике (27 августа / 9 сентября 1903 г.): «Оля худа и бледна так, что худей и бледней быть нельзя; она любит и любима, но за всем этим есть что-то политическое, чего я не знаю; на словах она фанатична. Впрочем, пока я смотрю на нее издали, я вижу одну веселую остроумную девушку. У нее турецкие глаза, у нее прекрасное лицо» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 50). См. также примеч. 15 к п. 85 и п. 200.

[3] См. п. 94.

[4] Волошин прибыл в Страсбург вечером 20 июля / 2 августа (в среду); на вокзале его встречали Сабашникова и А.Л. Любимов (вернувшийся на другой день в Цюрих). О встрече Сабашниковой и Волошина в Страсбурге, их пребывании в Страсбурге и Кольмаре и возвращении в Цюрих (22 июля / 4 августа) подробно рассказывают дневниковые записи (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 231–233; ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 80 об. – 96). См. также примеч. 1 и 2 к п. 198.

101. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

6/19 августа 1905 г. Париж

24 Rue Octave Feuillet
8 час. утра. Суббота.

Вот я пришел домой с вокзала... Каким ненужным, чуждым незнакомым мне показался Париж и мои комнаты... Как тогда, когда я вернулся из Москвы.[1]

Что-то живое оборвалось...

Сердце мое разрывается от тоски... Зачем я здесь? Что я здесь буду делать без тебя...

Моя милая, моя бедная девочка... Моя Аморя... Я всю ночь повторял эти слова... Что-то новое, необычайное, вдруг открывшееся...

Вот что было в эту ночь. Когда я оставил тебя и садился в поезд,[2] я наткнулся прямо лицом к лицу на m-me Деникер (приятельницу Ал<ександры> Вас<ильевны>). Спастись было некуда... Я посадил тогда ее в вагон с другой стороны, попросил стеречь мои вещи и побежал с другой стороны проводить тебя глазами...

Она нас вместе не видела (в буфете не была). И я ей сказал, что еду из Интерлакена...

Потом началась казнь. Она говорила без умолку об детях, о муже... А ты была в самой глубине сердца... Там было так больно, точно лежал красный уголек...

Наконец она замолкла на минутку, и я отошел к окну.

Были какие-то поразительно красивые долины Юры... Волнистые, глубокие... Мерцали вечерние воды на дне... Туман тянулся...

Было 8¼ ... ты еще не подъезжала к Цюриху...[3] Я долго, долго целовал твои руки, твои бедные глаза... Я видел их совсем, совсем близко... Ты чувствовала? Ты должна была чувствовать... Я и сейчас вижу твои тонкие, душу надрывающие пальцы...

Потом ты подъехала к Цюриху, а я к французской границе...

Всю ночь я лежал с закрытыми глазами и видел твою комнату, следил за каждым твоим движением...И когда ты засыпала или лежала с закрытыми глазами, я целовал твои волосы и чувствовал их запах...

И я засыпал и просыпался, и все время ты была рядом...

Как больно, как страшно было так проститься... Я бесконечно, бесконечно люблю тебя... Разве мы можем быть отдельно...

Мое – оторвалось... Часть меня осталась. Моя Аморя...

Что же это делается?.. Что же будет с нами?

На моем столе письмо от нашей Феи[4]: «Не приходите неожиданно... Известите раньше...»[5]

Сейчас напишу ей телеграмму и пойду после 12-ти... Что-то она скажет нам...

Милая, милая Маргарита Васильевна... Простите... Я не мог писать «Вы», когда говорил это *тебе* и чувствовал *тебя*.

Я буду приучаться теперь.

[1] Волошин имеет в виду свое возвращение из Москвы в Париж в конце января – начале февраля 1905 г.

[2] Речь идет о расставании Волошина с Сабашниковой на железнодорожном вокзале в Базеле.

[3] Сабашникова провожала Волошина до Базеля, откуда затем вернулась обратно в Цюрих (см.: Труды и дни. С. 143).

[4] Имеется в виду А.Р. Минцлова. Ср. в книге «Зеленая Змея»: «Она <Минцлова> явилась мне как некая фея, могущая ответить на вопросы, которые меня мучили» (С. 125). См. также: «Есть феи...» в п. 85.

[5] Среди сохранившихся писем Минцловой к Волошину за август 1905 г. письма с такими словами не обнаружено.

102. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

6/19 августа 1905 г. Париж

Суббота. 12 час. дня.

Я не могу... Я не знаю, что это делается... мне так дико, что я в Париже... один... Все вещи, все книги мне чужды... То, что я не могу сейчас войти в Вашу комнату, мне кажется нелепостью...

Я отправил телеграмму Ан<не> Руд<ольфовне>, что приду, и вот жду времени, чтобы она ее получила.

Я хожу по комнатам, как потерянный, я не понимаю, не знаю, что мне здесь делать без тебя... Аморя...

Что случилось вчера?.. Какое новое дно провалилось в душе?

Вчера что-то случилось... На этот раз... на этот раз я *не могу* отречься от тебя... Разве это нужно... Разве это *может* быть нужно? Зачем ты вчера говорила о том, за кого тебе выйти замуж?[1] Разве это может быть?

Что я сейчас буду говорить с Ан<ной> Руд<ольфовной>? Она ждет от меня совсем другого... Я ей писал, что я победил себя...

Как же я могу победить себя, когда я каждый миг чувствую твои руки, твои волосы...

Мне хочется плакать как маленькому ребенку... Что ты сейчас думаешь? Что ты делаешь сейчас?

Может быть, в тебе теперь растет страх и отвращение ко мне... Что я знаю? Что я могу знать?

Ехать сейчас же обратно? Это малодушие...

Аморя... Моя Аморя!

Так нельзя – мы или должны быть вместе – и будь что будет... или больше никогда не встречаться, оторваться друг от друга теперь же и навсегда...

Я не знаю, что я говорю, но мое сердце разрывается по тебе...

---

5 час. Вечер...

Я только что был у Ан<ны> Руд<ольфовны>.

И это опять как чудо. Я шел ей сказать, что я не могу отречься от тебя, что мы не можем быть отдельно... Что та — дорога не для меня, если этим чувством, этим вдохновеньем, — первым и единственным в моей жизни, надо пожертвовать для своего личного совершенствования. Что я не могу приносить тебя в жертву, что я не могу причинять тебе боль...

А она встретила меня словами:

«Как Вы *могли* подумать, что Вы должны отрекаться? Как Вы могли допустить мысль, что кто-то *другой* станет ее мужем? Как Вы *смели* причинять ей страдания?.. *Таких* отречений никто не смеет требовать... Кто может принести другого в жертву, не пойдет по этой дороге...»

Да! да... да... Я это понял вчера... Я боролся с призраком... прости меня... Я мучил тебя... Это было испытание, через которое надо было пройти... Вчера на башне я вдруг это понял...[2]

Холодные слова, злые слова, которые я говорил вчера и звука которых ты испугалась, были не для тебя... Они были обращены к тому, кто мог потребовать отречения и принесение жертвы... И вот его нет... Я чувствовал, что переступаю какие-то чары, чувствовал, что вхожу на новую ступень.

Я не испугался твоей слабости... Но мне было бесконечно жаль тебя за причиненную боль...

Я почувствовал: да, почувствовал в первый раз, что ты *моя*, и никто не отнимет тебя, никому я не отдам тебя...

Боже, как мне было больно, когда мы говорили о том, что ты выйдешь замуж и за кого... И я заставлял себя отрекаться!!

Моя милая Аморя! Моя бедная девочка! Как я тебя мучил... За что я тебя мучил... Или это был тот очистительный огонь, через который надо было пройти...

Испытание, после которого взрослые говорят детям: «Ну ступай... я только пошутил...»

Аморя, милая, любимая... прости меня...

Через немного ты снова увидишь меня... Мне здесь нечего делать... Сердце мое оторвалось от Парижа... Я напишу несколько корреспонденций и через неделю, дней десять снова буду в Цюрихе...

Моя Аморя... Моя Аморя!

[1] Волошин напоминает Сабашниковой о разговоре, состоявшемся между ними накануне, 5/18 августа. «В Базель я поехала провожать его, – записала Сабашникова. – В вагоне разговор о моем замужестве. Я смеюсь, за кого: за С. П<олякова>, за П<ротопопова>, за Ч<уйко>. Я всех могу себе представить, только не тебя» (запись Сабашниковой, не вошедшая в дневниковую тетрадь; нынешнее местонахождение этой записи не установлено; цит. по копии, сделанной В.П. Купченко).

[2] Имеется в виду башня собора в Базеле, который Волошин и Сабашникова посетили днем. О том, что произошло на башне (и далее в тот же день), повествует цитированная запись в дневнике Сабашниковой:

«Собор. Лестницы, колокольня. Я сижу на <его> руках, как ребенок.

– [Ты моя?] Ты придешь ко мне? – Нет. – Нет? Я приду и возьму Тебя. Он отошел к другой стороне. В нем что-то происходило.

Я стояла на скамейке, он обнял мои колени.

– Ты моя? – Нет. Я устала. Нет, пойдем пить чай.

– Нет, ты моя. Я что-то начал понимать. Что-то кажется мне, что я этой сказкой по-своему могу вертеть. (Стал белым и страшным. Стал красив).

– Пусти, пойдем вниз чай пить. – Нет, нет. Слушай, я хозяин в своей судьбе, я понял.

Я вдруг испугалась и начала смеяться: пойдем вниз, ну, я устала. Я побежала вниз по лестницам, по витым, и ноги мои дрожали.

Я бежала от него. На площади у меня закружилась голова. Он взял меня за руку.

– Что с Тобой? Ты вся дрожишь. Девочка моя, я испугал тебя? – Да.

Мы сели в булочной. Я молчала, он с мукой смотрел на меня. – Аморя! Как у тебя вздрагивают плечи. Ты не поняла меня.

Я пила чай молча, и что-то происходило во мне. Я ему не верю; он не сразу выпустил мои руки. Я виновата, я вызвала сама... Но теперь я уйду.

– Что с Тобой, ну скажи же мне.

Он был так нежен. Я сказала.

– Я оскорбил Тебя?

– Ты был злой и неумолимый, я не знала у Тебя такого лица. Но это не к Тебе относилось, а к тому, что могло отнять у меня свободу и Тебя.

Я любила его больше. А он боялся уехать от меня именно в эту минуту.

Наши поезда уходили одновременно.

Я поцеловала его на платформе вагона, как жена. И потом видела, как он стоял перед своим вагоном...» (*Там же*).

103. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

6/19 августа 1905 г. Цюрих

На другое утро.[1]

Мне казалось, что это только Ваша тень стояла там далеко на перроне, а Вы настоящий были со мной. Я ехала усталая, но счастливая.

Сумасшедшая обезьяна, поняв ритм, может только танцевать.[2] Сознание моей ошибки, моей слабости переводится только в радость освобождения к высшим ступеням. Это малодушие 4 дня тому назад и вчера! Но это прошло, это не повторится.

Я верю Тебе и в Тебя. Не как я хочу, но как Ты хочешь.

Жду письма. Чтобы было все: все мысли по дороге; Париж, встречи, первые слова – все слова? Вчера вечером меня встретили дети.[3] Смешная девочка[4] благодарит за шоколад.

Ехали на конке; почему-то этот шоколад волновал меня до слез, когда я на него смотрела! Прошли мимо твоего пансиона. «Это здесь он жил?» Алеша показал мне окно.

Входя в дом, заглянула на Ütli.[5] Два огонька.[6] Милый мой. Ну, что же я могу писать. Ночью, когда просыпалась, чувствовала Твое присутствие, никакого страха. Одна радость. Милый мой!

Это первое письмо; я не могу писать иначе, потом буду Вам говорить по-другому. Сейчас хочу приниматься за портрет.

До свиданья, милый, милый.

Прислали St. Victor'a. Посылаю его в Москву.[7]

Нет ли известий от Кати?

Дети едут сегодня в Шадгайзен[8].

Я не могу совсем Тебе писать. Ведь слов у нас никаких не было. Нужно их еще найти.

Целую Тебя.

Я открыла вновь конверт, чтобы еще приписать несколь<ко> слов, п<отому> ч<то> это письмо должно разочаровывать. Все эти слова. Ведь это совсем не то.

А, правда, если бы не было дня в Париже, было бы не полно. Я все люблю. Я Тебя люблю.

[1] Т.е. на другое утро после отъезда Волошина из Цюриха в Париж.

[2] См. примеч. 6 к п. 23.

[3] Имеются в виду Алексей Сабашников и Маргарита Гринвальд.

[4] «Смешная девочка» или «Веселая девочка» — прозвища Маргариты Гринвальд (ср. п. 105, 106 и 111). В конце июля — начале августа 1905 г. М.К. Гринвальд, дружившая тогда с Алексеем Сабашниковым, приехала к нему в Цюрих и провела там два месяца. В недатированном письме к М.С. Чуйко (середина июля 1905 г.) Сабашникова писала: «К Алеше на несколько месяцев приезжает Марг<арита> Конст<антиновна>. И вот уж теперь я решительно не знаю, зачем я здесь» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 43, л. 10–10 об.).

[5] Ютли (Ютлиберг) — гора над Цюрихским озером, место прогулок и отдыха. Волошин и Сабашникова совершили восхождение на Ютли 29 июля / 11 августа 1905 г. (Труды и дни. С. 142). Другая их совместная прогулка на Ютли состоялась 23 августа / 5 сентября 1905 г. (см. примеч. 2 к п. 152). Это место было связано для них с историей любви К.Д. и Е.А. Бальмонтов. Летом 1895 г. Бальмонт неожиданно появился на Ютли, где тогда находилась Е.А. Андреева, и они провели вместе несколько счастливых дней, — событие, запомнившееся обоим до конца жизни. «Как живо я помню все, что связано с этим нашим свиданием в Uetli, — писал Бальмонт Екатерине Алексеевне спустя тридцать лет. — Как я шел пешком в гору. Как ночевал. <...> И потом наши ласки и наша любовь среди деревьев на горе» (письмо от 17 июня 1925 г. из Сен-Жиля (Франция). Цит. по: *Андреева-Бальмонт Е.А.* Воспоминания. С. 311; см. также: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 245–246). Волошин и Сабашникова были посвящены в эти подробности и, устремляясь на Ютли, несомненно, вдохновлялись воспоминанием о Бальмонтах. «Раз мы взошли на Ütliberg, — писала в дневнике Сабашникова 5/18 августа 1905 г. — Мы шли вечером и увидали внизу город, розовый от заката, мы шли в темной роще, пили воду из источников, долго сидели в темноте. Наверху открылся нам бриллиантовый океан огней у подножия. Это Цюрих, а с той стороны шла буря; луна светила, и было что-то сказочное и страшное.

Здесь на этом месте сблизились и жили К<атя> <и> К<онстантин>. Этого никто не знает, только мы, и мы молились за нее, п<отому> ч<то> она переживала теперь ужасное время» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 94). Вечером того же дня (19 июля / 11 августа 1905 г.) Волошин отправил Е.А. Бальмонт короткое, в несколько слов, приветствие (до настоящего времени не обнаружено). «Каждую минуту в Цюрихе и после я вспоминал Вас, думал о Вас, – писал Волошин Е.А. Бальмонт 8/21 ноября 1905 г. – Каждый день смотрел на Ютли» (Т. 9 наст. изд. С. 223). См. также п. 231.

[6] Ср. слова Сабашниковой в дневниковой записи Волошина, сделанной 30 июля / 12 августа в Цюрихе: «“Вон на Ютли – два огонька. Точно Катины глазки...”» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 236).

[7] Волошин познакомился с творчеством П. де Сен-Виктора в июле 1905 г. В его дневнике отразилось глубокое впечатление, произведенное чтением очерка Сен-Виктора «Елена Прекрасная» (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 227) – одного из 28 очерков, составляющих книгу «Люди и боги» (1867), которую Волошин впоследствии переведет на русский язык (1914). Знакомясь с этой книгой, Волошин пользовался экземпляром Минцловой. «Книгу мою (“Hommes et Dieux”), – писала ему Минцлова 3/16 августа 1905 г. (из Парижа в Цюрих), – можете мне послать в Москву, она мне не скоро понадобится или и совсем не понадобится даже» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 9).

Комментируя волошинский перевод «Людей и богов», Д.В. Токарев отмечает, что образ Елены Прекрасной, созданный Сен-Виктором, не случайно потряс воображение Волошина: «В нарисованном французским эссеистом портрете знаменитой гречанки Волошин мог разглядеть черты той, кто занимала в это время его мысли, – Маргариты Сабашниковой» (Т. 6 наст. изд. С. 935). Не подлежит сомнению, что именно Волошин привлек внимание Сабашниковой к Сен-Виктору. 22 июля / 5 августа в Цюрихе оба из-за плохой погоды провели целый день за чтением «Людей и богов» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 233). Видимо, тогда же Сабашникова заказала для себя эту книгу, которую затем отправила в Москву.

[8] Имеется в виду Шафгаузен (Schafhausen) – северный кантон Швейцарии и главный город этого кантона.

104. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

6/19 или 7/20 августа 1905 г. Цюрих[1]

Я не позволяю себе ни о чем думать и только жду письма Твоего. Какой Ты был красивый и страшный, когда говорил: что-то я чувствую, что я этой сказкой вертеть по-своему могу, что-то я понял.[2] Ну, как же Ты хочешь повернуть ей, повелитель? Я полюблю это Твое новое лицо. Чего хочет от нас судьба? Только бы не погасли светильники; мы будем будить друг друга. Да? Да? мой Милый. Мне кажется, что я еще мало Тебя видала; что-то мелькало, что я не могла уловить. Говори со мной, только не создавай, не сочиняй ничего. Я не люблю Твоей литературы. Но я люблю Тебя. Разве не новая жизнь началась для нас? Скажи мне, чувствуешь ли Ты больше и иначе, чем раньше. Совсем иначе? Как Ты меня любишь? Как?

До свиданья. Кто мы? Я люблю свою судьбу; любишь ли Ты свою. Нашу судьбу? Мы будем правдивы, мы будем чисты.

Но мне грустно без Тебя. Как быть?

Уничтожь это письмо.[3]

Что ты делал в 5 или 6 ч.?

[1] Датируется приблизительно (написано вечером 6/19 августа или утром 7/20 августа).

[2] Здесь и далее Сабашникова цитирует слова Волошина, сказанные им на башне базельского собора, а также — собственную дневниковую запись (см. примеч. 2 к п. 102).

[3] Просьба не была выполнена (см. также примеч. 9 к п. 110).

105. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

6/19 – 7/20 августа 1905 г. Париж

Суббота 19 ав<густа>. Вечер. 7½ час.

Милая Маргарита Васильевна!

Я не могу не писать Вам. Я все время говорю с Вами... Если бы не люди, я бы, кажется, не прерывая писал бы Вам одно письмо.

Да... это совсем ясно для меня... Я пробуду здесь несколько дней и немедля поеду обратно.

Пробуду ровно столько, сколько нужно для того, чтобы написать несколько корреспонденций – я получил уже выговор от Суворина.[1]

Ужасно стыдно.

А потом я приеду с нужными книгами.

Только что я был у Чуйко.

Он ничего не знает, где я был, и я ему не сказал. Пред этим он как-то говорил Ан<не> Руд<ольфовне>:

«Я очень любил Макса... Но уехать так... не сказав никому... Сравнять Кругликову и Вас»...

Тогда Ан<на> Руд<ольфовна> сказала, что она знает, где я, что ей я сказал, но что это тайна. Он больше не спрашивал, не спрашивал и меня.

Кругликова уехала позавчера. Она бывала каждый день у Ан<ны> Руд<ольфовны>, и Ан<на> Руд<ольфовна> покорила и смирила ее сердце: она пришла к Чуйко «унижаться» и просить прощения...

Когда она уезжала, ее провожали Ан<на> Руд<ольфовна> и Чуйко.

«Вы к ней все были очень несправедливы», – говорила Ан<на> Р<удольфовна>: «Она очень несчастна и несравненно лучше, чем я думала. Не всякая бы женщина пошла просить прощения»...

Чуйко со страшным увлечением пишет портрет Ан<ны> Р<удольфовны>.[2] И она вдохновляет его на новые и новые вещи.

Они играли вместе «Les femmes de Magdala» Massenet,*[3] и он сделал несколько эскизов этих ожидающих женщин из Магдалы, страстных, бледных, с черными змейками волос, иссохших от ожидания и любви.

Les Vierges folles**[4] в лунную ночь на горе...[5] Это очень, очень хорошо и может быть зародышем очень крупной вещи.

---

* «Женщины из Магдалы» Массне *(фр.)*.

** Неразумные (безумные) девы *(фр.)*.

Сомов написал А<нне> Р<удольфовне> длинное и горячее письмо, в котором умоляет ее об дружбе, говоря, что это будет иметь страшное, решающее значение в его жизни...

Сегодня утром мне пришло, т.е. пришло одновременно со мной, письмо А<нны> Р<удольфовны>, побывавшее в Цюрихе. Она меня умоляет не возвращаться в Париж. Она не думала, что увидит меня.[6]

Ей страшно хотелось меня видеть. Она вся трепетала от радости... Может, это ее тайное желание так и повлекло меня вдруг в Париж...

Но ее первые слова были: «Поезжайте сейчас же обратно... Сейчас же поезжайте обратно».

И это было моей мыслью... Я бы сейчас же готов был вернуться.

И как от одного ее прикосновения сразу распалась совсем та паутина, в которой мы, т.е. нет... я... один я, путался все время.

Но, верно, это нужно было... Нужно было для того, чтобы я проверил и испытал, насколько я люблю тебя... Испытание огнем.

Здравствуйте, Маргарита Васильевна...

Здравствуйте, но не прощайте...

Милая Аморя. Моя Аморя...

Воскрес<енье> 20 ав<густа>. Утро.

Вчера вечером я был у Ан<ны> Руд<ольфовны> недолго...

«Да... Вы уедете через неделю... Через неделю... Мне надо только знать точно, когда... Для меня смертельны неожиданности... Я должна подготовиться... Во мне теперь нечеловеческие силы. Я Вам дам много, много... перед тем, как Вы поедете...

Как Ваши письма мучили меня... Как Вы могли подумать, что этого от Вас требуют... Я видела это, но не могла Вам ничего сказать... Вы должны были сами решить все... сами найти выход...»

Я буду приходить к Ан<не> Руд<ольфовне> по вечерам... Весь день буду работать...

Мы только позавчера расстались... Будет ли сегодня письмо от Вас... Что Вы думали, возвращаясь?.. Что Вы теперь чувствуете?

Работаете ли Вы?

Сейчас начинаю писать и работать. До свидания...

12 ч. дн<я>.

Твое письмо... Милая моя, милая, милая... Почему я так боялся его распечатать... Я боялся, что ты... мы так мало пробыли вместе после тех минут холодного ужаса, который пробежал между нами... Я не знал, что вырастет в тебе из этих минут...

Теперь я знаю их значение... Я на твоих глазах со злобой порвал цепь, положенную на мою душу... Я не мог вынести ее... И как хорошо, что я ее порвал тогда... в последний момент. Иначе было бы поздно... Моя Аморя... Моя Аморя...

Как я люблю тебя... Как мне была невыносима мысль, что ты можешь быть женой другого... Мне было так мучительно, безумно мучительно говорить с тобой об этом в вагоне... И я так не хотел тебе показать это... чтобы ты была свободной.

Милая Аморя, прости меня за то, что я тебя так мучил... Я думал, что на нас положено заклятие... Что каждый момент малодушия (я считал мою любовь малодушием!) может быть гибелен для тебя... И я уже принимал, как бремя, на себя то, что все страдание будет идти к тебе через меня...

Упреки Ан<ны> Руд<ольфовны> радостны мне... Они были бы ужасны, если бы я раньше не победил себя.

Когда я отошел от тебя тогда на башне, когда ты мне дала прочесть мое письмо... Я тогда думал: «Я не могу допустить этого страдания, я не могу допустить, чтобы ты была чужой; если есть заклятие на нас, я разрушу его; я возьму тебя и понесу тебя... Я не пойду по *той* дороге, если нужно *такое* отречение... Я сам тогда на<й>ду свою дорогу, и мне не нужно других указаний...»

Воскресенье. 20 авг<уста> *5 час. дня.*

Я ничего не могу делать.

Пробую писать... хочу сосредоточить мысли... Но слышу твой голос, вижу твое лицо, чувствую твои волосы... и целую их...

Я хожу, как потерянный... В голове нет мыслей... Один порыв к тебе – непереходящий, растущий...

Раскрываю книгу, но глаза не читают... Вот теперь я пишу, а перед моими глазами плывут твои руки и заслоняют бумагу...

Я совсем, совсем не могу быть без тебя... Вот сейчас так ясно я почувствовал твою руку вокруг моей головы...

Я с удивлением спрашиваю себя – зачем же я уехал? Как я мог уехать, если это такая сила?

А вместе с тем я вспоминаю, что в последние дни у меня было такое чувство, что мне невозможно оставаться в Цюрихе... Должно быть, это было желание Ан<ны> Руд<ольфовны> видеть меня... Она не звала меня... старалась не звать... но, значит, это помимо зова дошло.

Я не принесу тебе больше никогда, никогда ни малейшей боли... Моя милая... Моя Аморя... Я твержу эти слова день и ночь...

Моя... Тогда на башне это слово меня впервые поразило и ослепило... Я могу сказать тебе это...

У меня в груди точно магнитная стрелка... Я ее чувствую физически... Куда бы я ни шел, что бы я ни делал, ни думал – все время, ни на минуту не ослабевая, это чувство... Когда я не могу думать о тебе, что-то начинает болеть...

И нет слов... Почему нет слов? Куда они все девались... У меня их было всегда так много... Когда я пишу тебе, я успокаиваюсь... Но мне кажется, что я все повторяю одно и то же...

Милая Аморя... моя милая Аморя...

Я приеду в Цюрих с книгами и по утрам буду работать...

И как странно... Вчера, когда я говорил с Ан<ной> Руд<ольфовной>, ты вдруг куда-то исчезла... Я искал тебя в сердце... тебя не было... Мы говорили о том, чего тебе нельзя знать. Потом ты вдруг снова пришла...

Ты знаешь – я могу останавливать сердцебиение и боль у Ан<ны> Руд<ольфовны>. Ей доктора сказали, что она никогда не сможет дышать свободно до глубины... Я вчера положил ей руки на сердце, и она могла дышать полной грудью, чего уже много лет не было у нее... Какое это счастье!

Я чувствую себя богачом... Когда можешь отдавать – это ощущение богатства...

В вечер накануне отъезда я очертил вокруг тебя мысленно магический круг, чтобы защитить тебя от страхов... Но когда я это делал, я заметил, что я не могу замкнуть его... Поэтому я провел его вокруг тебя и себя... Мы оба замкнуты в этом круге. Поэтому ты так чувствуешь мое присутствие, когда просыпаешься ночью...

Может, с этого момента началось то новое, что теперь...

Мы в одном кольце... Это мистическое обручение?

Ан<на> Руд<ольфовна> говорила вчера:

«Мар<гарита> Вас<ильевна> мне страшно близка... Это сходство, которое находят незнакомые люди, не случайно. Я это знаю теперь... Наша связь была больше, чем связь матери с дочерью...

У нее громадные силы... Она во многом выше вас. Но она слаба, очень слаба... Она должна пройти через многое... Но Вы должны быть с ней всегда... всю жизнь... Вы должны вести ее... С Вами она должна *все* пройти... Вы должны замедлить свои шаги... И вы придете вместе... Я буду всегда с Вами и буду указывать Вам дорогу... Буду ли я жива или нет... Пред Вами у меня страшный долг... Вы у меня все можете потребовать... Вы меня всегда можете позвать... Будут моменты, когда Вам нужно будет позвать меня... Моменты полного отчаяния... Гефсиманская ночь...[7] Я Вам теперь очень много, много дам... Пред тем, как Вы уедете – накануне... Я безумно рада, безумно рада, что Вы приехали... Но я Вас не звала. Вы понимаете, что я не могла Вас звать. Я думала, что я Вас в жизни никогда больше не увижу.

Ведь Вы не знаете, что для меня значит встреча с Вами... Какой долг у меня в прошлом... Такие встречи бывают не в каждой жизни...

...Сомов у меня просит дружбы... Я не могу дать дружбы... Я никому не могу в жизни дать дружбы... ни любви... Я могу дать только безумие... Он мне пишет настоятельно, чтобы я пошла в Версале в ту залу, где мой портрет XVII века...

Женщины, носившей мое имя...[8]

Вы бы совсем разошлись в разные стороны с Мар<гаритой> Вас<ильевной>, если бы я не столкнула Вас... да, это было возможно... Теперь вы пойдете вместе... Слышите... Вы должны ее вести... Не через страдания, а через радости. Радость учит, а не страдание. Вы не имеете права причинять ей ни малейшей боли...Слышите? Теперь вы пойдете вместе... Как Вы смели подумать, что Вы можете уступить ее кому-то другому?.. У Вас с ней в прошлом нет связи... Нет... У меня есть... Раньше, чем с Вами... не в той жизни... Но знайте: на этой дороге – ни минуты покою... Но Вы придете... придете вместе с М<аргаритой> Вас<ильевной>. Я буду с Вами... Если даже умру... Это может случиться...

Но теперь во мне нечеловеческие силы... Я не могу без слез вспомнить, какими словами Анни Безант благословляла меня, прощаясь. Такими словами только мертвых благословляют. Я получила письмо: уезжая на пароходе, – она опять говорила обо мне и благословляла... Это были ее последние слова...»[9]

Вот то, что я могу вспомнить из слов, сказанных вчера ночью...

Чуйко мне говорил: «Вы знаете – я когда пишу портрет Ан<ны> Руд<ольфовны>, вижу совсем другое лицо... Молодую, красивую женщину – поразительной красоты...»

Сомов тоже просит позволения написать портрет Ан<ны> Руд<ольфовны>.[10]

До свиданья... Милая, милая Аморя...

Поклон Алеше и Веселой Девочке... Если к нему вернется бери-бери,[11] пусть он подумает обо мне – я возьму его за руку...

[1] Имеется в виду А.А. Суворин. Среди его сохранившихся писем к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1159) письма за 1905 г. отсутствуют.

[2] См. примеч. 1 к п. 80.

[3] Оратория Ж. Масне (1872), известная также под названием «Мария Магдалина»; автор либретто – Л. Галле.

[4] Известный евангельский сюжет, повествующий о пяти разумных и пяти неразумных девах (Мф. XXV, 1–13; 31–40). Скульптурные изображения десяти дев украшают ряд средневековых французских соборов: разумные девы держат в руках наполненные маслом светильники и открытые скрижали, неразумные девы – опрокинутые светильники и свернутые скрижали. Волошин и Сабашникова видели «неразумных дев» в Париже и Страсбурге. Ср. в дневниковой записи Сабашниковой от 5/18 августа 1905 г. (при описании совместного посещения страсбургского кафедрального собора 21 июля / 3 августа 1905 г.): «Мы узнали на портале les vierges folles, кот<орым> в прошлом году так удивлялись в Trocadéro» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 87 об.).

[5] Фольклорный сюжет, известный у разных народов: ведьмы собираются в лунную ночь на горе и справляют шабаш.

[6] Имеется в виду письмо Минцловой к Волошину от 3/16 августа 1905 г. «Я получила письма от Дурнова и Сомова, – сообщала Минцлова, – от Сомова письмо до того прекрасное, дышащее глубокой нежностью, страшным подъемом и волнением. Жаль, что он так поздно пришел ко мне, что я ему не смогу уже дать ничего теперь. А ему стоит отдать многое – нескольких прикосновений руки достаточно было, чтобы разбудить в нем душу, – мне хочется послать ему и Дурнову мои фотографии, снятые Вами. Если они у Вас есть сейчас с Вами, пришлите их мне, дорогой мой». Письмо завершалось словами: «Не приезжайте теперь в Париж, дорогой мой, не надо. Будьте счастливы. Пишите мне, если можно» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 9, 9 об., 11 об.; письма Минцловой к К.А. Сомову хранятся в Отделе рукописей Государственного Русского музея, ф. 133, ед. хр. 256).

[7] Охваченный в свою последнюю ночь смятением и «смертельной скорбью», Христос молился в Гефсиманском саду о том, чтобы избежать страданий: «Да минует меня чаша сия» (Мф. XXVI, 37–46).

[8] Анна де Ту (см. примеч. 9 к п. 77).

[9] Ср. в письме Минцловой к М.В. Сабашниковой от 30 июля / 12 августа 1905 г.: «...Вечером вчера я получила письмо из Лондона и узнала, что Mrs. Besant, уезжая, благословляла меня в таких словах, которые она редко говорит о живущих на земле. И от слов ее огнем

зажглось мое сердце, навеки теперь» (Из писем А.Р. Минцловой к Маргарите Сабашниковой. С. 19).

[10] Портрет Минцловой работы К. Сомова неизвестен (по всей видимости, не был написан).

[11] Бери-бери – болезнь, вызванная недостатком в организме тиамина (витамина В1) и затрагивающая нервную систему.

106. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

7/20 августа 1905 г. Париж

Воскресенье. Сумерки.

Вот был у Гольштейнов. Рассказывал, что был только что в Интерлакене у своего двоюродного брата.[1]

«А нам Кругликова сказала, что вы уехали в Константинополь...»

Никто не подозревает, где я был... Все думают ведь, что мы с Вами в очень дурных отношениях...

Теперь я еду к Ан<не> Руд<ольфовне>. Но вот присел на Quai Voltaire,*[2] чтобы написать еще несколько строк.

Только одно письмо я получил от тебя.[3] И я читаю и перечитываю эти строчки... Оно как цветок в руке, когда человек проснулся от сна...

Я заглядывал в старые письма... Там все другое. Их другой человек писал. Это было миллионы лет назад... Читая их, я бы мог подумать, что последние дни не были никогда...

У меня бесконечное беспокойство... Я не могу сидеть на месте, не могу читать, писать...

Еду на велосипеде и, закрыв глаза, протягиваю руку к тебе...

Выйдя от Ан<ны> Руд<ольфовны>, зайду в кафе и буду писать тебе...

Ночь. Скоро полночь. Ущербная луна.

Опять у меня в руках было пламя... Я сидел, закрывши глаза, и слышал голос...

---

* Набережная Вольтера *(фр.)*.

...«Не может быть отречения... Не должно быть отречения... Это ужас... Нельзя бороться с желанием, раз оно есть... Нельзя убивать его... Нельзя убивать страсть... Вы вернулись не таким тем<н>ым, как я отпустила Вас... Вот теперь, сейчас, я чувствую Вас таким же, как Вы были... Бороться с желанием — это желать покориться ему... Вы понимаете. Помните, что Платон говорил об μανία?..* Об любви, которая ведет вниз, и о *чувственной* любви, которая подымает к небу... Об Эросе, у которого вырастают крылья...[4]

Вы должны пройти через этот огонь... Он очистит и Вас, и ее...

Я Вам говорила: сперва женой — потом невестой...

Разве вы не видите, что Мар<гарита> Вас<ильевна> будет Вашей женой, что она уже, *уже* Ваша жена...

Вы пришли ко мне ослабевшим от страсти — потому что Вы боролись с ней...

Теперь это прошло... Еще не поздно... я снимаю с Вас это... Вы будете еще сильнее...»

Вот то, что об нас...

Завтра утром буду писать тебе еще... Вкладываю в этот же конверт письмо Ан<ны> Руд<ольфовны>, в котором она не успела дописать последних слов...[5]

Аморя! милая... Невеста моя... Моя Аморя...

Ты видишь, как я могу быть слеп, как я могу тебя мучить...

Для меня нужна была эта борьба. Нужно было самому найти выход...

Но Тебя... за что тебе надо было это говорить... Разве я смел показывать тебе эту борьбу?

Платок с твоими слезами — он лежит у меня в кармане и жжет мне сердце...

Милая, милая Аморя...

В субботу я уеду из Парижа... Это решено...

Поклон Алеше и Веселой Девочке...[6]

Будет ли от тебя завтра письмо?

---

* Мания *(греч.)*.

[1] Имеется в виду Я.А. Глотов.

[2] Парижская набережная, на которой жил и умер Вольтер.

[3] См. п. 103.

[4] Эти слова Минцловой в передаче Волошина – отголосок суждений, изложенных в диалогах «Пир» и «Федр». Так, в диалоге «Федр» Платон (устами Сократа) говорит о разных проявлениях любви, одним из которых является «мания» (любовь-безумие, любовь-наваждение, любовь-неистовство), о крылатом Эроте и пр. Мысль Платона о нераздельности и противостоянии любви чувственной (нисходящей) и любви возвышенной (восходящей), Афродиты-Пандемос (Всенародной) и Афродиты-Урании (Небесной) Волошин развивает в своей статье 1907 г. «Пути Эроса (Мысли и комментарии к Платонову «Пиру»)» (см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 208–235; 825–837).

[5] Имеется в виду неоконченное письмо Минцловой к Сабашниковой от 7/20 августа 1905 г. (см.: Из писем А.Р. Минцловой к Маргарите Сабашниковой, С. 21–22).

[6] См. примеч. 4 к п. 103.

107. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

7/20 или 8/21 августа 1905 г. Париж[1]

Я не помню, что я тебе говорил тогда...[2]

У меня кружилась голова, как у человека, который вышел из душной комнаты на свежий воздух...

Мне было так радостно... я так чувствовал победу... чувствовал, что я разорвал те цепи, которые *на нас* положили, что я в первое мгновение не заметил твое<го> страха... Мне было невыносимо думать об этом после... мне все казалось, что я разбил твою душу своим неосторожным жестом, разрывая цепи...

Милая моя... Милая Аморя...

Я закрываю глаза и чувствую твои пальцы на моей руке...

Ты... ты... была права все время... Ты действовала с ясновидением чувства, в то время как я путался в снах и терзал тебя...

Мы не можем быть отдельно и разно.

Я понесу тебя...

Я сказал Ан<не> Руд<ольфовне>, что я уеду не раньше субботы... Да. В субботу я уеду...

Эту неделю – эти ночи ущербной луны, такие страшные для Ан<ны> Руд<ольфовны>,[3] я должен ей... Я должен быть с ней... Она не звала меня, отказывалась от моего приезда, но страшно нуждается в моем присутствии. Когда я уехал раньше на два дня, чем она ожидала, это на нее подействовало страшно... Как удар грома... Она только теперь это сказала...

И эти два дня были ужасны...[4] И для нее, и для нас... Да... очевидно, я должен был прямо ехать в Цюрих, а не в Страсбург... Может быть, тогда бы не было тех очистительных испытаний, которым мы были подвергнуты теперь...

Она мне тогда много не досказала... Поэтому все произошло... Я ведь себя считал *уже* связанным клятвой, а этого не было...

Моя милая, моя бедная девочка...

Ты говорила:

«Ты увьешь мои рожки алыми розами и принесешь меня в жертву»...[5]

В кармических законах решение и порыв значат больше, чем поступок...

Ан<на> Руд<ольфовна> говорила:

«Ни капли страдания... Не должно быть жертв... Туда идут через радость... Радость большему учит, чем страдание...»

От Ек<атерины> Алек<сеевны> было письмо: она встретила Конст<антина> в Петербурге.

Елена уехала...

Я ничего не могу писать... Мои мысли не могут никак стать газетными... Надо побороть себя...

До свиданья... Моя Милая, Моя Аморя!!

[1] Датируется по содержанию (упоминание о визите к А.Р. Минцловой и предполагаемом отъезде в субботу).

[2] Волошин имеет в виду свой разговор с Сабашниковой перед отъездом из Базеля (см. п. 104 и примеч. 2 к нему).

[3] См. примеч. 8 к п. 80, а также п. 81, 116 и 118.

[4] Речь идет о двух днях перед отъездом Волошина из Парижа в Страсбург (по-видимому, 18/31 июля и 19 июля/1 августа).

[5] Эти слова Сабашниковой Волошин занес в свой дневник (запись от 30 июля / 12 августа 1905 г.)»: «“Укрась мои серебряные рожки пурпурными розами и принеси меня в жертву, как барашка... Я всегда чувствовала себя жертвенной овцой... Ты ведь это сделаешь? Мне не будет больно?..”

Смотрим друг на друга безнадежными, грустными, прощальными глазами. У нее текут слезы» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 249).

108. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

8/21 августа 1905 г. Париж

Понедельник 21 авг<уста>. Утро. 2 часа.

Сегодня нет письма... Только одно письмо от Вас до сих пор...[1] Или Вы не получили еще моих писем? Было воскресенье... Мои первые письма только теперь дошли? Я за эти два дня написал 5 или 6. Теперь уже не помню...[2]

Сейчас пойду на почту и одновременно с этим письмом отправлю Вам деньги.

Сегодня утром получил открытку от Алеши и Веселой Девочки с Рейнского водопада,[3] что меня ужасно трогает.

Значит, Вы теперь совсем одна... Ночью я все время чувствую твое присутствие... Это непрерывное ощущение сквозь сон... Но не сон... Ничего определенного, ясного... никакого образа, только ты... и какая-то смутная тревога расстояния.

Я окончательно не могу писать «Вы»... Каждый раз я начинаю письмо с добрыми намерениями, но мне кажется, что я пишу кому-то другому...

Кроме тех слов Ан<ны> Руд<ольфовны>, которые касались нас обоих и которые я вчера вечером послал тебе, она много говорила об Ек<атерине> Ал<ексеевне>.

Она показывала ее письмо – раздирающее, ужасное...[4] Написанное уже после приезда Бальмонта...

Она пишет, как она старалась полюбить Елену, как она перечисляла себе все ее достоинства, что она сделала для

Бальмонта и что она не может себя побороть, что она ненавидит ее... «Или она, или я...»

Когда Ан<на> Руд<ольфовна> читала эти строки – в каждом слове разверзалась бездна ужаса... Это крик отчаянья, раздирающий крик...

Он у меня все время звенит в ушах... Когда мы были <на> Ütli, мне что-то мерещилось...

Теперь Елена уехала... Они вместе.

«Я совсем разбита... молчу... Костя со мной заговаривает... Страшно ласков... Но у меня нет слов. Ниника беспокойна, потому что я не отдаю ей всего внимания...»[5]

Потом Ан<на> Руд<ольфовна> говорила о Кругликовой.

«...Она пришла ко мне и стала плакать... Я ей сказала: "Перестаньте плакать... Слезы слишком святая вещь, чтобы можно было всегда плакать".

Она сейчас же перестала...

– Я не могу уехать, не помирившись с Чуйко.

– Тогда пойдемте сейчас к нему...

Мы подошли к двери... Он выскочил. Я говорю: "Я не одна, я с Елизав<етой> Серге<евной>".

Он стал ей жать руки. Точно дети... Мы пошли вечером к ней... Она стояла передо мной на коленях. Я смотрела ей руку и сказала, что у нее есть страшная линия: возможность помешательства от вина. Никогда не пейте вина...

Она была удивительна со мной... На другой день она завтракала у Чуйко... Это был завтрак примирения... Он ей предложил красного вина... Она сказала: "Мне Анна Руд<ольфовна> запретила пить". – "Я Вам не запрещаю. Вино Вы пить можете... Вам нельзя пить абсенту..." Мы провожали ее на вокзал.[6] Чуйко хотел ей купить цветов... но не нашел и был очень огорчен... Об Вас она спрашивала:

"Где Макс? Почему он мне ничего не написал?"

– Не знаю... Значит, он не мог... Берите его так, как он есть. Не требуйте больше, чем он может дать... Почему Вы не

думаете, что у него может быть своя личная жизнь? Разве он обязан Вам давать отчет в своих поступках?

— Кругликова гораздо лучше, чем вы все про нее думали и говорили... Далеко не всякая, особенно женщина, особенно сама виноватая, пошла бы первая просить прощения... Она заходила ко мне каждый день и сидела немножко...

И была со мной совсем, совсем другая»...

Вот последние чудеса Ан<ны> Руд<ольфовны>. Да! она права — она дает только безумие: все обезьяны сходят с ума от одного ее прикосновения...

Она все время говорит со мной со страшной любовью и со страшной силой...

Теперь я понял, что я не должен был ехать в Страсбург. Но она не могла удерживать меня, если я решил... В следующие два дня она должна была мне очень много сказать — того, что можно говорить только в последние минуты...

Для нее мой неожиданный отъезд был ужасен... Я теперь это только узнал.

У ней были страшные ночи испытаний, в которые она была совершенно одна...

В новых «Весах» продолжение писем Бальмонта из Мексики. Они несравненно интереснее и значительнее начальных.[7]

Они заключаются надписью царицы майев на камне в Паленке[8]:

«О ты, который позднее явишь здесь свое лицо! Если твой ум разумеет, ты спросишь: кто мы? Кто мы? Спроси зарю, спроси волну, спроси бурю, спроси Океан, спроси любовь! Спроси землю — землю страдания и землю любимую...

Кто мы? — Мы — земля!»[9]

Как это хорошо!

Милая, милая.. милая.. Аморя..

Неужели и сегодня от тебя не будет письма.

[1] Имеется в виду письмо от Сабашниковой, полученное Волошиным после его отъезда из Цюриха (п. 103).

[2] Между 6/19 и 8/21 августа (после возвращения из Швейцария) Волошин написал Сабашниковой за три дня шесть писем.

[3] Рейнский водопад (Rheinfall) – самый большой в Европе водопад по количеству низвергаемой воды. Находится на границе Швейцарии и Германии (недалеко от Шафхаузена). Среди сохранившихся писем к Волошину от А.В. Сабашникова и М.К. Грюнвальд открытка с Рейнского водопада отсутствует.

[4] Архив Минцловой не сохранился, и адресованные ей письма в большинстве своем неизвестны.

[5] Ср. с письмом Е.А. Бальмонт к Сабашниковой от 7/20 августа 1905 г.: «По возвращению К<онстантина> я была очень несчастна. Теперь победила себя, еще измучена борьбой, но торжествую. Мы живем отверженно одни на берегу моря, холодно, дожди. У нас мир и спокойствие. К<онстантин> работает, пишет стихи. Ниника здорова, она совсем не дитя. Боже мой, до чего с ней трудно. Я не совмещаю обоих. Или К<онстантин> или она» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 53, л. 25).

[6] Имеются в виду Минцлова и Чуйко, провожавшие на вокзал Е.С. Кругликову.

[7] Публикация путевых очерков Бальмонта под общим названием «В странах Солнца» началась в № 4 «Весов» за 1904 г. и продолжилась в № 6 и 8 того же журнала за 1905 г.

[8] Паленке (Palenque) – испанское название развалин древнего города, политического и культурного центра майя в III–VIII вв., столицы Баакульского царства (в настоящее время – на территории мексиканского штата Чьяпас).

[9] *Бальмонт К.* В странах Солнца. Из писем к частному лицу // Весы. 1905. № 6. С. 34 (Волошин цитирует не вполне точно). «Частное лицо» – Е.А. Бальмонт.

109. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

8/21 августа 1905 г. Цюрих[1]

Понедельник.

Вот Твои три письма;[2] я с шести часов утра жду писем.... Меня так поразило это «Вы», это уже невозможно между нами. Ты со мной, вокруг меня, я Твоя. Но всякая опреде-

ленная мысль меня ужасает. Я вижу Тебя со стороны и тогда в ужасе восклицаю: нет, никогда, этого не может быть, я не хочу. И вместе с тем я знаю, что я не могу без Тебя. Я боюсь Тебя и только у Тебя могу искать спасения. Разве не страшно? Но вот Ты кладешь свою руку мне на сердце, и я спокойна. Да? Ты сделаешь меня сильной. Я такая дурочка, уткнусь лицом в Твое плечо, и мне не будет больше страшно. Но мне пока страшно, страшно, страшно.

Я не могу писать. Ты приезжай. Ах, Макс, только отчего это мне кажется, что это не имеет ничего общего с жизнью. Что меня взяли и играют мной; что это не я, не из меня исходит....

Ведь я несчастлива. А в таких случаях бывают счастливы.

Я опять не помню Твоего лица; я его не люблю; я люблю Твои глаза и Твою близость. Я не знаю, что это, гроза, что ли, опять надвигается, но что-то ужасно беспокойно.

Мне ужасно завидно Чуйко, что он может так работать. Пожалуй, мне лучше жить в Париже зимой. Ах, я не знаю, ничего не знаю.

Это письмо уже не пойдет сегодня. Такая досада, я проспала. Я все днем засыпаю.

Прощай. Что с нами? Я не хочу ни о чем думать.... Но я не могу не думать.

Вчера вечером мы долго говорили с Алешей. Я ему рассказывала немного о А<нне> Р<удольфовне>, о Тебе. Я не знаю, что я имею право рассказывать; он так слушает, что мне многое ему хочется рассказать. Но ведь это нельзя. Мне его очень жаль.

Ах, Макс, я все думаю о наших. Чувствуют ли они что-нибудь. Ох, как мне страшно. Как мне их ужасно жалко.[3]

Ах, Макс, спаси меня!

Мой хороший, мой милый. Я боюсь, Ты будешь через меня страдать еще.

Что это? Что это?

Я совсем не могу писать.

До свиданья, целую Тебя.

Я буду спокойно ждать. Пусть будет что будет.

У меня все время горят и немного болят руки, сейчас (5 ч.) и вчера в это же время. Что Ты делаешь в это время? Целую... Милый...

[1] Судя по содержанию, письмо было отправлено в Париж во вторник 9/22 августа.

[2] См. п. 101, 102 и 104.

[3] Сабашникова имеет в виду своих родителей, которые поначалу воспринимали Волошина неприязненно, видя в нем «декадента», человека без определенных занятий и т.п. «Он <папа> боится Макса и ему подобных людей без ярлыка, – писала Сабашникова в своем дневнике (запись от 21 марта / 3 апреля 1904 г.). – Макса он ненавидит» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л 12). «Они вас ненавидят, – говорила Сабашникова Волошину о своих родителях в Страсбурге 21 июля / 3 августа 1905 г. – Папа, кот<орый> очень кроток и, скорее, добродушно безразличен к людям, кот<орых> не любит, не может слышать Вашего имени. У него делается какое-то странное лицо, и он сухо смеется» (*Там же*, л. 90 об.; запись от 5/18 августа 1905 г.). «Да, – отвечал ей Волошин,– я знаю это. У них должно быть предчувствие того, что между нами есть фатальная связь. Они что-то смутно чувствуют; это так должно быть. Да, иначе не может быть. Как им должно быть страшно» (*Там же*). «Его <Волошина> ненавидят наши, и откуда у меня это полное спокойствие и уверенность, что я не нанесу им удара, не причиню боли», – записывает Сабашникова в дневнике 25 сентября / 8 октября 1905 г. (*Там же*, л. 99 об.). «Ко мне в ее семье всегда была страшная антипатия», – сообщал Волошин 1/14 марта 1906 г. А.М. Петровой (Т. 9 наст. изд. С. 233).

Комментируя одно из писем Волошина к ней, Е.А. Бальмонт вспоминала, что родители Маргариты Васильевны «не верили в чувство дочери к Максу и в ее сериозное намерение стать его женой. Они считали, что это очередная фантазия ее, и потому не хотели видеть Макса» (см.: Т. 9 наст. изд. С. 225). Однако к началу 1906 г. отношение М.А. и В.М. Сабашниковых к Волошину заметно улучшилось (отчасти благодаря А.Р. Минцловой).

110. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

9/22 августа 1905 г. Париж

Вторник 22 авг<уста>. Утро. 10 час.

Моя милая, милая Аморя!

Твое письмо[1] я нашел вчера ночью, когда я вернулся от Ан<ны> Руд<ольфовны>. Твое второе письмо – то, которое я должен сжечь...[2] Я сожгу его, когда кончу это письмо. Оно поразило, потрясло меня... Я не мог писать вчера вечером. Я заснул, не выпуская его... Да, этого я не знал, не предполагал... Милая... милая моя...

Мне хочется целовать твои ноги... благословлять тебя... Ты сама не знаешь, какое великое счастье живет в тебе... Твое неведение – это то, что никому не дается...

Ты знаешь Тайну... А все остальные – мы знаем только ключ к ней. Ключ этот до ужаса прост и реален... Все узнают его раньше, чем тайну... В этом и есть ужас М<исте>ра Хайда... «Ключ» и «Тайну» – логически, разумом совместить нельзя. Но есть момент в жизни, когда они соединяются сами.[3]

Кто их узнал раньше времени, их несет всегда отдельно... Ты ведь сама не знаешь, через какую муку противоречий ты не прошла...

И когда придет «это», то придет сразу как огонь, как молния, – сожжет и очистит...

Ведь этого... этого никогда не бывает... Это величайшее счастье, которое можно иметь в жизни... Моя милая... любимая... прекрасная...

И того, что ты прочла, ты не могла ничего узнать... успокойся... Знанию еще рано прийти – оно после придет... Милая девочка...

---

12 час.

Вот пришло твое третье письмо.[4] Мне жутко за тебя... Но я знаю. Я должен прийти и взять тебя...

Мне страшно, что ты меня можешь видеть – другого страшного... То, что во мне родилось теперь и что мне позволило подойти к тебе, – при тебе оно не умрет.

Но если мы отойдем друг от друга – то ты снова увидишь меня другого.

Только этого не будет. Это уже невозможно. Ты мне дана, и я должен пронести тебя на руках сквозь жизнь... Ты гораздо выше и сильнее меня, – но у тебя нет той силы, которая есть у меня и которая необходима тебе... Только одной стороной духа я достоин тебя... Во мне есть столько... с чем мне долго и мучительно надо будет бороться...

Моя Аморя! Моя Аморя! Сейчас, здесь я сильнее тебя, но после ты будешь сильнее...

Наше обручение совершилось... Ты боишься меня далекого и спасаешься ко мне близкому... Значит, нам надо быть только близко...

Как жена... как невеста... Не бойся этих слов, моя девочка... Они ничего не изменят между нами... Они дадут нам возможность быть всегда вместе... А нам нельзя быть отдельно... Как это случится, как это придет, – не надо об этом думать...

Не бойся за твоих. Я чувствую в себе силы и возможность победить предубеждение против себя... Завоевать их сердце... Я люблю Тебя, значит, нет ничего невозможного.

Милая... ведь без этого я не могу подойти к тебе, потому что сердце твое будет разрываться... Я не должен тебе давать ни капли страдания... Не думай об этом. Когда я вернусь через те несколько дней, мы будем говорить об этом.

Ты видишь: иначе нельзя... Я чувствую себя совсем потерянным без тебя... Я от чего-то оторвался, и все теперь стало ненужным. Только когда я протягиваю руки к тебе и чувствую твои пальцы и мою силу, которая переливается в них, тогда снова что-то связывается...

Ты должна быть моей – моей всецело, всю жизнь... И никому другому я тебя не отдам...

Быть твоим – навсегда...

Но если ты боишься этого... если ты чувствуешь, что не твоя, а чужая воля ведет тебя... Вглядись в себя, прислушайся к себе – это страшно важно... Я могу тебе дать забвение. Еще теперь я могу дать... Но тогда я выну у тебя часть души и унесу

ее... Я знаю, что я это смогу сделать... Тогда ты все, все забудешь до последней капли и не будешь узнавать меня... Этот выход еще есть — помни это...

Ты мне напомнила мои слова:

«Что-то я чувствую, что я этой сказкой вертеть по-своему могу»...[5] Я тогда вдруг понял, что нет клятв, нет заклятий, нет неизбежностей, которые бы не исходили из моей собственной души... и что никто не может поставить закон для моей воли, кроме меня самого, что не слепое подчинение клятвам требует тот путь, по которому мы пойдем, — путь ученичества...

А потом мне вспомнились слова Заратустры:

«Поняли ли Вы меня, ученики мои?»

— Поняли, учитель...

«И пойдете за мной всюду, куда бы я не повел вас?»

— Пойдем, учитель...

«И сделаете все, что бы я Вам ни приказал?»

— Сделаем, учитель...

— «Тогда идите прочь от меня, потому что Вы не поняли меня!»[6]

Я понял это в последний момент... Хорошо, что я тогда это понял, а не позже...

Ты это тоже должна понять. Поэтому я тебе предлагаю забвение...

Если полного забвения ты не хочешь, то я приду и возьму Тебя... Ты будешь моей, моей, совсем моей, и только тогда мы можем идти вместе... Теперь уже между нами легла та связь, которую нельзя разорвать естественным путем.

Аморя... милая... невеста моя!.. Я люблю тебя радостно и сильно... Нужно было, чтобы <я> победил свою любовь и отказался от нее и, когда я это сделал, то увидел, что любовь моя выросла в тысячи раз и что я никогда не откажусь от тебя... Наше отречение связало нас. Когда мы там на скамейке под соснами сказали друг <другу> «прощай» — это было нашей клятвой никогда не расставаться... Теперь я это понял.

Когда я в первый раз на лестнице Собора сказал «Моя Аморя»,[7] — то новый мир разверзся подо мной. Я понял, что это я могу сказать...

Моя Аморя... Моя милая девочка...

Да – наша сказка в моих руках... Я был робким мальчиком, а стал мужчиной в тот момент.

Вот я кладу руку тебе на сердце. Спокойно тебе? Целую Алешу и мысленно снимаю с него бери-бери.[8] Ему можно все сказать – про меня. Про Ан<ну> Руд<ольфовну> – *ничего* нельзя говорить. О Берлине и о д<окто>ре Штейнере, ничего не говорить о происхождении (исторически) знаний. Милая, бедная девочка... Будь радостна и сильна!

Письмо твое я сжег.[9] И когда оно вспыхнуло, мне вдруг вспомнилось, как сжигали моего крестника. Я его все перечитывал и не забуду никогда. Оно священно и поэтому не должно было существовать. Я всегда видел в тебе необычайность – этого незнания. Поэтому вокруг тебя был всегда тот свет, от которого я не мог глядеть тебе в глаза в жуткие минуты моей души. И ты ищешь оправдания!!! Глупая милая девочка.

Сегодня только я получу негативы фотографий и завтра отпечатаю... В 5 час., т.е. по-парижски в 6¼, я оба раза в воск<ресенье> и понедел<ьник> писал тебе письмо. Принимай в расчет эту разницу во времени. И 10 мин<ут>, когда ты читаешь мои письма. Вот теперь 1¼ – 2½ в Цюрихе. Я только что крепко жал тебе руки...

[1] См. п. 103.

[2] Т.е. п. 104.

[3] В подтесте волошинского рассуждения – программная статья Брюсова «Ключи тайн», впервые напечатанная в журнале «Весы» (1904. № 1. С. 3–21). Статья восходит к лекции, прочитанной Брюсовым 27 марта / 9 апреля 1903 г. в аудитории Исторического музея в Москве и повторенной 8/21 апреля 1904 г. в парижском Русском кружке.

[4] Т.е. п. 109.

[5] См. п. 104.

[6] Вольный пересказ нескольких отрывков из главы «О щедрой добродетели» (*Ницше Ф.* Так говорил Заратустра // *Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. С. 53–57).

[7] Имеется в виду Руанский собор.

[8] См. примеч. 11 к п. 105.

[9] В действительности п. 104 не было уничтожено.

111. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

9/22 августа 1905 г. Цюрих

Вторник. 1 ч. дня.

Милый мой, теперь ты уже, верно, получил все мои письма. Видишь, я совсем не могу писать. Я не чувствую Тебя, только в первую ночь это было. Мне жаль Тебе причинять огорчение..... но я совсем чувствую себя одной и не знаю, кто Ты, почему именно Ты... я не вижу Тебя и писать Тебе мне странно... Я на какой-то границе: ни назад, ни вперед я не могу, и мои слова, все мои слова, мне кажутся ложными. Во мне все молчит. Я не достаточно сошла с ума. Молю Бога о безумии. Ты приезжай и сведи меня с ума. Ведь во мне нет к Тебе того чувства..... живого, земного, кот<орое> проснулось в Тебе. Во мне его вовсе нет, Макс, я совсем холодна. Что же это?

Макс милый, но я люблю Тебя иначе. Нет, я не могу писать. Знаешь, мне ужасно жаль Алешу. Он не любит своего дела и мучается. Я пишу А<нне> Р<удольфовне> длинное письмо, я ей и о нем напишу. Но сейчас я веду Смешную девочку[1] к доктору и не могу много писать.

Ах, как я хочу работать и что-то то все не то.

Макс, милый Макс, мне страшно. Кто Ты? Мы могли разойтись, если бы не А<нна> Р<удольфовна>, у нас в прошлом не было связи.... что же, это ее воля... одна ее воля? Во мне нет своей воли... Макс... Милый, милый мой.

Тебе больно? Я боюсь, что все это рухнет, п<отому> ч<то> это не из меня; я пешка, которой действуют. Мне что-то всех ужасно жалко.

У меня нет никаких сил. Почему А<нна> Р<удольфовна> сказала, что у меня талант. Она ошибается. Видишь, она от всех в восторге. Я не верю.

Спаси меня, мой Макс, если я Твоя.

Бедная, бедная Катя.

Боже, как мне жаль ее.

Как хорошо, что Ты пишешь про Ел<изавету> С<ергеевну>, и какой Чуйко прелестный.

[1] См. примеч. 4 к п. 103.

112. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

9/22 – 10/23 августа 1905 г. Париж

Вторник. 22 августа.

Вот сумерки... Я сижу в своем ателье... Была гроза – я зашел сюда...

Здравствуй, Аморя... Моя милая девочка...

Ужасно тоскливо мне. Что-то тяжелое лежит в груди. Томление беспредельное.

Мы были только что у Чуйко с Ан<ной> Руд<ольфовной>. Какие были слова?..

...«У меня была знакомая семья помещиков. Старый род. На них было проклятие – они все были слепые... Умирали рано... Только был жив прадед – бодрый старик – слепой. Ему за восемьдесят лет было. Он только что женился тогда. Он ехал и опрокинул крестьянку с ребенком. Ребенку колесо по глазам переехало. И он не остановился. Та прокляла его и весь его род. И все его дети рождались слепыми... или рано умирали. Он через несколько лет ослеп. Но всех пережил. Это была очень страшная деревня. Там сохранился еще у женщин обычай после Петровок[1] ночью Смерть гонять. В этот день все мужчины, все дети прятались – никто не смел показаться... А они собирались ночью около села. Все раздевались донага. Запрягали в соху самую красивую... молодую... чистую девушку... и трижды опахивали село... все кругом... А сами шли, бежали с дикими криками, колотили в чугуны, в сковороды...

И из мужчин никто им не смел встречаться... Они в клочки разрывали... Не убивали орудием, – а разрывали руками. Были случаи... Мы раз ехали с двоюродным братом... Вдруг крики... Наш кучер позеленел... Ну, теперь только спасаться. Кинул поводья на спину лошади и крикнул: “Грабят!!!” Лошади уже так там привыкли – это очень характерно... Тогда они уже не бегут, а прямо несут... Это везде так в той местности...

Там были целые школы колдовства».

---

2 часа ночи.

Я ночую в своем ателье. Только что вернулся от Ан<ны> Руд<ольфовны>.

Опять полночи беседы. Она лежала. У ней болело сердце и замирало. Но я клал руку, и боль проходила.

Она говорила:

– «Скажите Мар<гарите> Вас<ильевне>, чтобы она теперь ничего не решала... Она должна быть совершенно спокойна. Ни о чем не думать... Об своих родителях она теперь сейчас ничего не должна думать... Ей нечего решать. Все придет... Неприязнь к Вам пройдет – я это знаю... Я это сделаю... Вас узнают... Вы ничем не должны смущать ее... Ей надо успокоиться. Она очень слаба теперь. А вы будете видеться то в Цюрихе, то в Париже... А весной... погодите весны. Там все разрешится...

Не думайте ни о чем... Ничему не противьтесь, что придет...

Я ей писать сама не буду... Но если она меня спросит – я ей отвечу...

Да... с Вами мы расстаемся... Ваша дорога несколько иная... Я буду с Вами... всегда, если бы даже я умерла... Я буду указывать Вам... Ведь я жива теперь только благодаря Вам... Если бы Вас не было в те ночи. Вы сами не знаете... У Вас громадная сила и смелость... Если бы Вы тогда испугались – все бы погибло...

Я сначала думала, что мы пойдем по одной дороге, и Вы мне будете помогать. Но это не так.

И вот, когда я совсем отказалась от Вас и Вашей помощи, – Вы все-таки остались со мной... Это громадно...

Нет... На Вас нет пыли жизни... Вы совершенно чисты... Я страшно чутка, болезненно чутка к этому... но на Вас ничего не осталось... С Вас вся пыль от одного прикосновения руки сошла...

Да... идите... идите к М<аргарите> В<асильевне>. Вы можете дать ей страшно<е> счастье... страшную любовь...

Если будет нужно, я приеду в Цюрих по дороге в Берлин. Если будет нужно...»

Милая, милая Аморя... Твое письмо смутило меня...

Твоя фраза:

«Мне кажется, что меня взяли и играют мной, что это не я и не из меня исходит»[2] – меня очень смущала. И вот ответ на нее.

«Я все думаю о наших. Чувствуют ли они что-нибудь? Как мне страшно...»[3]

Милая, бедная... любимая... Не думай об этом, не волнуйся этим. Это на моей душе, – это я должен сделать, я должен победить страх и предубеждение... Я должен заслужить любовь... как это будет, я не знаю, но это мое дело... И это будет... Ты моя, моя... и никто не может тебя взять у меня... Теперь ты спишь... Я наклоняюсь над тобой. Целую твои волосы, твои глаза, твое сердце. Чувствуешь мою руку на груди?

Пусть моя девочка будет свободной, сильной, радостной...

Все, все тебе дать... Даже забвение – если оно нужно... Только оно не нужно, и ты не захочешь его... Я это знаю.

Как ясно я чувствую твое дыхание и твою голову на своем плече...

Ущербная луна смотрит... Я мысленно очерчиваю круг... вокруг нас... Никто его не переступит... Мы одни заключены внутри сказки.

Спи, моя Аморя, моя милая девочка, и крылья ужаса да не касаются тебя... Я здесь, а при мне они не смеют веять в воздухе...

Будь радостной, сильной, свободной...

Аморя... милая...

Как я люблю тебя... Чувствуешь, к<ак> прижимаю я тебя к груди моей?..

Я возьму тебя на руки и понесу тебя высоко... высоко... на горы...

Милая... любимая.... единая... предназначенная...

[1] Петровки – пост перед Петровым днем (св. апостолов Петра и Павла; 29 июня по старому стилю).

[2] См. п. 108.

[3] См. п. 3 к п. 109 и 121.

113. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

10/23 августа 1905 г. Париж

Среда. 2 часа дня.

Аморя, милая... Вот два дня как у меня надрывающая тоска... Что бы я ни делал, что бы я ни говорил... Что-то в груди... что-то о тебе... но что, не знаю...

Вот я твое письмо получил (от вторника),[1] и сердце еще больше защемило... Как страшно то, что ты пишешь... Оно написано во вторник в час? Моя тоска началась сейчас же после этого... Что с тобой... Я знаю, что что-то с тобой делается... Как мне жаль, надрывающе жаль тебя... В воскресенье я приеду... Когда я коснусь тебя, все пройдет... Моя милая... моя бедная... Ты измучилась эти дни... Ты сама не знаешь, что в тебе... Не воля Ан<ны> Руд<ольфовны> толкнула нас друг к другу... И у нее не было бы силы так столкнуть двух чуждых друг другу людей... Она только сняла туман с наших глаз, покровы с наших сердец... Она только дала нам взглянуть друг другу в глаза, когда мы потерялись и ослепли. Она не совершила никакого насилия над нами: она помогла совершиться тому, что было неизбежно. Она избавила нас от нескольких лет сомнений и слепых исканий <друг> друга в темноте... Вспомни все, что ты мне говорила: о наших первых встречах, о взгляде на обеде, об том, когда я уезжал, и что я рассказывал тебе о себе...

Нет – ты не игрушка... Это минута слабости... Тобой никто не играет... Никто за тебя не может решать твоей судьбы. Я могу унести тебя, только если ты сама свободным сердцем и свободной волей отдашь себя мне... Я понесу тебя только по тем дорогам, по которым твоим ногам больно ходить... Но ведь ты же сама знаешь, что в других областях ты сильнее меня: ты чище, выше, талантливее и глубже...

Там я пойду за тобой... Ведь ты знаешь это...

Не принимай минуту слабости и нервного упадка за отсутствие воли, за отсутствие таланта, часы уныния и томления — за роковую ошибку жизни...

Ты должна быть сильной и смелой и свободно прийти ко мне и идти со мной...

Нет никакой воли над нами, кроме нашей собственной... А собственная — она далеко, глубоко... к ней надо прислушиваться, приглядываться. Иногда кажется, что она приходит откуда-то извне, из каких-то внешних источников — но ее надо читать, надо угадывать...

Мы сами ведем себя... И все влияние Ан<ны> Руд<ольфовны> на нас могло возникнуть только из нашего собственного порыва друг к другу... Без очищающего огня твоей любви я не мог бы подойти к Ан<не> Руд<ольфовне>. Она не могла бы меня заметить. Я был бы ей отвратителен, как был и раньше... Ты ведь это знаешь, знаешь...

А если... если ты действительно игрушка... Если действительно душа твоя случайно стала игрушкой моей воли — то, тогда... я не возьму тебя... Я приду, чтобы дать тебе забвение, чтобы мысль обо мне выдернуть с корнем из твоей души... И ты никогда не вспомнишь меня... Я могу это сделать, и я должен это сделать, если ты игрушка... Не могу красть человеческой души...

Аморя... милая, любимая, дорогая...

Я люблю тебя больше, чем себя... Но понимаешь ли ты, что значат твои слова: «Мной действуют, мной играют»...

Я тебе не дал того, что я должен был тебе дать — спокойствия. Я измучил тебя... Измучил потому, что сам не знал своей любви к тебе и боролся с ней...

Теперь я приду тебя успокоить...

Старайся быть спокойной эти дни... Не думай, не мучься... Мы не вовремя расстались... Кто-то чужой вошел в комнату, и мы слишком быстро отдернули руки...

Своей любви ты совсем не знаешь... Я знаю и вижу в твоих глазах больше, чем ты...

Мне ведь ведом плод добра и зла, неведомый тебе. Здесь не думай, не анализируй... прислушивайся к себе...

Как тяжело, должно, было тебе быть эти дни, если я нигде не мог найти себе спокойствия...

Нет... ты не игрушка... не игрушка... Я это вижу и знаю...

Не смущайся противоречиями в себе — ведь это смущает тебя... да? Противоречия это — признак правды и искренности...

Моя милая, дорогая, любимая...

И не думай об моей любви... Я люблю тебя безгранично, но владею своей любовью...

Все для тебя... навсегда... Другой любви у меня не будет... Если ты отойдешь от меня, то я произнесу тот обет, который я мог произнести теперь, а духом буду всегда с тобой...

Милая, любимая...

Моя бедная, бедная девочка... Только не страдай, не мучься... Это вредные муки — эти... Они ослабляют душу... Молись, смиряйся, прислушивайся... Закрывай глаза и прислушивайся.

Я сегодня нашел для тебя великолепный кристалл аметиста, большой, глубокий... Я смотрю в него, и мое томление успокаивается... Мне кажется, что я через него смогу говорить с тобой... Когда он будет у тебя, тебе не будет тяжело.[2]

[1] Имеется в виду п. 111.

[2] Аметист известен как магический и загадочный камень, символизирующий ряд добродетелей; используется и особо почитается в церковной символике (им украшали алтари, иконы, кресты; католические епископы носили на пальце аметистовый перстень и т.д.). Для Волошина и Сабашниковой этот камень (разных оттенков фиолетового цвета) воплощал в первую очередь мистическое начало. Ср. аметистовое кольцо Минцловой, которое она прилагает ко лбу, глазам, губам и сердцу Волошина в Шартрском соборе, как бы совершая жест «посвящения» (п. 88); «аметистовые Розы» в стихотворении Волошина «Лиловые лучи» (цикл «Руанский собор»); и др.

114. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

10/23 августа 1905 г. Цюрих

23 августа. Среда.

Макс, милый, какая ужасная ночь была: мы ждали грозы 4 дня, и вот она пришла. Вчера с вечера разразилась; сверкала и гремела всю ночь и вот еще громыхает, а теперь уже 10 ч. утра.

Я, конечно, не спала. Я измучена мыслью о Тебе и об Алеше. Я не знаю, как помочь ему; его бери-бери не фикция; и тут оказывается не <в> Политехникуме[1] дело; а в том, что он любит, а его не любят, что он должен слышать вечно о другом. И знаешь, он все не верил и говорил мне, что это миф. Но теперь я должна была сказать ему, что это не миф. Все мы раздираемся. Полночи проговорила с ним. Как ужасно быть вестником несчастья; как страшно услыхать изменившийся голос, упавший, безнадежный.

Потом с ней.... Как мне жаль его! Потом ночью она пришла ко мне, и мы провели ночь вместе.

Макс, милый мой, неужели и Тебе нужно будет пройти через это? Как надрывается мое сердце, но я знаю, я не могу быть Твоей женой. Я буду любить только Тебя, но не так. Так я не могу.

Может быть, Тебе лучше не приезжать.... Я не знаю. Отчего я точно должна сделать что-то, что мне приказывают и чего я сама не хочу. Мне страшно. Со мной можно сделать все, п<отому> ч<то> у меня нет воли. Я несчастлива, – иногда мне кажется, что я иду по краю обрыва, что кто-то толкает меня в пропасть. И что я брошусь, но не радостно, не по своей воле. Я не так Тебя люблю. Не так. Макс, прости меня. Не оставляй меня, не проклинай. Я виновата, но это не я была. Кто-то заставлял меня так поступать и говорить; я была с завязанными глазами. Меня в этом не было.

Не насилуй моей воли. Дай мне окрепнуть. Дай мне время. Чтобы я стала хозяином в своей судьбе. Иначе когда-нибудь это будет ужасно, и Ты скажешь: «Aber das war doch nicht gemeint».*

* «Но ведь это не имелось в виду» *(нем.)*.

Я хочу Тебя видеть и боюсь. И зову на помощь одного Тебя.

Боже мой, как ужасно.

Сегодня не было письма от Тебя, еще может быть в 11 ч.

Утро, поздно и совсем темно и дождь.

Привезите М<аргарите> К<онстантиновне> Livre pharmaceutique à l'usage des sœurs de charité,* самую элементарную; не забудьте!

12 ч.

Вот Твое письмо, милый мой. Я спокойна; я не хочу никакого забвения. С Тобой я буду сильна, только не торопи. Пусть все приходит естественно. Забвения! О, Боже мой. Какой Ты глупый. Не уступлю ни минуту, ни секунды!

Я еще не успела отослать утреннее письмо; отсылаю его, чтобы Ты все знал.

Получила вчера письмо от мамы. Она спрашивает, могу ли я в сентябре оставить Алешу и приехать к папе, кот<орый> больше не может не видеть меня. Или ему приехать ко мне. Ему это трудно.

По-моему, лучше мне туда съездить. Что Ты думаешь? Она просит скорее ответить.

Пожалуйста, пиши мне на разных конвертах разными почерками, п<отому> ч<то> хозяйка и все меня дразнят. С Твоим появлением письма прекращаются. Это прозрачно.

Макс, а ведь я люблю Тебя.

Только не могу я думать.

[1] Политехнический университет в Цюрихе (см. примеч. 1 к п. 57).

* Фармацевтическую книгу для сестер милосердия *(фр.)*

115. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

10/23 августа 1905 г. Париж

Среда. 23 авг<уста> 6 час. дня.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло...[1]

Моя милая деточка... Твое отчаянное письмо очень больно, больно мне... Я знаю, что это момент. Этого уже не будет, когда придут эти мои письма... Но я виноват в этом малодушии. Я оставил тебя трепещущей, измученной, испуганной.

Не презирай себя за малодушие... В эти моменты крепнет душа. Только помни, что это малодушие... Ты потерялась... О, как я знаю это чувство, когда быстро ощупью ищешь знакомого порыва в глубине души и не находишь... Это так страшно... страшнее всего... Через это я проходил... когда ты только что уехала из Парижа, а Ан<на> Руд<ольфовна> была в Лондоне... Это было...

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло...

Оно никогда не погаснет... Моя любовь к тебе цельна и нераздельна... Я люблю все в тебе... Все... даже твоего подлого маленького демона приличий... И Он мне ужасно мил теперь.

Пусть чуть тлеет. Оно не погаснет... Я не чужой тебе... Есть струя жизни, – где мы с тобой совсем одни, и никого, кроме нас, нет на земле... И это самая великая и бессмертная струя...

Что в других струях меня нет, я чужой. Это так должно быть... теперь. Не пугайся, не смущайся... Ты моя, и когда ты будешь снова лежать у меня на руках, милая моя девочка, тебе не будет страшно, и все будет ясно...

Умей управлять полосами своих снов... Не смешивай их... И не ищи в соседнем сне трепета того сна, от которого ты проснулась...

Все идет приливами и отливами. Не пугайся же во время отлива, что море ушло навсегда... Если ты не чувствуешь меня, то я чувствую всегда твое присутствие...

«Все мои слова кажутся мне ложными». И это я знаю... И это у меня было... Не бойся – это пройдет... Это видения, которые встают и пугают. Они разойдутся от первого прикосновения руки...

Бедная, милая девочка... Я молюсь за тебя, чтобы ты стала сильной, стала свободной; чтобы ты сама выбирала свою жизнь...

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло...

Аморя моя... Милая моя...

У меня смутный день. Приходят ненужные люди. Гриф-Соколов[2] появился... Один гимназический товарищ, который только что женился.[3] Они мне все не дают остаться с тобой наедине.

Я говорил Ан<не> Руд<ольфовне> о твоем письме...

Она заволновалась...

«Нет, я не насиловала Вас... Я даже не влияла. Когда Вы были в Цюрихе, я даже боялась смотреть в вашу сторону... Вы должны были сами идти и сами решать. Мне нельзя было ни слова сказать Вам, хотя меня охватывало временами страшное беспокойство... Теперь вы совсем сами... совсем одни... Я даже от *Вас* отказалась... Я прощаюсь теперь с Вами. Вам теперь нужно идти с Мар<гаритой> Вас<ильевной>... Я после приду... когда Вы позовете. Нет... нет... скажите ей, что она все время была совершенно свободна. Никто не вел ее. Скажите ей это... Сейчас же напишите...»

Ты пишешь: у нас не было связи в прошлом. Ан<на> Руд<ольфовна> видит теперь только свою связь с тобой и свою связь со мной отдельно. Но я знаю, что одно звено выпало у нее, благодаря тому моему приказанию, что я тебе говорил. Теперь она не может вспомнить этого. Но я это знаю из ее же отрывочных фраз...

Сейчас у Ан<ны> Руд<ольфовны> должен быть Гриф.[4] Я жду 11 час., чтобы пойти к ней... Сегодня она должна мне многое сказать.

Я все смотрю на тот кусок аметиста, что я нашел для тебя...[5] Это именно то, что я искал. Мне кажется, что душа

твоя заключена в нем. Я смотрю в него – и сердце мое успокаивается.

Сейчас у меня чувство, что тебе легче. Как мне нужно быть около тебя... Я не боюсь ничего в твоем письме... Только мне бесконечно больно за тебя... Я так понимаю, так вижу твое состояние... Милая, бедная...

[1] Из русской масленичной песни (поется при сжигании чучела, олицетворяющего зиму); встречается также в детских игровых песнях (возглас или припев во время игры в горелки).

[2] «Гриф» – прозвище С.А. Соколова.

[3] Имеется в виду А.М. Пешковский.

[4] Общение С.А. Соколова с А.Р. Минцловой было связано, видимо, с переговорами о публикации в издательстве «Гриф» ее переводов «Портрета Дориана Грея» и «Замыслов» Оскара Уайльда (обе книги появились в 1906 г.), а также – «Учеников в Саисе» Новалиса в ее переводе (издание не состоялось).

[5] См. примеч. 2 к п. 113.

116. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

11/24 августа 1905 г. Париж

Четверг. 24 авг<уста>. 12 час.

Вот твое письмо от среды. После грозы... Моя милая девочка... Я предчувствовал его. Я чувствовал все, что делалось с тобой... Я не знал, что это, но волны отчаянья и сомнения твоего проходили по мне... Я ждал этого письма... Но я думал, что ты можешь его не послать... Ты хорошо сделала, что послала его... Мне было все время так невыразимо мучительно жаль тебя – и я ничего не мог сделать. Ничем не мог помочь...

Не беспокойся и не мучься обо мне... Ты меня никогда не сможешь сделать несчастным. То, что ты дала мне – об этом я никогда не мечтал...

Ты не поняла меня:

Когда я боролся со своим чувством к тебе, отрекался от тебя — это я делал *для себя*. Но когда я в последний день отказался от своей победы и сказал тебе в первый раз: «Моя Аморя», — это было *для тебя*... Это было «Быть твоим навсегда».[1]

Я никогда не буду умолять тебя сделаться моей женой... никогда... Но когда ты сама придешь ко мне, когда ты сама увидишь, что тебе нет иного пути в мире, то я приму тебя, как невесту мою, как жену мою... Если это не случится в этой жизни, в этой форме, то это не так уже важно...

Моя любовь прошла сквозь двойную победу...

Для себя я ничего не прошу... Я радуюсь тому, что ты есть на земле, что я нашел тебя, что для меня нет в мире никого дороже и ближе тебя...

Я радуюсь тому, что мое сердце томится и надрывается в то время, в ту минуту, когда ты страдаешь за сотни верст от меня...

Я радуюсь тому, что мое чувство к тебе натянуто, как струна, и что я знаю боль, и что она звенит от каждого прикосновения...

Нет — моей боли ты не бойся... Все, что идет от тебя, — радость для меня...

Я люблю тебя, ничего не требуя для себя... И не смотри на меня как на мужчину, как на возможного мужа... Ведь это, только это отравляет теперь твое чувство...

Ненужные люди, ненужные встречи мешают мне быть с тобой...

Вот сейчас 4 часа. Я был с Грифом в Клюни,[2] и я почувствовал, что снова что-то совершается в тебе. Я теперь узнаю эти беспричинные сжатия сердца, которые захватывают речь и от которых зрение мутится... Что с тобою сейчас? Я бросил его в музее и убежал в первое пустое кафе.

Милая моя девочка... неужели моя сила сейчас не касается тебя на расстоянии, не успокаивает тебя?

Сегодня утром ты была спокойна. Что случилось после завтрака?

Пиши мне все. Не скрывай своих сомнений в себе и во мне. У меня есть сила бороться с ними.

Вчера я опять пережил страшную ночь около Ан<ны> Руд<ольфовны>... Это были опять моменты безумия, когда всходила ущербная Луна-Геката...[3]

Я чувствовал в своих руках пламя, которое то вспыхивало, то совсем замирало...

У нее был, кроме всего, еще припадок с сердцем... Да, я знаю теперь, что есть колдуньи со всеми ужасами колдовства. Было очень жутко... Разные люди, которые живут и жили в ней, говорили разными языками...

Были мгновения, когда я чувствовал полное бессилие сдержать эти взбунтовавшиеся стихии духа... И ужас, и боль за нее, и смертельное утомление. Какое счастье, что она сама забывает об этих мгновениях...

Она прощалась со мною навсегда в этой жизни... не знаю, какие у нее предчувствия...[4]

Бедный Алеша... Что можно сделать для него? То, что ты пишешь об нем, мне так больно, точно ты о себе пишешь... Я все силы мои готов ему отдать, если они могут помочь ему... Мы об этом много будем говорить...

Дитя мое... ты не была игрушкой ни в чьих руках... Не думай об этом. Вспомни, в какой момент Ан<на> Руд<ольфовна> взяла нашу судьбу в свои руки: не тебя она взяла, а меня, и привела к Тебе.

Я бы еще мог сказать, что я был игрушкой, но не ты. Но этого я не скажу. То, что ты делала, – ты сама делала... И я не влиял на тебя... Я тебе давал свою силу, но ничего не просил, никуда не толкал тебя. Все, что есть в тебе, – все твое, а не чужое. Не смущайся же тем, что в два разных момента могут быть две разных правды... Так бывает всегда. И так бороться против этого нельзя. Нельзя одну правду объявлять ложью, чьим-то чужим влиянием, и стараться истребить ее. Они обе

в тебе и из тебя. Чтобы примирить их, надо найти третью правду, высшую, которой они только части...

Вот что тебе нужно сделать...

Моя вина в том, что я слишком много говорил. Я все время вслух боролся при тебе... Это надо было сделать молча... Я малодушно у тебя искал помощи. Теперь мне все ясно...

Я приеду помочь тебе... Я не буду тебе ставить никакой дилеммы. Тебе не нужно выбирать, не нужно решать... А если есть неизбежное... то придет молния и сплавит нашу душу... «О дне же и часе ея не весть никто»...[5]

Конечно, тебе нужно ехать в Россию. От этого ты не можешь и не должна отказываться... Там ты проверишь свое чувство. Желание видеться не должно тебя удерживать от этой поездки.

Я приеду в воскресенье... Это почти наверно. Ничто меня не может удержать.

Теперь у меня дни Достоевского: сгущение событий и людей, которые вдруг просыпались в мою жизнь из разных эпох и областей духа...

Милая моя, милая Аморя... Целую тебя и благословляю тебя...

Будь сильной, свободной, радостной и смелой...

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло...

[1] Строчка из стихотворения Волошина «Небо в тонких узорах...» (см. примеч. 10 к п. 61).

[2] Парижский музей Средневековья в Латинском квартале (здание объединяет в себе остатки галло-римских терм и возведенной позднее на этом же месте резиденции аббатов бургундского монастыря Клюни).

[3] См. примеч. 8 к п. 80, а также п. 81, 107 и 118.

[4] Об этих «припадках» Минцловой Волошин рассказывал Сабашниковой во время своего второго приезда в Цюрих. В дневнике Сабашниковой (запись от 18/31 августа 1905 г.) запечатлены подлинные слова Волошина. «Он устал с ней <Минцловой> эти дни в Париже. Она была несколько ночей на его руках; “В ней было всё, — говорил он. — Все люди, кот<орыми> она бывала, говорили

в ней. Она говорили на разных языках, на чисто-франц<узском> с настоящим акцентом, кот<орого> у нее обыкновенно нет, но я не могу этого рассказывать; я и ей бы не мог рассказать, п<отому> ч<то> она сама не знает, что с ней, я видел всю человеческую ее слабость, я один это знаю, я содрогаюсь от ужаса, вспоминая некоторые минуты, и я устал. Я мог владеть собой, пока со мной не заговорил Чуйко. Когда же он стал мне жаловаться и говорил о том, что он ее боится, что он не выносит этих слов и этих ласк, я почувствовал, что и я не в силах больше бороться против моей усталости. И вот сейчас я знаю, что я должен отсюда уехать, но я боюсь Парижа"» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 97 об. – 98).

[5] Неточно приведенные слов Иисуса: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один» (Мф. XXIV, 36).

117. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

11/24 августа 1905 г. Цюрих

Четверг. 2 ч. дня.

Вот твое письмо, Макс; милый, милый Макс. Оно написано ночью во вторник.[1] Ты заметил, гроза от Тебя перешла ко мне, и в ту ночь я не спала тоже. Мой Макс, я живу только, когда читаю твои письма, я все перечитываю их, иначе нападает на меня тяжелый сон, я все засыпаю среди дня и потом мучительно припоминаю все: и Тебя, и кто Ты. Это так страшно, точно меня подменили. Что это? За что я должна Тебя так мучить? Прости меня, не огорчайся, это пройдет. Когда я читаю Твое письмо, я успокаиваюсь... Ты такой хороший, Боже мой, какая любовь в каждом Твоем слове. Да, скорее взять Тебя за руку, прижаться к твоему плечу...

Но, Макс, если А<нне> Р<удольфовне> Ты нужен, будь с ней подольше. О, не оставляй ее, ради Бога, ради Бога, Макс.

Мне так за нее страшно, милый мой! Мне так хочется, чтобы Ты не отходил от нее. Я виновата в том, что дороги ваши другие теперь? Она не этого ждала? Макс, мой любимый, – не уходи далеко от нее из-за меня. Не замедляй свои шаги, если я такая.

Чудесный Ты мой, я буду стараться проснуться совсем, но сейчас во мне что-то тяжелое. Это спячка в непереносном смысле, у меня туман в голове. Это раньше со мною случалось, это пройдет. Только бы не было этого при Тебе.

Три дня еще. <В> воскресенье Ты приедешь? Когда?

У нас дождь.

Не оставляй только А<нну> Р<удольфовну>, если она будет плохо себя чувствовать. Я ей писала.

Мне сейчас сделалось вдруг так весело и так хорошо.

Обнимаю Тебя. Чувствуешь?

Вот прижми меня крепче... так...

[1] Имеется в виду п. 112.

118. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

12/25 августа 1905 г. Париж

Пятница. 2 часа.

Моя милая девочка! Вот твое письмо от четверга...[1] Оно успокаивает меня... Но я знаю, что после того, как ты его написала, перед вечером у тебя был какой-то тяжелый разговор, но недолгий... Что это было? Чем ты была так взволнована?

Я приеду более сильный, чем раньше. Я смогу помочь Алеше. Мы вчера весь вечер говорили об этом с Ан<ной> Руд<ольфовной>. Она сама, может, приедет в Цюрих. Ей теперь хорошо. Страшная ночь ущербной луны прошла...[2]

У меня странная радость и ощущение каких-то неведомых громадных сил.

Вчера днем (я писал тебе) меня несколько раз схватывало острое томление – это было от тебя...

Вечером все прошло... Я был очень в приподнятом и необычайном настроении. Мы сидели у Ан<ны> Руд<ольфовны>. Пришли Гриф[3] и Чуйко.

Я случайно подошел к кровати и дотронулся рукой до покрывала. И вдруг оно вспыхнуло и загорелось... Я только дотронулся рукой... Вблизи огня не было. Я быстро свернул

покрывало и потушил. И сказал, что случайно уронил спичку, чтобы не испугать Чуйко... Они поверили, но не совсем... Ан<на> Руд<ольфовна> видела, как это было...

Это была ночь с четверга на пятницу...

Потом мы пошли в кафе. Сидели долго.

Я проводил Ан<ну> Руд<ольфовну> домой и сидел у нее. Когда мы вошли в комнату, меня охватило сразу ощущение присутствия какого-то множества. В зеркалах что-то поминутно мелькало... Какие-то крылья веяли в воздухе. Какие-то касания...

И у меня не было ни капли страха. Какая-то острая радость... Все тело обливалось трепетом и дрожью. Я знал, что ужас стоит рядом, но не может коснуться меня. И холод восторга все время. Точно какое-то тонкое пламя пронизывало...

Но я чувствовал, что я сильнее всего, что наполняло комнату, что я могу приказывать.

— «Не делайте резких движений, не вглядывайтесь в зеркала. Вы можете неожиданно прорвать пелену... Вам с этим миром еще нельзя соприкасаться. У Вас еще нет достаточных знаний и подготовки. Это придет значительно позже...» И она стала передо мной и окутала меня каким-то странным покровом пассов, и я почувствовал, что движение и крылья уходят дальше, становятся неслышны, и тот поток радостного ужаса, который струился по моему телу, прекращается...

Еще мгновение, и все стало спокойно. Точно я стоял совсем нагой и на меня надели непроницаемые латы...

«Сейчас очень близки элементарные силы. В Вас громадная сила, которой Вы не умеете владеть... Вы неожиданным движением пробудили огонь и заставили его вспыхнуть. Теперь это может быть еще опасно для Вас. Это астральная зала, которую нельзя проходить одному»...

Милая Аморя, как я радостен и силен... Не боюсь я твоих сомнений и колебаний. Я все сниму с тебя... Я сделаю тебя свободной — свободной от всего и от меня... Только тогда, когда ты сама своей волей, своим выбором придешь ко мне, мы сможем пойти вместе... В то время, когда это будет, вопрос о том, будешь ли ты моей женой или нет, — уже не будет иметь никакого значения в нашей жизни...

Не думай об этом и не заглядывай в будущее. Я приеду в воскресенье в 12 ч. 52 м<ин> дня, если меня ничто не задержит в последнюю минуту. Так что приду как раз после завтрака.

Милая моя девочка, милая моя Аморя... Я целую твою голову и кладу руку на сердце... Будь спокойна, радостна и бодра...

Я люблю и буду тебя любить – не смущайся же теми призраками, которые встают между нами... Призраки носятся над глубинами и безднами... Мы полетим. Радуйся вместе со мною...

Милая, милая Аморя...

[1] Имеется в виду п. 117.

[2] См. примеч. 8 к п. 80, а также п. 81, 107 и 116.

[3] С.А. Соколов.

119. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

12/25 августа 1905 г. Цюрих

Пятница. 12 ч.

Милый, милый, Ты не знаешь, что для меня Твои письма. Я ими жива.

О, какой ты хороший, какой у Тебя стал голос... нежный... Я жду Тебя. Я не могу ни читать, ни думать. Я и писать даже Тебе не могу, ты видишь...

Я совсем спокойна теперь.

Мне только так досадно на себя, что я не могу быть на высоте. Да это пройдет. Прости меня. Забыть... Какая нелепость... Какой Ты глупый и какой храбрый...

Ах, Ты моя безумная обезьянка! До свиданья.

Я кристаллу ужасно рада.

Алеша повеселел.

Зачем ты волновал зря А<нну> Р<удольфовну>. Мало ли что я, дура, пишу.

Ах, как я жду Тебя.

Алеша ждет Тебя очень.

1 ч. дня.

Еще письмо. Милый, милый, Боже, как все во мне стремится к Тебе. Еще 2 дня, и мы вместе.

Когда Ты говоришь о том, что возможно, чтобы мы не были вместе, во мне все так возмущается, п<отому> ч<то> это невозможно. Это невозможно. Приезжай, мое солнце, моя радость, моя жизнь.

Я не дождусь, не дождусь.

Только знаешь, что меня огорчает, что А<нна> Р<удольфовна> прощается с Тобой навсегда теперь. Что это значит? Макс, измени это. Мне за нее страшно. Помоги ей, не оставляй ее, если ей плохо сейчас.

Я подожду. Да?

Сейчас Алеша пришел к завтраку сияющий: «Угадай, кто приезжает? Ты страшно обрадуешься, я страшно рад». – «Ох, не пугай меня, я никого не хочу видеть, скажи, не мучь меня. Кто сюда приезжает?» – «Айседора Дункан. Во вторник она танцует, один раз. Мы возьмем билеты на долю Макса».[1] Он сияет, ужасно радуется, что Ты приезжаешь, что мы увидим ее все вместе.

Макс мой, милый мой.

Милое мое солнышко. Целую Тебя.

[1] Выступление А. Дункан состоялось 16/29 августа 1905 г. в цюрихском концертном зале (Tonhalle).

120. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

12/25 августа 1905 г. Париж

Пятница. 1 час ночи.[1]

Моя дорогая Аморя... Это последнее письмо, которое ты получишь до моего приезда.

В воскресенье в час дня я буду в Цюрихе.[2] Я только что ушел от Ан<ны> Руд<ольфовны>.

Я писал тебе сегодня утром об этом необычайном огне, который вспыхнул от моего прикосновения. Сегодня Ан<на> Руд<ольфовна> встретила меня словами:

«Только что, за минуту до Вашего прихода, был опять огонь. Ваша фотография вдруг загорелась. Она лежала у меня в моем испанском Евангелии. Я сидела вот здесь – у стола... Отошла к камину, раскрыла книгу, и вдруг вспыхнул огонь... Вот видите...»

Пахло горелой бумагой, и фотография была обожжена – не с краю, а в середине перед лицом. Евангелие было не тронуто...

– «И посмотрите... Она лежала на необычайном тексте:

“И чешуя упала с глаз слепого, и он стал видеть”.[3]

Я не знаю, что значит этот необычайный огонь. Но Вам многое раскрыто в этом мире. Только Вы теперь еще не должны вступить в него. Я ограждаю Вас... Я случайно открыла его Вам раньше времени... У Вас громадные связи там... Но теперь нельзя. Я должна огородить Вас от него.

У Вас странная смелость и власть. У Вас голос совсем меняется... Вчера у Вас в голосе в эти моменты было странное сходство с Брюсовым... Вы, уходя, *приказали* мне остаться в комнате, когда я хотела выйти на лестницу.. Это так на Вас не похоже...

Я провела бессонную ночь... Я все время думала об Алеше и была с ним. Касалась его глаз. Не знаю, подействовало ли, но я была с ним и успокаивала его...»

Кафе запирают... До свидан<ья>.

Милая, милая Аморя.

[1] Т.е. письмо написано в ночь с 12/25 на 13/26 августа (с пятницы на субботу).

[2] Волошин приехал в Цюрих 14/27 августа в 12 часов дня (см.: Труды и дни. С. 143).

[3] Парафраз известного евангельского эпизода: Иисус исцеляет незрячих (см.: Мф. IX, 27–30, XX, 30–34; XXI, 14; Мк. VIII, 22–25; Ин. IX, 1–7.

121. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

25 августа / 7 сентября 1905 г. Париж

7 сент<ября>. Утро.

Моя милая Аморя!

Вчера ночью я приехал.[1] Был густой туман, когда я утром шел на вокзал. Я хотел снять иву, но ее не было видно в тумане.

Я старался не думать о том, что уезжаю, но по мере того, как поезд приближался к Парижу, сердце сжималось и ныло. Но теперь я как-то не чувствую расстояния. Ночью, проезжая по Парижу, я как-то не чувствовал того бесконечного удаления и оторванности, как чувствуешь, приезжая днем.

В моей комнате лежали присланные мне четыре тома St. Victor'a «Les Deux Masques»* – История греческого театра.[2] Я их стал просматривать с любовью и предвкушением. Там целые груды драгоценных камней. Письмо Ан<ны> Руд<ольфовны> уже ждало меня тоже.[3] Она чувствует себя хорошо, т<ак> ч<то> я могу прийти к ней без предупреждения. Она получила еще письмо от Ек<атерины> Алек<сеевны>.[4]

А ночью я чувствовал тебя близко, близко. Я видел твое лицо с откинутыми назад волосами, с побледневшими глазами, темно-красные листья и серые светлые стволы леса.[5]

Я люблю больше всего это твое лицо... в нем такая простая и древняя красота...

Ты рысь? Правда?.. Я слышал снова, как лист падает, как лисица бежит...

Твое лицо – «живописное» комнатное, мне всегда немного страшно, немного далеко... Мне было очень смутно, когда мы расставались... Меня так взволновало все то, что ты мне говорила по дороге...

«Ты знаешь, что твой отец не выносит одного его имени...»[6]

Мне не было больно за себя... Но было бесконечно больно и страшно за тебя и за твоих. Я представлял себе, как я могу им представляться, и чувствовал ужас к самому себе;

* «Две маски» Сен-Виктора *(фр.).*

ужас к возможностям того зла, которое я бы мог принести тебе, Аморя.

Но ведь этого нет? Я ведь не принесу тебе ничего злого, моя милая девочка?

Вот теперь я спокоен... Я говорю себе, что прежде, чем подойти к тебе, я должен примирить твоих близких с собою. Я в этот последний вечер вдруг понял, что их боль и страх стали для меня страшно близки и понятны через тебя, и я в себе чувствовал их страх ко мне. Это было так смутно и так мучительно...

И потом я думал о себе, о том, как ты меня видишь со стороны... Нет, Аморя, меняться во внешности, в манерах — мне нельзя. Получится еще хуже. Мне надо изнутри перемениться — стать внимательным к людям. Тогда многое переменится и извне, а то, что останется, мне простят.

Только отсюда, только так я смогу перемениться. Изменить манеры сами по себе нельзя ни для кого, если нет внутреннего чувства. Тогда все станет искусственным. Надо быть смелым и не бояться «первого впечатления».

Я буду работать над собой, но и ты должна сделать то же — победить свою трусость к тому, что люди скажут... Тогда ты не будешь сомневаться, бояться... Не может быть двух судей...

Кто-то столкнул нас и дал нам глубоко, не по-человечески, взглянуть друг другу в глаза, но он же требует, чтобы мы стали выше самих себя, если хотим быть вместе. Да. Пока мы будем сами собою, у нас всегда будут только мгновенные порывы и за ними часы смуты и сомнений. Надо встать выше самих себя, если мы хотим «быть». У нас всегда были мгновения бесспорного. Это залог. Слабость наша одинакова, но нам надо, и мы можем поднять друг друга...

Вот мысли моей первой ночи и первого утра...

До свидания, моя милая, моя родная девочка.

[1] Утром 24 августа / 6 сентября Волошин выехал из Цюриха и поздно вечером («ночью») возвратился в Париж (Труды и дни. С. 144).

[2] Незавершенный труд П. де Сен-Виктора, охватывающий историю театра от античности до середины XIX в. (1-е изд. — 1880—

1883). Первые два тома посвящены древнегреческим трагикам (Эсхилу, Софоклу и Эврипиду); третий том – Шекспиру, Расину и Корнелю и комедии XVII и XVIII вв. Эти тома, наряду с другими книгами П. де Сен-Виктора, хранятся ныне в библиотеке Дома-музея Волошина в Коктебеле (см.: Т. 4 наст. изд. С. 936; коммент. Д.В. Токарева).

[3] Имеется в виду письмо Минцловой от 22 августа / 4 сентября 1905 г. (ИРЛИ, ф. 526, оп. 3, ед. хр. 843, л. 16–17).

[4] «...Я жду теперь Вас, дорогой мой! – писала Минцлова в этом письме. – Я Вам дам опять силы и радость, я сниму усталость, которая легла на Вас! <...> Я глубоко спокойна и сильна. Я чувствую вокруг себя огонь – холодный, синий, чуждый мне. <...> От Ек<атерины> Ал<ексеевны> получила я еще письмо, большое. В декабре (русского стиля) они все (и Ниника, и няня тоже) переедут в Париж на зиму...» (*Там же*, л. 16 об. – 17).

[5] Тема леса, символизирующего мир подлинного и полноценного бытия, созидательный хаос, роднящих обоих, и т.п., постоянно возникает в дальнейшей переписке Волошина и Сабашниковой (см, например, в п. 126: «То, что в лесу, это вечное и непреложное»; «в лесу нам не нужны маски»; также п. 33, 125, 127, 138, 204 и др.) и получает развитие в их дальнейшем поэтическом творчестве. См. поэтический сборник Волошина «Selva Oscura» («Темный лес»), впервые опубликованный в кн.: *Волошин М*. Стихотворения и поэмы: В 2 т. Общая ред. Б.А. Филиппова, Г.П. Струве и Н.А. Струве. Стихотворения. Вступ. статьи Б. Филиппова и Э. Райса. Париж: YMCA-Press, 1982. Т. 1. С. 109–186. В стихотворении «In mezza di cammin» (1907) Волошин, образно говоря о своем духовной близости с Сабашниковой, соединяет важные для обоих символы «леса» и «зеркала»: «К лесному зеркалу я вместе с ней приник, / И некая меж нас в тот миг возникла тайна» (Т. 1 наст. изд. С. 74). См. также стихотворный цикл Сабашниковой «Лесная свирель» в сб. «Цветник Ор. Кошница первая» (С. 205–213).

[6] Видимо, Волошин цитирует фразу, сказанную или написанную Маргарите ее матерью или Е.А. Бальмонт. См. подробнее примеч. 3 к п. 109 и п. 112.

122. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

25 августа / 7 сентября 1905 г. Цюрих

Четверг. 7 сентября.

Вчера я не могла совсем Вам писать. Нужно вернуться на несколько месяцев назад, найти потерянную нить, чтобы мочь говорить. Между нами кончились слова, но того, что начиналось, я не хочу, я не могу еще принять. Потому что был какой-то надрыв, что-то преждевременное. Нельзя оставаться на пороге. Нужно было совсем войти или выйти. Сегодня я видела такой ужасный сон, что, проснувшись, вся дрожала и сказала себе, что теперь я больше не могу писать Вам, видеть Вас. И полдня было это чувство. Теперь я победила его. Я могу говорить с Вами, но только нужно забыть ту область личного и жить совсем другим.

Не бойтесь моих терзаний, они прошли, я, кажется, не на словах поняла теперь, что «Богу это вовсе не интересно». Я ни о чем не жалею, я ничего не хочу забывать, я только хочу вступить в область, где я свободна, где я могу быть сильной. Будьте спокойны и радостны, я тоже спокойна, я буду радостна.

Никогда не жалейте меня, это развращает.

Нам нужно сейчас – и Вам, и мне – предпринять работу. Я много думала о Вас. Вы только не хотите этого слушать, но Вам нужно основательную науку, систему. Вы будете мне говорить, что это балласт, а он необходим, чтобы глубоко сидеть, крепко. Вам это скучно; Вы будете говорить о моей «землемерной логике»; или скажете, что Вы слишком любите проходить в ушко иголки, чтобы стать верблюдом,[1] тем верблюдом, кот<орый> опускается на колени, чтобы взять на себя всю тяжесть. А я все-таки настаиваю, что нужно пройти все стадии. Сначала стать человеком, а потом Богом.

Вы говорите, что есть другая наука – большая, но Вы член народа, дитя нашей культуры, нужно для жизни, для творчества иметь форму, оружие, почву. Или уже тогда совсем, совсем другой путь, другой язык, другие средства. Но Вы не можете без этих слов. Все это я думаю, и все это я свожу к немецкому университету. Предчувствую, что Вы возьмете

велосипед и уедете от меня, как тогда из St. Cloud.[2] Или нет? Вы не можете сами себя ограничить, нужно мужество, силу и смирение, чтобы заключиться в рамку. Но это нужно для творения.

In der Beschränkheit zeigt sich erst der Meister. *[3]

Хорошо сказано?

Ну, как Вы будете заниматься? Вы будете перепрыгивать через все трудное, как мячик. А самое ценное вырастает из глубокой темноты; Вы будете паразитом, растением, живущим соком других и закрывающим их, а таких так много теперь. Их игра словами, как пыль, которую подымают в воздухе, чтобы она легла на старые места. Франция ими полна; как земля терпит их, как солнце не затмевается от их копоти. Так нужно слова, и так много слов лишних! Чем сильны Нитше, Ренан?.. У Вас есть сила и свобода. Но нужна форма, рычаг. Ваши стихи...... в них чего-то нет, этого слишком мало. Как были бы интересны и значительны Ваши статьи, если бы в них не было этого неприличного легкомыслия. Как Вы морщите Ваш лоб! Как Вы недовольны. Я бы могла, наученная опытом, не говорить этого. Но таково уже свойство всех матерей, они неисправимы.

Вы мечтали о том, чтобы мы вместе писали. Кто же теперь может этому помешать. Рисовала же я вместе с Чуйко. Писать я вместе не могу по невежеству своему, но я могу быть Вашим демоном Сократа,[4] демоном, придирчивым до беспощадности, которого нет в Вас.

Напишите мне, что Вы думаете предпринять.

Я собираюсь с силами и возвращаюсь в покинутый мною мир. Я отучилась читать, рисовать. Читаю с конспектом, чтобы сосредоточиться.

Если Вы будете мысленно со мной, если мы опять встретимся, но не так, как только что, а в мире нашего творчества, мы будем сильны и счастливы. Вы мне даете Вашу руку?

Милый мой, это теперь несомненно, что Вы делаетесь мне близким, когда мысленно ставлю Вас дальше. Разве это не

* Мастер проявляется в самоограничении *(нем.)*.

ясный язык, разве он не предупреждал нас много раз. Отчего же каждый раз мы повторяем ту же ошибку.

Что-то Вы напишете мне завтра. Писать очень часто я Вам не буду.

За гимнастику очень, очень большое спасибо. Мы ее делаем – и я, и Алеша – с восторгом. Алеша вчера очень унывал, ныл, ныл, что он все бросает, тогда у меня явилась идея, и я вместо того, чтобы уговаривать его, жалеть и т.д., стала (не без усилия) на него кричать, чтобы он делал, что хочет, но не отравлял бы другим существование своим нытьем, что мы терпением своим его распустили, что он потерял всякую меру и т.д. Это на него великолепно подействовало, и он стал превеселенький.

Вот и Вам советую поступать с родственными ему типами так же, не жалеть, а действовать строгостью и насмешками. До свиданья. Я теперь буду хорошей.

До свиданья, мой хороший.

Сейчас узнаю, где лекция Штейнера, и завтра пойдем. Очень хочу его слышать. Очень благодарю за сообщение А<нну> Р<удольфовну>.[5]

Вчера вечером я оделась Изодорой,[6] т.е. скорее разделась очень удачно и танцевала, как она, нет, лучше ее. Алеша приходил в восторг.

У Вас адрес тети Тани, пришлите.

[1] Парафразируются известные слова Христа: «...Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Мф. XIX, 24).

[2] Вероятно, Сабашникова вспоминает о каком-то случайном эпизоде во время второй поездки в Сен-Клу 6/19 июня 1904 г. (ср. примеч. 9 к п. 13, а также п. 52, 159 и 237).

[3] Строка из сонета Гете «Природа и искусство» («Natur und Kunst», 1800). В переводе М.Н. Розанова: «Лишь в чувстве меры мастерство приметно» (*Гете И.В.* Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. литература, 1975. Т. 1. С. 257). Ср. в стихотворении Волошина «Подмастерье» (1917): «Для ремесла и духа – единый путь: Ограничение себя» (Т. 1 наст. изд. С. 216).

[4] Сократ, по свидетельству Платона и Ксенофонта, обладал неким «демоном», т.е. «внутренним голосом», который направ-

лял его действия, подсказывал ему верные решения или, наоборот, предостерегал от неверных. Трактуется также как совесть, здравый смысл, откровение и др. См. также п. 205.

[5] «...Я сегодня получила известие из Кёльна, – сообщала Минцлова Сабашниковой 24 августа / 6 сентября 1905 г., – что в эту пятницу (9) D-r Steiner (глава немецкой теософии) будет в Цюрихе читать публичную лекцию, кажется, платную (да, наверное даже). Я боюсь советовать, так как D-r Steiner – это совсем нечто иное, чем Mrs. Besant, не менее сильное и большое, но *другое*, и может не понравиться Вам (а это мне было бы тяжело). Но... *если* тема его лекции будет интересна для Вас, пойдите с Алешей! Если М<аксимилиан> А<лександрович> не уехал еще, он, конечно, пойдет, я думаю» (У истоков русского штейнерианства. С. 155). «Из Кёльна», т.е. от М. Шолль.

[6] Имеется в виду Айседора Дункан (см. п. 119).

123. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

26 августа / 8 сентября 1905 г. Париж

8 сент<ября>. Утро.

И вот, как только Ан<на> Руд<ольфовна> взяла мои руки, и я закрыл глаза и снова почувствовал такое спокойствие и радость, как у меня не было все время.

Пред этим я был у Чуйко. Он меня встретил радостный в блузе, с палитрой в руке. Он рисовал Туллио.[1]

«Все прошло через несколько дней после того, как Вы уехали. Теперь я так работаю. Ан<на> Руд<ольфовна> меня вдохновляет. После Вашего отъезда она сразу переменилась. Сразу перестала делать все то, чего я боялся. Вы ничего ей не говорили?»

– Нет. Ведь я же не видал ее после нашего разговора и не писал ей.

Он страшно радостен, они видятся два раза в день и друг другом весьма довольны.

И все мои сомнения сняло сразу от первого прикосновения руки. Все мелкие человеческие подробности, которые так

мучили в Цюрихе, – они сразу исчезли и померкли перед этой громадной силой.

Милая моя деточка... нет у меня снова никаких сомнений ни о тебе, ни о себе.

Я был устал<ым>, и поэтому твои сомнения были сильнее меня. У меня не было ничего, что им можно противопоставить. Усталость у меня и теперь. Это все следствие того страшного напряжения, которое я пережил при Ан<не> Руд<ольфовне> прошлый раз.

И она, точно отвечая на мои мысли, сейчас же начала говорить:

«Вы мне теперь ничего не должны отдавать. Слышите... Вы мне отдали слишком много... Я при Вас перешла громадную ступень в области духа, и без Вашей помощи я не могла бы перейти ее. Вы тоже прошли теперь одну ступень. Усталость и сомнения... Это ничего... Это так надо. Вот теперь Вы совершенно иной. Я Вас вижу теперь совсем иначе, чем когда Вы в первый раз приехали из Цюриха.[2] Теперь у Вас один период закончился. И погодите – скоро начнут расти новые силы... Я видела все время про Вас удивительные сны... Вы сами не можете представить, какая сила в вас заложена... Она теперь совсем пассивна... Вы пойдете очень далеко...

Я видела, как мы с Вами подошли к стене... удивительной красоты... На ней было три надписи... я Вам не могу сказать их теперь... Но я их прочла – две... Третья была на неизвестном мне восточном языке... Я ее не могла прочесть. Но Вы прочли ее и прошли сквозь стену... Будет время, когда Вы опередите меня...

Только теперь Вы мне ничего не должны давать... Теперь я успокою Вас и дам Вам все, что Вы мне отдали...

Вы ведь знаете, что Вы мне спасли жизнь. Вы меня поддержали в тот момент, когда у меня не было сил...»

Моя милая, милая Аморя... у меня сейчас чувство выздоравливающего... Ясность и слабость... Я снова просыпаюсь к вечной сказке... Дай мне посмотреть в твои глаза...

Во мне только нежность и ласка к тебе...

Милая моя, бедная моя девочка... Не верь мне, когда я сомневаюсь. Верь мне только, когда я верю... Не называй

веру – сомнением. Это вечное творчество жизни... Только так можно творить жизнь... А сомнения делают рабом существующего.

До свидания.

Поклон Алеше и Мар<гарите> Констан<тиновне>.

[1] Чуйко и Туллио связывали в то время близкие отношения (см. подробнее примеч. 8 к п. 216).

Сабашникова писала Туллио в мае–июне 1905 г. «Я ходила к Чуйко в мастерскую, – отмечено в ее дневнике (запись от 29 июня / 12 июля 1905 г.), – и писала итальянца Тулия <*sic!*> в костюме Садко. Он спал на синем ковре» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 72 об.).

В начале октября 1905 г. Чуйко и Туллио помогали Волошину при переезде в мастерскую на улице Эдгара Кине (см.: Труды и дни. С. 147).

[2] Сабашникова имеет в виду внутреннее состояние Волошина после его возвращения из Цюриха в Париж 6/19 августа 1905 г. (см. п. 101, 102, 105 и др.).

124. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

27 августа / 9 сентября 1905 г. Париж.[1]

9 сент<ября> субб<ота>. Утро.

Моя милая Аморя, вот я получил твое письмо. Я получил его еще вчера и весь день думал о нем.

«Я снова слышу речь не мальчика, но мужа».[2]

Оно сходится с моими мыслями. Да. Стоять на пороге нельзя. Нужно пока запереть дверь и много работать. Надо пока забыть то, что было. Теперь мы оба ослабляли друг друга, а надо, чтобы было иначе. Мы только тогда будем иметь право встретиться совсем и навсегда, когда мы будем укреплять друг друга.

Но ведь мы не откажемся ни от чего, что было??

У меня сейчас состояние страшной усталости. Но усталости не мертвой, не равнодушной, а той, в которой что-то

растет. Во мне радостное спокойствие и жажда работы. Теперь работа будет моим отдыхом. Я хочу остаться один с книгами и мыслями. Я так давно не был один. Я стараюсь вспомнить и не могу.

Я думал о немецком университете... Но нет, нет... и нет. *Этого* я не сделаю и, если ты подумаешь обо мне, то ты согласишься.

Я всегда говорил, что из всех насилий, которым может подвергнуть человек человека, смерть есть наименьшее, а воспитание наибольшее.

Все мое детство и юность были протестом против этого насилия.[3] Этот протест много замедлил во мне, возвел мое легкомыслие в принцип, но все-таки спас меня от насилия. Это протест бессознательный, с которым нельзя бороться, но нужно прислушиваться, нужно считаться.

Протест был вопреки всему, вопреки моей собственной природе, вопреки моей любознательности. Из этих рук я ничего не мог взять. Все упреки, какие ты мне ставишь, я принимаю и соглашаюсь. Я знаю, что нужно черпать из первоисточника. Но до этого первоисточника я должен сам дойти. Идти к кому-то на выучку и еще к немцам, которых я глубоко ненавижу и презираю, — этого я не сделаю. Я могу подчиниться воле и знанию отдельного человека, но и то только на известное время, пока бессознательное мне не скажет «довольно». Но подчиниться на несколько лет системе, которую я заранее считаю ложной... Нет!.. Разве ты не видишь, что сделай я это — я окажусь в таком же положении, как Алеша к Политехникуму.[4] Я знаю эти ошибки, я их довольно делал и не хочу их повторять.

Кроме того, работать я могу только сам, — а слушать лекции для меня бесплодное развлечение — от них ничего не остается у меня.

И потом неужели же ты думаешь, что Ницше чем-нибудь *обязан* немецкому университету, а не только единственный, *спасшийся* от немецкого университета.

В моей жизни университетские годы были самыми пустыми, более пустыми, чем гимназические.[5] А я находился

в сравнительно благоприятных условиях — был лично знаком со многими профессорами, постоянно с ними виделся...

Нужно, да, нужно дойти до первоисточников, но только не этим путем.

Если бы ты сказала, что мне нужна нравственная пытка, что мне необходимо пройти сквозь состояние безвыходности, состояние Алеши, то я конечно бы, не колебля<сь>, поступил в немецкий университет. Но ведь ты не этого мне хочешь? Я себе очень ясно представляю твою мечту обо мне. Это очень соблазнительно приобрести в немецком университете механическим путем основательность и солидность. Но только это не для меня.

Я довольно знаю свои органические свойства и недостатки, чтобы видеть, что на такие эксперименты мне нельзя рисковать.

То, что ты хочешь от меня, то справедливо. И это будет моей целью. Но средство твое совсем не годится для меня.

Моя милая девочка, я не могу отказаться от нашего «ты». Нам надо пока отказаться от всего, что было, но не отрекаться от этого. Если мы наедине друг другу будем говорить «Вы», — это будет отречение. Этого нельзя. Это «ты» нами взято, и оно наше. «Вы» может явиться, только если мы совершенно разойдемся в разные стороны.

До свидания.

[1] Ответ на п. 122.

[2] Неточно цитируются слова Марины Мнишек Дмитрию Самозванцу из трагедии Пушкина «Борис Годунов» (1825, 1830; сцена «Ночь. Сад. Фонтан»).

[3] Волошин неоднократно подчеркивал, что гимназия, как и Московский университет, не способствовали его образованию и воспитанию. «Конец отрочества и юность, — писал он, например, в одной из автобиографий, — отравлены гимназией, которой я не обязан ни одним знанием, ни одной светлой минутой; и лишь глубоким убеждением в том, что воспитание есть самое возмутительное

из всех насилий, совершаемых над человеческой душой» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 230). И в другой автобиографии: «Гимназии я не обязан ничем: ни единым сведением, ни единой мыслью. Университету тоже» (*Там же*. С. 233).

[4] А.В. Сабашников тяготился своими естественно-научными занятиями. В сентябре 1905 г., провалив вступительный экзамен, он расстался с цюрихским Политехникумом.

[5] Ср. в одной из автобиографий: «Два года студенческой жизни в Москве оставили впечатление пустоты и бесплодного искания» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 258).

125. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

27 августа / 9 сентября 1905 г. Цюрих[1]

9.

Да, лес, молчание и полное спокойствие, совершенное спокойствие в Твоих руках. Время свернуло крыло. Ты и я; нас ничто не разделяет; ничто, п<отому> ч<то> между нами нет желания. В Тебе и во мне Пан; мы в нем. Твоя горячая рука на похолодевшей груди, и сердце начинает ровно биться. Мы в самой глубине, где уже нет движения, мы внутри огня, где не горячо. Разве это бывает, разве было? Это не повторится.

Люди смертью платят за любовь, через смерть идут к ней; а мы ни минуты не были близки смерти, в нас не было ничего смертного, когда мы стали одним.

Вот почему так трудно верить. Так все непохоже, так не в этой жизни. Не отходи далеко, будь моей воплощенной сказкой; не отпускай меня, когда я буду рваться назад. Не позволяй сомневаться, будь таким большим и сильным.

Милый, милый, любимый.

Отчего Ты далеко? Отчего сейчас Ты не унесешь меня в лес, где в Твоих руках я стану опять совсем Твоей, совсем маленькой, маленьким ребенком. Я спрячу голову на Твоей

груди и буду чувствовать на сердце Твою ласковую руку. Совсем близко. Ты чувствуешь? Когда же?...

Только в лесу, только под небом.

Вчера, поздно вернувшись из Männdorf'a <*sic!*>[2] с М<аргаритой> К<онстантиновной>, я нашла Твое письмо.[3] Ты прав во всем. Я думаю сейчас все о лесе и о горе. Та скамейка, помнишь, и ключ, и звезды. Мне скучно без Тебя. Я хочу Тебя.

Только отчего Ты не во всей моей жизни? В искусстве, в отношении к людям Тебя совсем нет, я забываю, Ты далеко тогда. В моем искусстве Тебя нет, в России моей Тебя нет, Тебя нет среди моих друзей. Ты совсем один. Отчего мы не поехали с тобой в горы?

Есть что-то в жизни моей подземное, оно вне добра и зла, оно не небесное, не земное, оно не выше и не ниже, оно рядом, не связано ни с чем – и это Ты.

Когда я встретила Тебя, одна часть моей души вздрогнула, она узнала сестру; та часть, кот<орая> была загнана и давно молчала. Ты помнишь наш первый разговор, когда Ты пришел проститься (Ты замечаешь опять и тут то же, когда мы прощаемся, мы видим друг друга). Ты помнишь, я спешила сказать Тебе что-то до разлуки, и я заговорила о «платье души», о том, что душа так долго носит чужое платье, что забывает свой первоначальный вид, и так долго говорит на чужом языке, что забывает свои слова. И это я стала говорить Тебе, п<отому> ч<то> я почувствовала в Твоем присутствии, что во мне есть скованное, молчаливое существо, что оно еще не умерло и пробуждается при Тебе. Оно близко природе, оно вне христианства, которое заменило мне потерянную родину, оно вне любви, вне искусства, вне чувства, вне чувственности, вне мысли. Что оно? И где его место? Чем оно питается, в чем его жизнь?

Скажи мне это Ты.....

У меня было мало связи с людьми, у него нет связи с людьми. В городе так нельзя было жить. Я хотела жить. Я создала эту связь волей. Теперь она стала органической. Я перевела всю свою жизнь в другую область. Сначала я заставляла себя интересоваться человеческими вещами. Я помню

это. Усилие всегда вознаграждается. Человеческое стало мне дорого, как завоевание. Я бы могла стать совсем женщиной. Зачем Ты напоминаешь мне эту потерянную родину. Ты намекаешь мне на мое происхождение, я уверяю Тебя тогда, что ты ошибаешься, что Ты принимаешь меня за другую, что между нами нет связи, – и сама чувствую ее. Тогда я начинаю искать Тебе место в созданном мною мире, и Тебе нет там места. Я спрашиваю Тебя, кто Ты, Ты спрашиваешь меня, кто я. Оба мы говорим на чуждом языке. Милый, когда мы найдем наш язык. Когда мы найдем нашу страну и станем в ней царями?

И что же делать со всем этим миром, кот<орый> стал моей новой родиной, в кот<ором> я живу и творю. Они несовместимы. Я раздваиваюсь. Я ни тут, ни там. Во мне тысячи существ, и побеждает тот, которого питают, которого любят окружающие. А тот, бедный Пан, помнишь «Пана» Врубеля?[4]

Сейчас я получила твое второе письмо.[5] Не было ли между ними письма, кот<орое> я не получила, что-то мне так кажется. Письмо от 8 сент<ября>.

Ах, мой милый, милый, любимый, родной. О, как я люблю Тебя. Как я радуюсь о Тебе. Я чувствую Тебя близко. Твою руку на сердце, Твою руку вокруг себя, Твою голову на плече, на груди; Твои губы.

И лес, Макс, лес.

Как совместить нам наше человеческое с нечеловеческим? Нужно к чему-то освободиться. Какие-то грани перейти. Можно ли это? Как, где? Ты меня научишь, Ты мне скажешь? Ты меня победишь?

Я должна отослать это письмо. А я не могу от Тебя отойти. Я бы все писала.

Вчера я видела и слышала в Männdorf'е много интересного, совсем новый мир. Но сейчас мне об этом писать не хочется. Я полна Тобой. Вчера это была сплошная больница, уродство, страдание и жизнь 200 полек в одном человеке, старике, кот<орый> за них и с ними молится, за них и о других. Все женщины – ужасны. Я представляю себе, если он умрет, – они все тоже умрут.

Но они так некрасивы, что я не могу их любить. Вот почему и себя я не могу любить.

Когда он говорил проповедь, он говорил для слабых, по-протестантски, и во мне все возмущалось. Он все говорил о «послушании». Но потом я подумала: разве с такими можно говорить иначе? Мы познакомились с одним красавцем, итальянским священником — основателем свободной католической церкви. Он сегодня писал нам и хотел прийти, но мы не ответили, он нам показался Хлестаковым. Но я расскажу это в другой раз.

Алеша оставался дома. Он чувствует себя превосходно, у него даже лицо изменилось. Рано встает, работает с удовольствием и делает радостные планы.

Прощай, мой Макс.

Прощай, мой милый. Закрой глаза и обними меня. Не отнимай своей руки от моего сердца. Люби меня совсем по-своему, как Ты можешь.

С нами Бог, ликуйте и покоряйтесь языци, яко с нами Бог.[6]

С нами Бог.

Вот поляна, сзади нас лес, на горизонте белые, серебристые горы. Небо высокое и светло-зеленое, звезды. Мы — одно. И мы смотрим вместе на звезды и на горы. Мы совсем близко. Твои руки — моя жизнь. Ты взял на себя мою душу. Я держу твою. Ты взял меня. Слышишь сердце? Мне не холодно.

Я..... я пишу глупости, слова.... Ты их читаешь? Ты со мной... Я Полна Тобой. Твоя.

[1] Ответ на п. 121 и 123.

[2] Имеется в виду Менедорф (Männedorf), расположенный на берегу Цюрихского озера (округ Майлен, кантон Цюрих).

[3] Т.е. п. 121.

[4] Известное полотно Врубеля (1899).

[5] См. п. 123.

[6] Начальные слова торжественного песнопения, используемого в православном богослужении (поется на всенощном бдении в праздник Рождества и др.).

126. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

28 августа / 10 сентября 1905 г. Париж

Письмо четвертое.[1]

10 сент<ября>. Воскресе<нье>.

И с каждым мгновеньем, как ты отдалялась,
Все медленней делались взмахи крыла...
Знакомою дымкой душа застилалась,
Знакомая сказка по векам плыла...
И снова я видел опущенный локон,
Мучительно тонкие пальцы руки,
И чье-то окно среди тысячи окон,
И пламенем тихим горят васильки...
... Я видел лицо твое близким и бледным
На пурпурно-черном шуршащем ковре...
Стволы – привиденья, и с гулом победным
Великий и Вещий сходил по горе...
И не было мыслей, ни слов, ни желаний,
И не было граней меж «я» и «не я»,
И рос нераздельный, вне снов и сознаний,
Единый и цельный покой* бытия...[2]

Эти строфы пели во мне, когда я ехал. Я их не могу закончить...

Моя милая, любимая, родная деточка... Вот я получил твое письмо (второе).[3]

Я хожу эти дни точно одетый тонкой оболочкой сна... Она меня от чего-то защищает; я не знаю, что растет во мне. Раз в день часа на два я прихожу к Ан<не> Руд<ольфовне>. Она берет меня за руки, обнимает мою голову... Я ничего не думаю, только тишина плывет по сердцу... И я теперь не делаю никакого усилия, не борюсь с ней, не борюсь за нее...

Утром тишина... Я раскрываю глаза и думаю о тебе... Потом опускаюсь в холодную серебристую воду и только там просыпаюсь... Делаю гимнастику...[4] Это такое ощущение, точно расправляешь мускулы крыльев. И вот прислушиваюсь и слышу, что все внутри тихо звенит. Все нити тела. Потом молчание, серебристое и звонкое... Я читаю книги. Читаю

---

* *Было*: прилив

«La Doctrine Secrète»*[5]. Это целый океан, почти в полном беспорядке собранных сокровищ. Толкование к двенадцати «Дзянам», в которых рассказана история человека и жизни.[6]

Вчера я прочел там таинственные строки о Деве, которая миллионы лет жила в пустынях неба... И когда Лебедь спустился на лоно Матери-Воды, она между его крыльями снесла шесть золотых яиц и седьмое, последнее, – железное.[7]

Я снесу вам яичко другое –
Не золотое – простое...[8]

Все в этой книге только намеки. Надо самому догадываться и строить...

Меня теперь страшно заинтересовало отношение оккультизма к полу. Там намечаются три стадии в прошлом: полное отсутствие пола, соединение двух полов в одном существе и разделение пола.[9] Но мне темен смысл этого. И где же линия будущего... Разве мы остановимся на этой двойственности?.. И я еще не нашел никаких данных, которые бы отвечали на этот вопрос...

Или путь вперед в том, что отказом, добровольным отказом от пола, человек завоюет себе право творить новые существа одним напряжением воли, вдыхать жизнь в мертвое? Но на это нет никаких намеков.

Я вижу лес и твое лицо. Я чувствую биение твоего сердца и твое дыхание.

Мы поднялись во сне на страшную высоту, где нет слов и нет желания. Это наша, родная высота. Но надо спуститься добровольно в мир. Смиренно своей волей надеть цепи жизни, «тягу древних змей»[10]...

Моя милая, родная, любимая...

Нам нужно завоевать друг друга в жизни. Наша высота – высота первобытная – зверя – бога – «вне добра и зла, не земное, не небесное, не выше, не ниже». Она с жизнью непримирима. Но ее нужно примирить. Ее нужно завоевать, не отвергая ни того, ни другого. Земной язык – чужой язык.

* «Тайная доктрина» *(фр.)*

Земное платье — чужое платье. Но его надо принять добровольно. Если мы сможем это вместить, то мы будем достойны друг друга.

Тебе надо носить свои оковы, но помнить каждый миг, что ты свободна, что ты сама надела их. Мне нужно надеть их и не протестовать против них, как я делал до сих пор. Будем, как в маскараде. Стихийным существам нельзя появляться в своем костюме. Будем так играть.[11] «Вся жизнь игра. Тот мудр, кто понял это».[12]

Но у себя — в лесу нам не нужны маски...

Ты так увлеклась игрой, что одно время в своей жизни забыла — кто ты? Ты почувствовала, что в тебе «есть скованное молчаливое существо, что оно еще не умерло и пробуждается при мне»?[13] Оно не умрет. Стихийные духи бессмертны.

Ты ведь помнишь, что индусское познание не знает «Ада» иного и более страшного, чем наша жизнь на земле. Это та боль, когда ведьма русалочке разрубает рыбий хвост на две ноги, когда она лишает ее голоса, а у нее в душе продолжает звенеть певучая волна.[14] Нам дано высшее счастье — мы узнали друг друга в человеческом маскараде.

Снимать маски мы будем только в лесу, когда нет людей... Но их не надо снимать в комнате, это слишком тяжело. Надо совмещать, но не смешивать. И то, и другое не может быть в одну минуту.

Примем на себя тягу всего человеческого, всего человеческого страдания, любви, человеческих рамок и цепей, человеческого чувства и человеческой чувственности, станем в свое время мужчиной и женщиной, и тогда мы завоюем себе свое царство, свой язык, свою цельность.

И мы как боги, мы как дети,
Должны пройти по всей земле,
Должны запутаться во мгле,
Должны ослепнуть в ярком свете...[15]

Будем смиренны, чтобы стать действительно сильными.

Не будем *освобождаться* от человеческого, но свободно примем его и понесем. Но будем всегда помнить, что эту ношу мы *сами* приняли и сами оставим, когда придет час.

А теперь пойдем к людям. Каждый к своим людям, каждый к своим земным нитям. И будем стараться их связать осторожно и незаметно, так, чтобы никому не сделать больно.

То, что в лесу, – это вечное и непреложное. Туда не надо заглядывать слишком часто. Надо всегда об этом помнить. Никогда не сомневаться в этом.

Пока мы не завоюем себе права снять навсегда свои маски друг перед другом. Да? Ведь так?

Моя милая девочка, как я люблю тебя...

И в моих ушах звучит:

Ну, как? как? скажи...[16]

P.S. В настоящую минуту у меня совсем нет денег. Если я смогу достать, занять у кого-нибудь, то я вышлю, сколько достану, сейчас же. Через 4–5 дней я получу свои деньги и тогда вышлю сколько хочешь. Это ничего?

[1] Первые три – п. 121, 123 и 124.

[2] Стихотворение Волошина, не вошедшее в «Стихотворения 1900–1910». Первая публикация – в кн.: *Волошин М.* Стихотворения и поэмы. С. 402 (Б-ка поэта. Большая серия). См. также: Т. 2 наст. изд. С. 395 и 698 и п. 218.

[3] Имеется в виду п. 125.

[4] К своим занятиям гимнастикой Волошин пытался приобщить и Сабашникову (см. примеч. 18 к п. 131 и п. 141).

[5] Трехтомный труд Е.П. Блаватской (Vol. 1–2. London, 1888; Vol. 3. London, 1897), посвященный происхождению мира, эволюции человечества и др.; русский перевод выполнен в 1930-е гг. Е.И. Рерих (см.: *Блаватская Е.П.* Тайная доктрина. Синтез науки религии и философии. Т. I. Космогенезис. Т. II. Антропогенезис. Рига: Рити, 1937). Волошин читал «Тайную доктрину» во французском переводе; в его библиотеке сохранились три тома, изданных в разные годы в серии «Publications théosophiques» (1-й том (2-е изд.) – 1906; 2-й том – 1899; 3-й том – 1904).

[6] Дзян (также Дзин или Дзиан) – искаженное санскритское слово Джиан и Джиана, означающее мудрость, божественное знание (ср.: *Блаватская Е.П.* Теософский словарь. С. 156). «Станцы» из книги Дзиан, восходящие якобы к древней «Книге Золотых Правил»,

положены в основу «Тайной доктрины» Блаватской – ими открывается и первый том («Космогенезис»), и второй («Антропогенезис»).

Семь «Станц» из «Тайной доктрины» были опубликованы (в переводе П.Н. Батюшкова) в кн.: Вопросы теософии. Сборник статей по теософии (вып. 2-й) в память Елены Петровны Блаватской. СПб., 1910. С. 146–160; То же издание вышло под названием: Елена Петровна Блаватская. Ее биография, отзывы о ней учеников и образцы ее сочинений, вышедших в Англии. СПб., 1911 (Вопросы теософии. Вып. II). В редакционном предисловии к этому сборнику говорилось: «Особенный интерес представляют “Станцы Дзиан”, не бывшие еще в руках ни одного европейца. Эти Станцы принадлежат к священной литературе, скрытой в храмах и доступной только посвященным, что несомненно указывает на то, что Е.П. Блаватская была посвящена в эзотеризм Востока. Комментарии к этим Станцам и составляют содержание трех томов “Тайной Доктрины”».

В настоящее время большинство специалистов склоняется к мнению, что «Станцы», опубликованные в «Тайной доктрине», – искусная стилизация, предпринятая самой Блаватской.

[7] Волошин пересказывает, собственно, не «Дзяны», а строки космогонической 1-й руны финского эпоса «Калевала», использованные Блаватской в качестве эпиграфа к данному разделу «Тайной доктрины». Этот сюжет Волошин затрагивает и в своей рецензии на стихотворный сборник С.М. Городецкого «Ярь» (1906). См. Т. 6, кн. 1 наст. изд. С. 15, 618.

[8] Из русской народной сказки «Курочка ряба».

[9] Комментируя «Дзяны», Блаватская в «Тайной доктрине» пыталась обосновать миф о том, что человек первоначально представлял собой двуполое единство, т.е. был «муже-девой» – андрогином или гермафродитом; разъединение же двуединого человека (разделение полов) произошло якобы лишь в Третьей коренной расе (лемурийский период). Этой схемы позднее придерживался и Штейнер (см. примеч. 4 к п. 186 и примеч. 9 и 10 к п. 201).

[10] Из стихотворения Волошина «Мир закутан плотно...» (1905), вошедшего в «Стихотворения 1900–1910». См. Т. 1 наст. изд. С. 62.

[11] См. примеч. 2 к п. 1, примеч. 12 к п. 9 и п. 138 (место, отмеченное примеч. 3).

[12] Заключительная фраза Парацельса из одноактной стихотворной пьесы А. Шницлера «Парацельс» (1898). Этот же афоризм поставлен эпиграфом к «Трилогии» Шницлера, состоящей из трех одноактных пьес: «Зеленый попугай», «Парацельс», «Спутница». Немецкий текст: «Wir spielen immer. Wer es weiss, ist klug». Волошин цитирует по книге: *Шницлер А.* Трилогия. Парацельс. Подруга. Зеленый Попугай. М.: Скорпион, 1900 (перевод М.О.И.; летроним до настоящего времени не раскрыт).

[13] Слова Сабашниковой (см. п. 125).

[14] Имеется в виду сказка Г.Х. Андерсена «Русалочка» (1836).

[15] Из стихотворения Волошина «Второе письмо» (см. примеч. 18 к п. 52; см. также п. 32 и 80).

[16] Вероятно, Волошин приводит одно из устных восклицаний Сабашниковой.

127. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

29 августа / 11 сентября 1905 г. Париж.

11 сентя<бря>. Понед<ельник>. Письмо V[1].

Моя милая, милая девочка... Грустно мне и смутно без тебя. Я все перечитываю твое вчерашнее письмо,[2] и у меня кружится голова от вечера, от леса, от твоей близости.

Нам что-то дано прежде, чем мы это заслужили. Надо, надо, надо спуститься назад и заслужить... Все это надо примирить.

Биение твоего сердца, запах твоих волос, вкус поцелуя на моих губах... Этого нельзя повторять... Повторение – страшный грех перед духом.

То, что приходит снова, должно приходить с новой силой, более ослепительно, чем приходило раньше. Если это повторяется так же, как было, – это бессилие духа...

Ни лес, ни город не должны бояться друг друга. И это можно. Я это вижу, я это чувствую.

Моя милая, любимая... Ведь мы это сделаем? Да? Нам надо делать разное, но одинаково трудное. Тебе надо не забывать о лесе...[3] Знать, что это залог, что это главное, самое, самое важное... Ты должна стать смелой и свободной... Каждое мгновенье нести *это* в своей душе, никогда не отрекаться... Никогда... Я знаю, что ты пройдешь через многие и многие отречения... Но каждая невольная слабость служит источником силы для сильного.

Будь сильной... И не бойся сомнений... Сомнения растут вместе с силой.

И будь человеческой, не отказывайся от того, что ты уже сделала... Не ищи мне места «в созданном тобою человеческом мире»[4] – это я сам должен прийти туда – это моя задача...

Да, а мне, прежде всего, надо подойти к людям. Ведь у меня тоже был громадный интерес к людям. До пятнадцати лет я тоже совершенно не видал людей. Но потом количество у меня заменило качество. Я слишком набросился на них. Я уже их не рассматривал. Я только считал их. Я уже больше не старался подойти к ним и раскрыть их; а старался сам показаться им таким, чтобы они сами подошли и раскрылись. И мне это часто удавалось. Не знаю, почему. Теперь я этого не понимаю, но, верно, пойму, когда ближе узнаю человеческую душу. Но я не ценил тех драгоценностей, которые мне давались, и теперь чувствую, что не ценю их, как нужно... Я так часто бросал куски хлеба, в то время как надо было подбирать каждую крошку освященной просфоры.

Теперь я вижусь с людьми моего очень старого мира. Здесь мой кузен, с которым я пережил очень близко и тесно студенческие годы, политику и путешествия,[5] и один мой гимназический товарищ, с которым я жил много лет в одной комнате и с которым мы проходили многие ступени мысли.[6]

Я вижусь с ними каждый день за обедом в Crèmerie*. До этого я провожу полтора часа с Ан<ной> Руд<ольфовной>; после захожу на короткое время к Мих<аилу> Самойл<овичу>.

Ан<на> Руд<ольфовна> чувствует себя очень больной и хочет прямо ехать в Берлин, не заезжая в Цюрих.

Я жду от тебя впечатления, которое произвел D<okto>r Штейнер.

До свиданья.

Я достал денег и высылаю тебе одновременно 100 fr.

---

* Молочное кафе *(фр.)*.

[1] Имеется в виду 5-е письмо Волошина, написанное после его возвращения из Цюриха 24 августа / 6 сентября (предыдущие четыре письма: № 121, 123, 124 и 126).

[2] См. п. 125.

[3] Ср. примеч. 5 к п. 121.

[4] Слова Сабашниковой (см. п. 125).

[5] Я.А. Глотов.

[6] Речь идет об А.М. Пешковском. В письме к матери (конец августа – начало сентября 1905 г.) Волошин сообщал: «Пешковский с женой поселился у меня в мастерской. Жена его очень мила и симпатична. Но он производит очень удручающее впечатление» (Т. 9 наст. изд. С. 217).

128. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

29 августа / 11 сентября 1905 г. Париж

11 понедельн<ик>. Вечер.

Моя милая, милая девочка... Мне очень грустно и тоскливо сегодня вечером. Мне хочется уткнуться лицом в твое плечо, чувствовать твои руки, слышать ласковые слова. Я не знаю, отчего мне так одиноко. Помнишь, ты мне как-то говорила: «Какой ты одинокий», – и я не понял тогда. Теперь мне кажется, что это было всегда и что ты только пробудила во мне сознание этого. Я хочу работать над собой, прорвать то, что меня отделяет от людей, а подходя к ним, я вдруг чувствую к ним внезапную и непривычную враждебность, потому что они мне мешают думать о тебе. Как случилось, что вся моя жизнь сосредоточилась в тебе?

Мне так надо твоей ласки, твоей любви... Ведь никто не был никогда ласков ко мне... В самом раннем детстве я помню, как мама была ласкова со мной. Потом с годами ученья, а они у меня начались так рано, в пять-шесть лет,[1] встала стена вечного недовольства мной, вечных упреков в лени, в нежелании учиться. Я помню теперь ясно, как я мечтал, уткнувши нос в подушку, о том, что было раньше. Раз я об этом заговорил.

Но мама не поняла, как-то холодно удивилась... И я больше никогда не говорил. До самого конца ученья эта стена стояла. Я не знаю, как это могло принять такие размеры — или мамин страх за меня был слишком велик, но это оставалось все время. Гневный упрек с ее стороны и трусливая виноватость с моей. После стали отношения товарищеские, простые. Я часто чувствую приливы острой нежности к ней и в ее глазах вижу то же... Но никогда не было между нами ни одного ласкового слова, ни одного поцелуя, кроме официальных прощальных и приветственных.

И я не чувствую возможности перейти эту грань. Неодолимый стыд охватывает меня... Почему это... Я вспоминаю страшно ярко те бессвязные фразы, которые я говорил маме тогда... Я не мог найти слов. Я просил ее быть так, как раньше... Мне было лет 6-ть тогда. Она, верно, совсем не поняла тогда, о чем я говорю. А может быть, ее охватила тогда та дикая застенчивость, которую я в ней теперь вижу.

Она всегда хотела дать мне строгое спартанское воспитание и проводила это с неуклонной настойчивостью.[2]

Я никому никогда не говорил ласкательных слов и ни от кого не слышал их. Я не знаю, почему мне так одиноко, надрывающе одиноко в этот вечер. Родная моя, милая, приласкай меня... Мне так хочется твоих слов, прикосновения твоей руки. Милая... милая...

Я все читаю и перечитываю твое письмо.[3] В нем ты и ночь, и горы... Я ждал сегодня вечером твоего письма. Но подумалось: ты будешь писать другое. Нельзя это писать два раза. Это письмо разобьется новым. Аморя, милая, сегодня мне хочется быть твоим ребенком... Ты ведь любишь меня?

У меня опускается голова... слезы навертываются... и кого<-то> мне бесконечно жалко... Тебя ли? Себя? Мамы? Я не знаю. Мне хочется прижаться к тебе... Хочется закрыться вместе с головой большим платком, как в детстве, чтобы было близко и уютно...

Милая, родная... любимая...

[1] В пять лет Волошин научился читать, и с этого периода начинается его «самостоятельное плаванье по книгам, ограниченное сперва пределами материнской библиотеки» (см.: *Волошин М*. Автобиография // Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 242).

[2] Ср. отзывы о матери Волошина в воспоминаниях В.О. Вяземской: «Она <Е.О. Кириенко-Волошина> была, в сущности, очень строга...»; «жестокосердная мамаша строго дозировала его <Макса> пищу...»; и др. (*Вяземская В*. Наше знакомство с Максом // Воспоминания. С. 73, 75).

[3] Имеется в виду п. 125.

129. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

29 августа / 11 сентября 1905 г. Цюрих[1]

Понедельник.

Ух, какой благоразумный, даже холодно стало..... Если бы Ты не был так послушен! Я говорю «верни письма», Ты без протеста возвращаешь, я говорю «станем благоразумны», и Ты становишься благоразумен. Я не могла на «Ты» говорить таким тоном, а Ты мог, значит, Ты меня совсем не любишь. Ну, и Бог с Тобой.

Макс, Макс, я так ужасно счастлива, что мне хочется плакать. Я наконец нашла его. Как я его долго ждала – моего учителя. Я женщина – для меня мудрость должна быть воплощена, мне нужно умывать ноги елеем, мне нужно живого пророка, такого, с кот<орым> «можно за ручку бегать», как говорил Юрка.[2]

Макс, и вот третьего дня я увидала его, а вчера[3] мы сидели все в зале «алкоголички»,[4] были ужасные всё люди. Боже, он столкнулся с местными пророками, кот<орые> все повторяли Егова, Егова, der liebe Gott* и т.д. Это было ужасно. Он ждал вопросов – никто не спросил.[5] У меня было масса... но Ты знаешь, как мне неловко говорить при всех, и как я говорю по-немецки, но я встала и спросила его о работе над

* Господь Бог *(нем.)*.

телом и т.д.[6] Он очень хорошо говорил, я сидела рядом. У него глаза бесконечны, таких нет. Ах, Боже мой, ты не видал его. И знаешь, в 12 ч. ночи, уже когда он устал и был грустен, он подошел ко мне, взял меня за руку и сказал, чтобы <я> ему написала.[7] За что это счастье, Макс?[8]

Но я Тебе напишу еще. Очень много. Я не могу сейчас. Если бы Ты видел его. Макс, Макс, мой милый.

[1] Ответ на п. 124.

[2] Юрка – приютский мальчик (сын кухарки), находившийся тогда под опекой семьи Сабашниковых. Волошин видел Юрку в марте-феврале 1903 г. в Москве. М.В. Сабашникова выполнила несколько его портретов; один из них был отправлен Волошину (из Цюриха в Париж) 30 августа / 12 сентября 1905 г. (см. п. 131).

В июне 1903 г., живя в Богдановщине, Сабашникова уделяла мальчику немало времени и внимания. «Кто меня здесь утешает, это Юрка, – рассказывала она в письме к Е.А. Бальмонт 12/25 июня 1903 г.; – вначале приют сказывался в вульгарных словах и кривлянье. Теперь он стал прежним, прелестным. Я сказала ему “Железную дорогу”, он, когда играет в вагоны, просит повторить ему. Очень много расспрашивал про Макса и под конец сказал: “Я таких никогда не видал”. – Я тоже. Когда он с Нюшей смотрел на японские сказки, то все спрашивал, а где же тут Плакс; мы не могли понять, в чем дело. Увидев “Рождение Венеры”, произведение мое, говорит: “Это не ангел, я таких боюсь, а вы боитесь?” А потом, помолчав, спросил: “Лермонтов нарисовал ангела, все, кто ангелов рисуют, умирают?” Иногда его трудно понять. Он много фантазирует, говорит без умолку: “Знаете, я сегодня видел, как летел маленький ангел с мой ноготь; у него лицо чистое-пречистое, как звездочка, вон видите, вон он полетел; вон сел на звездочку, ножки спустил, вы только не видите”. Рассказывает про каких-то чудовищ. Мы с ним ходим далеко гулять, очень это приятно» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 25, л. 3–3 об.; «Железная дорога» – стихотворение Волошина «В вагоне» (1901) – см.: Т. 1 наст. изд. С. 14–15; о картине Сабашниковой «Рождение Венеры» см. примеч. 16 к п. 23).

В дневнике Сабашниковой записано (29 августа / 11 сентября 1905 г.): «Юрка как-то меня спрашивал: “А вот с Богом, с ним можно гулять, за ручку бегать?” Нет. И это сознание было ужасно. Сны о живом Боге, о Пророке, которому можно целовать ноги... Я женщина... я хочу воплощенной и божественной мудрости: вот он» (У истоков русского штейнерианства. С. 156).

Получив от Сабашниковой портрет мальчика, Волошин показывал его Чуйко. «Видел мальчика Юрочку, – писал Чуйко Сабашниковой 9/22 сентября 1905 г., – что за удивительное личико, я бы любил такого, он мне напоминает моего Jean тихой грустью, умом и нежностью» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 110, л. 35; Jean <Жан> – младший брат Кармина).

[3] В сентябре 1905 г. Штейнер выступал в Цюрихе дважды: 9 и 10 сентября. В первый вечер он читал лекцию «Преодоление материализма в свете новейших воззрений», а на другой день отвечал на вопросы.

[4] Шутливое название одного из цюрихских ресторанов, в котором отсутствовали алкогольные напитки (скорей всего, – «Карл Великий», где в те годы собирались теософы). В той же «Алкоголичке» Волошин и Сабашникова обедали 29 июля / 11 августа 1905 г. (см.: Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 245). См. также: Зеленая Змея. С. 129.

[5] В своей мемуарной книге, подробно описывая это памятное для нее событие (первое знакомство со Штейнером), Сабашникова, в частности, сообщает, что в конце вечера поднялся «плотный пожилой господин», заявивший «на немецко-швейцарском диалекте», что все то, о чем пророчествует Библия, действительно имело место, а индусская мудрость – лжива. На это Штейнер ответил, что христианская эзотерика лишь подтверждает «великие истины», которым учат на Востоке, но может сказать больше. «Услыхав это, – пишет Сабашникова, – я поняла, что нашла то, чего искала: новый, сознательный, свободный путь к живому Христу» (Зеленая Змея. С. 131).

[6] О своем вопросе, заданном Штейнеру, и его ответе Сабашникова подробно рассказывает в книге «Зеленая Змея» (с. 129–130).

[7] См. в дневнике Сабашниковой (запись от 30 августа / 11 сентября 1905 г.): «Потом в конце, поздно, взгляд, обращенный ко мне, рукопожатие. “Вы мне напишите. Напишите, если у вас есть вопросы”. <...> И он еще раз жал мне руку и смотрел в глаза, и предлагал написать. Я люблю его. За что, это счастье, за что, Боже, за что?» (Из истории русского штейнерианства. С. 156). Письмо к Штейнеру (осенью 1905 г.) было написано Сабашниковой, но, по всей видимости, не отправлено; черновик письма сохранился в волошинском архиве (см. п. 131, 133, 135 и примеч. 2 к п. 141).

[8] Более подробно этот эпизод изложен в «Зеленой Змее»:

«Рудольф Штейнер несколькими словами закончил вечер. Он подал мне руку и сказал: “Вы не напрасно задали вопрос, не так ли? Если у вас будут еще вопросы – напишите мне”. Впервые я встретилась с ним взглядом: его глаза, окаймленные черными бровями и ресницами, лучились золотистым теплом. Мне казалось, что я уже

всегда их знала, я была как бы вырвана из времени. Но Рудольф Штейнер продолжал: “Я хочу познакомить вас с фрейлейн Сиверс, она тоже русская», – и он подвел меня к моей “Золотой” <золотоволосой> даме. “Я знакома с фрейлейн Минцловой”, – сказала я. “У вас тоже есть психические задатки?” – спросила она иронически с сильным балтийским акцентом. Иронию я поняла лишь позднее. “Нет, никаких”» (*Там же.* С. 131–132).

130. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

30 августа / 12 сентября 1905 г. Париж

12. Вторник. Ночь.

Моя милая Аморя, только что мне Ан<на> Руд<ольфовна> прочитала твое письмо об д-ре Штейнере.[1] А вот вернувшись, я нашел твое письмо об нем.[2] Сейчас передо мной стоит его фотография, которую я завтра должен отправить тебе.[3]

Я ее много раз видел на столе у Ан<ны> Руд<ольфовны>. Она не расставалась с ней последнее время. Теперь мне жутко быть с этим лицом, с этими глазами наедине. Они пронизывают и судят беспощадно. Когда мне Ан<на> Руд<ольфовна> начала читать твое письмо – меня пронизало каким-то странным чувством... Сперва мне показалось, что мне жаль, что меня не было с тобой. Но я вдруг понял (я все смотрел на его портрет), что он бы не стал говорить со мной, что он отбросил меня так же, как Гейер, что я не достоин подойти к нему... Ты ведь знаешь, что он отнесся ко мне в высшей степени сомнительно, когда Ан<на> Руд<ольфовна> говорила обо мне...[4] И я его понял. Я переживал эти дни самые подлые сомнения... Я боялся долго остаться с Ан<ной> Руд<ольфовной>. Да. Потом мне все начинало казаться фантазией... Потом я начинал чувствовать к Ан<не> Руд<ольфовне> равнодушие... да, равнодушие, то, которое так неумолимо и с которым нельзя бороться.

Когда я был в первый раз в Цюрихе, а Ан<на> Р<удольфовна> переживала ужасные ночи одна, Штейнер спросил ее: «Зачем же он не с Вами, если он так близок к Вам»...[5]

Милая, милая Аморя... Как хорошо, что ты увидела его без меня. Я не смею смотреть в глаза его портрета... Твое письмо хлестнуло меня...

Как я счастлив за тебя... Сейчас во мне как-то все смешалось: и счастье, и стыд, и зависть, и радость. Что он сказал тебе? Что надо делать? Как надо работать над своим телом?

Ан<на> Руд<ольфовна> хочет много говорить с ним обо мне. Я просил ее теперь не делать этого. Со мной, я знаю, он не стал бы говорить.

Я счастлив и горд за тебя... Пиши мне больше о нем. Все слова, все, что он говорил...

Что надо делать? Как начать? Я знаю третий, четвертый, пятый шаги... но не знаю самого первого. Когда об этом говорит мечта – все хорошо, но вот этот первый шаг. Если бы для этого нужен был полный и решительный переворот – сразу отвергнуть все, что было в жизни – это легче, для этого можно найти первый размах. Но как начать, ничего не порывая, ни от чего не отказываясь... За что взяться? А по духу учения только так ведь можно жить...

И вот ты выше меня и ближе к свету, чем я...

Ан<на> Руд<ольфовна> говорит, что то, что она видит во мне, придет, может, еще через тысячелетия.

Портрет мой, положенный в Евангелие, сгорел дотла, а на книге никаких следов огня. А он истлел огнем внутри книги.

В этом что-то очень страшное. Какое-то предостережение.

Ан<на> Руд<ольфовна> решила ехать в Цюрих.[6] С ее сердцем очень плохо. Если она поедет, я поеду ее проводить. Так ей ехать нельзя одной. Но если она решила ехать – значит, так надо...

Завтра идем на «Валькирию».[7]

Пиши мне, пиши мне все его слова.

Милая моя, я горжусь и радуюсь за тебя... Не презирай меня за малодушие...

Макс

[1] Письмо не сохранилось.

[2] См. п. 129.

[3] Речь идет о фотографии Штейнера, полученной Волошиным от Минцловой для пересылки в Цюрих. Выполняя просьбу Сабашниковой, сразу же сообщившей Минцловой о своих впечатлениях от встречи со Штейнером и своем желании написать его «портрет», Анна Рудольфовна отвечала ей в тот же день (30 августа / 12 сентября): «Сегодня же я отошлю Вам портрет Штейнера, очень хороший, – для меня это будет великая жертва, потому что этот портрет помогает мне жить сейчас, – но *Вам*, сестра моя, я *должна* отдать его сейчас, пока Вы не получите от него портрета (я Вам пошлю из Берлина, я знаю, он охотно даст Вам его). Потом Вы мне вернете его, теперь пусть он будет с Вами. Напишите его... *Вы* можете его <написать>, и Вы одна сейчас можете в мире» (У истоков русского штейнерианства. С. 159). См. также примеч. 3 к п. 166.

О попытках Сабашниковой написать портрет Штейнера см. примеч. 1 к п. 135.

[4] А.Р. Минцлова, чье знакомство с Волошиным состоялось лишь в июне 1905 г., могла рассказывать о нем Штейнеру на Теософском конгрессе в Лондоне.

[5] В августе 1905 г. Штейнер и Минцлова, насколько известно, не виделись. Вопрос о Волошине содержался либо в неизвестном письме Штейнера (или Марии фон Сиверс) к Минцловой, либо в ее мысленном («мистическом») общении с ним.

[6] Поездка Минцловой в Цюрих не состоялась.

[7] См. примеч. 9 к п. 64 и п. 138 и 139.

131. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

30 августа / 12 сентября 1905 г. Цюрих

1905. Цурих. 12 сентября.

Милый мой, мы теперь так близки, да? Беру твою голову и прижимаюсь к сердцу и целую волосы. Мы близки, п<отому> ч<то> ничем не связаны, все мгновенья наши и мы их отдаем, да? Да, мой родной, мой хороший?

Мне очень трудно писать Тебе, слов нет, мне тоже тоскливо без Тебя. Но я счастлива, и сейчас вместе нам быть нельзя, п<отому> ч<то> мы оба должны очень работать, а мы вместе еще не можем. Но как же мне писать Тебе... Так хочется плакать от счастья. Макс, я так его люблю – Штей-

нера. Вчера и сегодня я сижу одна с спущенными ставнями, глубокий зеленый свет, у меня в душе звучат слова: «Христос взглянул на него, полюбил его и сказал ему!! ...»[1] Помнишь? Может быть, это низкая ступень, это стремление к *личному*, к воплощенной красоте, к симпатии. Как Ты думаешь, ведь это не было случайно, что он пожал мне руку и разговаривал со мной, ведь мои слова были глупы. За что же это?

Писать ему... Мне страшно хочется ему писать;[2] но вопросы, кот<орые> у меня есть, я должна сама дойти до них, читая, я хотела тогда спросить его о индивидуальности, как было в начале, откуда различие и как будет в конце, когда люди будут богами; потом о наследственности. Но я забыла тогда все немецкие слова.

Он говорил об дарвинизме, о том, что не человек произошел от обезьяны, а обезьяны sind verkümmerte Menschen;* о обратном процессе от человека к животному, от жив<отного> к раст<ению> и минералу, коснулся идиосинкразии. Это нужно узнать.[3]

То, что ему говорилось, было ужасно, атмосфера и непонимание хуже художественного клуба.

Где он сейчас? Когда он вернется в Берлин,[4] когда А<нна> Р<удольфовна> едет в Берлин.

Мне из дому ничего не пишут, и я не знаю, когда я поеду в Россию. Любимов писал мне, что Нюша в конце сентября приезжает в Париж.[5]

Узнай, пожалуйста, у А<нны> Р<удольфовны>, как называется журнал, кот<орый> Штейнер издает.[6] Он сказал, что там я найду его статью о его пути, как он шел,[7] и найду подробный ответ на свой вопрос в 30 №.[8] Если бы Ты достал мне его. Сейчас я читаю La haute science.**[9] Много интересного. Он говорил об концентрации внимания, но я этого не смогу достичь и даже понять не могу. Это обыкновенное внимание?

---

* Захирелые люди (*нем.*).

** Высокое знание (*фр.*)

Знаешь, он почему-то, обращаясь ко всем, говорил: «Ведь, напр<имер>, в Москве у Вас будут другие мысли, чем в Цюрихе». Почему он про Москву заговорил? Почему он говорил про сродство некоторых душ с осенью.[10] Я все принимала на свой счет, как грозу. И в Цурих-то, верно, он только из-за меня приехал. Нет, я глупостей говорить больше не хочу.

Слушай, слушай, что мне делать? Я не нахожу себе места. Я ужасно боюсь что-то размельчить <?>, что-то забыть. Что это все?

Я получила твое четвертое и пятое письмо.[11] Нет, Ты все-таки верно меня любишь. Уж я теперь не могу не любить Тебя, конечно.

Сейчас я из-за Тебя подралась с М<аргаритой> К<онстантиновной>. Она писала своему умному двоюрод<ному> брату[12] и спрашивала, не знает ли он Твои статьи в «Руси». Он ими не восхищен и удивляется, что из Парижа можно писать все о таких неинтересных вещах. Она согласна, что темы для газеты, для «Руси» невозможны и <не>интересны. Мне так досадно, а в сущности мне тоже неясно, почему «Русь» Тебя приглашает писать и кто и как читает твои неприличные статьи, когда «Россия переживает такое время». Это досадно и больно и за них, и за всех, и за Тебя. Где и что Ты будешь писать? Теперь окончательно Ты заговоришь на языке никому непонятном и зачем тогда писать в газете. Ты говоришь на своем языке и смеешься над людьми. Зачем, Макс? Или говори с ними как с детьми, как с испорченными детьми, и доказывай сначала, что дважды два четыре, или вовсе не связывайся с ними. А то им попадаются священные слова, с которыми они обращаются, как петух с жемчужным зерном. Нужно скрывать жемчужину, чтобы ее не захватали и чтобы она жила сохранно в раковине, нужно говорить, чтобы внешний смысл был ясен и прост, как дважды два четыре, как басня; для того, чтобы внутренний смысл раскрывался для желающих думать. Твои статьи нахальны, и этим Ты вредишь идее. Ты не уважаешь ни ее, ни читателей. И читатели ужасно обижаются. И обе стороны неправы. Я думаю, что они не доросли до мыслей, кот<орые> Ты бросаешь им, но они правы, чувствуя небрежность.

Мы с М<аргаритой> К<онстантиновной> очень сблизились после Штейнера.[13] Она не издевается больше над теософией.

Она спросила его после окончания о революции и была весьма довольна ответом.[14]

Вышли мне «Свет на пути»,[15] или только напиши, чье это[16], я выпишу это по-немецки.

Спасибо за деньги, я их еще не получила. Скоро, надеюсь, мне вышлют, и я смогу вернуть Тебе. Узнай, что я должна еще в магазине, кроме 50 fr., и сколько должна Тебе за гимнастику.[17]

Ну, до свиданья.

Эти дни я пишу М<аргариту> К<онстантиновну>, но больше от себя, она не позирует, а если бы она поз<ировала>, как вышло бы хорошо.[18] В пятницу она уезжает.[19]

Если А<нна> Р<удольфовна> поедет прямо в Берлин, я надеюсь видеть ее там.

А Штейнер мне сказал: мы еще увидимся.[20]

Мой милый, прощай. Узнай еще вот что: какой ученый пришел к идее обратной эволюции. Ш<тейнер> говорил о Хеккеле[21] и о Alfons Saisset или Alfonset[22], я не разобрала.

Вчера Алеша забыл опустить Тебе письмо и проносил весь день.

Посылаю Тебе Юрин портрет.[23] Покажи его А<нне> Р<удольфовне> и Чуйко и пришли скорее обратно. Адрес т<ети> Тани не забудь же дать мне.

Завтра я именинница. Да.[24]

[1] «Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: одного тебе не достает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим...» и т.д. (Мк. X, 17).

[2] См. примеч. 7 к п. 129, п. 133, 135 и примеч. 2 к п. 141.

[3] Эволюция мира и человека – одна из центральных проблем в учении Штейнера. В своей автобиографии он признавался, что лишь в первые годы XX в. смог полностью преодолеет дарвинизм и утвердиться в мысли о том, что «человек как существо духовное значительно старше, чем остальные живые существа. Чтобы достичь сво-

его нынешнего физического вида, человеку пришлось выделиться из общемирового существа (Weltenwesen), заключавшего его в себе наряду с другими организмами» (*Steiner R.* Mein Lebensgang. Dornach, 1983. S. 301). О происхождении низших форм из высших Штейнер говорил 22 сентября / 5 октября 1905 г. в своей берлинской лекции «Геккель, мировые загадки и теософия»: «...Звери, да и вообще все существа, представляют собой лишь захиревшие, деградировавшие формы, сохранившие в себе те ступени, по которым проходила в своем развитии человеческая душа» (см.: *Steiner R.* Die Welträtsel und die Anthroposophie. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1983. S. 9–34; GA 54).

[4] Штейнер вернулся в Берлин 12/25 сентября 1905 г.

[5] А.Л. Любимов сообщил об этом в недатированном (судя по содержанию, – сентябрь 1905 г.) письме к Сабашниковой (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 84, л. 6–7 об.).

[6] В 1903–1908 гг. Штейнер издавал журнал «Luzifer» («Люцифер»; в букв. переводе – «Светоносец»), который с 1904 г., после слияния с венским журналом «Gnosis», стал называться «Luzifer–Gnosis»); подзаголовок: «Журнал для душевной жизни и духовной культуры. Теософия»). Название «Luzifer» подчеркивало преемственную связь этого издания с теософским журналом «Lucifer», издававшимся в Лондоне в 1887–1897 гг. (учредителем и редактором лондонского издания была Е.П. Блаватская). «Luzifer» («Luzifer–Gnosis») печатался в Берлине; всего вышло 28 номеров. Штейнер был основным автором, его перу принадлежит более половины статей, опубликованных в «Luzifer» и «Luzifer–Gnosis» (значительная их часть составит впоследствии книги «Как достичь познания высших миров», «Из хроники Акаша» и «Ступени высшего познания»). В журнале публиковались также работы Э. Шюре (в переводе М. фон Сиверс), Л. Дейнгарда и др.

[7] Какую именно из своих статей имел в виду Штейнер, определить трудно. См. также примеч. 2 к п. 136.

[8] 30-й номер журнала «Luzifer-Gnosis» увидел свет в ноябре 1905 г.

[9] См. примеч. 5 к п. 70.

[10] Сабашникова воспринимала осень как наиболее ей созвучное и «творческое» время года. «...Я люблю осень, Пушкина и Гомера, Египет и Врубеля, Бога и кристаллы», – признавалась она Волошину (запись в ее дневнике от 21 апреля / 4 мая 1905 г. // ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 19). Ср. в п. 200: «Ничего я не люблю так, как осень». Сходное восприятие осени отличало тогда и Волошина,

писавшего это слово с заглавной буквы (см., например, в п. 237: «Какая глубокая ясная Осень на всем»). См. также п. 205.

[11] Т.е. п. 126 и 127.

[12] Возможно, речь идет не о двоюродном, а о родном брате М.К. Гринвальд – дипломате К.К. Гринвальде, находившемся тогда в Париже (ср. упоминание о нем в п. 201).

[13] Из воспоминаний Сабашниковой явствует, что лекцию Штейнера, состоявшуюся 27 августа / 9 сентября, она посетила вместе со своим братом. Однако на другой день Алексей отказался ее сопровождать (см.: Зеленая Змея. С. 129), и потому Сабашникова пришла в сопровождении М.К. Гринвальд.

[14] Вопрос был задан, конечно, в связи с событиями в России; что именно ответил Штейнер, неизвестно.

[15] «Свет на Пути» представляет собой собрание «правил» и наставлений, обращенных к «ученикам», желающим вступить на «тропу познания» (1-е англ. изд.: Light on the Path and Karma, with notes and comments by the author. Boston: Occult publishing company, 1885; в дальнейших изданиях состав книги расширялся за счет «пояснений» и «комментария» и видоизменялся). Текст «заповедей», восходящий якобы к древнеиндусской «Книге Золотых Правил», печатался долгое время либо анонимно, либо под литерами «М.С.», за которыми укрывалась английская писательница-теософка Мэйбл Коллинз (в замужестве Кенингдейл Кук; 1851–1927). В среде «оккультистов» принято было считать эту книгу плодом «наития» или «вдохновения», ниспосланного на М. Коллинз одним из «посвященных» или «учителей».

Версия о «вдохновенном» происхождении «Света на пути» принадлежит, видимо, самой Коллинз; она рассказывает об этом в одном из своих более поздних сочинений: «В моей жизни произошла трагедия; когда она достигла своего апогея, я узнала, что уже раньше много раз переживала ее. Благодаря тому, что я знала это, я стала способной сделать большое усилие и подняться на ступень, указанную мне. <...> Некто стоял рядом со мною в моей комнате и сказал: “Идем, теперь ты в состоянии читать”. <...> Учитель взял меня за руку и с полным сознанием того, что я делаю, я вышла из своего тела и перешла из материи в эфирное пространство. <...> Учитель, все еще державший меня за руку, провел меня через часовню к стене, и я увидела первые правила “Света на Пути”, которые появились наверху стены. Взглянув, я ясно прочла их. <...> Я возвратилась в свое тело и нашла, что сохранила в памяти все, что делала, что видела и что прочла. Я была в том состоянии сознания, которое известно

оккультистам Южной Индии и которое является сознанием бодрствующего ясновидения. <...> В этом состоянии я передала своей памяти первые строки древнего мистического текста, известного теперь всем изучающим оккультизм, под названием Света на Пути. Я перенесла его в мое физическое сознание и записала» (*Коллинз М.* Когда Солнце движется на Север. Объяснение шести Священных Месяцев. Перевод М. Депп. М.: Духовное знание, 1914 <автор предисловия к русскому переводу Б. Леман>. За рассказами М. Коллинз угадывается фигура Е.П. Блаватской, с которой М. Коллинз была лично знакома (с 1884 г.) и тесно сотрудничала в начальный период издания журнала «Lucifer».

Книга неоднократно издавалась и переиздавалась как по-английски, так и в переводе на другие языки. Волошин и Сабашникова пользовались в 1905 г. французским переводом этой книги: La lumière sur le sentier. Traité écrit à l'intention de ceux qui ne connaissent pas la Sagesse orientale et désirent en recevoir l'influence. Transcrit par M.C. Traduit de l'anglais par A.J.B. Paris, 1900 (1-е фр. изд. – 1887). Этот экземпляр находится ныне в коктебельской библиотеке Волошина.

Книга М. Коллинз была известна и в России. В архиве Вяч. И. Иванова сохранился немецкий перевод этой книги (Leipzig, 1904), приобретенный Минцловой в Берлине в октябре 1905 г. с ее владельческой надписью (РГБ, ф. 109, карт. 45, ед. хр. 44). Первый русский перевод (к настоящему времени неоднократно переизданный) был выполнен Е.Ф. Писаревой (М.: Посредник, 1905; фактически – 1904). Книгу предваряло написанное Писаревой «примечание составителя» и составленные М. Коллинз (ее имя опять-таки не упоминалось) «объяснительные примечания». Однако в 3-м издании своего перевода (Пг.: Издание журнала «Вестник Теософии», 1918) Е.Ф. Писарева сообщила русским читателям ряд подробностей (видимо, бытовавших в теософских кругах) относительно происхождения книги и ее автора: «Для третьего <издания> мы взяли за образец старейшее английское издание 1885 года, которое было напечатано тремя шрифтами, чтобы отличить три различных источника, из которых возникло содержание книги "Свет на Пути". Текст этот был продиктован Учителем, известным среди теософов под именем Иллариона, писательнице Мабель Коллинз (в состоянии транса). Учитель получил его от своего Наставника, Который носит название "Венецианца", но и он является автором лишь одной части "Света на Пути". <...> Текст этот был записан на десяти пальмовых листах, по три строки вдоль каждого листа, на архаическом санскритском языке.

Каждая строка представляет собой законченный по смыслу афоризм. <...> Учитель Венецианец перевел их с санскритского на греческий язык для учеников Александрийской Школы, к числу которых принадлежал и Учитель Илларион в своем тогдашнем воплощении в лице Ямблиха» (Свет на Пути и Карма. Записано М.К. Третье издание. Пер. с англ. и предисл. Е.Ф. Писаревой. Пг.: Издание журнала «Вестник Теософии», 1918. С. V–IX).

Вопрос об авторстве «Света на Пути» и роли Блаватской в истории этой книги до настоящего время окончательно не прояснен.

[16] Ни Волошин, ни Сабашникова в то время не знали, кто скрывается за инициалами «М.С.».

[17] Имеется в виду книга (пособие) по гимнастике (см. также п. 126 и 141).

[18] «Видал у Макса на фотографиях, как Вы начали М<аргариту> К<онстантиновну>, – писал Сабашниковой М.В. Чуйко 27 сентября / 10 октября 1905 г. – Je le trouve très réussi <Я нахожу это весьма удачным> » (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 110, л. 36).

Портрет М.К. Гринвальд (холст, масло), выполненный Сабашниковой в Цюрихе в 1905 г., хранится ныне в Дом-музее М.А. Волошина (Коктебель). Воспроизведен в кн.: Сокровища Дома Волошина. Альбом. Симферополь: Сонат, 2005. С. 166. См. также п. 135.

[19] 2/15 сентября 1905 г. М.К. Гринвальд уехала из Цюриха в Париж.

[20] Описывая в «Зеленой Змее» свой первый разговор со Штейнером, Сабашникова не упоминает об этой фразе. Возможно, прощаясь с Сабашниковой, Штейнер сказал ей обычное «Auf Wiedersehen!» <«До свиданья!»>, но она вложила в его слова особенный смысл.

[21] Имеется в виду Э. Геккель.

[22] Говоря об «обратной эволюции», Штейнер в своих лекциях того времени называл, помимо Геккеля, имена Томаса Хаксли (Гексли) и Э. Дю Буа-Реймона. Кого именно имеет в виду Сабашникова, определить трудно (текст лекции Штейнера, произнесенной им 9 сентября 1905 г. в Цюрихе, до настоящего времени в печати не появлялся).

[23] Речь идет о мальчике Юрке (см. примеч. 2 к п. 129).

[24] М.В. Сабашникова, как и ее мать, М.А. Сабашникова, отмечала свой день ангела 1/14 (в XIX в. – 1/13) сентября.

132. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

31 августа / 13 сентября 1905 г. Париж

Среда. 13 сент<ября>. Днем.

Моя милая, милая Аморя, я только что отослал тебе письмо и портрет Штейнера.

Сегодня ты именинница? Поздравляю тебя. Как мне легко и радостно от твоего второго письма о Штейнере.[1] Вчера я позорно каялся в малодушии, а сегодня у меня поет в душе:

«Яко с нами Бог... Яко с нами Бог!..»[2]

Сколько я раз повторял себе и убеждал тебя, что сомневаться – это значит расти и крепнуть. И вот всякий раз, как сомнение приходит, в душе подымается горечь безнадежного. А сейчас у меня снова крылья выросли... Мы ведь полетим? Да?

«La Lumière sur le Sentier»* я тебе вышлю. На другие вопросы отвечу после – надо увидеть Ан<ну> Руд<ольфовну>.

Сегодня мы слушаем «Валькирию». Я чувствую, что в душе готовы распахнуться Царские Врата... Алая роза – *та* – лежала в «La Lumière sur le Sentier»... От нее остались там лепестки. Я их оставил там.

От креста к алой розе!..[3]

Да... да... От креста к алой розе...

Любимая... родная... радостная...

Конечно, для тебя Штейнер приезжал в Цюрих. Какое же может быть сомнение? Что ж, кого же он мог там найти...

Как хорошо, что меня тогда не было. Тогда бы он не мог увидеть тебя всю, как увидел.

Я предчувствую клекот Валькирии...[4] Я еще никогда не слыхал его, но моя душа готова его принять...

Я ничего не слыхал об обратной эволюции и не знаю, чья это идея. Но мысль эта мне родна и знакома. С точки зрения четвертого измерения, когда уничтожено падение во времени,[5] ведь эволюция это только разные точки одного и того же, видимые последовательно одна за другой, как пейзаж из окна вагона, как берега реки с парохода... С этой точки обратная эволюция так же возможна, как и прямая, – она равносильна. И обе они условность, потому что эволюция –

* Свет на Пути *(фр.)*.

это наша манера наблюдать, не больше. Вопрос сводится к одному, вечному и до сих пор не понятному для меня: почему время падает в одну сторону...

Где закон притяжения во времени...

У меня иногда мелькает смутная мысль, что движения во времени так же спиральны и эллиптичны, как и движения в пространстве, – что там должно быть нечто математически пропорциональное движениям планетных систем. Но это слишко<м> смутно и неясно. Я никак не могу схватить это конкретно. Но тут есть дверь. Я знаю...

Мы ведь вместе пойдем к Алой Розе?

В тебе порыв и огонь. Во мне возможные не проснувшиеся силы. Ты поведешь меня? Я буду поддерживать тебя. Я буду твоей силой...

Милая моя... радость моя...

[1] Имеется в виду п. 131.

[2] Припев, сопровождающий каждый стих гимна «С нами Бог...» (составленного из стихов Книги пророка Исайи); читается на великом повечерии. Ср. запись в волошинском дневнике, сделанную в Цюрихе 23 июля / 5 августа или 24 июля / 6 августа 1905 г.: «Мы читаем St. Victor'а. "Яко с на-ами Бог". Она вспоминает слова литургии. "Нет оставьте Вы ваши фокусы"» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 233).

[3] Волошин повторяет слова Минцловой, написанные (по латыни) в письме к нему от 23 августа / 5 сентября 1905 г.: «Вы вступили в "Преддверие" храма и пойдете туда, где Святая Святых, где вечный огонь... "Ad rosam per crucem..." <"К Розе через крест...">» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 21). «Ad Rosam» («К Розе») – предполагавшееся название сборника стихотворений Волошина, намечавшегося к публикации в 1907 г. в издательстве Вяч. И. Иванова «Оры» (более позднее его название, оставшееся как заголовок цикла в кн. «Стихотворения 1900–1910», – «Звезда Полынь»; издание не состоялось). См об этом подробнее в переписке Волошина и Сабашниковой 1906–1907 гг. (Т. 11, кн. 2 наст. изд.); см. также письма Волошина к М. Горькому и В.Я. Брюсову (Т. 9 наст. изд. С. 265–269; оба письма – декабрь 1906 г.), примеч. 6 к п. 50, п. 142 и др.

[4] См. примеч. 9 к п. 64.

[5] Ср. в п. 7: «Я время считаю за наше восприятие четвертого измерения» и т.д.

133. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

31 августа / 13 сентября 1905 г. Цюрих

13 сентября.

Милый мой, милый, милый, ну как же мне приласкать Тебя? На словах так трудно. Нужно взять Твою голову в руки, прижать ее к груди и целовать Тебя в закрытые глазки. Какой порыв, как все во мне стремится к Тебе. Я хочу, я могу быть всем для Тебя. Ты мой, Макс, а я вся Твоя. Увидимся ли мы до моего отъезда в Россию? Только не здесь. Я приехала бы на несколько дней к Тебе в горы. Но как же я оставлю Алешу. Я разрываюсь.

Только когда я читала сегодня Твое письмо, где Ты пишешь о матери,[1] я почувствовала, что́ Ты для меня, и мне теперь кажется, что Ты в самом деле меня немножко любишь. Во мне что-то совершилось за эти дни, и я совсем сама, совсем спокойна. Я еще боюсь слов, Макс. Милый; мой. Мой.

Послушай, как я хочу Тебя видеть; только, нет, сейчас не приезжай.

Макс, но скажи мне: Ты счастлив? Скажи правду, совершенную правду, в общем, счастлив ли Ты теперь. Я должна это знать.

Я счастлива.

Только внешним образом я томлюсь, я места себе не нахожу, у меня времени не хватает на все, что я хочу сделать днем, а я часами думаю.

Все, что ты узнаешь про Штейнера, напиши мне; встреча с ним мне кажется важной, страшно важной для меня. Если бы Ты его увидел. Ты не собираешься в Берлин? Я хочу провести в Берлине несколько дней с А<нной> Р<удольфовной> и навестить Сережу С<абашникова>, которому опять очень плохо и кот<орого> отвезли в больницу к Краузе.[2]

От поездки в Россию жду много тяжелого, не знаю сама, почему. Но я стала другой, а там все так ужасно по-старому. Наша квартира будет полна детьми и няньками; я найму себе отдельную комнату где-нибудь, куда буду ходить рисовать и читать. Писать Ты можешь мне к Кате тогда. Я предупрежу ее.

По какому-нибудь знаку она будет узнавать, что это мне.[3] Вот что Макс: тебе легче узнать, какие теософские книги посвящены эволюции организмов на земле и наследственности. Хочу это прочесть и радуюсь рассказать это папе; он очень любит, когда «девочка так мило и умно рассуждает». Кроме того, эти вопросы ему были всегда близки. Мысль о смерти для него ужасна. Теософия ему многое может дать.

Ну, до свидания, до завтра.

Что такое с А<нной> Р<удольфовной>?

Написать ли мне Штейнеру? Я знаю что, но не решаюсь. Узнай его адрес.[4] Ах, мой, милый, дитё мое, чувствуешь ли, как я крепко обняла Тебя, как близко у моего сердца Твоя рука, как Твоя голова лежит на моем плече. Ты теперь чувствуешь, что ты совсем мой и что я совсем Твоя?

Деньги вышлю послезавтра 150 fr., а остальные потом. У меня счет из магазина в 50 fr., неужели 2 коробочки красок и холст 30 fr. Я пришлю счет. Ты спроси.

Св<ятая> именинница-то я завтра.

[1] Имеется в виду п. 128.

[2] Профессор Ф. Краузе дважды оперировал С.В. Сабашникова в Москве. В конце августа 1905 г. Сабашников, по совету Краузе, был доставлен в Берлин и помещен в клинику «Вест-Санаториум» (см.: Записки Михаила Васильевича Сабашникова. Под общей ред. А.Л. Паниной. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1995. С. 294, 296).

[3] См. примеч. 1 к п. 175.

[4] См. примеч. 7 к п. 129, п. 131, 135 и примеч. 2 к п. 141

134. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

1/14 – 2/15 сентября 1905 г. Париж

14 сентября. Четверг. Ночь.

Милая моя девочка, ты спрашиваешь меня, счастлив ли я? Нет... Я сейчас несчастлив... Я снова поднял голову, но на сердце очень тяжело. Мне дано было снова почувствовать всю свою слабость, все свое маловерие. Теперь это прошло, но грусть со мною. Я боялся Ан<ны> Руд<ольфовны>. Я ста-

рался отойти от нее. Я не знал, чтó говорить с ней. Это было несколько дней. Пока снова не пришел момент, и я не взял ее духа в свои руки. Она мне все твердила: «Не давайте мне ничего... ничего...» Я сперва слушался... И стал падать, отходить... Да... Связь есть постольку, поскольку человек дает... Это правда. И вот теперь я снова даю ей все-все силы моего духа, и моя вера воскресла... Я не знал все, за что приняться... Искал первого шага... И меня вдруг как молотом ударило: оттуда, где моя сила нужна, где она крепит дух более сильный, оттуда я малодушно ухожу. Сегодня четверг: Страшная ночь.

Я был около Ан<ны> Руд<ольфовны>. Я остановил боль ее сердца... Я загородил ее магическим кругом, я ее уложил в постель, как ребенка, и дал ей сон без снов. Завтра она проснется и сейчас же станет писать тебе.

С ее сердцем очень плохо. Ее боли невыносимы и непрерывны. Ей нельзя ехать в Цюрих. Я ее почти убедил в этом. Ей нужно ехать прямо в Берлин, нигде не останавливаясь...

И вот я дома, и твое письмо предо мной... Моя милая, родная девочка... Я целую твои слова, я прижимаюсь лбом к этому клочку бумаги.

Я несчастлив... Ан<на> Руд<ольфовна> говорит, что мне скоро придется пройти страшный кризис, глубокую и мучительнейшую смуту... Я предчувствую ее. Здесь никто уж не может помочь.

Она снова сегодня смотрела мою руку. Она не видела ее с тех дней. Смотрела, чтобы убедиться, правда ли то, что она сказала тогда.

И она говорила:

«Да, то, что люди называют любовью, – это чувство Вам совершенно неизвестно... Любви вы никогда не узнаете... Но в Вас живет громадная нежность и странно... жалость... Эти два чувства страшно развиты... Но любви нет и не будет... Только есть еще более странное... У Вас на руке много чувственности... но только головной... Да... Это ужасно странно... Я скажу очень грубое слово... У Вас рука... эротомана... И в то же время это все пересечено, уничтожено совершенно другими линиями. Чувственность занимает страшно мало места

в вас... Вы можете ее совсем покорить. А линия разума у Вас громадна... И в ней оттенок необычайного благородства... Я никогда не видела такой линии...

И странно опять – у Вас чувственность как-то соединена с жалостью... Чувство Ваше в загоне... Оно как-то захватано... Загрязнено... Проституировано – опять грубое слово, но Вы понимаете?..»

Я пишу тебе ее слова почти дословно. Я в них вижу себя. Они мне так много объясняют. Ты это должна знать. Не знаю, что во мне живет к тебе... Может, любовь и не такая... Но во мне все сияет благословением к тебе... Да. И нежностью... В любви есть власть и требовательность. Во мне нет ни власти, ни требования... Мне хочется только быть с тобою всегда. Всегда глядеть в твои глаза... Исполнять все твои желания... Да. Я послушен.

Я послушен, потому что мне тебе хочется все тебе отдать. Я понимаю. Любовь – безжалостна... Во мне этого совсем нет...

Милая, милая, милая дитя мое... Я люблю тебя, люблю, люблю...

Утро.

Сейчас, верно, Ан<на> Руд<ольфовна> пишет тебе о Штейнере.[1] Его журнал называется «Люцифер»[2], и она тебе пришлет те номера после.[3] Я сейчас не знаю ни одной теософской книги об эволюции и наследственности. Как только узнаю – пришлю.

В «La Doctrine Secrète» много об этом. Но надо собирать крохами в разных местах. Это голый материал с комментариями. Первые тома должны касаться непосредственно этого. Но их нет в продаже. У меня только III-ий – история человека «Антропогенезис».[4] Я его сейчас читаю. Его очень трудно читать. Верно, все это ты найдешь в «Люцифере». Когда ты будешь в Берлине, тебе легче будет достать его. Здесь в Париже невозможно.

Об обратной эволюции – это страшно интересно. Мне ужасно хочется узнать это. То, что я писал тебе от себя, – это

сухая схема. Это объясняет смысл слова эволюция, но не это. Меня глубоко поразила эта мысль Штейнера.

Вот что вчера Ан<на> Руд<ольфовна> еще говорила мне о нем:

«Я не знаю, сколько ему лет. Ему может быть 25, а может и 250... Я ничего не знаю об его жизни... Кажется, раньше он был журналистом... Только... Мне будет очень тяжело об этом говорить с Мар<гаритой> Вас<ильевной>... К нему очень плохо относятся во Франции. Его ненавидят... Анни Безант к нему относится как к никому... При нем неотлучно, всегда Мария фон Сиверс...[5] Это дивная девушка... Она все оставила для него и пошла за ним... Он бы умер без нее. Она его кормит... Он не может заснуть, если она не около него. И вы знаете, как относятся во Франции к этим отношениям. У ме<ня> была Луиз Пизэ[6]. Это Валькирия... великанша... гигантского роста... красавица... “Почему же он на ней не женится?” Когда он читал в Лондоне... Частную лекцию... В одном из салонов отеля... Там собралось много народу... “Нет, я здесь не могу читать, пойдемте в мою комнату”. И когда мы пришли в эту крошечную комнату... кто-то из дам спросил М<арию> ф<он> Сиверс: “А где же Ваша комната?” И когда она ответила: “У нас только одна комната...”, – то несколько дам вышли... Вы понимаете?.. Она ему все отдала... Он все знает, кроме языков. Она его язык. Она все языки знает... Пусть Мар<гарита> Вас<ильевна> пишет ему по-русски на ее имя. Я так всегда делаю. Мне трудно писать по-немецки...[7] А она должна написать ему... И она еще увидится с ним. Он один ей может помочь...[8] Она не должна писать своего портрета...[9] Вы понимаете, как это ужасно? Постоянно смотреть в зеркало... Постоянно видеть свое отражение. Это ведь ужас...»[10]

До свиданья.

[1] О Штейнере Минцлова писала Сабашниковой 30 августа / 12 сентября 1905 г. (в ответ на ее письмо с описанием цюрихской лекции и встречи со Штейнером): «Я так взволнована радостью и счастьем, что едва могу говорить. Вы – первая, кто увидел Штейнера, и

Вы увидели его так, как я... Что он так отнесся к Вам, это доказывает еще раз и безоговорочно, что Вы то, что я вижу в Вас... *Он* не ошибается. Это один из величайших людей нашего – и многих других – веков. И он страшно редко бывает *так* с людьми, как он был с Вами. Как он обошелся с Гейером в Лондоне!.. На Т<атьяну> А<лексеевну> он не взглянул, хотя ведь в Лондоне ему очень хотелось видеть людей, говорящих по-немецки, и когда я спросила, можно ли ему представить их на Конгрессе, он очень охотно согласился... Напишите ему, спросите у него все, что тяготит Вас и мучит, – он скажет Вам все. <...> И я чувствую, какая радость была для него услышать Ваши слова, Ваш голос – понимание и любовь дают ему всегда страшный подъем, развязывают его крылья, могущие покрыть весь мир, – но сейчас связанные Германией, Швейцарией, где ему тяжело и трудно дышать... Милая, я целую Ваше лицо, Ваши глаза, Ваши губы, заговорившие с ним и давшие ему возможность *говорить*, *ожить* – у него всегда мучительная жажда слушателей и понимающих... Конечно, Вы увидите его. Вы будете в Берлине и будете у него. Вы знаете, как странно и страшно было все это. Я получила письмо из Кельна, где мне давали точное число его прибытия и лекции в Цюрихе, идя к Чуйко позировать! И там у него, прочтя это письмо, я страшно взволновалась – извещать Вас или нет о его лекции... У меня был страх, что Вы его или не увидите, или слишком ясно увидите, и тогда это может перевернуть жизнь – а это мне было очень страшно тоже» (У истоков русского штейнерианства. С. 158–159).

[2] См. примеч. 7 к п. 131.

[3] В 1905 г. Минцлова получала журнал «Luzifer-Gnosis» по подписке. Возвращаясь в Россию, она передала свою подписку Волошину и Сабашниковой. См. письмо Минцловой к Волошину от 11/24 ноября 1905 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 843, л. 52).

[4] См. примеч. 5 к п. 126.

[5] О М.Я. фон Сиверс см. подробно: Marie Steiner-von-Sievers. Ein Leben für die Anthroposophie. Eine biographische Dokumentation in Briefen und Dokumenten, Zeugnissen von Rudolph Steiner, Maria Strauch, Edouard Schuré und anderen, dargestellt von Hella Wiesberger. Dornach: Rudolph Steiner Verlag, 1989; *Selg P.* Marie Steiner-von Sivers. Aufbau und Zukunft des Werkes von Rudolf Steiner. Dornach: Verlag am Goetheanum, 2006; и др.

[6] Неустановленное лицо.

[7] Действительно, в 1905 г. А.Р. Минцлова писала Штейнеру через М.Я. фон Сиверс (по-русски).

[8] О том же Минцлова писала Сабашниковой 30 августа / 12 сентября 1905 г.: «Его <Штейнера> боятся, очень мало любят и понимают... А. Безант с глубоким почтением относится к нему и с странным волнением говорит о нем. Затем – Maria von Sivers, его секретарь, – дочь петерб<ургского> генерала, из очень хорошей семьи, оставившая *все*, что ценится на земле, чтобы идти за этим человеком и служить ему, – она удивительный человек... Это – странный мир, странные отношения. И, кроме того, 2–3 человек в Германии, преданных Штейнеру, но не понимающих... Он – одинокий, великий. Его прошлого я не знаю. Когда я вижу его, я забываю о том, что есть земля и жизнь земная... О нем говорить нельзя ни с кем, потому что никто не понимает его, а Frl. Maria я вижу всегда с ним, т.е. почти не вижу ее. Я знаю только, что он боготворит искусство, что он глубоко, до конца, знает математику и все естественные науки, и *все* науки, известные на земле. Но языков он *не* знает совсем, с ним можно говорить только по-немецки. Frl. Maria заменяет ему все языки, она их знает *все*, и она всегда при нем на съездах, конгрессах. У Frl. Maria – Ваш почерк, совсем, последнее ее письмо, где она пишет, что Dr. St<einer> едет в Цюрих, я долго не могла понять (она пишет мне по-русски), упоминает о Цюрихе, – и письмо подписано *М<ария> С<иверс>* – я несколько минут в волнении старалась понять, кто это и что это такое!» (У истоков русского штейнерианства. С. 159).

[9] Речь идет об автопортрете Сабашниковой, над которым она работала в Цюрихе. «В Цюрихе у меня не было никакой модели, – вспоминала Сабашникова, – и я начала писать свой автопортрет. <...> Я писала себя с распущенными волосами, образующими пластическую золотисто-розовую массу по обеим сторонам лица. <...> Очень пристально, будто из вечности, смотрели глаза. Позднее эта картина была куплена Музейной комиссией в Москве; где она находится теперь, я в хаосе революции не могла узнать» (Зеленая Змея. С. 126). Автопортрет был завершен в октябре 1905 г. Приехав Берлин, Сабашникова показывала его Минцловой; возможно, его видел и Штейнер (см. п. 172, 177, 187 и 202)

В 1910 г. эта работа Сабашниковой (под названием «Мой портрет») экспонировалась на Выставке современных женских портретов в редакции журнала «Аполлон» и была воспроизведена в журнале «Нива» (1910. № 20. С. 368).

«Мне нравится этот холст, написанный очень темными, слишком темными и густыми мазками красок, – писал С.К. Маковский, – не за его *живописную манеру*, а за впечатляющую проник-

новенность экспрессии, которой сумела одухотворить свою работу молодая художница. Конечно, перед нами совсем не *автопортрет*; М.В. Сабашникова только воспользовалась общими очертаниями своего лица, отраженными в зеркале, чтобы преобразить их в символический образ, полный загадочности, врубелевской, пожалуй, даже слишком врубелевской выразительности. Но, во всяком случае, тут – не подражание Врубелю, а бесстрашная овеянность Врубелем...» (*Маковский С.* Женские портреты современных русских художников // Аполлон. 1910. № 5 (февр.). <Отд. I.> С. 21).

В настоящее время – в Пензенской областной картинной галерее им. К.А. Савицкого.

См. также примеч. 8 к п. 33, п. 177, 187 и 202.

[10] «Ужас» при виде собственного отражения, – один из сквозных мотивов в лирике и письмах самого Волошина, возникший не без влияния его встреч и бесед с Сабашниковой и звучащий в отрывке из «Иродиады» Малларме (см. примеч. 4 к п. 32), стихотворении «Зеркало» (см. п. 53), описании работы Якунчиковой «Страх» (см. п. 25) и др. Ср. также рассуждение Волошина о его единстве со своим отражением (п. 58).

135. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

2/15 сентября 1905 г. Цюрих.

1905 г. 15 сентября. Утро.

Спасибо, милый, за карточку Штейнера. Какое лицо! Я стану теперь писать его.[1] Я боялась, что карточка разрушит живое представление о нем, но она прекрасна. Спасибо за «Lumière sur le Sentier». Ты спрашиваешь, что он сказал о первых ступенях, он говорил о концентрации несколько минут хотя бы над фразами этой книги, о вегетарьянстве; но сказал, что если человек серьезно хочет этому посвятить себя, он всегда найдет на пути своем сведущих людей. Нового, собственно, он ничего не сказал; он говорил для всех, и нужно было начинать с Адама.

Я Тебе сейчас не могу писать. М<аргарита> К<онстантиновна> уезжает, еду ее провожать, и вчера я не написала,

п<отому> ч<то> целый день писала ее. Если бы еще несколько раз, вышел бы хороший портрет.[2] Алеша едет с ней в Базель. Возьми у нее 107 fr., кот<орые> я дала ей для Тебя. Мне еще не выслали тех денег – подарка от бабушки, на кот<орый> я рассчитывала, и я остальное пришлю потом. Ничего? Или мне выписать их скорее. Напиши.

Мне так дико, что Ты пишешь об внимании Штейнера. Это все преувеличено. Когда же А<нна> Р<удольфовна> успела ему о Тебе говорить? Ведь она же его не видала теперь.[3] Верно, Ты испытываешь такое же чувство, как я, когда Голубкина игнорировала меня.[4] Я чувствовала осужденной себя. Это все глупости. Что рядом с цюрихскими пророками[5] я была ему ближе, это понятно. Но раздувать этого нечего. Ты страшно устал с А<нной> Р<удольфовной>. Милый, когда же Ты поедешь отдохнуть на природу? Как мне жалко Тебя, деточка моя.

Ребенку так нужен расцвет лепестка.[6]

Пишу мысленно Ш<тейнеру>. Но немецкий язык...

Пишу сегодня А<нне> Р<удольфовне>. Я страшно тронута ее жертвой.[7] Скажи ей, что я, наверное, буду в Берлине в начале октября. Можно и Алешу взять с собой, что если ей трудно приезжать в Цюрих, чтобы она не делала это. Но я напишу ей об этом.

А отчего Ч<уйко> мне не пишет, он сюда не собирается?

Прощай, мой милый, целую Тебя. Пожалуйста, не падай духом. Нельзя все время так напрягаться.

Я сегодня буду писать Тебе еще.

[1] Однако в 1905 г. портрет не был написан. К работе над портретом Штейнера Сабашникова вернулась позднее. Художник Л.Л. Квятковский (1894– 1977), близкий одно время к Сабашниковой и ее кругу, в беседе с В.П. Купченко (1973) сообщил, что портрет был выполнен якобы в 1913 г. Опубликованный список работ Сабашниковой (ею самолично составленный) регистрирует два портрета (наброска?), первый из которых отнесен к 1922 г. (см.: Margarita

Woloschin. Leben und Werk. S. 173, 178), однако дата «1922», судя по манере исполнения и другим признакам, скорее всего неверна. Местонахождение этих работ неизвестно.

[2] См. примеч. 19 к п. 131.

[3] См. примеч. 4 и 5 к п. 130.

[4] Поначалу, после знакомства с Сабашниковой, Голубкина сомневалась в ее творческих возможностях. «Сегодня была у Голубкиной, – писала Сабашникова в своем дневнике 23 мая / 5 июня 1900 г. – <...> Когда я рассказала ей один мой эскиз, она сказала: “Вот, значит, Вы думаете. А я эти дни много о Вас думала и сомневалась, не дает ли Вам Ваша среда слишком много готового; уж очень Вы так подходите к разным вопросам... Пожалуй, сомневалась, это не свое. Я еще не решила этого; если бы решила, что Вы это не свое говорите, я и думать бы о Вас не стала. Нет, я сомневалась”» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 18, л. 52–53). О знакомстве Сабашниковой с Голубкиной см. примеч. 5 к п. 21.

[5] О цюрихских «пророках» см. п. 129 и примеч. 5 к нему.

[6] Строка из стихотворения Бальмонта «Я помню в далекие детские дни...» (пятое стихотворение цикла «Вода»). См.: *Бальмонт К.* Литургия Красоты. Стихийные гимны. С. 19.

[7] Готовность Минцловой временно расстаться с фотографией Штейнера (см. выше примеч. 1) действительно была для нее «жертвой». О «портрете» Штейнера Минцлова просила М.Я. Сиверс сразу же по приезде в Париж (проведя перед тем два дня в Берлине, где и состоялось ее знакомство с Доктором). «Вы себе представить не можете, – писала Минцлова М.Я. Сиверс 4/17 июня 1905 г. из Парижа, – какое глубокое впечатление, неизгладимое навеки, оставил мне доктор Штейнер. Подобного впечатления у меня не бывало еще здесь на земле. И у меня есть великая просьба и заветное желание – иметь его портрет, об этом я очень прошу его, и А.А. Каминская <*sic*!>, вероятно, говорила Вам об этом» (архив М.Я. Сиверс, Дорнах). Портрет был отправлен в Париж, или, возможно, Минцлова получила его в Лондоне из рук Сиверс.

Анна Алексеевна Каменская (1867–1952) – писательница-теософка, переводчица; первый президент Русского Теософского общества (1908–1918; воссоздано в 1991 г.); редактор – издатель журнала «Вестник теософии» (СПб., 1908–1918; возрожден с 1992 г.).

136. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

2/15 –3/16 сентября 1905 г. Цюрих.

15 вечер.

Мой милый, сегодня от Тебя не было письма. Хорошо ли Тебе? Счастлив ли Ты? Твои последние письма были грустны. Мой милый, мой милый.

Я одна весь день. Алеша уехал в Базель с М<аргаритой> К<онстантиновной>. Она сказала ему: не ездите, скоро экзамен, Вам должна быть дорога каждая минута. – Да, мне дорога каждая минута, поэтому я и еду.

Я его не удерживала. Он очень меня заботит. Учится и страшно хочет провалиться. Не знаю, что с ним будет и в том случае, если он выдержит, и в том случае, если он провалится. Я не знаю, что ему говорить, как с ним быть. Я могла бы убеждать его учиться технике. Никого нельзя ведь в чем бы то ни было убедить. Могла бы убедить его бросить и решиться на что-нибудь. Но я не знаю совсем его сил, его способностей, его желаний, и ничего не могу на себя взять. Бедный он.

Я одна; сначала убрала комнату и поставила стол так, как он был вначале, параллельно по стене у кушетки, когда Ты мне писал после моего отъезда из Парижа. Как давно это было. Стало уютно. Розовые астры в вазе. Стала читать «La Lumière sur le Sentier». Как хорошо! Макс, когда Ты это читал? Отчего Ты об этом мне не говорил? Каждая фраза – целый мир. Я читаю, когда устаю, делаю гимнастику, и так идет день. Ужасно тихо в душе и радостно.

Какое милое издание. И как Ты хорошо сделал, что написал несколько слов, и эти лепестки. Книга была уже живая, когда я открыла ее.

Твои снимки нехороши, кроме Алеши. Я – ужасна. Такая дура. Как Ты мне позволил так держать руку и так смотреть. Я же со стороны не могла знать. Ты – в горах – опять мне показался совсем чужим, даже очень чуждым. Разве это не странно, что я так люблю Твою душу, Твою близость и не люблю Твоего лица. Может быть, в другую минуту это и мучило бы меня, но сейчас все это кажется мне совсем неважным сравнительно с тем, как я Тебя люблю.

Что мы с Тобой не отойдем друг от друга, что наша связь неслучайна и непреходяща, – я знаю. Относительно остального, относительно того, как она проявится в этой жизни, я не знаю.

Я люблю Тебя, мой бедный, милый, мой радостный. Я остро чувствую эту нить, кот<орая> связывает нас. Дождусь Твоего письма завтра и тогда опущу это.

Если бы ты сейчас вошел, лег бы на кушетку, а я бы села рядом с Тобой, и мы бы говорили...

16.

Ни вчера, ни сегодня, ни утром, ни днем не было от Тебя писем.

Что же это, почему?

Если что-нибудь изменилось, напиши мне. Говори мне всегда правду, Макс, понимаешь, все, кроме лжи, можно принять радостно.

Что же адрес т<ети> Тани? Вот что, я прилагаю ей письмо. Отправь его.

Как наз<ывается> журнал, кот<орый> издает Штейнер?[1] Не 30, а, кажется, 19 номер, как гов<орит> М<аргарита> К<онстантиновна>, мне нужен.[2]

[1] См. примеч. 7 к п. 131.

[2] № 19 журнала «Luzifer-Gnosis» вышел в декабре 1904 г. В нем были напечатаны главы из работ Штейнера «Как достичь познания высших миров?», «Из хроники Акаша», а также статья «О вопросах перевоплощения».

137. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

3/16 – 4/17 сентября 1905 г. Париж

16 сентяб<ря>. Суббота. Ночь.

Моя милая Аморя, я читаю и перечитываю твои письма... Они моя последняя мысль перед сном, и когда я просыпаюсь, то я целую их и опять читаю. Я тебя не вижу во сне, но как-то все время чувствую твое присутствие.

Сегодня я с двенадцати часов шнырял по окрестностям на велосипеде. Был в долине Шеврезы[1] и на развалинах Пор-Рояля[2], где похоронены были Расин и Паскаль.[3] Там Расин провел последние 20 лет жизни, когда он ничего не писал.[4] Ведь он перестал писать в полном расцвете таланта — после «Федры».[5] Я видел его завещание. Клочок бумаги, на котором он умоляет суровых отцов Пор-Рояля простить ему грехи его жизни (трагедии) и похоронить его около монастыря.

Я проехал сегодня около семидесяти верст и потому чувствую какое-то странное возбуждение и опьянение от движения...

Мне хочется говорить с тобой о многом, что не касается нас.

Относительно эволюции по теософии...

Вот что я знаю... Ты, верно, это помнишь у Синнета: жизнь делает семь раз круг по семи планетам.[6] То, что было минералом на одной планете, становится растением на другой, животным на третьей и т.д.[7] Каждый планетарный круг — это день Брамы... После наступает ночь Брамы.[8] Миллионы лет вне жизни... Это Пралайя.[9] Полный круг Манвантара.[10]

Как я узнал из «Doctrine Secrète» — теософия считает, что человек предшествовал животному, т.е. всем современным животным.

И что первая основа человека было его астральное тело, и по нему уже создавалось тело материальное. Оно было завоеванием. Люди первого и второго цикла громадны и почти не материальны.

Это все очень отрывочно, смутно и как-то не основано... Я еще не могу этого связать и осмыслить...

Кроме того, есть еще невидимые планеты: шесть, подобных земле, по которым совершает свой цикл каждая раса...

Есть семь чувств — мы знаем пять.

Мы на четвертой земле, в пятой расе и в пятом чувстве...[11]

Эта вся математика ужасно смущает меня и многое компрометирует...

Ты съедешься, значит, с Ан<ной> Руд<ольфовной> в Берлине?

Меня страшно тянет к тебе. Но какое-то сознание останавливает и говорит, что теперь нельзя нам видеться... Но что ты теперь уедешь в Россию надолго, и мы не увидимся – я не могу с этим примириться. И вот я не знаю, надо ли победить себя или мчаться к тебе?

Меня вдруг охватил сон. Моя милая, милая девочка... Покойной ночи... Как мне хочется положить тебе голову на плечо и задремать... Ты чувствуешь, как я обнимаю тебя и прижимаю крепко, крепко...

Милая... любимая.

17. Утро. Воскресенье.

Деточка моя... Письмо твое разбудило меня...[12] Доброе утро...

Да. Я теперь понял о внимании. Это самое простое внимание. У меня его так мало. Я стал следить за своей мыслью и заметил, что я, в сущности, ни о чем не могу думать. Что мысль моя скачет непрерывно. Я совсем не умею сосредоточиться. Теперь я знаю, с чего надо начать.

Моя смута прошла. Причиной ее была не столько усталость, сколько трусость. Я боялся новой усталости и нового малодушия и поэтому был малодушен. Да. Это страшно верно: мы связаны с людьми постольку, поскольку мы даем им, а совсем не постольку, как они нам дают. С того момента, когда я снова с сознательной силой взял Ан<ну> Руд<ольфовну> за руки и решил ничего не брать от нее, потому что мне нужно давать ей, – все сомнения сразу исчезли. Усталости нет. Усталость может быть только тогда, когда ничего не даешь людям.

Значит, Веселая девочка приехала сегодня в Париж? Но я не знаю ее адреса... Напиши мне его. Не торопись с деньгами: у меня сейчас еще есть деньги. Проверила ли ты счет из художеств<енного> магазина? Меня это очень беспокоит. Но

сам я этого сделать не могу, т<ак> к<ак> не знаю, что было взято. Не забудь написать об этом...

Вчера я прочел мысль А. Мэнара.[13] Он доказывает, что Гермес – бог сумерек. Это мне страшно много дало... Я теперь понимаю, что он был богом познания... Мне теперь стало понятно лицо Олимпийского Гермеса. Орфей передрассветный и Гермес сумеречный – эти два образа познания и проникновения не дают мне покоя.

Познание без презрения... Древнегреческий Мефистофель без сарказма... Вечерняя грусть познания...

Я понял, почему Гермес был богом Юлиана.[14] Чувствую, что он становится и моим богом. Ведь он же вожатый мертвых в загробной жизни...

Его символ – змей.[15] Ты чувствуешь его?

[1] Долина Шеврёз – лесистая местность в 40 километрах к юго-западу от Парижа, известная своими живописными видами.

[2] Женский бенедектинский монастырь Пор-Рояль (Руайль), основанный в 1204 г., был в XVII в. главным центром янсенизма (религиозное течение в католической церкви), французской литературы и философской мысли. Закрыт и разрушен в 1709 г.

[3] Расин и Паскаль были погребены в Пор-Рояле, однако после разрушения монастыря их останки были перенесены в Париж и перезахоронены в церкви Сен-Этьен-дю-Мон.

[4] Это утверждение не вполне соответствует действительности. В 1689 г., после 12-летнего перерыва, Расин создал трагедию «Эсфирь»; за ней последовала трагедия «Гофолия» (1690). Незадолго до смерти он написал «Краткую историю монастыря Пор-Рояль» (издана в 1742–1767 гг.).

[5] Известная трагедия Расина (1677), по существу, завершившая его творческий путь.

[6] В своей книге, повторяя принятую в теософии схему, Синнет писал о «семичленности» мирового процесса, о «семи расах», образующих «человеческий род одного круга» и т.д. (см.: *Sinnett A.P.* Die Esoterische Lehre oder Geheimbuddhismus. Übersetzung aus dem Englischen. Leipzig: J.C. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1884. S. 56).

[7] Синнет писал о том, что «возникновение животного мира относится к более далекому прошлому, чем период возникновения человека, обусловленного жизненным импульсом; а еще далее отстоит период возникновения растений...» (*Ibid.* S. 45).

[8] Синнет упоминает о днях и ночах Брамы как «вдохе» и «выдохе» творческой первопричины мироздания (*Там же.* S. 52). В «Тайной доктрине» сказано, что дни и ночи Брамы – это «наименования, данные Периодам, называемым Манвантарой (Мануантара или между двумя Ману) и Пралайей или Растворением...» (*Блаватская Е.П.* Тайная доктрина. Т. 1. Космогенезис. М.; Харьков: ЭКСМО-Пресс-Фолио, 2002. С. 478.

[9] Пралайя (в теософии) – вселенская ночь, временной промежуток между двумя манвантарами. Е.П. Блаватская характеризует Пралайю как «период обскурации или покоя – планетного, космического или вселенского» (*Блаватская Е.П.* Теософский словарь. С. 355) ; о различных видах Пралайи подробно сообщается в «Тайной доктрине».

[10] Манвантара – вселенский день, промежуток между двумя затемнениями (см. также примеч. 8).

[11] Волошин приводит одно из основных положений «Тайной доктрины»; о том же писал и Синнет в «Эзотерическом будхизме»: «Мы находимся сейчас в пятой расе нашего четвертого круга» (Op. cit. S. 56)

[12] См. п. 135.

[13] Волошин был знаком, судя по данному письму, с книгой Л. Менара, посвященной Гермесу Трисмегисту (Трижды Величайшему): *Ménard L.* Hermès Trismégiste, traduction complète, précédée d'une étude sur l'origine des livres hermétiques. Paris: Didier et Cie, 1866.

[14] Имеется в виду римский император Юлиан Флавий. Волошин, возможно, прочитал об этом в «Тайной доктрине», где говорится, что «именно через посредничество Меркурия обращался император Юлиан к Оккультному Солнцу каждую ночь» (*Блаватская Е.П.* Тайная доктрина. Т. 2. Антропогенезис. С. 37.

[15] Одним из атрибутов Гермеса был жезл или посох (кадуцей), обвитый двумя змеями.

138. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

4/17 сентября 1905 г. Цюрих

17 сентября.

Милый мой, наконец, письмо от Тебя.[1] Как я его ждала! Да, я чувствовала, что Ты несчастлив..... Отчего? Этого ясно я не понимаю. Твое письмо почему-то страшно потрясло меня.

Точно что-то оборвалось. Я не знаю, что это. Жалость..... Жалость нас связывает. Любви нет? А что называется любовью, как не соединение жалости, нежности и чувства. Или это не соединено у Тебя? Или радости в этом для Тебя нет? Или... Ах, Макс, я ничего не понимаю, ничего.

И почему мне стало так ужасно. Ты ведь со мной, я с тобой. Почему что-то оборвалось?

Не нужно думать о себе. У нас столько другого. Когда я не думала обо всем этом эти дни, я была счастлива. А сейчас...

И вот о Штейнере... почему я так волнуюсь, читая о нем. У меня нет, должно быть, бескорыстных чувств. Всякое чувство у меня принимает личный характер. И я не знаю, сколько нужно времени и какая работа, чтобы этого элемента не осталось. Во мне столько совсем земного, и это сливается с лучшим, что есть во мне. Это придает ему яркость, плоть и кровь, но это что-то не то.

Нет, я не могу писать ему, я не могу подойти к нему, я не готова, я не забыла себя.

Avant que l'âme puisse se tenir debout en la présence des Maîtres, ses pieds doivent être lavés dans le sang du cœur*.[2]

Во мне сейчас плачет человек, и божество ждет тишины.

Макс, мой Макс, мой любимый, почему же Ты так мало пишешь о себе? В чем твоя смута? В чем же ты сомневаешься.

Мне ведь ты должен говорить все... все...

Ты ждешь испытаний, только помни, что я с Тобой, что я не отойду от Тебя. Чем Ты слабее будешь, тем буду сильнее я, а когда Ты будешь расти, я буду делаться Твоим ребенком. «Хочешь так играть?»[3] Отчего я не могу взять сейчас в руки Твою голову и так крепко прижать ее к своей груди.

Я думаю иногда... может быть, Ты еще страдаешь оттого, что я не все Тебе даю. Что ко мне у Тебя нет того чувства, кот<орое> все же живет в Тебе и должно иметь удовлетворение. Между нами оно не могло возникнуть, это таинственно, уродливо может быть. Но, Макс, я думаю, что все, что есть в человеке, должно находить удовлетворение, ничего нельзя

* Прежде чем душа сможет предстать перед Учителями, стопы ее должны быть омыты кровью сердца (*фр.*)

заглушать, все должно вполне развиться. Такая борьба — бесплодна. Не считай себя связанным, Ты совсем свободен. Если бы я могла дать Тебе все, но я не могу.

Я не знаю, может быть, то, что я пишу, чудовищно и в эту минуту очень оскорбительно Тебе. Прости меня тогда. Прости меня, мой милый. Тогда забудь эти слова. Я ведь пишу Тебе все, что проходит через мою душу.

Как я люблю Тебя, Макс. Если бы Ты знал.

Я думаю, я буду для Тебя тем, чем Ты захочешь, чтобы я была для Тебя.

Прощай, Макс, прощай мой кудрявый, мой хороший. Чувствуешь ли, я с Тобой.

Читаю «Упанишады».[4] Сначала некрасиво и темно, потом красиво и ясно. Я вновь могу работать и читать.

Дорогой, милый, я не знаю, как назвать Тебя, чтобы в этом имени Ты почувствовал, кто Ты для меня. Когда будут минуты сомнений и смуты, не знаю в чем, но ты тогда, во всяком случае, помни, что я с Тобой и что, может быть, больше может поддержать Тебя, что Ты нужен мне. Макс, именно Ты, Ты, какой бы Ты там ни был; но что ты, ты не один. Обними меня покрепче.

Вчера я была на Вагнеровском концерте.

Что же Ты не пишешь про «Валькирию». Ты слышал?

Сегодня воскресенье, и мое письмо не уйдет. Досадно. Пиши мне.

Мне трудно оторваться от письма. Мне хочется быть с Тобой все время, говорить с Тобой, держать в своих руках Твою голову, чувствовать Твою руку на моей груди. Чувствовать Тебя совсем близко, совсем безраздельно близко. *Так*, ты любишь меня?

Как Ты читаешь мои письма? Как Ты помнишь меня и чувствуешь ли Ты свою голову у меня на плече, у меня на груди и меня в руках?.. Чувствуешь, что я лежу у Тебя на руках, у Тебя на груди. Я вижу запрокинутую Твою голову и целую Тебя в глаза и губы, Макс, я буду для Тебя тем, чем Ты захочешь, чтобы я была. Неужели Ты всегда будешь только послушен и никогда не требователен.....

Что люди называют любовью?

Чего в Тебе нет, и есть ли это во мне? Может быть, мы созданы друг для друга.

Увидимся ли мы до моего отъезда в Россию?

Неужели я еще раз не почувствую Тебя близко, как в лесу.[5] Перед отъездом, чтобы это прикосновение надолго осталось в моих руках, на моих губах.

Чтобы в России я не почувствовала себя одной, чтобы не подумала, что все это сон. Чтобы всегда Ты был рядом, чтобы мне не было страшно ночью; чтобы днем меня не пугал свет и люди, и мысли.

Чтобы я чувствовала себя твоей вся.

Письмо от А<нны> Р<удольфовны> я получила[6] и скоро ей отвечу. Не оставляй ее. Ты все от нее получил? Что с ее сердцем?

[1] Имеется в виду п. 134.

[2] «Свет на Пути». С. 31.

[3] См. примеч. 2 к п. 1, примеч. 12 к п. 9, а также п. 126.

[4] Упанишады – древнеиндийские тексты, восходящие к I в. до н.э. и лежащие в основе большинства религиозно-философских систем Древней Индии.

[5] См. примеч. 5 к п. 121.

[6] Имеется в виду письмо Минцловой к Сабашниковой от 30 августа / 12 сентября 1905 г. (см. примеч. 1 и 8 к п. 134).

139. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

4/17–5/18 сентября 1905 г. Париж

17 сент<ября>. Воскресенье. Ночь.

«Мир сотворили скованные цепями боги».[1]

Какая странная грусть в этих таинственных словах. Такие сложные и запутанные узоры творения мог вырисовать только заключенный в темницу, только Бог, окованный цепями Времени.

Экстаз создал бы формы более простые и строгие. Наш мир придуман – какая-то кропотливая кабинетная работа.

Слишком много орнамента.* Может быть, секрет в том, что этот Бог, сотворивший мир, был подчинен времени. Бог вечен – стало быть, он во времени. Вечность – это подчинение времени, а не победа над ним...

У меня бродят смутные образы о Люцифере – низверженном. Как люди не соединили этого с понятием вечного падения времени...

Эзотерическое знание не дает победы над временем. До самого конца Манвантары мы подчинены потоку. Адепты могут переплывать его, замедлять и ускорять свое стремление, но и они не могут плыть против течения.

Во всем том, что я читаю, – никто не заглядывает за пределы времени. Ни в одном из священных текстов я еще не нашел намека на это... Великая птица Ом?[2] Но ведь и она скользит по струям времени вниз...

Что ты думаешь об спиралях времени?

Сегодня Ан<на> Руд<ольфовна> говорила о жалости.

«Это странное чувство. Оно часто сильнее любви. Она идет параллельно с ней, но не сливается. Оно ведет к безумию... Из жалости возникают бóльшие безумия, чем от любви.

Помните в “Валькирии”... когда эта несчастная, измученная женщина лежит на коленях Зигмунда... У него нет к ней больше любви. Одна жалость... И когда Валькирия зовет его в Валгаллу, он иронично передает поклон своим предкам, и остается ради этой бледной, измученной женщины... У него одна жалость... Она одна звучит в музыке... Жалость может быть сильнее любви...»[3]

О «Валькирии» – она была поставлена и пелась отвратительно. Нужно было совсем не смотреть на сцену и слушать

* Геометрические пути планет, эти звездные чертежи, в которых чувствуется циркуль и рейсфедер, меня всегда немного шокировали. Почему в звездном мире нет стройного органического роста древесных волокон, ветвей, листьев... Растение уже совершенство, а звездные системы какая-то упрощенная молекула... (*Примеч. Волошина.*)

только оркестр. Но и тут мешала невыносимая публика... Едва только я сосредотачивался, как кто-нибудь наступал или переступал через меня.

Когда начинается финал — мотив огня, был на сцене весьма остроумно устроен фейерверк: лопались ракеты, крутились звезды, извергались вулканы — словом, было придумано все, чем как-нибудь можно было заглушить и испортить музыку.

Никогда больше в оперу не пойду. Никогда. А бу<ду> ходить только в концерты.

Припадки с сердцем у Ан<ны> Руд<ольфовны> все сильнее и продолжительнее. Я сегодня застал ее в полном отчаянии со слезами на глазах. Но после нескольких минут борьбы я всегда могу остановить ее припадок. При мне она не бывает больна.

Я сам себе не верю. Но это так.

Я теперь, будучи у себя, чувствую, когда начинается у нее припадок. Это очень странно.

Я еще не научился различать ясно эти ощущения. Я еще не могу сразу верно определить, изнутри ли они или снаружи. Точно прозревший слепорожденный, который не знает, в нем ли образы или вне его.

Зрение развивается и проверяется осязанием. Чем же проверять это чувство — шестое?

Кто дает, тот связывает себя... Я теперь физически чувствую эту связь. Чувствую совсем бессознательно. Только после догадываюсь, откуда приходило то странное состояние...

Покойной ночи, моя милая девочка. Дай мне поцеловать твои гвоздики... Прижать тебя... близко, близко смотреть в твои глаза... Чувствовать твое сердце... прикосновение твоих волос...

Понедель<ник>. Утро.

Я только что получил твое письмо.[4] У меня сейчас сидят люди. Я выходил на улицу, чтобы его прочесть. Мне надо много, много говорить.

До вечера. Милая... любимая...

Адрес Мар<гариты> Констант<иновны>??

[1] Эта же фраза встречается в одной из записных книжек Волошина 1905–1907 гг. (Записные книжки. С. 52). Источник цитаты не установлен.

[2] Ом (Аум) – слог, передающий божественное имя, символ бесконечности Духа и т.п. «Мистический слог, самое священное из всех слов в Индии. <...> Это слово обычно ставится в начале священных Писаний, и им начинаются молитвы» (*Блаватская Е.* Теософский словарь. С. 327). Часто изображается в виде птицы.

[3] Минцлова пересказывает содержание второго действия оперы «Валькирия» (см. примеч. 9 к п. 64).

[4] По-видимому, п. 136.

140. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

5/18 сентября 1905 г. Париж

Понедельник. Ночь. 18 сент<ября>.

Аморя, милая моя, радость моя... вот я, наконец, один с тобою, с твоим письмом.[1] Я его днем прочел на улице, потому что у меня были люди, а потом все носил его на груди и только теперь я один с ним; с тобой... Дай мне уткнуться носом в твое плечо. Я сегодня могу говорить только «с плеча»...

Я все думал об словах Ан<ны> Руд<ольфовны>: о нежности, о жалости, о чувственности...

Когда она говорила о Зигмунде,[2] она еще прибавила: «Он мне в то время казался ужасно на Вас похожим».

Чувственность есть в каждом. Но она становится стыдной, когда о ней можно говорить отдельно... А я об ней могу говорить и думать только отдельно...

Она самостоятельна... Моя милая девочка, есть то, что меня пугает больше всего... Она абстрактна, она не связана ни

с какой определенной личностью... Для нее – для этой страсти, у меня нет индивидуальности...

Были мгновения, когда эта волна широко подымалась – подымалась к тебе и заставляла меня трепетать с головы до ног. Но она, эта чувственность, может так же поднять<ся> не только к тебе... Милая моя, любимая... Моя нежность, мое благословение – оно к тебе, только к тебе, для меня оскорбление подумать о другом... А чувственность может быть свята, только когда она к одному... В этом мой ужас... в этом неизбежность... Эти дни во мне много раз знакомым головокружительным туманом подымалась эта страсть, она была к тебе и потом вдруг как-то становилась вообще... Я не знаю, как это сказать. И все во мне, все – другое – мое: все возмущалось, кричало против этого...

Я вглядываюсь в эти области души, и мне порой кажется, что это чувство во мне какое-то очень старое, в котором много воспоминаний и пережитого, и что, может быть, его можно теперь выдернуть с корнем... но выдернуть совсем... это опять не человеческое...

«Ум мой запутался в траурных складках»...[3]

У тебя все это цельно, едино, бессознательно... Как я подойду к тебе?.. Мне хочется припасть к твоим коленям и просить: «Прости меня»... Но что же здесь прощать?.. Как же это прощать?..

Сказать: мы будем только друзьями?.. И все во мне восстает и возмущается... Я люблю тебя больше, о, я люблю тебя совсем не как друг... Для меня радость, безумное счастье быть совсем близко около тебя, целовать тебя, чувствовать тебя всю совсем моею на моих руках... Любимая моя, вечная... мне сейчас оскорбительно думать о том, что я написал только что, а я знаю, что будут минуты, когда снова нахлынет какое-то позорное чувство с позорным безразличием... Что же это значит? Кто проклял меня?

Или в этом мы *найдем* благословение?

Пред тем, как получить твое письмо, я сидел и сосредоточился. Я хотел представить себе первую страницу «Света на пути». И я вспомнил и ясно прочел слова: «Прежде чем душа может предстать перед Учителем, стопы ее должны быть омыты кровью сердца»...[4]

Потом мне принесли твое письмо[5] и новый экземпляр этой книги из магазина... И я прочел в письме эту же фразу... Я читал ее, когда ты только что уехала из Парижа...[6] Я был еще слишком мало подготовлен. Я многого не постигал и потому был не согласен... Позже я все вспоминал отдельные фразы и слова. Теперь я буду перечитывать ее снова... От нее веет такой радостью и твердой уверенностью... Точно это то, за что действительно можно держаться крепко.

Когда я приехал с вокзала, проводив тебя, я вложил розу между ее листами... Теперь она лежит в моей новой книге.[7]

Связывает то, что даешь человеку...

Как мало я тебе дал... Как много бы мне хотелось дать тебе... Аморя, милая... что дать тебе? что сделать для тебя? Я дал тебе до сих пор только боль, только боль... и уже эта боль связала нас... Да... Даже достаточно дать боль, чтобы быть уже связанным... Это самое узкое и крепкое кольцо... Может быть, это и есть та жалость, которая сильнее любви? Не знаю. Я не сознавал до сих пор в себе жалости... Только нежность... Нежность моя обнимает и баюкает тебя... А почему у меня навертывались так часто слезы, когда я глядел в твои глаза?..

Да. Не будем думать и говорить о себе... У нас слишком много другого... Нельзя всегда перебирать эти нити — они иначе никогда не окрепнут. Нельзя смотреть друг другу в глаза так долго, целыми неделями... Это так же ядовито, как зеркало...

Нет. Я больше не буду говорить об этом... Зачем нам надо так уже подробно знать, *как* мы любим друг друга. Уже довольно того, что мы любим. Не надо этого... Говорить об этих вещах надо только тогда, когда невыносимо молчать... Не надо скрывать, но и не надо говорить...

Дитя мое, дай мне свою руку. Будем радостны и сильны... Чувствуешь ту волну силы и нежности, которую я посылаю тебе?

Ты даешь мне свободу?.. Какая ты смелая и благородная... Но разве же я могу взять ее?.. Дитя мое, я не могу простить себе, когда *мечта* изменяет мне, когда *мечта* не покорна моей любви к тебе...

Дитя мое, ведь ты же мне дороже всего на свете... Если я уйду от тебя – то я не умру и буду даже счастлив и бездумен, но дух мой умрет во мне... Ведь ты жизнь духа моего... Ты его воскресила...

Царевна Маргарита[8] – прикажи... что мне сделать для тебя?

Девочка моя милая, бедная... голубка моя...

Когда ты уедешь из Цюриха? Я скован сейчас безденежьем, а потом разными квартирн<ыми> делами до 6–7 октября... Ан<на> Руд<ольфовна> уезжает в Берлин в эту субботу. Она просит никому не писать о ее болезнях (сердца), особенно Тат<ьяне> Алексеевне...

[1] См. п. 138.

[2] Зигмунд – один из главных героев вагнеровской «Валькирии» (согласно первоначальному замыслу, опера называлась «Зигмунд и Зиглинда»).

[3] Строка из стихотворения Волошина «Быть заключенным в темнице мгновенья...» (см. п. 68 и примеч. 3 к п. 71). Строка имеет разные варианты; в опубликованном тексте: «Разум запутался в траурных складках».

[4] См. примеч. 2 к п. 138.

[5] Т.е. п. 138.

[6] Имеется в виду отъезд Сабашниковой из Парижа в Цюрих 11/24 июня 1905 г.

[7] О розе, положенной Волошиным в книгу «Свет на Пути», см. также в п. 132.

[8] См. примеч. 7 к п. 37.

141. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

5/18 сентября 1905 г. Цюрих

18 сентября.

Милый мой, я эти дни так хочу быть с Тобой. Алешины экзамены начинаются 6-го и до 13. Так что 15 я буду в Берлине. Я бы хотела видеться с Тобой не здесь, а назначить хотя бы Айроло[1] или другую деревню. Это ничего, что холодно теперь, можно теплее одеться. Проводи А<нну> Р<удольфовну> и на велосипеде приезжай, куда хочешь, я достану денег и приеду. Числа 25-го. Да? К этому времени я кончу том «Haute Science», и Ты привези мне другой. Теперь я читаю Ямвлика. Эта вещь страшно близка мне. Боже, если бы не мои глаза, но у меня постоянно от чтения болит голова.

Знаешь что, Твоей гимнастикой я очень увлекаюсь и делаю после обливания каждый день, но чувствую себя вовсе не хорошо, меня знобит потом весь день. Если бы я знала, как управлять своим организмом, я была бы богом, но это вовсе не так просто.

Относительно эволюции – есть, значит, две противоположные: одна – эволюция души, которая идет независимо от эволюции организмов на земле. Так, что ли?

А Штейнеру я все-таки пишу. Нет ли у Тебя русско-немецкого словаря?[2]

Знаешь, я, оказывается, Тебя ужасно люблю как ребенка, как мать, как брата, как врача, как всё и еще как-то совсем иначе. Я не знаю, от чего и к чему это придет. Пиши мне, п<отому> ч<то> Твой ребенок не может жить без Тебя.

Посылаю оба счета. После первого мне были присланы две маленькие коробочки, в коих находились лиловая, зеленая, черная и terre de Sienne*[3] да холст.

---

* Сиенская земля (фр).

[1] Айроло (Airolo) – живописная деревня в кантоне Тессино (Швейцария) у подножия Сен Готарда.

[2] Письмо к Штейнеру было написано Сабашниковой (начерно) по-русски и сохранилось в бумагах волошинского архива. Приводим этот текст в извлечениях:

«Вы сказали мне, чтобы я написала Вам, если у меня будут к Вам вопросы. (Это было в Цюрихе.) [Но] их слишком много или их нет. [Нас] мучают те вопросы, которые не умеешь поставить. Когда вопрос поставлен, ответ уже есть в нем самом и в самом спрашивающем. Вопросы в массе приходили мне тогда же, но я так мало знаю и боялась заставлять Вас повторять то, о чем Вы и другие, уже писали.

Но я пишу Вам, п<отому> ч<то> обращаться к Вам лично для меня высочайшее счастье, и та минута, когда мне открылась эта возможность, была счастливейшей минутой моей жизни. Вы не знаете или нет, Вы знаете, что Вы для меня сделали. Я так долго ждала Вас.

Один четырехлетний мальчик спрашивал меня: «А вот с Богом, с ним можно гулять за ручку, бегать?» И мне было грустно. Я так хотела увидать человека, да, живого человека, как я, с моими глазами и руками, и все же не такого, сильного... И вот, ког<да> я увидала Вас, Ваши глаза, в которых море скорби, в которых весь пройденный Вами длинный страшный путь, я почувствовала радостный ужас. Вы видите, Вас не обманут слова. Я так долго ждала Вас, и вот теперь я чувствую, что еще не готова, что я не смею с Вами говорить. Во мне слишком много пыли, все лучшее и бескорыстное, что вспыхивает, так перемешано во мне с другим. Но Вы видите. И если Вы обратились ко мне, Вы этого хотели, значит, есть возможность, и вот я отдаю Вам мое сердце, чтобы оно было чисто, чтобы оно было ярко <?>. Мне хотелось бы открыть Вам его без слов; что я буду говорить Вам? Но что бы я ни говорила, если это даже будет совсем не то, Вы услышите, что нужно. Ужасно, что всегда за минутами просветления и подъема следует упадок и сомнения. Что за каждую победу над тем, что называют действительностью, эта действительность мстит, торжествуя, скептицизмом, сонным равнодушием. Из всех демонов страшнее всего тот, <что> является в образе приличного господина, разумного и умеренного. Я не знаю средств бороться с ним. Мне кажется иногда, что я [иду] окружена непроницаемой стеною своих снов, что сны летят [впереди меня, сжигая все на пути моем] за мной, кружатся вокруг и закрывают солнечный свет, и обращают в пустыню, сжигая все на моем пути. Я не верю им и не могу прервать их круг. Хочу позвать кого-то и боюсь позвать свой сон.

Моя жизнь была как бред. У меня не было силы проснуться или совсем заснуть. И только немногие яркие минуты прорывали

этот туман. Минуты художественного творчества или совсем особого прояснения. И вот когда я спросила Вас тогда, как нужно работать над своей физической оболочкой, чтобы эти минуты прояснения не были редкими и случайными явлениями, приходящими <и> уходящими; чтобы они были естественным состоянием, чтобы можно было владеть своими духовными глазами, я спросила это для того. Вы говорили о концентрации. <...>

В каждом человеке я вижу 10 людей, и все они совсем разные, и все правдивы, и я никогда не знаю, с которым из них заговорить, п<отому> ч<то> когда я говорю с человеком великодушным, благородным, его отстраняет маленький, подлый, и когда я начинаю ненавидеть его, я вижу вновь благородного, и так во всех, и так в себе, и вот еще, что мешает мне жить. Теперь, когда я одна, этого нет, когда я среди людей, всякое их представление для меня такая же реальность, как и моя, и эти реальности уничтожают одна другую, и это прямо болезнь. Я знаю, что нужно: или надеть шоры и иметь смирение войти в свою скорлупу и видеть все с одной стороны, или подняться на такую высоту, с кот<орой> видно общее. Но я не вижу выхода.

Что Вы называете реальностью? Это очень большой вопрос. Это самый большой вопрос. Что это и чем постичь ее? Это белый цвет, <в> кот<ором> сливаются все цвета? Это неподвижная точка центра; безличие? В этом нет радости, мне доступной радости. Но я неясно говорю, я хочу спросить об индивидуальности, как она возникла и будет ли она тогда, когда каждый будет совершенным. Разве может быть не одно совершенство? Нет, я чувствую, что так спрашивать нельзя. Так большие вещи делаются маленькими. Я хочу понять индивидуальность, откуда получилось, что все – на разных ступенях; и [такая] ли эта индивидуальность неделима и неслиянна, и так <ли> она проходит всю эволюцию. Я понимаю эту монаду в живописном, в человеке, в пророке; я не понимаю ее в коллективных организмах, в недифференцированных, в низших растениях и в минералах. Я чувствую, что я спрашиваю такую же нелепость, как gewöhnliche und christliche Theosophie <обычная и христианская теософия. – *нем.*>, но это действительно совершенно так же для <меня>. Когда говорят "душа леса", "душа народа", это не фраза? Значит, есть самосознание у этой души, своя эволюция и своя карма? Или это одни символы... <...> Я тут очень путаюсь, философские идеи незнакомы мне, я все понимала всегда только через искусство. Но этот вопрос – существеннейший вопрос жизни. Это чувство, от этого зависит мое счастье. Когда я была ребенком и оставалась лицом к лицу с природой, мне казалось, она чувствует то же, что и я; только, что глаза ее закрыты,

что она спит, но нужно произнести какое-то слово, и она проснется и сознает себя. Когда я просыпалась и видела предрассветное небо, мне казалось, что я застигла природу настоящей, больной и грустной, и мне казалось, я встречала ее взгляд заплаканных и ясных глаз. Тогда знание естественных наук жило рядом с романтизмом и уживалось <с ним>. Но потом рассудок, немощный и строгий, потребовал отчета, я должна была сознаться, что природа бездушна. Глухонемая, слепорожденная, равнодушная, она внушала мне ужас. Я не могла оставаться с ней лицом к лицу, как с трупом некогда любимого человека; вид звездного неба стал мне невынос<им>. И когда люди в комнатах говорили между собой о разных вещах, я все помнила, что за потолком черное пространство без дна, без дна и без глаз. И их слова были страшны и смешны. И иногда мне казалось, что все они все время помнят, что над ними эта черная бездна, но представляются, что не видят ее, и что если один снимет маску и не скроет ужаса, [произойдет нечто страшное]. Это были ужасные два года. <...> Но была одна вещь, кот<орая> спасла меня. Это было искусство, оно хотело жить и ничего не боялось. Оно, как ковчег, всплывало, и в нем, как в ковчеге, сохранилось все, чем жива душа. Его чудесной силой перекинулся мост через пропасть, старая сказка воскресла. Счастлив тот, кто живет в мире с старой сказкой. Художественное чувство <?> не верило в неодушевленность природы, и я продолжала видеть ее глаза. Мне казалось, что все в ней смотрит на меня с ожиданием, что я должна сказать ее темную мысль. Все эти осени, леса и рассветы созрели в душе, как непролитые слезы, мне кажется, что они будут мстить мне, если я не стану говорить о них. Они хотят говорить через меня. Что это? Когда я полна одним этим чувством, я не ищу ответа. Но бывают минуты, когда возвышает свой голос рассудок, немощный и строгий. Интуитивное понимание освещает, как молния, и проходит. Я не хочу опять упасть в эту бездну ужаса. И если есть путь к познанию, я хочу идти им, я хочу быть во всеоружии. Помогите мне!

Намекните мне, как подойти, укажите, что читать; но я читать могу очень мало, п<отому> ч<то> рисую много и у меня слабые глаза. Вы говорили в прошлый раз об эволюции от человека к обезьяне и т.д., где я могу узнать это и разве не существует параллельно другая эволюция – от обезьяны к человеку (мне представляется, что обезьяна сошла однажды с ума и стала танцевать, понявши ритм). И можно ли вообще говорить об эволюции в одну сторону, разве нельзя свиток развернуть в одну сторону и, вновь свернувши, развернуть в другую? Он останется тем же. Еще я просила бы Вас указать

мне книгу, где я могла бы узнать об отношении наследственности физической с перевоплощением.

Вопросов масса, общих и частных... Вы говорили о состоянии слепого человека после возвращения ему зрения. Я вижу чуточку, чуточку света, и вот уже все минуты жизни моей и общей зазвенели во мне, приходят в движение и ищут свои мысли.

Какая даль впереди! Какое небывалое смирение и небыва<ла>я гордость!

Вот главное, что у меня было сказать Вам, и если главного я не сказала, – Вы поняли. Простите мне лишние слова и недостаток слов. Простите мне многое. Тщеславие, жажда жизни и счастья – это живет во мне и со мною и так крепко прилипло ко мне, что иногда мне кажется, это я и есть, но, значит, есть и другое, если Вы заговорили со мной. Значит, что-то можно освободить во мне. И во имя этого теперь я подхожу к Вам. Ваше лицо со мною, я вижу его. Я так люблю Вас. Ваш путь был так велик и труден, что мне хочется умыть Ваши ноги и положить свежий венок на Вашу голову; что-нибудь сделать для Вас, что-нибудь» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 44).

[3] Сиена или сиенская земля – темно-желтая краска, применяемая в живописи.

142. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

5/18 – 6/19 сентября 1905 г. Париж

18. Вторник. Ночь.

Милая, радостная... любимая...

Я вчера опять каялся... Прости меня... Совсем не надо о всех мимолетных сомнениях говорить...

Твои письма каким-то трепетом проходят по мне... Быть с тобой снова... Быть одним, совсем одним... Обнять тебя крепче и ближе... Навсегда...

У меня кружится голова, когда я думаю о тебе... Но потом приходят другие минуты... У меня является такое же предчувствие неизбежного, такое же опасение, как было у тебя, когда я просил тебя ехать в горы.

Что-то говорит мне: это будет окончательно... И охватывает жгучая радость...

А другое говорит: еще надо много пройти... надо заслужить друг друга... Счастье еще не добыто страданием, отречением, победой над собой...

«Ноги не омыты в крови сердца»...[1]

Сегодня я заговорил с Ан<ной> Руд<ольфовной> о том, что я хочу еще раз увидеть тебя перед отъездом. Она вдруг заговорила страшно решительно и без колебаний:

«Нет, нет... Теперь Вам нельзя ехать в Цюрих... Нет. Марг<арита> Вас<ильевна> не должна Вас видеть раньше, чем она увидится со Штейнером. Вы понимаете, как важно для нее это свидание... Это решительное для всей ее жизни... А если она приедет, только что расставшись с Вами, — он не сможет ее увидеть... Понимаете — она не будет сама собой вполне... Ему нельзя объяснить это... Пусть, как бы тяжело ей не было, она не видит Вас до приезда в Берлин.. Приезжайте в Берлин после... Там Вам можно будет увидеть ее...»

Моя милая девочка... У меня есть минуты, когда мне кажется, что все, все счастье наше в том, когда мы снова увидимся одни в горах...

А потом я думаю, что мне именно поэтому никак, никак нельзя ехать к тебе...

Я ничего не решил еще... Я поэтому до сих пор ничего еще не писал об этом тебе...

Меня еще задерживает отсутствие денег и необходимость до начала октября ликвидировать дела Семеновской квартиры,[2] что я обещал ему, а в начале октября переселиться самому в мою новую мастерскую...[3] Но это все можно было бы бросить, что бы там ни было... И денег достать...

Я ничего не знаю... В эти дни я решу...

Дитя мое... Я чувствую твою близость на рассвете, пред тем, как просыпаюсь...

Я чувствую твои руки около моей шеи, чувствую твое дыхание... трепет всего твоего тела.., твои волосы на моем плече.., твои губы... И мне тогда кажется — не все равно ли, что советует Ан<на> Руд<ольфовна>, что увидит Штейнер...

А утром, когда я читаю «Свет на пути», я с ужасом вспоминаю эти мысли...

Я еще слишком слаб и для того, и для другого. Дитя мое, не презирай меня за слабость. Я стану сильным; я приду к тебе сильным...

Мне дана нежность и сила... Но меня лишили любви. Но я возьму любовь... Я возьму любовь, Аморя.

«В горах» мы должны встретиться сильными и смелыми. Ты готовься радостно и смело отдать мне всю себя, бесповоротно, окончательно... не оглядываясь назад, не думая ни о чем другом... Я <готов?> взять всю тягу твоей жизни на свою душу, не боясь причинить боль твоим...

Только так мы можем увидеться... Иначе нет! Мы только ослабим друг друга иначе...

Сейчас мы не можем так встретиться... Значит, нужно ждать...

Или можем?!

О, я все, все могу взять на себя... Только одно есть, пред чем я останавливаюсь смутный и радостный: причинить тебе жгучую, непоправимую боль.

...Я не буду всегда послушен... но *требовать* сам, требовать я не буду. Весь мой дух возмущается против самого понятия требования...

В этом инстинктивном почтении (почтении, но не подчинении) к каждой другой воле — мое бессилие и, может быть, мое единственное достоинство, которое, несмотря ни на что, что есть во мне, открывает мне сердца людей...

Дитя мое, я никогда, никогда ничего не буду требовать от тебя...

«Неужели ты всегда будешь только послушен и никогда не требователен»...[4]

Дитя мое, в этих словах есть малодушие...

Если ты хочешь дать — давай смело, но не жди просьб... То, что дано по просьбе, теряет свою ценность.

То рукопожатие, благословленное алыми розами, которое ты мне дала сама,[5] мне дороже всех поцелуев и ласк, которые я брал... Оно навеки связало меня и бросило к твоим ногам...

Требование разделяет, даяние связывает...

О, я помню каждый твой первый жест ко мне, каждое твое объятие, каждый твой поцелуй, которые ты первая дала мне... И я совсем забыл те, которыми ты отвечала мне... отвечала на мои ласки...

Нет. Я никогда ничего, ничего не потребую от тебя, пока буду собой...

Неужели это потому, что во мне нет настоящей человеческой любви? Если так, то я не хочу такой любви... Я хочу тебя любить по-своему, и люблю тебя так, как я люблю, как я могу любить, как бы там это не называли.

Девочка моя милая, дай мне твою руку, дай мне взглянуть в твои глаза до самого дна. Я сейчас не хочу ни обнимать, ни целовать тебя... Посмотри мне в глаза...

Ведь души наши обвенчаны алою Розой, и никто в мире их не может разделить?..

Дитя мое... Сестра моя... Невеста моя...

[1] Из книги «Свет на Пути» (см. примеч. 2 к п. 138).

[2] Т.е. парижской квартиры М.Н. Семенова (см. примеч. 2 к п. 52).

[3] 22 сентября / 5 октября 1905 г. Волошин переехал в ателье по адресу: ул. Эдгара Кине, 16 (см.: Труды и дни. С. 147).

[4] Волошин цитирует слова Сабашниковой (п. 138).

[5] См. примеч. 6 к п. 50 и примеч. 3 к п. 132.

143. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

6/19 сентября 1905 г. Цюрих

Вторник. 19.

Сегодня ни утром, ни днем письма от Тебя не было. Так рассердилась и огорчилась, что решила никогда с Тобой не иметь ничего общего и не писать Тебе. А вот сейчас вечер, гроза страшная и вдруг так не вовремя пришло письмо. Ты что-то ужасно завираешься насчет времени. Все это както зря, по-дилетантски и игра слов. Дитя, что Ты говоришь, ведь Ты же этого сам не понимаешь и не представляешь себе, п<отому> ч<то> мы созданы во времени и там, где кон-

чается время, кончается мысль. Ты знаешь, Ты со мной об этом никогда не говори, п<отому> ч<то> я в таких случаях начинаю думать, что или я очень глупа, или Ты очень глуп; а от того и другого мне делается очень горько. Об этих вещах можно рассуждать или логически-математически, или же они чувствуются совершенно интуитивно. А у Тебя одни фразы. Ты на меня не обижайся. Когда Кант говорит о времени или Лейбниц, – я понимаю; когда Идиот[1] – говорит о времени, я тоже понимаю. А когда Ты говоришь, я не понимаю – и начинаю Тебя ненавидеть.

Скажи, пожалуйста, что за радость в том, что падающий Люцифер – падение времени. Во всяком уравнении должно быть одно известное.

Вот что я нашла в «Упанишадах» относительно времени.

Et il (Смерть – Mrityu[2]) désire: Qu'un second âtman naisse par moi.

Et, en pensée, il s'accouple avec la voix, lui, Mrityu, avec elle, la Faim. Ce qui était la semence fut l'année, et auparavant, il n'y avait pas d'année.

Celui-la á peine né, Mrityu ouvrit la bouche pour le saisir, il fit bhân (?), et ce fut la voix. Et par cette voix, par cet âtman, il émit tout ce qui est, tout ce qu'est ceci quoi que ce soit... Tout ce qu'il émettait, il se mettait á le manger...*[3]

Вот немного о времени... А потом очень темно говорится про какое-то Божество, кот<орое> устранило Mrityu (смерть) и всё переносило через нее. C'est le feu passé par delà Mrityu qui brille ici.**[4]

В общем, ужасно туманно.

---

* И он (Смерть – Мритью) желает: пусть второй атман будет рожден мною

И он, в мыслях, сочетается с голосом, она, Смерть, с ним, Голодом То, что было семенем, стало годом, а до этого не было года.

Едва родившись, Мритью открыл рот, чтобы его схватить, он сотворил бхан (?), и это был голос. И этим голосом, этим атманом, он произвел из себя все сущее, все, что есть . И он принялся пожирать все, что произвел... *(фр.)*

** Это огонь за пределами Мритью, который сияет здесь *(фр).*

То, что Ты говоришь о звездах, будто они циркулем намечены, так это совсем неверно. Это чертежи, а не звезды; возьми чертеж какого-нибудь микроск<опического> разреза растения. Впрочем, верно, я не понимаю Тебя, и мне грустно и так чуждо то, что Ты пишешь. Убеди меня, что ты умный, а то мне кажется все, что Ты очень глуп и не то что глуп, а так что-то зря, игра ума, и самому Тебе до этого ни тепло, ни холодно. Макс, это не я, это мой консьерж...[5]

Макс, Макс, мне грустно, мне очень одиноко. Очень, как никогда в жизни. Потому что теперь совсем не с кем говорить, а Ты... Ты не знаешь любви... Говоришь Бог знает о чем... Что такое любовь? В Тебе нет любви... Ты всё делаешь из жалости. А я не хочу жалости. Я презираю жалость. Меня жалость оскорбляет. Тогда я ничего не хочу от Тебя.

Макс мой милый, любимый, прости меня. Я несчастна сегодня. У меня вчера адски болела голова весь день от чтения.

[1] Имеется в виду монолог князя Мышкина о ценности времени жизни (роман «Идиот», часть первая, глава V).

[2] Мритью – смерть или божество, персонифицирующее смерть (в древнеиндийской мифологии).

[3] Приводим этот отрывок в современном переводе: «Он пожелал: “Пусть второе тело родится от меня”. И разумом он – голод или смерть – произвел сочетание с речью. То, что было семенем, стало годом. До этого не было года. Он растил его столько времени, сколько длится год, и затем выпустил его. Когда он раскрыл рот, чтобы съесть рожденного, то произнес *бхан.* И это стало речью.

Он подумал: “Если я его убью, у меня будет мало пищи”. Тогда той речью и тем телом он сотворил все, что существует здесь <...> Все, что он произвел, он решил пожрать» (Брихадараньяка Упанишада. Пер., предисл. и коммент. А.Я. Сыркина. М.: Наука, 1964. С. 68).

[4] Тот же отрывок в современном переводе: «Поистине первым оно <Божество. – *К.А.*> увело речь. Когда та освободилась от смерти, она стала огнем. Выйдя за пределы смерти, этот огонь сияет» (*Там же.* С. 71).

[5] См. примеч. 7 к п. 81, а также п. 148 и 167.

144. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

7/20 сентября 1905 г. Париж

20. Среда. Ночь.

Моя милая, милая девочка... Сегодня не было письма от тебя... Я перечитываю твои старые письма... Как все шевелится и трепещет в них. Мне хочется перецеловать каждое слово, каждое слово...

Мы должны были сегодня все идти в Folie Bergère[1]. Но я уехал домой. Я весь день сегодня метался по Парижу на велосипеде в грязи, исполняя десятки поручений, которыми наградили Ан<ну> Руд<ольфовну> ее друзья... Как все они удивительно понимали ее характер, давая ей эти поручения: купить автомобиль, дюжину мужских воротничков, коллекцию модных журналов, Собр<ание> сочин<ений> Мопассана и т.д. ...[2] И после всего этого мне так захотелось домой, чтобы побыть с тобой наедине, что я обманул Чуйко и не пошел...

Я в себе чувствую какую-то странную власть по отношению к Ан<не> Руд<ольфовне>. Я могу бороться с ее сердцем. Я могу усилием воли остановить ее припадок, снять с нее боль... Когда без меня начинается у нее припадок, меня, где бы я ни был, охватывает мучительное беспокойство... Вчера во время обеда я это почувствовал с такой силой, что не мог есть и ушел из ресторана. Но я не мог пойти к ней, т<ак> к<ак> я знал, что она за столом.

Я пошел к Чуйко и сказал ему это. Потом я почувствовал, что ей лучше. Она пришла и рассказала, что все так точно и было.

Сегодня я у ней был, как и всегда, перед обедом. Я держал ее за руки и отдавал ей свою силу, укреплял ее.

И мне вдруг пришло то ощущение, которое бывает во сне, когда летаешь. Я сосредоточился... Представил себе движение крыльев, их взмах... И вдруг почувствовал, что Ан<на> Руд<ольфовна> все это тоже чувствует, что она вполне во власти моей мечты... И тогда я, сосредоточившись всеми силами на этой мысли, поднял ее мечтою и понес в Коктебель. Мне хотелось дать ей моря, простора, соленого ветра,

глухого шума волн... Этой пустынной тишины, которой так надо в городе, которая ее может успокоить, укрепить...

Я себе все это представлял страшно четко и ярко, ни слова не говоря ей... И она мне рассказывала все, что она видит и слышит...

Я никогда не чувствовал в себе такой гибкости и властности мечты. Я чувствовал в себе действительно широкие крылья, которые режут воздух. Потом я ее вернул обратно освеженную, бодрую, здоровую, полную тишиной моря...

Какие странные и великие силы есть в душе... Как радостно касаться их, отдавать их.

Завтра я обещал ее унести в горы...

При ней какие-то завесы раздираются в моей душе... Неужели все это исчезнет, когда она уедет?

Если можно так давать — зачем же тогда писать, рисовать? Вот настоящее искусство. Как мне хочется дать тебе это... Я это сделаю... Я буду упражнять свою душу... Сила внешнего видения у меня очень велика... Я воспитаю ее...

Я покажу тебе все страны, в которых я был... Все, что лежит нетронутое на дне души... Да? Мы будем так путешествовать? Ты мне положишь голову на грудь, свернешься у меня на коленях... Я обовью тебя руками крепко, крепко, и мы полетим... Радость моя... сестрица моя...

Я ничто так не чувствую, так мучительно близко, как душу пейзажа... Мне никогда ни в чем этого не удавалось передать... А так это можно... Есть крылья у души... Есть... настоящие крылья...

Я сейчас чувствую твои руки около шеи и твое лицо совсем близко... Твое сердце бьется в моей руке...

Любимая моя... Мы еще никогда не были одни. Всегда около нас была возможность чье<го>-то чужого глаза, чье-то появление...

Когда же мы будем одни, совсем одни, одни перед Богом, перед небом и перед землей. Когда же между нами и в нас самих не будет больше никаких граней, никаких запретов, никаких сомнений?

Нет... нет... Теперь я не приеду... Теперь еще этого не может быть... Нам обоим надо испытать самое страшное горнило испытаний: испытание давно знакомыми, привычными формами жизни; тебе в Москве, мне в Париже... Если мы пронесем наше — святое — через это не усомнившись — тогда мы встретимся и уже навсегда... Будем бодры, будем сильны, будем смелы...

Деточка моя... У меня иногда такой прилив силы подступает к сердцу, что мне кажется, я весь мир перевернуть могу... Не может же это быть обманом... Хоть немного силы да есть же у меня... Есть же откуда расти... А ведь это все ты, ты дала мне... Ты моя сила, ты мой дух, ты моя жизнь... Радостная... ясная...

Не смущайся ощущения озноба после обливания и гимнастики. Это всегда бывает так вначале. По крайней мере, у меня так было. У меня нет русско-немецк<ого> словаря. Почему ты не напишешь ему по-русски, как пишет Ан<на> Руд<ольфовна>? Ведь это гораздо проще и полнее.

[1] «Фоли-Бержер» (*букв.* «Безумная пастушка». — *фр.*) — известное парижское кафе.

[2] Среди писем Минцловой к Волошину сохранились листы с записями поручений: приобрести каталог известной французской автомобильной фирмы Дион-Бутон и отправить его в Петербург по адресу М.А. Шенк (для кузины Минцловой); послать (по тому же адресу и тому же лицу) книгу Алена Кардека «Что такое спиритизм?» (по-французски) и ряд зарубежных изданий Л.Н. Толстого. Кроме того, Минцлова просила достать для своего знакомого В.И. Танеева (брата композитора) портрет французского антрополога Ж. Ваше де Лапужа и узнать адрес американского писателя Брукса Адамса (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 19–20).

145. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

7/20 сентября 1905 г. Цюрих

Поговорим о странностях любви
Иного я не смыслю разговора.[1]

20 сент<ября>.

Ты говоришь, не нужно об этом думать, столько другого; и я это говорю, а потом сама же свожу всё к одному. Но послушай, – это не от праздности. Это сейчас стало центром. Твое письмо волнует меня. Ведь это так меня касается. Мне хочется сказать Тебе: будь верен только мечте и, если что-нибудь мешает Тебе жить, освободись от этого чувства, Ты свободен, но от одной мысли о прошлом, о возможности в будущем я прихожу в отчаяние. Я хочу, чтобы все исходило от меня, чтобы я все дала. Относительно того, что это чувство общее... Это так страшно. Может быть, это предрассудок пугаться этого, ведь большинство людей даже другого не понимают, и любовь уже индивидуальную считают привычкой. Я сама переживаю эти сомнения теперь. Я стараюсь представить себе другого... Может быть, это случайность, близость, кот<орая> в силу обстоятельств раньше ни с кем не была... Во мне проснулось теперь чувство, кот<орое>, может быть, смог бы разбудить всякий, кто захотел... И к этому еще примешивается желание сделать человека счастливым, все дать... Но, может быть, не исключительно одного... Мы с Алешей теперь иногда говорим об этих вопросах. Он рассказал про одного близкого знакомого... и... знаешь, я почувствовала такое же отчаяние, оскорбление, как будто это касается меня, как тогда..... Что же это значит? Иногда я думаю, что мама потому так боялась свободы для меня и потому так страшно волнуется и приходит в исступление от каждой моей свободной мысли, что она видит во мне возможность всего, не видит во мне консервативного инстинкта, как у Ляйзы, у Нюши, кот<орые> пугаются всего нового. В этом она видит их нравственность. И, может быть, это и есть нравственность. Идеи меняются, привычка остается; нравственность – хорошая привычка; идея, уже вошед-

шая в плоть и кровь. У меня нет ни в чем привычек, я могу стать всем.

Разве это не страшно? Ты хочешь, чтобы я говорила о падении времени. А я думаю сейчас о совсем другом. И не могу я об этом не писать Тебе, п<отому> ч<то> только с Тобой могу об этом говорить. И как я рада, что я так свободно могу говорить с Тобой, как с собой. И у меня такое чувство полного доверия к Тебе. Может быть, Ты можешь мне что-нибудь объяснить.

Зачем это чувство именно теперь не дает мне думать о другом, когда я должна думать о другом, когда всё мое существо должно быть направлено на другое. Его раньше не было, его никогда не было в Твоем присутствии и, может быть, оно пройдет, когда я буду опять с Тобой у Тебя. А может быть, наоборот, и тогда нам лучше не видаться... Ты понимаешь, тогда разлука будет невыносима, и потом... я поеду в Берлин, где я должна быть совсем, совсем свободна от этого. И, может быть, не нужно этого в жизни, тогда нужно совсем уничтожить это чувство.

Многого, многого я не понимаю.

Ты в этом понимаешь больше меня. Поступай, как знаешь. Я совершенно верю Тебе.

Прощай. Утыкайся чаще в мое плечо, оно создано для этого.[2] Я не могу писать не об этом. Все это сразу вошло в мою жизнь. Я выбита из колеи, я не узнаю ни себя, ни жизни. Я боюсь себя.

Ах, зачем это совпало с Берлином.

Посылаю Тебе 80 fr. М<аргарита> К<онстантиновна> даст Тебе 108 (Rue Hamlin, 30). Lemaître'а я тебе верну,[3] пошли еще «Lumière sur le sentier» для Алеши. А что, «Théosophie pratiquée journellement» Besant*[4] хорошо? Пришли тогда.

Напиши про Чуйко, что́ он знает о Твоем пребывании в Цюрихе. Я ему писала. Он спрашивал Тебя?

---

* «Практическая теософия на каждый день» Безант *(фр)*

[1] Неточная цитата из поэмы Пушкина «Гавриилиада» (1821). У Пушкина: «Поговорим о странностях любви / (Другого я не смыслю разговора)».

[2] Отклик Сабашниковой на слова Волошина в п. 140: «Дай мне уткнуться носом в твое плечо».

[3] Какую именно из книг Ж. Леметра читали в 1905 г. Волошин и Сабашникова, не установлено.

[4] «Практическая теософия на каждый день» — книга, составленная А. Безант совместно с теософкой Констанс Вахтмейстер; вышла (анонимно) в Париже в 1899 г. (перевод с английского был выполнен А. Безант); неоднократно переиздавалась.

146. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

8/21 сентября 1905 г. Париж

21. Четверг. Утро.

Какое мертвое, какое ледяное письмо пришло от тебя.[1] Только несколько строчек твоего живого голоса в конце.

Какая глупая девочка... Ведь ты знаешь, что тут в этом вопросе о времени для меня есть самое важное. Во мне бродят, не переставая, какие-то образы и представления, намечаются новые возможности... Я стараюсь их уловить словами — это так трудно... Посмотреть на время — вне времени, вот что надо. Это я все стараюсь сделать.

Я думал, ты поможешь мне...

Жалость... об ней говорит Ан<на> Руд<ольфовна>. Я ее в себе совсем не чувствую. Нежность, нежность — да... Но жалость — может и есть она, но я не сознаю ее...

К слову «любовь» я начинаю относиться с какой-то ненавистью... Я не знаю, что во мне растет к тебе... Благословение неудержимое, как прилив океана... Милая, милая, милая девочка моя... Зачем нам испытывать то, что все испы-

тывают... Ну какое дело нам до того, можно ли это назвать любовью или нет?

Я не хочу этих слов... Я не хочу точных грамматических определений... В нас есть то, что есть... Это радость... Это сила... Милая моя, радостная... ясная... любимая...

Сейчас пришла открытка от Ан<ны> Руд<ольфовны>, написанная вчера вечером.

«Я очень далеко уходила. За обедом и все время море, море вздыхает и шелестит, как шелк, и рыдает от огромной радости – или горя... я не знаю, в моих ушах. Мне очень хорошо. Спасибо Вам».[2]

Мне почему-то вспомнился Пер Гюнт и смерть Озё.[3]

Почему тебе одиноко?.. Я все думаю о тех моих словах, которые уже прозвучали, но которые ты еще не услышала, и о тех, что идут ко мне еще...

Я пишу тебе каждый день... но письма опускаю не регулярно в разные часы. Твои письма тоже приходят разно. То утром, то вечером, то днем.

Я еще ни одного дня не пропустил без письма...

Моя милая девочка, моя бедная Аморя... Что я могу отдать тебе?.. Что сделать для тебя?..

[1] Имеется в виду п. 143.

[2] Текст открытки навеян рассказом Волошина о Коктебеле, куда он пытался «увлечь» Минцлову накануне вечером (ср. в п. 144: «...поднял ее мечтою и понес в Коктебель»). В сохранившихся письмах Минцловой к Волошину открытка от 7/20 сентября 1905 г. отсутствует.

[3] «Смерть Озё» – 2-я часть первой сюиты Э. Грига (музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт»). См. примеч. 9 к п. 73.

147. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

9/22 сентября 1905 г. Цюрих

22 п<ятница>.

Какое хорошее, хорошее письмо я получила от Тебя сегодня, мой милый. От 18-го.[1] Но почему письма так запаздывают? Вчера не было письма, и я за то не писала Тебе. Но хорошо сделала, п<отому> ч<то> вчера у меня был какой-то нервный припадок, был день великого плача. Потом пришло письмо Чуйко, где он описывает, как он работает,[2] и это переполнило чашу. Все эти дни я сидела над своим портретом. После плача великого решила дать всем демонам, мешающим мне писать его, последнее сражение. Удача на моей стороне, и уже вчера вечером я успокоилась.

Теперь я буду много писать. Это изгонит из меня бесов.

Мой милый, как же нам быть? Ну, как быть. Неужели не видаться до декабря. Видишь, тут сложная вещь. Я совсем себя не знаю. Что я люблю Тебя теперь совсем иначе, это я знаю. Может быть, это чувство пройдет, когда я увижу Тебя, а оно должно пройти, а если наоборот...

Потом я люблю Твои письма страшно, и я хочу убедиться, так ли я люблю Тебя, как Твои письма, и не тебя в лесу, п<отому> ч<то> не в лесу вся жизнь, а Тебя среди людей. Я люблю Тебя так близко, когда я Тебя почти не вижу, я люблю Твои глаза совсем близко, Твой шепот. Но Твой вид, Твой голос – мне так чужды. Что это, Макс? И люблю я Твою душу, правдивую и чистую, и нежную. Ты всегда будешь говорить правду мне, и перед Тобой я всегда буду говорить правду, п<отому> ч<то> Ты смелый. Я могла бы ждать месяцы, если бы я не боялась, что письма станут стеной между нами. Помнишь этот ужас в Страсбурге? В ноябре, в декабре я приеду в Париж, и это будет с Катей, с работой очень хорошо. Видишь, Макс, теперь я не могла бы быть с Тобой, как раньше, а, может быть, мне все это кажется без Тебя; а у Тебя я бы опять стала ребенком. Ты знаешь, я не рада этому чувству. Оно не должно быть главным. Оно обманывает, оно – не я, а общее во мне, и я его не хочу. Да, я хочу его победить теперь.

Оно мне совершенно не позволяет читать эту книжечку. Первые же слова останавливают меня. Но я Тебя так люблю...

Я благословляю все, что к Тебе, п<отому> ч<то> оно к Тебе.

Вот еще Твои письма... Мое сердце разорвется от этого прибоя любви, от этого крика, клекота. Ну да, я Твоя, Макс, конечно, навсегда. Да, да.

О, Боже мой, как я люблю Тебя.

Разве я не давно Твоя... Разве есть еще этот вопрос...... Его не может быть.

Поездка в Россию мне страшна. Сейчас я ничего не скажу. Потом приеду в Париж... Потом...

Осенью мы будем вместе.

Снимись только не в профиль, а прямо, с поднятой головой и с опущенной головой. Да?

Обнимаю Твою голову, прижимаюсь к Тебе, целую Твои глаза, Твои губы. Ты счастлив?

Как радостно читать мне о Твоей силе.

Унеси и меня в Коктебель.

[1] Имеется в виду п. 140.

[2] «...Я испытываю такой подъем, такие силы, теперь я действительно работаю много и плодовито, как только мечтал раньше», — сообщал Сабашниковой М.С. Чуйко 4/17 сентября 1905 г., добавляя, что завершает на днях портрет Минцловой, пишет этюд со своего натурщика Кармина и т.д. «А<нна> Р<удольфовна> в исступлении от всего этого, а Макс тоже...»,– заключает Чуйко (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 110, л. 31–31 об.).

148. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

9/22 сентября 1905 г. Цюрих

22 сентября.

Милый мой, что-то не могу сегодня работать, ни читать, ни рисовать из-за глаз. Я теперь вижу, что я могу работать только через день. День работаю, на другой день лежу с ком-

прессом и головной болью на кушетке. Давай лучше стану говорить с Тобой, п<отому> ч<то> я все время мысленно говорю с Тобой.

Поговорим, что Ты будешь делать зимой. От немецкого университета Ты энергично отказываешься, ну скажи мне, как и над чем Ты будешь работать? Ведь нельзя же сидеть и читать целые дни..... И нельзя писать, когда так ничего не знаешь, как Ты. Что же Ты будешь делать? Не завертись опять. Что Ты делал эту зиму?

Очень я Тебя люблю, вот что... Но это, ах, это нужно пока оставить; я даже письма Твои боюсь перечитывать; мной овладевает томление невыразимое. Этого еще не нужно, Макс, совсем не нужно. Ах, Макс, помоги мне быть благоразумной, не говори таких слов и не отвечай, когда они у меня прорываются...

Видеться нам нельзя в горах... И не из-за каких-либо причин, лежащих вне меня. Когда мы увидимся вдвоем, это будет навсегда, а сейчас нам нужно думать о другом. Я не понимаю, в каком смысле Ты говоришь, что Ты возьмешь на себя всю тягость; что я не буду бояться причинить боль. Как, Макс? Что можно сделать против слепого чувства недоброжелательства? Если бы это было в Средние века, Ты бы убил дракона или что-нибудь подобное. Правда?

Ну а что же тут поделаешь? Уж такой у Тебя вид, голос, манеры... Я посылаю Тебе папин портрет.[1] Он здесь очень похож; и на меня похож. Да? Пришли мне его обратно. Поколдуй над ним, чтобы он почувствовал к Тебе нежность. Вот знаешь, я его как-то люблю с жалостью, страшно и с каждым годом все сильнее, и я знаю, что я его радость. У него мало радости.

Я хотела о другом говорить: вот о чем: что Ты будешь делать. Предприми что-нибудь большое, основательное. Мне кажется, что Твоя работоспособность громадна, но что Ты никогда, никогда не заставлял себя ничего делать. А ведь для чего-нибудь большого нужна воля и упорство. Ты слышишь общие избитые фразы и сердишься. Нет, Ты мне скажи, что и

как Ты будешь делать. По-моему, у Тебя страшный пробел – это философия. Ею жила Европа постоянно. А Ты делаешь вид, будто это Тебя не касается. Ведь с вопросом о времени, как возились. Послушай, что другие говорят. Если бы у Тебя были совсем новые пути, а ведь Ты идешь теми же путями, которыми шли все метафизики, и говоришь вещи, кот<орые> они уже сказали. Обгони их, по крайней мере. Ты совсем не знаешь философии 19-го века? Прочти Куно Фишера[2] – он великолепен. Тебе, верно, смешно, что я говорю это. Но это всегда меня поражало, как Ты это ловко перескакиваешь. Уж очень Ты Европу презираешь. Но нужно сначала узнать, а потом уж презирать. «Не презирай младого самозванца».[3] А то поезжай в Индию, учись у них. Ну, милый, прости меня. Это консьерж.[4] Только обещай мне, что Ты будешь работать. Ты мне ничего не ответил на то, что я писала Тебе про Твои статьи в «Русь».[5] Что Ты будешь писать и как?

Тебя не тянет совсем в Россию? Знаешь, ужасный голод. Ты не поедешь? Что будет? Этот год переворота в нашей жизни будет решительным и для России. Я много думаю...

Ты будешь всегда жить за границей? И Тебе не тяжело? У Тебя нет связи с Русью? Ты южанин.... Что это за итальянские слова, кот<орые> слышала про Тебя А<нна> Р<удольфовна>?[6] Она рассказывала Тебе о моем сне.[7] Я не знаю, я не понимаю одной вещи: «Слабый должен дождаться роста и расцвета».[8] Что это значит? Как же? Бороться или не бороться? Если все должно быть естественно (ведь да?), то где же отречение? Отчего земное чувство несовместимо с тем путем и что делать?

Ну, Макс, теперь я не хочу больше говорить с Тобой, теперь я хочу, чтобы мы тихонечко посидели вместе, и я положу свою голову к Тебе на плечо. Убаюкай меня, Макс.

[1] Сабашникова послала Волошину фотографию В.М. Сабашникова (см. п. 156).

[2] Вероятно, Сабашникова имеет в виду многотомный труд Куно Фишера «История новой философии» (*Fischer K.* Geschichte der neuern Philosophie. 6 Bde. Stuttgart – Mannheim – Heidelberg, 1854–1857; 10 Bde. Heidelberg, 1897–1904). Сабашникова, как сви-

детельствует ее дневник, читала Фишера (чьи труды неоднократно издавались в русском переводе) в марте 1903 г., и Волошину это было известно (см.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 6 об.).

[3] Из трагедии Пушкина «Борис Годунов» (сцена «Ночь. Сад. Фонтан»).

[4] Ср. примеч. 7 к п. 81, а также п. 143 и 167.

[5] См. п. 131.

[6] 6/20 сентября 1905 г. Минцлова писала Сабашниковой: «И я видела М<аксимилиана> А<лександровича> во сне и слышала слова о нем по-итальянски – я их не помню сейчас – но я их вспомню и скажу ему, конечно» (У истоков русского штейнерианства. С. 165).

[7] В середине сентября в одном из писем к Минцловой Сабашникова описала свой сон – о письме, которое якобы написал ей Штейнер (см. об этом подробно в примеч. 4 к п. 156 и в п. 165 и 192).

[8] Парафраз одной из заповедей книги «Свет на Пути»: «Ищи в сердце своем источник зла и вырви его. <...> Только сильный может убить его. Слабый должен дожидаться, пока он созреет, даст плод и умрет сам» (Свет на Пути. С. 32).

149. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

9/22–10/23 сентября 1905 г. Париж

22 сент<ября>. Пятница. Вечер. 11 час.

Вот только теперь я почувствовал, наконец, усталость после вчерашнего.[1] Я еле добрался до дому.

Моя Аморя... моя милая, родная Аморя... Как мне хочется, чтобы ты была здесь со мной... Я бы положил тебе голову на колени и заснул. У меня страшный упадок сил. Но надо продержаться еще два дня до отъезда Ан<ны> Руд<ольфовны>. Теперь она спокойна, бодра, весела... Но я бы больше не выдержал такой ночи... Я боюсь, что когда она уедет, у меня снова начнется реакция и сомнения, как было до этого... Ведь тогда твое письмо о Штейнере сразу приподняло меня...[2]

Но сейчас я просто устал... Мне надо твоей ласки, твоих рук... Чтобы ты тихо провела рукой по волосам... чтобы ты поцеловала мои глаза... чтобы я заснул на твоих коленях...

Положи мне руки на лицо...

Мне хорошо... очень хорошо... Только я устал, духовно устал, воля устала... Всю ночь она была натянута, как струна... Я совсем спокоен... но разбит... Мне хочется твоей ласки... твоей близости... Успокой меня... люби меня... Милая, родная... ясная... любимая... Я засыпаю... совсем засыпаю...

23. Утро. Суббота.

Милая... как хорошо... твое письмо разбудило меня... Нет усталости совсем... Ты все время, всю ночь была со мной... Близкая, родная... Ближе, чем когда-нибудь... ближе, чем в лесу... я чувствую тебя сейчас, я целую тебя...

Мы не увидимся... Уезжай в Россию. В Берлин, конечно, я не приеду... Уезжай, не видя меня... Через это надо пройти... Я – чуждый, внешний в России встану перед тобой еще больше... но ты это должна победить... иначе я не могу тебя взять... Если я возьму тебя совсем – и это встанет после?.. Подумай только... Иногда у меня минуты острого сомнения... Я думаю, что я, может, теперь навсегда отпускаю тебя... что ты не вернешься... что все то, что есть против меня, победит тебя в Москве... что если б я приехал теперь, то ты бы стала моей навсегда... Нет... только не позови меня теперь... Если ты позовешь – я приеду... Ты понимаешь? Я ведь не могу твоему зову противиться... Не зови меня...

Поезжай в Россию... не расплещи... Когда ты уедешь из Берлина, чаша будет полна...[3]

Деточка моя... я тоже сначала мучился противоречиями, читая «Свет на пути»... Но нет противоречий... Ведь это для тех, кто покончил с жизнью... А для этого надо пройти сквозь нее, победить ее. Прочти внимательне<е> 5-тое правило с объяснением его.[4] Там разгадка противоречий... Нельзя убить желания жизни, не пережив ее.[5]

Да. От писем трудно переходить к жизни. И это будет трудно, приеду ли я сию минуту, или мы встретимся в ноябре... Но ведь мы знаем теперь, что это... Эти минуты не могут подавить нас больше, как в Страсбурге...

Я знаю, что для меня, вообще, всегда с детства встреча с близким человеком была мучительнее, чем разлука... Эти мгновения неожиданной пустоты, которые вдруг разверзаются за первым потрясением радости, невыносимы... Я помню, как в детстве, когда после нескольких лет разлуки приехали к нам одни наши друзья, я, увидя их в передней, убежал, спрятался, и меня долго не могли извлечь... А я чувствовал страшную радость. Я только теперь начинаю понимать значение и силу этого чувства...

Бывало это у тебя?..

Мне хочется взять, схватить тебя... обвить тебя... Унести на крыльях... широкими взмахами... с протяжными криками морской птицы, которая режет верх волн... Нестись так над самой пеной...

Когда я думаю о тебе, в моей душе встает высокое пустынное небо и протяжный шум волны... Далекий, свободный, торжественный... И потом опустить тебя на сырой песок — припасть к тебе... целовать тебя... долго... мучительно... Чувствовать горький вкус морской соли на твоих губах... Свежую сырость в твоих волосах... Ласковый морской ветер...

И целовать тебя с ног до головы — твои ноги, твои руки... твои плечи... твое сердце...

И слышать, как журчит волна, сбегая в море по песку... и слышать, как чайка кричит... и сухая травка звенит под ветром...

Родная моя... любимая... лесная...[6]

А теперь... уезжай в Россию... Не забудь меня... Мне страшно, Аморя... Там все будет против меня... Там я сам буду против себя...

Прощай... Я люблю тебя... Я люблю тебя...

[1] Волошин имеет в виду свой переезд в ателье.

[2] См. п. 129.

[3] Волошин обыгрывает строки своего стихотворения «Если сердце горит и трепещет...» (1905). См. примеч. 5 к п. 52 и примеч. 5 к п. 73.

[4] Каждая заповедь в книге «Свет на Пути» сопровождается объяснительными примечаниями.

[5] Пятая заповедь гласит: «Убей в себе чувство разъединения» (Свет на Пути. С. 32). Впрочем, рассуждение Волошина в равной степени созвучно второй, третьей и шестой заповедям: «Убей желание жить», «Убей желание утех», «Убей желание ощущений» (*Там же*).

[6] См. примеч. 5 к п. 121, п. 33, 125, 127, 155, 204 и др.

150. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

10/23 сентября 1905 г. Париж[1]

23 сент<ября>. Суббота. Ночь.

Опять усталость... У меня легкий жар и что-то странное текучее во всем теле... Дай мне опять уткнуться в плечо... Зачем ты говоришь опять так сухо и холодно о работе? Все, что ты говоришь, это правда... Но в тоне слов, в выборе их – чужое, холодное... Так всегда говорят... Так мне все говорят... Но ты, ты не должна так говорить... Эти слова падают, как холодные тяжелые камни... Говоришь: да... это все правда... А душа съеживается и закрывается... Ведь я же это знаю сам, я сам борюсь с этим... Но для каждого свои средства. У каждого свои слабости, свои области безволия и нарушения обетов... Таким тоном говорят взрослые с детьми, советуя им исправиться, не шалить, прилежно учиться... Тон этот любящий. Но в нем такая пропасть... Он ничему не поможет, но многое убивает... С Алешей, наверно, все всегда говорят таким тоном о Политехникуме...

Он так неопровержимо и холодно благоразумен. Но разве он может пробудить любовь к работе? Милая моя девочка, никогда не говори со мной так... Душа моя вся трепещет желанием знания, моя библиотека трещит от купленных книг, которые мне надо прочесть...

Мои планы: я буду читать по теософии и по революции. Я хочу написать целый ряд стихотворений о революции.[2] Читать?.. Я не знаю, сколько страниц я прочту... Мне книга дает только тогда, когда глаза отрываются от нее, и я вижу

свое... Я люблю думать над книгой, как любят думать под музыку... О, я много наблюдал себя... Я знаю себя. Я могу прочесть, проштудировать очень внимательно тома, знать их, и душа будет пуста. Мне не это знание нужно. Оно мне как-то совсем бесполезно, некуда деваться с ним. А прочтешь иногда несколько строк и чувствуешь, что расцветает папоротник. Вот этого я ищу. Для меня нет науки – вне меня. Я только то принимаю, что сразу врастает в душу, становится ее частью. Это уже не знание... К знанию я холоден.

Я везде ищу частицы потерянного себя... Разве какой-нибудь университет, хотя бы и немецкий, мне даст это... Книги, улица, человек, кабак, пьяная компания, музыка... я все это перелистываю... всегда перелистываю и иногда редко нахожу... Тогда душа потрясается и становится больше себя... Я всегда перелистываю... Это кажется бездельем... Я сам это называю бездельем, когда долго ничего не нахожу. Но это только малодушие... В этом моя неразборчивость. А на самом деле я везде нахожу.

Что я буду сам делать? Я буду писать в «Русь» небольшие заметки о театрах и книгах, буду писать как можно проще и без рассуждений – честные корреспонденции... Конечно, с красивыми словами, потому что от меня там ждут красивых слов.

Но это работа ради денег...

От себя, свое, я буду писать, когда нельзя не писать. Мне хочется писать стихи о Революции. Но я не знаю, придут ли они ко мне.[3] Я могу писать, когда я очень одинок... Когда же во мне горит такой голод знания, то мне ничего не хочется писать. Я не ставлю себе планов... Душа моя лесная и боится пут будущего... Может, это и очень плохо. Но я знаю себя... Я знаю, что я никогда не буду делать того, что я себе заранее наметил. Поэтому я не намечаю.

Не могу я учить того, что сию минуту не представляет для меня вопроса жизни...

Для меня дня всегда мало в Париже...

Читать по философии?.. О, да. Я это страшно хочу... Но когда?.. Я буду, буду... Именно о Куно Фишере я и думаю, но сейчас у меня еще не то... Но это непременно придет...

Только не говори со мной так, Аморя... У тебя такое лицо, точно ты надеваешь пенсне.

Заставить другого чем-нибудь заниматься можно только тогда, когда дашь ему трепет собственного интереса. Ты мне писала об Упанишадах. Упанишады мне теперь страшно хочется прочесть. Ты меня заразила этим. Нельзя другого убедить в чем-нибудь, никогда, никакими силами, можно только заразить... Поэтому самые разумные доводы, самые неоспоримые, с которыми нельзя не согласиться, вызывают только безнадежную усталость в душе... Ты ведь понимаешь это? Ты ведь сама испытывала это? Логика еще никогда никого в мире не убедила...

Нет... нет... никогда не говори со мной так... Милая моя... любимая... Ведь мы дети... Будем жить по-своему... Я боюсь, когда ты так начинаешь говорить... Ты становишься чужой... холодной...

Но ведь ты моя, родная... Ты это только чужие слова говоришь... Их у тебя нет в душе... Тебе только кажется, что они должны быть. И Алеше никогда ничего такого не говори... Это страшно, страшно вредно... Его воля разбита такими словами...

У меня всегда было самосохранение – бесчувственность к этим словам... Оно меня спасло... Если бы я слушался всегда того, что я сам считал искренно благоразумным, и не уступал бы тайным родникам и ветрам, то я бы теперь был в Москве помощником присяжного поверенного[4] с таким же отчаянием в душе, как Алеша... Дитя мое... подумай об этом... В таких словах может крыться великий грех... А теперь до утра... Прощай...

Я засну и буду видеть тебя близко, близко...

[1] Ответ на п. 148.

[2] Этот замысел в целом не осуществился: Волошин создал лишь два стихотворения, которые можно назвать «революционными»: «Ангел Мщенья» и «Голова madame de Lamballe», впервые опубликованные в апреле 1906 г. в парижском русском журнале «Красное Знамя» (№ 1. С. 72–73; второе стихотворение – под названием «Голова принцессы Ламбаль»); к ним можно причислить и переводы

Волошина из Верхарна («Человечество» и «Казнь»), выполненные летом 1905 г. (см. примеч. 15 и 16 к п. 55). Осмысление революционной темы, навеянной, в первую очередь, событиями в России 1905–1906 гг., более полно преломилось в статьях Волошина того времени («Пророки и мстители», «Гильотина как филантропическое движение», «Революционный Париж», «Во времена революции» и др.).

[3] Стихи, посвященные русской революции, стали «приходить» к Волошину, начиная с 1917 г.; см. сборник «Неопалимая Купина. Стихи о войне и революции», объединяющий в себе стихотворения 1914–1924 гг. (впервые: Т. 1 наст. изд.). Однако занимавшие Волошина в 1905–1906 гг. размышления о путях России, закономерностях революционных эпох, интерес к событиям Французской революции, его стихи и статьи того времени, безусловно, определили восприятие и художественное воплощение революционный темы в его послеоктябрьском творчестве.

[4] Волошин имеет в виду свою предполагаемую участь в том случае, если бы он закончил юридический факультет Московского университета, где учился в 1897–1899 гг.

151. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

10/23 сентября 1905 г. Цюрих

23.

Милый мой, сейчас я получила Твое письмо, то, кот<орое> я должна сжечь.[1] Как я приняла..... Я не понимаю, чего ты боялся. Наши письма все время встречаются; Ты замечаешь, мы одновременно пишем друг другу то же. Значит, мы об этом не будем больше думать и говорить. Вот что только: я не согласна, что весь мир на этом вертится. Мой мир, кот<орый> был велик и прекрасен, и, право же, вовсе не поверхностен, не знал этого. В нем не было вовсе этого элемента, не было ни минуты и пока Ты был здесь, и явился только в последние дни теперь. Может быть, это влияние на расстоянии. Ну, все равно. Еще одно меня возмущает: Твое отношение к «законному браку». Это может быть, что его осквернили многие, но, мне кажется, по существу он свят, и именно п<отому>, ч<то> он успокаивает и дает силе

человека развиваться в другом направлении. Это спокойствие единственно и хорошо. Мне почему-то жаль Тебя, жаль, что Ты не можешь так чувствовать. Есть что-то ненормально развитое в Тебе, что занимает больше места, чем следовало бы; это беспокойство мысли об этом. Мне даже страшно за Тебя. Ты знаешь, этот элемент очень сильно чувствуется у Гиппиус, Мережковского, Розанова и всей комп<ании>. И у меня к этому отвращение. Они больны мыслью о любовной страсти; поэтому мне понятно, что аскетизм близок с чем-то совсем противоположным. Читал ли Ты статью Соловьева о мифологии или различных культах, где он доказывает, что религии происходили из этого элемента.[2] У него это выходит очень хорошо. А когда Зинаида или Розанов, или даже Ты об этом говорите, как-то страшно за вас и жалко вас. М<ожет> б<ыть> п<отому>, ч<то> Соловьев сам был очень чист и знал другую религию, он сам не был в этом. А вы в этом.

Теперь, конечно, я сама виновата в том, что вырвала эти мысли и чувства у Тебя. Но больше я не буду, я была уж очень глупа. А теперь сразу увидала много, может быть, больше Тебя.

Милый мой, обещай об этом не думать. Не переводи свое чувство в мысль. Это извращение. Тебе кажется, что Ты отвлеченно об этом уже говоришь, а это не так. Люби меня, как любишь, не заменяй моего образа, но пусть Твое чувство будет в тени, пусть оно будет свежо, не трогай его умом. Это ужасно опасно и гадко, хуже всего.

Прости меня, что я, сама вызвав все это, останавливаю. Я поняла тоже, что писать такие письма Тебе, как я писала, нельзя. Сожги все последние письма, не перечитывая. Я делала очень беззаконную вещь. Прости меня. И теперь мы больше этого касаться не будем. Правда, милый мой?

Ну, теперь отойдем и пойдем в другую сторону. Как дети, слышишь, Макс, как дети.[3] Другого я не хочу.

Вчера я была с Алешей в театре. Слушали «Свадьбу Фигаро» Моцарта.[4] Какая прелесть. Ах, как мы наслаждались.

Как Толстой клевещет на музыку; какой он гадкий.[5] Ходи часто, часто в оперу. Бери хорошие места, чтобы Тебе не мешали. Полюби оперу. Нужно привыкнуть к нелепостям,

а это единственное цельное в искусстве. Напиши мне, какой репертуар в Париже.

Вот что еще, пришли мне чтения по теософии, м<ожет> б<ыть>, Any Besant «La sagesse antique»*.[6] Пришли что-нибудь для священного восторга, что-нибудь музыкальное, вроде «Рождения Трагедии» Нитше.[7] Иначе видишь, я очень далека, я не могу говорить с Штейнером. И мне так грустно. В «Haute Science» все такие сухие вещи, а я хочу музыкального. Что Ты знаешь такого? Прекрасного?

О Нибелунгах или Нибелунгов. М<ожет> б<ыть>. Вот что: я потеряла записанное мною заглавие книги одного француза, т.е. автора забыла. О ней говорит Вагнер. «Poésie des Bretons».[8] Что есть у Нитше прекрасного по форме еще?

Я пишу ужасно нелепо, но пойми меня. Пришли мне что-нибудь «прекрасное».

Получил ли Ты 108 fr. от М<аргариты> К<онстантиновны> и 80, посланных мною по почте.

Нет ли теософского объяснения греческой литургии?

Что Ты читаешь? Как сложится теперь Твоя жизнь?

Скоро пошлю Тебе «Haute Science».

Я очень люблю Твою цепочку и Твой кристалл.

Прощай, мой хороший.

Мне писала Катя, но какое-то чужое письмо. Теперь она успокоилась. У нее инфлюэнца только. Она пишет в жару и, м<ожет> б<ыть>, потому как-то не по-своему.[9] К ней пропало 2 моих письма.

[1] В письмах Волошина, отправленных между 1/14 и 8/21 сентября 1905 г., просьба о «сожжении», отсутствует. Возможно, Сабашникова, выполняя просьбу Волошина, действительно сожгла одно из его сентябрьских писем (посвященное, скорее всего, вопросам пола, аскетизма, «законного брака» и т.п.).

[2] Имеется в виду ранняя статья В.С. Соловьева «Мифологический процесс в древнем язычестве», впервые опубликованная в журнале «Православное обозрение» (1873. № 11. С. 635–665). Этой ста-

---

* «Древняя мудрость» *(фр.)*.

тьей открывался первый том «Собрания сочинений» В.С. Соловьева (СПб., 1901), издававшегося под ред. М.С. Соловьева и Г.А. Рачинского.

[3] См. примеч. 2 к п. 1.

[4] «Свадьба Фигаро» (другое и полное название — «Безумный день, или Женитьба Фигаро») — комическая опера Моцарта (по одноименной пьесе Бомарше, 1784), впервые поставленная в венском Бургтеатре (1786) на итальянском языке (автор либретто Л. де Понте).

[5] Л.Н. Толстой (в поздний период своей жизни) пришел к убеждению, что музыка как вид искусства несет в себе чувственное начало, способствует эротическому возбуждению и т.п. Этот взгляд нашел, в частности, отражение во 2-й главе «Крейцеровой сонаты» и 13-й главе книги «Что такое искусство?», содержащей критику произведений Р. Вагнера.

[6] Имеется в виду: *Besant A.* La sagesse antique. Exposé sommaire de l'enseignement théosophique. Vol. 1—2 . Paris: Publication théosophiques, 1905 (предыдущ. фр. издание — 1900). Впервые эта книга была издана по-английски в 1892 г. Русский перевод выполнен Е.Ф. Писаревой (СПб., 1910; 2-е изд. — СПб., 1913); переиздан в 1990-е гг. См. также п. 214 и примеч. 4 и 6 к п. 218.

[7] «Рождение трагедии из духа музыки» — первая книга Ницше (1872); при подготовке второго издания (1886) Ницше дал книге название «Рождение трагедии. Эллинство и пессимизм». Первые русские переводы этой книги относятся к 1899—1902 гг. (как правило, под названием «Происхождение трагедии»).

И Волошин, и Сабашникова хорошо знали это произведение Ницше. Так, статья Волошина «Театр как сновидение» начинается с отсылки к «Происхождению трагедии». «Я только что прочла “Происхождение трагедии” Нитше, — писала Сабашникова в своем дневнике 26 февраля / 11 марта 1903 г. — Все его мысли так давно жили в моей душе» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 20, л. 121).

[8] Сабашникова имеет в виду, скорее всего, одну из книг Т.К.А. Эрсара де ля Вильмарке, бретонца по происхождению и наиболее известного во Франции XIX в. собирателя, исследователя и популяризатора бретонской народной поэзии, либо книгу П Феваля «Contes de Bretagne», неоднократно переиздававшуюся в XIX в. (1-е изд. — 1844).

[9] Имеется в виду письмо Е.А. Бальмонт к Сабашниковой из поселка Силламяги (Эстония) от 5/18 сентября 1905 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 53, л. 28—29). Недоумение Сабашниковой по поводу

этого письма было вызвано, по всей видимости, содержащейся в нем попыткой оградить племянницу от чрезмерного влияния Минцловой. «Я получила от А<нны> Р<удольфовны> письмо, — писала Е.А. Бальмонт; — она не поедет в Цюрих; это отлично. Никогда я не могла себе представить, что она может играть роль в твоей жизни. Я этому и не очень верю, т.е. тому, что это влияние — ее. Я знаю ее прозорливость, видела чудеса, которые она делает, но это все чуждо мне. Я не люблю ее восторженность, скрываю, какую чувствую ненависть к ней за нее, а она все же угадывает это и не показывает этой стороны своей души мне теперь.

Ты несчастливо, ты несвободно чувствуешь себя? Тогда надо все бросить. Надо скорее переменить обстановку, прерви сношения с А<нной> Р<удольфовной>. Я не могу себе представить ее влияния на тебя. Мне хочется видеть тебя, чтобы понять то, чего я не понимаю в тебе. Почему нет радости? Как это возможно?!» (*Там же*, л. 28–28 об.).

152. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

11/24 сентября 1905 г. Париж

24. Воскре<сенье>. Утро.

Я вчера писал тебе только об твоих благоразумных советах... Но не это меня больше всего поразило в твоем письме, а портрет Василия Михайловича.[1] Раскрывая письмо, я увидел его прежде всего... И он взглянул на меня таким строгим взглядом судии — грустным и укоризненным.

Ты хорошо сделала, что его прислала мне... Я смотрю на него и проверяю себя... Ведь мы вступили в те области вечного огня, где высшее счастье и самая невыносимая боль живут нераздельно... Здесь каждая ложь, каждая ошибка может быть непоправима. Я все время чувствую в душе прикосновенье крыльев ужаса: а вдруг я буду твоим несчастьем, твоей мукой... И вот я смотрю теперь в это грустное, усталое, измученное жизнью лицо, и меня охватывает острое чувство ответственности... Я так помню каждое слово из того, что ты мне рассказывала последнюю ночь, когда мы возвращались с Ютли...[2]

Я читаю тебя в этом лице... Я вижу тебя... Оно смотрит на меня строго, вопросительно, неприязненно... Я спраши-

ваю себя, могу ли я подойти к нему, полюбить его... Смогу ли я растопить неприязнь?..

Это то, без чего я не могу подойти к тебе... Потому что твои сомнения ко мне не исчезнут до тех пор, пока все твои близкие ко мне не переменятся...

Эта неприязнь – тот дракон, которого мне нужно убить, чтобы завоевать тебя... Это труднее, чем убить дракона...

Поэтому я теперь и не хочу видеться с тобой...

Я не могу, я не имею права на эту часть твоей души... А я могу разбить... изранить ее...

Моя милая девочка... Прости мне мои предыдущие письма и мысли... Я не буду больше писать об этом.

Я смотрю на лицо твоего отца и повторяю себе клятву: ничего для себя – все для тебя... Только для тебя... Чтобы мое существование не было болью для твоих... Только тогда ты будешь счастлива, только тогда в твоей любви ко мне не будет сомнений....

Прощай, моя милая, радостная, любимая.

Куно Фишер – я буду читать в Коктебеле...[3] Это я знаю. Вообще философией нельзя заниматься в Париже...

Только что пришло твое письмо...[4] Оно отвечает на мои мысли. Я вечером буду писать о нем.

Деньги я получил и те, и другие. О красках я справлялся: там были две краски, которые стоили по 5 fr. А холст вообще всегда очень дорог.

[1] См. примеч. 1 к п. 148.

[2] Т.е., по-видимому, 23 августа / 5 сентября 1905 г.

[3] В коктебельской библиотеке Волошина сохранилась двухтомная «История новой философии» К. Фишера (СПб., 1906).

[4] Имеется в виду п. 151.

153. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

11/24 – 12/25 сентября 1905 г. Цюрих

Милый мой, сегодня воскресенье, день без писем, и я не хотела было писать Тебе, п<отому> ч<то> так смутна была моя душа. Ах, иногда мне кажется, что я с ума сойду от всех противоречий, кот<орые> раздирают мою душу. Одно меня спасает, это вера в Твое благородство. Это всегда со мной. Это полное доверие. И это счастье.

Потом еще одно, я читаю «La Lumière sur le Sentier», и эта книга прямо магическим образом подымает меня из этой области, полной призраков, и направляет мой дух на вечное, тогда мои мучения кажутся мне тоже призрачными. Ты не находишь, что эта книга чудодейственна? Кем она написана?[1] И ее язык, как будто страшно современный и близкий, может быть отнесен и к ранним временам. Ты спросишь, в чем же мои мученья. Ах, Боже мой, Ты даже не поймешь их по своему характеру, до того в Тебе отсутствуют главные элементы моего характера.

И благодари Бога, п<отому> ч<то> <они> отравляют жизнь, делают человека рабом. Бороться с ними – надрыв, и мне кажется единственно, в чем мое спасение, это совершенно забыть себя. Только так, только так мне возможно быть. Личной жизни не может у меня быть, слишком мелко и малодушно во мне все личное. Долой его! Я не хочу его.

Но как же мы? Но Ты?

Ах, как неспокойно мне. Как трудно не думать о нас вместе, а думать, нет, это еще хуже. Тогда схожу с ума. Между нами прорвалось что-то, чего не нужно было, Ты сам боялся этого, Ты помнишь? И как это вышло, что, говоря одно, Ты все время поступал иначе. Обманывался Ты? И я, несмотря на свою глупость в некоторых вещах, могла бы знать... И вот, теперь я в ужасе, что открыла не ту дверь, что очутилась не в той комнате. Ах, какой иногда это ужас, какая тоска. И исход я вижу только в том, чтобы забыть себя.

Какой сложный характер мои предшественники приготовили мне. И вот изволь теперь расхлебывать его. И Ты,

верно, был грешен, если Карма связала Тебя с этаким мучительным индивидуумом.

Милый мой, прости меня.

Знаешь что: ужасна для меня мысль, что, когда я вижу и слышу Тебя, Ты так страшно чужд мне. Нет, я никогда не привыкну к Твоему виду, к Твоим движениям; Твои слова об искусстве, о том, чем главн<ым> обр<азом> я живу, так чужды мне. Что же это, Макс? Как же все это возможно? Иногда мысль о том, что между нами существует близость, для меня как ужасный, нелепый сон. Я вскакиваю, как ужаленная, повторяю Твое имя, и оно звучит мне чуждо и смешно, и я восклицаю: о, никогда, никогда! Это бред. Это я с ума сошла. Да. А иногда я не могу себе представить, что мы не вместе, что между нами есть еще какие-то грани. Я с ума сойду.

И живу я только Твоими письмами. Все это дико. Кто-то надо мной смеется. Завтра утром получу ли от Тебя письмо?..

Вчера и сегодня вечером Алеша читал мне вслух «Капитанскую дочку».[2] Почему мы не прочли ее вместе? Прочти ее сейчас же. Да? Обещай. Я так жила ей. И минутами было так страшно, что я умоляла Алешу замолчать и читать скорее дальше.

Завтра идем смотреть Мадлен – танцующую под гипнозом.[3]

Прощай. Побрани меня и успокой. Очень я неспокойна.

А как-то Ты живешь? Я очень устала от одиночного заключения. Люди мне помогли бы сейчас бороться с мыслями и чувствами. А я все время одна в комнате. Алеша много учится, и гулять мне не с кем.

Пошли мне адрес А<нны> Р<удольфовны>. Имеешь ли от нее известия.

Понедельник. Утро.

Вот Твое письмо от 23.[4]

Милый, Ты так устал, так боишься сомнений, а я еще пишу Тебе о всех противоречиях, живущих у меня в душе. Но я решила Тебе всегда говорить все. И Ты будешь мне всегда говорить правду. Да?

Милый мой, мой бедный, мой кудрявый. Обнимаю Твою большую кудрявую голову. Свертываюсь на Твоих коленях.

Когда Ты будешь усталый, клади всегда свою голову мне на грудь...

Ах, только не пиши так, не говори так со мной. Это невозможно. Нет, говори так, нет, пиши так. Знаешь, когда я вспоминаю последний день, наше прощание, мне не верится, что мы не видались с тех пор. Нет, верно, Ты приходил ко мне, Ты уносил меня; ведь что-то во мне произошло с тех пор.

Москвы я не боюсь в том, как Ты боишься. Гонения на меня всегда действуют так, что если бы они знали как, то не говорили бы и не поступали бы так.[5]

Я тогда гораздо больше еще люблю. Но боюсь я писем и бесписемья, и боюсь, страшно боюсь Твоего лица. Вот какие ужасные карточки Ты прислал мне. Эти закрученные усы, эти волоса на лбу. Что-то невозможное. Когда я вспоминаю Твой голос, точно кто Тебя душит перинами, я вижу, что это не Ты, не он... Я не могу... Что мне делать? Это слабость, это призрак, но если это мой характер, будет надрыв идти против. Разве не хуже, если я превозмогу, а потом буду страдать? Ну что же мне делать, если я такая мелочная и гадкая, но это я, я...

Боже мой. Макс мой, прости меня. Я Тебя огорчаю. Но как уйти от себя. Мне так стыдно этого чувства, что хочется спрятать свою голову у Тебя на груди. Поцелуй мне глаза, чтобы я иначе Тебя увидела. Вот у Тебя, совсем близко, я вижу Тебя иначе. И Твой шепот над ухом, и Твою руку на груди.

Мой милый, мой...

[1] См. примеч. 16 к п. 131.

[2] Роман А.С. Пушкина (1836).

[3] Имеется в виду Магдалена Г. (у Сабашниковой всюду — Мадлен), швейцарская девушка, танцевавшая под гипнозом (биографические сведения о ней чрезвычайно скудны). Выступления Магдалены Г. (приблизительно с 1903 г.) проходили под наблюдением и при участии врача-парапсихолога и оккультиста А. фон Шренк-Нотцинга (1862—1929), посвятившего ей отдельное исследование (*Schrenk-Notzing A. von.* Die Traumtänzerin Magdaleine G. Eine psychologische Studie der Hypnose und dramatischen Kunst. Unter Mirwirkung des Dr. med. F.E. Otto-Schulze. Stuttgart: Ferdinand Enke,

1904). См. также примеч. 6 и 7 к п. 157, примеч. 4 к п. 166 и примеч. 4 к п. 180.

[4] См. примеч. 2 к п. 180.

[5] Говоря о «гонениях», Сабашникова имеет в виду отношение к ней со стороны ее родителей и родственников, чья опека (до замужества) ее весьма тяготила.

154. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

12/25 сентября 1905 г. Париж

25 понедельник. Утро.

Вчера уехала Анна Руд<ольфовна>. Мы провожали ее. Потом долго мы сидели вдвоем с Мих<аилом> Самой<ловичем> в его мастерской. С первых дней твоего отъезда до сих пор мы с ним не говорили вдвоем. Он несколько раз начинал говорить о тебе. Но я совсем не знал, как отвечать...

Как странно теперь будет быть без Ан<ны> Руд<ольфовны>. Тоски и чувства отъезда, разлуки у меня нет... Помнишь, я говорил тебе, что она заколдовала меня, окружила кругом пред тем, как я ехал к тебе в Цюрих, после тех случаев с огнем и той страшной и радостной ночи, когда весь воздух трепетал крыльями и чьим-то присутствием.[1] Я был тогда страшно смел и уверен в себе... Когда я приехал в Цюрих, я сразу почувствовал себя усталым, бессильным, сомневающимся. Все это время то, что я давал ей, стоило мне страшных усилий и кончалось по вечерам какой-то смертельной, больной усталостью... Я не чувствовал ничьих присутствий, со мной ничего не случалось, но ко мне вернулись страхи темной комнаты, пустой квартиры... Мы заговорили об этом за несколько часов до ее отъезда... Я вспомнил все мое бессилие, когда я был с тобой и с Алешей... Ведь я ехал, чтобы отдать всю свою силу, которую я чувствовал огромной, и вдруг увидел, что мне трудно пошевелить рукой от усталости.

Когда мне теперь приходилось переживать ночи борьбы за Ан<ну> Руд<ольфовну> около нее, я все время чувствовал

какие-то тяжелые путы на своей воле, точно мне приходилось ворочать неимоверные тяжести... Еще при ней мои силы воскресали... А без нее я был позорно бессилен.

Я все это ей сказал и потребовал, чтобы она сняла то заклятие с меня... Что, если я сам встал лицом к лицу с миром неведомым, значит мне надо идти в нем своим путем, полагаясь только на свои силы, что бы ни было и как бы это не было опасно... И тогда она вдруг поняла некоторые слова обо мне, которые она слышала ночью, и сняла с меня заклятие, раскрыла круг, в который я был заключен, и за пределы которого я не мог выйти – ни я, ни ко мне никто.

И в тот же момент я почувствовал снова тот жуткий и радостный трепет, который пришел ко мне в Руане, который был так ярок в ту ночь... И вот вся моя усталость, под которой я изнемогал последние недели, сразу исчезла.

И вот к тебе у меня снова проснулся восторг, тот восторг, которого не было так давно и которого я безнадежно искал на дне души...

Здравствуй, Аморя! Теперь я могу тебе только давать свои силы. Какая-то новая искра радости зажглась. До самого последнего момента я не понимал истинной причины моей тоски и усталости. Нельзя никого никогда оберегать... Ан<на> Руд<ольфовна> этого не поняла тогда... Защитить в минуту опасности можно, но оберегать, окружать стеной, прятать – это страшное зло... Я не сознавал, что это, когда позволил ей оградить меня... И странно: мысль об этом пришла нам обоим за несколько минут до отъезда...

Как только окончилось размыкание – постучали в комнату, и мы больше не были одни до последней минуты... И тогда было все вместе, перед отъездом в Цюрих. Ан<на> Руд<ольфовна> закрыла мне глаза, которые в первый раз в жизни раскрылись на мир внечувственный, Чуйко пришел со своими сомнениями, и это сразу разбило все... У меня больше не было залогов того мира, не было той близости... Я был мертв, я только делал движения живого... В первый раз я был весь восторг... Были минуты мучения, упадка, но все время была борьба и трепет...

Теперь я чувствую его снова... Здравствуй, Аморя, о, я больше не буду тебе писать и говорить о том, что я писал эти дни...

Теперь все снова преобразилось... Не сразу, а как-то тихо и радостно...

На твое последнее письмо (о поле)[2] я не буду отвечать теперь. Есть то, что я должен возразить. Но об этом мы будем говорить позже. Много лет позже.

Дай мне свои руки. Мне хочется дать тебе волну моей силы, моего чувства...

Когда мы увидимся, я буду только давать тебе... Я все отдам тебе...

Прости меня за все, что я писал. К этому нельзя касаться ни мечтой, ни словом... Это свято только в жизни и преступно в мечте...

До свиданья, моя девочка, радость моя, сила моя.

[1] См. п. 118.

[2] Имеется в виду п. 151.

155. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

12/25 сентября 1905 г. Цюрих[1]

Понедельник. 2 ч.

Макс, Макс, мой, Ты упрекаешь меня за холодный тон письма. Это было второе письмо в тот же день.[2] Так Ты не понимаешь, почему я так пишу. Ведь когда я так писала, все мое существо кричало о другом, о лесе,[3] Макс. Это слова, это плотины, кот<орые> я строю, оплоты против нарастающей волны. Прости мне их, не упрекай меня за них, Макс. Я не знаю, как же мне писать Тебе. Каждое Твое нежное слово все разрушает, все летит к черту, все разумное. Ты можешь писать такие слова, Ты можешь мечтать, м<ожет> б<ыть> потому, что Ты очень холоден. Я не могу. Я не могу больше так жить. Ну, я не буду Тебе совсем писать. Но мое сердце разрывается. Что Ты сделал со мной? На что похожа теперь моя жизнь? От меня

ничего не осталось. Зачем теперь я стану писать Штейнеру, останавливаться в Берлине... Как я буду, что я буду делать в Москве.

Ты прав, так говорить нельзя, как я говорю с Тобой, но я вовсе не могу говорить с Тобой. Я не могу.

У Тебя жар прошел? От чего он был? Я хочу каждую минуту быть с Тобой. Я сейчас хотела ехать в Париж. Но это все безумие. Прощай.

Имеешь ли известия от А<нны> Р<удольфовны>. Ее адрес.

[1] Ответ на п. 150.

[2] Т.е. Сабашникова получила одновременно п. 149 и 150.

[3] См. примеч. 5 к п. 121, п. 33, 125, 125, 127, 204 и др.

156. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

13/26 сентября 1905 г. Париж[1]

26 сентяб<ря>. Вторник. Утро.

Милая моя Аморя, мне страшно больно и мучительно за тебя... Не за себя. Я не знаю, почему-то я не боюсь твоих минут отчаяния и отвращения ко мне... Я слишком вижу и знаю другие минуты... Я себя вижу каким-то заколдованным принцем из андерсеновской сказки, который принимает только изредка, преображенный силой твоей любви, свой настоящий облик.[2] Но за тебя мне страшно больно... Я себя чувствую бессильным в эти минуты... Я не пользовался теми мгновениями близости, которые были даны нам, чтобы отдать тебе всю свою душу... Бессилие тяготело тогда над моей волей... Я был только счастлив той нежностью, которую ты давала мне, но я ничего не давал тебе... Если бы я отдал тебе всю свою душу без остатка, то этого бы не было.

Девочка моя, только не мучься... Старайся понять, что это, не старайся примирить. Не относись к этому как к преступлению, не относись к этому морально — относись как

к явлению, изучай это... С этим ты сможешь бороться, как только ты поймешь и увидишь корни... Вдумывайся, вглядывайся совсем свободно, совсем бесстрашно...

Может, ты вовсе не любишь меня... Любовь ведь только момент в жизни... Между нами слишком много другого... Может, бросило нас друг к другу не для того, чтобы любить друг друга, а только поддерживать друг друга на пути познания, ученичества...

Ведь вся сила человека в том, что он обратил любовь только в момент, а всю остальную силу пола перевел в другие области, где уже не видно ее корней, где не сознание и знание пола уже является гибелью всего тонкого переплета построений.

Прости меня за мои последние письма... Это состояние переполняло меня эти дни... Как мне было молчать об этом... Теперь все прошло...

Может, меж нами любовь только на несколько мгновений вспыхнет... Те проблески – это слишком мало, это намеки на что-то... Но ведь между нами не это, а другое... Я не знаю имени его...

Одно меня пугает и жалит – это когда ты говоришь об том, что мои слова, мои мысли об искусстве чужды тебе... Тут какое-то недоразумение... Мы не говорили ведь об этом после весны...

Аморя, милая моя Аморя, только не мучь себя, не делай себе надрыва. Ищи и вглядывайся...

Не будем говорить об наших отношениях, не будем думать о них.

Надо учиться сосредоточивать свое внимание. Я понял, что это значит и как это надо... Это самое простое внимание. И даже все равно, над чем его сосредоточивать. Его просто надо упражнять, как мускул. В каждый момент видеть только одну мысль и не отрываться от нее... Это страшно расширяет пределы времени и мгновения. Я слежу за собой и в первый раз вижу, как трудно мне над чем-нибудь сосредоточиться, не уклоняясь на пути других мыслей... Это сосредоточиванье утром на 15 мин<ут> дает на весь день такую же гибкость мысли, как гимнастика – гибкость телу...

От Ан<ны> Руд<ольфовны> ничего нет еще. Она уехала позавчера.

Вчера у меня был день полного спокойствия, полного серебристого молчания...

Почему-то все это время от 4 до 6 час. веч<ера> меня охватывает странное томление и тоска. Вчера я даже неожиданно заснул в это время, точно кто-то позвал мою душу. Проснулся снова сильный и радостный. Что ты делаешь в это время? Это с тобой связано?

Не с Ан<ной> Руд<ольфовной>, потому что это бывало при ней, даже в ее присутствии... Кто зовет меня в это время? Какое странное состояние... Вот я уже различаю зовы, но не знаю ни их направления, не могу узнать лиц, от которых они идут...

Прочти внимательно в «Lumière sur le S<entier>» примечание, которое начинается на 18 стр<анице>. Первые фразы его мне на многое отвечают...[3]

Они мне говорят, что сейчас я еще не могу вступить на тропу ученичества...

Твои «десять лет» – может, они и мои тоже...[4] Может, наша связь именно в том, что нам обоим надо будет вступить вместе, одновременно...

Дитя мое, девочка моя... Только не мучься... Всмотрись... Может, ты вовсе не любишь меня... Не бойся ничего... не бойся никакой сделанной ошибки... Нет ошибки, которая бы не могла стать ступенью в высоту...

Бедная моя. В эти моменты мне хочется, чтобы ты совсем не любила меня, чтобы я мог подойти к тебе просто и свободно, и помочь тебе, дать тебе силы против тебя, против себя.

Будь сильна, моя девочка, всматривайся глубже и смелее...

Я уже запечатал свое письмо, и вот еще письмо от тебя...[5]

Все мое безумие снова поднялось и закружило. Первая мысль была сейчас же ехать к тебе... Все дрожит во мне...

Нет... Это нельзя... нельзя... Забудь обо мне, я тебе это приказываю всем напряжением своей воли. Сейчас ты должна

видеть Штейнера, должна ехать в Москву. Ты должна победить себя... Сосредоточь все свое внимание на «L<umière> sur le S<entier>», приготовь свою душу, пусть огонь, который горит в тебе, очистит ее...

Вот я положил тебе обе руки на голову... Будь спокойна... Раньше ты в самой себе должна найти то<ч>ку опоры, точку незыблемую... Не будь листом, летящим по прихоти ветра... Ты должна освободиться от меня, от мысли обо мне, чтобы потом свободной придти ко мне, если ты меня любишь...

Любимая, милая... не думай обо мне... Победи себя...

О, если б я мог помочь тебе победить себя... Но я с ужасом думаю, что каждое мое слово, каждое мое движение еще нерушимым кольцом приковывает тебя ко мне...

Сейчас, сейчас мы не должны видеться. Ты понимаешь, что это будет сейчас и навсегда...

Я гляжу в глаза твое<го> отца, и мне жутко... Если бы ты не прислала мне карточки, то я бы мог приехать... Я пред его глазами отвечаю за тебя...

Сейчас ты должна приготовить свою душу, чтобы видеть Штейнера...

«С ногами, омытыми в крови сердца»...[6]

Дитя мое... Я посылаю тебе волны моей силы, которая проснулась во мне... Я целую твой лоб... Победи себя...

Прости меня... До свидания... Надолго...

Милая... родная... бедная моя... Будь сильна, будь смела...

Не думай обо мне.

[1] Ответ на п. 153.

[2] По-видимому, подразумевается сказка Андерсена «Дикие лебеди» (1838) – о заколдованных (превращенных в лебедей) принцах, которым самоотверженная любовь их сестры Элизы помогает вернуть первоначальный облик.

[3] Волошин имеет в виду объяснительное примечание к четвертой заповеди, начинающееся (во французском переводе) со слов: «Cherche-la en éprouvant toute experience et rapelle-toi qu'en te disant cela je ne veux pas dire: “Cède aux seductions des sens afin de les connaître». В русском переводе: «Разыскивай путь, проходя всевозможные испытания; но помни, я не говорю: “Поддавайся соблазнам

чувств, чтобы изведать их"» (Свет на Пути. С. 50). Именно это место цитирует Сабашникова в п. 160.

[4] Имеется в виду сон Сабашниковой, о котором она упоминает в п. 148 (см. примеч. 7 к этому письму). «О том, что Вы пишете мне, – сказано в письме Минцловой к Сабашниковой от 7/20 сентября 1905 г., – о сне, когда Штейнер говорил Вам о том, что не раньше 10 лет Вы должны услышать его слова – я не хотела сначала написать Вам, меня это очень взволновало и поразило, потому что у меня это убеждение было всегда...» (У истоков русского штейнерианства. С. 164). Прочитав в письме Минцловой от 22 сентября / 5 октября 1905 г. (из Берлина) слова «Штейнер ждет Вас очень, он спрашивает о Вас – а он никогда не спрашивает ни о ком», Сабашникова комментирует их в своем дневнике (запись от 25 сентября / 8 октября): «"Он ждет Вас и спрашивает о Вас, а он никогда ни о ком не спрашивает"... пишет мне А<нна> Р<удольфовна>. Мне страшно. Я не готова. За что... Я видела во сне, что читала письмо и прочла эти слова по-немецки. "Через 10 лет Вы подойдете; через 10 лет земной жизни позовите меня". 10 лет испытаний, земных печалей. Мне грустно и страшно, но я готова. Я увижу его в Берлине. Это будет залог» (*Там же*. С. 169–170). См. также п. 165 и 192.

[5] См. п. 155.

[6] См. примеч. 2 к п. 138.

157. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

13/26 сентября 1905 г. Цюрих

Вторник. 1905 г.

Мой милый, прости меня за прошлые письма. Прости мое малодушие. Мне так стыдно. Дай уткнусь в Твое плечо. Ты не чувствуешь ко мне отвращения. Но я не буду больше. Ты не знаешь, как мне было ужасно... Я вся холодела от мысли о Тебе. Мне казалось, я больше никогда не увижу Тебя. Что я не смею видеть Тебя, не смею видеть своих, что мне нет места в жизни. Вчера вечером шел дождь, и я шла в темноте по «склизкому Цюриху». Огни под ногами... и такое одиночество и ужас. Потом мы пошли с Алешей в café chantant*, где показывали Madeleine, танцующую в гипнотическом сне. При

* Кафешантан *(фр.)*.

виде гнусного café мы усомнились, что здесь будет настоящая Madeleine. То, что мне так нравилось в Париже, п<отому> ч<то> там эти variété* – культ... здесь одна гадость и грязь. Алеша, кот<орый> в Дрездене постоянно бывал в variété, был возмущен, а мне казалось, что на меня плюют, меня оскорбляют; я вся съежилась, мне казалось, что вся жизнь – грязная дыра, куда затягивает всех; мне захотелось умереть, и я с ужасом подумала, что смерти нет. Что нужно в эту дыру...... У меня сделался озноб. – «Пойдем отсюда», – сказал Алеша, но в это время вышел профессор и стал объяснять швейцарам, что такое гипнотизм, потом вышла Мадлен – 16 лет, прерафаэлитский ангел, с пепельными волосами à la Boticelli**, с бледным прелестным и немного странным личиком, приподнятые немного глаза, без бровей, овал и посадка головы Беатриче Росетти.[1] Красота ее еще не женских рук (я ненавижу женские руки), ее шеи, ее небольшой фигуры поразительна. На ней было ярко-голубое греческое платье, доказывающее отсутствие вкуса. Он быстро усыпил ее, и лицо ее стало грустно-безмятежным, приподнятая и немного склоненная голова и что-то торжественное и послушное. Он велел ей встать. Его подлая внешность, грубый рот с большими зубами составляли контраст с ее фигурой. Он встал в позу фельдфебеля и диктовал ей. Тихое счастье, сострадание, отчаяние, отрывисто быстро. И она шла, подымая к небу руки и улыбаясь. Что Изидора![2] Ей можно подражать, а этой нельзя. Это само божество. Да, да, да. Это божество через нее открывается. Сострадание – и она становилась на колена и распростирала руки, и над кем-то наклонялась. Такой любви, такого лица не может быть у человека. Ее позы откровения. – Отчаяние... и она изобразила такую муку на лице, что я похолодела. Я не забуду ее крик, ее стона; она ломала руки. И чудо! С реализмом страшным – соединялся божественный ритм и красота. Всякий аффект в человеке безобразен. Она же была в аффекте и была божественна. Мне казалось, мы не смеем видеть этого таинства. Публика хохотала и говорила об обмане. Она упала на землю и билась о землю. Он стал подымать ее и успокаивать; она долго вся сотрясалась.

* Варьете *(фр).*

** Как на картине Боттичелли *(фр.)*

26. Вторник. 1905 г.

Потом он читал стихотворение о сердце, стук кот<орого> она все слышит, о сердце человека, кот<орого> она убила. Ее жесты сливались с его гадким голосом. Они изображали невыразимый ужас. Иногда она начинала смеяться, бравируя его. Под конец это был предел ужаса, когда она встала на четвереньки и разгребала землю, чтобы откопать его. Она скребла, скребла. Ее лицо было ужасно. Он кончил, а она скребла, скребла. Он стал подымать и успокаивать ее. Потом играли, и она танцевала. И это было такое издевательство: с Feuerzauber'a*[3] переходили на Тарарабумбия[4], на банальный вальс, на гамму; и из этой гадости она умела сделать какую-то божественную драму. Но ей не давали докончить ни одного ритма. Я бы убила их!.. Она часто ударялась о рояль, о декорацию, о шнурок, протянутый перед эстрадой. Но что это за красота! Каждый раз, как идиот неожиданно останавливался, она застывала, и что это были за позы. Под конец она застыла с опущенной головой и распростертыми руками. Ей вкалывали гвозди в руку, свидетели щекотали ей нос; публика издевалась и гоготала.

Потом ее разбудили. Она сделала неизящный реверанс и ушла. Мы были потрясены. Как они смеют показывать ее так и в таком месте. Это уже не искусство, а само божество, сама красота открывает<ся>. Ее телом кто-то пользуется, чтобы открыть самое красоту. И она в руках у какого-то грубого идиота, кот<орый> даже не видит этой красоты. Он таскает ее по кабакам. А она должна бы жить сохранно, в храме, и чтоб ее видеть могли бы немногие посвященные. Это такое кощунство.

Я сейчас написала об этом А<нне> Р<удольфовне>. Я не спала всю ночь. Это невозможно так оставить. Макс, милый, узнай все про нее, об ней писали. Ее в Париже знают. Я хочу знать мнение Штейнера об ней,[5] написать о ней статью;[6] сегодня я постараюсь увидеть ее идиотского ментора и узнать ее биографию,[7] и достать ее портреты. Об ней следовало бы написать в «Искусстве».[8]

---

* Фейерверк *(нем.)*.

Мы шли по склизкому Цуриху, обгоняющие нас люди говорили о truqu'e*. Алеша был так взволнован, что ни слова не говорил и только дома сказал: «А ведь я такой красоты никогда не видал».

Макс, вот Твое письмо и книга. Макс, милый, как я счастлива..... Это ужасное, значит, прошло. Ты не будешь мне так говорить и ждать ответа. Неужели это прошло бесследно и я буду по-прежнему с Тобой. Как я рада, Макс. Это было так ужасно, мне казалось, что я убила что-то, у меня был труп в душе. Мне казалось, Ты поручен мне и что я привела Тебя не туда, что я сама заблудилась. Мне было так ужасно.

А теперь это прошло, совсем? Да? Отчего Ты не можешь говорить обо мне с Чуйко. Мне бы так хотелось, чтобы вы были близки и чтобы вы говорили обо мне. Он меня знает лучше, чем Ты. Не преувеличивая, без восторга. Поговори с ним. Я бы хотела, чтобы он увидал Твое серьезное, настоящее лицо; Тебя так трудно увидать.

Сейчас я получила от А<нны> Р<удольфовны> письмо. Оно очень ободрило меня.[9]

Но теперь, после Твоего, я совсем спокойна и счастлива. Дай посмотрю Тебе в глаза. Может быть, Тебе теперь не страшно приехать? Может быть?..

Ну, прощай, мой милый.

Послушай, уничтожь все мои письма с Твоего отъезда. — Только не перечитывай. Это нужно совсем, совсем забыть.

До свидания, любимый мой.

[1] «Беатриче Благословенная» («Beata Beatrix») — известная картина Д.Г. Россетти (1864).

[2] Имеется в виду Айседора Дункан.

[3] См. примеч. 9 к п. 64.

[4] Тарарабумбия — слово (начало песенки), получившее в России известность благодаря Чехову (его напевает Чебутыкин в пьесе «Три сестры»). Восходит к «гимну» шансонеток из парижского кафе-ресторана «Максим»: «Tha ma ra boum diè!» (см.: *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем. Соч.: В 18 т. Т. XIII. М.: Наука, 1978. С. 466; коммент. И.Ю. Твердохлебова).

* Трюк, прием *(фр.)*.

[5] Мнение Штейнера Минцлова сообщит Сабашниковой в письме от 15/28 сентября 1905 г. (см. примеч. 4 к п. 166).

[6] Статью о Мадлен Сабашникова напишет в начале октября 1905 г. в Цюрихе (см. примеч. 2 к п. 180).

[7] Встреча Сабашниковой с А. фон Шренк-Нотцингом не состоялась. От этой встречи ее отговаривала и Минцлова в письме от 15/28 сентября 1905 г. (см. примеч. 4 к п. 166).

[8] Свою статью Сабашникова действительно предполагала отправить в московский журнал «Искусство», с редакцией которого была тесно связана Е.А. Бальмонт. Однако по совету Минцловой она отказалась от своего замысла (см. примеч. 4 к п. 166).

[9] Имеется в виду письмо из Парижа от 11/24 сентября 1905 г. (ИРЛИ, ф. 526, оп. 5, ед. хр. 87, л. 35–37).

158. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

14/27 сентября 1905 г. Париж[1]

Среда. 27 сентя<бря>. Утро.

Вот передо мной лежит твое вчерашнее письмо, сумасшедшее письмо, написанное в понедельник... Оно жжет мне сердце.

«Что ты сделал со мной? На что похожа теперь моя жизнь?..»

Дитя мое... мне страшно... Мне вчера казалось, что мне положили на плечи большой хрустальный шар – «Шар Богов»,[2] и я несу его, подняв высоко руки, чтобы поддержать его, и меня охватывает ужас, что я могу уронить его, разбить его... И руки дрожат, и шар скользит...

И я молюсь: «За что мне недостойному и слабому?..»

Боже мой! может, если б я меньше боялся за тебя, мои руки бы не дрожали... Но меня все преследует мысль, что я приношу тебе непоправимое зло... Может, мне надо было теперь же взять тебя, унести тебя, не отпускать тебя...

Раз я видел твое лицо – старше и грустнее, и ты мне сказала: «Ведь тогда, Макс, я была твоя... Почему же ты тогда не взял меня?..» И твой голос звучал безнадежно далеко... из будущего... И мне казалось, что мы чем-то навсегда разделены...

Моя бедная, бедная девочка... Что же мне делать с тобой... Как мне донести мой хрустальный шар цельным и прозрачным?

Те, кто по-человечески любят, берут, не боясь разбить, не боясь «ни человеческого стона, ни человеческой слезы»... А я боюсь человеческого стона... Что же это: слабость непростительная, недостаток желания?

Я пишу, и предо мной лежит портрет Вас<илия> Михайловича... И я все время чувствую грустный и осуждающий взгляд... Я пишу тебе: поезжай к Штейнеру, поезжай в Москву... Но во взгляде та же укоризна... как будто не это я должен делать, не это я должен говорить тебе...

Если б знал я, что ты действительно *меня* любишь, а не мечту свою. Очень смущает меня то, что мой вид, мой голос так чужды тебе...

Мне все кажется, что ты кого-то иного видишь во мне и что под маской иного я говорю и пишу тебе...

...Я смотрю в лицо твоего отца – и вот слова, которые рождаются во мне...:

Если любишь – приди ко мне, будь моей, будь со мной, сейчас же, здесь, в Париже...

Это легче будет принять твоим, чем твои долгие мучения и сомнения, которые будут и их мучениями... Если ты уверена в своей любви...

Если нет... я чувствую, как в тебе при этих словах, при этом вопросе снова подымается все: сомнения, вся мука...

Если нет, то надо ждать, проверить, не думать, не писать...

Тебе нельзя жить моими письмами, от письма до письма каждый день...

Вернись к своей жизни, к своей работе... Откинь тогда мысль обо мне, борись с ней... С сегодняшнего дня я не буду писать тебе, пока не получу ответа на это письмо...

Аморя... милая, любимая... родная. Так нельзя... Нельзя оставаться на пороге – ты сама говорила мне это раньше... В письмах наших мы тоже все время на пороге... Или войди – но ты ко мне... или запри двери в свою комнату... не будем совсем писать... испытаем, проверим...

«Или»... «или»... Когда я должен тебе прямо сказать — сделай так, приди ко мне, будь моей любимой, близкой, навсегда, перед всеми открыто... Милая, все мое сердце кричит к тебе это, а кто-то говорит: «Или прекрати писать и проверь»... Качается хрустальный шар, разобью я его...

Дитя мое, *меня* ли любишь ты? Не будешь ли ты ненавидеть меня настоящего? ежедневного?

Во мне все укоризненно звучат строфы Брюсова, обращенные к Антонию:

Когда одна черта делила
В веках величье и позор,
Ты повернул свое кормило,
Чтоб раз взглянуть в желанный взор...
...О, дай мне жребий тот же вынуть
И в час, когда не кончен бой,
Как беглецу, корабль свой кинуть
Вслед за египетской кормой...[3]

Холодны мы? Или мечта слишком горяча? Мне холодно, мне грустно, мне страшно... Мне хочется припасть тебе на грудь, целовать твои руки... Аморя... что же это?.. Неужели мы не будем писать друг другу?..

Так надо... надо...

[1] Ответ на п. 155.

[2] Хрустальный шар — магический атрибут в некоторых религиях мира, имеющий, по легенде, божественное происхождение и используемый для сосредоточения, предсказания, угадывания и т.д.

[3] Приведены пятая и седьмая (последняя) строфы из стихотворения Брюсова «Антоний» (1905), впервые опубликованного в журнале «Вопросы Жизни» (1905. № 7. С. 41—42). Вошло в сб. «Στέφανος» (1906).

159. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

14/27 сентября 1905 г. Париж

27. Среда. Вечер.

Только что я отправил мое письмо, как пришло твое от вторника...[1] Точно спокойным ветерком повеяло... Я хотел сейчас же писать... но я все утро говорил с тобой, думал о тебе и уехал сперва в Версаль...

Дождливый день, серый... осенний... Я бродил по бесприютному парку, все около той тропинки, по которой Орфей уходит в Аид («тропинка в парке между туй»[2]). Потом был в St. Cloud. Мне все хотелось вернуться к истокам,[3] но это было невозможно. «Взрывая, возмутишь ключи...»[4]

Видишь – не могу я тебе не писать... не могу я не получать от тебя писем. Я все время полон словами к тебе... Но когда пишу – пишу другие... И чтение мое не идет, и писание не идет... Мой весь день, если я не с людьми, наполнен только тобой и полученным от тебя письмом. Когда я с людьми, то я тебя прячу, тебя совсем нет со мной... А если я целый день сижу дома и никого не вижу, то на меня нападает ужас и тоска... Но я вижу людей мало, по 2–3 часа в день...

Я все искал сегодня, ходя по парку, – откуда у меня этот странный горячий туман, который весь год стоит в моей душе... Что это? – со мной раньше этого не бывало. Может, действительно что-то в мире делается, в душе человечества какая-то тайная революция происходит, и беспокойно и бессознательно отражается и в твоей душе, и в моей душе, и создает между нами какие-то призраки, которые нас мучат, пугают и путают?

Мы все время живем вне действия... Мы с тобой не сделали еще ни одного поступка, но создали вокруг себя раскаленную атмосферу слов...

Каждое произнесенное слово – одно волокно в кармической ткани. Ни одно слово не проходит бесследно. Все между нами насыщено нашими словами, как воздух электричеством.

Мы в одно и то же время говорим одни и те же слова, мучаемся одной и той же грезой...

Любовь – это желания, это поступок... А мы заколдованы в какой-то другой сфере...

Надо ли нам расколдоваться или надо медленно и осторожно освободиться от власти слова... Но ведь когда мы были вместе, мы совсем не говорили!!

Но ведь слово всесильно... И оно даже не зависит от того, кто его произносит...

Я весь день думал об Мадлэн – я никогда ничего об ней раньше не слыхал, и в Париже она не была. Ведь это только слово пробуждает в ней божество... Нельзя бояться слов. Только надо говорить только те слова, от которых боги пробуждаются...

Мне вспоминаются слова Мишле в «Истории Революции»[5]: «В эти эпохи действие является послушной рабыней слова. Как при сотворении мира: «Сказал... и бысть свет».

Это он о Дантоне говорит...[6] Я теперь все читаю его «Историю Революции».

Я не могу ни на чем другом сосредоточиться... Как это великолепно написано... В первый раз Революция так развертывается передо мной...

Вчера я читал, как отрубленную голову маркизы де Ламбаль принесли к куаферу – он завил ее, напудрил и ее после понесли на пике к окну Марии Антуаннеты...[7]

Читал о том, как Дантон перед казнью сказал палачу, который грубо оттолкнул Фабра Эглантина, хотевшего проститься с ним:

«Ничего. Мы поцелуемся в корзине...»

А потом прибавил: «Ты подымешь мою голову и покажешь ее народу... Она стоит этого»...[8]

Я весь полон этими образами, но я еще совсем не знаю, как подойти к ним, с какой стороны. Они, как куски чеканной меди, висят в безвоздушном пространстве, поражают, но не срастаются с душой.

Вчера я водил Чуйко на фарс «Франкмасоны»[9] в театре Клюни.[10]

Он хохотал до того, что у него дыхание захватило, и, к довершению его счастья, мы сидели бок о бок с пятью старыми консьержками, из которых одна смотре<ла> на сцену с

таким выражением, точно она смотрит ногой в могилу. Теперь он воспылал страстью к театрам, и мы будем ходить вместе.

Мне как раз надо обойти все новые театральные пьесы для «Руси».

Завтра мы идем в «Мастабу» и в Египетский отдел.[11]

Я прочту ему, что ты пишешь о Мадлэн. Неужели она не приедет в Париж?.. Я не могу освободиться от впечатления твоего письма об ней...

Мы творим наш мир словами, тот мир, в котором мы будем жить, и переживаем все сомнения и трудности творения. Не бойся сомнений и прости мне мои сомнения...

У меня прошло все, что было...

Только почему мы так верим словам друг друга. Я к каждому твоему письму отношусь, как к нерушимому и окончательному. Вот почему я так послушно и беспрекословно подчиняюсь каждому твоему сомнению... Но, может, без этой веры и нельзя создать своего мира. Милая моя... милая моя девочка...

Обними мою голову... поцелуй меня... Милая...

[1] Имеется в виду п. 157.

[2] Строка из стихотворения Волошина «Письмо» (см. п. 14).

[3] Волошин имеет в виду «истоки» своего влюбленного чувства к Сабашниковой, в частности, – их первую совместную поездку в Сен-Клу 31 мая / 13 июня 1904 г. (см. примеч. 9 к п. 13, а также п. 52, 122 и 237).

[4] См. примеч. 1 к п. 87.

[5] «История Французской революции» – труд Ж. Мишле, созданный в 1847–1853 гг.

[6] Волошин приводит (в свободном пересказе) слова Мишле из 3-й главы 7-й книги «Истории Французской революции» (см.: *Michelet J.* Histoire de la Révolution française. Paris: Gallimard, 1952. T. 1. P. 1025).

[7] В «Истории Французской революции» Мишле описывает казнь, учиненную обезумевшей толпой над маркизой де Ламбаль, издевательства над ее телом и головой и т.п. (книга 5-я, глава 6-я). Глубокое впечатление, произведенное на Волошина этими под-

робностями, отразилось в его стихотворении «Голова madame de Lamballe» (см. примеч. 2 к п. 150), отдельные строки которого дословно повторяют текст данного письма («Куафёр меня поднял с земли, / Расчесал мои светлые кудри, / Нарумянил он щеки мои / И напудрил... // И тогда вся избита, изранена, / Грязной рукой, / Как на бал завита, нарумянена, / Я на пике взвилась над толпой...»). См.: Т. 1 наст.изд. С. 244–245 и 518–519.

[8] Эта сцена описана в 7-й главе 17-й книги «Истории Французской революции», однако слова Дантона обращены, в изложении Мишле, не к Фабру д'Эглантину, а к Эро де Сешелю (см.: *Michelet J.* Histoire de la Révolution française. T. 2. P. 808).

[9] «Франкмасоны» – одноактная комедия в прозе (1769); автор – Пьер Клеман (1707–1767).

[10] Парижский театр на бульваре Сен-Жермен.

[11] См. примеч. 24 к п. 73.

160. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

15/28 сентября 1905 г. Цюрих

28 сент<ября> 1905.
Цурих.

Милый, хороший, такой хороший.... Как я люблю Тебя, какой благодарностью полно мое сердце, каким благословением... Целую Тебя; Твое чистое сердце. Ты прав, думая, что каждое Твое слово связывает меня с Тобой, но этого не нужно бояться. Страшна та внешняя связь. Эта же связь только дает силу, в ней нет рабства, п<отому> ч<то> не Тебя временного, случайного я люблю тогда, а голос, кот<орый> говорит через Тебя. Каждый раз, когда Ты хочешь дать мне свободу и когда само бескорыстие говорит через Тебя; каждый раз тогда я знаю, что Ты тот, с кем я должна подойти к дверям. Мой милый, милый, будем тихо ждать, смиренно ждать, когда позовут и нас и мы будем готовы. Да? Мы будем молиться в темноте и ждать рассвета.

Примечание, о кот<ором> Ты говоришь,[1] раньше казалось мне противоречием. Cherche-le en analysant toute experience et rapelle-toi qu'en te disant cela *je ne veux pas dire*: cède

aux séductions* и т.д. А потом: ... Ты можешь их испытывать без ужаса, изучать и спокойно ждать минуты, когда они не будут касаться Тебя...[2]

И вот что мне не ясно, что же он[3] называет «поддаваться искушениям»? По-моему, так и выходит, что нужно поддаваться и, изучая, ждать, когда искушения перестанут быть искушениями. Когда это можно будет сбросить, как старую змеиную кожу. Весь дух учения — естественное постепенное восхождение, нельзя пропустить ни одной ступени... зачем же такие слова, как *убей* желание. Оно должно умереть естественно, иначе его призрак вернется. Это смущает меня.

Как я люблю конец 13-ой и начало 14 стр<аницы>. Вообще эта книжечка... Да кто писал ее или «скорее» через кого и кто? На этих немногих страницах все глубины.

Прошу Тебя, пришли с Чуйко 4 таких книжки. Я знаю, кому я подарю их.

Благодарю Тебя очень за «Évolution de la vie»**.[4] Начало страшно интересно. Оно и Тебе массу даст. Мне читал Алеша, я сама теперь совсем не могу. И Алеша был в восторге. Он работает с утра до вечера, я, когда присутствую при этом, изумляюсь, как он может. Иногда у него делается от этого страшное возбуждение, и он тогда говорит без умолку о сказке как о воспоминании Золотого века, о творчестве как о выявлении ее, о индивидуальности, личности и т.д. А иногда устает так, что молчит или стонет и плачет над своей судьбой. Тогда я читаю ему Пушкина. Но в общем и он, и я, мы живем через день; если один день полный и продуктивный, другой тяжелый и пустой. Я думаю, что мы устали от слишком замкнутой однообразной жизни. Мы ведь все время вдвоем. Он так занят, что мне не с кем гулять, а я в Цюрихе одна гулять не умею. Вчера и третьего дня я не спала ночи и днем влачилась с головной болью. Портрет мой опять в плохом виде,[5] и мне грустно. Но в глубине души, после Твоего письма по отъезде А<нны> Р<удольфовны>, я очень счастлива. Я не думаю о Тебе, я только всегда чувствую Твою голову, Твое плечо только... Но

* Разыскивай его <путь>, проходя любые испытания, и помни, что говоря тебе это, *я не хочу сказать*: уступай соблазнам *(фр.)*.

** Эволюция жизни *(фр.)*.

я об этом не думаю... Вчера от Тебя не было письма. Знаешь, что страшит меня — это 10 дней расстояния между нашими словами. Теперь 2, 3 дня кажутся беззаконием, что же будет, когда явятся 10 дней.[6] Отчего у меня нет Твоих телепатических способностей, мы бы сообщались иначе.

Но мы будем читать по утрам в одно и то же время те же слова. Да? Мы будем вместе.

Относительно томления от 4 до 6-ти я думаю, что я не при чем, но у меня это бывало в эти часы ужасно сильно раньше — год, два и три года тому назад, какая-то надрывающая боль в сердце. Это бывает у многих; зимой тоже я помню с детства эту тоску; когда зажгут свечи, это проходит.

С<ергей> В<асильевич> Саб<ашников> говорил мне тоже об этом и говорил, что он понимает, почему татары молятся на закате солнца.

Макс, вчера я читала Евангелие. Как все теперь понятно. Притча о виноградарях, кот<орым> заплатил хозяин поровну,[7] преображение... все слова. Как можно понимать Еванг<елие> без теософского основания. Читай его теперь, мой милый.

Обнимаю Тебя и целую Твои глаза. Мой любимый. Как долго мы не увидимся. Целую, целую Тебя и люблю.

Madeleine я больше не видала. Она танцевала каждый вечер, но Алеша не мог пойти со мною, а одной в это заведение мне было страшно идти. Что Ты узнал о ней?

Прочла об Атлантиде.[8] Как-то дешево написано. Напоминает Жюль Верна.[9]

Пожалуйста, сними иву для меня и сосну большую.

Пришли мне Таиах[10] и какие-нибудь египетские лица.

[1] См. примеч. 3 к п. 156.

[2] Во французском переводе: «Cependant, il t'est permis de les éprouver sans horreur; tu peux les peser, les observer, les analyser et attendre, avec une patience confiante, l'heure où elles ne t'affecteront plus». В русском переводе: «Но если соблазн придет к тебе, не пугайся, разберись в нем спокойно, взвесь его бесстрастно, дабы не пропустить урок, который возможно извлечь из него, и жди с терпением веры, что придет час, когда соблазн не будет иметь власти над тобой» (Свет на Пути. С. 50).

[3] «Он», т.е. автор книги «Свет на Пути» (см. примеч. 16 и 17 к п. 131, а также п. 163).

[4] «Эволюция жизни и формы» – книга А. Безант, написанная по-английски. Французский перевод был издан в Мадрасе в 1898 г.; переиздан в Париже в 1901 г. в серии «Publications théosophiques».

[5] См. примеч. 9 к п. 134.

[6] Сабашникова имеет в виду 10 дней почтового пути между Парижем и Москвой (см. также п. 164). О ее попытках наладить свое эпистолярное общение с Волошиным после отъезда из Цюриха см. п. 133, примеч. 1 к п. 175, п. 183 и др.

[7] Имеется в виду евангельская притча о работниках в винограднике (Мф. XX, 1–16).

[8] Конец XIX – начало XX в. были отмечены в Западной Европе всплеском интереса к Атлантиде, пробужденного, в частности, книгой американского политического деятеля и писателя Игнатиуса Донелли «Атлантида: мир до потопа» (1882). Однако Сабашникова и Волошин читали, скорее всего, книгу «История Атлантиды» английского писателя В. Скотт-Эллиота, обладавшего, по убеждению теософов, «астральным ясновидением». Книга была впервые издана в Лондоне в 1896 г. с предисловием А.П. Синнета. Сабашникова могла читать ее во французском переводе: *Scott-Elliot W.* L'histoire de l'Atlantide. Esquisse géographique, historique et ethnologique. Traduit de l'anglais. Paris: Publications théosophiques, 1901 (экземпляр этого издания сохранился в библиотеке Волошина). В конце 1905 г. Минцлова собиралась перевести на русский язык другую книгу Скотт-Эллиота «Погибшая Лемурия», изданную в Лондоне в 1904 г. и переведенную в 1905 г. на немецкий язык (см.: У истоков русского штейнерианства. С. 190–191), но этот замысел не осуществился. «История Атлантиды» Скотт-Эллиота была впервые переведена на русский язык в 1916 г. (см.: Вестник теософии. 1916. № 9. С. 71–82; № 10. С. 65–74; № 11–12. С. 102–146; перевод Н. Дмитриевой). См. также п. 185.

Книга Скотт-Эллиота была хорошо известна Бальмонту, посвятившему «Атлантиде» стихотворение «Город Золотых Ворот» (впервые: Новый путь. 1904. № 12. С. 18–19; вошло в сб. Бальмонта «Литургия Красоты. Стихийные гимны»).

[9] В романе Ж. Верна «20 тысяч льё под водой» (1869–1870) капитан Немо и профессор Аронакс, странствуя по дну Атлантического океана, обнаруживают развалины древней Атлантиды (часть 2, глава 9: «Исчезнувший материк»).

[10] См. примеч. 3 к п. 15.

161. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

15/28 сентября 1905 г. Париж

Четверг. 27[1]. Сумерки.

Сегодня дождь... с утра не переставая... Он меня отрезал от города. Я не поехал к Чуйко...

Мое сердце в тумане... Мне смутно и грустно. Читать трудно... Книга вываливается из руки. Прочитанная мысль ускользает из головы... Мне смутно здесь в этой чужой пустой квартире... Мне хочется быть снова со своими стенами, изображениями на стенах, портретами, книгами...

Ко мне стал приходит Пьер заниматься русским языком.[2] Ан<на> Руд<ольфовна> мне его поручила.

Мы с ним читаем «Героя нашего времени»[3] – мы прочли несколько страниц, и они поразили меня.

Я оставил себе его книгу и залпом перечел всю. И вот теперь у меня острая тоска по горам, по Азии. Как странно читать хорошо знакомые русские книги в Париже. Они кажутся совсем новыми.

Я не знал, что мне все так в той жизни близко, я не знал, что она так непохожа на все европейское.

В Альпах нет того знакомого веяния, которое пахнуло на меня из книги... Неужели у меня начинается тоска по родине – по Азии, по югу?..

Я проживу эту зиму в Париже, а потом поеду домой... Пусть этот год будет год книг и журнализма. А потом мне надо тишины и пустыни.

Надо глубоко уйти в себя и проверить себя... Трудно здесь это сделать... В Париже какой-то наркотический яд. Он доводит все силы до высшего напряжения. А потом утомляет, расслабляет...

Милая моя девочка, как мне надо твоего присутствия, твоей близости в этот вечер. Я закрываю глаза и представляю, что вот ты войдешь тихая, ласковая и сядешь со мной рядом, мы покроем головы одним пледом и будем говорить шепотом...

Холодно... У электрических лампочек неприятный, неуютный свет...

Сегодня не было письма от тебя. Я перечитываю старые письма. Нет, нет, я ни одного не уничтожу, ни одного. Там ни одной строчки нет, которую можно было бы сжечь... Ни за что.

Ночь с четверга на пятницу. За сколько месяцев я в первый раз провожу ее наедине, один сам с собой. Все время я боролся за Ан<ну> Руд<ольфовну> или оберегал тебя. Почувствую ли я что-нибудь сегодня один?..

Я подхожу иногда к зеркалу и долго смотрю на себя. Я хочу видеть, что тебе чуждо во мне... Я не люблю своего лица теперь... А раньше я его любил. Но я не знаю, какое лицо ты видела у меня иногда, когда ты любила его... И я чувствую, что если я его в зеркале буду искать, то я никогда не найду его...

Холодно... грустно...

Хочется закутаться в плед, сесть в кресло и читать длинный роман... Почему время перестало у меня теперь останавливаться, как оно иногда останавливается в детстве по вечерам при свете лампы? Прижмись ко мне, опусти голову, я тебя закутаю... У тебя наверно опять холодные пальчики...

Мне хочется, чтобы ты была немножко больна, очень немножко, и чтобы я сидел около тебя и грел твои руки... Только я не в Цюрихе вижу тебя... Это какая-то другая комната... Твою комнату я люблю, но у меня нет нежности к ней. Мне все казалось, что я незаконно в ней. Это мучительно.

Бедная моя, любимая... Почему же мне наша любовь кажется сегодня такой безысходной...

Мне кого-то безотчетно жалко... Нас ли самих или еще кого-то... Даже как будто слезы навертываются, точно я смотрю на твои «гвоздики»...

Девочка моя, радость моя... Может еще будет письмо от тебя. Последняя почта приходит в 10 час.

Тебе тоже одиноко и грустно?.. Ты не можешь работать? У тебя болят глаза?

Обними мою голову, прижми ее к груди... Будем близко... совсем близко... чтобы только одно сердце билось...

Боже мой! как одиноко в этих пустых, гулких комнатах... И шум дождя за ставнями...

Я отворял окно... Блестят тротуары, и качаются голые верхушки деревьев... Огней мало, людей нет...

Ты ведь здесь? со мной?..

[1] Ошибка Волошина. Следует: 28.

[2] Парижский манекенщик, знакомый М.С. Чуйко.

[3] Роман М.Ю. Лермонтова (1837–1840).

162. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

15/28–16/29 сентября 1905 г. Париж

28. Пятница.[1] Ночь.

День дождя, слякоти, хождения по улицам, на хребте омнибусом... Я с велосипедом совсем отвык от иных – медленных передвижений.

Выбор мебели в магазинах – такой, какая мне не нравится, для Семенова... Вечером у Чуйко. Он очень тобой возмущен:

«Эта безумная девушка, когда я ей пишу, мне не отвечает или отвечает несколькими словами. Я же ей отвечаю всегда сейчас же и большим письмом. Я глубоко возмущен... Нам с Вами говорить об ней?.. Pas de peine...* Так и напишите ей, что я сказал pas de peine... Все напишите, что запомните»...

К сожалению, я больше никаких слов его негодования не запомнил. Он очень огорчен твоим молчанием.

После мы пошли в театр «Nouveautés»,**[2] где он страшно наслаждался...

Только что, возвращаясь к себе, я встретил, выходя из метро, одного масона. Того самого, который первый встретил меня при приеме в ложу. Его вид всегда производил на меня большое впечатление. Это высокий человек, худой, костлявый, сутуловатый, с трудом волочащий тяжелую хромую ногу, очень мрачный и с очень добрыми и ласковыми руками.

* Не стоит *(фр.)*.

** «Новинки» *(фр.)*.

Меня он заинтересовал с первого мгновения, и кажется мне дверью, в которую можно войти. К нему все в ложе относятся с большим уважением и знают его во всех других ложах... Он целый день сидит <в> полутемной пыльной библиотеке, хранящей атмосферу начала XIX века... Я был очень удивлен, увидав его на улице и узнав, что он живет недалеко от меня. Я проводил его до дому. Он шел тяжело, опираясь на мою руку, с немного лошадиным черным лицом и глубокими глазами. Но ни о чем важном я не сумел заговорить с ним. Прощаясь, он меня попросил приготовить к следующему собранию мои впечатления от масонства, для посвящения меня в следующую степень.[3]

Вот я опять возвращаюсь мыслию к масонству... Я забросил эти месяцы все масонские книги. Надо снова приняться за них. Ох, как много нужно прочесть, как много надо узнать... Когда я думаю о своих книгах, мне совсем не хочется покидать Парижа.

Их нельзя привезти в Россию...

Я думаю об этом лете. Я вспоминаю, как я прятал тебя на дне души, как я запирал ставни, не выходил на улицу, чтобы не потерять тебя. Теперь все так изменилось. Теперь моя душа закрыта как-то для всех внешних впечатлений, там только ты...

Я, как слепой, хожу по улицам и не могу отдаться этому горячему парижскому потоку. Я как-то потерял вкус к улице и ее опьянению. Я все теперь мечтаю о живописи. О том, как я только перееду в свою мастерскую, сейчас же начну рисовать. Я все разные гаммы красок вижу. Не формы, не линии, а только тона... Ужасно стосковался я по краскам.

Я за эти полгода как-то до такой степени оторвался от реального соприкосновения с жизнью, с предметами. Биение твоего сердца и трепет рук Ан<ны> Руд<ольфовны> были моими единственными внешними впечатлениями за все это время.

Я так много жил раньше своими глазами, так много смотрел, а теперь я не могу вспомнить, что же я *видел* за эти последние месяцы.

Я привык теперь закрывать глаза, чтобы видеть, и мне это стало казаться вполне естественным.

Вот мы с тобой опять читаем все разные книги. Мне так хотелось читать одно и то же. Но я теперь так много различного читаю зараз, что разрываюсь.

Пожалуйста – не забывай отмечать в книгах места, которые ты полюбила, и делать записи на полях.

Как нелепы условия жизни: ведь если б мы могли свободно и всегда быть вместе, то никаких соблазнов и смут не было бы у нас. Но соблазны и смуты приходят, потому что жизнь указывает – если Вы хотите быть свободно вместе, то надобно еще и другое, иная связь... Милая моя девочка, как мне радостно говорить с тобой, когда за моими плечами не стоит ника<ко>го призрака, смущающего дух... Как мне хочется быть с тобой, приласкать тебя, успокоить, дать тебе крепкий сон и ясную душу...

Эти дни тайны одиночества будут нарушены. Все-таки эти пустые комнаты полны моими мыслями о тебе... Со дня твоего отъезда я принес сюда к этому столу, за которым я пишу, мою мечту о тебе, и она ни разу не покидала меня... Я иду по улицам и спрашиваю себя: неужели зеркало потускнело и не принимает в себя новых образов?

Только что я получил письмо от мамы. Она хочет приехать в Париж зимой, но только боится меня сте<с>нить, если я буду в том же ателье. Я ей пишу сейчас, что теперь это будет гораздо удобнее для нее. Как мне хочется, чтобы Вы узнали хорошо друг друга.[4] Я совсем не думал, что она сможет приехать в этом году.[5]

[1] В действительности 15/28 сентября 1905 г. приходилось на четверг. По-видимому, письмо было написано в ночь с четверга на пятницу.

[2] Théatre des Nouveautés (Театр новинок) существует с 1827 г. по настоящее время. Неоднократно закрывался и возникал на новом месте. Основное место в репертуаре театра занимали водевили, комические оперетты, злободневные сатирические пьесы. Волошин присутствовал в театре «Nouveautés» на премьере комедии Жоржа Дюваля «Десятиминутная остановка» («Dix minutes d'arrêt»), о чем сразу же отправил корреспонденцию в газету «Русь», объединив

сообщение об этом спектакле с отчетом о премьере балета-пантомимы «Мариска» в парижском кабаре Мулен-Руж (опубликовано под заголовком «Парижские театры» 24 сентября / 7 октября 1905 г.). См.: Т. 5 наст. изд. С. 552–554, 844–846.

[3] По мнению, В.П. Купченко, в этом отрывке изображен художник Освальд Вирт (1860–1943), французский масон, автор нескольких книг о символизме, издатель журнала «Le Symbolisme», создатель одной из оккультных колод Таро и др. (см.: *Купченко В.* Вокруг М.А. Волошина // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 271). Сохранилось четыре письма О. Вирта к Волошину (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1393).

[4] Первая мимолетная встреча Сабашниковой с матерью Волошина произошла 20 февраля / 5 марта 1903 г. в Москве. «Я видела его <Волошина> мать сегодня, – отметила в своем дневнике Сабашникова. – Она бежала в мужской шапке и в мужском пальто» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 20, л. 117). Более близкое и непосредственное знакомство состоялось в Москве 29 декабря 1904 г. / 11 января 1905 г. «Вчера провела вечер у M-me Юнге с Максом и его матерью, – записала Сабашникова на другой день в дневник. – Как красива и таинственна его мать; я испытывала все время волнение влюбленного. Какой у нее лоб, какие губы. Она ходит в мужском костюме, у нее волнистые шелковые волосы с проседью и такая благородная голова. У нее нос с горбиной, тонкий цвет лица и холодные загадочные глаза. Ее смех презрительный и отрывочный, она грассирует, и голос ее низкий, приятный. А он рядом с ней такой лохматый с ангельскими глазами; толстый... Милый» (*Там же*, ед. хр. 22, л. 43 об.).

[5] Е.О. Кириенко-Волошиной удалось приехать в Париж лишь в первой половине января 1906 г. (см.: Труды и дни. С. 153).

163. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

16/29 сентября 1905 г. Париж

29. Пятница. Утро.

Моя милая Аморя... Вот твое письмо. Какое хорошее, радостное и бодрое... Вчера вечером у меня была страшная тоска, когда я писал тебе. После я пошел опустить письмо и долго ходил по пустым улицам и аллеям. Тоска разошлась... Я весь вечер читал Элифаса Леви.[1]

Я спешу тебе писать: у меня начинается сегодня беготня по чужим и своим делам. Надо заняться упаковкой и отправкой Семеновской мебели,[2] переселением самого себя со своими книгами в новую мастерскую и, главное, это все нельзя сделать в один – 2 дня, а займет это, по крайней мере, неделю.

Я посылаю тебе «Christianisme Ésotérique et les Mystères Mineurs» Anny Besant.*[3] Это то, что тебе надо? Я еще не читал этой книги. Прочти ее поскорей, если можешь читать... Бедные глаза... Почему я не могу тебе читать всегда вслух... Пожалуйста – отмечай то, что тебя поразит – пиши на полях, оставь свои знаки на книгах, которые ты читаешь. То, что ты кончила, высылай постепенно бандеролями мне. Высылай по адресу: 16. B<ouleva>rd Edgar-Quinet. Я тебе напишу, когда письма адресовать уже туда.

«Lumière s<ur> l<e> Sent<ier>» я велю Пикару[4] выслать тебе 5 экземпляров. Читаешь ли ты «Voix du Silence»**?[5] Это непосредственное продолжение того же, только величественнее и таинственнее.

В том, что ты пишешь, нет противоречия.

«L<umière> s<ur> le Sent<ier>» обращается к тем, которые готовы стать учениками. Но требования от людей и от учеников различны. «Убей желание» – это относится к ученикам.[7] «Не бойся желаний и искушений» – это к тем, которые еще идут к ученичеству[8]. Учеником ведь нельзя *сделаться*. Им можно только *стать*, когда придет время... Нельзя убить и отказаться от того, чего еще не испытал. Всем надо сперва пройти дорогу страстей, не в одной жизни, а на всем пространстве перевоплощений.

Для того, кто вступил уже на путь ученичества, требования неумолимы. Кто идет к нему, еще не подчинен им. Надо знать себя раньше, держать в руках все свои достоинства и недостатки, и пороки, прежде чем кинуться на этот путь. И никто не может приблизить часа вступления на него, если не изжита еще дорога желаний, если еще остается неизвестное

* «Эзотерическое христианство и Малые тайны» Ани Безант *(фр.)*.

** «Голос Молчания» *(фр.)*.

в жизни, если не испробованы еще свои силы на всех искушениях до одного.

Я так понимаю это. «L<umière> s<ur> l<e> S<entier>» говорит и о том, что надо делать для того, чтобы вступить на путь ученичества, и раскрывает уже те требования, которые встанут там по вступлении.

Я ничего не знаю, когда и кем записана эта книга...[9]

Ты заметила: та смута, которая была между нами, была в последние дни ущербной луны. Я начинаю теперь улавливать эти связи, раньше недоступные мне.

Во мне последние дни звучат все слова Гете: «Все преходящее есть только символ»...[10]

Мне эти дни было трудно сосредоточиваться над «L<umière> s<ur> l<e> S<entier>». Я все сосредоточивался над твоими письмами.

До свидания... Как все радостно!

Привет Алеше.

Посылаю тебе сосны и деревья, уже раньше снятые у меня.

[1] Речь идет, возможно, о книге Э. Леви «История магии» (1860), переизданной в 1904 г. (см.: *Lévi E.* Histore de la magie. Paris: Félix Alcan, 1904); экземпляр этой книги сохранился в библиотеке Волошина. Другая книга Э. Леви, которой интересовался Волошин, — «Dogme et rituel de la haute magie» (1-е изд. — 1855; рус. пер. — СПб., 1910; в 2 т.). Впрочем, в записной книжке Волошина за 1905—1907 гг. отмечены названия и других книг Э. Леви (см.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 396, л. 78 об., 88 и др.).

[2] См. примеч. 2 к п. 52.

[3] Имеется в виду книга: *Besant A.* Le Christianisme ésotérique ou les Mystères mineurs. Traduit de l'anglais. Paris: Publications théosophiques, 1903.; рус. пер. (Е.Ф. Писаревой) — Таллинн, 1930; переизд.: М.: АРТ, 1991.

[4] «А. и Ж. Пикар» — парижское издательство, выпускавшее книги по археологии, искусству и архитектуре.

[5] «Голос молчания» (другой перевод – «Голос безмолвия») представляет собой, по утверждению Е.П. Блаватской, избранные отрывки из древнеиндийской «Книги Золотых Правил», переведенные на английский язык и аннотированные самой Блаватской. Первое издание – в 1889 г. (Лондон – Нью-Йорк). Состоит из трех частей: «Голос молчания», «Два пути», «Семь порталов». Текст не встречается ни в одной из ныне известных санскритских книг и принадлежит, по мнению большинства ученых, самой Блаватской. По содержанию и стилистике «Голос молчания» напоминает «Свет на Пути» (см. следующ. примеч.).

Первый полный русский перевод (Е.Ф. Писаревой) – в сб.: Вопросы теософии. Сборник статей по теософии. (Выпуск 1-й). СПб., 1907. С. 211–223. Ранее фрагмент «Голоса молчания» был переведен Бальмонтом (см.: *Бальмонт К.* Горные вершины. С. 36–40; в составе статьи «Кальдероновская драма личности»). О переводе Бальмонта упоминается в статье Волошина «О теософии» (см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 245).

Волошин пользовался, видимо, французским изданием, сохранившимся в его личной библиотеке: La Voix du Silence. Traduit et annoté par H.P. B<lavatsky>. Paris: Publications théosophiques, 1899. См. также примеч. 16 к п. 131 и примеч. 3 к п. 198.

[6] «Голос молчания», как и «Свет на Пути», обращен к «ученикам», желающим вступить на путь духовного самоусовершенствования, отречься от «земных» желаний и т.п.

[7] Первая заповедь в книге «Свет на Пути».

[8] См. примеч. 3 к п. 156 и п. 160.

[9] См. примеч.16 и 17 к п. 131.

[10] Слова Мистического хора в финале второй части «Фауста» Гете.

164. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

16/29 сентября 1905 г. Цюрих

29. 1½ ч.

Мы как два зеркала, стоящие друг перед другом, отражаем друг друга и какие-то призраки, витающие между нами. И мы живем словом. Я не знаю, что это. Еще и еще раз прихожу к тому, что нам не нужно искать в наших отношениях чего-то человеческого; когда оно является, это случайность,

если бы мы не ждали этого, это бы не явилось. Достаточно допустить мысль..... Я не знаю, не знаю, что между нами; только не нужно это уронить, загрязнить.

Когда Ты с людьми, меня нет; когда я в работе, Тебя нет. Но подумай, Ты видишь город, людей, а я сижу целые дни в 4-х стенах. Вот я рисую и потом вдруг вспоминаю Тебя, и спрашиваю себя: что же это?

Должна Тебе признаться, что я устала, устала, устала. Что я жду отъезда из Цюриха с громадным нетерпением. Смущает меня только 10 дней расстояния.[1] Ты подумай. Часто я спрашиваю себя, как бы я жила, если бы Ты не писал мне. Ах, Макс мой, как иногда хочется мне Тебя видеть и прильнуть головой к Твоему плечу, чтобы кончились все эти слова. Милый мой, я устала. Макс мой, обними меня. Мы с Тобой оба глупые, глупые дети. Вместе путаемся, вместе страдаем и радуемся. Иногда же меня охватывает счастье при мысли о Тебе. А Ты, скажи мне, счастлив ли Ты когда-нибудь. Не утешай меня, а скажи правду.

Нельзя все время обращать свой взгляд на себя. Мне нужно видеть людей. А Ты... Ты не забудешь меня, когда будешь видеть других людей? Как забыл меня этой зимой. Вдруг я перестану существовать для Тебя. Нужно так жить, чтобы не думать о себе, насильно не думать нельзя. Нужно, чтобы это вышло естественно, от полноты жизни.

«Внимание» — в этом ведь весь путь. Сделать из себя только средство познавать, заставить свою личность молчать, чтобы через нее что-то говорило. Личность должна быть только рычагом, только опорой, на которую можно встать, чтобы поднять весь мир. Помнишь, Макс, слова священника у Лескова: кончилась жизнь — началось житие.[2]

Как странно грустно у меня на душе. Как мы увидимся? А пока обними меня, Макс, мой милый, мой любимый. Мне так холодно сейчас, согрей меня в своих руках. Дай я посмотрю в Твои глаза. Они такие ясные, чистые. В первый раз, когда я внимательно посмотрела на Тебя, я увидала, что у Тебя детские глаза. Согрей мои руки, поцелуй мне глаза; я не могу

читать, они устали. Дай мне прижать Твою голову к сердцу. Хорошо ли Тебе?

Твое письмо какое-то смутное, точно Ты отходишь. Не оставляй, Макс, меня. Думай о другом, возьмись непременно за работу, не думай обо мне, но вечером, Макс, когда Ты устанешь, приходи ко мне, я обниму Твою голову, мы не будем говорить...

Когда Ты один, что это за тоска и ужас? А что за горячий туман.

Каких людей Ты видишь?

Я буду смиренно ждать, без отчаяния, без ужаса, когда ясный голос скажет мне, что делать. Но пока, о, милый, будь со мной.

[1] См. примеч. 6 к п. 160.

[2] «Жизнь кончилась, и начинается житие» — слова протопопа Савелия Туберозова в романе Лескова «Соборяне» (1872). См.: *Лесков Н.С.* Собр. соч.: В 11 т. Подгот. текста и примеч. И.З. Сермана. М.: Худож. литература, 1957. Т. 4. С. 235.

165. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

16/29 – 17/30 сентября 1905 г. Париж

29. Суббота. Вечер.[1]

Как наши письма встречаются и странно отвечают друг другу. Мы в одно время почти говорим об одном и том же, точно в нас живет один и тот же прилив и отлив.

В какие часы ты пишешь мне? Я пишу тебе ночью около 11—12, а потом доканчиваю утром иногда, если приходит утром твое письмо.

Я думаю о том, почему наши слова имеют такое абсолютное значение друг для друга, что с их властью нельзя бороться... Что сказано, то становится действительностью...

Ведь это так похоже на детские игры: «пусть этот стул будет лодка, а комната море»... И так все между нами.

Верно, так всю жизнь будет... Мы будем так играть... Игра — это единственный отблеск Божества в человеческой жизни, потому что мы, играя, становимся всемогущими. Только мы никак не можем привыкнуть к нашему всемогуществу, моя милая девочка... Мы все говорим — пусть мы будем несчастны, и все у нас будет нечеловеческое. И мы становимся несчастны...

Когда-нибудь мы скажем: будем играть в людей... И мы сделаемся людьми... Но взаправду, по-настоящему людьми нам никогда не сделаться... Если это и будет, то мы только будем играть в взрослых, а будем детьми.

Одной, единой правды в жизни у нас не будет никогда, потому что для этого нужно желание, острое желание, страсть, которое свертывает человека в одну тугую пружину и весь его порыв направляет к одной цели... Но эта цель — желание всегда извне. Это зерно рока, брошенное внутрь человека.

У нас с тобой есть только правда мечты — правда многоликая — в каждое мгновение разная, потому что она правда творчества и божества.

Мы пугаемся того, что все делается так, как мы себе скажем... Мы еще не привыкли к своему всемогуществу детей или богов.

Мы сказали: мы любим друг друга страстно, и к нам пришел лик человеческого желания со всем его ужасом, притягательностью и вкрадчивостью... Но одно дуновение мечты — и мы опять видим друг друга иначе.

Я сказал себе весной: я зеркало...[2] И я стал зеркалом трепещущим, вечно отражающим и ничего не задерживающим.

Ты вызываешь себе мое чужое лицо, чужой голос, и я становлюсь чужим.

Помнишь ты рассказ о человеке, который мог творить чудеса, и как каждое желание его немедленно исполнялось... Мы немного в этом положении. Нам надо учиться управлять своей мечтой, владеть ею...

Я думаю, что желания — этого огня, вложенного в человека извне, — в нас осталось очень мало. Этим таинственным

словам о 10-ти годах, после которых мы подойдем вместе к дверям, я очень верю почему-то.[3]

Мы холодны? Эта холодность значит признак того, что мы подошли к концу одного пути, и оба стоим у начала нового пути... Может, нам нужно вместе пройти через это последнее: «Злое пламя земного огня»,[4] чтобы вместе постучаться в те двери... Я сейчас вспоминаю эти странные фразы, которые вырывались у Ан<ны> Руд<ольфовны> и котор<ые> так не похожи на нее. Она говорила: «Мар<гарита> Вас<ильевна> должна еще пройти... Но Вы должны быть с ней. С Вами она должна пройти... И вы вместе подойдете к дверям».

Дитя мое милое, радость моя... Я не знаю почему, но мне так свободно и смело... Будем так играть всегда, что нам свободно и смело... Кругом нас ведь все только призраки, которые движутся от малейшего напряжения нашей мечты... Только если мы отдаем им свою любовь, они становятся реальны и могут иметь влияние на нашу жизнь.

Реально только то, что мы любим... Все остальное мы можем вычеркнуть из мира одним мановением мечты. Ты единственная реальность моей жизни теперь... Я вижу кругом себя только призраки. Может поэтому мне так тяжело без тебя теперь.

Никто из окружающих меня не воплощен в плоть и кровь.

Ты спрашиваешь меня — почему я несчастен. Я не несчастен. Но во мне нет как-то всей полноты существования — я не всем собой живу.

Мне кажется, что это рождение к чему-то новому. Что провалилось какое-то дно во мне, и я еще не измерил раскрывшейся бездны и не овладел ею... Это не несчастье... А какое-то томление перед рождением в неведомый мир. На несколько мгновений в Руане, раз в Париже, в горах с тобой он разверзался мне... Я чувствую работу в бессознательном. А сознательно страдает, слабеет, становится больно в эти минуты... Это какая-то тоска ранних весенних дней, что-то острое и беспокойное. Оно давно уже началось. Только теперь с твоего отъезда весной оно начало чуть-чуть выясняться, определяться. Сильнее всего эта тоска была в моей жизни за

несколько месяцев до того, как я в первый раз увидел тебя. Помнишь, я рассказывал тебе это?

Точно это что-то так связанное с твоим существованием...

Но нам еще на 10 лет суждена жизнь. А там только начнется «Житие»...[5] Я так думал в Руане и в Страсбурге, что я на пороге, но неведомая рука остановила меня. Я ищу реальностей и вижу только одну: я люблю тебя... Может, поэтому это нам кажется такой мечтой.

Дитя мое, милая моя... Я крепко, крепко сжимаю тебя. Будь радостна и смела. Говори только радостные слова...

[1] Суббота приходилась на 17/30 сентября. Видимо, письмо написано поздним вечером в пятницу (29 сентября) или в ночь с пятницы с субботу.

[2] Волошин имеет в виду свое стихотворение «Зеркало» (см. примеч. 2 к п. 53).

[3] См. примеч. 7 к п. 148, примеч. 4 к п. 156 и п. 192.

[4] Строка из стихотворения В. Соловьева «Вся в лазури сегодня явилась...» (1875).

[5] См. примеч. 2 к п. 164.

166. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

17/30 сентября 1905 г. Цюрих

30 сентября.

Деточка, деточка, Твое письмо так жалостно, да нечто можно мне так писать. Только я укрепила свое сердечко против Тебя, как Ты опять. Вечером с четверга на пятницу были мы с Алешей на «Тангейзере»,[1] и мне почему-то было невыносимо. Музыка действовала болезненно, она мне казалась слишком грубой и громкой, я все просила Алешу уйти. Макс, Ты раньше когда-нибудь чувствовал себя одиноким? Тебе именно меня тогда хочется видеть? Макс мой, знай, что я с Тобой. Вечером особенно: ум устает, мозг как-то болит, и я все переворачиваюсь с боку на бок и не могу заснуть. И тогда мне кажется, что у Тебя на руках я бы заснула.

Когда Ты войдешь в свою новую квартиру, изгони из нее злых духов, добрых благослови и позови мою тень к себе; для Тебя я добрым духом буду. Не ставь и не вешай на стены ничего средней ценности. Пускай каждая вещь будет настоящей и любимой. Что-то мне неприятно, что у Тебя в комнате будет vierge folle*[2] и черти. Уж такие вещи должны быть не в репродукции.

Моя поездка в Париж решена, по крайней мере, об обратном билете из Берлина не спорят. Будь спокоен, мой милый. Спасибо за книги.

Ах, Макс, нельзя так жить, как Ты, и работать без системы (прости). Если Ты не можешь делать, что наметил, то я не стану делать гимнастики, вот!

Я получила портреты Ш<тейнера> и Any Besant.[3] Она очень больна. А<нна> Р<удольфовна> пишет про Madeleine. Ее спасти нельзя; теперь много повторений с другими девушками.[4]

Прощай, мой милый, моя радость.

Знай же, вечером я буду с Тобой, деточка. Мне иногда кажется, что Ты маленький ребенок.

Моя кудрявая головушка, целую Тебя и прижимаю к сердцу.

Позови Чуйко на новоселье.

[1] «Тангейзер» – опера Р. Вагнера (написана в 1842–1843 гг.; первое представление – 19 октября 1845 г. в дрезденском Придворном оперном театре).

[2] Сабашникова имеет в виду себя (ср. п. 46); так же воспринимали ее подчас Волошин и М.С. Чуйко (см. примеч. 2 к п. 4, п. 162 и 220).

[3] «Завтра посылаю Вам 2 портрета Штейнера и 1 портрет Mrs. Besant, – писала Сабашниковой А.Р. Минцлова 15/28 сентября из Берлина, – к сожалению, это не тот, который я хотела иметь, мне прислали два очень плохие ее портрета. Но этот, по-моему, все же лучший, и Штейнеру он понравился. Все это – в Вашу полную собственность» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 87, л. 48).

[4] В том же письме (от 15/28 сентября 1905 г.) Минцлова писала Сабашниковой: «Милая, меня глубоко взволновало Ваше письмо, хотя я много, много подобных и еще ужаснее случаев знаю власти

* Безумная девушка *(фр.)*.

чужой, злой воли над беспомощными, слабыми людьми. Я вчера же вечером говорила об этом со Штейнером. Он говорит, что о Маделен много говорили и писали, но что появилось теперь, по несчастию, масса *повторений* Маделены — целые ряды девушек, очень молоденьких, попадают в руки хищников, эксплоатирующих их всеми способами. Это — одна из самых страшных и темных сторон оккультизма, потому так важно, чтобы эти знания попадали в руки только людям, прошедшим *ступень очищения* прежде чем прийти к *ступени власти*. Но сделать здесь что-либо — немыслимо. Этот господин, очевидно, купил самым законным образом эту девочку у родителей, вероятно, всякие контракты у него в исправности и налицо, и *закон* не может вмешаться. Что касается духовного воздействия — оно не поможет сейчас, потому что он владеет ее астральным телом <...> Дорогая моя, я знаю *десятки* подобных случаев. Об этом страстно негодует А. Безант в своих громовых лекциях, с этим борются все время светлые бойцы, как Steiner. У этого негодяя, очевидно, есть сила и знание в той области, что именуется “черной магией”. Сверхъестественного здесь ничего нет. Есть много ступеней сознания в человеке. И его можно привести в любое из них, усыпив некоторые из сторон человеческой души и разбудив другие, спавшие в человеке много веков, со времен его самой ранней эволюции на Сатурне, Луне — — Можно в трансе, часто повторяемом, изменить лицо и фигуру человека, можно повелеть ему в трансе стать похожим на картину, статую, сделать преступление и т.д. Почему так прекрасен ее аффект, тогда как в жизни аффекты отвратительны? Потому что *этот* аффект взят *не* из жизни. Он прошел через бездонные глубины и пропасти сознания человеческого, через невероятные потрясения и содрогания, тысячелетия волновавшие раньше сознание — и понемногу, в течение веков, успокоившиеся, улегшиеся в ритме и перешедшие теперь в эту поражающую и околдовывающую нас *неземную* красоту... То, что горело в огне страданий много веков, — это уже не земной аффект... Но если бы даже, каким-нибудь необычайным случаем, удалось спасти это дитя из рук негодяя — все равно знайте, что она *сама* придет к нему обратно, убежит к нему. Это власть, от которой нельзя спасти. Если что-нибудь может быть сделано, я думаю, что Steiner сделает это, хотя он прямо и определенно сказал, что здесь — *нельзя ничего сделать*. Но у него глаза были точно море в грозу — я знаю, он не забудет этого теперь.

Милая, вот что еще. Если Вы еще не написали в “Искусство” — *не пишите про это*. Этот ужас, эта эпидемия растет страшно, когда проникает в печать и становится достоянием публики, которая все же не вся увидит представления Маделены, а прочитает вся — и чем больше красоты будет в Ваших словах, тем больше разгорятся аппе-

титы хищников. А. Безант считает глубоко прискорбным явлением распространение в публике известий и книг о гипнозе, трансе и тайнах магии и т.д. Это дает бодрость и силу темным и злым, которые без этого не узнали бы, *что* можно достигнуть... Но, разумеется, если Вы уже написали и послали, не вздумайте тревожиться из-за моих слов, дорогая. Ничего дурного Вы не можете сделать никогда.

И еще: не видайтесь с этим профессором! Кроме лжи или гадости Вы не получите ничего от него, а портреты девочки уже он, наверное, продает везде. Или, если пойдете к нему, не ходите одна, возьмите Алешу с собой» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 87, л. 48–49).

См. также примеч. 3 к п. 153, примеч. 7 и 8 к п. 157 и примеч. 2 к п. 180.

167. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

Около 18 сентября / 1 октября 1905 г. Цюрих[1]

Младенец Макс, милый мой младенец, милый мой ребенок. Дай приласкаю Тебя. Счастлив ли Ты? Нужно вполне отдаваться, чтобы чувствовать полноту; верно, есть у Тебя лишнее, отдай всё.

Когда Ты начнешь писать...... пускай не одни глаза Твои участвуют. Твоя живопись что-то бездушное, сухое, дилетантское. Она внешняя, я ее ненавижу. Но теперь в Тебе родилось новое. В Тебе родилась та связь между чувственным миром и миром чисто духовным, кот<орые> раньше в Тебе существовали отдельно. Эта связь Эрос Платона – Дэймон.[2] Это главное в искусстве.

Эта твоя живопись так обличала Тебя. Если в Тебе нет любви, то она будет одним кощунством. Посмотрим. Это пробный камень.

Не мудри, ради Бога. Ах, как я боюсь новых теорий в живописи, как они меня оскорбляют всегда. Ты тогда становился сейчас же врагом мне. Если бы Ты был гением – Моцартом или чем-нибудь вроде его, то мог бы Ты в живописи только наслаждаться; но Ты посредственность и тем, что Ты посредственным только наслаждаешься, Ты из посредственного никогда не выйдешь. Ты понимаешь слово «дилетант». Это ужасное слово, это в искусстве то же, что мещанство в

жизни, — самодовлеющая посредственность. Знаешь, Макс, отдаваться так отдаваться. Когда дети играют, это серьезнее жизни; Ты же играл в искусство, как взрослые, не теряя головы. К искусству можно подойти только с омытыми в крови ногами.[3] Ты это не знаешь? Не греши, дитя.

Ты не любишь, когда я пишу Тебе строгие письма. Ты возьмешь велосипед и уедешь? Да? Нет, Макс, не уезжай от меня. Это не консьерж во мне,[4] это сама душа во мне говорит; это самое важное для меня.

Относительно занятия историей церкви. Не говоря о том, что это такой важный вопрос вообще, но особенно теперь для России этот вопрос станет важнейшим. Хорошо, чтобы многие думали бы о нем, чтобы, когда наступит момент, знали, чего желать. Ты бы мог писать и многое сделать. Этот вопрос, т.е. неверное разрешение его, пугает меня больше всей пролитой и долженствующей пролиться крови России. Мне кажется, в нем ее судьба. Нужно бы поработать над этим и послужить ей по силам.

Да?

Ну, до свиданья, милый мой. Напиши мне, что будешь говорить в ложе.

У нас тоже, как в Париже, слякоть. Холод ужасный. Алеша занимается и устает очень. Я, помня Твой завет, стараюсь его не уговаривать и только веселю. Скоро в Цюрихе, в Москве, в Берлине будет решаться его участь. Не знаю, чего ему желать. Молись за него.

Мой милый Макс, так мне хочется без слов приласкать Тебя. Ты мой? Ах, как иногда хочу я, чтобы Ты был близко, чувствовать Тебя, Твою голову на груди, Твои руки. Обнимаю, целую.

[1] Судя по содержанию, ответ на п. 162.

[2] В диалоге Платона «Пир» (202 d — 204 c) Эрос отождествляется — устами Диотимы, объясняющей Сократу природу любви, — с могучим демоном (даймоном), соединяющим в себе противополож-

ности бытия, божественное с человеческим. Волошин пересказывает слова Диотимы в своей статье «Пути Эроса. (Мысли и комментарии к Платонову “Пиру”)» (1907): «Он <Эрос. – *К.А.*> посредник между людьми и богами. Он великий Демон – среднее между смертным и бессмертным. Им связана вселенная. Через него проходят предсказания, молитвы и жертвы богам, заклинания и искусства прорицания и колдовства. Через него боги входят в сношение и в переговоры с людьми наяву и во сне» (см.: Т. 6, кн. 2 наст. изд. С. 208). Ср. также примеч. 4 к п. 106, примеч. 4 к п. 122, п.186 и 205.

[3] См. примеч. 2 к п. 138.

[4] См. примеч. 7 к п. 81, а также п. 143 и 148.

168. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

19 сентября / 2 октября 1905 г. Цюрих

2 октября. Цюрих.

Дитя мое милое, мой хороший, мой любимый! Сегодня я получила сразу 2 Твои письма,[1] а вчера не было. Я оставила Тебя без письма... Видишь, я очень спешу читать «Le Christ<ianisme> Ésotérique».[2] Завтра я пошлю его Тебе. Хорошо бы, если бы Ты прочел эту книгу до заседания в ложе.[3] Она укрепляет основания. Собственно нового в ней я не нашла, но это так страшно то, о чем я думала и о чем думала, как о своих мыслях; т<ак> ч<то>, когда я читаю, я очень волнуюсь и иногда вскакиваю и, как сумасшедшая, бегаю по комнате. «La haute science» после нее интереснее будет читать, я примусь и окончу ее. Как бы мне хотелось продолжения. Особенно Ямвлика. Знаешь что, переплети каждую статью отдельно и Ямвлика пошли мне. Или это неудобно? «Le Christianisme Esothérique» может быть руководящей нитью для изучения истории церкви. И вот чем бы Тебе следовало заняться. Но для этого Тебе бы не мешало познакомиться с греческой философией; я бы кое-что прочла в Москве, а в Париже мы читали бы вместе гностиков и др. Что Ты об этом думаешь?

То, что Ты пишешь относительно призрачности Твоего мира, я это очень знаю. Раньше я очень от этого страдала, мне казалась жизнь сном, люди тенями. Эта отделенность... знаешь, это нехорошо. Мне кажется, что поэтому-то нам еще нужно жить и много жить, чтобы вполне воплотиться, чтобы страдать по-человечески и понять страдание. Ты не отделяешь себя от меня, поэтому я для Тебя реальность, но если бы Ты многих так любил, подумай, какая бы полная жизнь была у Тебя. Если бы Ты многим отдавался т<ак>, к<ак> Ты мне отдаешься.

Разрушь стену, кот<орая> отделяет Тебя от других душ. Это можно сделать, я отчасти достигла этого простым усилием воли, силой воображения, представляя себя постоянно на месте другого. Ты это очень можешь. Захоти только этого. Относись серьезно к людям. Вот отчего, напр<имер>, в Чуйко Ты замечаешь до сих пор только комическую маску и не видишь, какое у него серьезное, грустное и нежное лицо, какое значительное. Пойми его, т.е. полюби его. Если Ты меня любишь и я Твоя реальность, то он должен стать тоже реальностью, п<отому> ч<то> он часть моей души. Он один из первых и, может быть, до сих пор один из немногих, вполне реальных для меня существ.

Помнишь, в первом письме к Тебе я писала про твою жизнь: «И что-то чудное заключено в сем быстром мелькании, где не успевает означиться пропадающий предмет».[4] А мне кажется хорошо так жить, чтобы каждый предмет становился твоей собственностью (не пойми предосудительно), я хочу сказать, собственностью Твоей души (это не против социализ<ма>). Нет, я не шучу, дитя, бойся эпизодиков, бойся приключений; сделай, чтобы линия приключений на Твоей руке стала бы линией драматической. Дитя мое, сделай это, иначе и я буду эпизодиком Твоей жизни. Начни с Чуйко, прими участие не внешнее, а душевное. Да?

[1] Имеются в виду п. 163 и 165.

[2] См. примеч. 3 к п. 163.

[3] Т.е. заседание в масонской ложе, о котором Волошин сообщил Сабашниковой в п. 162.

[4] См. примеч. 12 к п. 4.

169. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

19 сентября / 2 октября 1905 г. Париж

Понедельник. 6 час. дня. 2 октябр<я>.

Моя милая Аморя, я пишу тебе, сидя в кафе. Вот на много дней теперь я выбит из своей раковины.

Но я рад оставить эти пустые комнаты. Меня удручала их пустота... Ведь я больше всего глазами думаю... А там не было на что смотреть... Я все время был один в своей мечте и слепой... Эти стены полны для меня бесконечной смутой и каким-то туманом. Там было все о тебе, но только муки о тебе. Счастья о тебе не было в этих комнатах. Я сделаю так, как ты велишь... Я повешу на стены японцев – у меня теперь есть несколько очень хороших.[1] И сегодня я нашел вечерний дождь Хирошиги,[2] такой как у тебя. Я вошел в магазин и подумал: я бы хотел найти «дождь», потому что весь мой первый приезд в Цюрих в нем. Я смотрел на него и чувствовал твои руки. И первое, что было, когда я раскрыл папку, был дождь.

Я себе непременно достану голову Гермеса из Олимпии.[3] Я все время вижу его лицо... Для меня не было моего бога в Греции. Теперь мне кажется, что я нашел его: бога познания, бога сумерек, бога передвечерней грусти.

Я сказал Чуйко, что́ ты велишь мне сделать. Он сказал: «Да... так эта девушка пишет: пусть придет Мих<аил> Самойл<ович> и обживет... хорошо».

Потом стал рассказывать, что у него кошка окотилась.

Сегодня мы пойдем в Concert Rouge*.[4] Там будет V симф<ония> Чайковского, весь «Peer Gynt» Грига[5] и увертюра «Парсифаля»[6]. Мне ужасно хочется чистой музыки – без зрительного. Мне так хочется этой волны, которая растворяет и уносит душу. Я буду с тобой, слушая ее.

Не очень жалей меня. Это там, в тех комнатах, я чувствую по вечерам свой дух маленьким голеньким ребенком, которому холодно. И всегда это заключалось каким-то ласковым веяньем, в котором я чувствовал тебя, и я успокаивался...

* Концерт Ружа *(фр.)*.

Ах, как мне хочется моих стен, которые я сделаю про-
рачными всем, что я люблю. Мне Мих<аил> Самойл<ович>, несмотря на мои протесты, подарил рисунок твоей комнаты. Он будет всегда со мной. Я его страшно люблю, он мне бесконечно дорог.

Вероятно, он оставит у меня и свою «Лунную ночь» до своего приезда. И она будет висеть у меня. Она очень хороша теперь. В очень темных глубоких тонах. В ней есть истомленность, знойность и аромат изомлевших за день трав.

У меня будут висеть твои рисунки, «Меланхолия»[7] и Дьявол» Рэдона.[8] Я чувствую, что я буду писать стихи там.

В семеновской кварт<ире> была какая-то исконная тоска, уже жившая раньше в этих комнатах. Ничего на стенах... никаких полутеней в углах. Все формы геометричны и законченны. А мне нужны те заросли предметов, теней, которые расцветают по всем углам ателье. Я чувствовал, как там мой язык терял красочные слова, и мысль совершенно переставала ветвиться и давать листья... Все делалось ка<ки>ми-то сухими стволами. Я мог жить, только уткнувшись в книгу или закрыв глаза...

Несколько дней теперь буду писать тебе урывками, пока будет происходить эта невыносимая процедура переборки, укладки вещей своих, Семеновских... Мое тело будет жить разом в трех концах. Это мучительно.

Пиши мне теперь по адресу:

16. B<ouleva>rd Edgar Quinet.

Я там буду бывать каждый день.

До свиданья, моя милая, милая девочка. Меня не поразило, что твой приезд в Париж решен наверно. Я так уверен в том, что не может быть иначе...

Моя мама приедет ко мне, верно, в декабре.[9] Как мне хочется, чтобы ты ее ближе узнала. Мне кажется, что когда я буду совсем у себя, я буду ближе к тебе, что ты будешь невидимо приходить ко мне и быть со мною все время.

Там это бывало только, когда я закрывал глаза.

Милая, любимая моя...

[1] Увлекшись в начале 1900-х гг. японской графикой, Волошин стал приобретать листы японских мастеров. Собранная им коллекция находится в настоящее время в коктебельском Доме-музее (см.: *Юсупова А.И.* Японская ксилография в собрании Максимилиана Волошина // Сокровища Дома Волошина. Альбом. С. 100–106. *Осауленко Е.Н.* М.А. Волошин – коллекционер японской гравюры XVIII–XIX веков / XII Волошинские Чтения «Мой дом раскрыт навстречу всех дорог...» Коктебель. 8–12 сентября 2003. Феодосия: РА «Арт Лайф», 2009. С. 115–125).

[2] «Вечерний дождь в Атаке на Великом мосту» – одна из наиболее известных гравюр А. Хиросиге (из серии «Сто видов Эдо», созданной в 1856–1858 гг.). См. также п. 179 (место, отмеченное примеч. 9).

[3] «Гермес с младенцем Дионисом» («Гермес Олимпийский») – мраморная статуя, изваянная Праксителем (ок. 340–330 г. до н.э.); обнаружена Э. Курцием в 1877 г. при раскопках храма Геры в Олимпии. Хранится в собрании Археологического музея в Олимпии.

[4] Правильно: Concerts Rouge, т.е. Концерты Ружа (по имени их устроителя Бенжамена Ружа) – название кафе на улице де Турнон (в Латинском квартале) и музыкальных вечеров в этом кафе, на которых исполнялись произведения известных композиторов.

[5] См. примеч. 9 к п. 73.

[6] См. примеч. 6 к п. 85.

[7] Знаменитая гравюра Альбрехта Дюрера (1514).

[8] См. примеч. 12 к п. 15.

[9] См. примеч. 5 к п. 162.

170. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

20 сентября / 3 октября 1905 г. Цюрих

3 сентября.[1]
1905 г.

Что же это писем-то нет? Сегодня вторник, а последнее письмо было от пятницы.[2] Отчего же письма так запаздывают.

Послушай, я нашла Тебе карьеру. Нет, не смейся, серьезно. Сам Бог создал Тебя, Твои руки, Твою фигуру, Твои волосы, Твою память, Твое спокойствие, Твою оккультическую силу и т.д. для того, чтобы призвать Тебя быть священником. Ты подумай, как пойдет к Тебе шелковая ряса, как Ты будешь хорош в парче. Твои руки созданы, чтобы благословлять и чтобы к ним прикладывались.

Как приятно будет Тебе исповедоваться, как хорошо будет умирать на Твоих руках. Макс, пожалуйста, я не шучу, не отказывайся. Теперь нет совсем священников с оккультными знаниями, кот<орые> необходимы для совершения таинств. Все твои молитвы будут услышаны. Ты молитвой будешь исцелять людей. Ты можешь не спать, не есть, что очень важно для священника. Ты радостен.

Затем Ты будешь преподавать Закон Божий, читать историю церкви по-новому. Тогда у нас будет свободнее. Ты будешь новым типом священника. Россия ждет таких. Ты будешь в Богдановщине[3] служить. Я распишу церковь. Потом, когда я умру, а я довольно скоро умру, Ты станешь монахом, потом митрополитом; и всё будешь творить чудеса. Потом, когда Ты умрешь, откроются Твои чудотворные мощи, мощи пресвятого митрополита Смоленского Максимилиана. Давай так играть. Отчего Ты не хочешь? Ты не хочешь?

Я так хочу, а если Ты не хочешь, я не буду с Тобой играть. Прочти «Le Christianisme Ésotérique»,[4] и тогда Ты поймешь, что я говорю серьезно.

Очень мне грустно, что Ты мне не пишешь.

У нас страшный холод, я кашляю.

Я видела сегодня во сне такую пугачевщину. Мертвецов сваливали в кучу, и все они смотрели на меня, у всех были открытые глаза и оскаленные зубы, я ждала своей участи.

Я все думаю, почему аффект в жизни безобразен, а аффект Madeleine был красив? Ведь это были *настоящие* слезы и страдания. Это воспоминание страданий, прошедших века и века? Почему время дает ритм? Ты говорил, искусство – воспоминание, это очень верно. Но какая разница между искусством и этим?..

До свиданья.

Ну, отчего Ты не пишешь.

Макс мой. Я тоскую, я тоскую без Тебя. Я счастлива, но мне грустно. Я хочу Твоей ласки. Я хочу, чтобы Ты был здесь. Мне отчего-то страшно. Как холодно. Согрей меня. Отчего Ты не хочешь быть священником?..

[1] Ошибка Сабашниковой; правильно: октября.
[2] Имеется в виду п. 163.
[3] См. примеч. 5 к п. 13.
[4] См. примеч. 3 к п. 163.

171. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

20 сентября / 3 октября 1905 г. Цюрих

Вторник.

Нашла я объяснение стыда. Все, что Ты тогда говорил, вовсе было неверно и даже ребячливо. А дело вот в чем: первородный грех – есть любопытство души испытать жизнь, стремление воплотиться. Душа поняла, что она нага без тела. Бог дал ей одежды – тело. Материя же есть – зло. Человек помнит, что без тела он был в раю; он бессознательно чувствует, что лучше ему не родиться, что зарождение есть увлечение других душ воплотиться. Душа делает это против совести, ну и вот причина, почему с вопросом о зарождении связан стыд. Помнишь бледное лицо Силена, кот<орый> ответил царю: лучше не быть, не быть.[1]

Понял ли Ты меня, дитя мое? А Твои теории, кот<орые> Ты говорил мне на диване у Алеши, никуда не годятся.

Теперь я все понимаю, все!

Но что касается лично меня, то я еще настолько ослеплена, что не считаю видимый мир злом, покрывалом Майи,[2] очень любуюсь и радуюсь, когда рождается какой-нибудь несчастный, злорадствую.

Посмотрим, когда мое покрывало Майи проносится до дыр,[3] как я в дыре буду поклоняться единому безликому Ничто и петь, как какие-то русские сектанты: дыра моя, спаси меня.[4]

Предпочитаю пока проветривать на солнышке мое покрывало и любоваться его переливами. Верно? А продырявится, не пожалею и штопать не буду.

[1] Сабашникова напоминает Волошину фрагмент из книги Ницше «Рождение трагедии из духа музыки»:

«Ходит стародавнее предание, что царь Мидас долгое время гонялся по лесам за мудрым *Силеном*, спутником Диониса, и не мог изловить его. Когда тот наконец попал к нему в руки, царь спросил, чтó для человека наилучшее и наипредпочтительнейшее. Упорно

и недвижно молчал демон; наконец, принуждаемый царем, он с раскатистым хохотом разразился такими словами: “Злополучный однодневный род, дети случая и нужды, зачем вынуждаешь ты меня сказать тебе то, чего полезнее было бы тебе не слышать? Наилучшее для тебя вполне недостижимо: не родиться, не *быть* вовсе, быть *ничем.* А второе по достоинству для тебя – скоро умереть”» (цит. по: *Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. Сост., ред., вступ. статья и примеч. К.А. Свасьяна. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 66; пер. Г.А. Рачинского).

[2] «Покрывало Майи» – выражение, восходящее к древнеиндийской мифологии и обозначающее внешнюю оболочку жизни, материальный (и, значит, иллюзорный) мир, за которым скрывается подлинное, духовное бытие. См. также примеч. 2 к п. 39 и п. 205.

[3] «Дыры» в покрывале Майи означают – в теософском лексиконе – прорывы из трехмерного материального мира в невидимый т.е. «истинный»; «сбросить покрывало Майи» – умереть; и т.д. См. также п. 205.

[4] Имеются в виду дырники – секта беспоповского толка (конец XVII–XIX вв.). Дырники устраивали в своих жилищах отверстия (дыры) и молились на них.

172. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

20 сентября / 3 октября – 21 сентября / 4 октября 1905 г. Цюрих

3 сентября.[1] Ночь.

Портрет мой удается.[2] Я уже вижу страшное лицо, кот<орое> я искала. Он почти закончен. Это открывает мне возможности. Все старые идеи подняли голову; во мне что-то сорвалось с цепи, двери открылись, но это все сразу говорит и стучится. «Венера»,[3] «Обедня»,[4] «Лесной царь»,[5] «Волхова»,[6] «Ярмарка»,[7] портрет Ш<тейнера>.[8] У меня болит голова. Я не могу так...

И все мысли об искусстве – воспоминание. Теперь я поняла тайну. А знаешь ли, рождение Венеры – евхаристии – жертва. Макс, в эти минуты Ты должен быть со мной. Я не вынесу их полноты, их тяжести одна.

Возьми мою голову, она разорвется от мыслей и образов. Макс, помоги мне перенести их. Возьми меня. Я не могу заснуть. Унеси меня к морю.

Ты должен быть здесь сейчас, милый мой.

4 сентября.[9] Утро.

Пришло Твое письмо от понедельника.[10] В субботу и в воскресенье Ты, значит, не писал мне? Твое письмо полно Семеновскими вещами. Зачем Ты с ним связался? Какой Ты неразборчивый у меня. Тебя, как богоделеньку, пригласили в пустой дом стеречь вещи и теперь эксплуатируют. Больше не делай это. Ты на другое годен.

Ах, Макс, отчего Ты сейчас в суете? А я как раз горю. Ты бы это почувствовал на расстоянии, если бы не возился с Семеновскими вещами. Прочти скорее «Le Christ<ianisme> Ésot<érique>». Знаешь, что я думаю: Бог, как зерно, лег в могилу в землю, в материю, чтобы размножиться, чтобы стало много Богов. Поэтому и мир бесконечен, п<отому> ч<то> каждый новый Бог опять приносит себя в жертву для других и каждый Бог поэтому творит новую планетную систему. Да?

У меня в комнате трещит печка. Так уютно, напоминает осень в Богдановщине. Я так счастлива, как очень, очень давно, несколько лет не была. Такое вдохновение. Отчего Тебя нет здесь?

Я живу *всем* существом, и мне хотелось бы, чтобы и Ты жил со мной во всех областях. Я ужасно боюсь, что Ты всегда будешь не в той полосе, как я. То на Тебя будет равнодушие нападать, то Ты будешь убирать Семеновские вещи, то, когда мне нужно будет сердечного участия, Ты будешь развивать мне идею о четвертом измерении. Нет, я шучу, я этого не боюсь, этого больше не будет, я знаю.

Хочешь ли Ты работать? Я ужасно, я только в детстве так была жадна. Боже, сколько впереди. Сколько нужно исполнить! Макс, мой Макс! Ты меня любишь? Очень? Ну скажи! Как Ты меня любишь? Ты счастлив? Неужели Ты не рад, что я Тебя так люблю?

Почему Ч<уйко> подарил Тебе мою комнату? Он знает? Он хороший? А я не люблю эту комнату и эту зиму.

Я очень рада, что Твоя мама приезжает. Ты только ее портрет повесь,[11] а другие мои рисунки не вешай, слышишь, верно, там гадости какие-нибудь.

Ну, прощай. Да обними же меня получше.

[1] Ошибка Сабашниковой; правильно: октября.

[2] См. примеч. 9 к п. 134.

[3] О картине Сабашниковой «Венера» (т.е. «Рождение Венеры») см. примеч. 16 к п. 23.

[4] О картине «Обедня» сведений не имеется.

[5] Картина «Лесной царь» была задумана Сабашниковой, по-видимому, летом 1905 г. В письме к ней от 11/24 августа 1905 г. Минцлова упоминает об одном из ее замыслов под названием «Лесной дух» (см.: Из писем А.Р. Минцловой к Маргарите Сабашниковой. С. 23). Кроме того, Сабашниковой принадлежит стихотворение «Лесной царь», позднее разделенное на стихотворения «Пан» и «Лес» (последнее опубликовано в кн.: Цветник Ор. Кошница первая. С. 213; четвертое стихотворение цикла «Лесная Свирель»).

[6] Над картиной «Волхова», навеянной произведением Врубеля «Прощание царя морского с царевной Волховой» (на сюжет «оперы-былины» Н.А. Римского-Корсакова «Садко»), Сабашникова работала летом 1905 г. в Париже (см.: Из писем А.Р. Минцловой к Маргарите Сабашниковой. С. 28).

[7] Замысел «Ярмарки» восходит к 1901 г. «Как странно, что бессознательно я создавала образы, значение кот<орых> понимаю только теперь, – писала Сабашникова в своем дневнике в марте 1901 г. <...> Почему я все хочу написать русскую ярмарку чудовищно? Слепцов, поющих с отчаянием, похожих на гаргульев, кричащий скот, плачущих младенцев, старух страдающих; отчаяние, бессилие и вопль, и надо всем свинцовое небо» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 18, л. 147; гаргульи <от *фр.* gargouille> – чудовища, чьи скульптурные изображения, установленные на церковных крышах, используются в качестве водостоков). О картине «Ярмарка» Сабашникова рассказывала Волошину 18/31 марта 1903 г. (*Там же*, ед. хр. 21, л. 5 об.); упоминание об этой картине см. также в записи от 2/15 ноября 1903 г. (*Там же*, л. 60 об.).

[8] См. примеч. 1 к п. 135.

[9] Ошибка Сабашниковой.

[10] Имеется в виду п. 169.

[11] Портрет Е.О. Кириенко-Волошиной, написанный Сабашниковой, неизвестен (был выполнен, скорее всего, по фотографии). О их личном знакомстве см. примеч. 4 к п. 162. См. также п. 179.

173. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

21 сентября / 4 октября 1905 г. Париж

4 октября. Среда.
16. B<ouleva>rd Edgar Quinet.

Милая моя Аморя, я все время вишу в пространстве без угла и без раковины. Мои книги все забиты в ящик. Я сам ночую в своем старом, уже отпавшем от моего духа, ателье.

И, кроме того, у меня там живет еще мне мало известный конспиратор.[1] К нему приходят другие лохматые и мрачные конспираторы, и они шепчутся на полатях над моей головой. А переселиться в новую мастерскую я еще не могу. Вот я должен писать тебе в кафе. Раньше это было естественно, а теперь меня это оскорбляет: мои слова к тебе должны идти из глубины моей.

Вчера я не писал тебе. Я с Туллио перевозил мои книги из Passy[2] на собственных плечах и был истомлен до изнеможения.

Пред этим вечером мы были с Мих<аилом> Самойл<овичем> в Concert Rouge.[3] Там играли увертюру «Парсифаля»[4]. Я был потрясен.

Эти громадные звуки, какие-то тусклые, точно глубина воздуха под сводами... Точно мириады готических соборов растут в воздухе...

А потом «Пер Гюнт» Грига. Я в первый раз слышал «Возвращение Пера на родину».[5]

Оттуда пахнуло на меня запахом *моего* моря... Ты помнишь этот плеск тяжелых ночных волн, этот пустынный ветер, который порывами сотрясает снасти и бьется запутавшимися крыльями.

Вчера вечером мы тихонько сидели с Мих<аилом> Самойл<овичем> в его мастерской вдвоем. Он мне играл «Песнь Сольвейг»[6] и еще Грига. Потом я ему рассказывал историю греческих богов после Христа по Гейне, Парни, Франсу, Р. де Гурмону, Метерлинку, А. де Ренье и т.д. На него это произвело большое впечатление.

Мне хочется серьезно собрать весь этот материал и написать о том, как мечта XIX века представляла себе судьбу греческих богов. Это так интересно и так трогательно.

Это ведь очень близко сходится с тем, что ты мне предлагаешь делать... Я недавно купил себе «Histoire des peuples d'Israël» Rhenan'a* (7 томов), что мне очень давно хочется уже прочесть.[7]

Мне вообще очень хочется ближе познакомиться с Ренаном. Я знаю только «Историю христианства»[8] почти всю. Читала ли ты другие тома, кроме «Жизни Христа»[9]? Там есть вещи поразительные.

Чтобы погрузиться в грамматику, я не могу начинать с азбуки. Мне сперва нужна поэма. Тогда я могу только придти к документальному. Тогда мне начинает хотеться документов.

К истории Церкви меня всегда влекло тайное и невыразимое чувство. И я думаю, что это неизбежно для меня. Я думаю, что мы будем читать гностиков.

Ямвлиха я пришлю тебе сейчас же, как распечатаю свои книги... Я тебе прямо пришлю II том «Haute Science».

До свидания. Мне надо бежать.

У меня теперь нет места, где бы я мог призывать тебя к себе.

[1] Кто именно жил в те дни у Волошина, не установлено (скорее всего, кто-либо из представителей русской политической эмиграции).

[2] В Пасси, на ул. Октава Фейе, Волошин занимал в 1905 г. квартиру М.Н. Семенова (см. примеч. 2 к п. 52).

[3] См. примеч. 4 к п. 169.

[4] См. примеч. 6 к п. 85 и примеч. 4 к п. 97.

[5] См. примеч. 9 к п. 73.

[6] См. примеч. 9 к п. 73.

[7] «История израильского народа» — последний труд Э. Ренана, выпущенный в пяти томах в 1887—1893 гг.; Волошин путает это издание с семитомной «Историей происхождения христианства» (см. следующ. примеч.). Русский перевод этой книги сохранился в

* «История народов Израиля» Ренана *(фр.)*.

библиотеке Волошина наряду с другими изданиями Ренана (как в русском переводе, так и в оригинале).

[8] Точное название — «История происхождения христианства» (другой перевод — «История первых веков христианства») — семитомный труд Ренана (издавался в 1863—1881 гг.). Русский перевод — 1907 г.

[9] Имеется в виду «Жизнь Иисуса» (1863) — известный труд Ренана, образующий первый том «Истории происхождения христианства». Русский перевод — 1902 г.

174. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

21 сентября / 4 октября 1905 г. Париж

Среда. 4 октября. Ночь.

Моя милая, хорошая девочка... Не могу я писать тебе сегодня много. Вот уже ночь, а завтра придет рано утром Туллио меня перетаскивать окончательно в новое ателье. Я не могу найти надлежащего спокойствия и тишины, чтобы говорить с тобой. Я только что получил твое письмо, где ты мне предлагаешь быть священником...[1] Когда я читал его, то все время невольно улыбался, а теперь вот уж не улыбаюсь, а сериозно думаю об этом... Да... давай так играть. Только священником христианским и православным я не могу быть. Ведь ты знаешь, что христианство мне из всех религий дальше всего. Мне буддизм и Олимп ближе. Впрочем, нет. Готика мне бесконечно близка. Но это католичество. Я сейчас не могу так ясно все сказать и не хочу. Надо быть в жизни священником. Но путь к этому громаден.

Ведь у меня нет чувства Бога, у меня есть только чувство Тайны. Это мне делает буддизм таким близким.

А для священства необходимо чувство Бога — реального соприкосновения с Божеством, вне меня существующим, а я чувствую только Его во мне.

Митрополитство и мощи меня не соблазняют. А Богдановщина и церковь, расписанная тобой, соблазняют очень.

Но если б ты меня спросила, кем я предпочитаю быть — я бы предпочел быть пророком, хотя бы проповедником.

Для священства надо принимать глубоко всю догматическую основу. А нет ничего более чуждого моему познанию, чем догматика. Я люблю свои и чужие фантазии. Я люблю из чужих мыслей ткать свои узоры, но это всегда произвольно. Мне нужен произвол.

Но я еще не читал «Christianisme Ésotérique»,[2] так что еще не знаю, что тебя так вдохновило на это.

Каждый вечер теперь часа по два мы сидим вместе с Мих<аилом> Самойл<овичем> и очень беседуем. Но об тебе мы не говорим.

Я не решаюсь ничего ему говорить из того, что ты ему пишешь, потому что, когда я ему прочел то, что ты писала об Madeleine, то он был очень огорчен, что ты мне так много пишешь, а ему нет, хотя он знает только об этом одном письме.

Я сегодня спрашивал его совета, идти ли мне в священники, не говоря, что это ты меня уговариваешь. Он весьма этим возмутился и стал нападать на христианство, даже не хотел признать разницы между языческим католичеством и юдиизирующим протестантством.

Напрасно ты думаешь, что я вижу в нем только комическую маску. Я вижу, знаю и люблю его настоящее лицо, но я люблю его именно сквозь эту маску, потому что она глубоко жизненна и поэтому символична. Я люблю *как* он все говорит, *как* у него все выражается.

Я не знаю, что сталось с моими письмами – я пишу тебе весьма аккуратно – каждый день без пропусков и, вероятно, мои письма пропадают.

Увы! Я должен взять с собой на несколько дней в новую мастерскую моего «конспиратора», который живет у меня на полатях теперь. Но ему некуда деваться. Но я его там окружу разными магическими кругами и всячески постараюсь этот элемент локализовать и затем истребить.

Милая моя, бедная девочка. Тебе очень одиноко. Я не могу сейчас духом придти к тебе... Прости мои последние письма. Они холодны и отрывисты. Мне некуда деться, мне неоткуда писать тебе.

[1] Имеется в виду п. 170.
[2] См. примеч. 3 к п. 163.

175. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

21 сентября / 4 октября 1905 г. Цюрих

Среда.

Крошка моя, Макс мой, отчего я люблю Тебя все больше. Когда я думаю о Тебе, меня охватывает такое счастье. Вечером я от радости не могу заснуть, и Ты все время со мной. Прежних сомнений и ужасов нет. Я совсем спокойна. Счастлив ли Ты, мой Макс? Чувствуешь ли Ты то же, что я? Во мне все поет. Моя жизнь мне кажется каким-то восшествием. Макс, только я не сделаю ни одного резкого движения, я никому не причиню ни малейшей боли. Иначе мы не будем счастливы. Мы будем ждать, сколько нужно, да, да, хотя это тяжело, и теперь я яснее чувствую, чем когда-либо, как это неестественно, что мы не вместе.

Макс, но Ты согласен со мною? Скажи. Боже мой, как я люблю Тебя.

Есть одно... это воспоминания, поздняя ревность... иногда я точно только что узнаю и стенаю, как раненая, тогда мне кажется, что нужно отказаться от всех этих чувств, что нужно встать выше всего этого, выше всего земного, чтобы ничто не могло коснуться этого чувства, чтобы его нельзя было оскорбить. Но это малодушие. Ничего не нужно бояться.

Я думаю, что в человечестве аскетизм, монастыри – это малодушие, страх материи. Да?

Но я так ужасно счастлива, Макс. В эти осенние дни. Живешь ли Ты со мной или я одна переживаю это счастье? Мне жаль было бы терять эти дни без Тебя.

У меня сильный кашель, я сижу в комнате, топится печка. Ветер такой, что, кажется, дом не вынесет напора. Ночью буря не дала никому спать.

А знаешь ли, что всего неделя осталась мне здесь быть. Свободно с Тобой говорить, думать только о Тебе. Ах, как это все сложно будет в Москве. Когда я пишу кому-нибудь и папа приходит, он так ласково целует мою голову и спрашивает: «Кому, девочка, пишешь?» Когда я куда-нибудь иду, он всегда подробно спрашивает, куда. «Ну что Тебе, милочка, загорелось».

Макс, у него вовсе не всегда такое выражение лица, как на портрете, это п<отому> ч<то> меня не было с ним, когда я с ним, он сияет. Это ужасно, до чего он любит меня. Я никогда не должна больше ни капли горя принести им. Слышишь, Макс. Но отчего же я так спокойно и доверчиво чего-то жду. А ведь только чудом, только чудом это может совершиться. Я спрашивала Катю относительно писем, она ничего мне не отвечает.[1]

Мы должны быть очень, очень осторожны. Ты это не забывай.

Да кстати, не забудь, напиши мне, что́ Ч<уйко> знает о твоем пребывании в Цюрихе. Сколько Ты был?

Прощай, дитя, прощай, мой золотой, любимый. Почему я Тебя люблю? Ты меня любишь? Почему? Скажи, любишь, любишь?

[1] Предвидя свое скорое возвращение в Москву, а также возможную встречу с матерью и родными в Берлине, Сабашникова обдумывала способы дальнейшей переписки с Волошиным (см. п. 133 и 160). Получать его письма по адресу родителей или родственников ей, как видно, не хотелось: она опасалась излишних вопросов (тем более что окончательное решение заключить брак будет принято Волошиным и Сабашниковой лишь к концу 1905 г.). В своем несохранившемся письме к Е.А. Бальмонт, написанном, вероятно, в последние дни сентября или начале октября (по новому стилю), Сабашникова спрашивала, можно ли Волошину отправлять письма из Парижа на ее (Е.А. Бальмонт) имя. «Милуша, что за вопрос, — отвечала ей Е.А. Бальмонт 22 сентября / 5 октября 1905 г., — пусть М<акс> пишет мне без всяких литер, я буду знать, что все письма его для тебя» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 53, л. 26). См. также п. 183.

176. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

22 сентября / 5 октября 1905 г. Париж

Среда? Четверг?

Я путаю дни... Теперь ночь... Я страшно устал, меня клонит ко сну. Но я не могу спать, потому что мне нельзя лечь. Я задыхаюсь физически.

Сегодня с утра я в хаосе вещей, потерявших свое место. С утра я в клубах пыли... Я не выношу пыли – я становлюсь болен, я задыхаюсь.

Сейчас для меня каждый вздох – мученье и труд. Я сегодня перебрался в свое новое ателье. Кругом меня горы вещей – каких-то досок, узлов, тряпок, столов и пыли... пыли...

Маленькая лампа горит тускло; я с трудом нашел клочок бумаги и карандаш, и свободный кусочек стола. Всё, к чему ни притронешься, всё грязно, отвратительно. Ведь целых полгода все мои вещи стояли без меня.

Я чувствую себя каким-то опозоренным, униженным, оплеванным. Эта грязь, этот беспорядок душат меня.

Сегодня пришло твое письмо, такое бодрое, вдохновенное,[1] и мне его стыдно читать, точно оно не мне, а кому-то другому написано. Точно я сам весь грязный и недостойный.

И это еще несколько дней, и если я не буду погружаться с головой в этот хаос, он не двинется к разрешению.

Мих<аил> Самойл<ович> помог мне перевозить вещи и вошел в мое зеркало раньше, чем я внес его в комнату. Потом он мне принес черенок лилового вереска.

Вот пришло еще письмо от Ан<ны> Руд<ольфовны>, где она пишет такие интересные слова Штейнера о поле.[2] Но мне тебе их даже нельзя сейчас повторить, таким я себя чувствую опоганенным.

Я тебе буду писать много очень важного, как только приму свой человеческий облик.

Нет, ты наверно не испытывала этого унижения и не поймешь меня.

Это унижение физической грязи – ко всему, к чему ни притронешься, руки становятся грязными.

Я не могу ничего писать.
Аморя, прости меня, погоди несколько дней.
О, как я ненавижу демонов пыли.[3]

[1] Имеется в виду п. 171.
[2] Письмо не обнаружено.
[3] Намек на стихотворение Брюсова «Демоны пыли» (1899), вошедшее в его кн. «Tertia vigilia» (1900).

177. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

23 сентября / 6 октября 1905 г. Цюрих

6. Пятница.

Совсем сегодня я расклеилась, жар, и глазки не открываются. Пишу Тебе с закрытыми глазами...

Не посылай мне второго тома «Haute Science». Ведь мне здесь быть одну неделю осталось. Этот первый том зато я прочла на совесть весь и отошлю Тебе на днях.

В Москве я буду читать Ervin Rode «Die Psyche»,*[1] я начала уже эту книгу – это мистическое в Греции. Роде – друг Нитше.[2]

Скажи, Макс, что за книга Ragon (J. M.) – «La Messe et ses Mystères, comparés aux mystères anciens»**[3] Посмотри ее и, если стоит ее читать, пришли мне; да впрочем, как я провезу ее в Россию, если она толстая? Что Ты читаешь Lévi?[4]

Очень меня интересует вот какая книжечка: Kirk (Robert) «La République mystérieuse des Elfes, Faunes, Fées et autres semblables»*** перевод Rémy Salvator.[5] Эту книгу *непременно* пришли мне. Хорошо?

Будет ли от Тебя сегодня письмецо, мой милый.

Послушай, помнишь, я у Тебя раз спросила: «Признайтесь, Вам нет дела до того, как я живу, как проходит день,

* Эрвин Роде «Психея» *(нем.)*.
** Рагон (Ж.М.) – «Месса и ее тайны в сравнении с тайнами древности» *(фр.)*.
*** Кёрк (Роберт) «Таинственная республика эльфов, фавнов, фей и подобных существ» *(фр.)*.

ночь... Вы никогда обо мне не думаете и не думали?» Ты сказал: «Никакого дела». А теперь ведь Ты этого не скажешь? А еще Ты говорил, что в Тебе два чувства никогда не соединяются. А теперь? Неужели то одно, то другое. Тебе скучно, что я говорю об этом. Ты находишь, что это праздное любопытство. Макс, вот еще о чем я хотела говорить с Тобой, извини меня, что я пишу нескладно, у меня путаются мысли..... По-моему, честолюбие и тот вид самолюбия, кот<орый> требует от людей почтения, ну, гонор, что ли, такой, это вовсе неплохо, а это даже гражданское качество. Т.е. видишь, это суета, конечно, но если уж Ты от всякой суеты хочешь отказаться, то откажись и от семьи и т.д. Я думаю, если жить, то нужно жить, соблюдая всякие формы. Ты говоришь, что нужно с этим чувством бороться, а я не желаю. Честолюбие одна из существенных черт моей личности; *убивать* ничего нельзя, оно само отпадет, когда износится, но вырывать его я не хочу. Проявление его у других очень люблю. Считаю, что это не мешает благородству, а главное, что это создает атмосферу уважения, при кот<ором> все мысли встречают открытые сердца.

Я очень плохо владею сегодня мыслями. Ну, понимаешь ли Ты меня? Напр<имер>, если бабушка моя скажет мысль новую, оригинальную, то никто не посмеет глумиться и кощунствовать, а Тебе всякий рассмеется в лицо. Смотри, как Тебя третирует всякий. Твое имя произносится с улыбкой. И люди имеют право небрежно относиться к Тебе, п<отому> ч<то> Ты сам небрежно к себе относишься, а небрежно относясь к Тебе, Ты относишься небрежно к своим мыслям, ко всему, что приходит *через Тебя*. Неуважение к себе, неуважение к другим, Ты плюешь на толпу. Это благороднее, чем заискивать, конечно, но какое Ты имеешь право. Я все боюсь, что Ты неверно поймешь меня, что Ты увидишь в этом малодушие и «что будет говорить княгиня М<арья> А<лексевна>».[6] Роняя постоянно себя в глазах толпы, Ты роняешь свои идеи. «Кто сказал?» – «Макс Волошин сказал». – «А, ну, значит вздор». И знаешь, ведь действительно серьезные люди так судят Тебя. Я уверена, что Сомов, видя Тебя на воскресеньи у Кругликовой, стал презирать Тебя и только долго спустя, видя отношение к тебе А<нны> Р<удольфовны>, изменил свое мнение.

Амикошонство[7] с Ел<изаветой> Сер<геевной> это «Ты». Как Тебе не противно? Как Ты позволяешь, чтобы она рисовала сальные карикатуры на Тебя и всем показывала. Ах, как мне это было неприятно.[8] Тебе все равно, что с Твоим именем связано? Макс, чти свое имя, свою личность не ради него, а ради того, что с ним должно быть связано, что с ним будет связано.

Вот пришло Твое письмо от среды.[9] Теперь Ты успокоился, наконец? И будешь писать мне хорошие письма? Или Ты уже разлюбил меня? Твои письма были так холодны. Ты скажи мне тогда, когда разлюбишь совсем. Ах, Макс, а я Тебя так ужасно люблю. Макс, скажи мне что-нибудь очень ласковое. Целую Тебя. Вечером ты всегда...

Алеша идет сейчас на первый экзамен и опустит это письмо. А я лягу совсем, п<отому> ч<то> меня знобит и я уже плохо вижу. У Алеши всю эту неделю будут экзамены каждый день и по два раза в день. Он страшно работает и устал, а я совершенно одна.

Обними меня, мой любимый; мой. Ты мой. Если бы я сейчас могла положить свою голову к Тебе на грудь, если б Ты крепко обвил меня рукой, если бы я заснула у Тебя на руках.

Сейчас солнце. Яркий день. По ночам я брежу своим портретом, кот<орый> продолжаю писать днем.[10]

Макс, Макс, ты счастлив мной, как я Тобой?.. Ты не одинок? Я мечтаю, когда устаю, о лесе или море, но это только, когда я очень устаю, чтобы отвлечься, а то ум слишком напряжен.

Ну, прощай, я лягу сейчас и сквозь бред буду мечтать о Тебе, о лесе и о море. Только Ты, Твоя любовь, может помочь мне исполнить все, что я хочу, я буду работать и не буду уставать, если Ты будешь близ меня. Если Ты будешь окружать меня этой нежностью, этой заботой. Будешь ли Ты всегда любить меня?

Наклонись ко мне.

Выставляй № писем. Это необходимо, особенно, когда я буду в России. Это мое 3-е в 16 Edgar Quinet.[11]

Пришли мне программы Сорбонны и Collège de France.[12]

[1] «Die Psyche. Seelenkult und Unsterblichkeitsglauben der Griechen» – главный труд Э. Роде (первый том вышел в 1890 г., второй – в 1894 г.).

[2] Дружба Э. Роде с Ницше началась в 1867 г. в Лейпциге и продолжалась в течение приблизительно десяти лет (последняя встреча – летом 1886 г. в Лейпциге).

[3] Имеется в виду книга: *Ragon J.M.* La messe et ses mystères, comparés aux mystères anciens, ou complément de la science initiatique. Nancy: Berlandier, 1842 (неоднократно переиздавалась),

[4] См. примеч. 1 к п. 163.

[5] Речь идет о кн.: *Kirk R.* La République mystérieuse des elfes, faunes, fées et autres semblables. Traduit de l'anglais par Rémy Salvator. Paris: Bibliothèque de la haute science, 1896 (полное английское название: The secret commonwealth, or an essay on the nature and actions of the subterranean (and for the most part) invisible people heretofore going under the name of faunes and fairies, or the lyke, among the low country Scots, as they are described by those who have the second sight). Книга была написана Кёрком в начале 1690-х гг.; первая публикация состоялась в 1815 г. См. также п. 199 и 206.

[6] Заключительная реплика Фамусова из «Горя от ума» Грибоедова: «Ах! Боже мой! что станет говорить // княгиня Марья Алексевна!».

[7] Амикошонство – чрезмерная фамильярность, бесцеремонность; образовано от сочетания двух французских слов: ami (друг) и cochon (свинья).

[8] Имеются в виду шутливые зарисовки знакомых, выполненные Е.С. Кругликовой. Убежденная в том, что Кругликова влюблена в Волошина, Сабашникова испытывала к ней в то время явную неприязнь. «Вернулись с именин Кругликовой. Она ужасна», – сказано, например, в ее дневниковой записи от 24 апреля / 7 мая 1905 г. Два дня спустя – новая запись: «Чуйко приходил и рисовал тоже. Говорили о Кругл<иковой>, Максе. Он назвал его мыльным пузырем. Я вспомнила, как третьего дня я была оскорблена карикатурами, кот<орые> М<акс> мне показал у Кр<угликовой>. Елена под руку с К<онстантином> Д<митриевичем>, я – с М<аксом>. Никогда этого не было, это ее пошлая фантазия, а он может любоваться» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 62, 63 об.).

[9] Имеется в виду п. 173.

[10] См. примеч. 9 к п. 134 и п. 187 и 202.

[11] Т.е. третье письмо Сабашниковой, отправленное по новому адресу Волошина (бульвар Эдгара Кине, 16).

[12] Коллеж де Франс – учебно-академическое заведение в Париже, основанное в 1530 г. Отличается (от Сорбонны и других университетов) своими гуманистическими тенденциями, свободолюбивыми настроениями студентов и профессоров, демократизмом (бесплатное обучение, открытый доступ для всех желающих и т.п.). В Коллеж де Франс преподавали (в разное время) В. Кузен, Ж. Мишле, А. Мицкевич, Э. Ренан, Г. Парис и др.

178. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

23 сентября / 6 октября – 24 сентября / 7 октября 1905 г. Цюрих

6 октября.

Я не знаю, что мне делать. У меня жар, путаются мысли, а Алеша приходит и объявляет, что он задачу не сделал и завтра не пойдет на второй экзамен, что он все бросает. Он говорит решительным голосом, а когда я говорю, в такую минуту усталости нельзя ничего решать, завтра утром пойди, будет время бросить, он начинает колебаться, потом умоляет меня ничего ему не говорить, вновь просит совета, вновь решает. Сейчас ушел спать и сказал, что не идет на экзамен (экз<амен> в 7½ ч. утра). Если я теперь представлю себе все драмы, кот<орые> начнутся, как огорчится папа, мама, как будут упрекать его, меня.... Как Нюша и Ляйза будут безмолвно страдать и кротко укорять......

И потом хорошо Тебе: у Тебя был талант, Тебе, мне есть, что отстаивать. А Алеша? Что он будет делать? Мне так его жаль и жаль папу, кот<орый> устал работать и так ждет, чтобы Алеша заменил его, и маму, кот<орая> считает долгом тащить его до надрыва сил. Но я сама не могу же его уговаривать быть инженером и идти на экзамен... Может быть, через 2 дня или как только я поправлюсь, мы уедем. В Берлин тогда приедет мама, чтобы «отдавать» Алешу в Ганновер в Политех<никум>,[1] и вот начнется весенняя сказка. Что было этой весной! Зачем люди такие несчастные, Макс? Только Тебя мне не жаль.

Спокойной ночи.

7-го

Алеша не пошел на экзамен. Я телеграфирую день отъезда, пока пиши. Мне страшно тяжело. М<ожет> б<ыть>, если бы я была здорова, я иначе бы отнеслась. Опять мне писать, в неприятностях я всегда посредница. Что будет?[2]

У меня для Тебя есть другая еще сказка, не христианская. Это берег моря и Золотой век. Жизнь первобытная. Ты научишь меня плавать? А потом летать?

Милый мой, сейчас получила Твое второе письмо.[3] Тебя так мучает моя проклятая сумасшедшая записка.[4] Милый мой, все прошло, я прежняя, Ты прежний, пиши мне. Я могу быть спокойной.

Вот Тебе моя рука. На пороге нельзя быть, но нужно просто перейти пока в другую область, где нас ничто не разделяет и ничто не связывает. Милый мой, забудь мои те письма и слова. Во мне не осталось ни тени от них.

Милый мой Макс, не будем заботиться о том, что не от нас. Такие дилеммы всегда от лукавого. Ты знаешь ведь, что сию минуту не могу придти к Тебе и не из-за себя....

А что без слов Твоих мне будет страшно тяжело. Не страдай. Будь спокоен, как атман <?>.[5]

[1] Ганноверский технический университет (политехникум), основанный в 1831 г. (первоначальное название – Высшая промышленная школа). В настоящее время – Ганноверский университет имени Г.В. Лейбница.

[2] Провалив вступительный экзамен в цюрихский Политехникум, А.В. Сабашников осенью 1905 г. отправился учиться в Лейпциг – «специализироваться по сельскому хозяйству» (Зеленая Змея. С. 132).

Позднее в своем шутливом послании к Алексею, озаглавленном «Сон» (март 1907 г.), Сабашникова изобразила их совместное пребывание в Цюрихе в 1905 г. следующим образом:

Ты помнишь, брат, как нас сослали
В постылый Цюрих летом жить,
Пить чашу скорби и печали,
Друг другу грозным стражем быть.

Ты помнишь ли свои стенанья,
Жару, зубренье и любовь
(Да, полно, то была ль любовь?),
Парижских писем ожиданье,
Прогулку вечером вдвоем,
На Ütli медленный подъем,
В карманах плитки шоколада
(Моя единая отрада),
Созвездья города вдали,
Холодный чай и Amelie.

А счастье наше было ближе,
Чем мы гадали, и в Париже
Наш добрый гений колдовал,
Судьбу нам новую ковал.
Пестреет Ütli красным цветом.
Экзамен. Что же? Ну? – Провал.
Пишу домой, и Ты, нахал,
Стал весел вдруг и стал поэтом.
С тех пор мы сказочки плетем,
С тех пор мы песенки поем.
Тебе был послан труд с досугом,
Мне Макс – свободой и супругом.
Но я Тебе пишу все это
Не для того, чтоб вспоминать
Сие трагическое лето,
Но для того, чтоб рассказать
Мой новый сон <...>

(ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 3, л. 9 – 9 об; «добрый гений» – А.Р. Минцлова; Amelie – хозяйка цюрихского пансиона или, возможно, ее дочь).

[3] Речь идет о втором письме с бульвара Кине (т.е. п. 174).

[4] См. п. 172

[5] См. п. 143 и примеч. 1 к п. 189.

179. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

23 сентября / 6 октября — 25 сентября / 8 октября 1905 г. Париж

Пятница. Ночь.

Холодно... Я сижу, закутавшись в пальто. Лампа не освещает всей мастерской. Только круг около стола... Опять бессонная ночь... Опять я не могу дышать...

Милая, любимая моя, родная моя девочка... Вчера я чувствовал себя таким жалким и отвергнутым, что почти не мог писать тебе.

Я всю ночь сидел в постели с открытыми глазами, пока не забрезжило сквозь стеклянный потолок, точно сквозь лед.

Я боялся шевельнуться — всюду эта холодная грязь и пыль. Это был какой-то кошмар... Я читал твои слова, и мне казалось, что это не ко мне.

Точно я замерзал и задыхался на какой-то обледеневшей помойной яме...

Завтра это должно кончиться... Уже сегодня немного порядку мне удалось внести...

Мне хотелось плакать, как в детстве от несправедливости, от того, что я не могу быть духом с тобой... В тот ужасный день — вчера, когда я перевозил свою собственную пыль из одной мастерской в другую, был сумасшедший осенний день — быстрое морганье дождя и солнца. Я это знал.

И чувствовал себя прикованным к облаку пыли, точно меня посадили десять раз переписать неудачный диктант, когда все отправились гулять.

Мне так много надо сказать тебе о том, что ты пишешь о стыде. У меня как раз есть одна статья Штейнера, где он этого касается,[1] потом Анн<а> Руд<ольфовна> мне пишет его слова об этом же.[2] И это так близко к тому, что ты пишешь...

Нет... Я не могу писать... У меня руки трясутся от холода. Надо в постель — там единственно тепло. У меня нет печки...

Аморя... милая... прости меня. Это гнусно, это позорно быть в таком состоянии... Мне стыдно думать о тебе...

Утро.

Я готов плакать от тоски и обиды. Кто-то грязный наступил на горло и душит меня. Надо погрузиться опять в эту грязь. Я никогда не чувствовал такого безнадежного отчаяния. Я болен, я простужен, я замерз, мне нечем дышать...

Не понимаю, как Иов мог найти смирение, мерзнув ночью на навозной куче...[3]

Вечер. Суббота.

Моя милая, милая девочка... милая, родная, любимая...

Вот передо мной твое письмо от пятницы, и я с тобой снова в первый раз за много дней. Утром еще было ужасно. Я был в позорном малодушии. Но пришел мой двоюродный брат,[4] и они вместе с конспиратором, обитающим у меня, несколько изменили обстановку, поставили и затопили печку. После пришло фамище-менажище[5] – очень милое, рекомендованное Мих<аилом> Самойл<овичем>,[6] и вступило в смертельную борьбу с демонами пыли.[7]

Вот теперь я чувствую себя в человеческой обстановке. У меня есть письменный стол. Горит печка. Тепло. На стенах японцы. Твой портрет моей мамы.[8] Цветы, принесенные Мих<аилом> Самойл<овичем> от твоего имени. Лиловый вереск... астры... еще что-то зеленое. Сейчас и он сам придет посидеть несколько минут.

Да, сейчас я опять с тобой. Я тебя вижу, я тебя чувствую, я целую твою голову...

Ах, если б ты знала, какое отчаяние охватывало меня, когда я получал твои письма эти дни. Они были такие радостные, в них был трепет белых крыльев, а я чувствовал себя таким опоганенным, таким чуждым тебе, всему...

Здравствуй, Аморя... во мне тихая и торжественная радость. Передо мной стоит зеленая статуэтка – две египетские фигуры. Одна похожа на тебя, другая на Алешу. Я зажег перед ними курительную свечку, и поднялся синий тонкий стебель дыма до самого потолка мастерской, не освещенного лампой.

Я смотрю на «Вечерний дождь» Хирошиги,[9] который я привык видеть всегда за твоей головой.

Сейчас придет Мих<аил> Самойл<ович>. Я к нему чувствую теперь острую нежность временами... Иногда почему-то мучительную до жалости, точно сердце переворачивается. Я не знаю, что это и почему это.

У меня на столе лежат «Трофеи» Эредиа.[10] Я пытался их читать вчера ночью. Сегодня мне нужно будет написать статью об них.[11] Он умер на днях.[12] Я хочу написать о нем и перевести несколько сонетов.[13] Верно, буду сегодня всю ночь напролет сидеть. У меня страшная жажда работы и стихов.

Ты нездорова? у тебя жар? У тебя болят глаза? Я чувствую, что я сейчас с тобой, в нашей иератической позе: твоя голова у меня на плече и рука моя на твоем сердце.

---

3 час<а> ночи.

Мих<аил> Самойл<ович> сидел у меня до часу. Мы сперва долго разговаривали. Потом пришел мой конспиратор, и мы стали смотреть картинки.

Я написал некролог об Эредиа,[14] но не могу больше. Не в состоянии переводить.

Сегодня фамище-менажище, уходя, сказала мне: «Vous êtes presque aussi gentil, que M-r Michel»*, – и с таким выражением сказала, что я почувствовал себя ужасно польщенным и достойным.

Милая, милая девочка... Я опять с тобой. Я ужасно счастлив... Мне кажется, что сегодня вечером ты вошла в мою комнату и благословила ее.

Благослови ее...

[1] О какой именно статье идет речь, неясно.

[2] Это письмо неизвестно.

[3] См.: Иов. VIII, 2 (в синодальном переводе вместо «навозной кучи» – «пепел»).

---

* «Вы столь же любезны, как и господин Мишель» *(фр).*

[4] Я.А. Глотов.

[5] От фр. femme de ménage – приходящая домашняя работница.

[6] В письме к Сабашниковой от 30 июля / 12 августа 1905 г. Чуйко называет ее имя: мадам Пуарье (Poirier) (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 110, л. 22).

[7] См. примеч. 3 к п. 176.

[8] См. примеч. 4 к п. 162 и примеч. 11 к п. 172.

[9] См. примеч. примеч. 1 и 2 к п. 169.

[10] «Les Trophées» – единственный стихотворный сборник Ж.М. Эредиа (1893).

[11] Этот замысел не был осуществлен.

[12] Жозе Мария де Эредиа умер 2 октября 1905 г.

[13] См. п. 181.

[14] Некролог Волошина, посвященный Эредиа, неизвестен (предназначался, видимо, для газеты «Русь»).

180. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

24 сентября / 7 октября 1905 г. Цюрих

7 октября.

Ага! *есть* демоны пыли?[1] Бедный Ты мой, брось эту возню пока, возьми ванну и пойди в концерт, вот и очистишься. А Тебе сказал М<ихаил> С<амойлович>, что кустики вереска от меня? Успокоился ли Ты наконец?

Ну, у нас комедия кончилась, начнутся драмы.

Я написала нашим, изобразила неврастению от вечных сомнений и ненависти к избираемой карьере и умоляла не укорять его и жалостными словами не загонять опять в Политехникум. Не знаю, что будет. Он собирается в Гейдельберг. Куда-то он девался. Я весь день лежу одна.

Я пишу статью о Madeleine.[2] Как это приятно – писать, мне хочется, чтобы стиль походил на описание у Пушкина импровизатора.[3] В конце я говорю вот что, что искусство – это воспоминание. Но у художника это произвольно, хотя и бессознательно, поэтому изображение страдания не вызывает уже страдание. Оно отстоялось, прошло через ритм, времена и очистилось. Здесь оно тоже прошло через все это, но вызвано

чужим насилием, кто-то насильно грубой рукой сорвал завесу, кот<орую> человек только сам, только отчасти и постепенно должен открывать. Поэтому здесь живой аффект и настоящее страдание совмещается с красотой.

Тут у меня еще много мыслей об искусстве.

Но Ты знаешь, эту статью А<нна> Р<удольфовна> не позволит печатать. Она и Besant считают большим злом говорить об этом в журналах. А мне жаль; мне так хочется писать и печататься, и получать свои деньги. Я уже давно написала т<ете> Саше, что хотела бы о ней написать, и она уже обрадовалась и хочет выслать в Берлин гонорар (!). Правда жаль, что нельзя напечатать? Я там пишу также о café-chantant в Париже и здесь о Цвингли.[4] Вообще, могу поддержать свое renommée* после «Кошки».[5]

Ну, нечего делать.

Более подходящей темы не найдешь. Макс, посоветуй мне, как мне проявиться, выйти в люди и ни от кого не зависеть. О чем бы мне написать? Я могу писать. Ты не думаешь? Понимаешь, мне *необходимо* скорее быть самостоятельной. Я больше не в силах слушать жалостные слова; я должна, должна сама жить.

Макс, если бы Ты знал, как мне хочется с Тобой разговаривать и как Ты мне надоел с своими вещами и переездом. Ты говоришь, через несколько дней. Через несколько дней я буду в Берлине, en pleine** семейной истории, уж где мне там с Тобой рассуждать будет.

Я почему-то ужасно счастлива, во мне все поет, а Ты вовсе не ценишь вот, что я Тебя так люблю. Тебе Семеновская мебель дороже меня и откуда у Тебя столько вещей? Зачем пыль-то перевозить с собой. Не догадался оставить?

Макс, Тебе нравятся мои мечты, то я вижу Тебя священником в Богдановщине, то солнце, я и Ты – три головы над морем. Хорошо?

Прощай. Ты противный. Я ненавижу таких.

---

* Репутация, реноме *(фр.)*.

** В гуще *(фр)*.

[1] Первая строчка стихотворения Брюсова «Демоны пыли» (см. примеч. 3 к п. 176).

[2] Статья «Танец в гипнозе», которую писала в те дни Сабашникова, в целом пересказывает содержание п. 157. Статья не была закончена; сохранился ее черновой набросок. Приводим основную часть:

«В программе парижского Café chantant мы прочли с удивлением имя Маделены – девушки, танцующей в гипнотическом состоянии. Нам показалось странным, что эти опыты, возбудившие такой интерес в Европе и вызвавшие большую полемику в печати, показываются в varieté наряду с прочими номерами. Когда же мы увидели мрачную дымку и залу театра, грубую и серую, мужиковатую публику, сидящую за столиками с вином, и услыхали первые номера, явление Маделены показалось нам невозможным, и мы решили, что здесь кроется обман. <...> Мы уже хотели уходить после одного очень безобразного №, как на занавес вышел человек невысокого роста, с грубым ртом и большими зубами, – это был гипнотизер, показывающий Madeleine и называющий себя в программе профессором психологии. Он стал читать швейцарскому народу лекцию о гипнотизме, сказал, что опыт с М<адлен> он показывал в всевозможных ученых обществах, что гипнотическое состояние, в кот<ором> она танцует и изображает всевозможные чувства, не будучи ни танцовщицей, ни актрисой, засвидетельствовано многими врачами, а также прибавил, особенно подчеркнув, <что> она имела случай танцевать во многих аристократических салонах.

Затем на сцену вышла Мадлен. Ее явление составляло живой контраст с фигурой профессора, со всей окружающей обстановкой. Мы увидали девушку лет 17, поразительно бледную. Ее светлые волосы были причесаны, как у ангелов Боттичелли, светлые глаза с немного приподнятыми углами и светлые брови придавали ее лицу неизъяснимую красоту и странность. Она была одета в греческое одеяние, слишком голубое. Широкие рукава висели за плечами и обнажали ее руки. Это не были руки вполне развившейся женщины, когда линии сливаются в бесформенной мягкости; это не были также тонкие слабые руки девочки, это были сильные и нежные руки юноши, их линии были строги и ясны, их формы тонки и женственны. Она села на стул очень прямо. Он встал перед ней. Глаза ее остановились. Скоро она закрыла их, ее голова стала тихонько клониться назад и вбок, и она застыла в этой позе. В ее бледном лице, в нежности ее классически красивой <шеи> было что-то трогательное, что-то печальное и безмятежное, покорное и торжественное. Профессор между тем стал приглашать из публики

врачей, интересующих<ся> проверить ее состояние; после некоторого колебания три господина вышли на эстраду, один из них поднял ее веки и открыл закатившийся белок, затем щекотал ей афишей нос к неописанному <*sic!*> восторгу публики, кот<орая> проявляла его шумным смехом и аплодисментами, наконец, вонзал ей в руку гвоздь. Она оставалась недвижной. Тогда профессор взял ее за руку, и она встала. По моему поведению, сказал он, она будет переживать всевозможные трансы. Он встал в позу фельдфебеля и скомандовал: тихая радость. Ее лицо просияло, она подняла голову кверху; какой нездешний, но яркий свет озарял в эту минуту ее лицо, какими неведомыми путями дошел он до ее души, она тихонько шла и вздыхала, и подымала к небу руки. Ее движения были ритмичны, это был почти танец, она очень напоминала вдохновенные фигурки на греческих вазах. Но он быстро скомандовал: сострадание, и вот она простирала над кем-то свои нежные руки и наклонялась, и стала на колени, раскрыв, как крылья, свои объятия, кого-то жалея, кого-то любя. Выражение полной любви было в ее лице, такого выражения я не видала в лицах... но в этот <момент> уже он крикнул: отчаяние; и что-то сбежало <с> ее лица, оно выразило невероятную муку, она вскочила с криком. Ее крика, ее рыдания я никогда не забуду, это было обнаженное страдание, самое страдание. Она ломала руки и стонала, и билась, и при этом каждое движение ее было ритмично — это был танец. И это не была актриса — живая женщина страдала перед нами, страдала... о если бы было сильнее слово, чем страдание, п<отому> ч<то> оно не было ничем смягчено, оно было чисто, как была чиста за минуту перед тем ее радость. Невероятное волнение охватило меня, эти жалобные крики надрывали душу, и вот она уже лежала на полу и билась, а он поднимал ее, клал ей руку на голову, на тело и успокаивал. <...>

Она встала с тем же послушным и безмятежно-печальным лицом. (Глаза ее все время закрыты.) Он стал читать стихотворение. На ней отражалось каждое слово. Ее жесты сливались с его противным голосом. В стихотворении говорилось, если я не ошибаюсь, я больше смо<трела?>, о том, как бьется сердце человека, ею убитого, как она слышит все время этот стук. Выражение страха и ужаса сменялось у нее смехом, смехом, от которого жутко становилось, она хотела заглушить этот стук, она его бравировала, она хотела спрятаться, убежать, она прятала голову, под конец она стала» (на этом текст обрывается; ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 8).

Волошин разделял точку зрения Сабашниковой. В статье «О смысле танца» (1911) он упоминает «танцы известной Мадлэн» и

заключает, что «танец под гипнозом – это жестокий опыт над человеческой душой, а не искусство» (см.: Т. 5 наст. изд. С. 259).

См. также п. 153, 157 и 166.

[3] Имеется в виду неоконченная проза Пушкина «Египетские ночи» (1835).

[4] Эти статьи или заметки Сабашниковой неизвестны.

[5] «Кошка» («Госпожа Кошка») – картина М.В. Сабашниковой (см. п. 9 и др.).

181. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

25–26 сентября / 8–9 октября 1905 г.[1] *Париж*

Воскресенье. Ночь. 9 окт<ября>.

Милая моя, родная девочка. Вот я опять с тобой всем сердцем, всей душой. Точно оковы спали.

Тебе тяжко и смутно? Плохо с Алешей? Оба вы запутались, и вас запутали. Ведь это же счастье для него, если он провалится. Только не надо всей этой истории начинать сначала. Ты должна всячески противиться тому, чтобы после не началось все то же с Ганновером. Если он провалится – значит, так надо. Никогда не следует противиться случаю, потому что только в том, что мы называем, как нам кажется, случаем, есть указание истинного пути. К случаю надо прислушиваться, как к внутреннему голосу.

Алешу надо оставить в покое, надо дать ему отдохнуть. Надо чтобы он совсем безвольно остановился, замер и отдался тонким струям, которые покажут ему самому направление жизни.

Пусть ему дадут год вполне свободной, самостоятельной жизни за границей. Если человек запутался – это верный признак, что он идет не по своей дороге. Ведь это же, в конце концов, пытка, то, что делают над Алешей, это такое насилие над душой, а его душе с ее слабоволием труднее всего бороться. Тайные посвящения всегда происходят во сне. В минуты глубочайших и важнейших внутренних процессов наступает внешнее безволие, апатия. Это неизбежно. Нарушение этого

состояния извне влечет самые вредные и трагические последствия.

Это может быть, конечно, и тайный рост внутреннего сознания, и болезнь воли. Но и в том, и другом случае нельзя заставлять его делать то, что его заставляют. Ему нужен теперь год полной тишины. Ты должна его защитить, его отстоять от новой пытки. Ты должна доказать, что ему тишина нужна, что его дух слишком хрупок, чтобы выдержать эти опыты, а неудача их и ненужность достаточно доказаны. Старшее поколение всегда почему-то забывает об этих молодых переживаниях ранней весенней тоски духа.

До какой степени это ужасно, когда кому-нибудь говорят: «Что из тебя выйдет?..» Этой фразы не должно быть. Радуйся, если он избавится от Политехникума, и не допускай, чтобы все началось сначала. Будь сама крепка и имей уважение, настоящее уважение к человеку. Обуздай любовь. Любовь всегда хочет в человеке осуществить свой идеал, всегда хочет воспитывать. Ведь это же преступление.

Вот и я теперь все чувствую, как ты меня хочешь воспитать, и мне самому хочется стать таким, каким ты меня хочешь сделать, потому что я люблю тебя и мне хочется ради тебя совсем от себя отказаться, но я заранее знаю, что отказаться и отрешиться я могу только до известного предела, за которым встает непреодолимое — сила пассивная, нутряная, бессознательная, но с которой ничто не может бороться.

Моя милая, бедная девочка, — сними эту тягу и с Алеши, и с себя: смотри просто, не приноси личность, хотя бы бессознательную, хотя бы ничем себя не проявившую, в жертву каким бы то ни было полезным и необходимым житейским соображениям, какому бы то ни было святому долгу. Так все равно долг не будет исполнен. А когда он найдет себя, то он всякий долг сможет заплатить сторицей. Ах, как бы мне хотелось убедить тебя в правде моих слов. Алешу надо защитить — именно так — защитить. И не надо эту пытку заменять другой: обязательством свободного выбора: ему надо успокоиться, ничего не делать, дать время вырасти желанию.

Прощай, моя девочка... Неужели ты на днях уже уедешь из Цюриха? Я это как-то не могу представить себе. Если ты сейчас больна – прижмись ко мне. Во мне бьется какая-то радостная сила, которую мне хочется отдать тебе. Дитя мое, радость моя, любимая, дорогая... Как бы мне хотелось ночью сидеть около тебя и убаюкивать, и успокаивать, и шептать, и целовать тебя... Милая... милая...

Утро. Понедельник.

Доброе утро, милая девочка. Как хорошо у меня. Везде стоят цветы. Книги расставлены. Все чисто. Солнце светит сквозь матовые стекла. Все прибрано. Каких удивительных японцев я нашел! Мне хочется, чтобы ты сейчас вошла и увидела мою комнату. Здесь, отсюда я могу думать к тебе, чувствовать твой дух рядом с собой. Я призываю к себе духов утреннего солнца, духов золотистого луча, падающего сквозь пыльное стекло. Я говорю им: будьте всегда со мной. Для Вас всегда будут цветы, которые вспыхивают, когда вы приходите, книги, которые можно золотить и ласкать, картины, которые будут тускнеть, только Вы их коснетесь, и пыль, которая будет весело танцевать в вашем мече. Здравствуйте, утренние золотые мечи темного города! Аморя! войди ко мне, благослови все так, как есть... Благослови эту комнату танцем и дотронься концами пальцев до всех вещей.

Вот два сонета Эредиа, которые я перевел вчера. Нравятся ли они тебе?

Бегство кентавров

Несутся с гор гудящею лавиной
В бреду борьбы, в восторге мятежа...
Над ними ужас носится, кружа,
Их гонит смерть, им слышен запах львиный.
Сквозь чащи, через рвы, минуя горный склон,
Пугая гидр и змей... И вот вдали миражем
Встают уж в темноте гигантским горным кряжем
И Осса, и Олимп, и черный Пелион.
Порой один из них, сдержавши бег свой звонкий,

Вдруг остановится, и ловит запах тонкий,
И снова мчится вслед родного табуна:
Вдали по руслам рек, где влага вся иссякла,
Где тени бросила блестящая луна, —
Гигантским Ужасом несется тень Геракла.

Ha Ponte Vecchio (Firenze)*[2]

Там мастер-ювелир, работой долгих бдений,
По фону золота вплавляя тонко сталь,
Концом кистей, омоченных в эмаль,
Выращивал цветы латинских изречений,
Там пели по утрам с церквей колокола,
Толкались** средь толпы епископ, воин, инок;
И солнце в небесах из синего стекла
Бросало нимб на лоб прекрасных флорентинок.
И юный ученик, томимый грезой страстной,
Не в силах оторвать свой взгляд от рук прекрасной,
Замкнуть не смел ревнивое кольцо...
А между тем иглой, отточенной, как жало,
Челлини молодой, склонив свое лицо,
Чеканил рукоять тяжелого кинжала...[3]

Вот письмо твое от 7 окт<ября> (субб<ота>).[4]

Об Алеше я пишу то же, что ты думаешь, мне кажется, сама. «Он умолял не укорять его и жалостными словами не загонять его обратно в Политехникум»[5]. Нельзя насиловать чувства долга, именно этого чувства. Долг — это всегда жертва, а угодна она только тогда, когда сам Агнец радостен и в порыве вдохновенья. Иначе это ужасно. А когда напоминают о долге... Это должно само изнутри вырасти. Нельзя это извне насадить. Жалостные слова еще хуже приказаний и требований. Их могут говорить только те, которые сами не понимают и не сознают своего долга к Агнцу.

Пожалуйста, от моего имени поздравь Алешу, скажи ему, что я страшно рад за него, что эта чаша на этот раз его минула,

---

* Старый мост. Венеция *(ит.)*.
** *Было:* Мелькали

что я ему желаю быть веселым поэтому и ни за что не повторять этого опыта.

Надо чтобы теперь ему дали год или два самостоятельной жизни. Чтобы теперь его не заставляли учиться, дали оглядеться, дали вырасти, дали самому пройти сквозь свои муки и грозы. Это долг его близких перед ним, дать эту возможность, создать эту возможность для него. И только тогда он сможет сам исполнить свой долг перед ними. Скажи ему это от меня. Это ведь надо. Это единственный выход.

А теперь о тебе... Аморя, не верь Ан<не> Руд<ольфовне> и Ани Безант, что нельзя говорить об этом в печати.[6] Они обе все-таки сами не соприкасаются с искусством, они в другой области и поэтому не понимают.

Форма искусства (ведь в этом и есть все ее священное значение), она сама по себе эзотерична. Образ — это всегда символ. Понять его может тот только, кто сам ему близок, кто сам это уже думал. Только посвященный. А непосвященному звук слов ничего не скажет. Поэтому можно отдавать глупой и варварской толпе самые интимные, самые священные чувства души и не бояться, что они будут осквернены. Форма замыкает их в алмазную скорлупу. Они будут проходить через тысячи грязных рук неоскверненные и невидимые, пока не придут к сердцу посвященного, который примет их и сохранит. В этом величайшая тайна искусства, и отсюда великий долг художника перед формой; если она не будет так крепка, так прозрачна и так закончена в своих гранях, как алмаз, то скрытое и святое сможет расплескаться и унизиться. Совершенство формы — *скрывает* истинный смысл от непосвященных. Поэтому нужно говорить о тайном и святом, не боясь, что тайна станет доступна толпе.

Все, что ты пишешь об аффекте, о воспоминании, о ритме во времени — мне это страшно близко, ведь это настолько же мое. Почему же ты все говорила последнее время, что мы не можем говорить об искусстве, что мы совсем разно думаем? Я этого совсем не понимаю?

Когда ты едешь? Куда писать тебе? Сколько ты останешься в Берлине? Куда выслать книги?

Нет, Аморя, не бойся профанировать тайны. Можно только некоторые имена профанировать, а нельзя профанировать тайны. Это невозможно. Это свойство Тайны, что ее узнают только посвященные. Пиши и печатай. В этом не может быть никакого нарушения.

Поцелуй от меня Алешу и поздравь его.

[1] Ответ на п. 180. Написано (первая часть) в ночь с воскресенья на понедельник (фактически – 26 сентября / 9 октября); завершено в тот же день утром.

[2] «Старый мост» – мост через реку Арно во Флоренции, возведенный в XIV в.

[3] Оба сонета – из сб. Ж.М. де Эредиа «Трофеи» (1893). Перевод Волошина впервые опубликован в газете «Око» (1906. № 14. 22 авг. / 4 сент. С. 3; второй сонет – под заголовком «Ponte Vecchio»). Между опубликованным текстом и первым вариантом, посланном Сабашниковой, имеются разночтения. См. также: Т. 4 наст. изд. С. 778–779 и 951.

[4] Имеется в виду п. 178.

[5] Волошин неточно передает слова Сабашниковой (см. п. 180); она поправляет его в п. 185.

[6] Т.е. о природе искусства и его «тайнах», в частности, об искусстве Мадлен (возражение Сабашниковой на эти слова Волошина – в п. 185).

182. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

26 сентября / 9 октября 1905 г. Цюрих

Понедельник.

Три дня я не получаю от Тебя писем, Макс. Сегодня уже не будет, а последнее было от среды, такое маленькое, пыльное,[1] и этой пылью я питаюсь 3 дня. Я в отчаянии. Если Тебе скучно мне писать, не пиши совсем, если Ты меня не можешь любить изо всех сил, не люби совсем. Я не могу выносить этого равнодушия. Не понимаю ничего наполовину; теперь моя жизнь не отделена от Твоей. Ежели же Ты можешь быть отдельно, то ничего не нужно.

Я себя не знала, я теперь вижу, что во мне что-то такое сильное, что лучше сейчас все, все кончить, чем так тянуть. Я теперь знаю себя. С каждым днем это сильнее, Ты же впадаешь в какие-то равнодушия. Я не упрекаю Тебя, п<отому> ч<то> против своей натуры ничего нельзя сделать, тогда оставь меня скорее совсем. Я не хочу слышать Твоих оправданий, Ты всегда оправдываешься, как будто думаешь, что неправ.

Мой милый, мой любимый, Ты прав. Это моя безграничная жадность. Но это я, оставь меня тогда. Я не могу быть эпизодом. Ты не будешь одинок. У Тебя будут встречи на несколько дней. Ты будешь свободен. Теперь Ты жив. Ты будешь жив. То, что пробудилось в Тебе, не умирает.

Ах, как я люблю Тебя. Верно, так сильно грешно любить, и такого счастья людям не дается.

Прощай.

Как только я смогу встать, мы уедем, в пятницу, вероятно. Книг не посылайте.

[1] Имеется в виду п. 176.

183. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

26 сентября / 9 октября 1905 г. Цюрих

9 окт<ября>. Понедельник вечер.

Прости, прости меня. Обними меня, поцелуй и забудь мои сумасшедшие слова. Это почтальон виноват. Он принес Твое письмо вечером. Но Ты не знаешь, как я ждала сегодня утром письма от Тебя.

Милый, милый. Ты страдал, был холоден и бесприютен, а я еще упрекаю Тебя. Простишь ли Ты меня? Боже мой, что это? Что это за счастье и за боль? Ты счастлив? Ты любишь? Скажи, любишь? Ах, Макс.

Вот я пришла в Твою новую комнату. Я еще больна, я прилягу. Наклонись надо мной, посмотри мне в глаза. Ну, что

Ты видишь? Где Твоя рука? Вот мое сердце. Ты слышишь? Что Ты слышишь? Нагнись, приблизь ухо к моим губам, я Тебе скажу очень тихо: ... ... меня? А я .... стно? Ты слышал? Да, да, да?

Изволь много писать эти дни, и отвечай на мои старые письма, перечти их. Потом напиши мне в стихах колыбельную песнь, мне. Хорошо. Чтобы вся Твоя нежность и вся наша любовь была там, наши сны... Чтобы моя голова была у Тебя на плече, и Твоя рука на сердце у меня.

Милый, милый. Кто-то наколдовал и дал мне зелья. Отчего эта радость и нежность к Тебе. Кто постоянно клевещет на любовь, и зачем Ты сам так нехорошо говорил о ней? Мне кажется, кто не знает такой любви, тот ничего не знает.

Я еду в Россию с странным спокойствием, точно во мне уже свое независимое начало. Теперь начнутся драмы о Алеше. А он так счастлив, так полон мыслей, интересов, мы вместе читаем, он без умолку говорит. Говорит мне, что осень хороша, а я не скоро, верно, выйду, я еще кашляю и очень слаба, хотела встать, но очень кружится голова.

Скорее пиши о штейнеровской статье. Подтверждение своей мысли буквально я нашла в «Exégèse Biblique»*[1] и в «Cosmogonie de Moïse»**[2]. Последняя вещь поразительно интересна, но понять ее не скоро я смогу. Как мне много нужно понять. На Берлин я страшно радуюсь. Прощай, моя радость.

Теперь пиши Augsburgerstrasse 30/31 III. Fr<au> Schultze***.[3] В воскресенье я буду там, даже в субботу вечером. В пятницу ночуем в Гейдельберге. Письмо последнее я могу получить только в четверг от Тебя. Катя писала мне; мы будем переписываться через нее.[4] Как я рада, что М<ихаил> С<амойлович> Тебя любит, т. е. что Ты его любишь. Он мне не пишет, не понимаю отчего.

Ну, прощай, благословляю Твою комнату, работай и будь счастлив.

---

* «Толкование Библии» *(фр.)*

** «Космогония Моисея» *(фр)*

*** Аугсбургерштрасе 30/31. III. Госпожа Шультце *(нем.)*

[1] Имеется в виду кн.: *Ménard L.* Exégèse biblique et symbolique chrétienne. Paris, 1894.

[2] Автор «Космогонии Моисея» – А. Фабр д'Оливе. Книга представляет собой сопоставительное описание древнееврейских и египетских слов, к которому был приложен французский перевод первых десяти глав «Бытия» (первой Книги Моисеевой). В своих мемуарах Сабашникова упоминает «Книгу Бытия» Фабра д'Оливе среди других «сочинений древних», в которые она «углублялась» в Цюрихе летом и осенью 1905 г. «Откровенно говоря, – признается Сабашникова, – я ничего не понимала» (см.: Зеленая Змея. С. 128).

«Космогония Моисея» была впервые издана в 1815 г.; неоднократно переиздавалась. Полное название книги (в русском переводе В.Н. Запрягаева): «Космогония Моисея. Традиция восстановления по истинному смыслу древнееврейских (египетских) коренных слов (Вязьма, 1911)». См. также: *Стефанов Ю.* Великая Триада Фабра д'Оливе // Волшебная Гора. III. М., 1995. С. 177–184.

[3] Берлинский адрес Минцловой в октябре–декабре 1905 г.

[4] См. п. 133 и примеч. 1 к п. 175.

184. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

27 сентября / 10 октября 1905г. Париж

Вторник. 6 часов вечера.

Моя любимая, моя милая девочка, вот в неурочный час пришло твое письмо такое гневное и короткое (от понедельника).[1] Так не писать тебе совсем? Милая моя, бедная девочка... Теперь ты уже, верно, получила одновременно несколько моих писем, задержанных на почте. (Ведь они всегда почему-то задерживаются, но не пропадают)... Но мне стало очень беспокойно и страшно... Мне каждое твое слово кажется *навсегда* и *окончательно*.

Я не знаю, как это: мне надо глубокую серебряную тишину в душе, чтобы ты пришла туда.

Если есть шум и пыль, я не смею призывать тебя. Когда я чувствую, что в тебе подымается волна, – я теряюсь, меня охватывает страх за тебя...

Мы ведь совсем по-иному любим друг друга. Но это так надо, я думаю. Ты знаешь, что ведь я всегда себя считаю недостойным тебя и твоей любви... Ты этого не можешь понять... О, если б я считал себя достойным, и если б я знал, что я тебе дам радость все возрастающую, то разве я бы боялся неприязни твоих, разве я пред ними чувствовал себя охваченным такой глубокой ответственностью?

И когда волна твоего чувства растет все больше, это не убеждает меня в том, что я достоин. Когда я думаю со стороны, я себе как-то ужасно ярко представляю себя негодяем, твоим мучителем.

Мое чувство не растет, не расширяется, а как-то уходит в глубину, и я все хороню его глубже и глубже и берегу от шума и пыли. И я не во всякую минуту смею войти туда...

Сегодня я был у Алекс<андры> Васильев<ны>. Она спросила о тебе, где ты? Сказала, что почувствовала к тебе особенный прилив симпатии, когда Вы виделись в последний раз. И ты знаешь, – я говорил о тебе совсем спокойно, равнодушным тоном, как будто Марг<арита> Вас<ильевна> Сабашн<икова> совсем не ты, а один из тех отвлеченных образов, которых называют людьми. А в то же время, если бы заговори о *Тебе*, о *тебе* действительно, то я бы не мог выговорить ни слова от волнения. Вот так бывает, когда Мих<аил> Сам<ойлович> начинает говорить, когда Ек<атерина> Алекс<еевна> говорила со мною о тебе. О *Тебе* я бы ни с кем не стал говорить, не смог бы физически... Ведь даже с Ан<ной> Руд<ольфовной> мы говорили намеками, стараясь не называть...

Ты лежишь, ты больна? Что с тобой? Как ты поедешь в Москву? Сегодня телеграммы о том, что в Москве идет стрельба и резьба... Почему-то я не боюсь за других, а вот за тебя очень боюсь. Сны твои про пугачевщину очень уж смущают меня.

Мне кажется, что я чувствую твой лоб, и он – горячий... Ты лежишь теперь на кушетке, закутавшись до горла? Дай я

согрею твои ноги, дай я возьму от тебя твою болезнь. Мне кажется, что ты в том же халатике и так же лежишь, как в тот день, когда мы с Алешей вернулись с гор.[2]

Когда ты больна, какой-то бесконечно мучительный порыв к тебе подымается в моей душе...

Будь сейчас здесь со мной в моей комнате. Я затоплю печку, укрою, закутаю тебя, погашу лампу.

В одном окне, – оно большое и матовое, – ночью всегда какой-то светлый, холодный, голубовато-подводный свет. Точно раннее, раннее утро высоко в горах, туманы еще не разошлись и смутны очертания каких-то гор. Мне всегда, когда я смотрю в него, кажется, что там светает. У меня теперь масса цветов – хризантем и каких-то фиолетовых маргариток. Цветы по всей комнате.

Я сяду на пол около тебя и буду целовать твои холодные «гвоздики»... Кто нам может помешать? Мы так всегда будем вместе, где бы мы ни были... Уже было ведь то, что никогда не пройдет, никогда...

Хорошо тебе, детка?

Кто мы? Мы ведь не те, кого зовут Марг<арита> Вас<ильевна> и Макс<имилиан> Алекс<андрович>. Мне было бы даже смешно, если бы это кто-нибудь мне сказал...

Милая моя... милая... милая девочка... За что же ты меня любишь? Вот этого я никогда не мог понять.

А ты понимаешь?

Засни у меня на руках. Я положу тебе руку под голову и буду целовать твои волосы...

[1] Имеется в виду п. 182.

[2] Волошин и А.В. Сабашников вернулись в Цюрих, совершив восхождение к перевалу Сен-Готард, около 21 августа / 3 сентября 1905 г. (см.: Труды и дни. С. 144).

185. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

27 сентября / 10 октября 1905 г. Цюрих[1]

Вторник.

Ты не понял меня, Макс, это не Алешины слова, а мои. Не «он умоляет не укорять его», а *я*, и все письма я пишу нашим и все, что Ты мне пишешь, я писала маме неделю тому назад и в субботу. Ты не увидел моей эзотерической радости в экзотерических ламентациях, поэтому Твое длинное письмо о том, что я сама знаю, меня страшно раздражает. Я так ослабла за эти дни, что мне хочется плакать от каждого пустяка, я бессовестно раздражаюсь на Алешу, на письма..... Мне так стыдно. Относительно того, почему нельзя писать о Madeleine, Ты тоже не понял. Это не священное, а преступное; это растет, как зараза, каждый, кто имеет такую силу и не знает, как выгодно ее иметь, может воспользоваться. Вот в чем дело. Как тяжело, что мы не вместе. Этих недоразумений не произошло бы. Отчего же Ты мне не отвечаешь на прошлые письма. На все мои вопросы, на всё, о чем я говорила с Тобой.

Нужно укладывать вещи; портрет мой, и ничего не удалось кончить.

Я прочла «Космогонию Моисея»[2], пожалуйста, переведи ее на русский язык, чтобы все слова понять, и пришли мне. Сделай это, это коротко. Посылаю Тебе «Haute Science» и «Атлантиду»[3]. «Эволюцию жизни и формы»[4] не дашь ли мне в Россию? Те книги, кот<орые> я Тебя просила прислать, пришли в Берлин и записывай всё, что я должна Тебе. Относительно стихов я напишу в другой раз.[5]

Я сейчас первый день, как встала, и у меня ужасное состояние. В общем, конечно, я счастлива, но я на все обижаюсь и от всего прихожу в отчаяние.

Мама, верно, приедет в Берлин,[6] тогда как же получать письма?

Ах, Боже, что в Москве делает<ся> и будут ли ходить поезда, м<ожет> б<ыть>, я застряну где-нибудь в Польше.

Прощай, не огорчайся на меня: выздоравливающие всегда неприятны. Прости меня.

Ш<тейнер> находит, что у меня египетское лицо.[7]

[1] Ответ на п. 181.

[2] См. примеч. 2 к п. 183.

[3] См. примеч. 7 к п. 160.

[4] См.примеч. 4 к п. 160.

[5] Имеется в виду волошинский перевод двух сонетов Эредиа (см. п. 181).

[6] Поездка М.А. Сабашниковой в Берлин осенью 1905 г. не состоялась.

[7] В письме от 26 сентября / 9 октября 1905 г. Минцлова рассказывала Сабашниковой: «Штейнер вспоминает Вас часто. Один раз он попросил меня показать Ваш портрет (хотя я не говорила ему, что у меня есть Ваше изображение). Я показала ту <фотографию?>, где Вы в профиль (мне дал М<аксимилиан> А<лександрович>). Frl. Мария говорит, что “как странно, у нее японский тип!”. Ш<тейнер> тихо сказал: “Нет, это не японское лицо”. – “А какое?” – спросила я. – “Египетское”, – совсем тихо сказал он» (У истоков русского штейнерианства. С. 171). Точно так же воспринимал Сабашникову и Волошин, воспевавший ее «египетский» облик (см. примеч. 3 к п. 15).

186. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

28 сентября / 11 октября 1905 г. Париж

Вторник. Утро. 11 октяб<ря>.

Моя милая, милая девочка, я хотел тебе еще писать вчера вечером, но у меня сидели Мих<аил> Самойл<ович>, мой кузен и Туллио. Мих<аил> Самойл<ович> пришел, чтобы «обжить» – в ночных туфлях и ночной рубашке, и нашел, что все чрезвычайно хорошо и уютно, одобрил и цветы, и картины, и книги, и вновь написанные стихи, которые я послал тебе вчера. Я теперь целыми часами сижу, смотрю и принимаю у себя твою тень... и говорю великану: «Пусть войдет принцесса Маргарита».[1]

Я теперь перечитываю все твои письма за эти последние дни, те письма, которые я был недостоин читать... Мне хочется целовать каждое слово; я люблю каждую букву. Что-то такое горячее теперь в моем сердце. Родная моя, голубка моя... Мне так хочется чувствовать тебя рядом, близко... Я все

думаю о красных листьях в лесу и о том, какие у тебя глаза делаются красновато-зеленые – точно в них сама осень.

С тем, что ты писала о стыде, я очень согласен, что это любопытство воплотиться.

Вот почти тождественные слова Штейнера из его статьи о II части Фауста:

«К духу должно прийти желание, действие – Эрос. Дух должен пройти через грехопадение. Духовное существо, как говорит Гете, должно быть помрачено и ограничено.[2] Это необходимо для полного вочеловеченья. Через вочеловеченье духовное именно и отделяется от только телесного. Дальнейшее развитие человека происходит в царстве духовного. Высшее, чего достигает Эрос природы, это разделение на два пола. Здесь начинается духовное развитие, Эрос одухотворяется. Полное вочеловеченье омрачает и ограничивает. Оно ведет к греху».[3]

Здесь я, конечно, грех понимаю только как очистительный огонь страстей и желаний.

Ан<на> Руд<ольфовна> пишет мне слова Штейнера о поле.[4] Впоследствии *голос* станет органом размножения и пола. Человек сам станет создавать свое тело.[5] Одним словом!

(Может быть, *слова* уже есть тела будущего человечества? «В начале бе слово»).[6]

В древнееврейском языке для *голоса* и *пола* существует одно слово.[7]

Я это еще не вполне охватил, но как-то радостно принимаю всем существом и чувствую.

Только вот в чем я с тобой не согласен совершенно – это в том, что материя – зло.

Я не принимаю самого понятия материи. Я еще могу принять два понятия: дух и форма. Но они не живут отдельно. Потому что и дух не может быть вне формы. Понятие же материи совершенно случайно: это одна из иллюзий, образовавшихся благодаря тому, что наше осязание стало чувством проверки для человечества. Материей, в конце концов, назы-

вается осязаемая форма энергии. Материя же как абстракция — есть прямо смешение понятия *формы* и *силы*.

Словом, я не понимаю слова «материя» и не нахожу для него места в своем мире.

А если заменить материю — формой и сказать, что «форма есть первородный грех», то против этого протестует все мое существо. И слово грех мне теперь всегда хочется заменить словом «очистительный огонь».

---

11 октябр<я>. Среда. Вечер.

Ясный вечер, зимний и холодный,
За высоким матовым стеклом...
Ты со мной?.. В зеленой мгле подводной
Кто-то бьется огненным крылом...
Гул людской как дальний рокот моря...
Там над нами тонут корабли?
Стебли трав как кружево... Аморя...
Мы — цветы страдающей земли...
Вглубь растут непрожитые годы...
Чуток сон растущего стебля...
В нас журчат всезнающие Воды,
Видит сны незрячая Земля.

Милая девочка, долгой разлукою
Время не сможет наш сон победить...
Есть между нами незримая нить...
Дай, я тихонько тебя убаюкаю...
Близко касаются головы наши...
Нет разделенья, преграды и дна...
Мир, опрозраченный тайнами сна,
Станет подобным сапфировой чаше...
Все, что казалось ненужным и злым,
Все, что казалось и тусклым и пыльным,
Станет зеркальным* лишь только над ним
Страсть пронесется дыханьем всесильным.

Свечерело... Бархатною мглою
Ночь заткала полыньи зеркал...
Я тебя согрею и укрою...

---

* *Было*: хрустальным

Чтоб никто не видел... чтоб никто не знал...
Свет зажгу... И ровный круг от лампы
Озарит растенья по углам,
На стенах японские эстампы,
На шкафу химеры с Notre-Dame...[8]

Пришел мой брат,[9] и я не могу продолжать. Уговаривал его пойти к Чуйко – не хочет. Теперь я посадил его читать Сен-Виктора и дал ему варенья. Но я не могу писать при нем.

А все утро у меня были Мих<аил> Самойл<ович> и Туллио. Приходили сниматься. Мы снимали друг друга одетыми, разодетыми, раздетыми, прямыми, скрюченными, отраженными в зеркале и т.д.

А я как раз утром получил вместе оба твои письма (второе, написан<ное> в понедельник, и от вторника).[10] У меня звучало столько стихов в голове... Я как раз хотел их писать... Вечером я вот это только вспомнил.

Как удивительно, мы пишем одновременно одно и то же. Меня это все-таки еще продолжает удивлять...

Моя милая девочка... Прощай...

Я страшно, страшно люблю тебя...

Это письмо я пишу еще в Цюрих. Завтра буду писать в Берлин...

Милая... милая... прощай...

[1] Из сказки Ф. Сологуба «Благоуханное имя» (см. примеч. 6 и 7 к п. 37).

[2] Имеются в виду слова из беседы Гете с Эккерманом (16 декабря 1829 г.): «...Такие духовные существа, как гомункулус, которые еще не омрачены и не ограничены законченным воплощением в человеке, можно причислить к демонам» (*Эккерман И.П.* Разговоры с Гете в последние годы его жизни. Вступит. статья В.Ф. Асмуса. Пер., примеч. и указатель Е.Т. Рудневой. М.; Л.: Academia, 1934. С. 477). Эта же мысль повторяется (со ссылкой на Гете) в статье Волошина «Индивидуализм в искусстве»: «Дух, воплощаясь, должен помрачиться и ограничиться» (см.: Т. 5 наст. изд. С. 64).

[3] Волошин приводит несколько отрывков из работы Штейнера «Фауст Гете как отображение его эзотерического мировоззрения»,

выпущенной в 1902 г. отдельной брошюрой (см.: *Steiner R.* Goethes Faust als Bild seiner esoterischen Weltanschauung. Berlin: F. Grunert, 1902). Русский перевод, опубликованный в кн. «Вопросы теософии. Сборник статей по теософии. (Выпуск 1-й)» (СПб., 1907. С. 233–254), был выполнен А.Р. Минцловой в 1905 г. (переводчик обозначен в журнале литерами А.Р. и А.М.). Авторство Минцловой подтверждается ее открыткой к Волошину от 7/20 декабря 1906 г., в которой она просит срочно вернуть ей перевод «Фауста» («мой перевод, который я оставила Вам в Париже прошлой осенью») – для передачи А.А. Каменской (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 844, л. 62). В.П. Купченко сообщает, что этот перевод Минцлова вручила Волошину «перед отъездом» из Парижа 11/24 сентября 1905 г. (см.: Труды и дни. С. 146).

Приведем для сравнения немецкий текст:

«Der Geist muss durch die Materie, durch den Sündenfall hindurch. Das geistige Wesen muss, nach Goethes obigen Worten, verdüstert und beschränkt werden. Das ist zu einer “volkommensten Menschenwerdung” notwendig. <...> und durch das Menschwerden trennt sich das Geistige eben von dem Bloss-Körperlichen ab. Die weitere Entwicklung des Menschen geschiet im Reiche des Geistigen. Das höchste, wozu es der natürliche Eros bringt, ist die Trennung in zwei Geschlechter, sind das Männliche und das Weibliche. Hier setzt die geistige Entwicklung ein: der Eros wird vergeistigt. <...> Faust muss es nochmals erleben, dass die “vollkommene Menschwerdung verdüstert und beschränkt”, dass sie zur Schuld führen muss» (цит. по: *Steiner R.* Goethes Geistesart in ihrer Offenbarung durch seinen Faust und durch das Märchen von der Schlange und der Lilie. Dresden: Verlag Emil Weises Buchhandlung (Karl Eymann), 1940. S. 31, 32, 35).

Краткий конспект этого отрывка (в переводе Минцловой) см. также в записной книжке Волошина, содержащей записи 1905–1907 гг. (Записные книжки. С. 53–54).

[4] Письмо Минцловой, упомянутое Волошиным, неизвестно. О «поле» Штейнер говорил в нескольких своих лекциях того времени (см. примеч. 10 к п. 201). В письме к Сабашниковой от 26 сентября / 9 октября 1905 г. Минцлова кратко излагает теософскую теорию «разделения полов», свершившегося якобы в лемурийский период, когда под влиянием Луны, отделившейся от Земли, человек (до этого – андрогин, двуполое существо) разделился на мужчину и женщину. Одновременно с «полом» (тоской, влечением, страстью и т.п.) возникли якобы речь и мышление (У истоков русского штейнерианства. С. 171). Уточняя слова Штейнера о «поле», Минцлова писала Волошину 7/20 октября 1905 г.: «Вы спрашиваете еще слова St<einer'a> о поле... Он говорит о разделении пола в средине лемурийской эпохи...

Вначале был совершенный человек, чистый, с нераздельным полом, творивший себя сам. К этому состоянию опять придет человек в безгранично далеком будущем, но придет преображенный, возвышенный своими переживаниями на долгом, бесконечно долгом пути... Но у чистого человека (reiner Mensch, Adam Kadmon) явилось желание (которое есть неудовлетворенность), тоска, потому что ему хотелось высшего, лучшего творчества, чем было у него, он был недоволен собой, и для сотворения нового тела он призвал другое существо. Пол разделился, наступило творчество вдвоем... Но оно было еще несовершеннее, чем творчество единое, самосозидание человека. Отсюда – тоска и неудовлетворенность у людей с двумя полами. Желание есть неудовлетворенность; после удовлетворения – тоска и стыд, смутное сознание ошибки, падения, потому что человек опустился ступенью ниже в развитии. Страсть явилась у людей в период их лучшего состояния, когда человек жил на Луне еще. <...> Луна есть страсть, чувственность, плодородие, “Изида” в оккультных книгах. Проходя через нее, человек впитал в себя страсть, которая есть душа Луны. И с тех пор к творчеству половому примешались страсть и беспокойство, и тревога. И человек затемнел совсем теперь, с тех пор как Луна отдала ему душу свою, а сама похолодела и умолкла, и побледнела навеки...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 31 об. – 32 об.). Ср. также примеч. 9 к п. 126.

[5] О том, что «речь» и «голос» станут в будущем «органом продолжения рода», Штейнер говорил 19 сентября / 2 октября 1905 г. в седьмой лекции своего «эзотерического курса» (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 59–60). См. также примеч. 2 к п. 188 и примеч. 3 к п. 211.

[6] Ин. I, 1

[7] По-видимому, ошибка Волошина. В древнееврейском языке для «голоса» и «пола» существуют два разных слова.

[8] Первый вариант стихотворения «В мастерской», завершенного в Богдановщине в сентябре 1906 г. (первая публикация: Русь. 1906. № 86. 25 дек. / 7 янв. С. 2; с указанием: «Париж. Осень 1905»). Вошло в сб. «Стихотворения 1900–1910» и сб. «Иверни». См. также примеч. 5, 6 и 7 к п. 192.

[9] Я.А. Глотов.

[10] Имеются в виду п. 183 и 185.

187. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

28 сентября / 11 октября 1905 г. Цюрих

Среда. 11.

А сегодня от Тебя опять не было письма... Ну, Бог с Тобой, мне нужно к этому привыкать. Мы уезжаем только в воскресенье, получила сейчас телеграмму из Москвы, приходится дожидаться денег, уже высланных раньше. Может быть, и неплохо это, п<отому> ч<то> уж очень я слаба. Так слаба, что мне комната и вся жизнь противна. Нет, я очень счастлива в сущности-то. Только голова кружится, в комнате страшный беспорядок, и демоны пыли щекочут нос и горло. Мой испорченный портрет волнует меня. Вчера я сразу испортила его. Разве это не ужасно![1]

Милый мой, Тебя очень задело то, что я раз сказала, что в искусстве моем Ты не близок мне. Видишь не в общем, не в мыслях, п<отому> ч<то> то, что Ты, напр<имер>, говоришь в прошлом письме о том, что оно должно быть крепко и чисто, и прозрачно, чтобы скрывать эзотерическое, это именно давно я думала, я пыталась Тебе это говорить, помнишь, когда я говорила о ясности, кот<орая> содержит темноту...... Я только не умела этого высказать... Но на практике в моей работе Твое мнение для меня ровно ничего не составляет, я вижу постоянно, какие плохие вещи Тебе нравятся, как Ты постоянно увлечен теорией какой-нибудь и по ней иногда восхищаешься дрянью. Все Твои статьи о живописи, о Якунчиковой, о выставке для меня больше, чем чужды, они противны мне. Поэтому я сказала это... Самый близкий и единственно близкий человек в живописи для меня Чуйко. Мнением Сомова я очень дорожу. Твое мнение, как мнение Кати и А<нны> Р<удольфовны>, мне дорого только по человечеству, но серьезно не имеет для меня никакого значения. Тебя это не должно обижать, хотя меня это иногда и огорчает...

Макс, я хочу попросить Тебя взять на хранение мои письма и дневник. По нашим временам, кто знает, вдруг у меня захотят отобрать их, это было бы для меня ужасно. Я любимые отобрала, остальные пошлю Тебе в пакете. Хорошо?

Знаешь, я все думаю о Тебе. Ты все-таки очень странный. Да, я думаю, у Тебя главное нежность и жалость. Я думаю, что Ты ко мне относишься иначе, чем к другой, только количественно, а не качественно. Если бы мы вдвоем были бы перед Тобой, Ты остался бы с той, кот<орая> в ту минуту была бы беспомощнее. Я вспоминаю Идиота.[2] В Тебе есть одно чувство, которого в нем не было, но и оно у Тебя ко всем, и в нем, мне кажется, у Тебя есть доля жалости... Я не знаю, как сказать. Я часто об этом думаю. Я часто думаю, что Ты не одну меня будешь любить, и мне нужно будет с этим примириться. Ведь это же можно. Как же у магометан. Я часто думаю о V<iolet>. Я ее ужасно люблю и Тебя, но почему-то, когда я о вас думаю, мне делается кого-то ужасно жаль и хочется умереть. Эта мысль о вас как-то притягивает меня, особенно ночью. Ты изумился бы, какие странные сцены проходят перед моими глазами, и мне бывает радостно, когда я могу совсем спокойно и ярко представить себе Тебя с ней, нас втроем. Мне кажется, я могла бы совершенно привыкнуть к этому.

Я знаю, что я должна привыкнуть к мысли, что я только потому ближе Тебе духовно, п<отому> ч<то> я этого хочу. Ты даешь то, что от Тебя требуют, как бог. Ты, как Бог, щедр, и, как солнце, входишь в открытые окна. Я уверена, что Ты не мог бы страдать от неразделенной любви, что если бы я сейчас полюбила другого, Ты бы не заметил, а потом принял бы весело. Да? За это, вероятно, я люблю Тебя, за то, что Ты неуязвим и неуловим, за то, что Ты всегда Ты. Я прихожу от этого в отчаяние, в восторг. Я теперь понимаю, как Ты можешь с чистым сердцем ужасно оскорбить человека, нет, не человека, а женщину, и как она же в этом будет виновата, и она только работой над собой сможет искупить свою вину.

Ах, Макс, как ужасно я люблю Тебя. Это так странно все.

Ты думаешь, я хочу перевоспитать Тебя.... Не знаю, кто кого, только есть вещи, кот<орые> я, как я сейчас, не могу принять. Все, что я считаю в себе слабостью, я думаю, это пройдет в силу любви, в силу высших интересов, но есть вещи, с кот<орыми> я никогда не примирюсь, это с Твоей небрежностью к Тебе самому и к людям....

Прощай, мой милый, мой кудрявый. Помнишь Ты вечера под окном, когда все слова проходили сначала через звезды,

у Тебя были прозрачные глаза. Если судьба отнимет у нас все, это останется, если Ты только не забудешь, как забываешь все.

Я никогда ничего не смогу напеча<та>ть, п<отому> ч<то> во всем буду сомневаться. Вот это неверно, что искус<ство> только воспоминание, оно творит будущие жизни.

[1] Имеется в виду автопортрет, над которым Сабашникова работала в Цюрихе (см. примеч. 9 к п. 134, п. 177 и 202).

[2] Князь Мышкин, герой романа Достоевского «Идиот» (1868).

188. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

28 сентября / 11 октября 1905 г. Цюрих

Ночь. 11

Дитя, я Тебя люблю, но это не ново. Ты у меня хороший, и это не ново. Ты милый, я хочу быть с Тобой, и я могла бы целый день писать Тебе. Твое письмо пришло сегодня опять вечером.[1] Значит, это новый закон, значит, это бывает. Ты прав относительно материи. Хотя ведь я говорила именно про грубое человеческое тело, не про то тело, которое создается и разрушается словом. Голос, как пол, – понятно.[2] Только слово *пол* – половина – заключает в себе понятие об участии двух, а тут, я думаю, действует один. Я думаю, в европейском языке и то, и другое – означает *средство.* Я писала об моей теории А<нне> Р<удольфовне>. Не годится, говорит.[3]

Прочел ли Ты «Christ<ianisme> Esot<érique>»? Я нарочно спешила прочесть, чтобы Ты скорее имел ее. Ты ее, я надеюсь, получил, я ее посла<ла> через 3 дня, как получила, а сегодня Алеша отправил «Haute Sc<ience>» и «Атлантиду». «Evol<ution>» оставь мне.[4]

Стихи Эредиа на меня в чтении как-то не производят впечатления, я хотела бы слышать их. Мне нравятся первые строчки второго и последняя. «Толкались» не лучше ли заменить «толпились»?[5]

Не находишь ли Ты, что стихи Гиппиус и Белого – дырявые ковчеги? В них тайна носит ярлык. Как хороша в

«Cosmogonie de Moïse» сцена, как Ной раскрылся и как Сим и Иафет подошли, пятясь, и закрыли его. Это удивительное место. Попробуй-ка, переведи.

Как я рада, что у Тебя уютно. Клянись, что у Тебя всегда будет уютно, клянись мне. Ну, а теперь – спокойной ночи, возьми меня к себе на коленочки и убаюкай. Я засыпаю... я, знаешь... не понимаю ничего, все скрыто... я больше рассуждать не буду. Я буду сладко спать и видеть сны, пока меня не разбудят...

Будем внимательно спать. Прощай. Прощай, мой Макс, моя душа, душа моей души. Спи. Люби меня.

Я хочу в жизни только наслаждаться. Давай так играть. Будем наслаждаться искусством. Я буду много разного писать, а не сидеть так на одном. Я думать буду красками. Не мое дело рассуждать, а то все мои произведения калеки: одни без глаз, другие без ног.

Спокойной ночи. Лес? Хорошо в лесу.

[1] См. п. 181.

[2] См. примеч. 4 к п. 186 и п. 211.

[3] Вероятно, Сабашникова имеет в виду письмо от 26 сентября / 9 октября 1905 г., в котором, отвечая на ее письмо, Минцлова излагает теософскую точку зрения на «воплощения», «разделение полов» и др. (У истоков русского штейнерианства. С. 173–174). См. также примеч. 4 и 5 к п. 186.

[4] См. примеч. 4 к п. 160.

[5] Речь идет о строке «Толкались средь толпы епископ, воин, инок» в сонете «На Ponte Vecchio» (см. п. 181). Волошин согласился с замечанием Сабашниковой. В опубликованном тексте: «мелькали».

189. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

29 сентября / 12 октября 1905 г. Париж

Четверг. 12 окт<ября>. 1 ч. дня.

Здравствуй, моя милая девочка...

Я так привык быть один со своими мыслями о тебе, а теперь ко мне все приходят... Раньше никому, никогда не хотелось сидеть у меня. А теперь у меня сидят. Но часто мне хочется

говорить с тобой, а я не могу. Я часто, когда один, вслух говорю... Зову тебя... Сейчас я один и между нами только пространство... Это ведь так мало!..

Как жаль, что я не мог вчера дописать стихов. Сегодня я не могу их дописать. Во мне уже поют другие...

Утром был Мих<аил> Самойл<ович>. Очень он грустен, что уезжает. Уезжает он в воскресенье. Утром пришла твоя телеграмма, пришли книги, и только что пришло твое письмо. Ты опять не получаешь моих писем? Я не понимаю, что это значит... Теперь я пишу тебе снова очень аккуратно, а позавчера написал два письма... Мне лично принимать на себя грехи почтового ведомства совсем не страшно, но тебе волноваться из-за этого и «стараться привыкать» к тому, что я перестаю писать тебе, – тебе это совсем не нужно. Постарайся иметь больше доверия ко мне и меньше доверия к почте.

Не обижайся... Я говорю это только для тебя, чтобы ты не одерживала ненужных побед над собой...

Мое милое дитя, я думаю, что ты и в другой области одерживаешь над собой ненужные победы. Я не могу представить себе, чтобы я любил кого-нибудь так же, как тебя. Да и может ли быть иначе. Всю эту эпоху жизни ты была моей единственной мечтой... Все мои мысли были к тебе или от тебя... Все, что я делал, я делал для тебя. И я ничего не прошу, не попрошу, не потребую от тебя. Ты стала лучшею частью моего Я, моим «Атман»[1]... Я могу изменить тебе, только изменив самому себе... Весной ведь, уходя от тебя, я ушел и от самого себя, от своего настоящего «Я». А как только я к нему вернулся, первое, что увидал я в себе, – это была ты...

Я не знаю, и я стараюсь не думать о том, *как* я люблю тебя... Это не нужно, это вредно, это тяжело...

«Если бы мы были вдвоем перед тобой, Ты бы остался с той, которая в ту минуту была бы беспомощнее»... Я думаю – да... Но ведь это не потому, чтобы я любил ее больше...

Я не могу примириться с тем, чтобы быть самому источником страдания.

Любовь для меня не является высшим чувством в жизни, перед которым все остальные чувства должны покорно скло-

ниться, как перед властелином. Может, это человечески — преступно... Но у меня так.

Милая моя девочка — меня трогает бесконечно то, что ты пишешь, с чем ты уже готова примириться... Но не надо этого... Не трать своих сил на эту борьбу с призраками, которые еще не вошли в жизнь и не войдут, должно быть...

К V<iolet>[2] я чувствовал нежность, но никогда не чувствовал того невыразимого и радостного...

Я получил от нее недавно письмо — маленькое. Она приедет в Париж месяца через два. Я не знаю, почему и как, но это меня не волнует и не беспокоит. Я чувствую себя как-то уверенным в себе. Я смогу прямо смотреть в глаза... И я чувствую, что мы будем относиться друг к другу просто, дружественно и прямо, что то, что было, создаст связь крепкую, но совсем спокойную, как то, что никогда неповторимо и невозможно. Не думай об этом, моя девочка... Богоборство с мечтой труднее борьбы в жизни, а тебе теперь надо столько сил.

Я жду от тебя дневника и писем. Я все сохраню нерушимо.

Мне всегда хочется быть таким, как ты меня хочешь видеть, и это мне бывает легко, но до известных граней. За ними начинается алмазная непроницаемость. Совершенно пассивная и совершенно непреодолимая, которая меня самого удивляет своей необъяснимостью...

Милая, родная... До свиданья...

Сейчас я еду в Осенний Салон.[3] Он открыт сегодня для прессы. Вернисаж еще дней через 5.

Теперь там отдельные выставки Энгра и Эд<уарда> Манэ.

[1] Атман или Атма (*санскр.*) — понятие, широко используемое в теософии и означающее Высшая Душа, седьмой компонент совокупной сущности человека, его божественное «Я». По определению Блаватской, «Вселенский Дух, божественная Монада, так называемый седьмой принцип в семеричном строении человека» (*Блават-*

ская Е.П. Теософский словарь. С. 69); по терминологии Штейнера, – Geistesmensch, духочеловек. См. также п. 143.

[2] Имеется в виду В. Харт.

[3] Осенний Салон 1905 г. открылся 5/18 октября 1905 г. в Большом Дворце на Елисейских Полях; закрылся 12/25 октября 1905 г. Вошел в историю благодаря группе «фовистов» (Вламинк, Дерен, Марке, Матисс, Руо и др.), впервые заявивших о себе на этой выставке как о самостоятельном направлении в искусстве.

190. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

29 сентября / 12 октября 1905 г. Париж

Четверг. Вечер. 12 окт<ября>

Недавно я читал об графе Гобино – французском писателе, только что открытом во Франции, для изучения которого есть целое общество в Германии.[1] Он был другом Вагнера и во многом влиял на него,[2] и был во многом предвосхитителем Ницше.[3] Между прочим, в идее сверхчеловека. Только сверхчеловека он называет «царевичем» (fils de roi).

Помнишь главу об Иване-Царевиче в «Бесах»?[4]

Он берет это понятие с востока, из арабских сказок. Он строит сложную теорию наследственности... Но, правда, как с этим сказочным именем понятие сверхчеловека сразу становится понятней, интимней и ближе... У каждого народа, у каждой эпохи есть идеал своего царевича, своих царевен...

Каждый раз, когда я вхожу к себе, я глубоко вздыхаю от радости и счастья. Здесь я все сделал для того, чтобы Ты была со мной. Теперь, когда я думаю о тебе, я не закрываю глаза, а открываю их, смотрю пристально в глубину, и ты выходишь... царевна моя.

Ты мне пишешь странные слова про меня. Я не все свое узнаю в них. Есть области, которые в себе совсем не знаю, но я верю тебе, и мне вдруг становится и как-то светло, и както грустно... Такая горячая волна подступает к сердцу... Я так люблю тебя...

Может, этого и не было никогда во мне – этого божественного, но ты *так* пространа меня, и оно стало. И я стал таким.

Что ты мне прикажешь, Царевна моя? Я чувствую, как от твоих невысказанных желаний в душе моей распускаются цветы.

Если ты поверишь – я стану... Твоя вера всесильна надо мной.

Царевна Аморя....

Царевна Аморя.... Я обниму твои ноги и буду целовать их... А ты будешь лежать, закрыв глаза... Как ты меня любишь?..

А я слыхал, что ты тогда сказала шепотом...

А неужели действительно все детские сказки только предчувствие? Когда я 14<-ти> лет читал «Идиота», я всегда думал – вот если бы быть на него похожим. Ведь он всегда был излюбленным героем моей юности. Но я никогда не находил в себе ничего общего. Что это? Почему это? А теперь вот сперва Мих<аил> Самойл<ович>, потом ты... Мировая история о гадком утенке?[5] Только нет, у меня есть мечта к «Идиоту», но я сам никогда не смогу стать им. Ты знаешь, что отчасти мое принципиально<е>, а теперь и органическое равнодушие к тому, что скажут, вытекало из любви к кн<язю> Мышкину.

Моя милая девочка, с твоими эзотерическими порывами, скрытыми то экзотерическими ламентациями, то экзотерическими строгими сентенциями, происходит ужасная путаница. Боюсь, что ты сама грешишь против своего правила, что тайна должна скрываться чистотой, прозрачностью и ясностью. Ну, кто бы мог из твоего первого письма об Алеше догадаться, что ты радуешься за его освобождение... Нет, давай будем эзотеричны... Этих экзотерических форм я совсем не умею читать... Не читай мне никогда экзотерических нотаций в то время, как ты эзотерически думаешь совсем иное.

Покойной ночи, моя Царевна...

Сейчас я пойду к Чуйко. А потом мы, верно, придем вместе ко мне. Он будет сидеть и жаловаться на судьбу, которая гонит его из Парижа. Ты будешь с нами? Да?

Только все-таки нельзя нам с ним о тебе говорить. Т.е. я не могу. Я сейчас же принимаю холодный и равнодушный тон, на<с>колько только могу, потому что мне кажется, что если я начну о тебе говорить, то все узнается из голоса... Зачем ты написала ему то, что я писал тебе о моих чувствах к нему? Он сейчас же прибежал и прочел мне его... Я был страшно смущен и сказал, что это я только для того, чтобы доставить тебе удовольствие.

Вот он пришел... До свидань<я>, Царевна...

[1] Немецкое Общество Гобино (Deutsche Gobineau-Gesellschaft) было основано в 1894 г. с целью изучения трудов Гобино и перевода их на немецкий язык.

[2] Вагнер (в конце своей жизни) и его вторая жена Козима были поклонниками Гобино, переписывались с ним и способствовали распространению его идей в Германии.

[3] Расовая теория Гобино действительно отразилась в некоторых работах Ницше («Рождение трагедии из духа музыки», «Генеалогия морали» и др.).

[4] В главе «Иван Царевич» (8-я глава второй части романа «Бесы») Петр Верховенский, излагая основы «шигалевщины», провозглашает Ставрогина будущим верховным правителем, царственным самозванцем («Иваном-царевичем»), призванным поработить народ (см.: *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.. Наука, 1974. Т. 10. С. 321–326) .

[5] «Гадкий утенок» – сказка Х.К. Андерсена (1843).

191. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

29 сентября / 12 октября 1905 г. Цюрих

Утро. 12.

Сейчас я получила Твое письмо. Так Ты любишь меня. Ах, Макс! А это странно, почему при чужих мы чужие. Перед Богом я уже Твоя жена, перед людьми этого не может быть. Мне кажется, я умерла бы скорее, чем выйти с Тобой вместе куда-нибудь в общество. Отчего это? Что за дикость, и вовсе это непонятно. Чуйко я бы страшно гордилась. Почему это так? Значит, внешнее ни при чем. Ты очень защищаешься от того, что я хочу Тебя перевоспитать. С моей стороны, конечно, это иллюзия.

Как меня радует, что Ты беспокоишься за меня. Было это чувство у Тебя раньше или это только ко мне, и это значит, что Ты меня любишь? Но Макс, Ты говоришь, будем так всегда, кто нам может помешать... Знаешь, я не могу так быть. Я совсем не могу мечтать, это какой-то яд. Я не могу думать, я не хочу думать, я хочу, чтобы Ты был со мной каждую минуту, и чтобы никого не было больше. Мы можем быть с Тобой только совсем одни где-нибудь у моря. Да? Ты спокоен, а я так тоскую по Тебе. Твои письма не успокаивают меня. Я хочу Тебя самого. Как это будет, когда мы увидимся?

А когда я буду с Тобой, совсем Твоя.... я бы хотела умереть в тот момент. Ах, Ты не знаешь, какая я, я сама этого не знала.

Долго ли мы будем врозь?

Макс, вели мне замолчать, п<отому> ч<то> ведь я говорю все то же самое, и этого не нужно говорить. Уничтожай такие письма.

Мне опять трудно читать и думать о вечных вещах. Ты знаешь, нужно неукоснительно читать «L<umière> s<ur> <le> sen<tier>» или что-нибудь подобное *каждый день*. День пропустишь, и нужно начинать сначала. Тебе это тоже нужно принимать во внимание, чтобы не завертеться. О чем говоришь с Ал<ександрой> Вас<ильевной>? Она теософию ненавидит.

Давай будем легкомысленны и веселы. Боже, я не могу никогда быть просто веселой. А теперь я хочу, я попробую быть беспечной, легко жить. «Пой, Тебе дана, судьба».[1] Прощай. Как меня радует, что Ты не можешь обо мне говорить. Прощай, мой милый. Целую Твою большую голову и обнимаю за шею, и крепко прижимаюсь к[2]

[1] Из стихотворения Бальмонта «Выбор», вошедшего в сб. «Только Любовь. Семицветник» (С. 136–137).

[2] Здесь письмо обрывается.

192. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

29 сентября / 12 октября –
30 сентября / 13 октября 1905 г. Цюрих[1]

Страшная усталость, точно меня кто-то поколотил.... Я спешу писать ставни на картине М<аргариты> К<онстантиновны> и порчу свой портрет. А как он был хорош! Приехав в Москву, я опять начну писать его; умру, а напишу.

Я перечитываю письмо Твое в ответ на мое сумасшедшее...[2] Что значит «негодяй», «недостоин». Как смешно Ты спрашиваешь, почему я Тебя люблю... Сначала это было, п<отому> ч<то> Ты меня не любил... А теперь, п<отому> ч<то> каждую минуту я боюсь потерять Тебя. Еще почему..... п<отому> ч<то> Ты не подчиняешься..... и еще (ты все ждешь комплиментов), вероятно, Бог хотел наказать меня за спесь то и посмеяться надо мной... и еще п<отому>, ч<то> оба мы претенциозны, любим фразы, неискренни, холодны, декаденты.....

Ах, Макс, ну что Ты хочешь, чтобы я Тебе ответила, я люблю Тебя, п<отому> ч<то> <Ты> сделал меня смелой, п<отому> ч<то> Ты мне сделал больно, п<отому> ч<то> Ты сделал меня счастливой, п<отому> ч<то> я Тебе причиняла неприятности, п<отому> ч<то> я Тебя люблю, потому что я Тебя люблю, потому что я Тебя люблю.

Ты раз сказал мне: какая дура. Как это хорошо. Скажи еще раз.

Я Тебе пишу одни глупости. Я иду спать.
Что Ты делаешь, отчего не пишешь о занятиях?

Утро. 13.

Сейчас я получила Твое письмо с колыбельной песнью.[3] Она меня трогает, но она недостаточно прозрачна и проста... Ты опять скажешь, что я педагогия <*sic!*>, но правда же, Ты сам говоришь, нужно, чтобы совершенное произведение было прозрачно, нужно, чтобы оно было отшлифовано так, чтобы оно скользило по непонимающим....

У Тебя всегда нужно страшно напрягаться, чтобы понять, куда, откуда, к чему относится глагол, по какому случаю вдруг какое-нибудь слово.... Это хитро сплетено и требует усилия со стороны слушателя. Потом я не знаю, отчего это, Твои стихи – компиляция из слов, произносимых Тобой и мной в жизни, т<ак> ч<то> размер и рифма – случайны. Мне кажется, что слова истинного произведения рождаются в тот момент, когда рождается оно. И раньше не произносятся, здесь впервые их слышат. Нет, довольно поучений...

Она хороша, Твоя песня.[4] Мне нравится вторая и третья часть. Вторая особенно и четыре последних строчки первой части. Мне не нравится «Кто-то бьется огненным крылом».[5] Это неспокойно и по тону не подходит ко всему, это красное. Потом слово Аморя. Это ужасно, не упоминай в стихах моего имени.[6] Читай их другим, но никто не узнает, кому они написаны. Разве в этом нет прелести? Мне не нравится по форме «Все, что казалось» и т.д. Затем «бархатною мглою Ночь заткала полыньи зеркал». Полыньи можно заткать чем-нибудь, что светлее и матовее зияющей темноты, а бархат – это сама темнота. В этом образе есть несообразность.[7]

Пиши, Ты пиши побольше и почувствительнее.

Напиши вот какое стихотворение: будто бы я умираю, а Ты со мною сидишь, и мы пьем красное вино; оно должно быть очень просто и торжественно, как церковное пение...

А еще... будто бы я умираю, Ты меня замучил, я маленькая девочка, кот<орую> Ты любил, но преступно и издевался, а теперь Ты любишь по-настоящему.

А еще... будто бы... Нет, этого довольно. Хватит у Тебя сердца, чувства написать те два. Если Ты не можешь сделать, чтобы они были страшно хороши, то не нужно.

Я получила сейчас от А<нны> Р<удольфовны> открытку взволнованную по поводу московских смут. Она все бросает и едет со мной в Москву.[8] Мне жаль ее. Да как мы доедем, будет ли сообщение.

Как мне страшно хочется работать, но я не знаю, что делать, что я буду писать в Москве.

За эту неделю я хотела подготовиться к свиданию с Ш<тейнером>. «Он спрашивает о Вас и ждет Вас очень».[9] Но Ты знаешь, это ужасно: я думаю только о Тебе, мне трудно сосредоточиться, и я боюсь, что он почувствует ко мне отвращение.

До свиданья.

Будь счастлив и работай. Так много нужно сделать.

[1] Письмо было отправлено Волошину 1/14 октября 1905 г. (см. примеч. 8 к наст. письму).

[2] См. п. 184.

[3] Имеется в виду п. 186.

[4] См. примеч. 8 к п. 186.

[5] Эта строчка была исправлена Волошиным. В окончательном варианте: «Бьются зори огненным крылом» (см.: Т. 1 наст. изд. С. 70).

[6] В окончательном варианте имя «Аморя» отсутствует.

[7] В окончательном варианте: «Ночь придет. За бархатною мглою Станут бледны полыньи зеркал».

[8] В открытке Минцловой от 30 сентября / 13 октября 1905 г. (согласно почтовому штемпелю, получено в Цюрихе 1/14 октября 1905 г.) говорилось: «Я решила уехать в Москву и сейчас жду Вас или Вашего ответа, только. Иначе я бы уже уехала. Я страшно беспокоюсь. Штейнер очень уговаривает меня остаться и прямо не советует ехать сейчас. Но я не могу... <...> Если Вы раньше уедете, я уеду с Вами. Если Вы раздумали <ехать> в Москву – ради Бога, напишите, я тогда уеду сейчас же» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 87, л. 69).

[9] См. примеч. 7 к п. 148, примеч. 4 к п. 156 и п. 165.

193. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

30 сентября / 13 октября 1905 г. Париж

13. Octobre. Утро.

Утром я просыпаюсь с молитвой о тебе. Я раскрываю глаза, смотрю на картины, на цветы, на белый подводный свет, который льется с потолка, и радуюсь о тебе, радуюсь о жизни, радуюсь о красках. Почему я так люблю цвет? Вероятно, музыканты так любят звук сам по себе. Два тона, вместе сопоставленных, глубоких, певучих меня волнуют до глубины души. Для меня в этом тоже что-то безысходное. Мне почти все равно, что нарисовано – только чтобы пошлость рисунка не слишком кричала. Но и то я готов простить, как скверное оперное либретто. Есть это у тебя? Такая любовь к краскам самим по себе? Может, в этом и есть наш разлад в живописи? Вот то, на что ты так негодовала в статье моей об Якунчиковой...[1]

Картины я люблю *раскрашивать*. Мне почти все равно, что там нарисовано. Может, это ненормальность, может, так тоже не бывает?

Как я люблю тебя, моя Царевна... Вот пришло твое письмо от 12. Твои письма приходят теперь аккуратно на другой день и рано, рано утром. Femme de ménage* (протеже Чуйко. Он велит ее называть фамочкой менажечкой) кладет мне их на одеяло.

Это мои утренние птички. Я окончательно просыпаюсь с твоим голосом. Я целую твои слова, я вижу твои руки...

Да – у меня будет всегда уютно, всегда чисто, всегда так, как будто ты в моей комнате... Клянусь, что моя комната всегда будет внешним образ<о>м моей души. И днем я буду всегда спать внимательно, с широко раскрытыми глазами.

* Хозяйка *(фр.)*.

А ночью уж как придется. Я еще не умею управлять моими снами.

Дитя мое, тебе надо принять меры для того, чтобы не портить самой свою живопись. И меры эти очень просты: ты очень небрежна в системе своей работы: ты всю работу, которая очень долга и сложна, производишь на одном и том же холсте, на одном и том же рисунке. Этот холст тебе служит и палитрой, и тряпкой для вытирания кистей, и альбомом для этюдов.

Ты пишешь всегда несколько картин одна на другой. С одной стороны, это делает то, что все твои картины быстро и сразу темнеют, а с другой стороны, ты этим уничтожаешь все свои предварительные этюды, все равно, как если бы ты все сжигала. Ты никак не можешь вернуться к старому, уже найденному, тебе надо его искать снова.

А выйти изо всех этих затруднений очень просто: вместо одного холста, на котором ты умещаешь и хоронишь всю историю своей работы, ты должна брать их десять, двадцать. То, что нужно искать в светотени – искать карандашом, то, что надо искать в красках, – тоже отдельно. И ничего не уничтожать. Чтобы пред тобой была вся история работы. Тогда ты сможешь выбрать необходимое тебе. Тогда гибели твоих картин не будут безвозвратны. Не сердись на меня за эти наставления. Но ведь ты же знаешь себя – прими же меры против этого. А ты и этюды хочешь непременно вполне заканчивать.

Вчера Мих<аил> Самойл<ович> долго сидел у меня. Вот и он теперь говорит мне, что он при мне успокаивается, что при мне ему сразу делается радостно и спокойно и что он мне может говорить такие вещи, о которых он никому не говорил.

Я ищу все, что же именно есть во мне, что производит такое чудодейственное, почти медицинское, действие, и не нахожу.

Или это по наследству от моих предков лейб-медиков перешло?[2] Чудно́ что-то...

[1] См. примеч. 8 к п. 25.

[2] Волошин имеет в виду своих предков по материнской линии. «Со стороны матери, – писал он в одной из автобиографий (1925), – есть немецкая кровь (врачи и инженеры, обрусевшие с XVIII века)» (Т. 7, кн. 2 наст. изд. С. 223; в коммент. В.П. Купченко и Р.П. Хрулевой). (*Там же.* С. 569 названы имена нескольких врачей – немецких предков Волошина).

194. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

30 сентября / 13 октября – 1/14 октября 1905 г. Париж

Пятница. 13 окт<ября>. Ночь.

Милая, милая моя девочка... ты мне ничего не пишешь подробно о своих планах и возможностях: сколько ты останешься в Берлине, сколько, ты думаешь, тебе надо будет пробыть в Москве? Когда можно будет тебе приехать в Париж? Или у тебя и предположений нет никаких?

Я чувствую, как в тебе опять подымается та волна, которой ты так испугалась, когда и во мне поднялась ответная... И во мне уже дрожат гребешки идущего прилива... Это маятник жизни... Надо чтобы его размахи были сильнее, реже и шире... Один размах – страсть; другой, всегда равносильный, – познание. Вместе они не могут быть. В одно мгновенье тоже не могут быть. Надо, чтобы они были отдельно, и в двойственности – цельность жизни.

Не могу я быть без тебя... Приди ко мне, останься здесь... Я подхожу к дивану и наклоняюсь к тому месту, где лежит твоя голова... Приди ко мне во сне. Войди в мои сны. Я так редко вижу сны... Я бы хотел увидеть тебя во сне в венке из васильков...

Я часто думаю: а как же мы увидимся, когда ты приедешь в Париж? Как, где мы будем видаться?.. Ты будешь жить с Ан<ной> Ник<олаевной>. У меня будет жить мама...

Я с ужасом думаю, что, когда ты приедешь, то будут кругом люди... Ты, верно, приедешь не одна. Мне нельзя будет

тебя встретить на вокзале... Потом так долго мы будем на людях, при людях, пока останемся вдвоем...

И потом неужели же будет опять этот тяжелый переход от одного мира в другой, когда мы встретимся. Верно, будет. Надо быть готовым...

Дитя мое, приди ко мне сегодня во сне... Правда? Когда я лягу и закрою глаза, ты придешь ко мне, наклонишься надо мной и тихо поцелуешь мои глаза... и я протяну к тебе руки, но не открою глаз... Я буду ждать тебя... Да? Милая... милая...

---

14 окт<ября>. 10 час. утр<а>.

Доброе утро, Царевна моя...

Сегодня твое письмо не пришло разбудить меня. Я не видал тебя во сне.

Сегодня для меня день суеты: надо идти днем в Осенний Салон, который открывается через несколько дней.[1] Потом я получил только что телеграмму от В. Немировича-Данченко,[2] который зовет меня обедать в Café de la Paix,[3] – словом, сегодня выступаю в роли журналиста.

Только что я печатал бездну фотографий, которые я снимал с Чуйко, с себя, с Туллио на днях. Я не смогу их тебе вложить в это письмо, – я пришлю тебе в Берлин.

Это последнее письмо в Цюрих. Я думаю, что ты успеешь получить его как раз в момент отъезда в воскресенье утром.

Я сейчас брошу это письмо, чтобы оно успело уйти сегодня.

До свиданья, моя девочка... До позднего вечера... Целый день не буду я с тобой.

Целый день...

[1] См. примеч. 3 к п. 189.

[2] Имеется в виду Вас. И. Немирович-Данченко.

[3] См. примеч. 14 к п. 10.

195. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

Первая половина октября <не позднее 2/15–3/16> 1905 г.[1]

Вот какие стихи напиши, торжествен<ые> и нежные, что мы в сумерках друг друга не узнали,[2] наши лица казались нам чужды, и Ты хотел идти, отойдя от меня, по другой дороге (это было на перепутье). Но ангел большой и строгий в темнолиловой сливовой одежде с белым лицом подошел к нам и руками живыми, как пламя, соединил наши руки. Мы были послушны, как дети; но в нашем сне не было радости. Потом он прикоснулся к нашим глазам, и мы узнали друг друга, как будто раздвинулись веки.

Вокруг нас совершались чудеса, расцветали цветы; и чаша счастья переполнилась. Но мы не прикоснулись к ней и не могли смотреть на расцветавшие роскошные луга. Потому что ангел с скорбным лицом шел впереди, и мы шли за ним послушные как дети, в ту сторону, где небо занялось крыльями, фиалками и золотом.

Там Ты должен изобразить на небе жертвенную кровь. И наше шествие как радостный похоронный марш. Ритм марша во всем. Клятва, жертв<енное> прощанье. Очень нежно и торжественно.

Прости, что я пишу такие вещи, так ужасно. Вчера я думала об этом, — а сегодня я думаю только о том, как бы полежать.

[1] Датируется приблизительно по связи с п. 208.

[2] Видимо, парафраз строки Бальмонта «Мы шли во тьме, друг друга не видали...» (см. примеч. 2 к п. 97).

196. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

2/15 октября 1905 г. Париж

15 окт<ября>. Воскресенье. Утро.

Вчера я был в Осеннем Салоне.[1] Я очень люблю Салоны до их открытия, когда можно бродить по залам с не развешанными еще картинами — их рассматривать, переворачивать...

Мне кажется, что я понимаю, в чем секрет нашего разлада в живописи... Ты любишь живопись как священный язык, которым можно говорить великие и тайные вещи. У меня это отношение есть только к слову. В живописи же я люблю страшно форму саму по себе. Самое ремесло, самую линию, самую краску, самый материал. Я давно не видал живописи и теперь с такой радостью смотрел картины. Может быть, ни одна из них мне не была бы нужна, но они меня ужасно радовали. К живописи у меня именно такая радость без страдания.

Выходя, я встретил Рэдона и Эмиля Бернара. Мы до глубоких сумерек ходили по Елисейским полям. Бернар, который когда-то сам был импрессионистом, говорил против импрессионизма, об отсутствии школы, но говорил это очень по-французски. Рэдон защищал импрессионистов. Это было так трогательно, и он так был целен и хорош в этом осеннем вечере со своей старой головой на фоне голых ветвей.

Ко мне пришли Мих<аил> Самойл<ович> и Кармин. И вот я не могу писать. Я не могу говорить с тобой, когда кто-нибудь есть в комнате.

Я не могу, чтобы видели мое лицо. До свидания.

Вечер.

Целый день ко мне приходят. Посылаю тебе снимки моей мастерской.

Чуйко не едет в Россию.

[1] См. примеч. 3 к п. 189.

197. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

2/15 октября 1905 г. Цюрих

15.

Ну вот, милый, я пишу Тебе в последний раз из этой комнаты. В ней хаос, и у меня надрывается сердце, бог весть почему. Это всегда, когда я уезжаю, почти физически болит сердце, и чувство своей преступности... А мне очень даже

хочется ехать... или не очень? Сейчас поразительный закат, облака лиловые и розовые, и Ütly весь пестрый от красных и желтых деревьев, и снег низко лежит. Я с тех пор не была не Ütly...

Прощай, Макс, мне очень грустно почему-то. Должно быть, много грехов на моей душе, что я не могу быть счастливой. Ты, мой радостный, не знаешь этого. Ты пишешь мне, что моя борьба с мечтой лишняя. Нет, Ты не знаешь меня; т.е. лишняя, может быть, в том отношении, что безнадежна, п<отому> ч<то> я не могу привыкнуть... Когда долго, долго я думаю, тогда моя душа смиряется, я успокаиваюсь, я могу быть радостной, но когда мне вспоминается сразу, то мое неподготовленное сердце не выносит, мне хочется умереть. Ты говоришь «не думай»; нет я должна совсем победить себя и думать, постоянно; сейчас это безуспешно, с каждым разом только ужаснее, но ведь усилие же должно победить, ведь разум же должен победить над глупостью, п<отому> ч<то> это глупость, глупость, глупость... но я не могу...

Боже мой, как в нас много чего-то бессознательного. Ну откуда это? И отчего это кажется ужасом, таким коренным в жизни..... Как это вырвать? Все вы говорите: ничего нельзя убивать, но как же жить с этим? Или это нужно убить, или это убьет... А я вижу одно средство победить это.... отказаться от такой любви... земной; от того, что можно делить или не делить..... Да, п<отому> ч<то> эта любовь, она должна быть нераздельна, тайна..... Только тогда она может быть, но этого уже нельзя, уже поздно...

Ах, Макс, если бы Ты был здесь, может быть, я не чувствовала бы этого ужаса. Возьми мою руку и дай я посмотрю в Твои милые, в Твои прозрачные глаза. Как я люблю Тебя.... Видно, ангелы нашли, что Ты мало страдал, и послали Тебе меня, чтобы душа твоя приняла такую мучительницу и мученицу (все мучительницы мученицы, но, к счастью, не все мученицы мучительницы).

Слушай, хотела я тебя просить... уже не в первый раз и сама же нарушала это.... Теперь, пока будем в другой области, Твою нежность, Твою ласку я уже буду чувствовать, но я не

могу, Ты понимаешь, эти письма.... Ну, я не знаю, о чем я хочу писать.

Пиши мне теперь «Вы». Слышишь, Макс! И так, как раньше. Ах, Боже мой, мне хочется поплакать у Тебя на груди. Я так люблю Тебя. Но я больше не буду так писать Тебе. Прощай... А пока, дай я обниму Тебя. Целуй меня, как тогда.

Я не отсылаю своих писем и дневника, и Нюша привезет их Тебе: она не будет знать. Я увижу ее в Берлине. Вот что, она будет одна жить в Париже. Носи ей цветов, теософских книг и пряников, если что есть интересное, говори ей и предлагай ее проводить. Но не очень усиливайся. Она защищается тогда. Ты раздражаешь ее манерами и тоном, будь поспокойнее, говори поменьше и заставляй ее говорить. Прислушайся к ней. Рассказывай, не преувеличивая и без Твоего юмора. Вот Тебе наставление. Говори ей о теософском понимании жизни и личной жизни, о том, что ничего не нужно убивать, и о том, что никакая работа над талантом не пропадет. Она всегда унывает и мучительно относится к своему пению. Интересуйся ее уроками, следи за концертами. Да почаще слушай музыку сам. Ты должен понять музыку, а Нюша Тебя.

Пора кончать.... Да, то, что Ты говоришь о красках. Да кому Ты это говоришь? О статье о Як<унчиковой> не поминай. Я очень рассержусь. Ты сам знаешь, что не об этом я говорила, я говорила о твоем дилетантском и небрежном отношении. Но я не буду, не буду.

Не знаю, сколько дней пробуду в Берлине. Сейчас получила открытку от А<нны> Р<удольфовны>. Она рвется в Москву.[1] Я тогда телеграфирую Тебе, когда решу. А в Москву пиши: Дурнов пер<еулок>, Пречистенка, д<ом> Шеппинг.[2] Кате без моего имени, она знает уже.[3]

Я получила от папы страшно расстроенное письмо, дочь его умершего брата,[4] о кот<орой> он заботится всегда, «пошла по наклонной плоскости», как он выражается. Она на 2 года моложе меня, очень хорошенькая, тупая, лживая и несчаст-

ная. Странный тип. У нее мать какая-то безумная; папа ее всегда жалел, устраивал, содержал, и теперь ему страшно тяжело. М<ожет> б<ыть>, он чувствует себя ответственным за нее перед покойным братом. Как мне жаль папу. Ты не знаешь, как он добр и как всё на него действует, а эта девочка, я не знаю, как она будет жить, ее специальность быть несчастной и всех обвинять. Она ничем не интересуется. Я не знаю, ну как она будет жить.

Я думаю о страдании. В том, что всякое совершенство куплено ценою палок (ведь Карма бьет), это не очень утешительно. Противно как-то.

Ну, прощай, мой милый. Что-то будет в Берлине, в Москве. Вышли мне *непременно* книги, о кот<орых> я раньше писала. Почему не читаешь «Christ<ianisme> Ésotér<ique>»?[5] Получил?

Прощай, мой милый, милый. Ты не знаешь, что Ты хороший? Ты такой хороший, радостный. Ну вот, в последний раз я так близко с Тобой и обнимаю Тебя за шею и целую Твои волосы и глаза, и губы.

Не пиши мне больше так.[6]

[1] См. примеч. 8 к п. 192.

[2] На Пречистенке в доме баронессы М.А. Шеппинг поселились в сентябре 1905 г. (после возвращения из Силламяг) К.Д. Бальмонт и Е.А. Бальмонт.

[3] См. примеч. 1 к п. 175.

[4] Имеется в виду Владимир Михайлович, младший брат Вас. М. Сабашникова, умерший в Тамбове в декабре 1900 г. Учился в Московском университете. См. о нем: *Андреева-Бальмонт Е.А.* Воспоминания. С. 186–187.

[5] См. примеч. 3 к п. 163.

[6] Т.е. так откровенно, так нежно и т.п.

198. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

3/16 октября 1905 г. Париж

16. Понедельник.

Моя милая, любимая, бедная девочка, здравствуй – письмо твое – последнее из Цюриха разбудило меня сегодня. Много часов я был отделен от тебя людьми, и вот ты сама пришла, наклонилась надо мной спящим и разбудила меня. Здравствуй, Аморя...

Все утро звенит во мне одним порывом к тебе. Я с тобой вместе мысленно прощаюсь с Цюрихом, с твоей комнатой, с Ютли... И грустно, и радостно... Этого больше не будет, никогда не будет... Но будет другое – такое же радостное, еще более радостное.... Будь благословенна жизнь, что бы она ни принесла! Я это восклицал часто 3–4 года назад, когда я стоял высоко на горе ранним утром и не сделал еще ни одного шага вниз по дорогам... Теперь (меня это смущало раньше) я как-то не всегда вижу целиком всю линию жизни... Но это потому, что путь начался... Я часто думаю о наших предрассветных мгновеньях на вершинах соборов, когда я пришел тебе сказать «прощай», и ты поцеловала мои волосы. Помнишь, на Страсбургском соборе...[1] Уста говорили «прощай», а сердце вдруг крикнуло «здравствуй».[2] Нет ничего, что бы не вошло органическим волокном в нашу жизнь... Когда снова мы придем к этому началу? Я сейчас вспомнил мои слова: «Отречение – это высшая степень желания... Судьба не может противиться отречению и покоряется, и лижет ноги господину». Они теперь кажутся мне не моими и ужасно значительными.[3]

Ан<на> Руд<ольфовна> тогда не поняла меня, она по-человечески поняла. Никогда я не любил тебя с таким безнадежным порывом, когда отрекался от тебя навсегда и мысленно отдавал тебя женой другому.

Теперь я никому никогда не уступлю, но эта любовь меньше той. Вернемся ли мы опять на вершины церквей?.. Это должно быть, это неизбежно... Наша любовь то припадает к земле горячая и трепещущая, то «безумием крыла»[4] улетает на вершины церквей духа...

Не писать тебе на «ты»? Но ведь это невозможно, совсем невозможно... Разве же это ты не видишь...

И это будет еще более невозможно, когда я буду писать тебе в Москву.

Ты не поняла моего стихотворения. Я совсем не хотел писать колыбельной песни, и я писал, говорил только тебе, как эти письма.

А ты читала и судила его, как стихотворение, которое может прочесть еще кто-то, кроме тебя, и старалась даже не от себя посмотреть на него. Поэтому оно тебя и шокировало упоминанием твоего имени. Но оно не колыбельная песня — оно часть письма. Поэтому в нем и повторяются наши слова...

Мих<аил> Самойл<ович> объявил протест и войну родственным чувствам и остается в Париже. Теперь он ищет себе мастерскую и, вероятно, на несколько дней поселится у меня. Он приходит ко мне каждый день, кладет мне голову на грудь, доверчиво и ласково, и я чувствую к нему прилив нежности, как будто это была твоя голова. Не люблю я только, когда он приходит со своим мрачным Туллио.

Вчера у меня было новоселье. Были Гольштейны, Марг<арита> Конст<антиновна>, мой кузен, Мих<аил> Сам<ойлович>, Витгоф... Завтра я веду Мар<гариту> Кон<стантиновну> на вернисаж Салона.[5] Теперь я чувствую ее какой-то ужасно старой знакомой.

Я мало занимался эти дни. Я не успел еще регулировать свою жизнь. Я как-то отвык от того, чтобы ко мне приходили люди в гости. А теперь много людей приходит ко мне. Это все надо ввести в рамки. Ах, как меня это раздражало, если приходил кто-нибудь в то время, как я писал тебе... Я не мог еще мыслью оторваться от тебя... Точно когда входили в твою комнату...

Когда ты войдешь в мою комнату? Когда мы будет снова одни?

Я жду приезда Ан<ны> Ник<олаевны> с нетерпением. Я приму все твои советы и наставления. Как-то не верится мне, чтобы меня могли так не любить. Это, верно, очень наивно – но я совершенно не привык к этому. А все те, к кому я чувствовал симпатию, всегда любили меня. Ты первая внесла какой-то разлад в мою душу и заставила меня почувствовать, что меня могут ненавидеть, и за что. Я вдруг себя увидел со стороны и таким противным.

На письмах тебе, адресован<ных> на имя Ек<атерины> Алек<сеевны>,[6] я буду ставить знак

До свиданья, моя девочка... Страшно мне за тебя в России... Не за то, что у тебя дома будет. А за пугачевщину... Все мне кажется, что тебя мужик убить может. Ты меня своими снами напугала. И только за тебя я этого боюсь. Ни за кого другого.

Будь сильна, моя девочка...

[1] Имеется в виду колокольня Страсбургского собора, который Волошин и Сабашникова посетили 21 июля / 3 августа 1905 г. (см. примеч. 4 к п. 100).

[2] Судя по записи в дневнике Сабашниковой, Волошин говорил ей в Страсбурге о своей готовности отречься от чувственной любви. «“Когда я ехал сюда, – признавался ей Волошин на колокольне Страсбургского собора, – я хотел сказать Вам, будьте моей невестой и женой перед Богом и людьми, но теперь я вижу, что этого я не могу сказать... И я избираю путь полного отречения, но любить я буду всегда только Вас, Вам нужно пройти через земное, но я буду всегда готов, когда Вы позовете меня, я приду, во мне есть силы... <...> И вот я избираю этот путь; благословляете ли Вы меня?” – он встал на колени и поцеловал мою руку, я поцеловала его голову, он

встал, обнял меня и поцеловал в губы. — “Что же это? За что мне это?” — повторял он» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 89 об. — 90; запись от 5/18 августа 1905 г. — сразу же после прощания с уехавшим в Париж Волошиным).

[3] Мысль о необходимости подавления «земных желаний», отречения, отказа, освобождения от «покровов материи» и т.п. — центральная в книгах «Свет на Пути» и «Голос молчания». Ср. дневниковую запись Волошина от 28 июля / 10 августа 1905 г.: «Отречение это высшая степень желания. Тогда все исполняется, все дается. Добровольное и радостное отречение» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 240). См. также примеч. 5 и 6 к п. 163.

[4] Из стихотворения С. Малларме «Лебедь» в переводе Волошина (см. п. 32).

[5] Имеется в виду Осенний Салон 1905 г.

[6] См. примеч. 1 к п. 175.

199. ВОЛОШИН — САБАШНИКОВОЙ

3/16 октября 1905 г. Париж

Понедельник. 16 окт<ября>. Вечер.

Моя милая, милая девочка... у меня странный прилив любви и нежности к тебе, точно я физически чувствую, как ты все отдаляешься, отдаляешься от Парижа... Ты думаешь обо мне сейчас?.. Сейчас одиннадцатый час ночи. Я почему-то вижу тебя в вагоне со сложенными на коленях руками, с приподнятой головой и с широко раскрытыми бессонными глазами.. Не знаю почему.. потому что ведь соображая, я думаю, что ты уже в Берлине... Но у меня сейчас то же чувство, как когда мы прощались в Базеле в вагоне...[1] Точно я невидимо сижу против тебя и крепко держу твои руки. Не знаю, почему это чувство сегодня все время растет во мне, в моей душе звучит шум вагона и тоскливость дороги...

Я глажу твои волосы и целую твой лоб... Чуть-чуть, едва прикасаясь... Чувствуешь?.. Глаза твои смотрят куда-то очень далеко... Я так чувствую твои тонкие, тонкие холодные пальчики... Нет... я убежден, что ты сейчас едешь в вагоне...

Сейчас я прошелся по комнате... лег на диван лицом в подушку, и у меня вдруг навернулись слезы. Что же с тобой? Почему тебе так грустно сейчас?

Я люблю тебя... Приди и возьми мою душу... Сделай ее певучей и тонкой, как струна... Научи меня страдать. А я за то научу тебя быть радостной и спокойной...

Вчера у меня подымался прилив нежности к Мар<гарите> Конст<антиновне> только потому, что она была в Цюрихе. Она мне казалась ужасно мила...

Сегодня днем приходил ко мне утешаться Мих<аил> Самойл<ович>. Объявив протест и наняв новую мастерскую, он замутился и затуманился... Завтра он переедет ко мне на несколько дней.

Я его держал за руки, гладил его голову с такой нежностью, точно я тебя чувствовал около себя...

Он лепетал о том, что он теперь понимает, почему ты ко мне так относишься... «Почему это Вам всегда хочется все сказать? Вам Марг<арита> Васильев<на> тоже исповедуется?»... А у меня в эту минуту сердце так разрывалось от любви к тебе, и мне хотелось все ему рассказать, но я не ответил ничего и только, наклонившись, поцеловал его волосы так тихо, что он не заметил этого... И вся душа моя трепетала от радости и от благодарности...

Мне священно все, что ты любишь... И теперь, когда Мих<аил> Сам<ойлович> приходит ко мне утешаться, я рад, что у меня есть кого держать за голову, кого можно сделать радостным во имя твое...

У меня есть какая-то странная вера в то, что когда приедет Ан<на> Ник<олаевна>, она изменится ко мне. Я чувствую твою любовь вокруг себя, и она делает меня таким уверенным...

Я говорил Чуйко о твоих наставлениях мне относит<ельно> Ан<ны> Ник<олаевны> (мы говорили с ним уже раньше об ее антипатии ко мне). Он их одобрил и сказал, что он примет меры...

Я высылаю тебе книгу Кирка. Я ее чуть-чуть успел просмотреть... Она страшно интересна.[2]

Книгу Рагона я не достал.[3]

Я не писал Ан<не> Руд<ольфовне>. Расскажи ей, в каком состоянии я находился.

«Christian<isme> Ésot<érique>»[4] я только что начал читать... У меня так много книг, что я никак не могу сосредоточиться всецело на одной.

Неужели же ты в этот вечер не сидишь в вагоне?

[1] Волошин имеет в виду свой отъезд из Цюриха в Париж 5/18 августа 1905 г. (Сабашникова провожала его до Базеля). См. примеч. 1 и 2 к п. 102, а также упоминание о Базеле в п. 200.

[2] См. примеч. 5 к п. 177 и п. 206.

[3] См. примеч. 3 к п. 177.

[4] См. примеч. 3 к п. 163.

200. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

4/17– 5/18 октября 1905 г. Берлин

Берлин. 1905. Вторник.

Милый, милый, как давно я не писала Тебе! Не было возможности. Три бессонных ночи, дни в поезде, в Гейдельберге и сегодня с утра лекция Штейнера...[1] У меня сейчас туман в голове, и только одно я знаю, что Ты со мной, что я люблю тебя. Отчего же Тебя нет здесь? Макс мой, как это неестественно! Но я расскажу эти дни. Я Тебе писала в субботу вечером. Я помню это письмо.[2] В нем опять было малодушие. Видишь, уж очень в мечте всегда я себе представляла священную тайну между двух, и непременно во всех областях. Теперь я знаю, что не в этом дело, что это иллюзия. И, может, хорошо, что мечта эта разрушена сначала, п<отому> ч<то> она иллюзия, теперь я научусь искать в другой области главное и священное, а это считать как случайное, временное и совершенно отказаться

от власти в этой области, физической. Ты понимаешь меня? И теперь ничто не может испугать меня. Об этом я думала ночью в Цюрихе. Жалюзи не были опущены, и окна были светлы. В 6 ч. мы уже вышли из дому. Небо было еще предрассветным, я посмотрела на Ütli в последний раз, на покрасневшие листья винограда на доме. Было холодно. Какое-то тихое, молитвенное настроение. По дороге до Базеля я вспоминала, как, проводя тебя, я возвращалась в Цюрих.[3]

Теперь было радостное утро; все горы покрыты разноцветным лесом. Осень, осень! Ничего я не люблю так, как осень. В Гейдельберге в 2 ч. дня. Темно и холодно. Опять запущенная вилла Waldfrieden, населенная странными русскими.[4] Все чудаки, все ничего не делают, бродят по большим грязным комнатам и разговаривают. Я лежала с головной болью на кушетке. Оля[5] шепотом говорила мне о том, что так жить невозможно. Знаешь, она еле жива, у нее страшная болезнь сердца, пока она летала по Европе, переживала романы и драмы, была в деле, она жила, хотя и была постоянно между жизнью и смертью. Теперь же муж хочет вылечить ее. С утра до вечера он кипятит молоко, делает мясной сок, щупает ей пульс, умоляет ее есть. Он ничем не может заниматься, и их жизнь ужасна. Он сторожит ее жизнь, у него страдающие глаза, а она так скоро умрет.[6] Я лежала, они все сидели вокруг меня. Вдруг один из ее знакомых быстро встал с своего места и перешел с одной стороны на другую. – «Что с Вами?» – «Над Вами я видел высокую белую тень, я думал это от света, но и с этой стороны то же, а сейчас ее нет». Странный этот юноша с голой головой без бровей, похож на Пьеро, у него не растут волосы, он никогда ничего не делает. Всегда врет...

Среда.

Рано утром мы уже ехали в Берлин. Меня всю дорогу «рвало и метало» от тряски и усталости, я думала, что я умру не доехав. Поздно вечером мы приехали на вокзал. Анна Руд<ольфовна> с хозяйкой ждали нас. Она имеет отличный вид, сердцебиений нет. Всю ночь мы проговорили с ней (я с ней в одной комнате), но я Тебе сегодня буду писать подробно о всем, сейчас я спешу к Сер<гею> Вас<ильевичу>.

Утром мы пошли на лекцию Штейнера;[7] оказывается, он просил сейчас же привести нас и спрашивал уже несколько раз. Мы ждали в маленькой комнате с его слушательницами. Но что это за ужас. Старые бабы, претенциозные и глупые, кроме одной Шоле <*sic!*> из Кельна, высокой, толстой и поразительно милой.[8] Fr<äulein> Sivers с озлобленным лицом, очень измученным...

Когда вошел Ш<тейнер>, он пожал мне руку, улыбнулся: «Schön, dass Sie gekommen...»*

Если бы Ты видел его улыбку. Потом была лекция. Об астральном плане, об создании мыслей. Как мысли отражаются в нем, как бывают создания и убийства. Но я вечером напишу Тебе об этой лекции.[9]

Дамы прерывали его нелепыми вопросами. О, дамы, о, дамы, о, дамы.

Нет, нет, Макс, я Тебе потом расскажу о его жестах. Он египтянин, иногда мне казалось, он умолкнет и станет только делать ритмические жесты.

Весь день я лежала, а Алеша читал мне его лекции. Хочешь, я спишу Тебе их? По-немецки Ты же можешь.

Вечером вчера, когда я писала Тебе, пришла Шолль и рассказывала о своих занятиях математикой с Ш<тейнером>.[10] Они проходят элементарную алгебру и геометрию, и четвертое измерение.[11] Она объясняла нам четвер<тое> изм<ерение> наглядно, бумажкой, я Тебе тоже об этом напишу. Ах, если бы Ты был его учеником!

Милый мой, до свиданья, до вечера. Ты не можешь себе представить, как хочется, чтобы Ты был здесь. Как много здесь для Тебя. Каждую минуту я с Тобой.

До свиданья, милый мой Макс.

Алеша очень счастлив. А<нна> Р<удольфовна> его любит. Он получил письмо, где его лишают содержания, если он не выберет между сельским хоз<яйством>, электротехник<ой> и архитектурой.[12]

А<нна> Р<удольфовна> не едет в Москву. Я еду одна. В пятницу приезжает Нюша. Неделю, наверно, я здесь пробуду.

Прощай, мой милый. Обнимаю Твою шею, целую Твои волосы, Твои глаза.

---

* «Хорошо, что Вы приехали...» *(нем.)*.

[1] Утром 4/17 октября Штейнер читал 19-й доклад цикла, ныне опубликованного по сохранившимся записям М. фон Сиверс, М. Шолль и др., под общим названием «Основы эзотеризма» (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 144–151). Цикл, состоявший из 31 доклада, был начат 13/26 сентября и завершен 23 октября / 5 ноября 1905 г. См. также примеч. 9 к наст. письму.

[2] Имеется в виду п. 197 (начатое, возможно, вечером 1/14 октября).

[3] Ср. п. 199, примеч. 1.

[4] См. примеч. 15 к п. 85.

[5] О.Э. Сиверс.

[6] См. подробнее примеч. 2 к п. 100.

[7] См. примеч. 1 к наст. письму.

[8] Выразительный портрет Матильды Шолль оставил близко ее знавший в 1910-е гг. Андрей Белый: «Огромного роста, более чем дородная, обладающая гигантским основанием, так сказать, фундаментом корпуса, розовая, белокурая, с маленькими прищуренными, несколько иронически глядящими глазами, закрытыми золотыми пенснэ, но весьма любезно и добродушно улыбающаяся, она сидела, а если стояла, то склонялась вперед, неизменно нагибаясь, ибо все были ростом ниже ее; ее гладкая прическа с пробором, простой узел волос на затылке, откровенно лиловая или откровенно синяя шелковая кофточка так и видятся мне всюду, где били ответственно часы жизни А<нтропософского> О<бщества>; но ничто ее не смущало: всегда ровная, любезная, цветущая, рассеянная; и, вероятно, всегда: не без созерцания каких-нибудь головокружительных вращений, например, икосаэдра вокруг трех осей. <...> Ее все уважали, склонялись перед ее умом, опытом; и утверждали: Шолль – внутреннейшая ученица. <...> Более всего она напоминала мне ученых женщин. Глядя на нее со стороны, можно было сказать: вероятно, в ней таится не нашедшая [себя не нашедшая] Софья Ковалевская; отдай она математике всю свою жизнь, она вписала бы в историю математики свое имя» (*Андрей Белый*. Воспоминания о Штейнере. Подгот. текста, предисл. и примеч. Фредерика Козлика. Paris: La Presse Libre, 1982. С. 204–205).

[9] Сабашникова сообщает Волошину основные темы 19-й лекции (см. выше примеч. 1). В своих дальнейших письмах она не возвращается к этой лекции

[10] В воспоминаниях о Штейнере, написанных уже после его смерти, М. Шолль сообщает, что осенью 1905 г. в Берлине Штейнер действительно занимался с ней математикой, изыскивая для этого время в перерывах между своими многочисленными докладами и лекциями (единственный случай такого рода в биографии

Штейнера). «Я настолько увлеклась алгеброй, что, вернувшись в Кёльн, еще какое-то время брала частные уроки по алгебре ...» (см.: *Meffert E.* Mathilde Scholl und die Geburt der Anthroposophischen Gesellschaft 1912/1913. Dornach: Philosophisch-anthroposophischer Verlag am Goetheanum, 1991. S. 402). Андрей Белый в воспоминаниях также упоминает о том, что Штейнер «имел время лично преподавать высшую математику своей интимной ученице МАТИЛЬДЕ Шолль» (*Андрей Белый.* Воспоминания о Штейнере. С. 94).

[11] О лекциях Штейнера, посвященных «четвертому измерению», см. примеч. 13 к п. 7. Сохранились также заметки М. Шолль на эту тему, относящиеся к 1908 г. (см.: *Meffert E.* Mathilde Scholl und die Geburt der Anthroposophischen Gesellschaft 1912/1913. S. 534–555). См. также п. 221.

[12] А.В. Сабашников сделал выбор в пользу сельского хозяйства (см. примеч. 2 к п. 178).

201. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

5/18 октября 1905 г. Париж

Среда. 18 октяб<ря>.

Моя милая, моя хорошая девочка, вот ни вчера, ни сегодня утром от тебя нет писем. Ты эти дни ехала... Еще много будет таких дней. Если у тебя будет возможность и время, то пиши мне все-таки каждый день открытки, чтобы я знал, где ты и что с тобой. Особенно, когда ты будешь в России, и письма будут идти долго с перерывами и задержками.

Теперь Мих<аил> Самойл<ович> ночует у меня вместе с Туллио. Туллио поссорился с отцом и поступил на попечение Мих<аила> Сам<ойловича>, а теперь они оба поступили на мое попечение. Мих<аил> С<амойлович> нанял себе мастерскую на Rue Tombe Issoire (там, где когда-то жил Киселев). Сегодня они переселяются. М<ихаил> С<амойлович> глубоко меня радует своим присутствием и своей нежностью ко мне. И хотя мне кажется она преувеличенной и незаслуженной, но я так рад, что это так случилось.

Вчера утром был у меня Бенуа (он уже переселился в Версаль)[1] и очень восхищался Мих<аил> С<амойлови>чевым рисунком Твоей комнаты.

Потом был вернисаж Салона. Я взял туда Мар<гариту> Конс<тантиновну>, ее брата (дипломата)[2] и любительницу славянской души.[3]

М<аргарита> К<онстантиновна> трепетала от присутствия великих людей. Млела при виде Родэна, который ходил вокруг большой гипсовой нимфы и все гладил ее ладонью, и посмеивался сам себе в бороду...[4]

Заглядывала в лицо О. Рэдону.[5]

Потом познакомил я ее с Гилями[6] и с Садья-Леви. Она тут уж стала совсем маленькой девочкой, так что весело смотреть было. А когда ей Гиль рассказал про ее любимого Вилье де Лиль- Адана, она совсем изошла восторгом.

Ко мне она также, кажется, почувствовала почтение, когда услыхала, как какая-то незнакомая дама, показывая на меня, сказала: «C'est M-r Max, critique très influent»*...

На следующей неделе они все у меня будут,[7] и я позову ее.

В Салоне есть много радостного и красивого. Но больше всего я люблю Вюийара, который удивителен в этом году. Это большие панно коричневато-холодного каменистого тона, кое-где отливающего зеленым. В них что<-то> монументальное, ассирийское, ковровое.[8]

Ан<на> Руд<ольфовна> пишет мне удивительные слова Шт<ейнера> о поле, о том, что разделение полов в человеке произошло пока только на одном плане, а в иных планах оно еще не совершилось. Что, будучи мужчиной на физическом плане, человек может иметь – и почти всегда имеет – противуположный пол на плане мысленном.[9] Расспроси ее подробнее об этом, как можно подробнее, и напиши мне об этом. Она все понимает и пишет по-своему.[10] А ее понимание бывает так часто далеко от нашего. Как можно больше расспроси ее

* «Это господин Макс, очень влиятельный критик» *(фр.)*

и пиши мне как можно больше об Шт<ейнере>, как ты найдешь его. Запиши все слова, все маленькие подробности.

Ан<на> Руд<ольфовна> пишет мне, что ждет тебя в понедельник вечером.[11] Значит, может быть, ты действительно была в вагоне в то время, как я чувствовал твой взгляд так ярко в тот вечер...

Прощай, моя девочка, моя радостная, милая, любимая... Почему-то мне кажется, что Ан<на> Ник<олаевна> примирится с моим существованием... Когда приедет она?

До свиданья... Пиши мне с дороги каждый день открытки.

[1] А.Н. Бенуа, находившийся во Франции с 1905 г., переехал в Версаль (из Парижа) 30 сентября / 13 октября 1905 г. (см.: *Бенуа А.Н.* Дневник 1905 года / Публ., подгот. текста, вступит. статья и коммент. И.И. Выдрина, И.П. Лапиной, Г.А. Марушиной // Наше наследие. 2001. № 58. С. 111). 4/17 октября, побывав на открытии «Осеннего салона», Бенуа навестил Волошина: «Заходил со Степаном к Максу за Пушкиным» (*Там же.* С. 112; Степан – С.П. Яремич).

[2] См. примеч. 12 к п. 131.

[3] О ком идет речь, неясно.

[4] Роден был представлен в Осеннем Салоне 1905 г. групповой композицией.

[5] Одилон Редон демонстрировал в Осеннем Салоне 1905 г. десять пастелей.

[6] Имеется в виду Рене Гиль и его жена Алиса Гиль.

[7] О других встречах Волошина с Роденом, Редоном, Р. и А. Гилями и Садиа-Леви в конце 1905 г. сведений не имеется.

[8] Вюйар был представлен в Осеннем Салоне шестью декоративными панно и работой под названием «Мотивы декорации для стола». Отзыв Волошина о Вюйаре совпадает с мнением Бенуа: «До чего надоели глупцы-импрессионисты! Лучше прочего Vuillar <*sic!*>» (*Бенуа А.Н.* Дневник 1905 года // Наше наследие. 2001. № 58. С. 111).

[9] В 8-й лекции цикла (20 сентября / 3 октября 1905 г.) Штейнер говорил о том, что «человек лишь в своем физическом теле является мужчиной или женщиной. Если физическое тело является мужским, то эфирное – женским, и наоборот <...> И только астральное тело является одновременно и мужским, и женским <...> Наступит время, когда женщина на самом деле приблизится к мужской культуре <...>

Половое различие окажется в будущем полностью преодоленным» (Grundelemente der Esoterik. S. 65).

[10] Пересказывая 8-ю лекцию Штейнера, Минцлова писала Волошину 2/15 октября 1905 г.: «...Я хочу Вам послать еще слова Шт<ейнера>. О поле, о жизни пола он говорит так, как никто, вероятно. <...> Шт<ейнер> говорит удивительно о том, что в каждом человеке до сих пор есть мужчина и женщина одновременно, что разделение полов произошло только для физического и астрального тела, а “Ätherkörper” <эфирное тело. – *нем.*> всегда противоположного пола с физическим телом. И оттого, говорит он, есть мужчины, очень мужественные физическим телом, но у которых очень сильно также и Ätherkörper женское. Это многообразно отражается в жизни их и часто много тревожного вносит в их и в чужую жизнь» (У истоков русского штейнерианства. С. 173–174). В основе этих рассуждений лежит теософское представление о трехчленной сущности человека, которое Штейнер развивал в своих лекциях и печатных трудах. «...Физическое тело, – писал он, – есть то, в чем человек тождествен минеральному бытию <...> Эфирное тело есть второй член человеческого существа <...> ему присуща более высокая степень действительности, чем физическому телу <...> Бодрствующее эфирное тело просветлено телом астральным <...> В том же смысле, в каком человек имеет свое физическое тело общим с минералами, а свое эфирное тело – общим с растениями, так и относительно своего астрального тела он однороден с животными» (*Штайнер Р.* Очерк тайноведения. Ереван: Ной, 1992. С. 37, 40 и 41). См. также примеч. 4 к п. 186.

[11] Маргарита Сабашникова приехала (вместе с братом) в Берлин 3/16 октября (в понедельник вечером).

202. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

5/18 октября 1905 г. Берлин

18 окт<ября> 1905.

Да, я в этот вечер сидела в вагоне.[1] Мы приехали в Берлин <в> 11¾ ч. Милый. Милый Макс, милый брат, милый.

Дай я положу голову к Тебе на плечо. Она разрывается от мыслей, впечатлений и чувств, положи Твою руку на мой лоб; вот так; у меня очень болит голова. Но когда Ты со мной, все проходит, Макс мой. Как странно тихо у меня на душе, когда Ты рядом.

Слушай, что было сегодня.

Мы вошли к Сергею Вас<ильевичу>. В постели лежал иссохший старичок с голубыми глазами, бритый, с перевязаны<ми> черным ушами. Редкая бородка. Я его не узнала. Он хотел вынуть из-под одеяла руку и не мог. Сестра милосердия стала помогать ему сесть. На его лице изобразилось страдание страшное. Челюсть задрожала, губы запрыгали. Он ничего не мог сказать. Она взяла его руку и положила рядом с ним на подушечку; это была высохшая мертвая ручка. У него не двигаются ни руки, ни ноги. У него все держится температура, легкие, почки и спинной хребет поражены. Глаза его прежние, но в них насмешка; голос энергичный, и он все шутит. Я принесла ему цветов. «Покойничку?» – спросил он с улыбкой. Он плохо слышит, ему нужно кричать. Все шутит. Терпения поразительного. Ему принесли бульон, и он чуть не заплакал: «Какой это бульон, все обман». Я не знала, что говорить. У него страшные боли в спине и плечах, иногда он на полслове умолкает, и видно, как дрожит его челюсть и как он справляется с болью. У него есть воля.

У него нет ничего, кроме активной жизни, он только нашел свое место, как это постигло его, и теперь он лишен всего. Я буду ходить к нему каждый день. Ты не можешь себе представить, что это за ужас. Он не поправится.

Мы потом были на лекции Ш<тейнера>.[2] Он говорил о сне, о печати жизни в астральном мире, о том, что человек при смерти вспоминает прошедшее, при рождении предвидит будущее. Я не могу писать Тебе всего сейчас, у меня слишком болит голова. Как он прекрасен.

– Вам понятно? – спросил он меня. – Да. – Вы все скоро поймете, я знаю, п<отому> ч<то> Вы с Востока.

После лекции я рассказывала А<нне> Р<удольфовне> про Дэзи Шевелеву (она была теперь в Москве и проехала в С<анк>т-П<етербург>). О том, какое странное отношение у меня к ней.[3]

Потом заговорила о Конч<аловском>[4] и Давиде.[5] – Она ужасно взволновалась: «А у него не египетское лицо?» – «Египетское». Она видела рядом со мной египетское лицо, когда

смотрела в мое прошлое, «я не помню, где это было и что было потом».[6]

Прощай, милый, я не могу Тебе писать сегодня. Я сейчас лягу.

Ах да, Ты знаешь, у А<нны> Р<удольфовны> есть лорнет ее прадеда, кот<орый> был в Консьержери[7] во время революции, Ты помнишь. Теперь А<нна> Р<удольфовна> установила факт, что она видит прошлое революции, только когда он с ней и только на месте действия.[8]

Шт<ейнер> объяснял ей это. Поэтому она не может Тебе ничего сказать о революции теперь. До Парижа, значит. Я очень мало сплю, мы много с ней говорим.

Портрет мой[9] страшно понравился А<нне> Р<удольфовне>. Она хочет, чтобы <я> показала его Ш<тейнеру>.

Милый мой, до свиданья.

Не тоскуй без меня. Я Твоя, с Тобой.

Когда мы встретимся, все будет хорошо.

Прощай, мой Макс, моя радость.

Прочти Чуйко о Сереже и расскажи о лорнете.

Как хороша Твоя мастерская и Твои портреты![10]

[1] Ответ на заключительные слова в п. 199.

[2] 5/18 октября 1905 г. Штейнер читал 20-ю лекцию «эзотерического курса», в которой шла речь о «существах астрального мира», черной и белой магии и др. (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 151–159).

[3] М.М. Шевелева – прототип героини в повести Сабашниковой «Дэзи» (Тропинка. 1907. № 22. 15 нояб. С. 860–867; № 23. 1 дек. С. 900–913; № 24. 15 дек. С. 962–981). Имя «Дэзи» (или «Дейзи») – от *англ.* daizy (маргаритка).

[4] Имеется в виду П.П. Кончаловский. В середине 1890-х гг. Маргарита была дружна с ним и его братьями (см.: Зеленая Змея. С. 74–76).

[5] С Д.И. Иловайским (в то время – студентом естественного отделения физико-математического факультета Московского университета) Сабашникову познакомили братья Кончаловские в

декабре 1897 г. «Небольшого роста, приземистый, широкое египетское лицо с маленькой бородкой, с каким-то замкнутым и вместе с тем насмешливым выражением, – описывает его Сабашникова в своих воспоминаниях. – Он был другом Пети <Кончаловского>, и уже по этой одной причине окружен в моих глазах ореолом. <...> Непостижимо – почему среди сотен лиц, с которыми встречаешься с большим или меньшим интересом, одно как оттиском печати запечатлевается в душе, преображая ее, так что мир становится живым и величайшим чудом. Таково именно впечатление было, произведенное тогда на меня Петиным другом. Это лицо годами господствовало в моих мыслях и грезах, со стихийной силой выплывая как будто из какого-то забытого мира» (Зеленая Змея. С. 82). Эти поздние воспоминания вполне подтверждаются записями в дневнике Сабашниковой. «Что в этом нахальном лице, что я так сильно, так долго и так таинственно люблю?» – спрашивала она себя, например, 25 ноября / 8 декабря 1900 г. после случайной встречи с Д.И. Иловайским (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 18, л. 126 об.).

[6] В письме к Волошину от 11/24 октября 1905 г. Минцлова связывает этот разговор с посещением Египетского музея, состоявшимся на другой день (см. п. 204). «В четверг (день, как Вы знаете, очень неспокойный для меня) мы были втроем в Египетском музее. Она <М.В. Сабашникова> показала мне одну из статуй и сказала, что это – – совсем лицо одного из ее знакомых, которого она давно не видела. <...> Потом мы вернулись домой. Марг<арита> Вас<ильевна> стала рассказывать мне о своей кузине Дэзи и об этой семье, незнакомой мне, где этот египетский господин. Я сказала ей, что это отношение означает какую-нибудь связь в прошлой или будущей жизни – связь любви, вражды, быть может, опасности. Мне было очень тяжело говорить, и я говорила лишь потому, что она спросила и я не хотела, не могла молчать. Ради Бога, только не говорите ей ничего. Больше мы не говорили об этом ни разу». (У истоков русского штейнерианства. С. 181.)

[7] Консьержери (на острове Сите) – королевский замок (до конца XIV в.), позднее – тюрьма. Среди узников Консьержери было немало именитых лиц; особенно громкую известность тюрьма приобрела в годы Французской революции. В настоящее время – часть архитектурного ансамбля «Дворец Правосудия».

[8] «Марг<арита> Вас<ильевна> написала Вам уже о моем лорнете? Да? – спрашивала Минцлова Волошина в письме от 7/20 октября 1905 г. – *Если* я приеду в Париж, *если* выдержит моя физическая оболочка (Шт<ейнер> немного боится за меня), – я Вам тогда скажу и покажу необычайные вещи. Вы увидите один

из моментов вечности. Люди, которых нет уже, встанут перед Вами, Вы увидите и услышите время Великой Революции, когда я с этой вещью, сохранившей в себе память прошлого, коснусь земли Парижа... Сейчас, вдали от Парижа, я не чувствую того странного подъема и экстаза, который был там, когда руки мои держали эту вещь, пережившую Conciergerie и Террор... Я *знаю* теперь, в чем дело, знаю, как надо пользоваться этим. Какое счастье будет отдать Вам это!» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843).

[9] Т.е. автопортрет, выполненный Сабашниковой в Цюрихе (см. примеч. 9 к п. 134, п. 177 и 187).

[10] Речь идет о фотографиях, отправленных Волошиным Сабашниковой 2/15 октября 1905 г. (см. п. 196).

203. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

6/19 октября 1905 г. Париж

19 October. Четверг.

Моя милая, моя хорошая девочка, вот уже три дня нет от тебя писем. Я не знаю, где ты, доехала ли ты до Берлина, что ты теперь делаешь, кого видишь? После стольких месяцев полного уединения вот ты опять среди людей.

Я эти дни все время мысленно с тобой, но я не вижу тебя, не знаю, что ты думаешь после того вечера в понедельник, когда мне казалось, что ты едешь в вагоне.[1]

Я не могу читать... Моя мысль все куда-то уходит из сознательного внутри. Глаза закрываются. Какая-то странная спячка и в то же время возбуждение. Точно кто-то отзывает мой дух. Но уходит он не в область мысли, а в область чувства. Как я люблю тебя... Как мне хочется тебя видеть, тебя держать за руку, чувствовать твое сердце. Иногда мне кажется, что ты незримо приходишь ко мне, сидишь рядом со мной в сумерках. Приди же... Войди в мою комнату, войди в меня, в мою душу, возьми ее совсем...

Мне хочется знать, что ты теперь слышишь, что ты теперь переживаешь...

Пиши мне все слова, все мысли...

Когда я не думаю о тебе, я ни о чем не могу думать. Наступает какой-то упадок...

Я не могу писать. Это пройдет. Это, верно, от дождя... Целый день – дождь.

Пиши мне... Я жду твоих писем.

Приди ко мне, будь со мной. В сумерках... Будь всегда в сумерках со мной. Я буду ждать тебя в сумерках. Ты будешь выходить из зеркала... Я окружил его цветами и травами. В сумерках оно точно глубокая вода... Когда все потухло, в нем еще белое пламя... Я уже видел, как твоя рука раздвигает цветы...[2] Ты придешь сегодня? У меня в сумерках какое-то надрывающее ожидание... Раз уже я слышал твои шаги за стеной...

Аморя... Моя Аморя...

[1] См. заключительную фразу в п. 199.

[2] Ср. мотив «зеркала» в п. 8, 25, 32 (место, отмеченное примеч. 2) и 58.

204. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

6/19 октября 1905 г. Берлин

19. Четверг.

Как хорошо, что Ты мне пишешь каждый день, мой милый... Мне хочется рассказать Тебе все, все, а я так занята, так устаю, что не могу этого сделать. Сегодня утром мы были в Египетском музее с Анной Р<удольфовной> и Алешей.[1] Какое это счастье. Днем на лекции.[2] Он говорил о том, что человек создает свое эфирное тело искусством, говорил, что для европейца математика – единственное чистое мышление... Я не могу сейчас писать. После лекции он сказал, что в субботу будет лекция о атоме и логосе, на кот<орой>, к сожалению, не члены не могут быть.[3] Он подошел ко мне и Алеше, держал нас за руки и говорил: «Вы понимаете, и мне жаль, что Вам нельзя быть...» Какие у него глаза, мне тогда всегда хочется утонуть в них, расплавиться, превратиться в один порыв любви к нему... Его улыбка... Ах, Макс... Еще он сказал, что он будет говорить о франкмасонстве, но для этого позовет женщин отдельно,

а мужчин отдельно. «Это против моего убеждения, но это древний обычай».

Это будет во вторник.[4]

Днем после этого мы были все у Сережи.

Сегодня он не произвел на меня такого впечатления. Он встретил А<нну> Р<удольфовну> словами: «Ваше второе предсказание сбывается, но очень медленно».

– Да, – сказала она, – но оно сбудется в январе. Вы будете здоровы в январе.

– В январе? – Да.

Он поверил. Меня поражает его энергичный голос и разговор, он интересуется событиями и говорит, как здоровый.

Вечером лекция (публичная) Штейнера,[5] где-то далеко – чудная, о том, как человек поймет все, как каждая вещь скажет ему свое имя... На подземной ж<елезной> д<ороге> мы ехали вместе и стояли рядом на платформе. Он спросил меня: – Вы все понимаете? – Да. – Вы приходи́те в субботу с братом, я ошибся, Вы можете. – О, danke.*

Он измучен ужасно. У него страшная борьба нездешняя. Он работает день и ночь и теперь болен. Теперь особенно ужасное время: восстание против него и Any Besant[6] и, кроме экзотерических интриг, борьба черной магии против белой.[7] Знаешь, с утра до ночи еще к нему приходят за страшными делами, и он спасает людей. Затем он все может узнать. Иногда к нему обращаются, как к магу. Его лекции я спишу для тебя, но ты не можешь себе представить его красоты, его жестов и голоса. Это – мистерия, и мне ужасно, что он в обстановке обыденной, что одет он в современное платье, с ним здороваются за руку и, кто не чуток, относится к нему как к профессору...

Есть здесь одна невозможная дама. «Суханчикова» в теософии.[8] Как он ее терпит, как все ее терпят. Она русская, я ее знала в Москве. Вот отвратительная![9]

Спокойной ночи. Я валюсь от усталости.

Завтра у нас лекции нет. Встречаем Нюшу. Прощай, милый.

---

* О, спасибо *(нем.)*.

Я люблю Тебя.

Про пол я спишу тебе его лекцию.[10] Я А<нну> Р<удольфовну> уже расспрашивала, но ее я мало понимаю. Его – вполне.

Здесь с нами живет великанша милая Frl. Scholl, она математичка, с нами мила необычайно. Алеша сказал, что трех измерений на нее не хватило.[11]

[1] Имеется в виду Египетский отдел Нового музея в Берлине. 26 сентября / 9 октября 1905 г. Минцлова писала Сабашниковой: «Да мы пойдем с Вами в Египетский отдел. Я ведь нигде *буквально* не была в Берлине и не видела ничего. <...> Но я хочу увидеть некоторые вещи здесь, и мне хотелось бы увидеть их с Вами и с Алешей (если он захочет, конечно)» (У истоков русского штейнерианства. С. 171).

[2] Днем 6/19 октября 1905 г. Штейнер читал 21-ю лекцию «эзотерического цикла» – о «технике реинкарнации», «законе действия и противодействия» и т.д. (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 159–168).

[3] 8/21 октября 1905 г. Штейнер читал для членов немецкой секции Теософского общества лекцию «Логос и атомы в свете оккультизма». Опубликована (по записям М. фон Сиверс и Анны Вейсман) в кн.: *Steiner R.* Die Tempellegende und die Goldene Legende. S. 186–196). На конспекте, сделанном А. Вейсман, – помета: «Доклад для самого узкого круга» (*Ibid.* S. 341).

[4] Доклад о франкмасонстве для членов Теософского общества (отдельно для мужчин и женщин) читался утром 10/23 октября 1905 г. См. примеч. 2 и 3 к п. 214.

[5] С октября по декабрь 1905 г. Штейнер еженедельно (по четвергам) выступал в берлинском Доме архитекторов (Architektenhaus); с октября по декабрь 1905 г. им был прочитан цикл из десяти лекций. Доклад Штейнера вечером 6/19 октября в Доме архитекторов для широкого круга слушателей назывался «Основы теософии (душа и дух человека)»; опубликован в кн.: *Steiner R.* Die Welträtsel und die Anthroposophie. Dornach: Rudopf Steiner Verlag, 1983 (1-е изд. – 1966). S. 57–79 (GA 54).

[6] 9/22 октября 1905 г. в ходе ежегодного (третьего) общего собрания Немецкой секции Теософского общества один из членов правления (Рихард Бреш) выступил против переизбрания Штейнера в качестве Генерального секретаря. Однако большинство членов Немецкой секции поддержало Штейнера (в результате Бреш и четверо его сторонников вынуждены были выйти из немецкой секции

Теософского общества). Кроме того, собрание дало отпор появившимся в теософской печати нападкам на полковника Г.С. Олкотта, президента Международного Теософского общества, и А. Безант (в связи с управлением делами и средствами Общества). Подробный отчет о собрании см. в: Mitteilungen... Nr. 1. November 1905. S. 1–8). О «гонениях» на Штейнера в тот период, адресованных ему «упреках» и пр. см. также примеч. 7 к п. 209 и п. 210.

[7] «Белой» принято называть целительную магию; «черной» — вредоносную (например, распространение заразы, «порчи» и т.п.). Штейнер не раз говорил о необходимости преодоления «черной магии». В феврале 1905 г. в журнале «Lucifer-Gnosis» (№ 21. S. 283–285) он опубликовал рецензию на немецкое издание романа М. Коллинз «Флита. Правдивая история черной колдуньи» (1904), переведенного, как указано было на титульном листе книги, «членами Теософского Общества». 8/21 октября 1907 г. Штейнер прочел в Берлине (для членов Теософского Общества) лекцию «Белая и черная магия: связь с другими понятиями и отличие от них»; русский перевод этой лекции см. в кн.: *Штейнер Р.* Происхождение зла и его облик в свете антропософии: из лекций 1904–1924 гг. Сост., пер., коммент. Г.А. Кавтарадзе. СПб.: Дамаск, 2000. С. 206–229 (на немецком языке: GA 101).

[8] Матрена Семеновна Суханчикова — персонаж повести И.С. Тургенева «Дым» (1867): «Вдова безбедная, небогатая, и второй уже год странствовала из края в край»; говорившая «с ожесточенным увлечением» и т.п. (*Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 12 т. М.: Наука, 1981. Т. 7. С. 260).

[9] Имеется в виду Е.Ф. Писарева (см. примеч. 5 к п. 216).

[10] См. примеч. 9 и 10 к п. 201.

[11] См. примеч. 8 к п. 200.

205. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

6/19 – 7/20 октября 1905 г. Париж

Четверг. Ночь. (19 окт<ября>).

Все время, когда я один, ты со мною... Что-то шелестит на столе, шорохи в углах, дальние лепечущие шаги на улице... То какой-то неуловимый запах, прикосновение... Твое прикосновение. Это ты?.. Иногда я вдруг громко говорю: «Аморя.. Аморя...», и мне становится радостно. И когда я закрываю

глаза, то чувствую тебя совсем близко… вижу, как два глаза становятся одним... Твое дыхание на моей щеке... И я крепко сжимаю тебя, и руки не могут разомкнуться... Что-то горячее, радостное, торжествующее... Я в каком-то кольце, точно окруженный твоей лаской со всех сторон.

Пришло вечером твое письмо из Берлина.[1] Тут был Мих<аил> Сам<ойлович>. Я хотел сперва спрятать письмо. Но потом все-таки прочел письмо при нем. И даже прочел несколько фраз вслух. Теперь он и Туллио спят. Я пишу...

Как мне иногда хочется поговорить с ним о тебе, по-настоящему... Но мы часто упоминаем твое имя, но я говорю безразлично.

Я думаю, он был бы глубоко изумлен, если бы узнал, что я пишу тебе...

Он не может заснуть от света... Надо идти и мне ложиться.

Завтра его мастерская будет готова, и он переселяется (35. Rue Tombe-Issoire).

Это последняя ночь. Спокойной ночи, Аморя.

Доброго утра, моя милая, моя хорошая девочка! Проснувшись и открыв глаза, я думал сегодня утром о том, что мечтая о пути ученичества сейчас же, я в сущности делал нарушение элементарного требования «Tue l'ambition»*.[2] Я считал себя готовым и сильным. А когда приходило иное и слабость, я считал все погибшим.

Надо еще много пройти сквозь жизнь. Ученичество – это уже конец жизни: «Кончилась жизнь, началось житие».[3] Смиренно отдаться потоку – не противиться жизни. Это я думал после твоих слов о том, что надо отказаться от власти в области физической. Власть должна сама вырасти. Да, надо, чтобы покрывало Майи сначала продырявилось: износилось само. А делать в нем искусственные дырки логическими ножни-

---

* Убей желание *(фр.)*.

цами — это преступно. У нас обоих в нем есть уже дырки, и немало. Пальцы очень часто проскальзывают сквозь них... Верно, в прошлой жизни мы много прошли уже... Мне кажется, что мы теперь же, еще до смерти, совсем сбросим его.[4] Но сейчас мне что-то холодно в междузвездных пространствах. Я не могу там быть долго. Какая-то дрожь, какая-то потерянность, необходимость схватиться за вещи, за внешнее... Закутаемся вместе в него... Оно у нас уже такое, что не может скрыть звездных бездн, но его не надо разрывать...

Я раньше все ставил себе правилом «непротивление жизни»... Этим летом все перевернулось. И то, и другое было неверно. Сперва я долго не мог приучить себя непротивлению жизни. Но когда мне удалось это, я заметил, что я не противлюсь только мелким желаниям, которые заслоняют главное стремление. Желаниями *нужно* управлять, нужно уметь выбирать их. А надо *не противиться случаю.* Надо прислушиваться к случаю. То, что мы называем случаем — это голос «Даймона» Жизни, подобный голосу внутреннего сократовского Даймона.[5] Это действительно будет непротивление жизни.

И почему-то «Покрывало Майи» мне теперь все представляется твоей чадрой «всех Осеней». А когда я пишу «непротивление жизни», я вижу нас в лесу около опушки поляны, город внизу, кусок озера, рыжую лисицу и черно-красные листья за твоей головой. Окружи наши головы своей дырявой Майей всех Осеней...[6] сейчас мне больше ничего не надо, а сквозь редкую ткань мы будем глядеть на небо.

Ради Бога пришли мне лекции Штейнера. Только... Только, если можешь, переведи их. Немецкий язык для меня мука. Я отвык от него. У меня нет словаря. Не надо переводить всего. Только самые важные места. Я читал его о II части Фауста.[7] Там много для популяризации. Существенное можно сжать на одной странице. Пришли мне из его лекций только это.

Почему он учит этих полоумных и глупых дам? Меня это смущает в теософии. Почему это так, почему не сильные и не смелые? Почему такой подбор и еще при таком строгом выборе? Почему все дамы и ни одного мужчины? Что ты думаешь об этом? Что ты видишь в них?

[1] Имеется в виду п. 200.

[2] Первая заповедь в книге «Свет на Пути».

[3] См. примеч. 2 к п. 164.

[4] См. примеч. 2 к п. 39 и примеч. 2 и 3 к п. 171.

[5] См. примеч. 4 к п. 122.

[6] В этом пассаже Волошин обыгрывает слова Сабашниковой о принадлежащей ей чадре: «В ней все мои осени... В ней вся Богдановщина... Она у меня с детства, с шести лет – в ней вся моя душа» (Т. 7, кн. 1 наст. изд. С. 249). Предлагая Сабашниковой «закутаться» вместе с ним в покрывало Майи и «сквозь редкую ткань» смотреть на небо, Волошин иносказательно возвращает ее к теме совместного пути, напоминает о чувственно постижимом мире – «голосе жизни», которому, по его убеждению, не следует «противиться». Ср. стихотворение «Пройдемте по миру, как дети...» (п. 1).

[7] См. примеч. 3 к п. 186.

206. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

7/20 октября 1905 г. Берлин[1]

20. Пятница.

Спасибо за Кирка.[2] Отчего Ты не прочел его? Пришли мне еще 3 «Lum<ière> sur le sentier» и одну пошли Оле[3] Heidelberg Steigerweg villa Waldfrieden Fr. Salmanoff*.

Милый Ты мой! Какая красота все, что он[4] говорит! Алеша весь горит.[5]

Мы спешим.

[1] Возможно, приписка к п. 204.

[2] См. примеч. 5 к п. 177 и п. 199.

* Гейдельберг Штайгервег вилла «Вальдфриден» госпоже Залмановой *(нем.)*.

[3] О.Э. Сиверс.

[4] Р. Штейнер.

[5] Лекции Штейнера произвели на А.В. Сабашникова глубокое впечатление. «Алеша – расцвел и ожил, – писала Минцлова Волошину 7/20 октября. – Он говорит, что он в первый раз в жизни живет теперь. Мы целый день вместе, и, уходя от нас в 12 ч. ночи, Алеша радуется, что завтра будет еще такой же день» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 31).

207. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

7/20 – 8/21 октября 1905 г. Париж

Пятница. 20. Ночь.

Сейчас глубокая ночь. Я все время писал об Салоне...[1] Очень холодно. Печка трещит. В глазах песок. Мне хочется написать тебе несколько слов раньше, чем я лягу спать. Я люблю тебя... Отчего я не вижу тебя во сне. Войди в мои сны... Милая моя... Положи мне обе руки на глаза. Я сейчас засну. Царевна моя...

Утро.

Среди ночи я проснулся потрясенный, сразу... Мне казалось, точно пламя вдруг вспыхнуло. Опять это ощущение радостного ужаса, которое так давно у меня не было. Это ты звала меня? Я знаю, что так бывает всегда, когда кто-нибудь зовет. Или это Анна Руд<ольфовна>. Я боюсь, что это она и что ей опять плохо... Она ведь никогда не говорит, когда ей плохо.

Относительно египетского лица, которое она видела рядом с твоим... Ты знаешь, что она плохо различает виденное, слышанное... Слышанное для нее становится образом, и два мира часто смешиваются так, что она не может их различить.

Я помню, как она мне говорила об том, что рядом с тобой она видела лицо, и потом прибавила, что оно глубоко

враждебное мне... Я начал спрашивать ее, какое это лицо. Она не помнила. Тогда я начал описывать лицо Давида,[2] по твоему описанию. Спросил, не египетское ли оно? Она не могла вспомнить. Теперь мои слова остались у нее в памяти и стали образом, а их она позабыла. Почему и как она тебя видела с этим лицом рядом, она не сказала мне. Мне именно тогда показалось, что никакое лицо рядом с твоим, кроме этого, не могло быть. Не говори ей об этом.

И не смущайся этим. Я все-таки думаю, что это было лицо Давида. А заглядыванье по ту сторону всегда нечетко. Впечатления внешнего мира всегда примешиваются к нему.

История лорнета меня очень взволновала, но не была неожиданной.[3] Мне кажется, в этом я найду тон для тех стихотворений об Революции, которые мне так хочется написать.

Вот пришло еще твое письмо (от 19го).[4] Я радуюсь за тебя. Я бы завидовал тебе, но я горжусь тобой. Я бы не был достоин, и меня бы он не допустил. Это я чувствую. Я чувствую в себе столько мелочей, столько ненужного, столько преступного равнодушия к людям. Мне надо бороться с собой каждую минуту. А у меня наступают периоды лени, упадка. Вот сейчас, последние дни я снова чувствую себя бодрым и готовым к борьбе с собой, а пред этим мне было лень думать, и я безвольно отдавался течению жизни.

Быть всегда одним комком воли, вот что надо. Те неожиданные сюрпризы в виде не подозреваемых способностей и сил, которые преподносит мне жизнь, налагают на меня страшную ответственность. Я ничем еще не оправдал себя перед ними. Поэтому я еще не смею предстать пред лицо учителя. Ты мне поможешь победить себя?

Ты мне пришлешь лекции? Только переведи их. Ты ведь знаешь, как я мало понимаю по-немецки. Это будет такая мука – читать со словарем... Сделай это в Москве. Хорошо?

Напиши мне то, что он будет говорить о франкмасонстве. Это мне так важно. Мне ужасно важно это. Свои «Impressions Maçonniques»*[5] я все откладываю. Я не могу сейчас ничего сказать об этом. Мне масонство, то, которое я видел, кажется страшно поверхностным и ненужным. Я не знаю, как быть теперь мне с моим масонством.[6]

О чем ты говоришь с Ан<ной> Руд<ольфовной>? Говорили ли Вы обо мне и нас с тобой? Мне Ан<на> Руд<ольфовна> писала, что она начала говорить обо мне со Шт<ейнером>, но увидела, что он не слушает.[7] Я просил ее ничего не говорить обо мне. Это очень жутко. Я знаю, что он не стал бы говорить со мной. Какое впечатление производит все это на Алешу? Какие решения своей судьбы принимает он? Как ужасно, что от него сейчас требуют определенного, решительного ответа. Нельзя же ответ выбрать – он должен вырасти.

Я за него даже почему-то еще больше, чем за тебя, радуюсь, что он все это видит и слышит. Мне кажется, что это исцелит его, даст ему силы.

До свидания, моя милая, дорогая девочка... Мне радостно и грустно. Сейчас я чувствую себя сильным. Я одолею себя, я оправдаю себя.

[1] Статья Волошина об Осеннем Салоне 1905 г. неизвестна.

[2] Д.И. Иловайский.

[3] См. примеч. 8 к п. 202.

[4] См. п. 205.

[5] Традиционное выступление «ученика» перед посвящением во 2-ю масонскую степень.

[6] Несмотря на свои сомнения, Волошин, однако, не порвал с масонством. 13/26 января 1909 г. он был возведен в 3-ю степень парижской ложи «Труд и истинные верные друзья», входившей в Великую Ложу Франции (см.: Труды и дни. С. 216; *Серков А.И.* Русское масонство 1731–2000. Энциклопедический словарь. М.: РОССПЭН, 2001. С. 1219).

[7] Среди писем Минцловой к Волошину за октябрь 1905 г. такого письма не обнаружено.

---

* «Масонские впечатления» *(фр)*

208. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

7/20 октября 1905 г. Берлин

Пятница.

Мой дорогой, мой милый, сегодня утром встретили Нюшу, без умолку и радостно разговаривали с Алешей; она враждебно молчала, потом заплакала, не пошла к завтраку. Не знаю, что это. Усталость или уж таков московский воздух... Наш праздник омрачился. Я спрашиваю про Москву; из нее ничего не выдавишь, спрашиваю о планах в Париже... то же. Так мне захотелось к Тебе. Так я почувствовала, что у себя я с Тобой. Ну вот, я сяду к Тебе на диван, приласкай меня. А<нна> Р<удольфовна> тоже взволновалась. Что-то тяжелое, какая-то тоска пришла с ней. Неужели она не будет радостна. Она, верно, нас сочла за сумасшедших.

Они сейчас пошли с Алешей к Сереже, а я осталась, чтобы поговорить с Тобой, Макс мой. Насколько Ты ближе мне. Как я люблю Тебя.

Сейчас я написала нашим, что хотела бы остаться в Берлине 2 недели. Ш<тейнер> кончает читать 6 ноября,[1] тогда мы с А<нной> Р<удольфовной> поехали бы вместе.

Макс, напомни Ч<уйко>, что о нашей грязной истории[2] Н<юша> не знает.

Я переписываю для Тебя лекции Ш<тейнера>. Ты тронут?

Знаешь, как ужасно, что всякое веяние может замутить воду; хочется уйти совсем в мысли, в искусство; но знаешь, очень хорошо, что нужно не уходить, а оставаться и побеждать. И потом еще я думаю, что я все сделаю, чтобы Тебе не было никогда тяжело со мной. Я не буду молчать – так, чтобы Ты всегда знал, чтó в моей душе.

Сегодня я все еще уставши и не могу писать о словах Ш<тейнера>. Он говорил вчера о том, как Иога выращивает растение, как можно влиять на духовный рост детей... войдя в них...[3]

Он говорил тоже, почему бывают идиоты... Это люди, не развившие в себе эстетики, хотя высокой нравственности, — воплощаясь —[4]

Вечер.

Нет, я буду постепенно списывать лекции и пошлю Тебе. Так я не могу.

Пришло Твое письмо.[5] Ты думаешь только обо мне. Милый, милый, я прошу Тебя, для меня читай и пиши. Опасно так думать. Теперь я знаю, что мечтания, не воплощенные на физическом плане, опасны.

Мне очень грустно, что Ты не пишешь стихов. Я бы хотела, чтобы я была Твоей силой, а не слабостью. Прочел ли Ты «Esot<eric> Christ<ianity>»?*[6] Прочти, милый. А что же Ты ничего не написал относительно тем, кот<орые> я предлагаю Тебе для стихотворения?[7]

Ну, до свиданья, деточка, не думай обо мне. Обнимаю Тебя и целую.

В сумерках я с Тобой.

[1] Последний доклад, прочитанный Штейнером 27 октября / 9 ноября 1905 г. в берлинском Доме архитекторов, назывался «Основные понятия теософии. Человеческие расы».

[2] «Грязной историей» Сабашникова иронически называет историю отношений между ней и Волошиным.

[3] Сабашникова кратко пересказывает содержание 21-й лекции Штейнера, прочитанной 6/19 октября 1905 г. (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 159–168).

[4] Фраза не дописана.

[5] Имеется в виду п. 203.

[6] Речь идет о книге А. Безант (см. примеч. 3 к п. 163).

[7] См. п. 192 и 195.

* «Эзотерическое христианство» *(англ.)*.

209. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

8/21 октября 1905 г. Берлин

Суббота.

В сумерках ты со мною?

Отчего Тебя, в самом деле, не было со мною сегодня? В комнате стало уже совсем темно. Мы сидели близко, я видела одни руки и блеск глаз. Руки и голос; потом слова о логосе, об атоме.[1] Земля вся будет переработана человеческим духом, и органическая, и неорганическая природа – организуется по его мысли; затем астральное тело уйдет, земля сожмется все больше и больше и станет крошечной, из этого маленького шарика образуются бездны таких же (не совсем таких же, но как отражение того же подобных), и это будут атомы, образующие будущую планету. Так что, мы все время творим атомы будущего мира...

Ложа белая[2] творит миры,[3] Слово, мысль и еще то, что выше мысли, и для того, для чего Мысль является словом – вот три логоса. Оккультист может сделать атом громадным, как Землю, и видит сложность его строения, это мир. Он привел слова Гете; я забыла их, помнишь духа земли: смерть и рожден<ие> – ткань бытия.[4] Я пишу очень плохо... Но и эта лекция записана. Только дело не в одних словах. Его жесты, его голос. Иногда он говорил почти шепотом, иногда гремел.

Ты спрашиваешь, почему его слушают дамы, и такие. Они с какими-то психическими facultés*, медиумы...

В школе его (и его школа древнеегипетская, та же) есть много мужчин; сегодня были все.[5] Его планов, его выбора никто не знает и не может понять... даже Frl. Maria.[6] Теперь на него великие гонения за то, что он иных по взгляду берет с улицы, других ни за что не допускает ни на какие лекции, несмотря на их заслуги. Его обвиняют в том еще, что он сообщает слишком много.[7] Про белое братство, напр<имер>, никто никогда не говорил.

Сейчас мне трудно переводить тебе существенное из лекций, их 2 толстые клеенчат<ые> тетрадки, я даже читаю их

* Способностями *(фр.)*

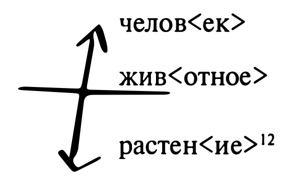
очень медленно. Это я сделаю в Москве, а сейчас буду сообщать тебе кое-что. Символ *змеи*. У беспозвоночных, у разных моллюсков нервная система общая, не дифференцированная, воспринимают мир они всем существом, и для них нет «ты и я». Дифференциация, нервы позвоночного столба дали возможность сознать свое «я». Поэтому змея, как первое позвоночное, символ самосознания (когда ученик сосредоточивает свое внутреннее зрение на своем позвоночном столбе, он представляется ему в виде змеи).[8]

Символ *креста*.[9]

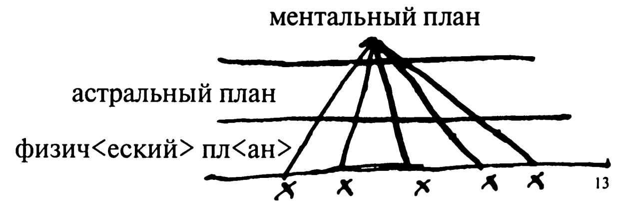
То, что у человека внизу, у растения наверху. Половые органы у человека внизу и цветка к небу; голова, в которой центры и чувство равновесия, у человека наверху, у растения эти центры внизу, в корнях. Корень – голова растения. (Шт<ейнер> не ест того, что под землей.) Животное – наполовину опрокинутое растение.[10]

Слова Платона:

Мировая душа распята на кресте мирового тела.[11]



Сознание растения в ментальном плане.



Когда мы возвышаемся до ментального плана, мы можем говорить с растениями, и там каждое скажет свое имя.

Мы узнаем человека, когда он выговаривал «я». Ich ICH* (это отличает его от зверя) (*J*esus *Ch*ristus I ch, как AUM. Das

* Я Я *(нем).*

Wort «AUM» ist der Atem.[14] Der Atem verhält sich zum Wort, wie der Heilige Geist zu Christus, wie das Aum[15] zu dem Ich).*[16] У некоторых чувствительных растений сознание доходит до астрального плана, и тогда их сознание такое же, как у идиотов и муравьев. У камней сознание еще выше. (Оккультист не спрашивает, есть ли жизнь в камне, он спрашивает, где она.)

Ну вот, милый, довольно на сегодня. Завтра буду писать дальше. Постепенно, пока я буду сама читать старые лекции, я буду писать Тебе. В январе, может быть, прочтем всё вместе.

Сегодня я лягу спать не с А<нной> Р<удольфовной>, а с Нюшей, и мне жаль. К Нюше нужно привыкнуть; она молчит, ее не поймешь; она так туго все воспринимает, я раздражаюсь. Когда мы встречаемся, она всегда как-то враждебна, ей все чуждо. Я спрашиваю ее про Москву, про ее планы, и тут она молчит. Я знаю, что и я виновата, нужно иначе спрашивать, быть терпеливой и с растениями разговаривать по-растительному. Не в этом ли вся сила?

Ах, вот еще, что говорил Шт<ейнер>. Есть мысли, как острия, они приходят через все, не воспринима<я>, и есть мысли, кот<орые> открываются, как цветы, навстречу лучу. Хорошо?

Ну вот, милый, спокойной ночи. Я ужасно устала.

Посидим с тобой на диванчике, обними меня, как тогда, Макс мой. Видишь, я совсем маленькая, глупенькая девочка, а я слышу и вижу то, что немногим смертным дано, и я только могу предчувствовать и молиться.

[1] См. примеч. 3 к п. 204.

[2] «Белая ложа» («Великая белая ложа») или «Белое братство» («Великое белое братство») – незримое сообщество «посвященных», «Учителей мудрости», якобы обитающих в Гималаях, исполнивших все требования земной жизни и достигших «совершенства» и бессмертия. Блаватская утверждала, что лично общалась с некоторыми

---

* Иисус Христос как Я, как АУМ. Слово «АУМ» – это дыхание. Дыхание относится к слову, как Святой Дух к Христу, как Атма к Я *(нем.)*.

из «Учителей» («Masters»). Ныне это понятие, широко бытовавшее в эзотерической литературе, признано фиктивным (см.: *Miers H.E.* Lexikon der Geheimwissenschaft. München: Goldmann Verlag, 1986. S. 428).

[3] В своей лекции 8/21 октября 1905 г. Штейнер говорил: «Существует особая Белая ложа, насчитывающая двенадцать человек; семеро из них действуют особо, их усилиями создаются религиозные общины. Таковыми были Будда, Гермес, Пифагор и так далее. Великий духовный план человеческого развития действительно созидается в Белой ложе, столь же древней, как и само человечество. Здесь мы встречаемся также с планом руководства всем человеческим прогрессом. Все другие общины – лишь ответвления; даже семейные и прочие общины связаны с этим великим планом, возводящим нас к Ложе Мастеров, где выпрядается план, по которому развивается все человечество» (Die Tempellegende und die Goldene Legende. S. 190–191). См. также примеч. 3 к п. 204 и примеч. 1 к п. 213

[4] В конце лекции Штейнер, сказав о том, что «земной дух ткет одежду следующей планеты» (*Ibid.* S. 194), привел начальную строчку монолога Духа Земли (из «Фауста» Гете; часть первая, сцена «Ночь»): «В буре деяний, в волнах бытия, / Я подымаюсь, / Я опускаюсь... / Смерть и Рожденье – / Вечное море; / Жизнь и движенье / В вечном просторе... // Так на станке проходящих веков / Тку я живую одежду богов» (пер. Н.А. Холодковского). Эти слова были хорошо известны Волошину: его стихотворение «Быть заключенным в темницу мгновенья...» заканчивалось строчкой, восходящей к словам Духа Земли: «Смерть и Рожденье – вся нить бытия» (см. примеч. 3 к п. 71).

[5] Лекция, прочитанная Штейнером 8/21 октября 1905 г., предназначалась для всех членов немецкого Теософского общества, собравшихся в Берлине в связи с предстоявшим общим собранием Общества.

[6] Frl. (сокр. от Fräulein) – принятое в Германии обозначение незамужней женщины.

[7] В тех же словах Волошин характеризует ситуацию, сложившуюся вокруг Штейнера, в письме к А.М. Петровой от 1/14 марта 1906 г.: «Правоверные теософы и оккультисты его <Штейнера> ненавидят и кричат, что он раскрывает те тайны, о которых нельзя говорить. Но он говорит, что время пришло раскрыть многое, и берет учеников не из тайных школ, а того, кого он сам наметит» (Т. 9 наст. изд. С. 232). См. также примеч. 6 к п. 204 и п. 210.

[8] О символе змеи Штейнер говорил в 1-й лекции «эзотерического цикла», прочитанной 26 сентября / 9 октября 1905 г.

[9] О символике креста («Подлинный смысл креста бесконечно глубок» и т.д.) Штейнер говорил в 3-й лекции 15/28 сентября 1905 г. (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 37).

[10] Фрагмент 3-й лекции (*Ibid.* S. 32—33).

[11] Эти слова Штейнер цитировал в 3-й лекции, прочитанной 15/28 сентября 1905 г. (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 31) и, кроме того, не раз повторял их в других своих лекциях второй половины 1900-х гг. (см.: *Arenson A.* Leitfaden durch 50 Vortragszyklen Rudolf Steiners. Stuttgart: Freies Geistesleben, 1991. S. 766). Однако у Платона эти слова (в такой формулировке) отсутствуют. Штейнер обобщает изложение одного из фрагментов платоновского «Тимея», приведенное в книге австрийского философа В. Кнауера «Основные проблемы философии в их развитии и частичном разрешении от Фалеса до Роберта Хамерлинга» (*Knauer W.* Die Hauptprobleme der Philosophie in ihrer Entwicklung und teilweisen Lösung von Thales bis Robert Hamerling. Wien: W. Braumüller, 1892). См. подробнее: *Штайнер Р.* Из области духовного знания, или антропософии. Статьи, лекции и драматическая сцена в переводах начала века. Сост., ред., коммент. С.В. Казачкова и Т.Л. Стрижак. М.: Энигма, 1997. С. 205 и 483 (комментарий к парижской лекции Штейнера от 25 мая / 7 июня 1906 г., в которой вновь цитировалось это изречение Платона как имеющее «глубокий смысл»).

Волошин дословно приводит эти же слова (в кавычках, но без упоминания о Платоне или Штейнере) в прозаическом фрагменте «Крестный путь», сопровождавшем первую публикацию его стихотворного цикла «Руанский собор» (Перевал. 1907. № 8/9. С. 4); см.: Т. 1 наст. изд. С. 460—461. Ср. также в пятом стихотворении этого цикла («Смерть»): «Вы, миры, — вы, огненные гвозди, / Вечный дух распявшие на крест» (*Там же.* С. 84).

[12] В конспекте 3-й лекции эта предложенная Штейнером схема следует непосредственно за словами Платона и представляет собой наглядное их объяснение (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 33).

[13] Перед тем как ознакомить слушателей с этой схемой, Штейнер сказал: «Если мы желаем графически изобразить сознание растения, то надлежит это сделать следующим образом» (*Ibid.* S. 34).

[14] См. примеч. 2 к п. 139 и п. 213.

[15] Ошибка Сабашниковой. Правильно: Atma (см. примеч. 1 к п. 189).

[16] Сабашникова приводит отдельные фразы из 2-й лекции, прочитанной Штейнером 14/27 сентября 1905 г. и посвященной «трем важным представлениям, связанным с частями человеческой

природы: деятельность или движение, мудрость или слово и воля» (Grundelemente der Esoterik. S. 22). Последние две фразы («Слово “АУМ” это дыхание...» и т.д.) завершают лекцию (*Ibid.* S. 30).

210. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

9/22 октября 1905 г. Берлин

Воскресенье.

Милый, милый... как сегодня было нехорошо, я провела день с моими родственниками Барановскими,[1] теми, что грозили нарушить нашу безопасность, помнишь? В громадном Hôtel’е, потом в музее. Фу, как мне больно, какие они гадкие, глупые, скучные. В их светскости все внешнее, натянутое и ничего гостеприимного, милого; когда начинаешь говорить, они недослушивают... ничем, кроме себя, не интересуются, и все это тяжело, без легкомыслия и веселости. Меня это оскорбляет. Зачем они приглашают, когда им нечего сказать, когда они не интересуются, не уважают. Их изящество, манеры, гонор... Отчего это меня так оскорбляет? И вот у меня всегда так с людьми. Если не тесный круг друзей, я страдаю, страдаю за все, что люблю, и за себя. И разве не досадно, что пустяки, что ничтожные люди могут нарушить гармонию души. Какая же это гармония, если она летит от этого пустяка. Они честные, хорошие; но я не могу, не могу. Я буду жить вдали от людей. Это слабость, но я только тогда счастлива. Ты, Чуйко, Алеша, А<нна> Р<удольфовна>, Катя и портрет Ш<тейнера>.

Или близкие, или чисто официальные отношения. Я хочу только самых близких. Я хочу всегда быть у себя, окруженная теми и тем, что я люблю, что меня любит. Я не могу, чтобы меня не любили... А Тебе тяжко уединение? Ведь я понимаю, что это нехорошо. Но пусть приходят те, кому я действительно нужна, тогда я могу любить. Я не хочу, чтобы обо мне говорили, знали. Я не могу встать выше этого, я просто этого не хочу. Пусть, если знают, то знают имя художника;

или знают близкого человека. Я хочу жить очень уединенно, я боюсь чужих людей.

Это мужество я приобрету в другой раз. Сейчас это слишком большая нервность, чувствительность, глупая, но непобедимая. Ты ее не знаешь. Я сейчас пришла домой одна и бросилась к А<нне> Р<удольфовне> в комнату, так мне хотелось ее видеть, но ее нет, сегодня решающее заседание в Теософском Обществе, где может произойти катастрофа.[2] Ну, зачем это общество? Зачем нужны и здесь эти дрязги, почему оно не тайно? Дай я уткнусь Тебе в плечо. Ты меня еще такой не видал, а это моя главная слабость, что люди могут меня так мучить.

Будем с Тобой жить где-нибудь в горах, у моря.

Что происходит? Что-то происходит. Уж очень мне тяжело.

Ш<тейнера> упрекают, что он слишком многое сообщает, призывая людей с улицы. Он говорит загадочно... «Настало время, я должен сказать...» Говорит о том, что в борьбе иногда нужны жертвы. Может быть, мы потеряем его. Мне так страшно. Я знаю, что он Бог.

Мне хочется поклониться ему до земли; как-то странно видеть его так просто среди нас. Его глаза полны точно влагой. Когда он говорит: «Если смотреть вглубь веков»..., то это не фраза у него, он видит. Он говорит: «Далеко, далеко в будущем» и видит. Он имеет общение с духами великих людей... Макс, когда я вижу его, я забываю себя, мне моя жизнь дорога только, как путь к Нему; и о Тебе я думаю только, что Ты бы понял, Ты бы пошел за ним... и отчего Тебя нет здесь. И если бы Ты увидел его, все временное ушло бы. Нет, Тебе не было бы холодно и одиноко в звездных пространствах. Как неверна Твоя фраза «на высотах познания одиноко и холодно».[3] На высотах познания душа минералов и растений говорит с Тобой Твоим языком. «Das bist du» Tat twam asi*.[4] Это Ты – и горний ангелов полет, и чад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье.[5]

Как он говорит это: «Das bist du». Меня пронизывает что-то. Он говорит, что эти слова магические.

* «Это есть ты» *(нем., санскр.)*.

Я Тебе ведь писала про Frl. Шолль, на кот<орую> не хватило трех измерений.[6] Она милая, ясная и спокойная. Я ее сразу полюбила, мне с ней хорошо, и она любит die Kinder*, как нас с Алешей называют. Она мне сказала, что когда она видит сны, то это всегда про Ш<тейнера>. Раз она видела его на египетском троне, и птицы его кормили. В то время он приходил обедать в наш пансион. Она его спросила, что значит видеть сон о ком-нибудь, что его корм<ят> птицы. «Это значит, что он initié»**, – ответил он.

Буду читать лекции дальше и писать некоторые мысли по-русски Тебе. Начинаю IV лекци<ю>.[7] «Оккультная школа отличается от нашей тем, что ученику не дают учебного матерьяла, но сообщают ему фразу, кот<орая> сама в себе имеет силу. Он должен ее "meditieren"*** (Meditation**** – это не то, что Conzentration*****, он<о> больше и при неподготовленности опасно),[8] и это просвещает его изнутри, т<ак> к<ак> он может видеть самого себя и перемещать свое сознание в другие предметы, для этого нужно найти точку за серединой глаз, провести ее вниз до сердца и перенести, напр<имер>, хоть <?> в муравейник, тогда можно узнать, что там делается. Так же можно узнать жизнь на Солнце и Венере...

Пчелы не прошли нашей эволюции, их эволюция не связана с общей цепью эв<олюции> животн<ых> на земле, но их сознание (не отдельной пчелы, а созн<ание> улья) выше нашего, и мы достигнем его только на Венере. Созидание ячеек на высших планах другое. Пол уходит на задний план. Кармическое – уничтожено. Принцип работы подготовляет на высших планах то, чем человек еще будет (какая скука).

Понять это можно с помощью высших существ.

Алхимия. Кто-то сказал: "Камень мудрости трудно найти, он везде, его встречаешь каждый день, но не знают, что это он".[9]

Растение дышит тем, что мы выдыхаем. Каменный уголь образ<уется> из растения. Можно найти раст<ение>, из

---

* Детей *(нем.)*.

** Посвященный *(фр.)*.

*** Медитировать, обдумывать *(нем.)*.

**** Медитация *(нем.)*.

***** Концентрация *(нем.)*.

кот<орого> образ<уется> малахит и др. Алмаз тот же уголь, но древнейший, горный хрусталь – тоже обр<азовался> из растений. Известняк произ<ошел> от животных. К концу 4-го круга человек искусством и электричеством перерабатывает все минеральное царство. Растение человек еще не может так переработать. С 5-го круга человек будет сам строить себе тело сознательно из окружающего, как теперь растение, – бессозна<тельно>. Пола не будет и рождения. Это истинная алхимия. Уголь – камень мудрости. Тело человека будет его обиталищем, оно будет как мягкий алмаз. Так построены теперь планеты духами планет.

У него будет три конечности (загадка Сфинкса “вечером на трех”[10]). Раньше руки были половыми органами, они сделаются духовными органами.

Потом останется сердце – Buddhiorgan*, двулистный цветок лотоса между глаз и левая рука, орган движения».[11]

Нет... Это писать невозможно, нужно его слышать, нужно видеть его жесты, я их не видала в эту минуту, это одна из первых лекций. Мне кажется, я не смею писать об этом. Не говори об этих вещах и о том, что я писала вчера Тебе, никому. Иначе мы были бы недостойны тайны.

Сознание муравьев на нижнем ментальном плане (сознание муравейника, оно выше нашего). Сознание пчел – на Buddhiplan’е. Муравьи совершили эволюцию и дальше нас. У них самец, самка и работник – три члена одного существа. Человек приходит к такому разделению на три части – воли, чувства и мысли. Частицы мозга разделяются на три группы. Ученик (chêla)[12] должен уметь разделять и связывать с известным представлением известные чувства. Част<ь?> Мышления спереди, Чувство наверху, Воля сзади.[13]

Продолжение следует.

Пришла Анна Р<удольфовна> с заседания. Я Тебе напишу завтра. У нее сердцебиение, и я до 3 ч. ночи с ней, как

* Орган Буддхи *(нем.)*.

Ты. Так да не так, конечно. Без четверти 12 она увидала Тебя рядом со мною. Мы все время говорили о Тебе.

Спокойной ночи, милый, как мне хочется Тебя видеть. В первый раз уже так по-настоящему, до грусти, до тоски. Хороший мой, радость моя.

Вот что, пиши мне на имя А<нны> Р<удольфовны>, ставь маргаритку на конверте,[14] а то Нюша... Уж так с ней тяжело. Никогда она не была такой враждебной.

Спокойной ночи, целую моего милого, милого.

[1] Имеются в виду дети А.И. Барановского и Е.В. Барановской (урожд. Сабашниковой). Старший из них, Василий родился в 1881 г.; остальные (Сима, Шура, Юра и Коля) были погодками. С 1894 г. семья жила в Петербурге (см.: Записки Михаила Васильевича Сабашникова. С. 59).

[2] См. примеч. 6 к п. 204.

[3] Эта фраза дважды повторяется в статье Волошина «Одилон Рэдон» (1904). См.: Т. 5 наст. изд. С. 397, 399.

[4] Древнее (восходящее к Упанишадам) и широко известное в «восточной мудрости» изречение, обозначающее отношения между индивидуумом и абсолютным началом. «Изречение это — говорил Штейнер в свое парижской лекции 26 мая / 8 июня 1906 г. — дало пищу для целой литературы, оно послужило темой для спекулятивного мышления. Действительный смысл этого изречения тот, что духовно рожденный человек в первый раз видит свое собственное тело со стороны, видит себя самого как объект» (*Штайнер Р.* Из области духовного знания, или антропософии. Статьи, лекции и драматическая сцена в переводах начала века. С. 207).

[5] Из стихотворения Пушкина «Пророк» (1826).

[6] См. примеч. 8 к п. 200.

[7] Имеется в виду 4-я лекция «эзотерическогоо цикла», прочитанная Штейнером 16/29 сентября 1905 г. (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 38—43).

[8] «Медитация» и «концентрация» являются с теософской точки зрения необходимыми условиями для постижения «духовных миров». В 4-й лекции Штейнер не касался этого вопроса, но неоднократно подчеркивал значение «медитации» и «концентрации» в своих беседах с учениками и на занятиях Эзотерической школы. «Занимайся медитацией, сколько можешь, — писал он Марии фон Сиверс 11 апреля 1905 г. — Ведь именно от нее исходит сияние, озаряющее процесс постижения оккультных вещей, даже если ты этого

не замечаешь. В формулах медитации и заданиях по концентрации, которые ты теперь получила, лежит ключ ко многому. Они установлены великими адептами с незапамятных времен <...> В них вложены тайны сведущих» (Steiner R. – Steiner-von Sievers M. Briefe und Dokumente 1901–1925. Hrsg. zum 100. Geburtstag von Marie Steiner am 14. März 1967. Dornach: Verlag der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, 1967. S. 55–56).

[9] Штейнер в своей лекции сообщил, что автором этого изречения является немецкий писатель (по профессии – врач) и «один из самых значительных алхимиков XVIII столетия» Карл Арнольд Кортум (1745–1824), автор известной сатирической поэмы в стихах «Иовсиада» (1784). Изречение восходит к трактату Кортума «Камень мудрецов» (1796). См.: *Ibid.* S. 39–40, 269.

[10] Последняя часть загадки Сфинкса: «Кто из живых существ утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?»

[11] Приведенный выше пересказ лекции Штейнера вполне соответствует ее печатной редакции (см. примеч. 7 к наст. письму).

[12] Чела (*санскр.*) – ученик, воспитанник (гуру или мудреца), последователь какой-либо философской школы. (Штейнер чаще пользовался немецким словом Geheimschüler.)

[13] Весь фрагмент – часть лекции Штейнера (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 42–43).

[14] Т.е. Сабашникова предлагает Волошину рисовать на конверте цветок для обозначения того, что письмо предназначается ей, а не Минцловой.

211. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

10/23 октября 1905 г. Париж

Понедельник. 23 октяб<ря>.

Доброе утро, моя милая, моя дорогая, моя любимая. Доброе утро...

Твое письмо разбудило меня. Ясный, холодный день... Солнце играет на стенах.

Здравствуй, Аморя... Как я люблю тебя... как я чувствую твою близость. Когда твои слова бывают первым, что звучит во мне, когда я просыпаюсь, – весь день преображается...

Ты пишешь о приезде Нюши... Моя бедная, бедная девочка... Мне страшно и больно за тебя: как же ты будешь в Москве? Я знаю, чувствую и понимаю это молчаливое неодобрение. Я как-то вдруг понял и состояние Ан<ны> Ник<олаевны>, как ей должна была показаться преступна Ваша – твоя и Алешина – радость, когда нужно каяться и решать судьбу. Мне страшно хочется видеть Ан<ну> Ник<олаевну>. У меня почему-то страшная вера в мою силу спокойствия и радости, которыми я могу заражать людей, которые я могу отдавать людям. И странно – их я меньше и реже чувствую в себе последнее время, последние годы, но тем сильнее почему-то их действие на других... В моих руках столько сил, которые не от меня. Аморя, помоги мне оправдать их, помоги мне стать достойным их.

Вся моя сила, вся моя радость – все в тебе... Возьми мою душу и верни ее мне крепкой и могучей... Мне хочется, чтобы ты сидела здесь и чтобы я лежал около твоих ног.

Смотреть тебе снизу в глаза и целовать твои ноги... Наклони свое лицо ко мне сверху так, чтобы волосы твои падали кругом.

Вчера я получил письмо от мамы. Она рвется в Париж, но ее задерживают многие дела и заботы.[1] Но вдруг из письма на меня пахнуло тем, чего я всегда очень боюсь: это старое отношение ко многому в моей жизни, когда все так давно изменилось. Это как-то насильно и жестоко возвращает назад. Мне читают нотации за то, что я так мало пишу в «Руси». Совсем, как в былое время, за то, что я не готовлю уроки. Но не в этом дело... А я вдруг так ярко почувствовал, что у нас, между мной и тобой, родилась уже совсем новая, своя жизнь, своя атмосфера, которая оторвала нас от прошлого... Я вдруг так ярко понял, что мы действительно обручены, что между нами есть действительно та тайна, которая между двух... Это было все в ином мире и теперь вдруг пришло из действительности...

Между нами возникла совсем новая жизнь, которая и чужда, и непонятна никому, кроме нас. Я говорил тебе раньше: любимая моя... невеста моя... И верил только мечте...

А теперь вдруг оглянулся и увидал, что между нами выросла ограда из терна и шиповника.

Что к прошлому нет нам возврата,
Что новое новым живет...[2]

Что все старое и близкое станет чуждым, если оно не покорится и не согласится с новым, из леса и из пены рожденным...

Аморя, ты помнишь, как колдунья рассекает рыбий хвост русалочки пополам и дает ей человечьи ноги, и берет голос...

Ведь это и есть разделение пола... Острым мечом рассечен человек... И голос у нас взяли — настоящий голос: «Голос Молчания», может быть...

Слово — это только воспоминание о настоящем голосе, которым говорят растения и кристаллы... Искусство — замена этого голоса...[3]

Поэтому, когда вернется цельность пола, — вернется голос.

И голос будет новым полом, как говорит St<eine>r.[4]

Не переписывай мне всех лекций, переводи только важные места — афоризмы, формулировки. Мне ведь никаких доказательств и объяснений мысли не надо, а в лекциях их много, и они неизбежны. Когда они понадобятся, я сам их придумаю. Это неважно. И не спеши с этим. Пришли мне лучше из Москвы их. Тебе ведь их очень нужно будет там.

Моя милая девочка, поезжай смело в Москву, не бойся... Укрепи свое сердце... Я буду с тобой, внутри тебя. Когда ты будешь закрывать глаза, я буду вставать внутри тебя...

А потом ты вернешься в Париж и войдешь ко мне... как сестра, как мать... как невеста... Царевна моя милая...

Алые розы вырастут между нами и миром...[5]

P.S. Я посылаю тебе другой отпечаток моей мастерской, а тот отдай Ан<не> Рудольф<овне>.[6]

[1] Имеется в виду письмо Е.О. Кириенко-Волошиной к сыну от 1/14 октября 1905 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 652, л. 19–22 об.).

[2] Из стихотворения Бальмонта «Но минули детские годы...». См.: *Бальмонт К.* Литургия красоты. Стихийные гимны. С. 198 (шестое стихотворение цикла «Вода»).

[3] Из сказки Х.К. Андерсена «Русалочка» (ср. примеч. 4 к п. 78).
[4] О «голосе» и «поле» см. примеч. 4 к п. 186 и п. 188.
[5] См. примеч. 6 к п. 50, п. 52 (место, отмеченное примеч. 8) и др.
[6] См. примеч. 10 к п. 202.

212. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

10/23 октября 1905 г. Берлин

Понедельник.

Сегодня утром было от Тебя письмо, кот<орое> пришло в Берлин вчера, в воскресенье...[1] а вечером не было. Но Ты писал А<нне> Р<удольфовне>? Ты возродился? Ты живешь? Милый мой, любимый. Знаешь ли ты, что А<нна> Р<удольфовна> все время видит Тебя в комнате. С четверга на пятницу она проснулась с сердцебиением, подумала со страхом о Тебе, и Ты стоял тут. Я не вижу. Я только иногда чувствую томление, и мне уже довольно этой разлуки. Я хочу Тебя видеть. Вчера, запечатав Тебе письмо в 3 ч. ночи, я простилась с А<нной> Р<удольфовной> и пошла по длинным коридорам и лестницам в другую кв<артиру>, где моя комната с Нюшей. Одна дверь была заперта; я вернулась и легла на пол в комнате А<нны> Р<удольфовны>. Утром была лекция о масонстве: в 10 – мужчинам, в 11½ – женщинам; мы встречали их во дворе и на лестнице, они уходили, когда входили мы.[2] Алеша торжественно и важно поклонился нам и прошел. У всех были взволнованные лица, все кланялись нам очень почтительно, почти с благоговением. Содержание самой лекции я расскажу Тебе завтра. Это было самое потрясающее, что я слышала. Радость откровения усиливало то, что он смотрел прямо мне в глаза; Ты не можешь себе представить этого ощущения радостного ужаса. Сегодня вечером я сидела на том же месте, и он ни разу не взглянул. Как ужасно, что и тут и в этой области тоже у меня та же слабость, что-то личное, эгоистичное... как отрава, проникает во все.

Сейчас, после бессонной ночи и этих двух лекций, я устала. Завтра напишу Тебе его слова.[3] Это то, о чем мы все

время думаем, говорим. Вопрос пола, древо познания и жизни, Каин и Авель, культ мадонны, розенкрейцерство и франкмасонство.[4]

Но до завтра.

Да, мы говорим о Тебе много и хорошо. Вчера ночью особенно. О том, какой Ты стал хороший, какой сильный и чистый.

Спокойной ночи. Падаю от усталости.

С Москвой сообщения нет.

Целую, милый, любимый.

[1] См. п. 207.

[2] Сабашникова имеет в виду лекцию Штейнера «Масонство и развитие человечества», прочитанную утром 10/23 октября 1905 г. Лекция была разделена Штейнером на две части: первая — для мужчин, вторая — для женщин.

[3] См. п. 214.

[4] Розенкрейцерство как одно из оккультных течений традиционно связывается с именем мифического средневекового мага Христиана Розенкрейца (XIV–XV в.), якобы основавшего «братство» или «орден» розенкрейцеров, эмблемой которого стала роза, расцветающая на кресте. Позднее (вплоть до конца XIX в.) с розенкрейцерством связывали себя различные христианско-эзотерические и масонские общества, возникавшие в Западной Европе и устремленные к «тайному знанию».

Р. Штейнер по-своему интерпретировал розенкрейцерство (а также фигуру Х. Розенкрейца). Полагая, что восточная теософия («философия йоги») чужда сознанию современного западноевропейского человека, он пользовался термином «розенкрейцерство» для обозначения собственного учения, ориентированного на традиционные для европейцев ценности (в первую очередь — христианство). «Розенкрейцерская теософия» Штейнера получит в 1910-е гг. название «антропософия».

Штейнер неоднократно знакомил слушателей со своим пониманием розенкрейцерства. Так, в мае—июне 1907 г. он прочел в Мюнхене курс из 14 лекций под названием «Theosophie des Rosenkreuzers» (GA 99; рус. пер.: *Штейнер Р.* Теософия розенкрейцера. Курс лекций. / Пер. с нем. Вадима Витковского. М.: Энигма; Эвидентис, 1999). Позднее Штейнер посвятит личности Розенкрейца ряд докладов, прочитанных (в разное время) в Невшателе (GA 130; рус. пер.:

Штайнер Р. Мистерия и миссия Христиана Розенкрейца. Лекции 1911–1912 гг. / Перевод Г.А. Кавтарадзе. СПб.: Дамаск, 1992). В берлинской лекции, прочитанной «только для женщин» 10/23 октября 1905 г., Штейнер особо подчеркивал, что теософское движение основывается на розенкрейцерстве и задача теософии — «преодолеть разрыв между франкмасонами и розенкрейцерами» (Die Tempellegende und die Goldene Legende. S. 242).

213. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

11/24 октября 1905г. Париж

Вторник. 24 октября.

Моя милая, милая Аморя... Как странно согласно все то, что ты пишешь из слов St<einer'a> с тем, что мне всегда, с детства, мерещилось... Земля как атом будущего мира... Это я всегда так себе представлял. Что же это? Или действительно у меня было раньше знание, я был уже посвящен и теперь все это вспоминаю? Или это врожденные знания человечества? Ведь я же этого никогда раньше не слыхал, не читал.

Говорил ли St<einer> что-нибудь о *происхождении* мировых *законов*? У меня всегда напрашивается аналогия между выработкой себе сознательных привычек, дифференция — ритм жизни, необходимый для усиления своего труда, с сознательной дифференциацией хаоса, который постепенно выделяет из себя ритмический мир. Мировой Закон — это тоже привычка, но предложенная нам неизвестной волей. Поэтому против него *можно* бороться. Меня всегда поражала эта механическая сила в выработке привычки. Трудны первые размахи, а потом что-то подхватывает независимо от моей собственной воли.

Что говорил St<einer> об Белом Братстве?[1] Сама ли ты это слышала от него или через других? Можем ли мы говорить с тобой об этом? Спроси об этом у Ан<ны> Руд<ольфовны>. Это то, о чем мне больше всего хотелось говорить с тобой, и я не мог. Напиши мне все, что ты знаешь об нем.

Я понимаю символы *змеи* и символ *креста*. Но о сознаниях на разных планах я не вполне понимаю. Значит, растение и животное выше человека, если их сознания находятся на высшем плане? Как это? Почему у идиотов сознание на астральном плане?

Я не понимаю значения слов: Ich с инициалами Христа... Почему же это только по-немецки? Что это значит? И что значит AUM?[2]

Я этого совсем не понимаю... А ты?

То, для чего мысль служит словом, — это я понимаю.

Неужели ты приедешь только в январе и не раньше? Я почему-то представлял, ты будешь уже в начале декабря здесь. Когда приезжают Бальмонты? Ведь если Екат<ерина> Алекс<еевна> скоро приедет, как же я буду писать тебе? Я думал, что ты вместе с ней приедешь?

Вчера у меня была в гостях Мисс Ольга Джорж — та самая, про которую мне Кругликова говорила, что она испытывает к тебе какое-то странное, неопределенное чувство. Помнишь, я тебе рассказывал? Она увидала у меня на столе твою фотографию, начала приглядываться и вдруг узнала тебя и заговорила вдруг очень взволнованно:

«Ах, это та самая русская барышня (она не знает твоего имени)... Да, я ее видела... Это она... У ней такое необычайное лицо... Она очень надменна. Я никогда не решалась заговорить с ней. Она всегда молчит... У нее удивительные волосы...» Все это она говорила с большим волнением и потом сразу замолчала, и ни слова не сказала о тебе больше.

Она ужасно странная, эта англичанка. Ты помнишь ее лицо? У нее готическое лицо с чуть-чуть косыми глазами, что дает им какой<-то> поразительный несосредоточенный взгляд...

Мих<аил> Самойл<ович> ходит грустный и смутный... Сейчас он приходил ко мне. Постучал в заднюю дверь, вошел и сказал, что меня Александ<ра> Васильевна требует немед-

ленно в Общество.[3] Я перепугался, но он сознался, что все это выдумал, чтобы было ловчее придти ко мне утром. (Я говорил ему, что я всегда по утрам работаю.) Потом уткнулся мне головой в плечо, посидел так с полчаса, пожаловался на судьбу и ушел.

Он жалуется, что Ан<на> Руд<ольфовна> его забыла, что она пишет ему холодные письма.

До свиданья...

Мне все кажется, что что-то случилось между нами эти дни. Что-то радостное, очищающее. Я люблю тебя как-то поиному... Точно какие-то демоны отступили от моего сердца... И не боюсь я теперь ни за себя, ни за тебя...

Все, что бы ни случилось, все будет хорошо. Моя милая, моя любимая...

[1] На этот вопрос Волошину ответила Минцлова, писавшая ему 13/26 октября 1905 г.: «Марг<арита> Вас<ильевна> сказала мне, что Вы ее спрашивали о белом братстве... Да. Д<окто>р St<einer> сказал о нем несколько слов (то, что я Вам сказала в Париже) на своей лекции о “Логосе”. Но он был в экстазе в ту минуту... Он был *вне себя*... Шатаясь, совсем без сознания, с сияющими глазами, он прошел мимо нас после лекции... Об этом *нельзя* говорить. Те, кто слышал это, будут помнить. Глупые, пошлые бабы, нелепые мужчины, слушающие его, будут молчать. *Ни слова* не говорит никто о его лекциях вне лекций. Даже самая пошлая из баб М-me Писарева не рассказывает из них ничего. Я это знаю. Их всех запугала очень Frl. Maria, и, кроме того, есть что-то в этих лекциях, мешающее говорить о них.

Но так как St<einer> сказал об этом при Марг<арите> Вас<ильевне>, я ей разъяснила немного эти слова. Разумеется, с *ней* Вы теперь можете говорить об этом свободно... Но все же как можно реже говорите об этом. Об этом *не должны* говорить люди... В молчании и тишине только можно думать о них, о Белых и Страшных, чьих имен не знают люди –

Но я Вам скажу еще о них... Ложа Учителей, Белая Ложа, заключает в себе 12 этих существ (которые уже много миллионов лет стоят выше людей). Это – “сыны огня”, четырех из них знают ученики эзотерических школ. Но имена их произносятся лишь в

собрании школы – как молитву говорит это имя глава школы – и в благоговейном ужасе слышат его ученики. В именах этих, в самих звуках есть торжественность настоящего, глухой стон всех минувших времен – и ропот, и гул приближающихся веков...

К четырем из них обращаются ученики эзотерических школ как к путеводным звездам, вождям и Богам. Один из них стоит во главе Мудрости, Другой – Воля, Третий – Любовь, Четвертый (тот, кому я молюсь теперь) – Красота. Надо избрать *одно* из этих направлений, одну из этих четырех стран горизонта...

То, что Вы ищете, чего я искала так долго, долго, – *всё здесь*... Вы знали уже об этом. Вы только вспоминаете теперь о том, что Вы раньше знали... Я никогда не забуду того впечатления, которое произвели на Вас мои слова о "Белом Братстве".

Мар<гарита> Вас<ильевна> взволновалась, когда я сказала ей об этом – но это было совсем, совсем не то. А Вы отнеслись к этому *так*, как будто Вы давно, давно знали это все, но забыли – это трепет и волнение воспоминания, у Вас – –» (У истоков русского штейнерианства. С. 186). См. также примеч. 7 к п. 204, примеч. 2 к п. 209 и п. 216).

[2] См. примеч. 2 к п. 139 и п. 209.

[3] Имеется в виду Русский артистический кружок.

214. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

11/24 – 12/25 октября 1905 г. Берлин[1]

Среда. Berlin.

Мужчины и женщины были собраны отдельно для этой лекции,[2] п<отому> ч<то> в масонстве борются с женским элементом и женщины являются как бы врагами.[3] Раньше не было разделения полов. Оба элемента были в одном индивидууме. Женский элемент преобладал, конечно (Зевс изображ<ался> с женской грудью). Затем человек выработал одну половину в духовную силу. У тех, <у> кот<орых> осталась женская физическая натура, – мужская половина стала духом. Мужчина оплодотворяет женщину физически, женщина мужчину – духовно. У всех женщин – дух творческий мужской, у всех мужчин – дух женский (два воплощения в мужчине и женщине считаются за одно, в оккультизме).

Нет, милый мой, я не стану сама рассказывать это, вчера я помнила дословно, сегодня я устала еще больше, и мне жаль, если я что-нибудь пропущу. Эта лекция отчасти записана Fr<l.> Шоль, и я переведу ее Тебе. Этот творческий оплодотворяющий дух женщин – Bilderweisheit*, интуиция, мудрость священников, без кот<орого> дух мужчин (женский дух) отвлеченное сухое знание – мертво. Цельный человек должен соединить в себе снова два пола, но на другом плане. Ты помнишь в Zohar'е[4] и в Упанишадах[5] это таинственное ожидание соединения мужского и женского? «Quand la reine sera avec le roi»**.[6]

То, что я пишу Тебе сейчас, – мое рассуждение и мои мысли. Я думаю, что иллюзия любви, это стремление двух полов соединиться, происходит оттого, что человек ищет свою другую половину; но он удовлетворится, когда он соединится с своей истинной половиной, т.е. не с половиной другого индивидуума, а когда две половины его индивидуальности соединятся.

Я бы хотела знать, ясно ли Тебе это разделение, то есть, что если часть духа вырабатывается в женскую физическую натуру, то оставшаяся часть всегда мужская, и наоборот.

Борьба этих двух начал хорошо, мне кажется, изображена у Нитше в «Die Geburt der Tragödie»***[7]. Древняя мистерия – женская мудрость. Мудрость Сократа – мужская.

Отвлеченная сухая мысль масонства – противополагается розенкрейцерству.

Как хорошо он объяснял культ мадонны. Самая интересная часть была о грехопадении Каина и легенда о Адонайраме.[8] Но это я переведу, п<отому> ч<то> боюсь слишком исказить.

Сегодня лекция была днем и продолжалась очень долго. Он говорил о том, как астральный человек, очищая свое астральное тело, экстериоризировал страсти и создавал животных. Как он теперь так же в поступках создает карму.[9] Но до другого раза.

* Образная мудрость *(нем.)*.

** «Когда царица будет с царем» *(фр.)*.

*** «Рождение трагедии» *(нем.)*.

Давай теперь закутаемся в нашу Ма<й>ю, в нашу дырявую, но милую Майю, и посидим вместе. Я устала, возьми мою голову, ах, как я хочу быть с Тобой. А<нна> Р<удольфовна> все время видит Тебя. Вот сегодня, часов в 5, Ты был с нами на лекции. Но я-то не вижу Тебя. Твое присутствие в комнате она всегда чувствует. Милый, помнишь, как мы шли в первый раз на Ütli и пили из ручья, и потом... А помнишь сосновый лес и заходящее солнце...

Сегодня с утра мне было страшно грустно, не знаю почему. Пришло письмо от Ч<уйко>, холодное, чужое.[10]

Нюша говорила, что мой портрет плох и груб. А<нне> Р<удольфовне> Ш<тейнер> сказал, что если одно любопытство приводит людей к нему, и то он не имеет права не говорить им. Не знаю, от всего этого мне было очень тяжело весь день. Я опять грустно думаю о своей живописи, о бесхарактерности, о бездарности; ну, старая история. За лекцией у меня очень болела голова, и я плохо слушала. Я думала все, я недостойна, я такая, сякая; а Ш<тейнер> между тем говорил: путь к очищению – создавать в мире красоту и отражать ее. Все лучшее, все красивое – все, что мы можем понять в мире, – das bist du*. Хорошо, правда?

Но зачем эта головная боль. Послушай, я сяду рядом с Тобой, положи мне на голову свою руку. Дай я поплачу, а потом засну на Твоей груди. Милый мой, любимый.

Сейчас получила Твое письмо от понедельника...[11] милый, дорогой. Ведь Ты каждый день получаешь от меня письма. Я пишу аккуратно по вечерам и утром опускаю. Ты мне не писал только один день. Отчего же Ты мне не пишешь, как Ты проводишь день, что Ты делаешь? И прочел ли Ты «Christ<ianisme> És<otérique>»? Неужели даже мои отметки не побуждают Тебя прочесть эту книгу. Как распределен Твой день? Опиши Твою мастерскую. Она в нижнем этаже? Дверь под окном? Что стоит у стены, противоположной столу, и где Ты спишь? Есть полатья?[12]

---

* Это ты *(нем.)*.

В апреле Ш<тейнер>, Frl. Шоль и др<угие> будут в Париже. Ты *обязан* научиться по-немецки, слышишь, *обязан.* Как долго ждать до Парижа! Прощай, милый мой.

Я думаю, что и как я буду рисовать в Москве. Моя живопись меня мучает.

А<нна> Р<удольфовна> просит ваш с Чуйко портре<т> (только одетыми).[13]

[1] Датируется по упоминанию о 22-й лекции «эзотерического цикла», прочитанной днем 11/24 октября (см. ниже примеч. 9). Вероятно, данное письмо было написано в ночь со вторника на среду.

[2] Сабашникова продолжает пересказ «эзотерической лекции» Штейнера, предназначенной «только для женщин» (см. примеч. 1 к п. 212). Конспект этой лекции опубликован в кн.: Die Tempellegende und die Goldene Legende. S. 228–242.

[3] «Вещи, о которых у нас пойдет речь, еще никогда не обсуждались в присутствии женщин, – с этих слов начал Штейнер свою лекцию. – <...> До настоящего времени этот запрет неукоснительно соблюдался. Единственная возможность создать равновесие между полами существует в наши дни только в Теософском обществе. <...> Ибо в масонстве идет подлинная война – война против женского духа; женский дух как таковой наталкивается на активное противодействие. Такая борьба неизбежна, ибо оккультное масонство было создано именно с этой целью. Отсюда идет обычай: говорить об оккультных предметах раздельно для каждого пола. И следует сперва найти форму, удобную для того, чтобы говорить об этих вещах перед женщинами» (*Ibid.* S. 228–229).

[4] «Зогар»или «Зоар» («Сияние») – сборник различных текстов, дополняющих или толкующих Каббалу; содержит, в частности, комментарии к Каббале, написанные анонимными авторами. Одна из основополагающих каббалистических книг (возникла около XIII в.; впервые напечатана в Мантуе в 1558–1562 гг.).

[5] См. примеч. 4 к п. 138.

[6] Фраза, цитируемая Сабашниковой, во французском и русском переводах «Зогара» не обнаружена, однако имеется ряд близких по смыслу высказываний. См., например: «Тогда воссиял лик Госпожи и пришел Царь, чтобы возле нее основать свою обитель»; «...благословение почиет лишь там, где находятся Мужское и Женское» («Раби Шимон». Фрагменты из книги «Зогар». Пер. с арамейского, коммент. и прилож. к текстам М.А. Кравцова. М.: Гнозис, 1994. С. 73, 74). В «Упанишадах» эта фраза отсутствует.

[7] См. примеч. 7 к п. 151.

[8] Имеется в виду масонская легенда об Адонираме (Адонхираме или Адон-Хираме), восходящая к имени Хирама, строителя Соломонова храма (2 Пар. II, 13). В лекции «для женщин» 10/23 октября Штейнер сообщил один из вариантов этой легенды: Хирам гибнет от руки трех подмастерьев, но перед смертью успевает выдохнуть непонятное слово и записать его на треугольник, который прячет в землю. Это слово – утраченное слово масонов. Хираму предсказано, что у него будет сын, который даст начало новому роду. Этот род явится, когда воскреснет утраченное слово, и вернуть его – задача масонов. Пассивное начало должно превратиться в активное, «слово» должно стать продуктивной творческой энергией. «Слово создаст будущего человека. Тогда сын Хирама воистину явится миру и вновь воскреснет Огонь, божественная сила. И старый род сменится новым» (Die Tempellegende und die Goldene Legende. S. 236–238).

[9] 11/24 октября Штейнер читал 22-ю лекцию цикла (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 228–242).

[10] Имеется в виду письмо от 9/22 октября 1905 г. (см.: ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 110, л. 37–38).

[11] Т.е. п. 211.

[12] Так в оригинале. Очевидно, Сабашникова ошибочно употребляет слово «полати» в единственном числе.

[13] Ср. в п.186: «Мы снимали друг друга одетыми, разодетыми, раздетыми...»

215. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

11/24–12/25 октября 1905 г. Париж

Вторник. Ночь.

Моя милая, милая девочка... Мне хочется прочесть тебе одно стихотворение Блока, которое все мне мерещится по вечерам и где я неуловимо чувствую Тебя.

Послушай:

Мой любимый, мой князь, мой жених,
Ты печален в цветистом лугу.
Повиликой средь нив золотых
Завилась я на том берегу...

Я ловлю твои сны на лету
Бледно-белым прозрачным цветком,
Ты сомнешь меня в полном цвету
Белогрудым усталым конем.

Ах, бессмертье мое растопчи, –
Я огонь для тебя берегу.
Робко пламя церковной свечи
У заутрени бледной зажгу.

В церкви встанешь ты, бледен лицом,
И к Царице небесной придешь, –
Колыхнусь восковым огоньком,
Дам почуять знакомую дрожь...

Над тобой, как свеча, я тиха,
Пред тобой как цветок я нежна.
Жду тебя, моего жениха,
Всё невеста и вечно жена...[1]

Иногда мне бывает странно, что это не я написал, и мне кажется, что если это так, то я ничего никогда не напишу...

Только что я был у Чуйко. Он сидит грустный в своем новом ателье и в отчаянье, что ничего не может хорошо устроить, – денег нет. Он играл мне опять песню Сольвейг.[2] Он ждет со страшным нетерпением приезда Ан<ны> Никол<аевны> и сейчас пишет ей нежное письмо.

Пришло твое письмо.[3] Меня охватывает радостное волнение, когда ты пишешь о St<einer'e>. Но я себе не представляю даже, чтобы я мог быть в Берлине, так я уверен в том, чтобы я не был допущен. Я совершенно уверен в том, что он отвернулся бы от меня. Я не знаю почему.

Да. Приди ко мне, отдохни у меня. У меня начинается теперь то же чувство к людям, как у тебя. Мне не надо их совсем. Я ведь всегда мог говорить и чувствовать только одного человека. Я их чувствую, когда я вдвоем. Теперь, когда вышло так, что я не выхожу из дому, и люди ко мне приходят, я стал по-иному относиться к ним. Но только мне совсем

не надо будет людей, когда мы будем вместе... Как допустить других в наш мир? Как говорить с другими о том, куда мы вступаем теперь мыслью и духом?

Утро. Среда.

Доброе утро, Царевна моя... Как я люблю тебя... Вечером я кладу письма твои около кровати и, когда просыпаюсь, перечитываю их, чтобы с твоими словами на устах встретить день.

Золотисто-алый луч на стене, матовые стекла, печка трещит, и твое письмо в руке – вот мое утро. Каждое утро так...

Что вы говорите обо мне с Ан<ной> Руд<ольфовной>? Как вы говорите? Ты ли сама начала говорить? Что она говорит обо мне теперь?

Что значат слова St<einer'a> «Время пришло»... Какое время? Я знаю, что эти годы решительные, – но в чем дело, почему? Что происходит? Знаешь ли ты что-нибудь еще об этом? Что ты думаешь?

Мне иногда чувствуется за гранью нескольких лет, что я поеду в Россию для России же... Но что теперь здесь надо что-<то> взять, что-то сознать, чтобы принести с собой. У меня идут месяцы полного равнодушия к России, а потом вдруг просыпается где-то страшное беспокойство. Я думаю, это предчувствие. Что, говорил ли что-нибудь St<einer> об России? Что ждут от нее? Может, это плавильная печь нового Духа? Что выплавится в ней?

И в то же время у меня сознание, что сейчас, сейчас еще не надо быть в России.

Когда ты едешь в Москву? Ведь сейчас ехать нельзя – все отрезано.

Вот еще письмо от тебя. Что-то вспыхивает в сердце... Точно душа осыпается лепестками алых роз... Милая моя... Я все время с тобой. Когда же мы вычеркнем расстояние из нашей жизни?

Но что меня так мучило – горячее, чувственное, теперь совсем прошло... Во мне какое-то чистое золотисто-розо-

вое пламя. Ты приходишь в сумерки, как сестра прозрачная, неслышная, светлая... Аморя. Милая моя. Аморя... В твоем письме дуновение такой радости, которая разверзается, как бездна...

Я знаю это ощущение радостного ужаса... Напиши мне об лекции о фр<анк>масонстве – напиши как можно больше, как можно подробнее. Мне это страшно важно...

Я читаю сейчас «La sagesse antique» Анни Безант. Она только что вышла новым изданием.[4] Я, если успею прочесть, вышлю тебе. Или выслать тебе отдельный экземпляр? Как раз сегодня утром я читал об бессознательном творчестве человека на астральном плане. Об этом говорил St<einer>?

Мне это так понятно и близко и давно, давно знакомо... Есть области, в которых для меня нет ничего нового, – я все вспоминаю. Но есть и вещи совершенно чуждые, которые трудно воспринять, осмыслить. Я «Christian<isme> Ésotér<ique>» еще не прочел. Я его начал, но мне захотелось раньше прочесть эту книгу.

Аморя, милая моя... Говорите обо мне больше с Ан<ной> Руд<ольфовной>. Я это чувствую, и душа моя ликует и радуется... Но у меня тоже бывают какие-то необъяснимые тяжелые состояния, – я думаю, что я продолжаю чувствовать припадки Ан<ны> Руд<ольфовны>.

Действительно, не человек, а лира...[5] Верно, это хорошо. Аморя, милая моя, любимая моя... Я люблю тебя радостно, безысходно, невыразимо... Милая моя девочка.

Посылаю тебе еще несколько снимков с моей мастерской с разных сторон.

[1] Это стихотворение Блока, воспринятое Волошиным через призму его отношений с Сабашниковой, было впервые опубликовано в кн. «Стихи о Прекрасной Даме» (М.: Гриф, 1905. С. 61–62; фактически книга вышла в октябре 1904 г.). См. также п. 235.

[2] См. примеч. 9 к п. 73 и п. 146 и 173.

[3] Имеется в виду п. 210.

[4] См. примеч. 6 к п. 151.

[5] См. примеч. 4 к п. 50, примеч. 3 к п. 69 и п. 226.

216. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

12/25 октября 1905 г. Берлин[1]

Среда. Berlin.

Милый мой, как трудно мне писать Тебе. Как хотелось бы Тебя видеть. Утром до завтрака я сидела вдвоем с А<нной> Р<удольфовной>. Я читала старые лекции, она переписывала новые, но мы больше говорили о наших вечных темах и о Тебе, конечно. После завтрака была лекция.[2] Мы сидим всегда рядом, я слева, Алеша справа от А<нны> Р<удольфовны>. А Тебя А<нна> Р<удольфовна> видит у своего левого плеча, так что Ты в сумерки между нами. Лекция была поразительна. Он говорил о происхождении земли от солнца, о сынах солнца (они росли, как растения, вниз головой, п<отому> ч<то> свет и жизнь исходили из планеты самой), о людях на луне, о том, как Егова Бог плодородия – бог формы хотел создать планету совершенных форм, тогда мог один творить людей (полов не было), сила производительная истощилась бы и люди стали только усовершенствовать свою форму.

Но тут вмешались другие индивидуальности с большим духовным развитием – принцип Люцифера. Если бы не они, люди на земле, достигши совершенства формы, застыли бы как статуи. Егова создал бы себе памятник. Существа с началом Люцифера воспротивились этому (Прометей, змий, искусивший Еву, и т.д.). От земли отделяется луна, на кот<орой> остаются силы Еговы. Тогда Егова изменяет тактику и создает 2 пола (странно, точно земля и луна тоже разделение полов). Но Люцифер и в этом находит путь к духовному освобождению. Тогда в лемурийский период в человеке были только три первых принципа. В это время с Сатурна являются монады,[3] кот<орые> соединяются с готовыми людьми. Несовершенные же соединяются с животными, происходят разные чудовища.

В монаде 4 остальных принципа.

Сейчас получила Твое письмо.[4]

У меня не хватает терпения писать всего. Все это так бледно. Ведь, когда он говорит, видишь, что он видит это, что это реальность. Из Москвы я Тебе буду посылать эти лекции. Теперь среди слушателей явились какие-то дураки, кот<орые> все его перебивают своими вопросами и замечаниями. Весь ритм нарушен. Это ужасное мучение. Одна старушка в токе громко ахает и спрашивает: «Herr Doctor, kann man den Tod überwinden?»* или «Ach! вчера мне стыдно было Вас спросить, пришли ли мы с Солнца». – Одна спросила его, был ли Егова мужчиной, m-me Писарева[5] – про японскую войну – борьба ли это Еговы с Люцифером и т.д.

Больше всех мешал какой-то профессор. Это было страшное мучение. Он не мог прийти в это чудное состояние, как всегда. Странное томление охватывает меня. Все эти слова меня не удовлетворяют, мне хочется чего-то другого – мистерии. Мне мучительно до слез. Рядом со мной сидит А<нна> Р<удольфовна>, и я чувствую на коже и на спине электрическое дуновение и уколы. Frl. Шоль совсем не может сидеть даже поблизости от нее.

На Твои вопросы постараюсь ответить завтра. О Белом Брат<стве> я слышала от него и то, что я Тебе писала.[6]

О том, можем ли мы говорить об этом с Тобой, я не спрашивала А<нну> Р<удольфовну>. Но думаю, что мы сами должны чувствовать, насколько и как можно говорить о таких вещах.

Относительно того, что он говорил о любопытстве, я не поняла вчера. Он говорил, что всякий человек, даже неподготовленный, если только *не* любопытство привлекло его, может слушать его; если он сейчас не поймет, поймет после. Но я решительно отказываюсь понимать, зачем ему нужна эта глупая ахающая старуха, Писарева – дура, профессор... Я не понимаю, ведь их же всякий другой мог бы удовлетворить. Ах, отчего Ты не здесь? А<нна> Р<удольфовна> не удивилась <бы>, если бы Ты вошел в комнату. Войди!

Да, раньше января, а, может быть, и февраля я не выберусь. Ах, как я устала без Тебя.

* «Господин доктор, можно ли одолеть смерть?» *(нем.)*

Я думаю о любви – это тоска всеобщая, жажда найти свое я, эта иллюзия; ночная бабочка, кот<орая> летит на огонь; как это грустно. Эта грусть и эта неудовлетворенность, и эта страсть так переданы у Родэна, даже в портретах женщин. Любовь проходит и заменяется жалостью и стыдом. Жаль другого, п<отому> ч<то> он увлечен той же ошибкой. У других является ненависть, и это как будто бы месть за увлечение и ошибки. Человек любит всегда свою мечту. Мне грустно, Макс. Раз это сознание есть в любви, есть какая-то грусть.

Дай, я уткнусь в Твое плечо.

Мой Макс, мой Макс.

Да, о бел<ом> бр<атстве> говорить нельзя. То, что Тебе все знакомо, происходит от того, что Ты это знал, говорит А<нна> Р<удольфовна>.

Мне тоже близко это. Но это в детстве все так представлялось. Я теперь очень близка к своему детству.

Мировой зак<он> как привычка кажется мне очень верным, он еще не говорил об этом. Только, думаю я, что не кем-то неизвестным это навязано, что это изнутри. Фатального в мире очень мало. Не странно ли?

А<нна> Р<удольфовна> ужасно огорчена письмом Чуйко и тем, что он пригласил к себе жить Кармина. Она говорит со слезами о нем, что он опустился, что он не тот, что она разочарована и уже с Алешей не может поэтому говорить, как раньше. Я думаю, что она преувеличивает, но его письмо ко мне было тоже такое, что я разогорчилась. Были такие фразы: «Не пойду на Ваши мистические удочки».[7]

«Буду жить всегда с Кармином. Он моя радость и жизнь, я привязался к его beauté* и мне наплевать на то, что будут говорить монпарнасские княгини М<арьи> Але<ксевны>».[8] Я не могу отвечать ему на это письмо. Подожду другой полосы.

Прощай, мой любимый. Что Ты делаешь целый день? Что читаешь? Что пишешь? Кого видаешь? Ты об этом молчишь упорно. Зачем мой портрет у Тебя на столе?[9] Спрячь.

---

* Красота *(фр)*

Я Тебе пошлю то, что хотела, с Нюшей. Этот пакет передаст ей А<нна> Р<удольфовна>. Так что не раскрывай пакет при ней.

Ну, до свиданья.

[1] Написано, судя по содержанию и смысловой соотнесенности с п. 214, вечером в среду (12/25 октября).

[2] Далее Сабашникова пересказывает содержание 23-й лекции «эзотерического цикла», прочитанной 12/25 октября 1905 г. (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 178–190).

[3] Монада (единица) – греческое слово, обозначающее в оккультизме бессмертную сущность человека или, по определению Блаватской, объединенную триаду: атма – буддхи – манас, или дуаду: атма – буддхи (см.: *Блаватская Е.* Теософский словарь. С. 293).

[4] Имеется в виду п. 213.

[5] Е.Ф. Писарева познакомилась со Штейнером в 1903 г., посещала его лекции. С 1905 г. – член Берлинского отделения Теософского общества. Пропагандировала учение Штейнера в России, написала о нем биографический очерк (в кн.: *Штейнер Р.* Путь к посвящению, или Как достигнуть познания высших миров. Пер. с нем. В. Лалетина. Редакция и биографический очерк Е<лены> П<исаревой>. Калуга: <Лотос,> 1911. С. 3–23).

См. о ней: *Тиминский В.* К истории Калужского теософского общества (1909–1929). [1998] // www.theosophy.ru/tskaluga.htm; *Алджео Дж.* Елена Писарева: Биографический очерк [2007; рус. пер. – А. Кирсанова] // http://ligatma.org/articles/article03.html

[6] См. примеч. 3 к п. 209 и примеч. 1 к п. 213.

[7] М.С. Чуйко был действительно равнодушен к философским и религиозно-мистическим исканиям своей эпохи. «Я могу жить – только жизнью, а не ее смыслом, – признавался он в письме к Сабашниковой 7/20 августа 1904 г. – Поэтому мне чужда вся эта мистика бытия» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 109, л. 27). А в письме к М.В. Сабашниковой от 9/22 октября 1905 г. Чуйко восклицал: «Я человек реальный и ни на какие мистические удочки не дамся. Да–а!» (*Там же*, ед. хр. 110, л. 38 об.).

[8] В том же письме Чуйко рассказывал М.В. Сабашниковой: «Со мной живет мой единственный, мой alter ego, моя мечта, моя радость и страдание – мой Carmine. Вы удивлены? Не удивляйтесь. Я до того привык к нему за лето, до того привязался к его beauté <красота. – *фр.*>, что жить без него не в силах. Не знаю, как посмотрят на это наши “княгини Мар<ьи> Алексевны” с Буассонад и Монпарнасов, мне до них дела нет, особенно с ними водиться не намерен, а я очень доволен и счастлив. Все это протекло т<а>к постепенно и т<а>к одно из другого, что Carmine и Макс этим не удивлены и считают это

в порядке вещей» (*Там же*, л. 37; парафразируя грибоедовскую фразу («княгини Марьи Алексевны и т.д.), Чуйко намекает на посетительниц мастерской Е.С. Кругликовой на улице Буассонад и Русского артистического кружка на Монпарнасе, ведущих якобы досужие разговоры и обсуждающих поведение и репутацию обитателей русского Парижа). См. также примеч. 1 к п. 123 и примеч. 6 к п. 177.

[9] Упоминание о фотографии Сабашниковой на столе Волошина см. в п. 213.

217. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

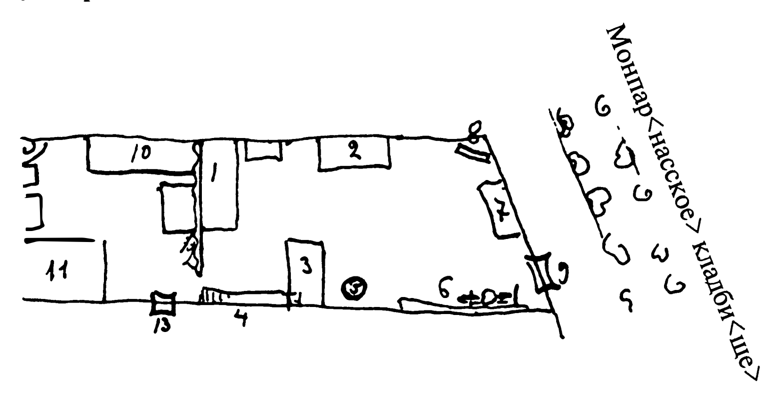
13/26 октября 1905 г. Париж

Четверг. 26 октяб<ря>.

Моя милая, милая, любимая... Все эти дни я полон какимто радостным трепетом – должно быть, это твоя душа трепещет во мне... Я иногда вдруг останавливаюсь среди комнаты и протягиваю к тебе руки и громко зову тебя по имени. Иногда я чувствую, что ты не одна, а с Ан<ной> Рудольф<овной>, и тогда я обращаюсь к Вам обеим вместе... Мои дни теперь идут однообразно, молчаливо и радостно. Я один с утра. Я читаю «Sagesse Antique» и там нахожу все то, о чем ты мне пишешь: дополнения, объяснения. «Christian<isme> ésotér<ique>» я буду читать сейчас же, как кончу ее. Когда я устаю сосредоточиваться над этим, я беру Мишле или Ламартина и читаю о Революции.[1] Перед закатом я часа на два уезжаю за город в холодное осеннее золото и пью воздух, несущийся мне в лицо. Вечером я опять с книгами. Так все эти последние дни. В таком уединении я жил только те дни, когда ты только что уехала из Парижа. Я от книг отрываюсь только чтобы мыслью придти к тебе.

Я читал вчера, что мысли это существа, рожденные человеком, и что жизнь их на астральном плане, и что он может их посылать своей волей куда угодно и к кому угодно. Меня это поразило, потому что я все время делал это мысленно. Ты должна слышать около себя всегда трепет их крыльев, их ласку, их прикосновения.

Ты просишь описания моей комнаты? Ты уже получила зчера ее фотографии с разных сторон? Вот ее план, чтобы разобраться в них.



1) Диван 2) Письмен<ный> стол 3) Стол 4) Книги :) Печка 6) Книги и велосипед 7) Книги и Tête inconnue[2] ;) Зеркало 9) Дверь на B<ouleva>rd Edgar Quinet 10) Соммье[3] 1) Кухня 12) Занавесь и около нее стол 13) Дверь на двор

Она в rez-de-chaussée*. Выход прямо на улицу против Монпарнасского кладбища. Бульвар всегда пустынный, и голые деревья кругом и за стеной кладбища.

Три больших окна – над дверью. На потолке поперек мастерской и над кухней.

Когда я бываю с тобой в сумерки, я всегда сижу в углу на диване, и мне видны окна, за которыми гаснет свет. Я зажигаю огонь только, когда совсем стемнеет. Отсюда мне видна вся комната.

В те минуты, когда тебе грустно и болит голова, – зови меня. Зови громко из глубины души. Я теперь знаю, что услышу, и я сейчас приду – сознательно или бессознательно.

Я думаю, что я вероятно страшно нервен и чуток на астральном плане, и это как-то соединяется с полным спокойствием и равновесием на плане физическом. Ан<на>

---

* Нижний этаж *(фр.)*.

Руд<ольфовна> говорит мне, что это следствие внимания, что я умею сильно сосредоточивать внимание. Но я знаю, что я совсем не умею быть внимательным здесь, на физическом плане. Я теперь часто прямо в отчаянии, до какой степени я не могу следить за своей мыслью. Я никогда <не> выращивал их — они всегда сами приходили откуда-то из глубины.

Я очень чувствую и понимаю о мужском и женском и об этом необходимом противовесе духовного мужского — физическому женскому и наоборот. Это я всегда в себе чувствовал.

Читаешь ли ты о том, что делается в России? Как ты поедешь в Москву? Я ласкаю себя мечтой, что тебе велят пока остаться за границей и ты приедешь в Париж вместе с Нюшей.

Меня снова волнует то, что у меня нет отношения к тому, что делается в России. Я чувствую, что я не имею права не иметь отношения ко всему и в эти моменты. Но мое старое политическое отношение рухнуло окончательно; мне необходимо подойти ко всему с совершенно новой — теперешней — стороны знания. Как это связать с оккультизмом? Какое отношение русская революция имеет к духовному перевороту человечества в эти годы?

Как подойти к ней с эзотерической точки зрения? Я так мало знаю, а время требует немедленного ответа. Я стараюсь ответ найти в «Истор<ии> Фр<анцузской> Революции»,[4] — но там ответ психологический. Как отражаются или чем вызываются на других планах подобные эпохи. У меня есть мгновения, когда мне кажется, что необходимо ехать в Россию. И тогда это сознание неизвестности и потерянности невыносимо. Знаешь, мне кажется иногда, что во мне что-то растет очень глубоко в подсознательном, и что через несколько лет нам с тобой надо будет ехать в Россию за чем-то очень важным.

Я не знаю — это очень смутно.

Сейчас меня опять схватило что-то, и я читаю по 6 газет в день... Если можно — спроси St<einer'a> об России. Спроси,

что надо делать? Что предстоит?.. Найди случай, возможность. Это страшно важно...

Совпадение этого брожения с духовн<ым> переворотом и те ожидания, котор<ые> возлагаются на славян, – это не может быть случайно. Спроси непременно.

Это страшно, страшно важно, ты непременно должна спросить.

[1] Имеются в виду «История Французской революции» Мишле (см. примеч. 5 к п. 159) и восьмитомная «История жирондистов» («Histoire des girondins», 1848) А. де Ламартина (эти книги сохранились в библиотеке Волошина).

[2] См. примеч. 5 к п. 8.

[3] Мягкая широкая кушетка (от *фр.* sommier – матрац).

[4] Речь идет о книге Ж. Мишле.

218. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

14/27 октября 1905 г. Париж

27. Пятница. Утро.

Вчера перед вечером я ездил по окраинам Парижа около укреплений и около Бьевра...[1] Я ужасно давно не видал этого Парижа – Парижа предместий, туманов, осенних огней, облетевших деревьев. Он широко раскинулся грудами серых ступеней и зубцов... И этот холодный стягивающий осенний туман.

Таким я видел Париж в первый раз, когда я приехал сюда 5 лет назад, и вдруг вспомнил и почувствовал его таким. Вся душа затрепетала от любви к нему. Я так давно его не видел. Как странно – я, который всегда жил одним зрением, вдруг почувствовал, что уже много месяцев я не глядел на мир физическими глазами. Что я ужасно давно ничего не видел.

Это была такая сизая, осенняя грусть... Потом я вернулся домой. Были уже глубокие сумерки; и звал тебя, и был около тебя.

Потом пришел мой дв<оюродный> брат, и я весь вечер рассказывал ему об астральном плане по «Sagesse Antique», что на него произвело громадное впечатление.

Только теперь, наконец, из этой книги мне выяснилось истинное значение 7 планов.[2] Я сосредоточивался на каждой странице, распределял себя, находил себя в читанном. До какой степени мне это все близко, знакомо с детства... То, что сначала кажется чуждым, потом встает из глубины и его вспоминаешь... Я чувствую, что моя мечта о том, что все знания надо вспомнить, надо постепенно развернуть свиток, — осуществляется. Я теперь вижу, что все прошлое развитие моей мысли было интуициями и воспоминаниями.

Теперь, когда я начинаю себя распределять по планам, мне сразу становится понятно многое из моральных требований «L<umière> s<ur> Sentier».

Непременно прочти «Sagesse Antique».

Выслать тебе по-французски? Она наверно есть и по-немецки в Берлине.

Получила ли ты экземпляры «L<umière> sur le Sentier»? Сегодня с утра я опять в этой книге.

Я читал сегодня о плане Будди[3] (VI-ой)[4], и меня поразило его описание. Оно совершенно совпадает с моей строфой:

И не было мыслей, ни дум, ни желаний
И не было граней меж «я» и «не я»,
И рос нераздельный вне слов и сознаний
Великий и цельный порыв бытия...[5]

Это теми же словами говорится.[6]

Приходил только что Чуйко... Он начал работать. Ему теперь лучше. Но он еще очень недоволен своей обстановкой.

Неужели ты поедешь в Россию теперь? Это невозможно... Читаешь ли ты, что делается? Как ты относишься к этому...

Я читаю по 10 газет в день. И у меня странное чувство неприличной и неудержимой радости, т.е. не радости, а скорее какого-то беззвучного смеха: в детстве так бывает, когда вдруг разобьешь какую-нибудь ценную вещь или увидишь, как кто-нибудь упал, и вдруг охватывает какое-то дикое вол-

нение, которое выражается смехом, хотя смеяться совсем нечему. Чувствуешь все неприличие и не можешь удержаться.

Со мной так бывало... И нечто подобное я замечаю в себе теперь... Инстинктивная радость, когда что-нибудь сломано. Я не понимаю, откуда это и почему это и не нахожу причин.

Моя милая, милая девочка... Моя Аморя...

[1] Бьевр (Bièvre) – небольшая река (длиной менее 40 км.); в начале XX в. впадала в Сену в самом центре Парижа (недалеко от моста Аустерлиц). Впоследствии парижская часть Бьевра была засыпана и по ней проложена улица, носящяя то же название.

[2] Излагая основы теософской доктрины, А. Безант различает семь планов или семь ступеней мирового бытия: физический, астральный, деваханический или ментальный, план буддхи, план нирваны, план паринирваны и план махапаринирваны.

[3] Правильно: Буддхи (*санскр.*) – вселенская душа, разум, мудрость.

[4] О «плане буддхи» повествует шестая глава книги А. Безант «Древняя мудрость», озаглавленная «Духовные сферы (Буддхи и Нирвана)».

[5] Из стихотворения Волошина «И с каждым мгновеньем, как ты отдалялась...» (1905); см.: Т. 2 наст. изд. С. 395 и 698. Первая и последняя строки в данном письме изменены по отношению к первой редакции (ср. п. 126).

[6] Характеризуя духовную сферу Вселенной, именуемую Буддхи, А. Безант подчеркивала, что в этой сфере «все еще продолжается двойственность, но <...> уже нет разъединения» (*Безант А.* Древняя мудрость. (Очерк теософских учений). / Пер.с англ. Е.Ф. Писаревой. М.: Изд-во Духовной литературы / Сфера, 2000. С. 190). Развивая эту мысль, А. Безант писала далее о «нирваническом состоянии», представляющем собой свободу, совершенство и «антитезу уничтожению»: «Интеллект есть начало разъединяющее в человеке, он различает *я* от *не-я*, он сознает только одного себя, а все остальное мыслит как внешнее и чуждое для себя. Это начало борющееся, враждующее, самоутверждающееся <...> В человеке лишь его интеллект по природе своей склонен к вражде, ибо он утверждает себя как величину отдельную от всех остальных, и именно *в нем заключается корень разъединения*, вечно возобновляющийся корень отчуждения человека от человека. Но как только человек вступает в сферу Буд-

дхи, он немедленно начинает чувствовать единство <...> Все великие основатели религий действовали из этой сферы единства и отличались всегда великим состраданием и нежностью, отзываясь на все внешние и внутренние нужды людей. Сознание этого внутреннего единства, признание единого Я, пребывающего во всем, есть единственное незыблемое основание братства; все остальное изменчиво» (*Там же.* С. 195–196).

219. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

14/27 октября 1905 г. Берлин

Пятница. 1905 г.
27 октября. Берлин.

Мы в таком отчаянии. *Шт<ейнер>* на лекции говорит поразительные вещи о зародышах мысли, об атоме, о белой ложе. M-me Писарева его перебивает и подробно расспрашивает, как сделана бел<ая> лож<а>. Ты не можешь себе представить этого мучения. Ей нужно знать подробный рецепт «можно ли ее видеть?». «Из какого она материала?». Это музыка, символ, а им нужно кухню. Зачем, откуда у него это терпение. Он подробно объясняет, почему об этом нельзя спрашивать. Он теперь обращается все время к ней: «Это понятно?» Ее отвратительный голос перебивает его. Эта жаба по наружности и глупее глупого, при этом позирует, рисуется.

Какая пиявка, клещ. Она отравляет все лекции теперь. Решили предложить ставить вопросы после лекций, другие приняли к сведению, она не унялась и теперь это диалог между Им и ей. Я не понимаю, не понимаю его целей. Разве он не видит, что это безнадежно, что им нужны рецепты и кухонные книги, что все его слова пропадают.

Искусство одно эзотерично и не пускает к себе этих уродов. Зачем, что за польза в том, что она будет говорить и рассуждать, как создан мир.

Анна Р<удольфовна> так раздражена, что не может слушать. Он спросил меня и Алешу умоляющим голосом: «Для непривыкшего человека трудно это понимать, это фанта-

стично кажется, но вас это все-таки интересует?» – Неужели он не чувствует, как мы слушаем. Если он не чувствует, то наши ответы, ja, o, ja,* совершенно ничего не говорят. Какое мучение. Frl. Maria вышла и заплакала.

Писарева стала рассказывать ему про Россию. Он сказал: «Завтра начнется». – «Нет сегодня», – возразила она... «Завтра». И это он не в газетах прочел. Она лезла к нему: «В каком смысле Вы сказали, что это будет продолжаться 20 лет». – «Я полагаю, тут может быть один смысл; революция будет продолжаться 20 лет». Она рисовалась перед ним, ужасалась...

Ты спрашиваешь, что говорит *Шт<ейнер>* о России. При мне он не говорил, но вчера вечером А<нна> Р<удольфовна> сообщала мне, что всё ждут от России. Тебе она скажет сама, я не могу; я сидела с опущенными глазами и не смела пошевельнуться, почему она мне это говорила, не знаю.

Мне кажется, мне дан теперь священный сосуд. Попрежнему жить, зная то, что я знаю, нельзя. У Тебя есть воспоминания и предчувствия. Когда я прочла А<нне> Р<удольфовне> то место, где Ты пишешь о России,[1] она сказала: «Как странно, как странно»...

Когда говорили про теософское движение в России, он обратился к А<нне> Р<удольфовне> и сказал: «Вы и те, кто с Вами».[2] Она сказала: «У меня никого нет». – «Правда?»

Ты спрашиваешь тоже, как А<нна> Р<удольфовна> говорит о Шт<ейнере>: с страшным волнением, с любовью и уважением. Я спросила ее, не находит ли она, что Ты похож на кн<язя> Мышкина. – «Нет, он гораздо сильнее, кн<язь> М<ышкин> был болен, у него была слабость, у Макса одна сила. Он страшно силен». Я спросила его, что значит разделение двух линий.[3] «Это бывает очень редко; это было у Франциска Ассизского».

---

* Да, о да *(нем.)*.

Вот Ты у меня какой; мне даже страшно. Раньше мне всегда казалось, что другие такие земные и что я далека от этого, а теперь сравнительно с вами я себя чувствую такой маленькой, глупой и ушедшей в земное. Милый мой Макс, приедешь ли Ты? Бог знает теперь, как мы доберемся до России. А<нна> Р<удольфовна>, кот<орая> теперь очень спокойна и бодра, измыслила путь на Ригу, Орел и из Орла на лошадях. Но это она хочет поехать и уверяет, что с ней ничего не будет, а мне, говорит, лучше ехать в Париж. Сообщения с Москвой нет, даже телеграфного, т<ак> ч<то> про наших я ничего не знаю. У меня странное спокойствие и фатализм. Будет что будет, предпринимать я ничего не могу. Мы здесь живем как-то вне времени и пространства.

Приедешь ли, любимый мой?

Делай, как знаешь.

Ш<тейнера> Ты не увидишь, Т.е. Ты-то его увидишь (он читает раз в неделю публичные лекции),[4] но он теперь так утомлен, что едва ли он смотрит на людей, т<ак> ч<то> А<нна> Р<удольфовна> не из-за него звала Тебя. Мне грустно, что я не понимаю его; не понимаю его целей.

Отчего Ты не понимаешь сознания растения, оно в другом плане, как у спящего человека; тело его здесь; сознание здесь. Так и растения; у них сознание не сошло до физического плана, ведь это не значит, что оно выше. Идиоты и растения видят картины мира, но не сознают их.

Вчера мы были вечером на публичной лекции его.[5] Он говорил о социальном вопросе, и вот что было интересно: египетские рабы спокойно погибали под пирамидами – они знали, что эта жизнь – один миг, что они будут еще тысячу раз жить. Жизнь обесценивалась. Христианство закрыло тайну перевоплощения. Его задачей было возвысить в цене эту жизнь. Люди поняли только, что они равны перед Богом; матерьялизм закрыл загробную жизнь, чтобы люди поняли, что и в земной жизни они должны пользоваться всем. Мне кажется, я верно поняла его мысль. Мне кажется, цена Нитше в этом же. *Ш<тейнер>* с страшным волнением и нежностью произнес имя сначала St. Simon, а потом Фурье. Он сказал, что Фурье – великий теософ. Когда он выговорил имя St. Simon,

шепотом, закрыв глаза, мне стало страшно. Я сказала А<нне> Р<удольфовне>: «Что-то подозрительно, что-то тут есть».[6]

Сейчас А<нна> Р<удольфовна> говорила о Шильдере, кот<орого> лично знала, о многом. Расспроси ее.

Ну, до свидания, милый мой.

Целую Тебя, мой хороший. Да, между нами еще что-то новое.

Прощай, мой Макс. Приедешь ли Ты? Здесь будет комната.

[1] См. п. 215.

[2] Штейнер, как известно, возлагал особые надежды на Россию, полагая, что русские предрасположены к восприятию теософской доктрины в большей степени, чем прагматический Запад. «Штейнер ищет теперь русских, потому что в настоящее время Россия – славянство должны стать ковчегом тайной науки», – рассказывал Волошин в письме к А.М. Петровой 1/14 марта 1906 г. (см.: Т. 9 наст. изд. С. 232).

[3] Видимо, разделение «линий воли» на ладони. Присутствие у него этого «разделения» Волошин отмечает в стихотворении, обращенном к Марине Цветаевой: «Раскрыв ладонь, плечо склонила...» (1910).

[4] См. примеч. 5 к п. 204.

[5] Вечером 13/26 октября Штейнер читал в Доме архитекторов лекцию «Социальный вопрос и теософия».

[6] Точный текст лекции неизвестен, однако 18 февраля / 2 марта 1908 г. Штейнер прочитал в Гамбурге доклад под аналогичным названием (см.: *Steiner R.* Die Welträtsel und die Anthroposophie. S. 80–104). Имена Фурье и Сен-Симона в опубликованном тексте отсутствуют.

220. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

15/ 28 октября 1905 г. Париж

Суббота. 28.

Вчера в сумерках я был не у себя, а в Венсенском лесу. Я был на берегу озера и со страшной четкостью вспоминал, как мы были там вместе.[1] Помнишь ночью, когда мы сидели на краю воды и потом, когда я освещал твое лицо. Я его никогда не видал таким бесконечно милым, как тогда.

Теперь были густые сизые сумерки, и стоял осенний лес. Вот теперь только осень входит в мою душу. Когда ты в Цюрихе трепетала осенью, в Париже ее еще не было. Теперь пришли туманы и хризантемы.

Я перед закатом объезжаю Париж по укреплениям... Как я люблю его таким.

Когда я вернулся, пришел Чуйко. Он очень расстроен и смутен. Его мучит, очевидно, неполучение ответа из дому, то, что он никак не может устроиться. Потом у него страшная реакция против Ан<ны> Руд<ольфовны>. Он был очень возбужден, говорил, что она его измучила, что он ее ненавидит, что он человек реальностей, что вот она так же и Мар<гариту> Вас<ильевну> измучит и т.д. Я его страшно понимал, но не мог ничем его успокоить.[2] Это припадок, реакция – такой же, как был у меня в Цюрихе, когда я тебе каялся во время солнечного затмения. Этому надо дать время пройти. Это неизбежно. Никто не в состоянии выносить постоянно того неугасимого пламени, которое горит в Ан<не> Руд<ольфовне>. Нужен отдых. А так как равнодушия к ней не может быть, то эта реакция неизбежно превращает любовь во враждебность. Это пройдет у него. И когда это у тебя случится, – а это случится, как только ты устанешь от впечатлений – не бойся этого.

При Мих<аиле> Самойл<овиче> пришло твое письмо.[3] Я его хотел спрятать, но он потребовал, чтобы я прочел его при нем. Когда я прочел, он спросил: «Пишет что-нибудь обо мне?» Я ему сказал, что ты пишешь, что его письмо очень холодно и что ты не знаешь, как отвечать. Он начал возмущаться, говорил, что бедную девушку сведут с ума и т.д. Он ушел в негодовании и волнении. Я думаю, что он напишет тебе и успокоится. Он очень изнервничался и утомился. Напиши ему поскорее и поласковее, не обращая внимания на его письма. Ан<на> Руд<ольфовна> ошибается, говоря, что он изменился. Она бессознательно чувствует враждебность его к ней в настоящую минуту.

И ты, и Ан<на> Руд<ольфовна> одновременно зовете меня в Берлин. Я все время об этом и сам думаю. Но в числе многих причин, не отпускающих меня, есть одна неустранимая – отсутствие денег в настоящую минуту.

Есть одна возможность – если она осуществится в течение этих дней, то я приеду непременно – но это очень мало вероятно.

Это затишье пред кровопролитием, это томление посреди грозы, эти телеграммы – все волнует страшно. Вчера я видел Алекс<андру> Вас<ильевну>. Она за эти дни изменилась, как после тяжелой болезни. Физическая усталость ее делает совсем старухой.

Вчера у Ан<ни> Безант в главе о «перевоплощении» я нашел поразительную страницу об детстве.[4] Она говорит, что в детстве сознание в большей степени находится на астральном плане, чем на физическом, а к семи годам приблизительно переходит на план физический. Так она объясняет детские игры и детские фантазии.

Какой неожиданный и поразительный смысл приобретают с этой точки зрения слова: «Если не будете, как дети...»[5]

Она говорит о том, как важно понимание значения перевоплощений для обращения с детьми.[6]

Моя милая, милая, любимая...

Ты так грустно пишешь о любви... Я это все сознаю, но это именно я и люблю в нашей любви... И у меня есть грусть... Но я думаю, что эта грусть – это ультрафиолетовые лучи счастья...

В этом есть какая-то сиротливость холодного вечера... Хочется теснее прижаться друг к другу. Это сиротливость, а не жалость...

Это «старая и милая дырявая Майа»... Осенняя Майа мира...

Я не успею сегодня ответить Ан<не> Руд<ольфовне>. Посылаю для нее мою карточку, кот<орую> она просила. Напиши поскорее Чуйко. Ему это очень, очень нужно теперь. Он очень мучится и путается. Да не упоминай ни о чем мистическом, его это сейчас очень раздражает...

[1] Волошин и Сабашникова посетили Венсенский парк вечером 3/16 июня 1904 г. (см. примеч. 10 к п. 13).

[2] См. примеч. 4 к п. 116.

[3] Имеется в виду п. 214.

[4] Речь идет о VII главе в книге А. Безант «Древняя мудрость».

[5] См. примеч. 2 к п. 1.

[6] См. *Безант А*. Древняя мудрость. (Очерк теософских учений). С. 230–231 и др.

221. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

15/ 28 октября 1905 г. Берлин

Берлин. Суббота.

Милый, сейчас утром получила Твое письмо. Целую Тебя. Теперь я уверена, что Ты приедешь, и мы ждем Тебя. Я совсем не знаю, как мы проедем в Россию. Никаких дорог нет. Что-то сегодня там делается. Россия будет тем полем битвы светлых и темных сил. От нее зависит судьба земли. Знаешь, мало себя спасать. Каждый будет спасен, но нужно землю спасать. Апокалипсис говорит о спасении земли.[1] Я знаю, что Твое предчувствие верно, что Тебе предстоит большое дело. «Только бодрствовать, надо бодрствовать», — говорит Ш<тейнер>. Какая-то страшная торжественная минута наступает. Я бы хотела, чтобы у меня хватило сил; я боюсь себя. Как я люблю Тебя, мой милый. Знаешь, я думаю, что при старых обыденных условиях наша близость была бы не тем. Я сейчас совершенно не думаю о будущем как о продолжении прежней жизни. Я жду катастрофы. Не знаю какой, но я спокойна. Милый мой, я так уверена, что Ты приедешь, что уже не могу много писать Тебе. *Шт<ейнер>* просил А<нну> Р<удольфовну> через Frl. Шолль, чтобы она сейчас не ехала в

Россию. Вчера Frl. Шолль читала нам о четвертом измерении и демонстрировала наглядно на бумаге; вырезала длинную

полосу и склеила, сначала один обруч просто,

потом другой, повернув на половину конец

и т.д., все больше и больше вертя бумагу, затем разрезала пополам вдоль эти ленты: из первого получились два обруча, из второго один (Ты понимаешь, п<отому> ч<то> концы продолжали один другого) и т.д. От каждого поворота получалось все разное. Это трудно объяснить, я покажу Тебе, когда Ты приедешь. Если принять, что каждый поворот – ритм, то понятно, что от изменения ритма изменяется совершенно форма; но все это получается из единства. Измерения – иллюзии, обусловленные сгущением, уплотнением материи. С точки зрения трех измерений тела непроницаемы. Четвертое измерение, измерение внутрь – промежуток между атомами, кот<орые> не соприкасаются и двигают<ся> сами в себе, вибрируют.[2]

Так что, изволите ли видеть, четвертое измерение не есть время, как Вы изволили утверждать.[3]

А что ж такое время, по-моему, как не иллюзия, обусловленная тоже уплотнением материи. Может, это пятое измерение? Но этого я не знаю. Да и рассуждать об этом умом мне кажется просто неважным, нужно иначе понять. Это ваш женский ум может с этим возиться, наш мужской любит интуицию и перескакивает через вашу женскую логику. Она еще говорила о ритме и о симметрии. Симметрия – отражение. И всегда бывает так: из одного рождается другое, из двух рождается третье, не симметричное. 3 логоса.

Понятно ли?

Законы природы – ритм. Когда человек овладевает ритмом, он творит сам законы, он владыка. Будет время, когда человек переработает всю землю. То, что будет расти в следующем периоде, будет создано им. Готические церкви будут

расти. Будут расти машины (какой ужас). Мы творим будущую природу. Будут те облака, кот<орые> мы рисуем. Видишь, как плохо небрежно рисовать. Какая ответственность.

Ну, до свидания, милый мой. А<нна> Р<удольфовна> плохо себя чувствует, хотя, кажется, очень счастлива. Вчера часов в 7, в 8 мы были вместе, она лежала, у нее болело сердце. Вдруг она спросила: – «Что, у него есть диван в комнате?» – «Да». – «Как странно, как странно...» – «Что?» – «Опять рядом с ним огонь, синий... – Но зеркало, то зеркало – оно тут же?» – «Не знаю».

Я знаю теперь Твою комнату. Скажи, Ты пишешь иногда вечером или писал за другим столом, не за письменным? А где Ты спишь? С Вашим ясновидением я чувствую себя слепой. Точно вокруг что-то происходит, а я не знаю.

Целую Тебя. Приедешь ли Ты? Когда вы провожали А<нну> Р<удольфовну>,[4] она почувствовала, что одного из вас она больше никогда не увидит. Приезжай, Макс.

[1] Вероятно, имеется в виду евангельское пророчество о Новом Иерусалиме: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...» (Откр. XXI, 1).

[2] См. примеч. 13 к п. 7, п. 29 и примеч. 10 и 11 к п. 200.

[3] Однако ранее Сабашникова вполне разделяла это суждение Волошина. «Мне приходит в голову, что время – четвертое измерение», – писала она в своем дневнике 23 марта / 5 апреля 1903 г. (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 21, л. 9 об.).

[4] Волошин провожал А.Р. Минцлову в Берлин 11/24 сентября 1905 г. вместе с М.С. Чуйко (см.: Труды и дни. С. 146).

222. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

15/ 28–16/ 29 октября 1905 г. Париж

28 октября 1905. Суббота. Ночь.

Моя милая, милая девочка! Сейчас поздняя ночь. Я вернулся усталый. Но нашел твое письмо[1] и вот не могу спать. Я целый день ждал письма и думал уже, что оно не придет. Я все время то с тобой, то с вами. Но иногда я хочу придти

к Вам и чувствую невозможность. Верно, я могу быть с вами обеими только, когда вы говорите обо мне, а когда негодуете на M-me Писареву, я не могу прийти. Несколько раз в эти дни я натыкался на такую невозможность.

Я все что-то чувствую, но никогда наверно не знаю, где это – во мне? или у тебя? Ужасно тяжело быть слепым. Или уже ничего не знать и не чувствовать, или же научиться различать «я» от «не я». А в этой области у меня нет этого различия – до ужаса нет.

Я читаю и перечитываю твое письмо и страшно волнуюсь. Несколько слов о России, сказанные St<einer'ом>... Они так важны... Я с утра отравляюсь газетными телеграммами. Это страшно вредно. Мысль загрязнена на целый день. Больше уже ни на чем нельзя сосредоточить внимание.

Тебе нельзя ехать в Россию. Я понимаю Ан<ну> Руд<ольфовну>. Она может. Она вполне безопасна. Она пройдет везде, потому что ее охраняет огонь безумия. А тебя убьет мужик. Я боюсь за тебя... Аморя, милая, если есть возможность, если нет чувства, которое неотзывно зовет тебя, то не поезжай. Если есть это чувство, то я не буду тебя уговаривать.

Но прислушайся внутри. Когда я представляю тебя в России, мне все вспоминается Лиза в «Бесах», когда она ночью бежит.[2] Когда Ан<на> Никол<аевна> выезжает в Париж? Что говорит она? Куда едет Алеша? Как мне хочется теперь в Берлин.

Ни у кого из моих знакомых нет денег, а я свои отдал взаймы все. И есть еще, кроме того, еще затруднения. Но у меня есть одна надежда. Если она исполнится, я буду в Берлине... Но сколько дней еще может пройти, я не знаю. Но как я приеду, если Ан<на> Ник<олаевна> в Берлине? Как объяснить мой приезд? Об этом надо подумать.

Сегодня я не видел Мих<аила> Сам<ойловича>. Я об нем очень беспокоюсь. Заходил к нему, его не было. Непременно напиши ему и поскорее. Ему очень нужно письмо от тебя. Случайно он видел несколько раз, как приходили твои письма, и хотя он не знает, что ты пишешь мне каждый день, он все-таки, кажется, очень этим мучится.

Моя милая, милая... Приди ко мне...

Ляг ко мне на плечо... Послушай... Я ведь вовсе не такой сильный... Ко мне пришли Бог весть откуда силы и воспоминания... Но это все в прошлом. Я еще ничего не сделал сам теперь своей волей... У меня только возможности, а возможности это требования. Милая моя – вся моя сила в тебе. Ты только можешь мне помочь исполнить всё... Ты мне укажешь.

Ты никогда не оставишь меня... Теперь я чувствую – не знаю, а чувствую, что мы пойдем вместе и вместе подойдем к дверям храма...

И что отдельно мы не можем... И через жизнь и через смерть... Я чувствую сейчас твое физическое прикосновение. Чувствуешь, как я тихо-тихо глажу твои волосы?.. Я склоняюсь перед тобой до земли... Я целую ноги твои...

Войди в меня... Будь моим духом... Моим огнем... вечным, неугасимым...

Утро. Воскресенье.

Доброе утро, моя милая девочка. Сейчас я пошлю это письмо.

Я с утра уже перечитал все газеты. Все замерло. Никаких новостей.

То, что кровь не льется еще, – это еще более страшно... St<einer> говорил, что в субботу начнется?.. Это молчание в этот день еще более жутко... Эти минуты равновесия в смерти... Точно что-то решается вне этого плана...

Я понимаю, как у растений сознание на другом плане. Но я не понимаю, как сознание идет по планам в мировой эволюции. Сверху или снизу. Завоевание ли то, что у нас сознание на физическом плане, или это первая ступень. И что такое *это* сознание?.. Мне это очень смутно выясняется...

[1] См. п. 219.

[2] Имеется в виду эпизод романа Достоевского «Бесы»: бегство Лизы (Лизаветы Николаевны Тушиной) к Ставрогину, оказавшееся для нее роковым (часть третья, главы вторая и третья).

223. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

16/29 – 17/30 октября 1905 г. Париж

29. Воскресенье. Сумерки.

Аморя, милая моя, любимая... что с тобой сейчас? У меня вот уже несколько часов началась беспричинная, щемящая тоска... Что-то с тобой... Тебе смутно? Мне хочется остаться с тобой. Но у меня сейчас люди: мой брат с какими-то анархистами.[1] Они обедают за занавеской. Это меня страшно раздражает. Я не могу уйти, отделиться... Я закрываю глаза, но голоса и звуки связывают мою мысль. Аморя, что с тобой?..

Вот они ушли... Моя милая девочка, приди ко мне... Ты никакого письма не получила? Ты беспокоишься о том, что в Москве?.. Я не могу разобрать, что с тобой, но душа надрывается о тебе.. Дай мне руку... Вот я чувствую ее... тоненькую, холодную, бледную... Я мучительно люблю твои пальцы... Они мне первые сказали о тебе... Они заговорили тогда, когда уста конфузились и слова путались... Положи мне руки на лицо... Я буду целовать их. Я буду их греть... Моя бедная девочка...

Если б я мог знать, что с тобой... Но ты сейчас и обо мне думаешь... Что я могу сделать? Ты ведь уже взяла мою душу... Она с тобой. Поэтому я чувствую это...

У меня слезы наворачиваются от тоски...

...Вот сейчас я закрыл глаза и ушел внутрь и к тебе. Я послал тебе волны моей силы... Тебе лучше? Мне показалось, что тебе сразу стало лучше... Аморя, девочка моя, не будь печальной... Все будет хорошо, что бы ни было.

Ночь.

Вот сейчас у меня все прошло. Все радостно и ясно. Я сейчас читал главу о Карме.[2] Там есть фраза:

«Это (необходимость теперь же сознательно заплатить старый кармический долг) может часто объяснить необъяснимое поведение оккультиста. Например, если человек великого знания тесно связан с какой-нибудь особой, которую

несведущие зрители считают совершенно недостойной его общества, это доказывает, что он просто желает уплатить кармический долг, который без этого может задержать его совершенствование».[3]

Я невольно подумал о M-me Писаревой и твоем недоумении и негодовании.

В этой главе Ан<ни> Безант как раз говорит именно о том, что тебя так интересовало: об перевоплощении и наследственности – как связана физическая наследственность с кармой и с новыми воплощениями.

Это тебе надо непременно прочесть.

Спи спокойно, моя милая, милая девочка...

Я посылаю тебе волны моего благословения и радости... Я знаю, что они дойдут к тебе...

Что было с тобой сегодня днем и в сумерки?

Понедельник. Утро.

Здравствуй, моя милая, хорошая девочка. Твое письмо сегодня разбудило меня,[4] и твои слова хлынули утренним светом в мое сердце... Дай мне прижать тебя крепко, крепко...

У меня опять настала какая-то радость, но все время среди дня проходят по душе полосы какой-то смуты, но не моей. Напиши, что с тобой было вчера перед вечером и что было с Ан<ной> Руд<ольфовной>? Спроси ее. Но мне кажется, что это к тебе относилось.

Что надо делать для России, если она – поле борьбы всемирной. Надо знать ее Карму и мировую Карму.

В субботу утром... Да... это было в субботу утром или в пятницу вечером? Я не помню ясно. Я сосредоточивал свои мысли на России. Это было, может, страшно наивно и ребячливо, но мне вдруг захотелось установить связь с теми, от кого зависит непосредственный шаг в будущее: с Треповым и Николаем...[5] Но я не знал, какое желание послать... Я не знал, что можно теперь пожелать России. И я посылал только общую силу спокойствия и радости... Почему-то я тогда больше всего думал о Трепове...[6] Я не знаю, почему это пришло мне в голову.

Если бы я знал и мог управлять моей силой... Без знания это кажется таким наивным, что мне стыдно тебе писать об этом.

Мое зеркало не рядом с диваном – оно в другом углу. Я почти всегда вечером сижу за письменным столом. На другом столе иногда пью чай. Там нельзя писать, потому что газ только у письмен<ного> стола. Днем же, бывает, я пишу там. Я сплю на диване, который в большой комнате. Там же сижу всегда в углу, где ковер на стене, в сумерки, когда думаю о тебе...

У меня мало надежды приехать: я почти все деньги, какие у меня были, отдал взаймы, и теперь у меня нет надежды их получить скоро. А занять не у кого и из России выписать нельзя. Есть одна возможность, но если она исполнится, это будет почти чудо... Но я его жду.

Как страшно, если все наши картины вырастут... Если все «Салоны» оживут, ты представь только... Этого нельзя допустить... Это слишком ужасно...

[1] Я.А. Глотов принадлежал к партии социалистов-революционеров и принимал участие в их деятельности.

[2] Имеется в виду глава «IX. О Карме» в книге А. Безант «Древняя мудрость».

[3] Ср. в русском переводе Е.Ф.Писаревой (приводится в расширенном виде): «Стремящийся к освобождению может быть задержан также и обязательствами, которые он создал относительно других душ в прошлом; злом, которое он причинял им, или долгами, которые еще не удалось уплатить. <...> Странные и поразительные поступки, которые встречаются в жизни оккультистов, исходят иногда из этого источника: оккультист входит сознательно в тесное общение с определенной личностью, связь с которой невежественные наблюдатели и критики считают унизительной для него; но, вооруженный знанием, он продолжает спокойно выплачивать свой кармический долг, который иначе задержал бы его надолго» (Цит. по: *Безант А.* Древняя мудрость. (Очерк теософских учений). С. 293–294).

[4] См. п. 221.

[5] Имеется в виду Николай II.

[6] Д.Ф. Трепов получил известность как усмиритель всероссийской политической стачки (октябрь 1905 г.), издавший приказ «Холостых залпов не давать!»

224. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

17/30 октября 1905 г. Берлин

Понедельник. Утро.

Письма от пятницы и субботы пришли сейчас. Ты не можешь приехать?.. Сделай все возможное. Я не для себя прошу, хотя я не знаю, когда мы увидимся, но мы увидимся, с А<нной> Р<удольфовной>.... Мне очень страшно, Макс. Ты должен ее еще раз увидать. Только с ней Ты можешь прочесть «La doctrine secrète» и Тианск<ого>.[1] Не начинай без нее. Она едет, во всяком случае, в Россию. С ней происходят странные вещи. Она теряет сознание на несколько часов, это не сон, это очень опасно. Она чувствует Твою руку на плече и потом теряет сознание. Она думает, что тогда Ты приходишь и требуешь, чтобы она сняла эту цепь, но она тогда ничего не может сделать. Не делай этого издали. Она говорит, что она постепенно это сделает, когда Ты будешь здесь. Она сейчас страшно расстроена, она говорит, что Ты не приедешь, как тогда, когда в Цюрихе Ты был, и ей нужно было Тебя,[2] что это фатально.

Имени Чуйко она без горечи не может слышать. Она с Алешей не может говорить из-за того, что боится повторения с Ч<уйко>.

Как я отношусь к тому, что делается в России. Мне кажется, может быть только одно преклонение перед величием народа, голодного, кот<орый> решил умереть с голода и уморить с голода для будущего; то, что не грабят, это единодушие, эта тишина. Точно слепой Самсон подымает колонну храма.[3] Было ли где-нибудь что-нибудь подобное.

Относительно своей судьбы.... Я послала телеграмму Permettez revenir par mer Petersbourg Moscou ou partir Paris.* Но кто знает, когда я получу ответ. Я хочу работать. Я устала.

* Разрешите вернуться морем Петербург Москву или поехать в Париж *(фр.)*.

Меня удручает Нюша своими молчаливыми слезами. Мы ее возмущаем «тоном», а каким – Бог весть.

Знаешь ли Ты, что солнечный свет застывший – золото; а серебро – элемент с луны, застывший лунный свет. – Меркурий еще не застыл, он застынет в 6-ой расе. Золотой, серебряный век – это не слова, это солнце, луна. Железо – с Марса, раньше у людей была холодная кровь. Теплая кровь является вместе с элементом с Марса. Марс вмешивается в борьбу Иеговы с Люцифером и уравнивает силы. Нет, дитя, не буду тебе об этом писать.[4] У меня глазки болят.

Мне что-то смутно. Твои портреты мне не нравятся. Неужто Ты такой? Я бы хотела, чтобы Ты мне послал «Sagesse Antique» с твоими отметками, если Ты этого сделать не можешь, то у меня есть немецкое издание.[5] «L<umière> sur S<entir>» не получила. Приезжай, достань денег. Верно теперь у всех безденежье?

Я не для себя прошу Тебя приехать, но мне за А<нну> Р<удольфовну> страшно.

Шт<ейнер> осаждаем каргами и для др<угих> невидим.

Я страстно хочу работать, у меня nostalgie*.

Прощай, деточка, целую тебя.

Сейчас Frl. Шоль принесла телеграмму относительно того, что Витте – диктатор, военное положение снято.[6] Что-то будет. Мы радостно взволнова<ны>.[7]

[1] Возможно, имеется в виду изд.: Apollonius de Tyana. Sa vie, ses voyages, ses prodiges par Philostrate et ses lettres. Ouvrage traduit du grec avec introduction, notes et éclaircissements par A. Chassang. Paris: Didier et C-ie, 1862. Новейший русский перевод: Флавий Филострат. Жизнь Аполлония Тианского / Изд. подгот. Е. Рабинович. М.: Наука, 1985 (Лит. памятники).

[2] Речь идет о пребывании Волошина в Цюрихе с 22 июля / 4 августа по 5/18 августа 1905 г.

[3] Ветхозаветный эпизод: слепой Самсон, один из судей Израилевых, попавший в плен к филистимлянам, сдвигает с места столбы, на которых держится дом, и гибнет вместе с вражеской толпой под его развалинами (Суд. XVI, 23–30).

* Томление, тяготение, тоска *(фр.)*.

[4] Сабашникова пересказывает отдельные положения 26-й лекции «эзотерического цикла», прочитанной 15/28 октября 1905 г. (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 203–211).

[5] Вероятно, Сабашникова располагала только что изданным немецким переводом «Древней мудрости»: *Besant A.* Die uralte Weisheit. Die Lehren der Theosophie, kurz dargestellt. 2., neu durchgesehene Auflage der autorisierten deutschen Übersetzung von Ludwig Deinhard. Leipzig: Th. Gieben, 1905 (1-е изд. – 1898).

[6] 17/30 октября, одновременно с подписанием (подготовленного под руководством С.Ю. Витте) манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка», было объявлено о назначении Витте на пост председателя только что созданного Совета министров (официальное назначение состоялось спустя несколько дней).

[7] Определенная часть российского общества связывала с назначением Витте надежды на демократические реформы и ослабление революционной волны.

225. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

18/31 октября 1905г. Париж

31. Вторник. Утро.

Кажется... Кажется, я приеду... Средства – тайна изобретателя и при том очень глубокая тайна (это *очень* серизно). Не говори никому о моем приезде, кроме Ан<ны> Руд<ольфовны>.

Не надо, чтобы никто из русских знал о моем приезде. Мне поэтому нельзя будет остановиться в Вашем пансионе. И, может, никто, кроме Вас обеих, не должен знать о моем присутствии. Впрочем, я еще не знаю. Теперь я не смогу тебе объяснить всей этой таинственности.

Но зато это почти навер<н>о. И выеду я завтра или послезавтра. Боюсь толь<ко>, чтобы сложность моего изобретения не перепутала всего. Предупреди Ан<ну> Руд<ольфовну>.

Моя милая, милая девочка... Не забудь только, что когда мы встретимся, опять наступят мгновенья страшно мучительные, как при всех наших первых встречах.. Это надо помнить

и заранее укрепить и приготовить свое сердце... Особенно теперь, когда мы встретимся в городе и нам нельзя будет остаться наедине.

Вчера у меня был целый день визитов.

Прежде всего, пришла молодая толстая дама с письмом одного знакомого... Она долго сидела, говорила, что поступает на юридический факультет и т.д. Наконец, уходя, она вдруг спросила о тебе. И оказалось, что она твоя родственница Нина Евгеньевна Остроумова,[1] и тогда я вдруг разглядел, что она совсем не дама, а существо в высшей степени юное и наивное, только что кончившее гимназию...

Я к ней неожиданно почувствовал симпатию, а она мне начала подробно рассказывать про гимназию, про своего брата,[2] про семью и говорила часа три... Я с удивлением потом заметил, что я уже много лет не слушал с таким вниманием разговора о таких простых житейских вещах.

Она очень ждет приезда Ан<ны> Никол<аевны>, которая ей должна передать что-то.

О тебе и о Вашей семье она говорила с каким-то удивительным глубоким почтением.

Сейчас мне надо ехать в разные концы города. До свидания. Я вечером буду писать тебе.

Вчера ночью я получил письмо от Ан<ны> Рудол<ьфовны>.[3] Я отвечу ей сегодня или завтра.

До свиданья.

[1] Н.Е. Остроумова была внучкой Иннокентия Никитича (1832–1870-е) и Марии Матвеевны Сабашниковых. Их дочь Софья вышла замуж за московского врача Евгения Остроумова.

[2] Лев Евгеньевич Остроумов (1892–1995), поэт, прозаик, детский писатель, переводчик (Бодлера, немецких поэтов и др.); С 1925 г. – близкий знакомый и корреспондент Волошина; в 1930-е гг. – составитель его «полного» собрания стихотворений.

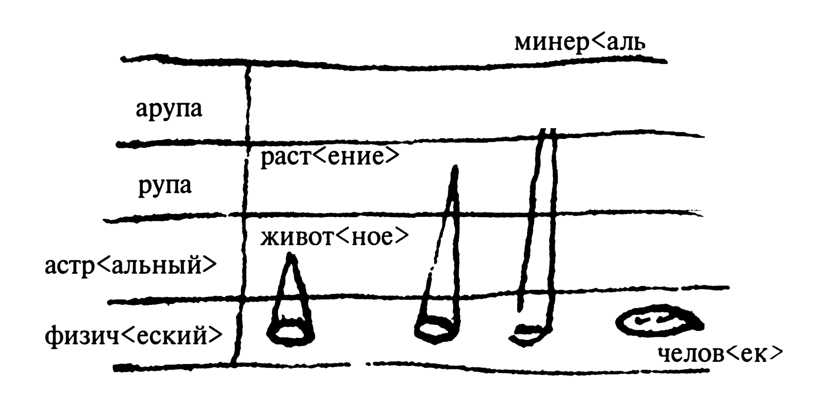
[3] Имеется в виду письмо Минцловой от 15/28 октября 1905 г.

226. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

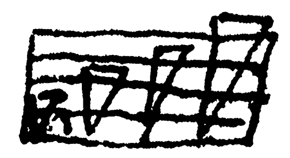
18/31 октября 1905 г. Берлин

Вторник

Какое хорошее письмо пришло от Тебя вчера, а я сегодня не успеваю писать. Вчера поразительные 2 лекции о гномах сильфах, саламандрах.[1] У зверей сознание – в астральном, над черепом[2] там, где у нас высокий лоб, у растений – в ментальном «рупа»,[3] в центре земли, у минералов – в «арупа»,[4] в солнечной атмосфере, у человека – на физическом, в нем самом.



Но есть существа, которые имеют сознание на физическом плане, а тела – на астральном. Астральный состоит из четырех планов, Шт<ейнер> знает, поэтому[5]



Кшити[6] – земл<я>
Варуна[7] – вода
Вайю[8] – воздух
Саламандра[9] – огонь.

Все эти существа – гномы, ундины, сильфы и саламандры – существуют в реальности. Их мысли – законы природы и т. д.

Сегодня опять 2 лекции,[10] п<оэ>т<ому> я очень спешу писать.[11]

Наша 5-ая раса разделена на 7 рас.[12] Она должна развить «манас».[13] Американцы погубят землю, маленькая колония славян до конца будет бороться и может спасти землю.

Он упомянул о русских сектах.[14] Не странно ли это сопоставление, теперь наши духоборы в Америке?[15]

Это Тебе интересно. Вечером еще лекция,[16] и я ужасно спешу писать.

Я недостойна всего того, что слышу. Мне хочется спать все время, я ничего не чувствую и мечтаю о самых земных вещах.

Сегодня утром мы были в музее, смотрели старых итальянцев.[17] Я никогда не была так бесчувственна. Не знаю, что это значит. Меня все страшно раздражает. Мне хотелось бы быть одной.

Дана Конституция,[18] а кто ее знает, какая она и чем она гарантирована.

Страшно. Судьба как будто после многих предостережений дает все возможности обойтись без крови. Неужели не воспользуются. Мы, конечно, теперь скоро поедем. Почему-то Париж мне теперь кажется таким недостижимым.

Когда мне удается работать!

Завтра я напишу повеселее письмо. Ты любишь, когда мы о Тебе говорим, а я не люблю. Странно.

До свиданья, Макс, мой милый. Я уже не жду Тебя.

[1] 17/30 октября Штейнер прочитал 27-ю лекцию «эзотерического курса», посвященную «трем логосам» (форма, жизнь и сознание) как трем ступеням развития. Речь шла, в частности, о возникновении «астральных сущностей» благодаря физическим усилиям человека. О второй лекции, прочитанной Штейнером в этот день, сведений не обнаружено (см.: *Schmidt H.* Das Vortragswerk Rudolf Steiners. Verzeichnis der von Rudolf Steiner gehaltenen Vorträge, Ansprachen, Kurse und Zyklen. 2. Auflage. Dornach: Philosophisch-Anthroposophischer Verlag Goetheanum, 1978. S. 17).

[2] Рисунок изображает профиль человеческого лица; место «над черепом» обозначено звездочкой.

[3] Рупа (*санскр.*) – тело, любая форма. Рупа-девахан, по Штейнеру, – низшие области «ментального плана». См. также примеч. 3 к п. 73.

[4] Арупа (*санскр.*) – лишенный формы. Обозначает высшие сферы девахана.

[5] Пояснительные схемы в данном письме копируют (весьма приблизительно) схемы самого Штейнера, которые он охотно

использовал при чтении лекций, в частности, – 17/30 октября 1905 г. (см.: Grundelemente der Esoterik. S. 217, 218).

[6] Кшити (*санскр.*) – Земля. «Кшити, – объяснял Штейнер в своей лекции 17/30 октября 1905 г., – верховный гном, высшее существо среди ундин» (Grundelemente der Esoterik. S. 220).

[7] Варуна (*санскр.*) – дух или бог Воды (космических вод, всеобтекающего Неба и т.п.); наряду с Индрой, величайший из богов ведийского пантеона (см.: Мифы народов мира. Энциклопедия. М.: Сов. энциклопедия, 1991. Т. 1. С. 217–218; статья В.Н. Топорова). По характеристике Штейнера, «высшее существо среди сильфов» (Grundelemente der Esoterik. S. 220).

[8] Вайю (*авест.*) – в иранской мифологии божество ветра, дух воздуха и т.п. (см.: *Там же.* С. 209). Почитается также в буддизме и хорошо известен в теософии (см.: *Блаватская Е.П.* Теософский словарь. С. 110).

[9] Согласно древним поверьям разных народов, саламандра олицетворяет собою дух огня.

[10] 18/31 октября Штейнер действительно прочитал две лекции: 28-ю лекцию «эзотерического курса» (об «эфирных видах», связи микрокосма и макрокосма, развитии различных состояний сознания в послеатлантический период и др.) и доклад в Свободном университете под общим названием «От германского племени к городскому сословию» (первый доклад курса из пяти докладов; последний состоялся 6/19 декабря 1905 г.).

[11] Далее Сабашникова излагает отдельные положения 28-й лекции.

[12] Пятая (послеатлантическая) «коренная раса» охватывает, по исчислению Штейнера, 1413–3573 гг. н.э. и разделена на семь «подрас» (индийская, персидская, вавилоно-египетская, римско-грекосемитская, германская, славянская и американская). В настоящий период мир находится в пятой (германской или «арийской») подрасе. Шестая и седьмая «коренные расы» – эпохи будущего состояния Земли (точные названия у Штейнера отсутствуют).

[13] Манас (*санскр.*) – термин, обозначающий высшее духовное состояние, которого способно достигнуть человеческое Я в процессе своей эволюции (приблизительно то же, что «Буддхи»).

[14] Размышляя в конце своей лекции о будущих (шестой и седьмой) «подрасах», Штейнер сказал: «От англо-американской расы исходит мировой эгоизм. Оттуда эгоизм распространяется по всей земле. <...> Но из маленькой колонии на Востоке произрастет в будущем, как из семени, новая жизнь. Англо-американская культура

разъедает европейскую. Секты в Англии и Америке являют собой не что иное, как поразительную консервацию старых ценностей. Поэтому именно там и возникают такие объединения, как Армия спасения, Теософское общество и т.д., — для того, чтобы спасти души людей от состояния упадка, ибо развитие отдельных рас протекает не параллельно духовному развитию» (Grundelemente der Esoterik. S. 231).

[15] Массовое переселение русских духоборов в Канаду приходится на 1898—1899 гг.

[16] Имеется в виду лекция в Свободном университете (см. примеч. 10 к наст. письму).

[17] Скорее всего, Сабашникова и ее спутницы осмотрели собрание старой итальянской живописи в Музее кайзера Фридриха (открыт в 1904 г.; с 1956 г. носит имя своего основателя Вильгельма фон Боде).

[18] «Конституция» — т.е. Манифест 17 октября.

227. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

29 октября / 11 ноября 1905 г. Париж

Суббота. 11 нояб<ря>, вечер.

Вот я два часа в Париже. У себя застал моего брата и груды писем и газет. Он сейчас же убежал, чтобы где-то встретить Марг<ариту> Конст<антиновну> и вести ее куда-то на революционное собрание.[1] Как только ушел он, приехала она, искать его. Она вчера *провалилась*[2] и очень огорчена.

Я тогда побежал к Мих<аилу> Самойл<овичу>, но, добежав до него, случайно зажег (верно, неосторожными движениями рук) гигантский пожар на соседней улице рядом с нами.

Еле пробрался к нему сквозь толпу и, конечно, не застал его дома.

Верно, он придет сейчас ко мне. Я оставил ему записку.

Моя милая девочка... Я всю дорогу был с тобой — все время, не переставая, чувствовал тебя... Точно мои руки остались с тобой, и я не отрывал их. Меня точно что-то обвола-

кивало горячей дымкой, и я чувствовал твое дыхание на моей щеке...

Мне почему-то все вспоминался мой отъезд из Москвы 2 года назад...

Я уж и не знаю, что это со мной сталось... Верно, хорошо, что я уехал, а то я все так умилялся целые дни, не переставая, на тебя, на Ан<ну> Руд<ольфовну> да на Алешу, что совсем поглупел от умиления. Теперь я опять поумнею к твоему приезду...

Как мне хочется работать... Но не писать, а приобретать, читать, копить...

Я перечел все русс<кие> газеты за это время... Мих<аил> Сам<ойлович>, верно, уж не придет сегодня...

Узнал, что в Феодосии были ужасы, резня и т.д.[3] Меня это беспокоит очень за маму. Никаких писем от нее нету.[4]

Боюсь, что она не приедет в Париж. Но все-таки это както все тревожит, пугает, но это не главное... Главное есть и оно совсем другое. Но его надо вот теперь самому найти вот в эти годы.

Оно дается в руки, но его надо взять самому и по-своему.

Все-таки я не человек, а лира...[5] И я очень этого боюсь. Когда я между тобой и Ан<ной> Руд<ольфовной>, я чувствую себя очищенным, как огнем...

Теперь меня пугают все другие мысли, все другие слова, приносимые жизнью.

Мне хочется встать на колени и молиться, чтобы моя душа всегда оставалась чистой и крепкой, как она была несколько мгновений в эти дни.

А что, если другие руки дотронутся до лиры? Да — я чувствую — моя душа женская — ей надо быть оплодотворенной.

В поезде я узнал от едущих русских, что поезда не ходят через Варшаву. Значит, Ек<атерина> Ал<ексеевна> в воскресенье не приедет... Что-то она привезет тебе?..

До свиданья.. Целую Ан<ну> Руд<ольфовну> и Алешу. Очень он меня умиляет...

Привет Ан<не> Николаевне.

[1] См. примеч. 1 к п. 223.

[2] Имеется в виду: провалилась на экзамене.

[3] Речь идет о событии в Феодосии 19–21 октября 1905 г. (т.е. 1–3 ноября по новому стилю – как раз в те дни, когда Волошин находился в Берлине). «19 октября местные власти и черносотенцы учинили дикую расправу над мирными жителями. Это было на третий день после обнародования царского манифеста о даровании гражданских свобод» (*Балахонова А.И.*, *Балахонов В.И.* Феодосия. Путеводитель. Симферополь: Таврия, 1984. С. 24). Разгромив здание городской управы, где проходило собрание социал-демократов, черносотенцы устроили в городе еврейский погром. «Пьяные молодчики из клуба приказчиков, мясники, лавочники, всевозможные уголовники всю ночь рыскали по городу, грабя и калеча ни в чем не повинных людей» (*Там же*. С. 25).

[4] Некоторые подробности Е.О. Кириенко-Волошина сообщила сыну в ноябре 1905 г. «...У меня спасалась семья доктора Гуревича из 6 человек, – писала она, в частности, 11/24 ноября 1905 г. – Служившая у меня в это время кухарка и коктеб<ельские> болгаре были очень недовольны, что я укрыла “жидов”. Болгар<ские> парни даже грозили, что если жиды сейчас же не выйдут, то они спалят ночью мой дом. Я, разумеется, не обратила на эту угрозу никакого внимания...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 652, л. 23–23 об.).

[5] См. примеч. 4 к п. 50, примеч. 3. к п. 69 и п. 215.

228. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

29 октября / 11 ноября 1905 г. Берлин

Мой милый, вот Ты приезжаешь в Париж сейчас. Что Ты чувствуешь? В своей мастерской? Цветы завяли? Завтра купи новые. Чтобы у Тебя было опять хорошо. И найди старую

колею. Да? Сегодня я проспала весь день. Утром в полусонном состоянии с головной болью ходила по музею Kunstgewerbe*[1]; было почти темно и страшно душно. Ничего не видала. Сейчас в сумерках я сидела с А<нной> Р<удольфовной>, и мы говорили о Шт<ейнере>, о Тебе. Сейчас хорошо. Я очень люблю Тебя. Каждый раз, когда мне грустно, это оттого, что я делаю все ту же ошибку. Нужно понимать свой путь.

Теперь мне опять хорошо. Я очень жду Катю, чтобы узнать о своих. Верно, она ненадолго в Берлин с Ниной Вас<ильевной>.[2]

Прощай, милый мой. Я была в Твоей комнате сегодня. Пусто. В ней поместится Катя.

Жду от Тебя письма. Я ужасно гадкая и Тебя недостойна. Поскорее бы попасть в Париж.

Целую Твою голову.

Как хорошо, что Ты был в Берлине. О чем Ты думаешь? Что Ты делаешь?

У меня такой туман в голове, что это письмо не считай. Писать мне трудно. Совсем не хочется.

[1] Берлинский музей прикладных искусств (Kunstgewerbemuseum), открытый в 1868 г., представляет собой одну из самых значительных коллекций прикладного искусства в мире (со времен Средневековья до наших дней).

[2] Е.А. Бальмонт приехала в Берлин утром 31 октября / 12 ноября 1905 г. вместе с Н.В. Евреиновой (см. п. 229, 230 и др.).

229. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

30 октября / 12 ноября 1905 г. Париж

Воскресенье. 12 ноябр<я>, вечер.

Милая моя девочка, что-то очень смутно мне стало... Переходить от действительности к мечте о тебе оказывается теперь еще труднее, чем было от мечты к действительности...

Вот теперь я ни за что приняться не могу... Ни книги, ни писание... А я так хотел работать... Неужто ты не приедешь

* Прикладных искусств *(нем.)*.

теперь?.. Сегодня это уже тебе должно быть известным. Была ли ты на Дёнкан?[1] Что привезла Ек<атерина> Алекс<еевна>?

Я с утра был у Амфитеатровых и у Гольштейнов... И там, и там все говорят о России. Но ни те, ни другие пока туда не собираются... Амфит<еатров> почему-то вдруг стал справляться о тебе без всякой видимой причины...

Неужели это так может натолкнуть на вопрос постоянная мысль?

Я страшно был рад увидеться с Александр<ой> Васильев<ной>. Странно – несмотря на все различие моих интересов сейчас – мне не было тяжело говорить с ней. Эта сила бодрости всегда заражает меня.

Вечером пришел Чуйко, грустный и расстроенный, и говорил, что у него в жизни нет никакой радости. Лежал у меня на коленях. Расспрашивал о тебе, об Ан<не> Никол<аевне>. Пришел в неистовый восторг от подарка Ан<ны> Рудольф<овны>.

Потом сказал: «Были вот два таких влюбленных, вроде Дафниса и Хлои.[2] Они целые дни сидели вместе в комнате, гладили друг друга руками по лицу и плакали оба от счастья... Вот это счастье...»

Утро. Понедельник.

Ужасно неопределенное состояние. Снова я вырван из Жизни. Снова мне все чуждо вокруг меня... Опять что-то главное оторвалось... Не могу я быть без тебя...

Какая-то пустота кругом.. Мне и люди-то теперь становятся дороги только постольку, поскольку ты их знаешь и любишь... К Чуйко я чувствую приливы нежности, а вот сегодня утром я спрашиваю себя: а что было бы, если бы ты его вдруг разлюбила так же, как Ан<на> Рудол<ьфовна>? Знаешь, что мне кажется иногда, что если бы ты полюбила кого-нибудь очень сильно, я бы не только не почувствовал бы ревности, но полюбил бы его твоей любовью.

Впрочем, я, может, все это сам себе и выдумываю.

И вдруг ты не приедешь в Париж? Как же будет тогда... Что-то страшно мне...

Точно вся моя жизнь с тобой, а мое физическое тело здесь, и как-то одиноко без присмотра... Нет больше цельности, как около тебя...

Дитя мое, милая моя... нельзя нам быть врозь...

Пришло письмо от Ан<ны> Руд<ольфовны>. Значит, сегодня, может, сию минуту Ек<атерина> Алекс<еевна> приезжает в Берлин... Пиши мне все об ней. Все, что ты будешь говорить с ней. Скажи ей, что я так хочу, так хочу ее видеть.

Обнимаю Алешу.

[1] См. примеч. 3 к п. 230.

[2] «Дафнис и Хлоя» – роман греческого писателя Лонга (II в. н.э.), история идиллической любви пастуха и пастушки на острове Лесбос. Внимание русской публики к этому произведению оживилось на рубеже веков благодаря переводу Д.С. Мережковского (*Лонгус.* Дафнис и Хлоя. 1-е изд. – СПб., 1896; 2-е изд. – СПб., 1904).

230. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

31 октября /13 ноября 1905 г. Берлин

13/31 окт<ября>.

В 6 ч. утра мы встречали Катю с Ниной Вас<ильевной>. Она приехала затем, чтобы видеть Сережу и сопровождать Н<ину> В<асильевну>. Это огромная жертва. До 11 сидели все вместе и слушали бесконечные истории из Москвы. Знаешь, как одна Катя умеет рассказывать. Она привезла очень трогательные письма от папы и мамы; они рады, что я не в России. «Приедешь, как только будет возможно». Итак, я еду в Париж. Но не знаю когда; Катя просит побыть с ней. Она в Москве очень одинока. В Москве ужас; когда только немного через нее я почувствовала московскую атмосферу, я поняла, как я уже не принадлежу этому. Я теперь знаю, как я люблю Тебя. Там все омраченные, все не понимают друг друга, озлобляются. Катя говорит, что у нас в доме неприятно. Она озло-

блена на наших. Они с мамой поссорились неизвестно из-за чего. Раньше меня бы все это страшно огорчало, теперь я спокойна. Бальмонт с Горьким близок, видаются каждый день, и Б<альмонт> принимает участие в журнале Гор<ького>.[1] Пишет одни революционные стихи.[2] Катя говорит, что ничего не преувеличено, что в Москве и Петерб<урге> страшно. Кровавые сцены на улицах. Она здесь отдыхает. На улицах нечего здесь опасаться. Я не знаю, сколько она пробудет. Она полна Ниникой. Они с Н<иной> В<асильевной> остановились в Твоей комнате. Наше кресло, покрыш<ка> на диване. Милый.

Я валюсь от усталости.

Знаешь, как утомительны встречи, как сталкиваются всегда 2 мира. Мне страшно хочется в Париж, но теперь придется пожить с Катей. Ее очень жаль. Как она измучена.

Вчера я не успела написать Тебе. Утром смотрели «детей» Изидоры.[3] Она сидела в ложе перед нами. Ужасно мила. А они все вроде Ниники, но все разные, и каждая танцует по-своему. Ансамбля нет, но очень хороша каждая. Ах, какой Ты глупый, что Ты уехал. Вот Ты бы наслаждался. Потом я долго сидела с Сережей. Он расспрашивал про Шт<ейнера> и спросил, мог ли бы Шт<ейнер> что-нибудь для него сделать. М<ожет> б<ыть>, можно что-нибудь сделать, мы говорили с А<нной> Р<удольфовной>.

Вечером А<нна> Р<удольфовна> читала «Les disciples de Sais»*[4]. Прочти *непременно*, пер<евел> Метерлинк.[5] Только теперь эта вещь понятна мне. Новалис был посвященным и там описывает посвящение. Или прочтем вместе. Сегодня суетня. Сейчас 4 ч. дня. Сегодня я жду от Тебя письма.

Катя кланяется Тебе. Через 1½ месяца они приедут в Париж.

Ну, прощай, милый мой.

Я совсем не могу писать.

А что Ты делаешь?

Странно, что Тебя нет.

* «Ученики в Саисе» *(фр.)*.

[1] В 1905 г. Бальмонт действительно сблизился с М. Горьким, публиковался в легальной социал-демократической газете «Новая Жизнь» (с 27 октября по 3 декабря 1905 г.), в создании которой Горький принимал активное участие (с № 9 газету редактировал В.И. Ленин). По инициативе Горького в начале 1906 г. в «Дешевой библиотеке издательства “Знание”» был напечатан сборник Бальмонта «Стихотворения».

[2] В 1905 г. Бальмонт был глубоко захвачен революционными настроениями, отразившимися в его сборниках «Стихотворения» (СПб., 1906) и «Песни мстителя» (Париж, 1907). См. также примеч. 2 и 4 к п. п. 232.

[3] Речь идет об одном из выступлений Дункан и ее «школы»; в программу были включены, в частности, детские выступления под музыку Шумана. В 1904 г. Айседора Дункан открыла в Берлине свою первую танцевальную «школу босоножек» и регулярно – с огромным успехом – выступала со своими ученицами как в германской столице, так и в других городах. Очарованная выступлением Дункан в Москве в январе 1905 г., Е.А. Бальмонт писала Сабашниковой: «Ты поразительно верно представляла Дункан. Я отдам Нинику к ней в школу. Попроси Алешу навести об этой школе справки» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 53, л. 10).

В письме от 1/14 ноября 1905 г. Минцлова делилась с Волошиным своими впечатлениями о спектакле: «Об Изидоре Дункан я еще напишу Вам, много. Мне страшно жалко, что Вы не видели этого представления, это было очаровательно. Из детей 4 девочки, уже выдающиеся, совсем особенные. Одна глубоко поразила меня. Она танцевала одну из страстных, печальных мелодий Шумана. И руки ее звучали, пели и рыдали от счастья. Когда она (10-летняя девочка) тихо, в забытьи, опустилась на землю, она вся струилась музыкой, и руки ее, прекрасные, тонкие, завороженные, медленно двигались по воздуху, как незабываемые, непередаваемые грезы... Они вспоминали прошлую жизнь, и тихо, тихо говорили они, эти руки...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 843, л. 44 об.). См. также п. 234.

[4] «Ученики в Саисе» («Die Lehrlinge zu Sais») – неоконченный роман Новалиса (1797).

[5] Роман «Ученики в Саисе» был переведен на французский язык М. Метерлинком (1895).

231. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

31 октября /13 ноября–1/14 ноября 1905 г. Париж

13 ноябр<я>. Понедельн<ик>. Ночь.

Милая, милая моя... Твое первое письмо пришло сегодня.[1] Я уходил на митинг,[2] прочел и положил в карман... Но я не мог там остаться... От всех этих французских слов о России меня охватила такая скука... Стало невыносимо. Письмо твое, мысль о тебе меня жгли, не давали покою. Я ушел...

Что-то во мне прорвалось... Я все время владел своими чувствами, а теперь... Я тебя так люблю... Я боюсь, что ты, почувствовав это, вдруг разлюбишь меня...

Я хотел тебе сказать, что я недостоин тебя. Но ты мне это пишешь про себя... Верно, мы сто́им друг друга... Только я так хотел бы быть таким чистым и ясным, как ты... Аморя... Я тебя так люблю... Мне не надо никаких людей... Все мне теперь стало чуждо и далеко...

Я нашел у себя телеграмму Ан<ны> Руд<ольфовны> о том, что ты приезжаешь в Париж... А мне все-таки не верится... Я себя убеждал, старался привыкнуть к мысли, что ты не приедешь, что я тебя долго не увижу...

Ах... мое сердце надрывается от счастья по тебе... Милая моя девочка... мне хочется окутать, обвить, убаюкать тебя своими благословеньями... Что я могу сделать, чтобы ты стала совсем счастливой, совсем сильной...

Когда я не думаю о тебе, мне кажется, что я падаю, что я унижаюсь...

Это Ан<на> Руд<ольфовна> сняла какие-то последние покрывала с сердца...

Что же будет теперь с нами? Куда же еще дальше можно идти этим счастьем? Какой порог еще надо переступить? Какую дверь открыть?

Я вспоминаю некоторые твои слова и замираю от радости и благодарности... Ты мне сказала раз, что моя рука кажется тебе такой близкой, точно это твоя собственная рука... Вот эти слова я не могу вспомнить без волнения...

Теперь ты с Ек<атериной> Алекс<еевной>. У меня сейчас такая волна благоговения к ней, как тогда на Ютли... Расскажи ей, как мы ходили на Ютли... Я ведь тогда вечером писал ей...[3] Это был день ее имени – она должна его знать...

Когда я думаю о ее последнем годе, мне хочется молиться за нее и ей. «Распятая ревность» – то, что ты говорила.[4]

Я сейчас представляю всех вас, сидящими в комнате Ан<ны> Руд<ольфовны>, и твое лицо под «тропическим лесом».

Сейчас в моей комнате мой брат,[5] а то бы я пришел к Вам и тронул бы Ан<ну> Руд<ольфовну> за плечо.

Аморя, милая... Я не могу без тебя быть, я не могу тебя дождаться... родная моя... радость моя... Какое счастье!.. Какое безумное счастье!..

Утро 14 нояб<ря>.

Милая моя девочка... Что же это будет? Мне уж совсем нечего писать тебе... Я могу писать тебе только одни и те же слова... одни и те же... Каждую минуту я полон тобой... Мне хочется целый день лежать на диване, уткнувшись головой в подушку, и думать о тебе... Не думать даже, а только представлять себе твое лицо, твои руки, твой голос, твое прикосновение...

Что же это такое вы надо мной сделали – ты и Ан<на> Руд<ольфовна>? Никогда я таким не был, никогда я себя таким не знал...

Когда же ты приедешь? Когда?

И в этом порыве у меня как-то все сгорело... Нет того, что нас пугало раньше мгновениями... Если б ты знала, как я тебя люблю...

[1] См. п. 228.

[2] 31 октября / 13 ноября 1905 г. Волошин был на митинге, посвященном событиям в России (см.: Труды и дни. С. 150).

[3] См. примеч. 5 к п. 103.

[4] Имеется в виду осложнение отношений Е.А. Бальмонт с мужем (после сближения Бальмонта с Е.К. Цветковской), ее ревность, готовность к самопожертвованию и т.п.

[5] Я.А. Глотов.

232. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

1/14 ноября 1905 г. Берлин

1 ноября.

Твое письмо от субботы пришло только сегодня, во вторник, п<отому> ч<то> Ты не написал улицы. Мой милый, милый, как я хочу Тебя видеть. Я решила в пятницу ехать, но мне приходится заезжать с Нюшей в Гейдельберг. Очень плохо чувствую себя физически, все болит голова.

Вчера рассказы Катины, как мутный поток, ворвались в нашу жизнь. Какое счастье, что существует Шт<ейнер>. Я только сейчас реально его почувствовала. В четверг мы все, и Катя, и Н<ина> В<асильевна>, будем на лекции.[1] Чувствовал ли Ты, как вчера вечером мы с А<нной> Р<удольфовной> говорили о Тебе.

Мне было так приятно. А с Катей я много раз начинала говорить о Тебе, но она не слушает, и мне это очень грустно. Забыла она, верно, Тебя. Я не того ждала. Зато я люблю Тебя, как никогда. Знаешь, Бальмонт пишет революционные стихи, глупые, грубые, бездарные. Ругает Николая «подлецом», «вампиром».[2] Мне больно было читать. Во-первых, плохие стихи ничем не оправдываются, во-вторых, разве можно этого несчастного, затравленного человека так низко ругать. Он «жертва», всякая жертва должна быть священной и «лежачего не бьют». Стихи Бальмонта низки. Он сошелся с Горьковской компанией и интересуется только ими.[3] Мне невыносимо это слышать, я ничего не сказала, но застала и А<нну> Р<удольфовну> в слезах от этих стихов.[4]

А<нна> Р<удольфовна> твердо решила через месяц ехать в Париж, и мы устроимся вместе.[5] Вот хорошо!

Сейчас Алеша едет в Ляйбциг *<sic!>*.[6]

Напиши ему Leipzig Pfaffendorferstr<asse> 24[I]. Напиши, милый. Какое счастье, что мы будем вместе.

[1] В четверг, т.е. 3/16 ноября 1905 г., Штейнер читал 29-ю лекцию «эзотерического курса», на которой, помимо Минцловой и Сабашниковой, присутствовали Е.А. Бальмонт и Н.В. Евреинова (ср. п. 238).

[2] В своих революционных стихах 1905–1906 гг. Бальмонт не раз употреблял по отношению к Николаю II резкие и оскорбительные эпитеты. «...В своих обвинениях царя и династии, – отмечают биографы поэта, – Бальмонт то и дело срывается на брань, с соответствующей лексикой (“зловонье”, “трус”, в других стихотворениях – “болван”, “грубый зверь”, “подлец” и даже... “губошлеп”), что лишает их поэтичности» (*Куприяновский П.В.*, *Молчанова Н.А.* «Поэт с утренней душой»: жизнь, творчество, судьба Константина Бальмонта. М.: Индрик, 2003. С. 201).

[3] См. примеч. 1 к п. 230.

[4] «Вчера (понедельник), – писала Минцлова Волошину 1/14 ноября 1905 г., – я места себе не находила от тоски и ужаса, и я плакала от счастья, думая о Вас, – и от горя при мысли о Бальмонте... Ек<атерина> Ал<ексеевна> в восторге от М. Горького, К<онстантин> Д<митриевич> в страшной дружбе с ним, К<онстантин> Д<митриевич> пишет *ужасные* стихи на гражданские мотивы – стихи, где нет ни слова, ни звука, ни рифмы, хотя бы слегка напоминающей прежнего, любимого мной Бальмонта... Точно не он уже пишет, а поручил за себя писать стихи какому-нибудь дворнику или лакею...» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 43–43 об.).

[5] «Сегодня я получила прелестное письмо от А.И. <?>, – сообщала Минцлова Волошину 1/14 ноября 1905 г. – Я думаю, что в воскресенье это я уеду в Россию, в Москву, и недели через 3 приеду в Париж и уеду с А.И. <?> куда-нибудь – мне́ ведь все равно куда, моя жизнь, мое счастье, я увезу с собой, повсюду, где бы я ни была, хоть на Сахалин» (*Там же*, л. 45–45 об.; лицо, о котором упоминает Минцлова, идентифицировать не удалось).

[6] «Вчера ночью вернулся из Берлина, – писал Волошину А.В. Сабашников 2/15 ноября 1905 г. – Провел там два дня. Ах, какие дни! Подошел к краю, еще пристальнее взглянул в бесконечность. Когда уедешь от Анны Рудольфовны, кажется, что небо замыкается над тобой. <...> Мы много-много говорили и радовались. Будущую субботу еду опять туда» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1055, л. 1).

233. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

1/14 – 2/15 ноября 1905 г. Париж

14 ноября. Вторник. Ночь.

Вот пришел только что с масонск<ого> заседания и застал твое письмо (второе – о приезде Ек<атерины> Алек<сеевны>).[1] Конечно, тебе надо остаться в Берлине, пока она там. Я был в этом уверен. Не знаешь ты, сколько приблизительно это будет?.. Чтобы не забыть: Мар<гарита> Конст<антиновна> предлагает тебе сообща взять квартиру в этом квартале – она ищет, с кем поселиться. Если тебе это улыбается, то напиши сейчас же. Я не знаю ее планов в подробности, потому что это она мне передала через моего брата, с которым они видятся каждый день. Это могло бы быть хорошо. Маленькая квартира дешевле ателье. У всех будет по отдельной комнате. Кварт<иру> легче найти и можно найти высоко – светлую, в которой можно работать.

Сегодня я был днем у Мих<аила> Сам<ойловича>. Он мне <по>казывал все свои начатые вещи за это время. Он теперь очень много работает. И главным образом у M-me Аничковой, которая сделала ему массу заказов.

Он стал говорить о любви и вдруг перешел к тебе: «Вот Марг<ариту> Вас<ильевну> я никогда бы не смог полюбить, как женщину. Я ее страшно люблю, как друга, но мне никогда в голову не приходило, что она женщина. Вот я бы на ком я никогда не женился. Она должна быть ужасна, как жена... Изведет своими сомнениями, “духовностью”... В ней совсем, совсем нет женщины...» Я слушал молча и боялся, что он вдруг что-нибудь разгадает в моем молчании. Но я думал, что он фактически прав и что за это – за это я тебя так и люблю. Верно, во мне так же мало мужчины, как в тебе женщины... Мне всегда все с детства говорили, что во мне «чего-то недостает»... Я смутно понимал, что это «что-то» относится к яркому выражению пола... И знаешь – что те, в которых «женщина» была ярко выражена, всегда на меня производили впечатление страха, отвращения, стыда... Я не говорил тебе никогда о моем первом «падении» – там был вот этот стыд и отвращение.

Мне теперь это жутко вспомнить.

Когда ты говорила о том ужасе, который ты испытала, когда Вебер хотел дотронуться до твоей шеи, – я понял тебя вполне. Он очень «мужчина»...

Я бы никогда, никогда не мог бы полюбить тебя, если бы ты была вполне женщиной. Я все вспоминаю, как ты лежала в сумерках на кровати Ан<ны> Руд<ольфовны> и говорила о своей Диане...[2]

И в тебе было что<-то> такое гибкое, сильное, юношеское... Голос твой так звенел... Я с таким восторгом в ту минуту слушал тебя и видел в полутьме твое лицо... Ты глядела очень далеко... вглядывалась... и лицо твое было совсем лицо греческого юноши...

И «мужское», ярко выраженное, для меня так же неприятно, как и «женское»...

Вот в Туллио Мих<аил> Сам<ойлович> именно этим воплощением «мужского» восторгается. А мне он этим так неприятен... Он мне очень неприятен, в сущности, – я себе сам в этом признался только что.

Слова Мих<аила> Сам<ойловича> меня натолкнули на эти мысли, и мне теперь яснее, в чем наше с тобой «уродство». В нас обоих есть *пол*, но он одинаково отступает назад пред чем-то сильнейшим, высшим. Может, в нас с тобой уже первые проблески того человечества, которое победит двойственность, но победит не отречением, а каким-то особым признанием, переходящим пределы... Надо чутко прислушиваться к голосам и тайным течениям, чтобы найти туда дорогу.

Покойной ночи... Скоро ли? Скоро ли? Вот я не думал, что эти несколько дней разлуки будут так томительны...

Покойной ночи... Поцелуй от меня Алешу...

Утро. Среда.

Милая, милая моя девочка... Отчего же это я не могу ничего делать... Я так хотел работать, а теперь только одно томление и мысли о тебе... Я не знаю, что со мной стало... Так это еще не бывало. Что случилось между нами в Берлине?

Раньше, я помню, хранил свою любовь, как то, что можно потерять, можно расплескать... А теперь нет никаких других дорог...

Всюду обрывы, пустота... Одна ты! Что это сделали с нами? Аморя... Что же это?..

[1] Имеется в виду п. 230.

[2] Диана (у греков Артемида), богиня охоты, растительности и плодородия (деторождения), почиталась так же как богиня девственной чистоты и целомудрия.

234. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

2/15 ноября 1905 г. Берлин[1]

Среда.

Дитя, милое мое, как я люблю Тебя, какой Ты милый.

Сейчас идем, Нюша, А<нна> Р<удольфовна>, Катя и я, в большой магазин за покупками. Вчера сидели дома и говорили, проводили Алешу. Ах, как я люблю его. Он приедет смотреть Дункан в субботу,[2] но нас не будет.[3] Милый мой, как А<нна> Р<удольфовна> любит Тебя. Меня так тронуло, что она послала телеграмму Тебе. Она плохо себя чувствовала и все-таки пошла. Когда мы вдвоем, мы все время с Тобой.

Пошли сюда Нине Вас<ильевне> книги теософские. Any Besant «La sagesse antique»,[4] Чатерджи[5] и что еще Ты знаешь для общего ознакомления. И поскорее, Максик, это очень важно. Целую Тебя. Меня ждут.

[1] Открытка. Почтовые штемпели: Berlin 15.11.05; Paris 16.11.05.

[2] «Duncan танцует здесь на этой неделе, – писал Волошину из Лейпцига А.В. Сабашников, имея в виду выступление Дункан в Берлине 5/18 ноября 1905 г. – И Вы правы, что эта великая женщина спасет да не только Россию, но все человечество» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 1055, л. 2). См. также примеч. 3 к п. 230.

[3] Сабашникова уехала из Берлина в Париж (вместе с А.Н. Ивановой) в пятницу, 4/17 ноября (см. п. 238).

[4] См. примеч. 6 к п. 151.

[5] См. примеч. 3 к п. 85.

235. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

2/15 – 3/16 ноября 1905 г. Париж

Среда. 15 ноября. Ночь.

Какое странное, беспричинное беспокойство... Что сегодня с Ан<ной> Руд<ольфовной>? Я или думаю о тебе, или наступает апатия. Мысль скользит, ни на чем не может остановиться. Так весь день. Вечером пошел в театр. И такое ощущение пустоты, надрывающего томления по тебе... Я не досидел до конца... Но сейчас чувствую, что к этому примешивается еще другое. Сегодня, должно быть, Ан<не> Руд<ольфовне> очень плохо, но не все время, а моментами... Вечером, поздно вечером приходят твои письма. Как я тебя люблю! Как я люблю тебя! Мне нечего писать совсем. Я весь только – одно ожидание. Поэтому ничего и делать нельзя... Я даже писать тебе не могу... Что же писать?.. Мне хочется держать твои руки, чувствовать тебя близко, близко, глядеть тебе в глаза... Когда я не думаю о тебе, я ни о чем не думаю.

Мне становится скучно, скучно... Точно у меня в жизни больше ничего нет...

Точно вся моя жизнь теперь не во мне, а в тебе... Почему это? Что это вдруг случилось... Моя родная, моя милая девочка... Сделай же что-нибудь надо мной...

Или приказывай, что делать, или расколдуй... Нет... не расколдовывай... Я ничего другого не хочу... Я так счастлив, так счастлив... Возьми себе все мое счастье...

Ах, бессмертье мое растопчи –
Я огонь для тебя берегу...[1]

Я не знаю, что пишу... Когда же ты приедешь? Сколько дней пробудешь в Гейдельберге? Ах, приезжай прямо... Ведь

приехать прямо во II кл<ассе> это дешевле, чем заезжать в Гейдельберг.

Каждый день ожидания так долог теперь... Аморя, милая моя... моя... моя Аморя...

Покойной ночи... Глаза слипаются...

Утро. Четверг.

Как все пусто... Что же мне делать без тебя? Я всю комнату украсил свежими цветами и растениями... На печке жгу почки эвкалипта... Все полно этим ароматом. Все снова прибрано, чисто... Когда же ты приедешь? Из меня точно душу вынули...

Верни мне новую, сильную, крепкую..

Остатки моей старой жизни и старых интересов во мне и кругом пугают меня. Мне иногда вдруг приходит мысль: а вдруг тебя нет, и я все это выдумал и все, как по-старому... Это бывает жутко.

Мне кажется, что никогда не смогу любить тебя достаточно сильно... Как мне хочется снова сидеть над тобой в темноте, гладить твои волосы, чувствовать тебя концами пальцев, ласкать тебя тихо, тихо.

Нет, я не могу сидеть дома с этой мечтой о тебе... Ожидание мне невыносимо.

Сейчас ясный и холодный день. Возьму велосипед и поеду за город. Мне хочется усталости, воздуха, осени... Вся моя энергия, вся сила растеклась, расплавилась в этом ожидании... Я не могу больше... Я постараюсь весь день не думать о тебе...

Дитя мое милое, радость моя... Царевна моя...

Сегодня опять страшная ночь для Ан<ны> Руд<ольфовны>. Я буду с ней около 12 час.

Мой привет Екат<ерине> Алекс<еевне>, Анне Никол<аевне> и Нин<е> Васильев<не>.

[1] Цитата из стихотворения Блока «Мой любимый, мой князь, мой жених...» (1904), впервые опубликованного в кн.: *Блок А.* Стихи о Прекрасной Даме. С. 61–62). У Блока: «Ах, бессмертье мое растопчи, – Я огонь для тебя сберегу...» См. также п. 215.

236. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

3/16 ноября 1905 г. Берлин

Четверг.

Милый мой, вчера пришло Твое письмо от понедельника,[1] я и счастлива им, и испугалась, милый, милый, скоро мы увидимся. Катя и Нина Вас<ильевна> упрашивали нас остаться до воскресенья, в субботу Алеша приезжает; но, получив Твое письмо, я решила неукоснительно ехать в пятницу. Сегодня все утро я была с Катей и в первый раз говорила ей о Тебе все. Мы ехали в конке, а потом сидели в музее перед «Паном»,[2] и я рассказывала очень подробно обо всем.

Она думает, что тянуть нечего, что все равно мои с Тобой никогда не примирятся. А я все надеюсь на что-то. Ну, мы поговорим с Тобой. Только, милый, не прерывай занятий, владей собой, ради Бога. Меня пугает такое чувство, когда я – всё.

А<нна> Р<удольфовна> страшно боялась, что я отложу свой отъезд. Боже, как она любит Тебя. Общая забастовка, а она все же решила ехать хоть на пароходе. Хочет вернуться через месяц, но у нее, кажется, совсем нет денег вообще, так жаль.

Знаешь, Голубкина в Париже, ее выписал Роден. Найди ее.[3] Мусатов умер от разрыва сердца.[4]

Вчера весь день и утром, и днем мы носились по магазинам, а вечером были у Сперанского с Чупровым. Они издевались над Алешей, говорили, что ему теперь только юпочку надеть остается, что от влияния женщин он стал плох. Вообще, что они говорили! Мне так тяжело. Отчего непонимание, антипатия меня так глубоко терзают. Ты – мой приют. Мой милый, мой милый. До воскресенья. Я тогда еще напишу или телеграфирую.

Целую Тебя. Не думай обо мне пока. Будь спокоен.

[1] См. п. 231.

[2] Знаменитое полотно Луки Синьорелли («Пан – бог природы и музыки», ок. 1490 г.) в берлинском Музее императора Фридриха (картина погибла в 1945 г.). Волошин упоминает об этой картине в статье «Аполлон и мышь» (см.: Т. 3 наст. изд. С. 143).

[3] О встречах Волошина с А.С. Голубкиной в Париже осенью 1905 г. сведений не имеется.

[4] В.Э. Борисов-Мусатов скончался 26 октября / 8 ноября 1905 г. в Тарусе.

237. ВОЛОШИН – САБАШНИКОВОЙ

4/17 ноября 1905 г. Париж

17. Пятница. Утро.

Моя, милая, милая девочка, мне хочется, чтобы это письмо еще настигло тебя в Гейдельберге...

Если бы ты знала, с каким надрывающим нетерпением я жду Твоего приезда. Мне просто некуда деваться от томления. Вчера у меня был день такого малодушия... Я себя так презирал... Я поехал за город. Хотел поехать в Версаль к Бенуа – был прекрасный солнечный день. Но доехал до St. Cloud и остал<ся> там до вечера. Я ходил около того места, где ты рисовала, и все вспоминал: обе весны.[1]

И я себя чувствовал таким недостойным, таким слабым. И потом вдруг – это прошло.

Как-то грудь растворилась, и хлынула такая радость и свобода, такое благословение всему миру.

Вот я сейчас совсем не могу представить себе, что будет, когда ты приедешь.

Я жду тебя без всякой мысли... Только одно звучит: скорее, скорее... скорее...

Вчера вечером пришло письмо Ан<ны> Руд<ольфовны>. Она пишет: «Ек<атерина> Алек<сеевна> приехала прекрасная, как Царица огня»...[2] Как это хорошо, и как это идет ей.

Когда ты приедешь – мы поедем за город?

Нам теперь надо обойти снова все места, где мы были... Какая глубокая ясная Осень на всем.

И потом мы должны с тобой пройти в ту часть Версальского парка, про которую я тебе говорил.

Вчера пред вечером у меня сидел Мих<аил> Сам<ойлович>. Он повеселел и стал совсем радостный: он полу-

чил письмо из дому, — ему пишут, что он очень умный, что остался в Париже и не поехал в Россию. Его это успокаивает и в материальном отношении. Очевидно, молчание из дому его больше всего мучило, раздражало и парализовало.

Мы с ним иногда говорим об оккультизме. Его это часто очень раздражает, но он все-таки начинает слушать более охотно. Впрочем, я сам этих разговоров не начинаю.

Он все требует *реальностей* и кричит: «Не хочу я Вашего Духа»...

Верно, это время мой брат[3] будет жить у меня. Но это не может помешать моему уединению, т<ак> к<ак> он будет только приходить ночевать. Он до 7 час. на службе, а вечером всегда куда-нибудь уходит.

Я ужасно боюсь, что он тебе не понравится. Уж очень он не в твоем стиле. Говорят, что между нами есть громадное сходство — даже Мар<гарита> Конс<тантиновна> это находит теперь. Хотя оно скорее было, чем есть. Я его очень люблю. Он был всегда моим лучшим товарищем в путешествиях и приключениях.

Вчера я видел Мар<гариту> Конст<антиновну> на лекции Амфитеатрова.[4] Она опять говорила об том, что как бы хорошо было Вам поселиться вместе.

До свидания...

[1] Имеются в виду весна 1904-го и весна 1905 гг. Однако сведений о совместной поездке Волошина и Сабашниковой в Сен-Клу весной 1905 г. нет. Согласно дневниковой записи Сабашниковой от 29 апреля / 12 мая 1905 г., она ездила тогда в Сен-Клу вместе с Чуйко: «Едем в St. Cloud. Как тут все говорит о прошлогодней поездке. Какая красота и как можно быть счастливой» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 5, ед. хр. 22, л. 65 об.). См. также примеч. 9 к п. 13, п. 52, примеч. 2 к п. 90, п. 122 и 159.

[2] 1/14 ноября 1905 г. Минцлова сообщала Волошину: «Ек<атерина> Ал<ексеевна> приехала, прекрасная, пламенная, как царица огня» (ИРЛИ, ф. 562, оп. 3, ед. хр. 843, л. 43).

[3] Я.А. Глотов.

[4] Видимо, одна из лекций А.В. Амфитеатрова в Русской высшей школе общественных наук. См.: *Гарэтто Э.* Первая русская революция: взгляд из Парижа. К биографии А.В. Амфитеатрова (1904–1907) // Минувшее. Исторический альманах. 22. СПб.: Atheneum – Феникс, 1997. С. 345–352.

238. САБАШНИКОВА – ВОЛОШИНУ

4/17 ноября 1905 г. Берлин

Пятница.

Ну вот, сегодня мы выезжаем, сегодня вечером, переночуем в Гейдельберге и в понедельник будем в Париже, еще не знаю когда. Из Гейдельберга я телеграфирую. Пожалуйста, узнай, есть ли комната у M-me Jeanne,[1] если нет (или какой-нибудь подвал), то задержи 2 комнаты в той гостинице, о кот<орой> Ты говорил. Милый, прости, что я прошу это. Ты всегда все готов сделать и поэтому как-то не хочется Тебя просить. Я ужасно устала. Сейчас укладывалась. Ненавижу эту сторону жизни. Я прихожу в отчаяние, и мне тогда кажется, что мне нет места в жизни, что я никуда не гожусь и т.д. и т.п.

Не знаю, как устроиться в Париже. С М<аргаритой> К<онстантиновной> Нюша не хочет, мастерской с кв<артирой> тоже не хочет. Единственное, что мне представляется, это нанять мастерскую для себя и ходить туда. Ах, как глупо, когда жизнь, когда форма не соответствует содержанию. Мне так просто было бы жить с Тобой. Сейчас мне очень смутно.

А<нна> Р<удольфовна> видит какие-то страшные сны; у нее часто бьется сердце и болит зуб. Она чем-то очень взволнована. И я.

Вчера была лекция.[2] Я страшно боялась. Все это я рассказывала, что могла, Нине Вас<ильевне>. Ее это страшно интересует. Знаешь, и она видит свет вокруг людей. Шт<ейнер> на нее не обратил внимания; подал Кате руку. А<нне> Р<удольфовне> сказал, что они должны увидаться, мне сказал: до свидания в Париже в июне.[3] Спросил про Алешу.

То, что он говорил, было интересно, но жестов не было, и говорил он на один тон и слишком кричал. Катя с Ниной

пойдут в следующий раз. Он говорил о четырех сознаниях,[4] она сказала мне, что во время болезни нервной она все время говорила о четырех сознаниях, и вообще многое она вспоминает.

Я глядела на Шт<ейнера> как на призрака, я простилась с ним тогда, а теперь мне казалось, что это он явился после воскресенья.

До свидания, милый мой. Я успокоюсь, когда увижу Тебя, я не люблю людей, человеческие истории, мнения, пересуды пугают меня и мне ненавистны.

Мне кажется, что я бы стала жить так, что, кроме Тебя и А<нны> Р<удольфовны>, и Алеши, никого не видала бы. Меня пугают, волнуют Катины бурные речи, я не могу спокойно относиться к противоречивым и несправедливым суждениям. Это ужасно. Я ничего не могу с собой сделать.

Деньги получили; вычел ли Ты 10 марок, кот<орые> мы должны Тебе за Достоевского, или я Тебе должна отдать их.

Ах да, меня очень огорчает, что Чуйко и Ты находите, что во мне нет ничего женственного.[5] Скажи Ч<уйко>, чтобы он женился на Нюше. Я тогда буду спокойна.

Милый, вышли книги Нине.

Achenbachstrasse 6. Frau Евреиновой

Но если Ты сюда выслал, это ничего.

[1] См. примеч. 10 к п. 77.

[2] 3/16 ноября 1905 г. Штейнер читал лекцию «Зерно мудрости в религиях» (см.: *Steiner R.* Die Welträtsel und die Anthroposophie. S. 155–178).

[3] В мае–июне 1906 г. Штейнер предполагал прочитать в Париже лекционный курс, предназначенный в основном для русских слушателей; первоначально этот курс планировалось провести в Калуге, однако общая ситуация в Россия заставила Штейнера перенести свои лекции в Париж, где должен был состояться Третий конгресс Федерации европейских секций Теософского общества (проходивший с 21 мая / 3 июня по 23 мая / 5 июня 1906 г.).

[4] Согласно опубликованному тексту доклада (см. примеч. 2 к наст. письму), Штейнер говорил о *трех* ступенях развития человеческого сознания:

[5] См. об этом в п. 233.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

** Аннотируются имена, упоминаемые в основном корпусе переписки. Страницы, на которых содержатся дополнительные сведения о данном лице, выделены курсивом Имена литературных персонажей и мифологические имена опущены. Исключены также фамилии, стоящие в названиях издательских фирм. Древнегреческие, египетские и японские имена приводятся только в русской транскрипции.*

СОДЕРЖАНИЕ

1905

В оформлении суперобложки
использована акварель
М. Волошина «Пепельный свет». 1925 г.

Волошин, Максимилиан Александрович

В68 **Собрание сочинений.** Т. 11, кн. 1. Переписка с Маргаритой Сабашниковой. Книга первая. 1903–1905. Максимилиан Волошин; сост. К.М. Азадовский, Р.П. Хрулева; подгот. текста Р.П. Хрулевой; коммент. К.М. Азадовского. Под общей ред. А.В. Лаврова.. – М.: Эллис Лак, 2013. – 736 с.

ISBN 978-5-902152-85-9 (т. 11, кн. 1)
ISBN 978-5-902152-05-4

В книгу первую настоящего тома вошла переписка Максимилиана Александровича Волошина (1877–1932) с его первой женой Маргаритой Васильевной Сабашниковой (1882–1973), художницей, племянницей известных московских издателей М. и С. Сабашниковых. Письма повествуют не только о развитии личных отношений адресатов, но и дают представление о философско-эстетических, общественных и религиозных исканиях поколения конца XIX – начала XX вв.

В том включены все известные в настоящее время письма – как публиковавшиеся ранее (полностью или частично), так и никогда не появлявшиеся в печати.

ББК 84(2Рос=Рус)-4
УДК 821.161.1-95

Максимилиан Александрович Волошин

Собрание сочинений
под общей редакцией
В.П. Купченко и А.В. Лаврова
при участии Р.П. Хрулевой

Том одиннадцатый
Книга первая

Переписка с Маргаритой Сабашниковой
1903–1905

Художественный редактор
В.Н. Сергутин

Верстка
А.Б. Метелкин

Подписано в печать 20.12.2012
Формат $84\times108\ {}^{1}/_{32}$. Бумага офсетная.
Печ. л. 23. Тираж 2500 экз.
Заказ № 534

ЛР № 01716 от 05.05.2000

Издательство «Эллис Лак 2000»
123242, Москва, Красная Пресня, д. 6/2, к. 16
Тел. (495) 605-37-97. Факс (495) 605-89-47
http://www.ellisluck.ru
e-mail: ellisluck@mail.ru

Отпечатано с оригинал-макета заказчика
в ГУП РМ «Республиканская типография „Красный Октябрь"»
430000, Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, 55а.
E-mail: tko-saransk@mail.ru